This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

HARVARD COLLEGE LIBRARY

Bought with the income of
THE KELLER FUND

Bequeathed in Memory of
JASPER NEWTON KELLER
BETTY SCOTT HENSHAW KELLER
MARIAN MANDELL KELLER
RALPH HENSHAW KELLER
CARL TILDEN KELLER

1420
134

Golevin

Vospominaniia

164

236

К. Головинъ.

3610.

Мои воспоминанія.

Томъ I. (до 1881 г.).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія «Колоколъ», Невскій пр., № 127.
1908.

Slav 1556.1.5 (1-2)

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стран.

I. Ранніе годы.—Мой дѣдъ. — В. Татариновъ и его дѣятельность въ редакціонныхъ комиссіяхъ. — Характеръ этихъ комиссій. — Еще о моемъ дѣдѣ и о его необыкновенной аккуратности.—Его послѣдніе дни. . . . . 1—9

II. Экзамены въ университетѣ.—Мои учителя: П. М. Перевлѣсскій, Ф. Ф. Эвальдъ и П. Н. Бѣлоха.—Знакомство съ семьей Віельгорскихъ.—Графъ М. Ю. Віельгорскій и его братъ; три его дочери.—Сыновья; старшіе изъ нихъ—Миша и Володя Веневитиновы.—Меценатство графа Михаила Юрьевича и его брата Матвѣя Юрьевича.—Послѣдній годъ передъ университетомъ.—Отъѣздъ за границу. . . . . 10— 23

III. Заграничное путешествіе.—Берлинъ и Дрезденъ.—Моя неспособность любоваться чужими странами. — Поѣздка въ Кёнигсвартъ.—Князь Меттернихъ.—Лѣто въ Гапсалѣ.—Царская охота.—Тогдашнее положеніе Прибалт. Края.—Поѣздка моего отца въ Польшу.—Знакомство съ Цесаревичемъ Николаемъ Александровичемъ.—Его воспитатели.—Яша Ламбертъ и его мать. . . . . 24—40

IV. Университетъ, отношеніе его къ крестьянской реформѣ.—Н. С. Таганцевъ и Рождественскій.—Учитель русской словесности Н. С. Тимофеевъ.—Толки въ обществѣ. — Чтеніе А. С. Унковскаго у моего отца.—Князь П. П. Гагаринъ. Графиня М. Г. Разумовская.—Университетскіе товарищи.—В. Панинъ.—Профессора — Спасовичъ, Андріевскій, Кавелинъ и Костомаровъ.—Сходки.—Исторія изъ-за бѣлыхъ жилетовъ.—Лекціи Стасюлевича по философіи и исторіи. — Домашній спектакль у А. К. Карамзиной: ея сынъ Павелъ Демидовъ.—Домъ Веневитиновыхъ и его обычные посѣтители: семья Комаровскихъ.—Шаховскіе. — Графъ Фредро и его другъ Карлъ Левинъ.—Князь П. А. Вяземскій, Ѳ. И. Тют-

Стран.

чевъ, князь С. Н. Урусовъ и В. П. Титовъ.—Музыкальные вечера.—Кончина Яши Ламбертъ. . . . . 41—71

V. Деревня—Латашино.—Семья Мещерскихъ и ихъ сосѣди.—Дореформенные порядки.—Манифестъ.—Хозяйство послѣ манифеста.—Мировые посредники.—Реформы въ университетѣ.—Новый министръ.—Матрикулы. — Университетскія волненія.—Мое возвращеніе.—Закрытіе университета. . . 72—91

VI. «Вольный университетъ» въ Думѣ.—Забастовка, вслѣдствіе лекціи Павлова.—Инцидентъ съ Костомаровымъ.—Кончина моего отца.—Потаповы.—Слышанный мною разговоръ трехъ генераловъ.—Потаповъ въ Вильнѣ: его политика.—Желательный характеръ польско-русскихъ отношеній. . . . . 92—103

VII. Выпускные экзамены.—Петербургскіе пожары.—Лѣто въ деревнѣ.—Экономическое положеніе Тверской губерніи. — Зима 1862—1863 года. — «Компанія»—Тогдашнее настроеніе общества.—Поступленіе на службу.—Характеръ II-го Отдѣленія.—Графъ В. П. Панинъ. . . . . 104—120

VIII. 5-ое дѣйствіе «Горя отъ ума».—Заграничное путешествіе.—Съѣздъ монарховъ въ Киссингенѣ.—Наша политика въ 1864 г.—Графъ Эрнстъ Стакельбергъ.—Николай Александровичъ Безобразовъ.—Рейнскій водопадъ и поѣздка по Швейцаріи.—Hôtel Beaux Rivages близъ Лозанны.—Семья Бётлеръ.—Семья Лярскихъ.—Княгиня Т. А. Юсупова и ея отецъ графъ Рибопьеръ. . . . . 121—133

IX. Большой свѣтъ въ эпоху моей молодости: его отличіе отъ теперешняго.—Дома графа В. П. Орлова-Давыдова, Паниныхъ, графини Протасовой.—Княгиня Е. П. Кочубей.—Щербатовы.—Александръ Щербатовъ и его отецъ, князь Григорій Александровичъ.—Графиня Кушелева, ея зять Голицынъ.—Князь Юрій Урусовъ.—Князь И. М. Голицынъ.—Князь В. А. Долгоруковъ.—Другое семейство Долгоруковыхъ: князь Сергѣй Александровичъ, княгиня Марья Александровна, ихъ дѣти.—Анна Александровна Мойра и ея мужъ. . 134—154

X. Второе Отдѣленіе. Характеръ тамошнихъ работъ. Первое дѣло, мнѣ порученное; приступъ къ городовому положенію. Д. М. Сольскій, какъ предсѣдатель.—Прочіе корифеи II Отдѣленія: Ф. С. Малевскій, Е. А. Фонъ-Бреверн.—Комиссія объ измѣненіи законовъ о католическомъ духовенствѣ, какъ образецъ бюрократическаго безсмыслія. . . . . 155—165

XI. Поѣздка съ Володей Веневитиновымъ въ ихъ Воронежское помѣстье.—Впечатлѣнія Москвы.—Оружейная палата съ ея портретной галлереей.—Первое знакомство съ черноземомъ.

Стран.

Имѣніе Веневитиновыхъ, с. Животинное. Тогдашнее хозяйничанье.—Имѣніе матери «Петровское».—Австро-Прусская война.—Наша роль въ этой войнѣ.— Поѣздка къ Потаповымъ въ Вильну.—Зарожденіе вопроса объ окраинахъ. . . 166—178

XII. Два первыхъ покушенія на Государя.—Впечатлѣніе на публику.—Пріемы у Веневитиновыхъ.—Новыя лица: И. И. Шашинъ и А. А. Сабуровъ. Графъ В. А. Соллогубъ и его семья.—Шаховскіе.—П. В. Демидовъ и В. В. Кошелевскій.—А. А. Воейкова.—Мое знакомство съ музыкальнымъ міромъ. Ѳ. М. Толстой.—Вечера по средамъ у Лешетицкихъ. 179—192

XIII. Домъ Гагариныхъ: князь Григорій Григорьевичъ и княгиня Софія Андреевна.—Происхожденіе нашего славянофильства.—Славянскій съѣздъ въ Москвѣ. Ошибочность нашей тогдашней славянской политики. — Внѣшній видъ южныхъ славянъ.—Отъѣздъ Владиміра Панина на Кавказъ и его помолвка. . . . . 193—200

XIV. Образованіе во Франціи министерства Эмиля Оливье.—Конституціонныя вожделѣнія у насъ. — Франко-Прусская война.—Французскія симпатіи въ Россіи. — Замужество М. А. Веневитиновой. Начало распаденія нашей компаніи.—Встрѣча съ Панинымъ и его молодой женой.—Коммуна во Франціи.—Заграничное путешествіе 1871 г. —Встрѣча въ Карлсбадѣ съ А. В. Веневитиновымъ. Поѣздка въ Штутгардтъ на свадьбу Володи Веневитинова.—Кончина Е. В. Потаповой.—Возвращеніе черезъ Вѣну.—Переѣздъ въ домъ Безобразова. . . . . 201—214

XV. Пріемы у насъ.—Новыя знакомства.—Графиня С. Л. Толстая и ея мужъ, графъ Алексѣй Константиновичъ.—Вечера у нихъ.—Софья Петровна Бахметева: ея замужество съ моимъ двоюроднымъ братомъ, М. А. Хитрово. — Встрѣча съ Тургеневымъ и Маркевичемъ.—Баронъ Мейендорфъ.—Домъ графини С. В. Рибопьеръ и домъ Нарышкиныхъ.—II Отдѣленіе при князѣ С. Н. Урусовѣ.—Ф. А. Брунъ замѣняетъ Д. М. Сольскаго.—Комиссія о реформѣ лѣстницы наказаній и тюремная комиссія графа Соллогуба.—Засѣданіе у графа. —Наиболѣе выдающіеся члены комиссіи: Э. В. Фришъ, А. А. Сабуровъ, В. Н. Юферовъ и Н. К. Шмидтъ.—Секретарь В. И. Аристовъ.—Пріѣздъ Панина весной.—Извѣстіе о его кончинѣ. . . . . 215—230

XVI. Тюремная комиссія въ Москвѣ.—Князь А. А. Ливенъ.—Осмотръ тюремъ въ Московскомъ судебномъ округѣ. — С. М. Мартыновъ.—Выѣздъ въ Рязань и въ Тверь.—Моя поѣздка

Стран.

по Тверской губерніи.—Возвращеніе въ Петербургъ и сильный припадокъ лихорадки—первый предвѣстникъ моей болѣзни.—Зима 1872—73 года.—Закрытіе комиссіи.—Домъ княгини В. С. Ливенъ.—П. А. Валуевъ.—Кончина А. В. Веневитинова.—Веневитинскій домъ послѣ его смерти.—Послѣдніе дни «компаніи».—Пріемы Косоликовскихъ. . . . 231—244

XVII. Деревенскія знакомства.—Свадьбы въ семьѣ Мещерскихъ.—Назначеніе А. А. Потапова шефомъ жандармовъ, на мѣсто П. А. Шувалова.—Характеръ этого государственнаго человѣка.—Комитетъ пяти министровъ.—Причины неудачи этого комитета въ борьбѣ съ крамолой.—Встрѣча съ барономъ Дампіэрромъ.—Откуда бралась затаенная симпатія къ революціонерамъ.—Причины безсилія комитета.—Ненормальность выдѣленія государственной полиціи изъ вѣдомства внутреннихъ дѣлъ.—Несогласіе между министрами.—Общая непопулярность графа Шувалова.—Водворившаяся послѣ его отъѣзда вѣдомственная автономія ея послѣдствія.—Чтеніе у насъ графомъ Соллогубомъ своихъ мемуаровъ. . . . . 245—256

XVIII. Мое участіе въ Тверскомъ Земствѣ; уѣздное собраніе въ Старицѣ, Губернское Собраніе, его физіономія.—Почему я нехотя присталъ къ лѣвымъ.—Интриги противъ предсѣдателя, князя Б. В. Мещерскаго.—Почему побѣда остается почти всегда за лѣвыми. . . . . 257—270

XIX. Поѣздка въ Вѣну.—Посолъ Новиковъ и прочіе члены посольства.—Начало нашего сближенія съ Австріей.—Лорецъ-Штейнъ.—Профессорская вечеринка.—Мобилизаціонный планъ Австрійской арміи.—Встрѣча съ Тотлебеномъ.—Поѣздка за границу въ 1877 году.—Карлсбадъ: случай съ итальянскимъ княземъ.—Свиданіе Императоровъ и С. С. Татищевъ.—Толстой и Тургеневъ.—Политическій споръ между ними.—Два маленькихъ случая для характеристики Тургеневъ. . . . . 271—285

XX. Поѣздка по горнымъ областямъ Австріи.—Reichenhall и Tigernsee.—П. А. Валуевъ.—Супруги Радовицъ.—Парижъ при 3-ей республикѣ.—Поѣздка въ Италію: Флоренція Венеція — Встрѣча дорогой съ двумя польскими папами изъ Галиціи. . . . . 286—295

XXI. Возстаніе Босніи и Герцеговины и его отраженіе насъ.—Правительство, дворъ и придворныя дамы.—Графиня А. Д. Блудова.—Исторія съ моимъ братомъ Сергѣемъ: его поѣздка въ Герцеговину.—А. П. Философова и ея мужъ.—Салонъ

Стран.

графини Е. Н. Тизенгаузенъ и его сестра, Е. К. Столыпина.—А. С. Іонинъ и его вторая женитьба.—Мой выходъ изъ II Отдѣленія и поступленіе въ Министерство Государственныхъ Имуществъ.—Исторія съ племеннымъ быкомъ. 296—311

XXII. Революціонное движеніе конца семидесятыхъ годовъ.—Вырожденіе народничества и переходъ его въ терроризмъ.—Политическіе процессы; саратовскій прокуроръ Жихаревъ.—Ошибочность правительственной внутренней политики.—Настроеніе провинціальнаго дворянства въ отвѣтъ на приглашеніе стать на стражѣ школы.—Перемѣна фронта у либеральной печати.—Сходка умѣренныхъ и крайнихъ у одного сенатора.—Мой разрывъ съ Е. И. Утинымъ.—Женитьба Шевича и его отъѣздъ въ Америку.—Оправданіе Вѣры Засуличъ и его отголоски. . . . . 312—320

XXIII. Салонъ графини С. А. Толстой и его обычные гости.—Владиміръ Соловьевъ.—Мой первый романъ «Серьезные люди».—Мой визитъ у М. М. Стасюлевича и его послѣдствія.—Знакомство съ Н. А. Любимовымъ и появленіе романа въ «Русскомъ Вѣстникѣ».—Графъ Е. А. Саліасъ.—А. Н. Апухтинъ.—Петербургъ передъ войной: пріемы и уличное веселье.—Возвращеніе Коссиковскихъ изъ Варшавы: пріемы у нихъ.—Княгиня Т. А. Юсупова и ея домъ. . . . . 321—332

XXIV. Первыя тревожныя извѣстія изъ Малой Азіи.—Европейскій театръ войны.—Первыя двѣ Плевны.—Благотворители, репортеры и карьеристы на войнѣ.—Поѣздка въ Воронежъ, Саратовъ и Тулу.—Комическій эпизодъ съ княземъ Енгалычевымъ.—Физіономія Саратова.—Нижняя Волга.—Тульская губернія.—Взятіе Плевны.—Зимнія побѣды и сидѣніе въ Сан-Стефано. — Наша неудачная попытка обмануть Австрію.—Берлинскій Конгресъ: былъ-ли онъ причиною усилившагося движенія?—Настоящій характеръ нашей революціи.—Образованіе «Эллипсиса»: Ф. А. Мышинъ, А. С. Ермоловъ и В. Г. Трироговъ.—Моя записка объ изученіи общины на мѣстахъ и что изъ нея вышло. . . . . 333—347

XXV. Оффиціальная поѣздка въ Орелъ и Тулу.—А. В. Шереметьевъ.—Желчный Орловскій губернаторъ Боборыкинъ и Тульскій веселый губернаторъ Ушаковъ.—Князь Дмитрій Оболенскій и его образцовое имѣніе.—Село Каменка.—Спѣшное составленіе отчета и отъѣздъ заграницу.—Вильдбадъ: князь Горчаковъ и графъ П. А. Шуваловъ.—Госпожа Бишофсхеймъ и ея дочери.—Баденъ-Баденъ: княгиня

Стран.

Меншикова.—Госпожа Реджина и ея дочь, графиня Потоцкая.—Парижъ: выставка и неудачный балъ въ Версали. 348—365

XXVI. Зима 1878—79 года.—Эпидемія убійствъ.—Ихъ отраженіе на обществѣ.—Пріемъ у Е. В. Сабуровой, у Половцевыхъ, у княгини Юсуповой, у Щербатовыхъ.—Музыкальный вечеръ госпожи Юрьевичъ.—Покушеніе Соловьева.—Засѣданія эллипсиса у Левшина.—Острыя проявленія моей болѣзни.—Разговоръ съ А. Д. Градовскимъ.—Отъѣздъ за границу.—Профессоръ Эрмъ.—Обѣдъ у нашего посла Новикова — Санаторія Шенекъ на берегу Люцернскаго озера.—Зима 1879—80 года.—Баронъ Бэтманъ.—Отъѣздъ въ Италію черезъ Бреннеръ. . . . . 366—378

XXVII Переѣздъ черезъ Альпы.—Флоренція.—Тамошнее общество.—Мой двоюродный братъ Пандольфини. — Взрывъ въ Зимнемъ Дворцѣ и начало «диктатуры сердца». — Замѣна гр. Д. А. Толстого А. А. Сабуровымъ. — Непопулярность Толстого.—Первые шаги новаго министра. — Пребываніе въ Ливорно.—Возвращеніе въ Германію—Гомбургъ.—Гр. Зубовъ.—Парижъ.—Шарко и его паціенты. — Похороны Бланки.—Знакомство съ двумя русскими іезутами: О. Гагаринъ и О. Балабинъ.—1-е марта.—Потеря зрѣнія. . . 379—396

Мои воспомиханія.

I.

Ранніе годы. — Мой дѣдъ.—В. Татариновъ и его дѣятельность въ редакціонныхъ комиссіяхъ.— Характеръ этихъ комиссій.—Еще о моемъ дѣдѣ и о его необыкновенной аккуратности.—Его послѣдніе дни.

РАННІЯ впечатлѣнія моего дѣтства уходятъ въ какую-то почти баснословную мглу. Не стану здѣсь пытаться воспроизводить эти туманные образы. Смутно помню красиво-строгую фигуру Николая, попадавшагося мнѣ на встрѣчу каждый день на Морской и посовѣтовавшаго разъ моему отцу сдѣлать изъ меня такого-же конногвардейца, какимъ былъ онъ. Лучшаго Николай выдумать не могъ, какъ дядя Евгенія Онѣгина. Конногвардейцемъ я впрочемъ не сталъ, хотя и былъ тутъ-же сдѣланъ пажемъ. Этому помѣшало,— во первыхъ—природа, наградившая мѣня очень маленькимъ ростомъ, а во вторыхъ отвращеніе къ военной службѣ. Помню и другую фигуру, еще болѣе строгую, чѣмъ та—фигуру моего дѣда съ материнской стороны, А. З. Хитрово. Онъ никогда ни въ чемъ не уступалъ никому, не прощалъ

ничего, въ томъ числѣ и себѣ, и не раскаивался ни въ чемъ; былъ онъ очень щедръ, но благотворительность его была такая же аккуратная, какъ часы докладовъ его подчиненныхъ, которые всѣ, въ томъ числѣ его Товарищъ, совершенное впрочемъ ничтожество, докладывали стоя; людей распознавать онъ все-таки умѣлъ. Переведенному въ его канцелярію мелкому провинціальному чиновнику, В. С. Татаринову, довелось ему разъ докладывать какое-то дѣло, и онъ былъ такъ пораженъ изяществомъ и ясностью изложенія, что назначилъ его, нѣсколько мѣсяцевъ спустя, начальникомъ своей канцеляріи. При слѣдующемъ Государственномъ Контролерѣ графѣ Безбородко, Татариновъ былъ уже Товарищемъ, а послѣ назначенія Н. Н. Анненкова Кіевскимъ Генералъ-Губернаторомъ,— Государственнымъ Контролеромъ сдѣлался самъ онъ. Дѣятельность его слишкомъ извѣстна, чтобы я про нее здѣсь упоминалъ. Видѣлъ я его часто у насъ, такъ какъ до конца своей жизни онъ сохранилъ самыя дружескія отношенія къ нашей семьѣ. Не могу себѣ простить, что не началъ службы подъ его начальствомъ; это былъ необыкновенно свѣтлый умъ, понимавшій все съ полуслова, въ томъ числѣ и человѣческія слабости, къ которымъ онъ относился снисходительно. Татариновъ оставилъ почему-то за собой среди публики репутацію краснаго. Кое-кто, вѣроятно, вспомянулъ его лихомъ, потому что въ редакціонныхъ комиссіяхъ онъ былъ на той-же сторонѣ, какъ

Ю. Самаринъ, князь Черкаскій и Н. Милютинъ. Тогда и за это выдавался аттестатъ въ краснотѣ. Крестьянская реформа, въ самомъ дѣлѣ, была побѣдой чиновничества надъ крѣпостнической частью дворянства. Но въ то время лучшіе люди, изъ рядовъ чиновничества, видѣли яснѣе и дальше, чѣмъ большинство помѣщиковъ, хотя послѣдніе сидѣли на землѣ, а первые только за зеленымъ сукномъ. Зато изъ людей земли, какъ разъ самые даровитые, какъ Черкасскій и Самаринъ, примкнули къ партіи передовыхъ бюрократовъ. Стараются теперь приравнять сдѣланное тогда затѣянной нынѣ экспропріаціи владѣльцевъ. Въ этомъ сопоставленіи, однако, глубокая натяжка. Реформаторы 19-го Февраля исходили изъ принципа «status quo» и признавали за крестьянами то, чѣмъ они фактически владѣли нѣсколько вѣковъ сряду. Надѣлы были настоящимъ эмфитэотическимъ владѣніемъ, т. е. наслѣдственной арендой, хотя такого института нашъ X-тый томъ и не знаетъ. Опираться на это, значило стать на единственную твердую почву, какую можно было найти въ тогдашней русской дѣйствительности. Но побѣда тогдашнихъ передовыхъ бюрократовъ носила въ себѣ задатки ихъ будущихъ ошибокъ и пораженій.

Настоящій разцвѣтъ чернильнаго канцеляризма какъ-разъ начался съ крестьянской реформы. Не смотря на то, что люди земли, какъ Черкасскій и Ю. Самаринъ, играли видную роль въ ре-

дакціонныхъ комиссіяхъ, подавляющее большинство ихъ членовъ—Милютинъ, Соловьевъ, Зарудный, Гротъ, Татариновъ и т. д. были бюрократами чистѣйшей воды, хотя и бюрократами очень просвѣщенными, сильно опередившими средній уровень тогдашняго общества. Ихъ мечтой было обновленіе Россіи сверху, при помощи канцеляріи, а съ такой мечтой, безъ нѣкоторой дозы «генералина», не обойдешься. Можно быть большимъ либераломъ и думать заодно съ Молчалинымъ, что прочимъ не должно «смѣть свое сужденіе имѣть». Типъ этого рода, нѣкто А. Н. Поповъ, тайный совѣтникъ и радикалъ, человѣкъ очень добрый, горячій и обидчивый, тоже бывшій членомъ редакціонныхъ комиссій,—имѣлъ на мою служебную судьбу косвенное вліяніе. Когда я поступилъ во второе отдѣленіе, онъ былъ редакторомъ «Законовъ о состояніи» и старался ихъ редактировать, насколько можно было, въ самомъ передовомъ духѣ. Разъ—было это кажется въ 67-мъ году—мы разговорились съ нимъ о надѣлавшей тогда много шуму книгѣ кн. А. И. Васильчикова «Землевладѣніе и земледѣліе». Почтенный князь, человѣкъ достойный самаго высокаго уваженія, воскурилъ, однако, въ своемъ произведеніи нѣкоторый фиміамъ на алтарѣ популярности. Такъ, уже въ половинѣ 60-хъ годовъ, онъ плакался на крестьянское малоземелье, и находилъ, что доходы съ надѣловъ во многихъ мѣстностяхъ не покрываютъ выкупныхъ платежей,—все это на

основаніи среднихъ цифръ начавшей тогда лепетать земской статистики. Впослѣдствіи я встрѣтился съ кн. Александромъ Иларіоновичемъ на обѣдѣ, данномъ въ честь Александра Семеновича Іонина, когда тотъ вернулся изъ Черногоріи, гдѣ былъ долгое время министромъ-резидентомъ. Черты князя меня поразили своимъ изящнымъ, неподдѣльнымъ благородствомъ. Но 10 лѣтъ раньше, я имѣлъ наклонность нѣсколько посмѣиваться надъ сочиненіемъ князя, которое за него писали, если не ошибаюсь, какіе то студенты. Тамъ, напримѣръ, говорилось, что германское крестьянство было трижды обобрано дочиста и что тѣмъ не менѣе ему принадлежитъ цѣлая треть нѣмецкой территоріи. Эти маленькія неточности побудили одного шутника сказать про князя «non seulement il n'était pas le fils de ses oeuvres mais il n'en etait pas même le père». А. Н. Поповъ на меня очень разгнѣвался, обвинивъ меня въ недостаточномъ сочувствіи къ демократическимъ реформамъ, и прямо сказалъ, что только благодаря людямъ, подобнымъ князю, мы всѣ не попали на висѣлицу. Недостатокъ либерализма считался тогда грѣхомъ даже на службѣ.

Крестьянская реформа была поворотной точкой въ ходѣ нашего развитія и въ другомъ смыслѣ. Тѣ самые дворянскіе депутаты, которые пріѣзжали изъ провинціи, исполненные злобы на освобожденіе и обиды на то, что все дѣло реформы передано было не въ ихъ руки, а въ руки чинов-

никовъ, вернулись въ свои гнѣзда съ горькимъ чувствомъ недовольства, находя, что пора Россіи перестать быть управляемой одними бюрократами и что дворянству въ утѣшеніе, за потерю крѣпостныхъ, надо дать право на участіе въ управленіи. Конституціонныя идеи зацвѣли вдругъ въ тотъ знаменательный вечеръ, когда депутаты перваго призыва собрались у тогдашняго губернскаго предводителя гр. П. А. Шувалова, дабы рѣшить вопросъ объ адресѣ Государю. Адресъ, какъ извѣстно, представленъ не былъ и не были уважены желанія депутатовъ. Зато были посѣяны сѣмена дворянской оппозиціи, давшей сильный ростокъ 4 года спустя, когда были открыты земскія учрежденія. Это можно доказать очень наглядным образомъ. Двое изъ вождей крѣпостнической партіи, рязанскіе депутаты кн. Волконскій и Офросимовъ—стали потомъ главарями земской лѣвой въ этой губерніи. Повсюду тогда складывался тотъ сортъ людей, прототипомъ которыхъ былъ Н. А. Безобразовъ,—людей, соединявшихъ горячія отстаиванія дворянскихъ правъ съ не менѣе горячей враждой къ правительству. Ихъ не даромъ тогда обозвали «крѣпостниками—гарибальдійцами».

Но вернемтесь къ моему дѣду, оставшемуся до конца жизни—онъ скончался 18-го Февраля 1854 г. 79 лѣтъ отъ роду—цѣльнымъ представителемъ минувшей эпохи. Онъ не успѣлъ дожить до новыхъ вѣяній и въ своемъ домѣ, да и

надъ дальнею родней, оставался до конца неограниченнымъ самодержцемъ, хотя и самодержцемъ очень милостивымъ. Нѣсколько разъ онъ платилъ долги своего старшаго внука А. П. Донаурова и всегда былъ готовъ помочь даже чужому. Зато онъ держалъ всѣхъ близкихъ, а подчасъ и не однихъ близкихъ, что называется, въ ежовыхъ рукавицахъ. Многочисленные внуки и племянники и даже сестры его жены, рожденной гр. Мусиной-Пушкиной, передъ нимъ трепетали. Онъ требовалъ отъ нихъ не только внѣшнихъ знаковъ почтенія, онъ хотѣлъ, чтобы вся ихъ жизнь складывалась по его принципамъ. Нельзя, впрочемъ, сказать, чтобы принципы эти были плохи. Аккуратный въ самыхъ мелочахъ, даже въ своей щедрой благотворительности,—а двѣ эти добродѣтели плохо уживаются вмѣстѣ—онъ такой-же аккуратности ожидалъ и отъ другихъ. Все онъ подвергалъ строгому учету; недаромъ онъ 24 г. былъ Государственнымъ Контролеромъ. Жизнь его походила на часовой механизмъ. Сперва выслушиваніе неизбѣжнаго доклада—потомъ Государственный Совѣтъ, либо Комитетъ Министровъ, потомъ часа въ 4 пріѣздъ къ моей матери вплоть до обѣденнаго часа. Садился онъ за столъ ровно въ 5 час. и не допускалъ, чтобы опаздывали, хотя-бы на минуту. Исключенія составляли праздничные и торжественные дни, когда вся семья обѣдала у него и горе тому, кто опаздывалъ. Разъ—это было въ самый день Рождества—случилось это съ

моимъ отцомъ, тогда уже дивизіоннымъ генераломъ. Его потребовалъ къ себѣ Цесаревичъ, командовавшій, если не ошибаюсь, гвардейскимъ корпусомъ. Когда было безъ трехъ минутъ 5, дѣдушка посмотрѣлъ на часы, строго взглянулъ на мать, даромъ, что она была любимой его дочерью, и велѣлъ подавать супъ. Молча онъ прошелъ въ столовую, и также молча, не прикоснувшись къ закускѣ, занялъ свое мѣсто. За столомъ—ни звука. Слышенъ былъ только въ огромной столовой почтительный скрипъ сапогъ убѣленнаго сѣдинами буфетчика. Прошли минуты 4, раздался звонокъ и вошелъ мой отецъ, извиняясь, что его задержалъ Наслѣдникъ.

— Мой другъ,—тихо сказалъ дѣдушка, — не знаю, кто тебя тамъ задержалъ, а мои привычки ты знаешь. Коль не пріѣхалъ въ пору, значитъ — нѣтъ аппетита. А коли такъ, зачѣмъ же торопиться обѣдать. Поѣзжай-ка лучше къ себѣ, подожди, пока аппетитъ явится, и тогда отправляйся въ какой-нибудь ресторанъ—благо ихъ много.—Никакого привѣтствія, ни даже пожатія руки. За столомъ никто не смѣлъ проронить слова. Мать тихо плакала. Такъ гробовая тишина и процарила за столомъ до конца. Тогда дѣдушка шумно отодвинулъ стулъ, не сказавъ никому ни слова, ушелъ къ себѣ въ кабинетъ и закурилъ сигару—въ гостиной онъ не курилъ никогда. Потомъ онъ легъ отдохнуть на полчаса—онъ дѣлалъ это каждый день и ровно въ 9 час. усѣлся за свою обычную

партію въ преферансъ, въ которой обыкновенно принимали участіе одинъ изъ братьевъ моего отца—Михаилъ Гавріиловичъ, и двое изъ служившихъ тогда въ контролѣ—Дурново, отецъ недавняго Московскаго Генералъ-Губернатора и нѣкто Каратаевъ, человѣкъ добрѣйшій и преданный дѣдушкѣ до низкопоклонства, хотя ни въ комъ не нуждался, будучи самъ очень богатъ. Это былъ маленькій человѣчекъ, шаркавшій ножкой, просто ради охоты шаркать, и чрезвычайно плохо воспитавшій своихъ двухъ сыновей, которые въ два-три года истребили отцовское состояніе. Старшій изъ нихъ, довольно пошловатый юноша, чрезвычайно гордился тѣмъ, что у него на содержаніи настоящая француженка.

Но довольно про моего дѣда. Скажу только еще, что лично ко мнѣ онъ былъ очень добръ. Оттого, можетъ быть, что не дожилъ до моихъ юношескихъ проказъ. Онъ скончался на своемъ креслѣ, никогда не согласившись слечь, хотя предсмертная болѣзнь длилась слишкомъ 3 мѣсяца и всѣ, и онъ самъ въ томъ числѣ, знали очень хорошо, что она ведетъ къ неизбѣжной смерти. Это было наканунѣ паденія Севастополя и начала великихъ реформъ.

II.

Экзамены въ университетъ.—Мои учителя: П. М. Перевлѣсскій, Ф. Ф. Эвальдъ и П. Н. Бѣлоха.—Знакомство съ семьей Віельгорскихъ.—Графъ М. Ю. Віельгорскій и его братъ; три его дочери.—Сыновья; старшіе изъ нихъ—Миша и Володя Веневитиновы.—Меценатство графа Михаила Юрьевича и его брата Матвѣя Юрьевича.—Послѣдній годъ передъ университетомъ.—Отъѣздъ за границу.

ВЪ чудный майскій день мы вдвоемъ съ товарищемъ—это былъ Константинъ Горчаковъ, младшій сынъ канцлера,—поѣхали экзаменоваться въ университетъ. Было насъ всего, если не ошибаюсь, человѣкъ 16-ть, въ томъ числѣ Е. И. Утинъ, сынъ еврейскаго банкира и впослѣдствіи извѣстный адвокатъ. Обладалъ онъ типичной физіономіей своей расы и ярко-русыми, почти рыжими, волосами, которыми рѣзко отличался отъ своихъ черноволосыхъ братьевъ. Ростомъ онъ былъ еще пониже меня, и, судя по его отвѣтамъ на экзаменахъ, отличался недурными способностями. Не сбивался онъ ни разу. Упоминаю про все это, потому что ниже придется еще вспомнить объ Е. Утинѣ. Впрочемъ отвѣчали хорошо мы всѣ: видно недурно приготовились. Кажется, намъ оказана была какая-то милость тѣмъ, что допустили экзаменоваться весной. Подавляющая масса будущихъ студентовъ поступала лишь

съ осени. Но кѣмъ эта милость была оказана, и чѣмъ обусловлена, теперь уже не помню. Въ сущности, экзамены оттого становились труднѣе: съ каждымъ изъ насъ профессоръ возился по долгу, перетрясая во всѣ стороны наши немудрыя познанія. Помню, какъ мнѣ пришлось отвѣчать по латинскому языку проф. Благовѣщенскому. Сперва онъ заставилъ переводить безъ лексикона мѣсто изъ Нибура: оригинально, что для такого опыта былъ взятъ не русскій текстъ, а переводъ съ нѣмецкаго, потомъ заставили меня объяснить мѣсто изъ Цицерона, а послѣ такого двойного испытанія профессоръ спросилъ у меня futurum exactum отъ глагола moneo. Вопросъ былъ нетруденъ, но должно быть у меня мутилось въ головѣ, ибо я отвѣтилъ monimvero и получилъ четверку, единственную, впрочемъ, за весь экзаменъ. Какъ бы то ни было, мы всѣ были студентами и могли испытать всласть ощущеніе удовлетвореннаго тщеславія. До лекцій оставалось еще полныхъ 4 мѣсяца, а всѣмъ намъ было по 16 или много по 17 лѣтъ.

Учился я дома, какъ и большинство моихъ сверстниковъ—не говорю товарищей, потому что собственно у меня таковыхъ и не было вовсе: въ этомъ заключался главный недочетъ моихъ юныхъ годовъ, совсѣмъ не научившихъ меня обращаться съ людьми. Не могу не вспомнить добрымъ словомъ наставниковъ моей юности. Трое изъ нихъ были людьми замѣчательными—

П. Н. Бѣлоха—преподаватель географіи, Ф. Ф. Эвальдъ, учившій меня физикѣ и математикѣ и П. М. Перевлѣсскій, съумѣвшій мнѣ съ раннихъ годовъ внушить то поклоненіе крупнымъ талантамъ русскаго слова, съ которымъ я уже потомъ не разставался. Послѣдній былъ, какъ извѣстно, скромнымъ героемъ жизненнаго романа извѣстной писательницы Жадовской, умершей дѣвицей, потому что ей не дали выйти замужъ за любимаго человѣка. Перевлѣсскаго тогда перевели въ столицу изъ Костромы, гдѣ происходилъ этотъ романъ, и жизненная неудача легла мягкою грустью на всю его натуру, ничуть его не озлобивъ. Мягкость была отличительною чертою Перевлѣсскаго; впрочемъ, необыкновенною добротою, которой нашъ вѣкъ уже разучился, отличались и Эвальдъ и Бѣлоха. А послѣдніе двое были и людьми глубокаго ума. Помню первый урокъ мой съ Федоромъ Федоровичемъ Эвальдомъ. Мнѣ всего было тогда 11 лѣтъ, и занимались мы ариѳметикой. Въ столовой, гдѣ я учился, стояла большая, черная доска. Онъ написалъ на ней мѣломъ какую-то очень крупную цифру и сказалъ—«Ну вотъ, вы думаете я сейчасъ подъ этимъ числомъ напишу другое, согласно правилу, чтобъ единицы стояли подъ единицами, а десятки подъ десятками. Совсѣмъ нѣтъ: другое число я напишу на бумажкѣ, а васъ попрошу сложить». Тутъ же мнѣ было объяснено, что дробь есть въ сущности то же дѣленіе, только

въ неисполненной формѣ, и, что можно такое дѣленіе привести къ частному, если даже числитель меньше знаменателя. Такимъ образомъ мы съ мѣста перешли къ десятичнымъ дробямъ; и, хотя долженъ сознаться, къ математикѣ я способностей не имѣлъ никакихъ, Федоръ Федоровичъ съумѣлъ пробудить мой дремлющій умъ и заставить его работать самостоятельно. Развитіе, впрочемъ, было любимымъ словечкомъ въ концѣ 50-хъ годовъ и въ началѣ 60-хъ. Оно имѣло, конечно, свою слабую сторону, такъ какъ дѣйствительное знаніе часто замѣнялось болтовней. Но вело оно, несомнѣнно, къ привычкѣ самостоятельно трудиться и мыслить не по книжкѣ. Все поколѣніе 60-хъ годовъ, учившееся по этой системѣ, было совершенно свободно отъ вѣры въ чей либо авторитетъ. Это вело, конечно, къ самомнѣнію, такъ какъ юноши, не знавшіе кто былъ Дмитрій Донской и о Пелопонесской войнѣ имѣвшіе лишь очень смутное понятіе, бойко создавали, тѣмъ не менѣе, цѣлую философію исторіи. Но мыслить эта система все-таки научила, и, благодаря ей, порода ученыхъ попугаевъ у насъ перевелась.

Третій мой учитель П. Н. Бѣлоха примѣнялъ къ географіи тотъ же методъ. Его преподаваніе вело къ тому, чтобы карта врѣзывалась твердо въ память, и съ этой цѣлью онъ заставлялъ ученика чертить и чертить, пока не достигалось хотя подобіе дѣйствительности, и весь земной шаръ не

представлялся чѣмъ-то цѣлымъ, гдѣ надо было знать взаимное отношеніе любыхъ 2-хъ мѣстностей. И что было замѣчательнаго въ этихъ 3-хъ людяхъ, это полное отсутствіе шаблона и рутины. Эти давно вспаханные и перепаханные умы казались дѣвственными. Помню еще, какъ Порфирій Никитичъ—такъ звали Бѣлоху—разъ увидалъ у меня клочекъ бумаги, на которомъ было написано «Deus-Mundus». Я тогда сильно увлекался пантеизмомъ и воображалъ, что вселенная должна непремѣнно имѣть душу, которая и есть Богъ. «Раненько вамъ еще въ это вдумываться»,—сказалъ Порфирій Никитичъ—мнѣ было тогда всего 13 лѣтъ,—а пожалуй, что оно и такъ... Пантеизмъ увлекалъ тогда самаго Бѣлоху: онъ былъ вполнѣ человѣкомъ 40-хъ годовъ и, стало быть, ученикомъ Гегеля. Удивительная у него была наружность: одинъ глазъ мутно-сѣраго цвѣта, другой—покрытый бѣльмомъ, лицо—совершенно безцвѣтное, жидкія космы плохо зачесанныхъ волосъ и одежда, всегда выцвѣтшая и плохо на немъ сидѣвшая. Онъ зарабатывалъ много и былъ всегда бѣденъ: виновата въ этомъ была, вѣроятно, его дочь—синьора Белокка, впослѣдствіи—примадонна на Парижской Большой Оперѣ.

Учебные годы протекли для меня довольно одиноко. Устраивались, правда, танцъ-классы съ ветераномъ тогдашняго балета Гольцемъ, который еще за 80 лѣтъ представлялъ на сценѣ Клода Фролло въ балетѣ Эсмеральда, а въ частныхъ до-

махъ чуть не до гробовой доски показывалъ юношамъ, какъ надо вальсировать по всѣмъ правиламъ искусства. Танцы, конечно, лучшее средство для сближенія. Но какъ-то на этой благопріятной почвѣ даже въ самые влюбчивые годы въ 15—16 лѣтъ ни въ кого я по-настоящему не влюблялся. Да и товарищества не зарождалось, какъ слѣдуетъ. Были это все полуцеремонныя отношенія съ подроставшими молодыми людьми, съ которыми соблюдались всѣ правила этикета, и говорилось исключительно по-французски. Какъ ни странно это теперь звучитъ, русскій языкъ въ то время совсѣмъ не допускался среди, такъ называемаго, хорошаго общества. Заговорить съ дамою по-русски, значило тогда не умѣть себя держать въ обществѣ; да и среди мужской молодежи господствовалъ фран. языкъ съ рѣдкимъ исключеніемъ въ пользу англійскаго. Смутно помню друзей ранняго дѣтства: они какъ-то отцвѣли, неизвѣстно почему, на порогѣ юности. Не стоитъ даже о нихъ вспоминать. Былъ всего только одинъ домъ, сыигравшій въ моей жизни большую роль—домъ графовъ Віельгорскихъ на углу Итальянской и Михайловской площади, съ которымъ у меня установились близкія, пріятельскія отношенія. Пріязнь эта возникла рано. Въ 1850 г. мы занимали дачу Ниротморцева на Петергофскомъ шоссе. Въ тѣ далекіе уже годы это шоссе было непрерывнымъ рядомъ дачъ роскошныхъ и невзрачныхъ, иногда причудливыхъ, иногда заурядныхъ, то съ готиче-

скими башнями, то съ казарменнымъ фасадомъ, куда чуть не весь Петербургъ лѣтомъ стремился подышать сырымъ воздухомъ Финскаго прибрежья. Отецъ былъ тогда съ своимъ полкомъ гдѣ-то за Петербургомъ; онъ возвращался съ венгерскаго похода. Матушку въ ея одиночествѣ приласкала совсѣмъ по-дружески наша ближайшая сосѣдка графиня Л. К. Віельгорская, которой принадлежала знаменитая въ то время по своей красотѣ мыза Павлино. Графиня держала тамъ открытый домъ, хоть и не могу сказать, чтобы гостей у нея собиралось слишкомъ много. Въ обществѣ ее не долюбливали, несмотря на тонкій умъ и на высокую образованность. Слишкомъ уже она была причудлива въ своихъ отношеніяхъ къ людямъ, то необыкновенно привѣтлива, то холодна и надменна. Вредило ей, быть можетъ, то, что слишкомъ большой контрастъ она представляла съ своимъ мужемъ-графомъ Михаиломъ Юрьевичемъ, добродушно-блестящимъ острякомъ, позволявшимъ себѣ зачастую шутить даже съ Николаемъ Павловичемъ, который за необыкновенное остроуміе спускалъ ему рѣшительно все. До конца жизни—а умеръ онъ, кажется, въ 1859 г.—Михаилъ Юрьевичъ не переставалъ любить вино и женщинъ, давать у себя тонкіе обѣды и радушно принимать рѣшительно всѣхъ, кто выдавался талантомъ по какой-нибудь отрасли. Ни одна иностранная знаменитость не миновала Петербурга безъ того, чтобы не получить крещенія въ его домѣ. И знамени-

тости русскія—Глинка, Тургеневъ, Гоголь, Вяземскій, Тютчевъ—были его друзьями. Одно его отличало—полная одинаковость обращенія со всѣми. Великаго князя онъ принималъ совершенно на равной ногѣ съ самымъ невзрачнымъ изъ простыхъ смертныхъ, если только этотъ простой смертный былъ отъ природы неглупъ. Въ противномъ случаѣ не принимали вовсе. Матушка, какъ сказано выше, сблизилась съ графиней Луизой Карловной въ лѣто 1850 г. Случилось это и очень просто и своеобразно. Въ одинъ прекрасный день графиня зашла къ намъ на дачу, сказавъ, что сама судьба поручила матушку ея попеченію—матушка чувствовала себя нездоровой въ это лѣто. Ранѣе этого онѣ почти совсѣмъ не были знакомы, а тутъ сразу перешли къ самой короткой близости. Видѣлись онѣ чуть не каждый день, то въ Павлинѣ, то у насъ. Графиня велѣла даже устроить калитку между обѣими дачами, дабы еще болѣе сократить разстояніе. Въ Павлинѣ гостили двѣ старшія замужнія дочери графини, Аполлина Михайловна Веневитинова и графиня Софія Михайловна Соллогубъ. Была при ней и младшая дочь Анна Михайловна, въ которую влюбленъ былъ Гоголь, и, которая впослѣдствіи, кажется, въ 1858 году вышла за моего дядю князя А. И. Шаховского. У Аполлины Михайловны было двое сыновей—Миша и Володя, почти мои сверстники, съ которыми я, разумѣется, подружился особой дѣтской дружбой, большею частью, не оставляющей послѣ

себя воспоминанія. У насъ, однако, вышло иначе: послѣ довольно длиннаго перерыва, передъ самымъ университетомъ, мы сблизились опять, и уже по настоящему, на цѣлую жизнь. Отношенія мои къ обоимъ братьямъ были совсѣмъ не одинаковы. Да и они другъ на друга походили мало. Старшій, совсѣмъ бѣлокурый, съ вьющимися жидкими волосами, глядѣлъ задумчиво и былъ скорѣе меланхоликомъ. Впослѣдствіи онъ нѣсколько обрюзгъ, немного сгорбился и весь ушелъ въ какія-то мудреныя научныя занятія, ни къ чему впрочемъ не приводившія. Онъ весь былъ въ отца, съ тою, однако, разницею, что Алексѣй Владиміровичъ Веневитиновъ всегда любилъ сорить деньгами и держался привычекъ большого барина, а его сынъ обладалъ противоположными свойствами, хотя въ дѣлахъ былъ такъ же неразсчетливъ, какъ и его папенька. Младшій, Володя, весь напоминалъ семью своей матери; худощавый, сухой брюнетъ, очень высокаго роста, онъ глядѣлъ красавцемъ, и, насколько вкусы старшаго брата тянули послѣдняго къ рабочему столу и къ библіотекѣ, настолько младшій— былъ свѣтскимъ человѣкомъ до мозга костей. Одѣвался онъ всегда съ иголочки, тратилъ деньги безъ счета, любилъ общество и при всемъ томъ не увлекался ни картами, ни виномъ, ни женщинами. Развитый до болѣзненности тактъ былъ его главною чертою; чувство мѣры во всемъ, полное отсутствіе страстности и природное чутье изящнаго—этимъ исчерпывалась его натура, не глу-

бокая, но глубоко привлекательная. Разумѣется, онъ былъ любимцемъ матери. Братья привязаны другъ къ другу не были—на то слишкомъ различны были ихъ темпераменты. Оба другъ надъ другомъ подтрунивали—старшій Миша надъ пустою свѣтскостью Володи, послѣдній—надъ безплодною ученостью старшаго. Но, благодаря необыкновенной мягкости Володи, эта взаимная нелюбовь никогда до рѣзкихъ столкновеній не доводила, несмотря даже на то, что у Миши зачастую сквозь обычную податливость проглядывало вспыльчивое упрямство. Говорю такъ долго здѣсь о братьяхъ Веневитиновыхъ потому, что семья ихъ, ихъ домъ—«Божій домъ»—«La maison du bon Dieu»,—какъ его прозвали друзья—былъ центромъ, вокругъ котораго много лѣтъ вращалась моя собственная жизнь.

Павлино я помню живо. Обширный садъ, какъ въ настоящей деревнѣ, большой домъ безъ всякой архитектуры, совершенно произвольный въ своихъ причудливыхъ линіяхъ и тѣмъ не менѣе свидѣтельствовавшій о необыкновенномъ вкусѣ хозяина. Много воздуха и свѣта, а главное—огромная стеклянная галерея, вся убранная цвѣтами и тропическими растеніями. Помню лучше всего пряный запахъ лилій, наполнявшій эту галерею. Нигдѣ и никогда столько я ихъ не видалъ. Былъ одинъ кумиръ, которому въ этомъ домѣ всѣ поклонялись, кромѣ развѣ одной Луизы Карловны. Этотъ кумиръ—была музыка. Самъ графъ Михаилъ Юрье-

вичъ былъ недурнымъ композиторомъ: отъ него много осталось романсовъ, два квартета, цѣлая опера, кажется впрочемъ неоконченная. Его младшій братъ, Матвѣй Юрьевичъ, великолѣпно игралъ на віолончели. Оба, то и дѣло, устраивали у себя музыкальные вечера и радушно принимали у себя артистовъ: и пріѣзжихъ и своихъ. Рубинштейнъ, Давыдовъ, Венявскій, а изъ иностранцевъ—Вьетанъ и Сервэ—были у нихъ своими людьми. Эти музыкальныя наклонности передались и потомству: всѣ ихъ дѣти, внуки, правнуки были природными, хотя, быть можетъ, не выдающимися музыкантами. Вторилъ этимъ вкусамъ и одинъ изъ зятьевъ Михаила Юрьевича—графъ В. А. Соллогубъ, извѣстный авторъ «Тарантаса». Но о немъ рѣчь впереди.

Домъ Віельгорскихъ, или вѣрнѣе Веневитиновыхъ, занимавшихъ обширную квартиру въ домѣ графа со стороны Итальянской, былъ единственнымъ въ Петербургѣ, куда я довольно часто заходилъ въ послѣднюю зиму передъ университетомъ. Былъ я въ эту зиму предоставленъ совершенно себѣ. Послѣдній изъ моихъ трехъ учителей былъ отпущенъ, когда мнѣ только что минуло пятнадцать. Впрочемъ какъ онъ, такъ и два его предшественника, особеннаго вліянія на меня не оказали. Выборъ ихъ нельзя было назвать удачнымъ. Послѣдній изъ нихъ, Эдуардъ Карловичъ Ребентышъ, былъ самымъ усовершенствованнымъ воплощеніемъ нѣмецкой аккуратности и

нѣмецкаго педантизма. Недурной латинистъ, какъ всѣ бывшіе Дерптскіе студенты, онъ изяществу формъ у классиковъ не научился. Рыжіе бакенбарды обрамляли его кислое лицо, украшенное слѣдами бывшихъ дуэлей. На улицѣ онъ постоянно носилъ пальто въ накидку и вѣчно грязныя резиновыя галоши. Когда онъ говорилъ съ матушкой, онъ неизмѣнно выставлялъ впередъ лѣвую ногу и наклонялъ голову, чтобы потомъ рѣзко ее приподнять, когда приходилось отвѣтить. Не помню, чтобы онъ, хоть разъ, въ чемъ либо съ матушкой согласился. Впрочемъ, онъ былъ —пречестный и предобрый человѣкъ, которому я обязанъ твердымъ знаніемъ нѣмецкаго языка и столь-же твердымъ умѣніемъ распредѣлять свое время. Благодаря этому, должно быть, мнѣ и въ голову не приходило злоупотреблять своей свободой, когда я остался безъ гувернера. Мои нѣмецкіе вкусы были, впрочемъ, развиты не однимъ Ребентышемъ. Мой первый воспитатель—ограниченный, но добродушный баварецъ—Гольцингеръ, котораго я очень любилъ, и который моимъ воспитаніемъ занимался мало, выучилъ меня зато основательно по-латыни и зажегъ въ моей фантазіи страстное поклоненіе Шиллеру. Помню, съ какимъ восторгомъ одиннадцати лѣтъ я въ первый разъ прочелъ «Валленштейна». Разумѣется, неподражаемый образецъ вызвалъ во мнѣ охоту къ подражанію, и въ слѣдующемъ году я принялся за нѣмецкую трагедію въ стихахъ, такъ и оставшуюся неоконченной.

Итакъ, пятнадцати лѣтъ мнѣ дана была полная свобода; позволили мнѣ носить высокую шляпу, ходить по улицѣ безъ провожатаго, не отдавая никому отчета въ томъ, что я дѣлаю. Но этой свободѣ предшествовало рѣшительное испытаніе. Весною 1858 года домашній совѣтъ рѣшилъ. что гимназическій курсъ исчерпанъ до конца и можно подвести итогъ моимъ познаніямъ. Созваны были учителя и нѣкоторые родственники, приглашенные быть свидѣтелями экзамена, которому я подвергся. Не могу не признать теперь, что это было едва ли не лучшимъ средствомъ разжечь во мнѣ чрезмѣрное самолюбіе. Да это, кажется, родня сознавала прекрасно. Какъ послѣ до меня дошло, она посмѣивалась надъ моимъ ученымъ тріумфомъ, и даже меня за это не особенно взлюбила. Но, если мнѣ экзаменъ и принесъ нѣкоторый вредъ, то матушкѣ зато онъ принесъ великое удовлетвореніе. Послѣдніе два года она вся отдалась моему воспитанію, которымъ занималась гораздо болѣе моего отца, и нерѣдко вечеромъ отказывалась отъ какого-нибудь выѣзда, чтобы присутствовать на моихъ урокахъ. Она меня умственно высидѣла, хотя, быть можетъ, мало подготовила къ дѣйствительной жизни, въ которой, что ни говори, гораздо нужнѣе распознавать людей, чѣмъ заучивать неправильные глаголы. Умѣніе ѣздить верхомъ, фехтовать, грести, танцовать и править ведетъ къ цѣли вѣрнѣе, чѣмъ изученіе классиковъ или знаніе алгебры. Въ этомъ я имѣлъ случай

убѣждаться не разъ. Но, чтобы чѣмъ-нибудь восполнить это незнаніе жизни, рѣшено было лѣто въ этомъ году провести заграницей. Матушка кстати нуждалась въ Маріенбадскихъ водахъ. Тридцатаго мая мы отчалили на пароходѣ въ Штеттинъ: Варшавская дорога тогда доходила только до Пскова.

III

Заграничное путешествіе.—Берлинъ и Дрезденъ.—Моя неспособность любоваться чужими странами.—Поѣздка въ Кёнигсвартъ.—Князь Меттернихъ.—Лѣто въ Гапсалѣ.—Царская охота.—Тогдашнее положеніе Прибалт. Края.—Поѣздка моего отца въ Польшу.—Знакомство съ Цесаревичемъ Николаемъ Александровичемъ.—Его воспитатели.—Яша Ламбертъ и его мать.

Сѣроватая, почти жемчужная поверхность Балтійскаго моря оставалась такою-же невозмутимо-гладкою всѣ 3 дня нашей поѣздки, похожіе на обманчиво-тихую податливость женщины, временно разучившейся дѣлать мужу сцены. Два раза только внѣшній міръ вдругъ являлся передъ моими глазами среди безграничнаго зеркала водъ и оба раза являлся полнымъ контрастомъ съ этимъ зеркаломъ. Сперва вынырнулъ крошечный, правда, но совершенно непривѣтливо глядѣвшій Гохландъ, потомъ тянулись нѣсколько часовъ сряду мрачные утесы Готланда, одного, кажется, изъ самыхъ малоизвѣстныхъ уголковъ Европы, куда со времени Ганзы ни одинъ путешественникъ не заглядывалъ. На 3-й день—земля: узкій рѣчной каналъ между островами Узедомъ и Воллинъ, гладкими, какъ тарелка и ярко-зелеными, какъ плохо написанный ландшафтъ. Первый разъ увидалъ я пирамидальныя метелки тополей на берегу, потомъ опять на $^1/_2$ часа открытое море и у сама-

го устья Одера—Штеттинъ. Не могу сказать, чтобы узкія улицы нѣмецкаго города и почернѣвшія отъ угольнаго дыма стѣны домовъ мнѣ особенно понравились. Берлинъ, куда мы пріѣхали въ тотъ же день къ обѣду, мнѣ показался мизернымъ, и пресловутыя «липы»—куда какъ менѣе нарядными, чѣмъ Морская и Невскій. Да и кухня въ отелѣ «Stadt Rom» была подъ одну масть съ обстановкою. Мнѣ въ первый разъ приходилось отвѣдать компота изъ чернослива и шепталы, въ качествѣ приправы къ жаркому, и какого то бисквитнаго пирога съ сомнительными яйцами въ бѣловатомъ соусѣ, что пышно по картѣ называлось Wunderpudding mit Krem. Да Берлинъ и въ самомъ дѣлѣ былъ тогда еще маленькимъ городомъ. Ни вдохновеннаго творчества, ни почтенныхъ историческихъ наслоеній. Все казалось разсчитаннымъ для людей съ мелкими потребностями и съ мелкими вкусами. Столица Пруссіи доросла только до аккуратнаго мѣщанства. Нашихъ Ванекъ, правда, замѣняли коляски, но онѣ, видимо, были построены во времена допотопныя; собственнаго экипажа я не встрѣтилъ ни одного. Городъ обрывался на бранденбургскихъ воротахъ и по обѣ стороны Tiergarten'а тянулись пустыри съ очень вонючими фабриками. На парижской площади росла по мостовой трава. И музей меня вовсе не привелъ въ восхищеніе: въ знаменитомъ Treppenhaus'ѣ мнѣ показалось что-то угловато-театральное, какая то поддѣлка подъ условный

классицизмъ. Огромныя фрески Kaulbach'a очень напоминали сценическій занавѣсъ, до того грубо неестественными были ихъ яркіе эффекты; а въ залахъ меня остановила только одна картина—«Зевсъ и Іо» Корреджіо,—хотя въ картинахъ ярко, даже красиво написанныхъ не было недостатка. И тутъ была соблюдена, какъ во всемъ остальномъ, экономная пышность. На 3-й день мы были въ Дрезденѣ. Здѣсь къ восторгу передъ картинною галлереею меня достаточно подготовили разсказы: фотографій тогда еще не было. Даже мой совершенно невоспитанный вкусъ почуялъ здѣсь что то великое, хотя, долженъ признаться, Сикстинская Мадонна оставила меня холоднымъ. Просидѣлъ я, разумѣется, обязательныя пять минутъ на своемъ мѣстѣ, пока съ противоположнаго конца поднялся англичанинъ, все время глядѣвшій усердно въ книжку въ красномъ переплетѣ, подготовившую его къ наслажденію искусствами, и я могъ пододвинуться на одно мѣсто вправо. Цѣлыхъ пять разъ пришлось такимъ образомъ передвигаться, пока и мнѣ разрѣшено было послѣдовать примѣру англичанина.

Гораздо теплѣе было чувство, вызванное у меня Мадонной Мурильо. Впрочемъ не перечтешь чудныхъ картинъ, невольно поражавшихъ силою кисти. Дрезденъ со своими окрестностями, знаменитой террасой надъ Эльбою и архитектурой зданій, обставлявшихъ королевскій дворецъ, мнѣ вообще понравился куда какъ больше Берлина.

И тутъ, впрочемъ, мой невышколенный вкусъ далъ себя знать. Высокія стѣны домовъ, покрытыя сажей, такъ не походили на Петербургскія улицы, что мнѣ трудно было сразу войти во вкусъ этой старинной новизны, такъ не похожей на привычныя мнѣ картины широкихъ улицъ, напоминавшихъ пустыни, и новыхъ съ иголочки зданій. И коллекція рѣдкостей, прозванная «Grünes Gewölbe», не заманила меня въ свои огромныя залы. Въ стиляхъ я ровно ничего не понималъ, а любоваться вещью только изъ-за того, что ей нѣсколько вѣковъ отъ роду, и что про нее говорится въ путеводителяхъ—я еще не научился. Видно для всего нужна подготовительная школа, даже для умѣнія восхищаться. Надо привыкнуть сперва къ чужой красотѣ, чтобы съ ней сродниться. Такъ было со мною за все это путешествіе. Ни круглые холмы, образующіе долину Майна, ни Франкфуртъ со всей тогда еще не тронутой оригинальностью кривыхъ, средневѣковыхъ улицъ, ни даже Парижъ съ роскошью своихъ магазиновъ и съ мишурнымъ величіемъ второй Имперіи, тогда еще въ полномъ разцвѣтѣ, не произвели на меня особенно ошеломляющаго впечатлѣнія. Даже внушительная перспектива Елисейскихъ полей съ тріумфальною аркою въ концѣ и съ площадью «Согласія» позади, не внушили мнѣ ощущенія величія, какое оба Наполеона старались придать подновленной ими исторіи. Зато Баденъ, гдѣ мы оставались почти мѣсяцъ, показался мнѣ неумолкаю-

щимъ празднествомъ веселыхъ людей среди очаровательной природы. И море, куда мы поѣхали изъ Парижа—это было, помнится, Дьеппъ—приковывало меня на долгіе часы своей вѣчной измѣнчивостью, то ласкающей, то грозной.... Но былъ одинъ эпизодъ, оставшійся у меня въ памяти ярче другихъ: это была поѣздка цѣлымъ обществомъ въ замокъ «Кѳнигсвартъ», гдѣ жилъ тогда Меттернихъ. Число людей, видавшихъ Меттерниха, теперь едва-ли велико. Въ Маріенбадѣ, куда мои родители изъ Дрездена поѣхали лѣчиться, была въ числѣ прочихъ «Badegaste» хорошенькая дочь Меттерниха—графиня Зичи. За ней ухаживали рѣшительно всѣ, и гр. Н. В. Адлербергъ—ген. губ. Финляндіи, возбуждавшій тѣмъ самымъ нѣсколько комическую ревность своей нѣкогда замѣчательно красивой, а теперь далеко уже не молодой супруги, той самой, которую воспѣлъ когда-то Тютчевъ, и необыкновенно преувеличенно вѣжливый Принцъ Фридрихъ Прусскій, считавшій долгомъ вставать со стула и церемонно кланяться, едва какой нибудь прохожій кланялся ему, и мой отецъ, и старичекъ фельдмаршалъ графъ Кренневиль, впослѣдствіи намѣстникъ Венгріи, и разные другіе молодые и немолодые люди. Въ одинъ прекрасный день графиня Зичи обрадовала всѣхъ предложеніемъ свезти ихъ къ своему отцу, знаменитому канцлеру, жившему всего въ какихъ нибудь 10 километрахъ отъ Маріенбада. Въ сказанный день поѣхали—Принцъ Фридрихъ,

впрочемъ, отъ этого отказался. Замокъ глядѣлъ болѣе, чѣмъ скромно: двухъ-этажный домъ безъ всякой архитектуры съ необыкновенно однообразной меблировкой стиля Empire во всѣхъ комнатахъ, и что меня особенно поразило, съ полами изъ разноцвѣтныхъ кирпичей, на которыхъ были набросаны маленькіе коврики. Знаменитый князь вышелъ къ намъ на встрѣчу, не смотря на свои 80 лѣтъ, и обмѣнялся со всѣми довольно банальными любезностями. Онъ утратилъ способность выпрямиться и станъ его, нѣкогда стройный, образовалъ теперь изогнутую линію, нѣсколько походившую на букву z; лицо было гладко выбрито, а волосы, еще довольно густые, отъ бѣлаго цвѣта уже переходили въ желтый; глаза точно были изъ голубого фаянса; привѣтливая улыбка, привѣтливая безъ всякой теплоты, не сходила съ его блѣдныхъ губъ. «Позвольте самому знаменитому дипломату Европы, сказала матушка, представить самаго юнаго»—меня прочили тогда въ министерство иностранныхъ дѣлъ, куда я, однако, совсѣмъ не попалъ.—«Ахъ, скорблю за вашего сына, отвѣтилъ князь,—дипломатія принесла мнѣ одни недочеты».

Въ его кабинетѣ былъ рабочій столъ, на которомъ не замѣчалось и слѣдовъ работы. Зеленый кожаный диванъ, нѣсколько зеленыхъ стульевъ и шкафъ работы Жакоба съ разными рѣдкостями, въ томъ числѣ съ алмазнымъ перстнемъ венгерскаго короля Маттіаса Корвина, которымъ можно было любого человѣка заколоть, до того длиненъ

и заостренъ былъ алмазъ. На стѣнахъ висѣли многочисленныя женскія головки, всѣ очень привлекательныя, очевидно, воспоминанія старинныхъ увлеченій. Князь показывалъ эти головки, слегка ухмыляясь, явно довольный, что имѣетъ случай лишній разъ ими похвастать. Немного комичнымъ проходилъ старый князь въ роли чичероне по своему громкому, длинному прошлому. Визитъ нашъ продолжался недолго, всего какой-нибудь часъ, и разговоръ не уходилъ за предѣлы заурядности: видимо Меттернихъ чувствовалъ себя немного какой-то рѣдкостью изъ музея, на которую пріѣхали поглазѣть.

Позднѣе, когда для меня заграничныя мѣста сдѣлались старинными знакомыми, я встрѣчалъ ихъ уже съ неизмѣннымъ радушіемъ, находя въ ихъ чертахъ что-то мнѣ родное. И въ копоти вѣковъ я научился видѣть что-то привлекательное. Хорошо помню, когда въ эту же осень я вернулся въ Петербургъ, мнѣ улицы родного города показались очень пустынными и въ ихъ привольной безалаберной ширинѣ я не видѣлъ уже ничего величественнаго, а въ отсутствіи стиля ихъ построекъ, обличавшемъ равнодушную новизну Петербурга,—ничего привлекательнаго. Такъ начинается воспитаніе вкуса. И для него, какъ для музыки, видно нуженъ камертонъ.

Слѣдующая зима протекла для меня въ повтореніи всего пройденнаго. Шло это довольно вяло. И вялая тоже была моя свобода, съ которой я

не зналъ, что дѣлать. Интересовали меня въ то время французскіе писатели временъ Людовика-Филиппа, въ особенности, трое изъ нихъ — Гизо, Минье и Токвиль. Читалъ я много и былъ, разумѣется, конституціоналистомъ до мозга костей. Дѣтскіе годы, когда я учился, я былъ не только конституціоналистомъ, но и завзятымъ демократомъ, горячимъ сторонникомъ римскаго плебса и аѳинской черни. Чѣмъ были по настоящему Римъ и Аѳины я, конечно, хорошенько не зналъ, но помнится, какъ разъ въ этомъ году наткнулся я, гуляя, на трехъ рабочихъ, растрепанныхъ и пьяныхъ, и тотчасъ почувствовалъ какимъ-то чутьемъ, что отдать господство нашему доморощенному плебею, дѣйствительному, а не воображаемому, было бы, пожалуй, и не особенно благопріятно для культуры. Съ этимъ новымъ для меня чувствомъ, въ которомъ я сперва не успѣлъ разобраться вполнѣ, я и поступилъ въ университетъ. Что классическій плебей, интересы котораго мнѣ все еще были дороги по прежнему, нисколько не походилъ на плебея современнаго, въ томъ я себѣ еще не отдавалъ отчета. Не подозрѣвалъ я тоже, что мои плебейскія симпатіи были дѣломъ учебника и учителя, а вовсе не послѣдствіемъ основательнаго знакомства съ древнимъ міромъ.

Но передъ университетомъ хочу вспомнить еще одинъ фактъ. Лѣто 1859 г. мы проводили въ Гапсалѣ. Тамъ была и Царская Фамилія, жившая на дачѣ графини Бельгардъ. Въ честь Государя эстлянд-

ское дворянство устроило, помнится, великолѣпную псовую охоту, и мѣстомъ сбора, куда съѣхались и многіе посторонніе, была широкая площадь передъ развалинами Гапсальскаго замка. Туда и меня повезли. Но возвращаюсь къ Гапсальской охотѣ.

Эстляндское дворянство, не одно впрочемъ эстляндское, приняло государя въ Гапсалѣ самымъ торжественнымъ образомъ. Въ чудный іюльскій день, весь сіявшій радостью и солнцемъ, была устроена поистинѣ великолѣпная охота на лисицъ. Мѣстные помѣщики, съѣхавшіеся въ большомъ числѣ, видимо щеголяли сворами борзыхъ и гончихъ. Собрались даже выпустить гіену, купленную въ какомъ-то звѣринцѣ, но Государь этого не захотѣлъ. Впрочемъ, и безъ гіены общаго волненья было вполнѣ достаточно,—только это было волненіе совсѣмъ мирное, даже оперное. Площадь передъ развалинами орденскаго замка кишѣла народомъ, и притомъ народомъ самаго отборнаго свойства, — множествомъ экипажей съ хорошей упряжью, нарядными дамами, охотничьими выѣздами бароновъ и самыми этими баронами, рослыми, молодцеватыми, съ особымъ пошибомъ нѣмецкаго, горделиваго барства. Государь былъ верхомъ; великіе князья и свита тоже. Александръ II-ой былъ на самой вершинѣ своей популярности. Къ реформамъ тогда только что приступили, и потому не было еще разочарованныхъ.— А въ трехъ остзейскихъ губерніяхъ, выставляв-

шихъ на показъ свою преданность, царило одно только невысказывавшееся желаніе: дѣлайте у себя какія-угодно реформы, а у насъ, остзейцевъ, только ничего не трогайте. Это было, поистинѣ, интересное, теперь позабытое зрѣлище народнаго показного довольства балтійской окраины съ парадным видомъ своихъ дворянъ, изъ которыхъ многіе были отставными военными, и съ представительной фигурой князя Александра Аркадьевича Суворова, сказочнаго генералъ-губернатора, эти сказочныя эпохи, гдѣ всѣми чувствовалось, что недоразумѣній нѣтъ вовсе, и все можетъ быть отлично улажено. И тогдашнее правительство было очень не прочь на этомъ успокоиться. Да и спокойно все глядѣло въ дѣйствительности. Мажорная нота чувствовалась во всемъ. Сохраненіе особенностей въ окраинѣ вполнѣ мирилось съ демократическими преобразованіями внутри. И князь Суворовъ, либеральный генералъ-губернаторъ Петербурга въ 1861 г., гладившій по головкѣ уже народившихся революціонеровъ, служилъ живымъ воплощеніемъ этой двоякой системы. По-европейски великодушный съ русскими бунтарями, онъ считалъ себя призваннымъ охранять отъ Россіи европейскія своеобразности Прибалтійскаго Края. Самъ онъ глядѣлъ совершеннымъ рыцаремъ своей декоративной фигурой и для всѣхъ открытою любезностью. Тогда входило въ программу русскаго правительства казаться нѣмцемъ въ Ригѣ, шведомъ въ Гельсингфорсѣ, татариномъ въ Казани

и чуть-ли не бурятомъ въ какомъ-нибудь Нерчинскѣ. Съ религіями было то-же. Мы тогда почти были готовы наказывать за отступничество отъ магометанства. И, пожалуй, въ той системѣ—если только это была система,—имѣлось кое-что хорошаго. Не поднималось никакихъ вопросовъ, шероховатости не было; вездѣ центральную власть представляли сановники съ громкими именами и съ настоящею сановитостью, — князь Воронцовъ сперва въ Одессѣ, потомъ въ Тифлисѣ, князь Долгоруковъ въ Москвѣ, князь Горчаковъ въ Варшавѣ и графъ Адлербергъ въ Гельсингфорсѣ. Въ Варшавѣ было, правда, не совсѣмъ такъ. Тамъ, даже въ минуты любезничанья съ поляками,—а тогда такая минута какъ разъ приближалась,—правительство слѣдило за ними недовѣрчивымъ, хотя и не совсѣмъ зоркимъ окомъ. Съ ними говорили по-французски, считая это полууступкой, признавали ихъ національность, но не переставали бояться вспышекъ ихъ неукротимаго задора. Однако, имъ тоже готовились милости, хотя едва-ли было очень ясно для правительства, какъ далеко эти милости насъ завлекутъ. Помнится, моему отцу было дано довольно щекотливое порученіе. Онъ состоялъ тогда членомъ несуществующаго теперь Совѣта Коннозаводства, и подъ предлогомъ осмотрѣть польскіе заводы, онъ былъ посланъ освидѣтельствовать настроеніе поляковъ. Приняли его въ Польшѣ очень любезно. Смекнули-ли въ чемъ дѣло, или нѣтъ, но разсыпались въ увѣ-

реніяхъ своей готовности быть вѣрными, даже преданными государю Россіи. Не щадили даже самыхъ расточительныхъ ласкъ, и между прочимъ графиня Александра Потоцкая, въ своемъ роскошномъ Виламовѣ, устроила моему отцу самый радушный пріемъ, на который, какъ бы невзначай, съѣхалось не мало ясновельможныхъ пановъ. Отецъ вернулся очарованный особенно графомъ Андреемъ Замойскимъ, не говоря уже о самой хозяйкѣ Виламова, но и иллюзій себѣ на счетъ польской искренности не дѣлалъ, и въ этомъ смыслѣ высказался передъ ближайшимъ совѣтникомъ и другомъ Государя, графомъ А. В. Адлербергомъ, съ которымъ и онъ самъ былъ близокъ. Не его вина, если эти предостереженія остались напрасными.

Государь соблаговолилъ подъѣхать верхомъ къ колескѣ моей матери и сказать нѣсколько лестныхъ словъ по моему адресу. Мнѣ пришлось, стоя въ колескѣ, выслушивать ихъ, обращаясь въ его сторону и повертываться такимъ образомъ спиною къ тогдашнему наслѣднику престола, моему сверстнику, Великому Князю Николаю Александровичу, которому меня представили нѣсколько дней передъ тѣмъ. Устроилъ это одинъ изъ его воспитателей ген. Н. В. Зиновьевъ, лицо котораго одновременно изображало необыкновенное добродушіе и напряженное стараніе. Были у Великаго Князя тогда еще два другихъ воспитателя—О. Б. Рихтеръ, тогда еще капитанъ I-го ранга и нѣкій Гриммъ, какой-то попавшій въ Петербургъ уче-

ный и благонамѣренный, но совсѣмъ не умный человѣкъ. У семи нянекъ, говорятъ, дитя безъ глазу. Но къ Великому Князю это не относилось; это былъ самый благонамѣренно-любезный юноша, именно благонамѣренно-любезный. Близкимъ я съ нимъ не сдѣлался: думаю даже, что меня сочли не совсѣмъ подходящимъ къ придворному кругу. Ближайшими товарищами Наслѣдника были гр. Н. А. Адлербергъ, гр. С. Д. Шереметевъ и гр. Я. О. Ламбертъ. Съ послѣднимъ я по настоящему подружился и глубоко скорбѣлъ, когда, 2 года спустя, его не стало. Это былъ необыкновенно отзывчивый, милый и остроумный юноша. Впрочемъ, что изъ него бы вышло въ зрѣлыхъ лѣтахъ, трудно сказать.

Но возвращаюсь къ Цесаревичу. Онъ былъ очень вдумчивъ и, кажется, очень озабоченъ своей будущей ролью; блѣдное, но красивое лицо, внимательные сѣрые глаза и довольно крупныя губы были его отличительными чертами; онъ нисколько не рисовался и въ 15 лѣтъ былъ истинно 15-ти лѣтнимъ юношей. Разъ меня пригласили совершить съ нимъ маленькое плаваніе на придворной яхтѣ «Штандартъ». Не помню ужъ, какъ и зачѣмъ я спустился въ обширную каюту, гдѣ на одномъ изъ столовъ лежалъ великолѣпно переплетенный альбомъ всѣхъ знаменитостей Французской революціи, если не ошибаюсь—подлинное творенье Тони Жуанно—извѣстнаго гравера временъ Людовика-Филиппа. Меня приковала къ себѣ благо-

родная фигура Ларошъ Жаклена, какъ вдругъ вошелъ Великій Князь. «Что, любуетесь героями революціи?» спросилъ онъ.—«Пораженъ, Ваше Высочество, контрастомъ между благородными фигурами вандейцевъ и страстными лицами Парижскихъ революціонеровъ». Разговоръ шелъ пофранцузски. Наслѣдникъ, не вполнѣ разслышавшій мою фразу, отвѣтилъ, улыбаясь: «Ахъ, понимаю, восторгаетесь Робеспьеромъ и Дантономъ?»—«Напротивъ, Ваше Высочество, нахожу ихъ отвратительными». «Напрасно, оборвалъ меня Великій Князь, они хоть и увлекались, но, повѣрьте, безъ нихъ мы многимъ не пользовались бы, чѣмъ наслаждаемся теперь».

Не знаю, насколько искренни были эти слова, но и тонъ, въ которомъ они были сказаны, свидѣтельствовалъ, какое своеобразное воспитаніе получилъ Великій Князь.

Изъ числа его трехъ воспитателей генералъ-адъютантъ Зиновьевъ былъ человѣкъ почтенный не по лѣтамъ только и вполнѣ старосвѣтскій—онъ былъ, кажется, больше воспитателемъ по части представительства и этикета. Ученый нѣмецъ Гриммъ, тоже добрый или, по крайней мѣрѣ, добродушный не менѣе Зиновьева, кажется, всего слабѣе вліялъ на развитіе своего воспитанника. О. Б. Рихтеръ носилъ на себѣ всю тяжесть настоящихъ обязанностей воспитателя. Съ виду онъ держалъ себя какъ то въ сторонѣ, всегда ровно, съ оттѣнкомъ почтительной строгости въ

осанкѣ и въ голосѣ. Но сама эта сдержанность и заставляетъ меня думать, что ему по настоящему было поручено подготовить къ своей роли Наслѣдника Престола. Былъ полный контрастъ между Великимъ Княземъ и его младшими братьями, для которыхъ, повидимому, не было установлено никакой дисциплины. Они бѣгали, шумѣли и боролись другъ съ другомъ какъ настоящія дѣти, а старшій изъ нихъ былъ всего годомъ моложе Цесаревича. Контрастъ этотъ, впрочемъ, былъ въ порядкѣ вещей. Воспитаніе будущаго Государя требовало, конечно, иного, чѣмъ воспитаніе его младшихъ братьевъ, и пріучать его къ соблюденію строгихъ внѣшнихъ формъ было въ порядкѣ вещей. Никто тогда не подозрѣвалъ, что престолъ на самомъ дѣлѣ перейдетъ къ Александру III, который съумѣлъ быть крупнымъ Государемъ, въ юные годы не пріучившись ни къ какому этикету.

Въ числѣ сверстниковъ Наслѣдника, призванныхъ быть товарищами его молодыхъ лѣтъ, былъ одинъ, на которомъ не могу не остановиться: графъ Яковъ Іосифовичъ Ламбертъ, внукъ извѣстнаго генерала, отличившагося во время отечественной войны. Болѣе способнаго юноши я не видалъ, до того быстро и легко онъ схватывалъ любой предметъ, усваивалъ себѣ любую мысль. Это была необыкновенно яркая смѣсь остроумія и доброты. Слѣдующую зиму я часто съ нимъ видался, и вечера, когда я къ нему ѣздилъ—Ламберты жили тогда на Фурштадтской улицѣ, въ

просторномъ деревянномъ домѣ, котораго давно уже нѣтъ и слѣда—были самыми веселыми моими вечерами. Въ этомъ домѣ материнская власть чувствовалась вполнѣ. Графъ, отецъ Яшинъ, былъ очень любезнымъ, но и очень безцвѣтнымъ кавалерійскимъ генераломъ. Зато мать его была женщина замѣчательнаго ума, твердаго и тонкаго въ то же время; на свою наружность она не обращала никакого вниманія; оттого и гостиная ея, и наружность оставляли желать многаго. Зато, это была вполнѣ выдающаяся гостиная, въ которой рядомъ съ хозяйкой можно было часто встрѣтить двухъ другихъ женщинъ выдающагося ума—княгиню А. Н. Багратіонъ и С. Я. Веригину. Первая была живымъ контрастомъ графини, столь же худощавая, какъ та была полна. Современный Петербургъ не представляетъ ничего подобнаго утонченной культуры этихъ трехъ женщинъ, не пропускавшихъ ничего изъ новыхъ вѣяній въ мірѣ искусства и прекрасно знакомыхъ со всей исторіей искусства прошлаго. Но въ то время въ это святилище я заглядывалъ не часто. Мой другъ Яша, воспитанный среди цѣлаго роя полуродныхъ барышень, былъ еще на полудѣтскомъ положеніи и жилъ своею особою жизнью. У него имѣлся тогда даже гувернеръ, нѣкій Флери, кое-что пописывавшій во французскихъ газетахъ и передавшій свои литературные вкусы дочери, впослѣдствіи извѣстной романисткѣ, писавшей подъ псевдонимомъ Анри Гревиль. Много лѣтъ позже,

мы съ ней вели переписку и въ одномъ изъ своихъ посланій она мнѣ повѣдала, къ моему изумленію, что въ то время, о которомъ я говорю теперь, я за ней сильно ухаживалъ. Признаюсь, совсѣмъ не помню,—виновенъ ли я въ самомъ дѣлѣ въ этомъ грѣхѣ.

IV.

Университетъ, отношеніе его къ крестьянской реформѣ.—Н. С. Таганцевъ и Рождественскій.—Учитель русской словесности Н. С. Тимофеевъ.—Толки въ обществѣ.—Чтеніе А. С. Унковскаго у моего отца.—Князь П. П. Гагаринъ. Графиня М. Г. Разумовская.—Университетскіе товарищи.—В. Панинъ.—Профессора—Спасовичъ, Андріевскій, Кавелинъ и Костомаровъ.—Сходки.—Исторія изъ-за бѣлыхъ жилетовъ.—Лекціи Стасюлевича по философіи исторіи.—Домашній спектакль у А. К. Карамзиной: ея сынъ Павелъ Демидовъ.—Домъ Веневитиновыхъ и его обычные посѣтители: семья Комаровскихъ.—Шаховскіе.—Графъ Фредро и его другъ Карлъ Левинъ.—Князь П. А. Вяземскій, Ѳ. И. Тютчевъ, Князь С. Н. Урусовъ и В. П. Титовъ.—Музыкальные вечера.—Кончина Яши Ламбертъ.

Когда я поступилъ въ университетъ, подготовленіе крестьянской реформы было въ полномъ разгарѣ. И, тѣмъ не менѣе, какъ ни странно это кажется, эта горячая эпоха гораздо слабѣе чувствовалась въ стѣнахъ университета, чѣмъ за его дверями, среди общества. За два года, проведенныхъ мною въ нашей alma mater, мнѣ ни разу не довелось присутствовать при оживленномъ спорѣ на счетъ крестьянскаго освобожденія. Не говорили ни о размѣрѣ надѣла, ни о будущей судьбѣ освобожденныхъ крѣпостныхъ и, какъ будто, этимъ даже не особенно интересовались. Происходило это, можетъ быть, оттого, что представителей одной изъ заинтересованныхъ въ дѣлѣ сторонъ было въ университетѣ довольно

мало. Сыновей помѣщиковъ тамъ насчитывалось лишь нѣсколько десятковъ, а крестьянскихъ дѣтей даже и совсѣмъ не было. Прочіе классы, главнымъ образомъ, такъ называемая «интеллигенція» и духовенство,—болѣе занимались вопросами общими, отвлеченными, не вдаваясь въ подробности, какъ: величина надѣловъ и размѣръ повинностей; да и выросшіе въ деревнѣ, бывшіе воспитанники семинаріи, какъ будто, считали себя въ сторонѣ. Господствующимъ настроеніемъ былъ, разумѣется,—самый пунцовый радикализмъ, но это былъ радикализмъ чисто теоретическій, еще не освободившійся отъ понятія о естественномъ правѣ и очень любившій засиживаться до поздней ночи надъ спорами о правѣ государства наказывать, о различіи между областями юридической и нравственной, о томъ, есть ли абсолютное добро и абсолютная красота и т. д. Это, конечно, ни къ чему не приводило, но было небезполезно для изощренія въ діалектикѣ. Да и не даромъ прожили мы съ тѣхъ поръ слишкомъ сорокъ лѣтъ. Теперь едва-ли много найдется охотниковъ ломать себѣ голову надъ философіей Гегеля или надъ такимъ вопросомъ, какъ существованіе идей самихъ по себѣ, независимо отъ предметовъ, къ которымъ онѣ относятся. А тогда это насъ дѣйствительно очень занимало. Помнится еще, какъ добросовѣстно, разгуливая по улицамъ Петербурга въ яркую звѣздную ночь, я ворочалъ въ своемъ мозгу такіе удоборазрѣшимые вопросы,

какъ возможность существованія матеріи безъ силы, или, наоборотъ, силы безъ матеріи; помнится тоже, что, когда мы собирались у одного изъ моихъ лучшихъ пріятелей—В. В. Панина, рѣчь заходила часто о томъ—примѣнима-ли къ Россіи двухпалатная система, и къ чему нужны обществу его верхніе классы. И самымъ наивнымъ образомъ мы всѣ воображали, что, договорившись до полнаго отупѣнія, мы сейчасъ вотъ разрѣшимъ тѣ самые вопросы, надъ которыми человѣчество работаетъ десятки вѣковъ. Что дѣлать? Закваска сороковыхъ годовъ въ насъ еще сидѣла. Другими словами, мы были чистѣйшими идеалистами, хотя большинство изъ насъ, конечно, исповѣдывало матеріализмъ грубѣйшей воды. Все это, какъ будто, напоминало настроеніе французскаго общества наканунѣ революціи. Даже такой, несомнѣнно, трезвый человѣкъ, какъ Н. С. Таганцевъ, тогда глядѣвшій добродушнымъ юношей, но съ очень хитренькими глазками, принималъ въ такихъ спорахъ свою долю участія. Будущаго профессора въ немъ тогда не предвидѣли, хотя всѣ отдавали должное его выдающимся способностямъ. Наряду съ нимъ, умомъ и знаніемъ выдавался тоже молодой Рождественскій, на столько-же серьезный и худощавый, какъ Таганцевъ глядѣлъ балагуромъ и притомъ довольно упитаннымъ. Балагуромъ онъ, впрочемъ, только казался, а на самомъ дѣлѣ былъ—очень себѣ на умѣ. Рождественскій, наоборотъ, уже 17-ти лѣтъ смотрѣлъ про-

фессоромъ—его спеціальность была—Гражданское Право. Онъ и занялъ, впослѣдствіи, каѳедру по этой части въ одномъ изъ университетовъ. Что съ нимъ стало потомъ—рѣшительно не знаю.

Уровень университета въ то время и среди профессоровъ и среди учащихся былъ, несомнѣнно, высокъ, несмотря на то, что университетъ былъ тогда гораздо моложе теперешняго. Большинство поступало туда 16-ти, а много 17-ти лѣтъ, о революціи, какъ о чемъ-то осуществимомъ немедленно, не думалъ никто. О кутежахъ думали немногіе. Нравственныя требованія предъявлялись высокія. Если-бы тогда разрѣшили у насъ студенческія корпораціи, и ввели бы студенческій судъ, вышелъ бы изъ этого, вѣроятно, толкъ. Дѣлали мы, правда, часто изъ мухи слона; такъ, помнится, на одной сходкѣ разбирали пять часовъ поступокъ студента, съѣвшаго тайкомъ на сельско-хозяйственной выставкѣ кусокъ выставленнаго окорока, и, хотя студентъ извинялся мучившимъ его голодомъ, приговоръ вышелъ очень строгій,—признали охотника до окороковъ—замаравшимъ студенческій мундиръ, и заставили его выйти изъ университета. Но, вѣдь, это, пожалуй, лучше, чѣмъ смотрѣть сквозь пальцы на поведеніе субъекта, систематически занимающаго у товарищей деньги, безъ всякаго намѣренія ихъ когда-либо отдать.

Разъ, одинъ изъ моихъ близкихъ пріятелей—К. И. Рюминъ—предложилъ мнѣ познакомиться съ бывшимъ его учителемъ русской словесности—

К. С. Тимофеевымъ, человѣкомъ, какъ увѣрялъ онъ, чрезвычайно замѣчательнымъ. Этотъ Тимофеевъ многихъ изъ насъ подготовлялъ въ университетъ. И вотъ, въ одинъ декабрскій вечеръ, меня свели къ нему. Онъ жилъ на дворѣ одного изъ огромныхъ неуклюжихъ домовъ Вознесенской, и занималъ тамъ въ 3-мъ этажѣ двѣ небольшихъ комнаты. Все тутъ пахло бѣдностью,—и служанка, отворившая намъ, и кожаный диванъ, довольнотаки истрепавшійся, и голыя окна, и ломберный столъ, на которомъ подавался чай. Самъ хозяинъ—маленькій старичекъ, съ жидкой бородкой, въ поношенномъ сюртукѣ, совсѣмъ-бы отвѣчалъ этой неказистой обстановкѣ, кабы не умные, горячіе, добрые глаза, и губы, сразу говорившіе о краснорѣчіи своего обладателя. Что-то въ самомъ дѣлѣ замѣчательное было въ его красивой, сперва тихой, а послѣ—все оживлявшейся рѣчи; старческая хрипота въ его голосѣ тогда исчезала; глаза сквозь очки загорались. И о своемъ предметѣ, котораго былъ глубокимъ знатокомъ—онъ зналъ почти наизусть всѣхъ крупныхъ поэтовъ отъ Гёте до Лермонтова—онъ былъ неистощимъ въ остроумныхъ, неожиданныхъ сравненіяхъ, въ удивительныхъ, по своей тонкости, отзывахъ. Голосъ его дрожалъ отъ волненія, когда онъ повторялъ—и какъ повторялъ!—какое-нибудь любимое мѣсто изъ Байрона или Шиллера. И этотъ человѣкъ, на мѣдные гроши, вѣроятно, учившійся, всѣ иностранные языки зналъ въ совершенствѣ. Это былъ,—въ

полномъ смыслѣ слова, человѣкъ сороковыхъ годовъ, той незабвенной эпохи, когда, воображая себя реалистами, всѣ выдающіеся таланты блестѣли еще въ догоравшей зарѣ романтизма, и самый культъ демократіи являлся у нихъ украшеннымъ самымъ художественнымъ изяществомъ. А бѣдность Тимофеева, дававшаго уроки въ лучшихъ домахъ Петербурга, объясняется очень просто: всѣ свои средства онъ отдавалъ нуждающимся студентамъ, конечно, не разсчитывая получить что-либо обратно.

Строго говоря, тогдашній университетъ былъ совсѣмъ въ сторонѣ отъ общественнаго движенія. Зато въ самомъ обществѣ, и какъ разъ въ его верхахъ, не умолкали толки о предстоявшей реформѣ. И чего грѣха таить—эти верхи встрѣчали ее далеко не дружелюбно. Помѣщики относились къ отмѣнѣ крѣпостнаго права съ нескрываемой боязнью. Выработался даже особый типъ людей, — соединявшихъ вполнѣ крѣпостническіе взгляды съ пріемами демагога. Не скрываясь, они громко бранили правительство и Государя. Такими людьми были въ особенности тамбовскій помѣщикъ Г. И. Бланкъ и московскій уѣздный предводитель дворянства Н. А. Безобразовъ. Ихъ прозвали довольно мѣтко «крѣпостниками-гарибальдійцами». Впрочемъ, и этотъ видъ реакціонной оппозиціи былъ далеко не безопасенъ. Люди, громко выражавшіе неудовольствіе по поводу освобожденія крестьянъ, рисковали не только по-

пасть въ немилость, но и подвергнуться карамъ болѣе чувствительнаго рода. Когда Безобразовъ, напр., представилъ Государю записку, въ которой ссылался на дворянскую грамоту Екатерины II-й, отрицалъ право верховной власти отнимать у помѣщиковъ землю, Александръ II-й сдѣлалъ на поляхъ записки очень рѣзкую отмѣтку, велѣлъ сказать ея автору, чтобы онъ выбралъ уѣздный городъ, гдѣ намѣренъ поселиться. Безобразовъ, кажется, отвѣтилъ просьбой—такимъ уѣзднымъ городомъ выбрать себѣ Парижъ, на что Государь, будто бы, сказалъ, что шутокъ не любитъ, и отъ себя уже назначилъ Безобразову мѣстомъ пребыванія—Козловъ. И примѣръ этотъ былъ далеко не единственнымъ.

Въ то время, вообще, не смотря на весь либерализмъ правительства и на радикальныя выходки нѣкоторой части прессы, существовалъ еще упорный страхъ передъ доносчиками и ихъ оффиціальнымъ центромъ, третьимъ отдѣленіемъ. Во главѣ этого внушительнаго учрежденія, былъ, однако, не только мягкій, но и нѣсколько распущенный князь Василій Андреевичъ Долгорукій, не входившій почти ни во что, и большою прозорливостью не отличавшійся. Всѣ были убѣждены, что въ каждомъ домѣ есть, по крайней мѣрѣ, одинъ изъ слугъ, исправляющій роль шпіона, и, вслѣдствіе того, выражали свое мнѣніе даже у себя дома, не безъ осторожности. Разъ извѣстный А. М. Унковскій, тогда тверской губ. предводи-

тель, долженъ былъ прочесть у моего отца, въ присутствіи небольшого кружка слушателей, свою, надѣлавшую столько шума, записку о выкупѣ. Ничего особенно крайняго въ этой запискѣ не содержалось; она ограничивалась указаніемъ, что крестьянскую реформу надо совершить разомъ, а не по частямъ, и заодно съ ней перестроить все гнилое внутреннее управленіе. Несмотря на то, что управленіе это находилось тогда совершенно въ рукахъ дворянства, нападки Унковскаго встрѣчались не безъ сочувствія самими крѣпостниками, до крайности возбужденными противъ работъ такъ называемыхъ редакціонныхъ комиссій. Извѣстный инцидентъ съ дворянскими депутатами перваго призыва, которымъ Государь отказалъ въ аудіенціи, довелъ это неудовольствіе крайнихъ правыхъ до изступленія. Противъ заносчивости чиновничества возставали громко, не смѣя итти выше. Странно сказать, что оппозиціонное стремленіе боявшихся за свои карманы помѣщиковъ было исходною точкою конституціоннаго движенія. Въ представительномъ собраніи видѣли какъ-бы противовѣсъ утратѣ прежней власти надъ крѣпостными.

На чтеніе Унковскаго, происходившее при закрытыхъ наглухо дверяхъ, меня не пустили, хотя я былъ тогда уже студентомъ. Но помню одно: присутствующіе — дѣло было вечеромъ, ровно за годъ до манифеста,—относились къ автору очень сочувственно. А были это люди совсѣмъ другого

лагеря, чѣмъ тверской предводитель,—оба брата Віельгорскихъ, графъ Ферзенъ, впослѣдствіи застрѣленный на царской охотѣ, мой дядя—графъ Пушкинъ, князь П. П. Гагаринъ, одинъ изъ самыхъ вліятельныхъ вождей правой въ государственномъ совѣтѣ, предсѣдателемъ котораго онъ былъ назначенъ въ 1862 году. Повидимому, и эти люди, не смотря на свое положеніе, были вынуждены Унковскаго выслушивать лишь тайно.

Два слова о князѣ П. П. Гагаринѣ,—быть можетъ, одной изъ самыхъ выдающихся личностей той эпохи. Выдавался онъ среди прочихъ и по внѣшности,—носилъ густую бороду, спадавшую на средину груди, чего въ царствованіе Николая I-го ни одинъ невоенный позволить себѣ не могъ, и всегда былъ облеченъ въ замкнутый наглухо длинополый сюртукъ, что придавало ему видъ старовѣрческаго начетчика, или толстосума изъ Замоскворѣчья. Подошвы у него были съ полвершка толщиною, что дѣлало его походку необыкновенно тяжелой. Говорилъ онъ мало, но чего-нибудь зауряднаго никто, кажется, отъ него не слыхалъ. Съ моимъ отцомъ онъ былъ близокъ, хотя не друженъ,—впрочемъ, едва-ли князь Павелъ Павловичъ съ кѣмъ-либо дружилъ. Они встрѣчались часто у старухи Разумовской, у которой почти каждый вечеръ была неизмѣнная партія въ преферансъ—по высокой, въ которой участвовали все тѣ же—Гагаринъ, графиня С. В. Комаровская и мой отецъ. Помнится, утромъ за чаемъ отцу до-

кладывали, что гр. Марія Григорьевна—такъ звали почти 90-лѣтнюю Разумовскую—просятъ на чашку чая. Мать очень не любила этихъ приглашеній, и всячески старалась, но довольно безуспѣшно, помѣшать отцу туда поѣхать. Земская реформа 1864 г. была дѣломъ Гагарина, и онъ былъ авторомъ идеи о трехразрядной системѣ выборовъ, противъ которой многіе возражали. Главный изъ этихъ оппонентовъ былъ тогдашній государственный секретарь — баронъ Модестъ Андреевичъ Корфъ, хотѣвшій для земскихъ выборовъ устроить всесословные избирательные округи внутри каждаго уѣзда. Разница между барономъ Модестомъ Андреевичемъ и княземъ была та, что послѣдній изъ себя представлялъ самую полную противоположность чиновнику, и свои доводы черпалъ изъ личнаго опыта, а Корфъ, хотя человѣкъ очень умный, судилъ обо всемъ только по бумагамъ и по иностраннымъ книжкамъ. Князь Павелъ Павловичъ оставилъ послѣ себя записки, которыя до сихъ поръ хранятся подъ спудомъ, хотя ближайшимъ результатомъ освобожденія печати долженъ-бы явиться выпускъ въ свѣтъ такого драгоцѣннаго историческаго матеріала.

Натолкнулся я мимоходомъ на оригинальную фигуру графини Маріи Григорьевны. Называю ее оригинальною, такъ какъ видѣть воочію, во вторую половину XIX вѣка, бывшую фрейлину Екатерины II,— дѣло не совсѣмъ обычное. Въ молодости своей, графиня, кажется, заплатила дань

нравамъ XVIII вѣка, но ея романы давно поросли быльемъ: они, кажется, закончились въ эпоху вѣнскаго конгресса. Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ она была уже живымъ памятникомъ прошлаго, и жива въ ней была одна добродушная ласковость, вообще свойственная людямъ, весело прожившимъ тревожную эпоху французской революціи и наполеоновскихъ войнъ. Графиня скончалась, если мнѣ не измѣняетъ память, въ 1868 году. Послѣдніе два года она вывозила свою племянницу—княжну Вяземскую, и въ честь ея давала великолѣпные балы, въ занимаемомъ ею тогда домѣ гр. Сумарокова на Сергіевской. Въ эти два послѣднихъ года и слухъ, и память измѣняли графинѣ часто: ей случалось говорить «прощайте» людямъ, только что входившимъ въ ея гостиную, что, конечно, очень смущало этихъ входившихъ, если они еще были молоды и не увѣрены въ себѣ. Но одно не измѣняло ей до конца—постоянное благодушное доброжелательство всѣмъ и каждому. Въ настоящее время такихъ старухъ уже не бываетъ. Помню, впрочемъ, случай, когда графиня отступилась отъ своей обычной любезности. Одинъ молодой человѣкъ, котораго лучше не называть, попросилъ меня разъ его представить графинѣ, пригласивши его на балъ, хотя онъ съ нею не былъ знакомъ. Просьбу я исполнилъ. Но къ моему ужасу, всегда любезная хозяйка, къ которой вдругъ вернулась память, отвѣтила на мое представленіе: «никогда не видала и не думала

приглашать». Молодой человѣкъ, тѣмъ не менѣе, остался на балу до конца.

Но вернусь къ университету. Въ самый день моего перваго знакомства съ его почтенными, до сихъ поръ мнѣ дорогими, залами, мнѣ пришлось сойтись съ человѣкомъ, занявшимъ видное мѣсто въ годы моей юности, и услыхать изъ еврейскихъ устъ одного товарища—Э. И. Утина, до сихъ поръ не забытую мною, замѣчательную по своей пошлости, фразу. Прохаживался я по корридору, между двумя лекціями, какъ вдругъ подошелъ ко мнѣ юноша моихъ лѣтъ, огромнаго роста, съ наклоненною слегка головой и съ необыкновенною застѣнчивостью въ глазахъ.

— Головинъ,—сказалъ онъ, протягивая руку,— давайте познакомимся. Наслышался про васъ, и вы, должно быть, про меня.

Это былъ Панинъ. Намъ обоимъ другъ про друга разсказывали наши общіе наставники. Съ тѣхъ поръ, мы стали съ нимъ друзьями, и по вечерамъ, то и дѣло, заходили другъ къ другу. У Панина былъ свой кружокъ изъ студентовъ, занимавшихся серьезно. Съ тѣми молодыми людьми, съ которыми я былъ близокъ, онъ не якшался почти вовсе, хотя и былъ съ ними знакомъ. Сблизился онъ съ ними позже, уже по выходѣ изъ университета, когда я, напротивъ, успѣлъ отъ нихъ отстать. Странная натура была у Панина. Были мы съ нимъ большими друзьями, а, между тѣмъ, чуть не до самой его женитьбы на А. С.

Мальцевой, никогда по-настоящему не сближались. Его семейная жизнь только урывками проглядывала въ его рѣчахъ. Свободно и я себя съ нимъ не чувствовалъ почему-то, хотя и любилъ его очень. Могъ онъ иногда просидѣть наединѣ со мною цѣлый часъ, лишь изрѣдка роняя слово. Что-то было вывихнуто въ его натурѣ, что-то глядѣло въ немъ такъ-же несуразно, какъ въ его движеніяхъ. А, между тѣмъ, это было золотое сердце, и великую утрату въ немъ понесла родина, когда тридцати лѣтъ, въ 1872 году, онъ скончался отъ чахотки.

Въ тотъ-же день, когда я познакомился съ Панинымъ, меня огорошило слѣдующее замѣчаніе Евгенія Утина.

— Представьте себѣ,—сказалъ онъ негодующимъ голосомъ,—что въ числѣ нашихъ товарищей есть такіе, которые еще читаютъ этого дурака,—апостола Павла...

— А вы, — спросилъ я вмѣсто отвѣта, — его читали?

— Вотъ еще! Разумѣется нѣтъ...

— Какъ же вы можете о немъ судить? Вы бы его съ точки зрѣнія исторіи литературы прочли: это вѣдь, несомнѣнно, одинъ изъ самыхъ крупныхъ писателей...

Съ того дня что-то странное легло между нами, хотя мнѣ и случалось къ нему заходить и послѣ — домъ его отца былъ, кажется, на Англійской набережной. Но настоящихъ товарище-

скихъ отношеній не возникало, и вовсе не благодаря тому, что Утинъ былъ — еврей. Въ то время я самого себя увѣрялъ, что образованному человѣку надо къ евреямъ относиться сочувственно. На самомъ дѣлѣ, сочувствія я къ нимъ не питалъ никакого, но любилъ воображать, что питаю. Не разъ, впрочемъ, мнѣ приходилось замѣчать, что между двумя людьми какъ-будто ничего не происходило, а одного слова невпопадъ достаточно, вѣдь, чтобы создать между ними холодную струю.

Ѣздилъ я въ университетъ очень аккуратно, иногда въ такой ранній часъ, что тусклый петербургскій день едва занимался. И тогда уже университетъ былъ переполненъ: студентовъ и вольнослушателей было тысячи двѣ. Хотя эта численность втрое меньше теперешней,—на лекціяхъ популярныхъ профессоровъ было тѣсно. Казалось, и булавкѣ не найти мѣста въ переполненной аудиторіи. Для такихъ лекцій выбирались всегда самыя обширныя залы—XI, XII, XIII. Тогда, правда, большинство студентовъ добросовѣстно посѣщали лекціи, и можно развѣ преднамѣренному отсутствію двухъ третей теперешнихъ студентовъ приписать, что университетъ въ состояніи ихъ вмѣстить. Впрочемъ, и тогда, конечно, недостатка не было въ молодыхъ людяхъ, искавшихъ въ университетѣ не науки, а диплома. Но число тѣхъ, которые ждали отъ профессора умственнаго руководства, было въ тогдашнюю

эпоху, вѣроятно, больше, чѣмъ въ настоящее время. Возможность пройти курсъ однимъ чтеніемъ книжекъ, не слушая профессоровъ, въ то время рѣдко кому приходила въ голову. И думается мнѣ, что увѣряютъ въ этомъ, и себя, и другихъ, только молодые люди, расположенные по-просту къ ничего-недѣланью.

Въ университетѣ раскрывается передъ глазами совсѣмъ новый міръ. Безъ проводника не легко въ этотъ міръ вступить твердой ногой. Такое было, по крайней мѣрѣ, личное мое впечатлѣніе на первой лекціи И. Е. Андріевскаго по государственному праву. Самое понятіе о правовыхъ отношеніяхъ между гражданами и государствомъ, между отдѣльными лицами другъ съ другомъ, понятія о частномъ и публичномъ правѣ были на столько не привычными моему умственному обиходу, а, вѣроятно, и умственнному обиходу моихъ товарищей, что едва-ли безъ живой рѣчи профессора, при помощи однихъ мертвыхъ учебниковъ, можно это было усвоить быстро, не будучи сразу испуганнымъ отвлеченной сухостью юридическихъ терминовъ. Они оживали и становились конкретными — эти термины, благодаря талантливому изложенію Андріевскаго, заставившаго меня, совершеннаго новичка въ правовыхъ вопросахъ, сразу полюбить его предметъ. Какъ теперь помню плавную, нѣсколько пѣвучую рѣчь Ивана Ефимовича, сопровождаемую постукиваніемъ руки по каѳедрѣ, надъ которой едва вы-

глядывалъ длиннѣйшій носъ профессора и его сѣрые, быстрые глаза, когда онъ сидѣлъ передъ каѳедрой. Андріевскій со своимъ продолговатымъ лицомъ на невзрачномъ туловищѣ, такъ и просился на каррикатуру; но стоило его послушать, чтобы тотчасъ исчезла охота надъ нимъ подсмѣиваться. Его манера излагать свой предметъ рѣзко отличалась отъ пріемовъ другого студенческаго любимца В. Д. Спасовича, будто намѣренно сперва путавшагося и запинавшагося на словахъ, точно языкъ его плохо ему повиновался, но потомъ вдругъ отбрасывавшаго эти ораторскіе костыли, чтобы быстро, съ огнемъ, какъ будто прискакивая на каждомъ шагу, вести свою, всегда интересную, лекцію. Но самое первое мѣсто занималъ К. Д. Кавелинъ, котораго единодушно признавали орломъ изъ орловъ въ профессорской коллегіи. Можетъ быть, это лестное мнѣніе было слегка преувеличеннымъ. По крайней мѣрѣ, въ томъ, что написалъ Кавелинъ,—ничего орлинаго нѣтъ, и часто повторявшаяся имъ мысль, будто знаніе имѣетъ нравственную цѣну, и даже отъ простой грамотности люди становятся лучше,—мысль эта оказалась совершеннымъ вздоромъ. Но, когда своимъ густымъ, пріятнымъ баритономъ Кавелинъ читалъ намъ энциклопедію права, съ большой ясностью излагая этотъ очень неясный предметъ, имъ положительно восторгались и въ глубинѣ его ума никто сомнѣваться себѣ не позволялъ.

Но центральнымъ божкомъ университета былъ Костомаровъ, появившійся на нашемъ горизонтѣ, когда я былъ уже на второмъ курсѣ. Встрѣча Костомарова, при его первомъ появленіи, мнѣ показала, что такое—настоящая популярность. Конечно, этою популярностью онъ былъ, преимущественно, обязанъ не своимъ ученымъ трудамъ, а тому обстоятельству, что съ 1848 г. его голову украшалъ политическій терновый вѣнецъ. Большинство, разумѣется, было также мало знакомо съ его историческими работами, какъ съ настоящими причинами постигшей его кары. Но достаточно было знать, что онъ пострадалъ за какое-то малороссійское движеніе вмѣстѣ съ Шевченко и Кулишомъ, дабы ему обезпечить пламенное сочувствіе юныхъ сердецъ. Не испортило впечатлѣнія и то, что голосъ Костомарова, и его манера читать сильно напоминала беззубое шамканье старой бабы. Не могу сказать, чтобы въ его лекціяхъ было что-нибудь особенно увлекательное, напоминавшее, хотя-бы издали, блестящія лекціи Грановскаго. Слышали мы все безконечный перечетъ всевозможныхъ источниковъ, къ которымъ, разумѣется, никто изъ насъ не обратился. Но одно могу сказать: Костомаровъ съумѣлъ сдѣлать необыкновенно популярными среди студентовъ русскія лѣтописи, и на этотъ, прежде совершенно неизвѣстный намъ, и довольно неудобоваримый матеріалъ, пошелъ въ университетѣ большой спросъ. Причина тому была—нѣкоторое

ученое хвастовство, гораздо болѣе, чѣмъ настоящая любознательность.

Былъ въ то время еще профессоръ, на чьи лекціи стекалось множество слушателей: это былъ никто иной, какъ теперешній редакторъ «Вѣстника Европы»—М. М. Стасюлевичъ. Читалъ онъ, собственно, исторію среднихъ вѣковъ, и въ ней избралъ предметомъ для своихъ лекцій «Ассизы королевства Іерусалимскаго». Откровенно говоря, я никогда не понималъ системы, заключающейся въ выбираніи какого-нибудь отдѣльнаго историческаго эпизода изъ всего хода данной эпохи. Это, можетъ, годится, какъ тема для публичныхъ лекцій, но какъ университетская программа, такіе историческіе отрывки, не запечатлѣваясь въ общее стройное пониманіе исторіи въ умахъ слушателей, оставляютъ слишкомъ много пробѣловъ, и разумѣется, не ассизы іерусалимскаго королевства привлекали публику. М. М. Стасюлевичъ къ своей кафедрѣ пристегнулъ другой предметъ, болѣе общаго свойства—философію исторіи, и, долженъ ему отдать справедливость, читалъ ее превосходно. Сдѣлаю ему одинъ только маленькій упрекъ. Онъ разсыпался въ похвалахъ передъ только-что вышедшей книгою Бокля, не успѣвшей тогда еще пріобрѣсть свою громкую славу. Англійскому историку, какъ извѣстно, посчастливилось, особенно у насъ, и на совѣсти Михаила Матвѣевича лежитъ содѣйствіе успѣху такого поверхностнаго писателя, какъ Бокль. Любя объяснять все въ ходѣ

развитія народовъ внѣшними причинами, какъ почва, климатъ, пища, Бокль увѣряетъ, напр., что преобладаніе мучной пищи, какъ рисъ въ Индіи и картофель въ Ирландіи, обусловливаетъ отсутствіе у этихъ народовъ трудолюбія и энергіи, совершенно забывая, что рисомъ питаются и трудолюбивые китайцы, а картофель воздѣлывается ирландцами только съ половины XVIII вѣка, между тѣмъ, какъ энергія отсутствовала у нихъ, вѣроятно, гораздо раньше. Трудно вообще приписывать совокупности въ внѣшнихъ условіяхъ рѣшающее вліяніе, когда въ той-же Италіи послѣдовательно существовали два такихъ малосхожихъ народа, какъ римляне и современные итальянцы. И сами-то римляне были дѣтьми не цѣлой Италіи, а только одной изъ ея городскихъ общинъ, постепенно покорившіе всѣхъ своихъ единоплеменниковъ. Эти возраженія мнѣ пришли въ голову пока я слушалъ лекціи Стасюлевича. Позже, они повторялись при чтеніи самого Бокля. Долженъ, вообще, сказать, что никогда не слушалъ профессора, и не читалъ умнаго сочиненія, безъ тайнаго желанія найти у нихъ какую-нибудь ошибочку. Такимъ уже было мое поколѣніе, и я невольно заражался его нелюбовью къ авторитетамъ.

Но довольно о матеріяхъ серьезныхъ. Хочу разсказать маленькій эпизодъ комическаго свойства, случившійся на самомъ порогѣ моей университетской жизни.

Былъ у насъ профессоромъ философіи и психологіи—очень неглупый священникъ—о. Палисадовъ, читавшій, однако, свой предметъ съ удивительною неловкостью, самъ не замѣчая, что семинарская закваска въ немъ сидитъ крѣпко. Палисадовъ разными, довольно пошленькими выходками, силился снискать недававшуюся ему благосклонность его слушателей. Разъ, XI аудиторія, гдѣ онъ читалъ, — случайно, была полна. И на бѣду, на крайней верхней скамейкѣ справа, гдѣ сидѣло насъ четверо — Горчаковъ, Иванъ Балашовъ, Рюминъ и я, произошелъ вдругъ переполохъ. У меня водился футляръ, въ видѣ цилиндра, гдѣ помѣщались письменныя принадлежности. Этотъ цилиндръ стоялъ на пюпитрѣ между Рюминымъ и мною. Я усердно записывалъ не особенно краснорѣчивыя слова батюшки, какъ вдругъ, Рюминъ его нечаянно толкнулъ и цилиндръ съ шумомъ покатился по паркету. Почтенный батюшка,—даромъ что былъ съ нами знакомъ лично,—воспользовался случаемъ для пріобрѣтенія все ускользавшей отъ него популярности. Онъ остановился и, обводя аудиторію глазами, произнесъ:—«Не могу продолжать чтенія, когда нѣкоторые господа позволяютъ себѣ на лекціи шумѣть». Съ этими словами онъ вышелъ. До сихъ поръ вижу его притворно негодующіе глаза, и гнѣвное дрожаніе его черной бороды, нѣсколько похожей на жидовскую. Брошенная имъ искра зажгла пожаръ. Студенты, никогда небывавшіе на его лекціяхъ,

стали увѣрять, что имъ помѣшали слушать, что это ни на что не похоже, и что забавлявшіеся шалуны должны быть исключены изъ университета. Въ тотъ-же день собралась сходка, мудро постановившая, что не мы только четверо, а цѣлыхъ 20 студентовъ должны подвергнуться исключенію. Остракизму подвергался такимъ образомъ цѣлый нашъ кружокъ, хотя большинство его членовъ вовсе не было на лекціи Палисадова. Разумѣется, по адресу кружка посыпались самыя нелестныя обвиненія. Настоящей причиной этой междоусобной войны было слѣдующее. Нѣкоторые изъ насъ, дабы сидѣть во время лекціи съ распахнутыми мундирами, стали носить подъ сюртукомъ не черные, а бѣлые жилеты. Это внѣшнее отличіе тотчасъ стало въ глазахъ большинства наружнымъ признакомъ какого-то аристократизма, обиднаго для бѣдныхъ студентовъ, которымъ имѣть понѣскольку бѣлыхъ жилетовъ — не по карману. На сколько тутъ въ самомъ дѣлѣ имѣлся въ виду аристократизмъ, можно легко видѣть изъ того, что Евгеній Утинъ ходилъ постоянно въ бѣломъ жилетѣ, а Владиміръ Панинъ—въ черномъ. Какъ-бы то ни было, на другой день насъ пригласили къ попечителю, и Деляновъ, принимая насъ съ обычною мягкою любезностью, прочелъ намъ, однако, нотацію, говоря, что отъ товарищей ничѣмъ отличаться не слѣдуетъ, что мы уже не мальчики, а взрослые люди, и что бѣлыхъ жилетовъ онъ насъ проситъ болѣе не носить, дабы не оскорблять

прочихъ студентовъ. Эти ласковые громы привели къ тому лишь, что мы собрались, два дня спустя, вечеромъ у Горчакова и тамъ составили складчину въ пользу бѣдныхъ студентовъ, давшую, не помню уже какую-то, довольно крупную сумму. Буря въ стаканѣ воды—утихла. Самъ Палисадовъ испугался вызваннаго имъ скандала, и пошелъ хлопотать передъ начальствомъ. На нѣсколько дней бѣлые жилеты исчезли, но затѣмъ явились опять. Привожу этотъ маленькій эпизодъ, какъ примѣръ закоренѣлой привычки начальства становиться на сторону большинства, чтобы тѣмъ избѣгать столкновенія.

Много лѣтъ спустя, мой дядя,—А. Л. Потаповъ, бывшій тогда Шефомъ Жандармовъ, за столомъ у насъ въ шутку формулировалъ это правило слѣдующимъ образомъ:

— «Вѣрное средство поддержать порядокъ,—это быть всегда на сторонѣ сильнѣйшаго. Вотъ, если когда-нибудь»,—онъ обращался ко мнѣ, говоря это,—«у тебя мазурики станутъ отнимать часы, а ты вздумаешь сопротивлятся, тебя слѣдуетъ отвести въ кутузку, какъ зачинщика безпорядка».

И теперь, кажется, правительство нерѣдко примѣняетъ это золотое правило.

Въ обществѣ я не бывалъ почти вовсе въ университетскіе годы. Помнится мнѣ изъ этой эпохи только домашній спектакль въ роскошномъ домѣ А. К. Карамзиной, гдѣ ея сынъ—Павелъ Демидовъ, сыгралъ довольно плохо съ О. Б. Данзасъ—

извѣстную пьеску Мюссэ «Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée». Увлекался-ли онъ тогда необыкновенно талантливой и умной Ольгой Борисовной, дочерью секунданта Пушкина его послѣдней дуэли, право не знаю. Увлечься ею было, во всякомъ случаѣ,—не трудно. Она не только была выдающейся по уму дѣвушкой, но и наружность ея производила сильное впечатлѣніе, не смотря на слегка израильскія черты, общія у нея со всѣми прочими членами ея семьи. Не хочу дѣлать изъ этого никакого, впрочемъ, заключенія, быть можетъ,—это была лишь коварная игра природы. Павелъ Демидовъ, котораго мать обожала, былъ и очень красивъ, и очень плохо воспитанъ. Помнится, на Елагинской стрѣлкѣ, пройдясь со мной нѣсколько шаговъ, онъ расхвастался тѣмъ, что пуговицы у него на жилетѣ—были настоящими сафирами. Демидовъ съ наивною откровенностью поклонялся собственному богатству и воображалъ, что весь онъ созданъ, главнымъ образомъ, для того, чтобы наслаждаться жизнью. Онъ окончилъ университетъ какъ разъ въ ту весну, когда я туда поступилъ, и выходъ его былъ ознаменованъ слѣдующимъ маленькимъ происшествіемъ. Въ то время городовые помѣщались въ будкахъ довольно неуклюжаго фасона, расположенныхъ на уличныхъ перекресткахъ. У этихъ будокъ, устроенныхъ для жилья, замки были вездѣ одинаковы. Любовь къ шаблону всегда и вездѣ отличала нашу администрацію. Узнавъ про это, Демидовъ

заказалъ подходящій къ этимъ замкамъ ключъ и въ одну дивную майскую ночь, купно съ четырьмя товарищами, заперъ всѣхъ петербургскихъ городовыхъ. За это всѣ пятеро были посажены въ карцеръ на три дня: шалости подобнаго рода карались не строго. Петербургскіе мазурики не узнали про это во время, а то досталось бы жителямъ столицы. Зимою, впрочемъ, на Царицыномъ лугу рѣдкая ночь проходила безъ грабежа прохожихъ, а на Невѣ не только грабили, но и убивали преисправно. Въ то время это не производило особаго впечатлѣнія. Ко всѣму привыкаешь, и совершенно нормальнымъ казалось, что по ночамъ на Марсовомъ полѣ и на Невскомъ льду—было не совсѣмъ безопасно

На второмъ курсѣ я по-настоящему подружился съ Веневитиновыми, къ которымъ то и дѣло заходилъ. Дѣтскія воспоминанія все тлѣли, чтобы на порогѣ открытой жизни превратиться въ близкую дружбу. Впрочемъ, эта дружба была у меня только съ старшимъ братомъ—Мишей, съ которымъ у меня водились общіе литературные вкусы. Домъ Веневитиновыхъ,—родители Апполины Михаиловны тогда уже скончались,—былъ тогда единственнымъ въ Петербургѣ, гдѣ почти каждый вечеръ собирались на огонекъ близкіе, къ которымъ изрѣдка прибавлялись друзья, болѣе дальніе. Когда подросли дѣти, ихъ товарищи тоже наполняли собой гостепріимный домъ. Какъ теперь помню, обширный кабинетъ хозяина, весь устав-

ленный массивными книжными шкафами, гдѣ, вокругъ огромнаго круглаго стола, каждый день собирались. Молодежь только слушала, а потомъ и сама стала принимать участіе въ бесѣдѣ. Иногда устраивались и званые вечера — послушать камерную музыку, при неизбѣжномъ участіи Венявскаго и Давыдова, великолѣпная віолончель котораго была подаркомъ графа Матвѣя Юрьевича. И Антонъ Рубинштейнъ садился порой за рояль; Ю. Ф. Абаза, въ то время—еще М. Штуббе, жившая у в. к. Елены Павловны, дарила слушателей своимъ дивнымъ контральто. Основою кружка, возсѣдавшаго каждый вечеръ за массивнымъ столомъ въ кабинетѣ, были члены многочисленной семьи—добродушный, неизмѣнно-благосклонный ко всѣмъ,—графъ Матвѣй Юрьевичъ, въ которомъ не одни родные, но и посторонніе видѣли какъ-бы патріарха дома; старикъ Комаровскій, Егоръ Евграфовичъ, когда-то воспитанный въ іезуитской коллегіи, и сохранившій нетронутой съ юныхъ лѣтъ какую-то особенную смѣсь чисто теоретическаго славянофильства съ французскою культурой XVIII вѣка. По-русски онъ не зналъ почти совсѣмъ. Его сыновья, наконецъ, тоже воспитанные болѣе европейцами, чѣмъ природными русскими: старшій,—Евграфъ,—жизнь котораго была искалѣчена неудачною любовью къ младшей изъ Віельгорскихъ,—Аннѣ Михайловнѣ,—нѣсколько лѣтъ былъ мировымъ посредникомъ въ Орловской губерніи и отличался хру-

стальною чистотою души, какую я рѣдко встрѣчалъ у кого-либо съ тѣхъ поръ. Два слѣдующихъ брата,—Владиміръ и Дмитрій,—оба военные, были очень блестящими свѣтскими молодыми людьми, что не мѣшало имъ слыть людьми и очень забавными, и очень образованными. Два младшихъ,—Алексѣй и Николай,—были моими сверстниками, и старшій изъ нихъ,—Алексѣй, въ то время, наряду съ Владимиромъ Панинымъ, былъ самымъ близкимъ моимъ пріятелемъ. Съ Панинымъ знакомъ тогда онъ не былъ, но попозже, когда его старшій братъ Владиміръ женился на сестрѣ Панина, — графинѣ Леониллѣ Викторовнѣ,—они сблизились тоже. Алексѣй Комаровскій, среди всѣхъ моихъ товарищей, наиболѣе отличался художественной жилкой. Рисовать было для него потребностью, и едва приходилъ домой, онъ спѣшилъ къ своему мольберту. Удивительный былъ контрастъ между изяществомъ того, что онъ писалъ, и постоянной неприбранностью его комнаты.

Не перечтешь всѣхъ, кто бывали обычными посѣтителями гостепріимнаго дома. Имѣлись у него, конечно, не только друзья, но и паразиты. Только и они были съ головы до ногъ пропитаны искусствомъ. Одинъ, печальный комикъ и балагуръ, графъ Фредро, вѣчно глубоко страдавшій изъ-за родной Польши, и вѣчно тоже съ моноклемъ, втиснутымъ въ глазъ, готовый разыграть роль шутника, сочинять пьесы, строчить куплеты,

писать романсы, острить и балагурить, и при дворѣ, и среди веселой компаніи золотой молодежи. Помню его высокую фигуру, зимою и лѣтомъ окутанную въ неуклюжій, дрянной плащъ, живущаго почти впроголодь, и вѣчно въ когонибудь влюбленнаго истинною, романтическою любовью. Онъ размѣнялъ на мелочь свой крупный талантъ и писалъ оперетты для маленькихъ придворныхъ спектаклей, хотя его могло-бы хватить и на потрясающую драму. Живою драмою онъ былъ, вѣдь, самъ, съ своей безпомощною любовью къ родинѣ, съ необходимостью вѣчно балагурить, вопреки даже душевнымъ страданьямъ. Другой завсегдатай Веневитиновскаго дома, совсѣмъ не похожій на Фредро, несмотря на взаимную дружбу, это былъ нѣкто, еврей Карлъ Левинъ,—піанистъ по профессіи, маленькій, кругленькій, нахальный, какъ всѣ евреи, но талантливый и остроумный, лишь какъ немногіе изъ нихъ. Онъ удовлетворялъ, когда было нужно, спросъ на музыку, и на серьезную, и на легкую. Онъ острилъ съ утра до вечера, немного по-старомодному, это—правда, но, несомнѣнно, былъ забавенъ, и, какъ забавникъ, былъ на короткой ногѣ съ очень многими петербургскими дамами, въ томъ числѣ,—и съ двумя вел. княгинями—Маріей Николаевной и Еленой Павловной.

Бывали тамъ гости и болѣе рѣдкіе—старый князь П. А. Вяземскій, Тютчевъ, князь С. А. Уру-

совъ, ставшій потомъ моимъ начальникомъ, и милѣйшій старикъ В. П. Титовъ съ своей полусумасшедшей женой, у которой водилась странная привычка то и дѣло судорожно вздрагивать головой. Послѣдніе четверо—Вяземскій, Титовъ, Тютчевъ и Урусовъ—были въ то время, какъ люди первоклассnаго ума, неизбѣжною принадлежностью каждаго умнаго салона. Ихъ прозвали четырьмя апокалипсическими животными: поющимъ, вопіющимъ, взывающимъ и глаголющимъ. Двое изъ нихъ, по своей рѣзкой оригинальности, такъ и запечатлѣлись въ моей памяти. Ѳ. И. Тютчевъ, очень напоминавшій портретъ Пьера, какъ-то особенно блестѣлъ глазами изъ-подъ стеколъ очковъ, такихъ-же выполированныхъ, какъ его отточенная рѣчь. На улицѣ онъ носилъ вѣчно какой-то зеленоватый плащъ, постоянно соскользавшій съ праваго плеча. И, когда,—что бывало часто,—онъ прохаживался съ канцлеромъ, кн. Горчаковымъ, было что-то особенно заостренное во взглядѣ, который онъ снизу вверхъ,—Горчаковъ былъ высокаго роста,—приковывалъ къ умному лицу князя.

Другой не менѣе рѣзко оригинальной фигурой,—былъ князь Урусовъ. Маленькій, худощавый, съ необыкновенно заостреннымъ лицомъ, онъ имѣлъ обыкновеніе кланяться, какъ перочинный ножикъ. И, что-то похожее на лезвіе ножа было и въ самомъ его лицѣ, и въ правой рукѣ, которой онъ постоянно отбивалъ тактъ по столу,

пока говорилъ. А говорилъ онъ превосходно. Слышавшіе его въ Государственномъ Совѣтѣ признаютъ въ немъ первокласснаго оратора. И все-таки, странно сказать, вся дѣятельность этого высоко-одареннаго, умнаго, краснорѣчиваго и ученаго человѣка, оказалась безплодной. Ни одна мѣра, ни одинъ законопроектъ, даже ни одна творческая мысль не связаны съ его именемъ. Многіе помнятъ его засаленную шляпу, его семинарскіе поклоны, его почти нищенскую одежду, но полезной черты въ его сановнической роли не помнитъ никто.

Картину вечернихъ сборищъ у Вѣневитиновыхъ помню живо: огромный массивный диванъ у стѣны, гдѣ хозяинъ дома, уткнувшись въ уголъ, курилъ довольно молчаливо огромную сигару. Передъ диваномъ—круглый столъ, еще болѣе массивный, и кресла разныхъ величинъ, гдѣ человѣкъ десять, а то и болѣе, оживленно разсуждали о литературѣ, объ искусствѣ, о религіи. Про политику не говорили почти вовсе, а сплетничали тѣмъ менѣе. Петербургское общество стояло, не трогаясь съ мѣста, имѣя полный досугъ для умственнаго эпикурейства сороковыхъ годовъ, и мало затронутое подымавшейся радикальной волной. Даже разговоры о приготовлявшемся освобожденіи, здѣсь, въ присутствіи женщинъ, поднимались не особенно живо. Зато великія имена царствованія Николая,—имена Гоголя, Пушкина, Глинки, Лермонтова—почти не сходили съ языка:

присутствовавшіе, большею частью, ихъ знавали лично, и каждый изъ нихъ припоминалъ какую-нибудь подробность на ихъ счетъ. То же было и съ заграничными извѣстностями: Вьётанъ, Сервэ. Шуманъ, Эрнстъ перебывали въ этомъ домѣ. Помнили хозяева и Бальзака, насчетъ котораго шли иногда горячіе споры, и Мицкевича; да и съ Жоржъ-Зандъ они, кажется, гдѣ-то встрѣчались. Словомъ, это было нѣчто въ родѣ «Арзамаса» карамзинской эпохи. Можно себѣ представить, какъ отразилась эта немного искусственная, чисто парнасская атмосфера на молодомъ поколѣніи, и какъ мы были далеки отъ злободневной литературы, и отъ ученія о прикладномъ искусствѣ, которое такъ страстно проповѣдывалъ Писаревъ. Долженъ признаться, что Некрасовъ, первое изданіе котораго тогда явилось, внушалъ мнѣ одно отвращеніе. Разъ или два въ недѣлю, этотъ мирный культъ прекраснаго смѣнялся культомъ иного рода: устраивалась крупная партія, въ которой съ хозяиномъ принимали участіе: А. П. Сабуровъ,— отецъ теперешняго члена Государственнаго Совѣта, князь А. М. Горчаковъ и старикъ Б. Н. Данзасъ. Въ такіе дни молодежь совсѣмъ не допускалась въ гостепріимный кабинетъ: это былъ храмъ.

Но въ обычное время царило въ этомъ храмѣ женское вліяніе, въ лицѣ хозяйки дома—Аполлины Михайловны; она была женщиной, увлекающейся въ спорѣ, хотя, кажется, не въ жизни, и, главное, высокообразованной. Какое-нибудь ей

не нравившееся мнѣніе ее могло не на шутку вскипятить гораздо болѣе, чѣмъ какой-нибудь ей претившій поступокъ. Щедростью она отличалась почти до мотовства, и, разумѣется, этой щедростью злоупотребляли. У нея была страсть—устраивать разный людъ, рекомендуя его направо и налѣво. Благодаря этому, ей случилось разъ отрекомендовать, въ качествѣ учителя, къ великимъ князьямъ—одного господина, до котораго давно добиралась сыскная полиція; это было уже при А. Л. Потаповѣ, который отвѣтилъ ей, шутя:

— Благодарю васъ чрезвычайно за рекомендацію; этого господина давно искали. Вы намъ дали возможность его прибрать, куда слѣдуетъ.

Пока расширялся, такимъ образомъ, кружокъ моихъ близкихъ пріятелей, мнѣ пришлось неожиданно лишиться едва-ли не лучшаго друга моей юности: Яши Ламберта не стало. Что̀ его такъ рано свело въ могилу, теперь не помню,—крѣпкимъ здоровьемъ онъ, вообще, не отличался. Живо помню, какъ плакала вся церковь, когда кончалось отпѣваніе, и тогдашній нашъ парижскій священникъ—о. Іосифъ Васильевъ, пріѣхавшій на время въ Петербургъ, произнесъ надгробное слово, въ которомъ горячо и правдиво обрисовалъ нравственный обликъ милаго намъ всѣмъ молодого покойника. Не плакала одна его мать. На то она была слишкомъ убита горемъ.

V.

Деревня—Латашино.—Семья Мещерскихъ и ихъ сосѣди.—Дореформенные порядки.— Манифестъ.— Хозяйство послѣ манифеста.— Мировые посредники. — Реформы въ университетѣ. — Новый министръ.—Матрикулы.—Университетскія волненія.—Мое возвращеніе.—Закрытіе университета.

ЛѢТО мы проводили большею частью въ Тверской деревнѣ, «Архангельскомъ», состоящей въ нашемъ роду съ незапамятныхъ временъ. Внутренняя деревенская жизнь и крестьянская и помѣщичья оставалась для меня въ годы первой юности какъ бы запертой на ключъ. Жилъ я бокъ о бокъ съ нею, но какъ бы проходилъ мимо, точно суть дѣла меня вовсе не касалась. Присутствовалъ я при разговорахъ о хозяйствѣ, о подъемѣ урожаевъ, о посѣвахъ клевера, но во всѣ эти вопросы не вникалъ. Такимъ былъ впрочемъ не я одинъ. Для большинства помѣщиковъ тогдашняго времени хозяйство было тарабарской грамотой, и разбирали они эту грамоту плохо. Были, правда, и встарь дѣловитые хозяева, у которыхъ и постройки водились крѣпкія, и скотъ содержался исправно, и служащіе ходили по стрункѣ. Но эта дѣловитость была чисто коммерческая и сводилась большею частію къ умѣнію извлечь пользу изъ лѣниваго дарового труда. Такихъ хозяевъ круп-

ныхъ и мелкихъ и въ нашемъ краю имѣлось довольно. Такимъ былъ, между прочимъ, одинъ изъ братьевъ моего отца, Михаилъ Гавриловичъ, слывшій дѣльнымъ человѣкомъ и у самихъ крестьянъ, всегда отзывавшихся о немъ съ уваженіемъ, а это значитъ очень много. Этотъ толковый скопидомъ постепенно скупалъ все продававшееся въ уѣздѣ и навѣрное бы скопилъ крупное состояніе, если бы холера не положила рано конецъ его дѣловитой жизни. И вотъ, занявшись разъ, много лѣтъ спустя, провѣркой его конторскихъ книгъ, я увидалъ къ немалому своему удивленію, что самый лучшій годъ—не помню какой именно—рожь у него дала урожай въ самъ-шесть. И онъ былъ этимъ не только доволенъ—ему даже завидовали. Такіе урожаи считаются теперь недородомъ. Не совсѣмъ, видно, сельское хозяйство у насъ осталось неподвижнымъ. Тогда не находили выхода изъ заколдованнаго круга: чтобы возвысить урожайность, необходимо прибавить удобренія, а стало быть держать больше скота, который опять-таки надо чѣмъ-нибудь кормить. Покойный отецъ, помнится, часто раздумывалъ надъ этой проблемой, которой такъ и не разрѣшилъ до самой смерти. Меня онъ не считалъ нужнымъ посвящать въ свои хлопоты и распоряженія. Да я этого и не добивался. Разъ только повезъ онъ меня въ свое новое имѣніе Ивановское, купленное три года передъ тѣмъ. Помню огромный трехъэтажный домъ съ неуклюжими хоромами, гдѣ когда-то весь уѣздъ,

должно-быть, собирался отплясывать подъ звуки доморощеннаго оркестра. Тутъ все напоминало грубую роскошь невзыскательнаго стариннаго барства. Зала съ хорами въ два свѣта, а плохо запиравшіяся окна съ рамами чуть-ли не бутылочнаго стекла. И «цимлянское» за ужиномъ тамъ, должно быть, разливали дворовые лакеи безъ сапогъ. Ивановское было куплено у нѣкоего Ермолаева, родного дѣда извѣстнаго радикальнаго гаера Е. В. де-Роберти, что не мѣшало дѣду быть въ своемъ помѣстьѣ расточительнымъ азіатскимъ деспотомъ, у котораго распущенное гостепріимство совмѣщалось съ безтолковой крутостью. Крестьяне были у него совсѣмъ разорены; цѣлая ихъ треть не имѣла своихъ лошадей. Теперь уже не то: лѣсные заработки и отхожій промыселъ сдѣлали свое дѣло. А безлошадные все-таки не перевелись, хотя общее число лошадей едва-ли не удвоилось. При самыхъ лучшихъ условіяхъ быта, деревень безъ обѣднѣвшихъ дворовъ не бываетъ, какъ ни въ одномъ городѣ нѣтъ сплошного зажиточнаго населенія.

Водился, однако, и въ нашемъ медвѣжьемъ углу одинъ помѣщикъ, рѣзко отличавшійся отъ всѣхъ прочихъ и хозяйничавшій по европейски. Это былъ мой двоюродный дядя, князь Б. В. Мещерскій, у котораго издавна въ его Латашинѣ заведено было травосѣянное хозяйство. Во всѣхъ его 14-ти хуторахъ огромные скирды клевера стояли живыми показателями уже достигнутаго прогресса.

У него собиралось въ годъ до 60-ти тысячъ пудовъ сѣна. Молочное хозяйство, самое кажется обширное въ Сѣверной Россіи, было у него главнымъ нервомъ его большого имѣнія. Всѣ эти порядки были заведены еще отцомъ князя, Василіемъ Ивановичемъ, женатымъ на боронессѣ Фитингофъ, которая принесла съ собой, вѣроятно, и остзейскія привычки, и черты отборной породы: всѣ Мещерскіе были замѣчательно красивы. У меня сохранился портретъ Бориса Васильевича, снятый въ годы его молодости. Трудно было бы отыскать станъ болѣе изящный, черты глядѣвшія благороднѣе. Эти свойства были у него общія съ многочисленными братьями, и передалъ онъ ихъ своимъ дѣтямъ, не менѣе многочисленнымъ. Его старшая дочь, нынѣ госпожа Татищева, въ юные годы поражала своей тонкой красотой. Въ молодости Борисъ Васильевичъ бойко отдавался блестящей свѣтской жизни, но онъ рано остепенился, встрѣтивъ въ Москвѣ свою будущую жену, урожденную княжну Оболенскую. Отецъ передалъ ему свое Латашино на очень тяжелыхъ условіяхъ, и съ тѣхъ поръ до самой смерти онъ не переставалъ тянуть лямку подъ обузою хозяйства, съ виду очень благоустроеннаго, но давившаго его непосильной задачей,—справиться съ обязательствами передъ родными. По странной игрѣ случая, Латашино, никогда не бывшее майоратомъ, съ самаго Петра Великаго—тогда оно было вотчиной боярина Матвѣева, на дочери котораго же-

нился тогдашній Мещерскій—постоянно оставалось нераздѣльнымъ въ рукахъ одного изъ семьи Мещерскихъ. И теперь тоже: послѣ смерти Бориса Васильевича, оно перешло къ его второму сыну, Сергѣю.

Обширный и гостепріимный Латашинскій домъ, гдѣ въ залѣ можно было танцовать въ 40 паръ, а рядомъ внутреннія комнаты имѣлись крошечныя, довольно запущенныя, съ очень низкими потолками,—Латашинскій домъ совмѣщалъ зрѣлище широкаго даже роскошнаго барства съ уцѣлѣвшими остатками дореформенной старины. Старина здѣсь удержалась дольше, чѣмъ гдѣ-либо: случайно въ околоткѣ жило много помѣщиковъ—Сипягины, свояченица Бориса Васильевича, княгиня Марія Владиміровна Мещерская, семья Рема, Шаховскіе, Эйлеры и др. Вокругъ обѣденнаго стола въ праздничные дни человѣкъ до 30 собиралось, а многочисленная молодежь веселилась и шумѣла за другимъ дѣтскимъ столомъ, вся еще отданная свѣжимъ довѣрчивымъ впечатлѣніямъ ранней юности, среди которыхъ жизнь не успѣла еще посѣять ни любви, ни вражды, ни разочарованій. Въ числѣ этой молодежи былъ, между прочимъ, будущій министръ Сипягинъ, въ которомъ ничто не предвѣщало ожидавшей его исторической роли, и сестра его, впослѣдствіи супруга адмирала Дубасова, и графиня Софья Сергѣевна Игнатьева, тогда еще 13-тилѣтняя дѣвочка. И старина эта догорала среди нововведенной современности. А

создатель этихъ нововведеній, отецъ тогдашняго владѣльца, Василій Ивановичъ, пріѣзжалъ къ сыну разъ въ годъ изъ Парижа, гдѣ жилъ постоянно, и становился предметомъ всеобщаго почета, который принималъ какъ нѣчто должное съ истинною патріаршею невозмутимостью, и едвали его особенно безпокоило, что старшій сынъ и наслѣдникъ среди этой полной чаши не переставалъ бороться съ тисками принятыхъ на себя обязательствъ. Живо помню худощавую, всегда изящную осанку князя Бориса, когда онъ потчивалъ гостей какимъ-либо изъ доморощенныхъ продуктовъ Латашина—копченымъ поросенкомъ, настойкой на какой-то благовонной травкѣ, знаменитымъ Латашинскимъ сыромъ или размазней, которую всегда подавали за ужиномъ и умѣли приготовлять особенно вкусно. И какъ водится, рой домочадцевъ своихъ и чужихъ вертѣлся вокругъ Латашинскихъ хозяевъ—какой-то отставной полковникъ, вѣчно печальная барышня Эгерштромъ, такъ и родившаяся, кажется, на свѣтъ грустно-молчаливой, пугливо-доброй и засидѣвшейся невѣстой, какой то жидокъ Ауербахъ, управлявшій имѣніемъ княгини Маріи Владиміровны, юный питомецъ Правовѣдѣнія, Владиміръ Владиміровичъ Рихтеръ, подбиравшій на роялѣ мотивы изъ всевозможныхъ оперъ, что ему не помѣшало замечтать очень рано о биржевой спекуляціи и вообразить себя дѣльцомъ, и выжившій изъ ума сенаторъ Ремеръ, принимавшій самого

себя за кого то совсѣмъ другого, и жена его, важная генеральша, такъ и созданная для ролей комическихъ старухъ. Въ имѣніи этихъ Ремеръ, Хлопово-Городище, совсѣмъ походившемъ на дачу и глядѣвшемъ нарядной бонбоньеркой, тожс праздники задавались, но тономъ пониже. И на этихъ праздникахъ, не смотря на всю нарядность обстановки, подавалось вмѣсто пирожнаго трехцвѣтное желе, съ сальнымъ огаркомъ посреди. Но главный потѣшникъ и первѣйшій балагуръ Латашинскаго общества былъ старый князь Николай Николаевичъ Трубецкой,—все круглое лицо котораго было одинъ смѣхъ, и прыткіе заплывшіе глазки такъ и искрились остроуміемъ. Въ сущности это былъ эгоистъ большой руки, которому полнымъ контрастомъ служила его добрѣйшая, невиннѣйшая супруга, рожденная Лопухина, живое воплощеніе 70-ти лѣтней невинности. У нихъ было невѣроятное число дѣтей, въ томъ числѣ очень замѣчательный старшій сынъ, Алексѣй Николаевичъ, умершій рано отъ чахотки, и очень мало средствъ. Ихъ крошечное имѣньице, которое называлось по странной игрѣ случая Новое Большое, глядѣло совсѣмъ съ иголочки. Небогатый князь всегда умѣлъ гостепріимство оказать самого лучшаго сорта. Готовилъ у него поваръ очень вкусно; самъ хозяинъ умѣлъ придавать особый лакомый видъ всѣмъ кушаньямъ, отъ которыхъ онъ отвѣдывалъ съ очевиднымъ удовольствіемъ; бѣлье водилось у него всегда снѣжной бѣлизны и тройка

его была лучшею въ околоткѣ. Времена эти прошли, и людей этихъ нѣтъ, да и не воскреснуть имъ вновь. Новымъ Большимъ владѣетъ теперь какой то ростовщикъ изъ мѣщанъ, и помѣщичья тройка въ этихъ краяхъ едва-ли вскорѣ не станетъ такой же рѣдкостью, какъ домирающіе остатки допотопной фауны.

Конечно, если бы теперь окунуться вновь въ эту минувшую жизнь, многое бы въ ней показалось и нескладнымъ, и, пожалуй, неряшливымъ. Мы избаловались. Но въ то время невинныя забавы тогдашней молодежи, широкое хлѣбосольство, изъ-за котораго порою нужда проглядывала, мирно и почти культурно какими то островками выдѣлялись изъ общаго однообразнаго моря сѣроватой жизни, и никто не чувствовалъ недостатковъ тогдашней невзыскательной обстановки, какъ вѣроятно не чувствуемъ мы ихъ теперь. А пройдутъ десятки лѣтъ — и современная жизнь покажется такой же захудалой, такой же сорной, какъ намъ порою кажется минувшая. Только съ развитіемъ условій комфорта и причудливыхъ негаданныхъ пока облегченій ежедневнаго обихода еще болѣе сотрутся самородныя черты характера, терпѣливое гостепріимство, невзыскательность нравовъ, которымъ нѣтъ уже мѣста, какъ скоро вѣчно торопиться и дорожить каждой минутой, хотя и не знаешь порой, чѣмъ наполнить время. Хорошая вещь жить по-американски; но для этого и американская энергія нужна, народный духъ, въ

самомъ дѣлѣ изъ каждой минуты выжимающій золото, а не нашъ русскій дряблый, развалистый, вздорный духъ.

Не сказалъ я до сихъ поръ ни слова о хозяйкѣ Латашина, о княгинѣ Софьѣ Васильевнѣ. Это была женщина вполнѣ открытая новизнѣ, вполнѣ мирившаяся съ требованіями обновленной жизни, хотя ея умственный міръ очевидно создался въ эпоху широкаго досуга, когда у насъ и заботъ и событій было еще немного. Любившая благотворительность, старательная хозяйка и мать семейства превосходная, она тѣмъ не менѣе не чуждалась тонкаго «себѣ на умѣ» и могла при случаѣ укольнуть больно. Одно скажу: никогда не видалъ ее поникшею духомъ или изнемогающей подъ бременемъ жизни, иногда для нея очень не легкой. И для мужа она была до конца—умерла она десять лѣтъ позже Бориса Васильевича—вѣрной, никогда ему не измѣнявшей опорой.

Засталъ я крѣпостное право уже на закатѣ. Привлекательнаго въ немъ было конечно немного. Но скажу и то, что въ нашемъ околоткѣ, по крайней мѣрѣ, не поражало ничто особенно въ умиравшемъ строѣ, ничто не говорило о какомъ либо гнетѣ. Не стану отрицать, что кое-гдѣ гнетъ былъ, и самый ужасный. Но въ мои, правда, не особенно зоркіе глаза уродливая картина не бросалась. Жилъ въ нашемъ сосѣдствѣ одинъ только помѣщикъ, Евгеній Александровичъ Поликарповъ, человѣкъ очень тучный и сантиментальный, про-

свѣщенный, совсѣмъ человѣкъ 40-хъ годовъ даже съ кой-какими отрывочными либеральными мечтами. Онъ очень любилъ музыку и не былъ способенъ ни на какое тиранство. Умеръ онъ въ шестидесятыхъ годахъ, оставивъ дѣтямъ довольно большое, но и довольно разстроенное состояніе. Такіе люди въ хорошіе хозяева не годятся. Не помню тоже, чтобы у насъ при отцѣ, хоть онъ былъ старинный кавалеристъ, прибѣгали къ сильнымъ мѣрамъ воздѣйствія. Разъ только отецъ, катаясь со мною верхомъ по лѣсу, нашелъ тамъ мужика, срубавшаго дерево, и тутъ же, подозвавъ полѣсовщика, этого мужика приказалъ свести въ усадьбу, чему тотъ и не противился, хотя и былъ вооруженъ топоромъ. Онъ оказался государственнымъ, что нисколько не помѣшало дать ему на конюшнѣ надлежащее наставленіе.

Отцу хорошо были извѣстны работы редакціонныхъ комиссій и онъ очень легко бы могъ, пользуясь этимъ, отвести крестьянамъ своихъ 37 деревень надѣлы въ окончательномъ видѣ еще до обнародованія Положеній. Однако онъ этого не сдѣлалъ; ему хотѣлось добиться соглашенія съ крѣпостными, но никакого соглашенія онъ не достигъ. Мужики твердили: «воля ваша, а мы на то не согласны». Эти споры совсѣмъ подкосили здоровье отца, у котораго и безъ того начиналась болѣзнь печени. Распутывать узелъ пришлось уже мнѣ.

Манифестъ 19-го февраля засталъ насъ такимъ образомъ не подготовленными. Все лѣто 1861 г.

длились безплодныя пререканія объ отводѣ надѣла. Отецъ стоялъ на своемъ:—чѣмъ прежде владѣли крестьяне, то имъ и слѣдуетъ дать, уничтоживъ при томъ черезполосицу. Крестьяне, разумѣется, думали этимъ воспользоваться, чтобы улучшить свое положеніе и получить изъ состава господской земли соблазнившій ихъ кусокъ. Конечно, ничего изъ этого не выходило. Помню до сихъ поръ шумныя мужицкія депутаціи, у которыхъ всегда выступалъ какой нибудь вожакъ, то съ необыкновенно елейнымъ видомъ, то съ пламеннымъ взоромъ и съ всклокоченной бородой. По мѣрѣ развитія спора, и елейный и всклокоченный одинаково выходили изъ себя и часто крикливые голоса ихъ слышались изъ толпы. Никогда, однако, изъ предѣловъ нѣкоторой условной почтительности мужики, помнится, не выходили. Пришлось намъ имѣть дѣло со всѣми четырьмя посредниками уѣзда. Не могу сказать, чтобы они слишкомъ отвѣчали ходячему представленію о посредникахъ, такъ называемаго, перваго призыва. Одинъ изъ нихъ, статный морякъ съ огромными усищами выражался степенно, никогда не возвышалъ голоса, но, какъ увѣряютъ, не чуждался и побочныхъ стяжаній. Другой, нѣкто Борисъ Андреевичъ Костылевъ, отставной военный докторъ, былъ человѣкъ благообразный, исполненный мягкаго достоинства и мучительно добивавшійся полюбовныхъ соглашеній. Помню его на засѣданіяхъ съѣзда, на которыхъ тучно

возсѣдала неуклюжая фигура предводителя Козлова, человѣка очень не глупаго, но и только. Наискось отъ него помѣщался членъ отъ правительства Тыртовъ, пламенно-красная борода котораго по цвѣту совпадала съ его взглядами. Какъ истый чиновникъ, онъ гнулъ постоянно налѣво. Тогда, какъ и теперь, чиновники оказывались чаще на этой сторонѣ. Но вотъ поднималась медлительная плавная рѣчь Костылева, возникали придуманныя имъ недоумѣнія, и дѣло неизбѣжно затягивалось по формальнымъ причинамъ. Третій посредникъ, Измайловъ, былъ маленькій черноволосый и очень живой человѣчекъ лѣтъ 25-ти, дѣла совсѣмъ не знавшій и у всѣхъ слывшій революціонеромъ. Назначили его ради отца, почтеннѣйшаго старика, очень заслуженнаго въ качествѣ представителя министерства государственныхъ имуществъ. Онъ былъ очень бѣденъ; быстро разъѣзжалъ по уѣзду въ открытой телѣжкѣ, носилъ зеленый прегрязный зонтикъ надъ подслѣповатыми глазами и глядѣлъ довольно смѣшнымъ въ своемъ ветхомъ засаленномъ мундирномъ сюртукѣ. А между тѣмъ этотъ почтенный убогій старичекъ весь горѣлъ искреннимъ огнемъ горячей любви къ бѣдному люду. Позже я встрѣтился съ нимъ на земскомъ собраніи. Сынъ не былъ его достоинъ. Этого сына скоро, впрочемъ, убрали: онъ пошелъ украшать собою какой-то Окружный Судъ.—Четвертый посредникъ былъ всѣхъ лучше. Отстав-

ной полковникъ, не особенно дальняго ума, Николай Андреевичъ Чаплинъ кипятился, иногда довольно безтолково твердилъ, что законъ—это онъ самъ, между тѣмъ какъ закона онъ въ сущности не зналъ, но при всей скоропалительности вникалъ въ суть дѣла всегда и съ глазу на глазъ съ владѣльцемъ заступался за крестьянъ, хоть и громко ихъ бранилъ. И все-таки при этихъ, далеко не идеальныхъ посредникахъ дѣло спорилось и уставныя грамоты вводились быстро и притомъ безъ всякой экзекуціи, не говоря уже о какомъ либо пролитіи крови.

Лѣто 1861 года прошло въ сущности спокойно, хотя очень неспокойно было на сердцѣ и на душѣ у г.г. помѣщиковъ. Приходилось вести денежное хозяйство безъ оборотнаго капитала, а пріобрѣсть этотъ капиталъ путемъ выкупа никому не было сладко, когда выкупныя свидѣтельства стояли ниже 70%. Многіе, даже большинство, тѣмъ не менѣе поспѣшили съ выкупомъ—и это и было для нихъ началомъ конца. Получать номинально лишь $^4/_5$ слѣдуемаго платежа и получать его бумагами, терявшими по курсу $^1/_3$ своей цѣны, это значило въ сущности реализировать выкупъ почти изъ 50%. А когда изъ этихъ 50% приходилось еще погасить долгъ опекунскому совѣту, денегъ оставалось немного. Въ печати нерѣдко сѣтовали на помѣщиковъ за то, что они проѣли выкупныя свидѣтельства зря. Это обвиненіе не совсѣмъ справедливо: проѣдать въ сущности оставалось

немного. Главную бѣду составляли не полевыя работы: крестьяне охотно брались ихъ исполнять либо за угодья, либо изъ-за части урожая. Да и вольнонаемный трудъ стоилъ не дорого.

Главная бѣда была въ томъ, что бывшіе крѣпостные всегда работали скверно, а послѣ 19-го февраля стали работать еще неряпливѣе. А помимо всего, что касалось собственно полеводства, оставался цѣлый штатъ должностныхъ лицъ отъ бурмистра до лѣсника включительно, которымъ вдругъ пришлось уплачивать сравнительно высокое жалованье послѣ долгой привычки не платить имъ почти ничего. То-же было и съ мастеровыми,—съ плотниками, каменьщиками, столярами и т. д. Малѣйшій ремонтъ, прежде не стоившій ни копѣйки, вдругъ сталъ требовать непривычно крупныхъ затратъ. И при этомъ, полное отсутствіе знаній, какъ усовершенствовать работы, затрудненность пріобрѣсть улучшенныя орудія, которыя стоили дорого и были очень плохи, невозможность откуда либо выписать искусственныя удобренія или найти заводъ, гдѣ бы починить испорченную машину. Трудно себѣ и представить теперь, какимъ лѣсомъ обступала тогдашнихъ хозяевъ роковая безпомощность, и какъ много было на вѣтеръ брошенныхъ денегъ на покупку дорогого скота, которому было суждено околѣвать отъ плохого корма, и дорогихъ орудій, съ которыми не умѣли справляться и не могли чинить. Не мудрено, что въ складѣ Бутенопа въ Москвѣ толпились весной растерянные

помѣщики и безъ толку накупали всякую дрянь, ожидая отъ нея спасенія.

Строго говоря, самый непростительный грѣхъ этихъ помѣщиковъ заключался какъ разъ въ этой растерянности. Имъ дано было время подготовиться, ветхія зданія починить, воспитать себѣ умѣлыхъ мастеровъ а главное, самимъ научиться хозяйничать. И почти никто изъ нихъ этого не сдѣлалъ. Оттого-то уже въ половинѣ 60-хъ годовъ все мелкое, бѣдное, задолженное—было ликвидировано. Нашлось достаточно людей среди купцовъ, разночинцевъ, промышленниковъ, крестьянъ, готовыхъ скупить всю эту ветошь, продававшуюся вдобавокъ по невѣроятно низкимъ цѣнамъ. И если-бы предусмотрительность имѣлась у г.г. владѣльцевъ, они бы конечно догадались, что было-бы выгодно даже съ потерею 50% совершить обязательный выкупъ, и полученныя деньги обратить на покупки земли. Сдѣлали это однако тѣ только, у которыхъ водились крупные капиталы,—графъ В. И. Орловъ-Давыдовъ напримѣръ, или князь Н. Б. Юсуповъ. Оттого-то ихъ крупныя состоянія доросли до колоссальныхъ размѣровъ.

Повторяю, лѣто 1861 г. протекло спокойно. Но для меня лично оно закончилось очень тревожно. Новый министръ народнаго просвѣщенія, графъ Путятинъ, принялся неловкою рукою за реформу университетскихъ порядковъ. Онъ запретилъ всякія сходки, хотя прошлой зимой эти сходки

протекали мирно, уничтожилъ однимъ почеркомъ пера студенческую организацію, т.-е. факультетскихъ редакторовъ и депутатовъ, составлявшихъ извѣстную правительственную коллегію среди товарищей, закрылъ университетскую кассу и студенческій журналъ, и предписалъ всѣмъ студентамъ, желавшимъ продолжать ученье, подписать такъ называемыя матрикулы, обязывавшія каждаго мирно подчиняться по всѣмъ порядкамъ. Все это было сдѣлано вдобавокъ въ самой рѣзкой, чисто диктаторской формѣ и безъ особенно важныхъ поводовъ. Можно было кое-что исправить, упорядочить въ студенческой вольницѣ, въ сущности довольно безобидной и мало-по-малу установились бы традиціи, образовался-бы твердый духъ студенчества, что гораздо вѣрнѣе оградило бы высшія школы отъ революціи и соціализма, чѣмъ смогли это сдѣлать всевозможныя репрессіи. Начались при самомъ открытіи лекцій безпорядки, попечитель былъ освистанъ, какія-то двери взломаны, и взволновалась юная толпа подъ лозунгъ «не подписывать матрикулы! Долой министра и попечителя». Густыми рядами манифестанты отправились по Невскому на Колокольную, гдѣ жилъ попечитель, вытребовали его къ себѣ, ошикали его грубый солдатскій отвѣтъ—въ сущности онъ былъ, говорятъ, очень добрый человѣкъ—и не солоно хлебавши разбрелись домой. Теперь подобнымъ мятежомъ на куриномъ бульонѣ насъ не удивишь. Но тогда цѣлость государства казалась

въ опасности. Да оно и понятно, это была едвали не первая процессія, какую видѣли улицы Петербурга, и случилась она какъ разъ въ тотъ самый годъ, когда были освобождены крестьяне. Правительство думало, что этимъ актомъ оно пріобрѣло какъ разъ благодарность и сочувствіе учащейся молодежи.

Обо всемъ этомъ я узналъ изъ письма ко мнѣ Алексѣя Комаровскаго, приглашавшаго меня пріѣхать поскорѣе. Не смотря на простуду, я поспѣшилъ въ Петербургъ и въ тотъ же вечеръ повидался съ товарищами. Нашего полку въ эту осень прибыло: только что поступили въ университетъ братья Веневитиновы, Смирновъ, Куракинъ, Корфъ, Павелъ Шуваловъ, два брата Медемъ и др. Настроеніе я засталъ самое возбужденное. Всѣ, даже такой спокойный человѣкъ, какъ Алексѣй Комаровскій, были внѣ себя отъ негодованія. Не хватало бранныхъ словъ по адресу новаго министра и попечителя, генерала Филипсона. Безтактности, совершенныя этими господами въ достаточномъ числѣ, подлили, какъ водится, масла въ огонь гораздо больше, чѣмъ самое стѣсненіе университетскихъ привиллегій. Поднимался даже серьезно вопросъ, слѣдуетъ ли подписать матрикулы, и вообще не лучше ли отказаться отъ университета. Не помню уже, какъ раздѣлились мнѣнія. Знаю только, что Комаровскій, Медемъ и я усердно проповѣдывали, что поступлено съ нами до-нельзя безтолково, но что изъ-за этого жертвовать лек-

ціями такихъ чудныхъ профессоровъ, какими тогда изобиловали факультеты, не стоитъ. Такъ и было рѣшено. Матрикулы мы всѣ подписать согласились. Помнится, этотъ маленькій грѣшокъ противъ искренности возбудилъ негодованіе старшаго брата Комаровскаго, Евграфа, человѣка необыкновенно прямолинейнаго и при томъ убѣжденнаго консерватора. Онъ только-что началъ свою дѣятельность, какъ мировой посредникъ, и на всѣ жизненные вопросы смотрѣлъ съ чисто принципіальной точки зрѣнія. Всѣмъ намъ онъ импонировалъ сильно своимъ глубокимъ образованіемъ—онъ самъ готовился въ профессора, но бросилъ учебную дорогу ради политической: такое уже было время, что наука сама по себѣ считалась пустымъ занятіемъ. Евграфъ Комаровскій былъ очень друженъ съ знаменитымъ тогда уже Чичеринымъ, и не менѣе своего пріятеля, основательно изучилъ всѣ философскіе толки. «По моему—говорилъ онъ намъ,—если вы такъ думаете, для васъ не можетъ быть и рѣчи о матрикулахъ. Вы попросту революціонеры: такъ имѣйте же мужество дѣйствовать согласно своимъ убѣжденіямъ». Онъ почти требовалъ, чтобы мы отправились строить баррикады.

На другой день, какъ помню, 11-го октября, я поѣхалъ утромъ въ университетъ и, въ виду скверной погоды, имѣлъ неосторожность поѣхать въ каретѣ. Подъѣзжаю... Вижу, передъ дверьми толпа студентовъ въ нѣсколько сотъ человѣкъ, и всѣ они волнуются и дружно вопятъ, разумѣется, другъ друга

не слушая. Кто-то бросается открыть мнѣ дверцы, беретъ за локти и говоритъ иронически. «Прикажете васъ высадить, ваше сіятельство?»—Признаюсь, струхнулъ не на шутку, но все обошлось, какъ нельзя лучше. Обратившись къ незнакомцу, я сказалъ: «коли вы ужъ были такъ любезны растворить дверцы, потрудитесь пожалуйста ихъ и захлопнуть, а кучеру прикажите ѣхать домой». Меня пропустили.

По корридорамъ, какъ провинившіяся тѣни, слонялись подписавшіе матрикулы. Тотчасъ я сказалъ себѣ, что дѣло не ладно. Университетъ формально существовалъ, какъ гальванизированный трупъ, лекціи еще читались, но духъ отлетѣлъ. И просуществовалъ университетъ въ самомъ дѣлѣ не долго. На другой уже день была многочисленная сходка на университетскомъ дворѣ, сходка, въ которой участвовало много и нестудентовъ; батальонъ преображенцевъ былъ посланъ разогнать толпу и водворить порядокъ. Батальономъ, помнится, командовалъ мой двоюродный братъ И. Н. Толстой. Исполнили-ли они свое дѣло, очень цивилизованно избѣгая даже раздавать пинки, хотя ихъ осыпали ругательствами—не знаю. Но думаю, что воспоминаніе объ этомъ не принадлежитъ къ числу особенно слабыхъ. Человѣкъ 500, а то и болѣе отвели въ Петропавловскую и тамъ посѣяли первыя сѣмена смуты, отъ которой позже взошла такая богатая жатва. Болѣе года университетъ былъ закрытъ.

А въ дѣйствительности закрытъ былъ на всегда тотъ университетъ, который я помню, университетъ—сохранявшій еще традиціи 40-хъ годовъ. Костомаровъ, Кавелинъ, Спасовичъ, Борисъ Утинъ, Стасюлевичъ—покинули свои кафедры. И хотя правительство сдѣлало очень скоро опытъ политическаго покаянія, замѣнивъ графа Путятина—Головинымъ, и генералъ-губернатора Игнатьева—княземъ Суворовымъ, хотя въ Дерптѣ скоро открылся для желающихъ вольный университетъ съ популярными лекторами, нить образованія была порвана, и порвано тоже доброе согласіе между начальствомъ и молодежью, котораго тогда еще, пожалуй, можно было не разорвать.

VI.

«Вольный университетъ» въ Думѣ. — Забастовка, вслѣдствіе лекціи Павлова.—Инцидентъ съ Костомаровымъ.—Кончина моего отца.—Потаповы.—Слышанный мною разговоръ трехъ генераловъ.—Потаповъ въ Вильнѣ: его политика.—Желательный характеръ польско-русскихъ отношеній.

ЗИМА 61 до 62 года прошла безпокойнѣе весны. Вольный университетъ, открытый въ Думѣ, просуществовалъ недолго. Собиравшіеся тамъ «длинноволосые», носившіе даже цвѣтные очки, въ пику правительству, ни отъ кого не скрывали, что собираются они для показыванія языка властямъ, а вовсе не для обогащенія себя научными свѣдѣніями. Да и какая это была наука! Лекціи, походившія на газетныя статьи, напряженно-воинственныя лица дамъ и барышень, въ глазахъ которыхъ, какъ-будто, было написано: «полюбуйтесь, какія мы серьезныя, передовыя и какъ мы ни въ чемъ не уступимъ изъ своихъ требованій, а требуемъ мы, прежде всего, полнаго равенства съ некрасивымъ поломъ...» И равенство это въ самомъ дѣлѣ достигалось удивительною некрасотою наряда этихъ амазонокъ революціи. Нескладно сшитыя платья, грубая обувь, коротко остриженные волосы, очки на всѣхъ глазахъ, и даже цвѣтъ лица протестующій—жел-

тобурый, свидѣтельствовавшій о постоянно желчномъ настроеніи. Помню одну изъ такихъ барышень, которую постоянно встрѣчалъ на Невскомъ. Выраженіе лица вызывающее, искаженное отъ протеста, цвѣтъ кожи, походившій на кожуру гнилого апельсина, пачка нечитанныхъ журналовъ подъ мышкой, синіе очки, и шлепавшая на ней грязная черная юбка, точно взятая на прокатъ. Совершенно походила она на скверно-переодѣтаго мужчину. Такихъ въ залѣ Думы было множество. Такому искусственному напряженію долго продолжаться нельзя было, и, въ самомъ дѣлѣ, оно продолжалось недолго. Профессоръ Павловъ, ничѣмъ незамѣчательный, добрѣйшій, хромой горбунчикъ, который съ глазу на глазъ былъ тише воды, по случаю тысячелѣтія Россіи, прочелъ гдѣ-то,—не помню гдѣ именно,—лекцію о призваніи Варяговъ, и закончилъ ее сожалѣніемъ, что тысячелѣтіе нельзя отпраздновать изгнаніемъ потомковъ этихъ самыхъ Варяговъ. Укусила-же бѣдняка передовая муха! Мѣры возмездія не замедлили послѣдовать, и горбунчикъ былъ сосланъ въ мѣстности, довольно-таки отдаленныя. Протестующій муравейникъ сейчасъ заколыхался, и совершенно такъ-же, какъ онъ тенденціозно посѣщалъ лекціи, тенденціозно пересталъ ихъ посѣщать. Примѣръ ему подали профессора, въ томъ числѣ Кавелинъ, котораго громкое имя могло-бы спасти отъ пошлости; они постановили, тотчасъ обратившись въ бастующую корпорацію,

что лекцій больше читать не станутъ. Поляки, въ то время, на улицахъ Варшавы носили трауръ по Польшѣ, хотя польки умудрялись, вѣроятно, гораздо лучше нашихъ нигилистокъ казаться привлекательными и въ траурѣ. Мы стали имъ подражать, какъ водится, неуклюже, и принялись носить трауръ по небывалой свободѣ—отказомъ отъ просвѣщенія. Отряхнуть съ себя эту лишь тонкую кору европеизма было, впрочемъ, нетрудно; и вся ничего не дѣлающая молодежь, а можетъ быть и не желающая дѣлать что-либо,—принялась болтаться по улицамъ, дѣлаясь предметомъ полицейскаго наблюденія, съ одной стороны, а съ другой—объектомъ ухаживанья новаго Петербургскаго генералъ-губернатора—князя Суворова. Система безпричинныхъ арестовъ, смягченная столь же безпричиннымъ расшаркиваніемъ, была, кажется, правительствомъ изобрѣтена тогда. Къ этому еще одно прибавилось: размноженіе всевозможныхъ «Марцинкевичей»,—въ той надеждѣ, что бациллъ разврата убьетъ бациллъ революціи; но надежда не сбылась: оба эти микроба прекрасно уживались другъ съ другомъ, и передовой литераторъ Слѣпцовъ воспользовался своей красивой наружностью для успѣшнаго пропагандированія сожительствъ съ участіемъ обоихъ половъ. Эти сожительства, помню, тогда назывались «фаланстерами», а, пожалуй, могли-бы получить и названіе нѣсколько иное. Султаномъ этихъ гаремовъ былъ, разумѣется, самъ Слѣпцовъ.

Напряженный пузырь либерализма тутъ-же и лопнулъ. Прекратили лекціи не всѣ профессора, и популярнѣйшій изъ нихъ—Костомаровъ не присоединился къ забастовкѣ. Сдается мнѣ, что настоящей причиной этой забастовки было тайное сознаніе господъ Кавелинской компаніи, что они, въ сущности, толкутъ воду, что фельетонная наука, какую они читаютъ, ни къ чему не приведетъ, а только нѣсколько принизитъ ихъ ученыя имена. Какъ-бы то ни было, Костомаровъ ихъ не послушался, и добровольно пошелъ въ ровъ львиный; и львы—какіе это были, въ сущности, львы?—зарыкали. На бѣднаго, почтеннаго старика посыпались свистки, яичныя скорлупы и сомнительной свѣжести яблоки. Мнѣ не довелось присутствовать при этомъ срамѣ, но разсказывалъ мнѣ про это Панинъ. Для меня зима эта была омрачена событіемъ, затронувшимъ меня гораздо ближе, чѣмъ эти мутныя бури. 4-го декабря 1861 года скончался мой отецъ: 2-го, вечеромъ, онъ былъ еще съ матушкой въ театрѣ—давали, помнится, драму Виктора Гюго «Анжело»—и ночью съ нимъ сдѣлался припадокъ—судороги въ сердцѣ. Онъ годъ страдалъ сердечною болѣзнію, и тогдашняя знаменитость — Здекауеръ ему прописывалъ Digitalin. Это было въ концѣ октября. Потомъ онъ отсталъ отъ Здекауера и обратился къ какому-то ему рекомендованному военному врачу Хольмеру, кажется, шведскому еврею. Что ему давалъ этотъ волхвъ медицины—не знаю, но отецъ былъ

имъ очень доволенъ. И вдругъ—этотъ припадокъ! Меня къ отцу весь день не пускали, и я ни про что не догадывался; вечеромъ даже я у себя писалъ какіе-то нѣмецкіе стихи. А днемъ былъ консиліумъ съ двумя генералами отъ медицины—Эккомъ и Здекауеромъ, и умѣй я тогда читать на лицахъ—я бы, навѣрно, прочелъ роковую *истину*. Но тогда приближеніе смерти мнѣ еще не было знакомо. Отцу минуло всего 53 года, онъ былъ человѣкъ общительный, свѣтскій, выѣзжавшій почти каждый вечеръ; и, когда мать поздно зашла ко мнѣ въ комнату, совѣтуя лечь спать, я такъ и сдѣлалъ. Въ 4 меня разбудили—«батюшка кончается», сказалъ мнѣ слуга; наскоро я одѣлся, весь дрожа отъ испуга, и пошелъ туда, въ эту страшную комнату, гдѣ отецъ, въ халатѣ, полулежалъ на кожаномъ диванѣ, не открывая глазъ, и тяжелый, протяжный хрипъ зловѣще вырывался изъ его груди. Вошелъ священникъ, отецъ Шишовъ, завѣдывавшій домашней церковью великой княгини Елены Павловны,—онъ былъ нашимъ духовникомъ и моимъ законоучителемъ. Шишовъ отказался причастить отца: сознаніе не возвращалось, глаза не раскрывались болѣе, и, часъ спустя, прибѣжавшій Хольмеръ объявилъ, что тѣло начинаетъ холодѣть.

Разумѣется, его осыпали упреками, а онъ только разводилъ руками, увѣряя, что ничего нельзя было сдѣлать, и что давно онъ все предвидѣлъ, не рѣшаясь про это сказать. Всѣ врачи

имѣютъ обыкновеніе предвидѣть — и молчать. Помню живо службу по отцѣ, и церемонію похоронъ въ мягкій, тусклый декабрскій день, помню не покидавшее меня все время неопредѣленное чувство холода. Все меня леденило,—и зимній воздухъ, и слезы матери, и пышная служба въ Сергіевой пустыни, и старательныя утѣшенія родныхъ. Родные выказали много участія, отца моего очень любили въ семьѣ, больше, кажется, чѣмъ любили мать; потомъ какъ-то случилось, что они поотстали, поохладѣли, ушли куда-то. Сохранилъ я близкія отношенія только съ семьей Мещерскихъ.

Кончина отца очень сблизила мать съ ея кузиной—Екатериной Васильевной Потаповой, жившей тогда у Цѣпного моста, въ домѣ графа Олсуфьева. Мужъ ея,—Александръ Львовичъ,—былъ только что назначенъ товарищемъ шефа жандармовъ. Изъ всей родни—близкой и дальней—Екатерина Васильевна всего болѣе выказывала намъ истинно-близкаго сердечнаго участія, совсѣмъ не походившаго на шумливое участіе прочихъ. Матушка была совсѣмъ убита горемъ и всю эту зиму только и бывала, что у Потаповыхъ. Ѣздилъ туда и я, хотя приходилось сидѣть сбоку и помалкивать. Польское движеніе тогда разгоралось, и Александръ Львовичъ Потаповъ видѣлъ это совершенно ясно. Впослѣдствіи—заступникъ поляковъ, онъ въ то время громко укорялъ правительство за бездѣятельность. Помню разъ, какъ

его негодующія рѣчи, встрѣчая довольно тусклый откликъ въ его дряхломъ начальникѣ—князѣ Василіи Андреевичѣ Долгорукомъ, самомъ недальновидномъ изъ управлявшихъ III-мъ отдѣленіемъ, были живо поддержаны тогдашнимъ Рижскимъ генералъ-губернаторомъ—графомъ П. А. Шуваловымъ. Мнѣ рѣдко случалось видѣть, какъ три крупныхъ сановника могутъ, не стѣсняясь, откровенно выражаться насчетъ того-же правительства, въ составъ котораго они сами входятъ. Если-бы рѣзкія слова, услышанныя мною въ тотъ вечеръ, произносились студентами изъ лѣвыхъ, это было-бы совсѣмъ въ порядкѣ вещей. Но тутъ, въ этомъ святилищѣ полицейской власти, странно звучали почти крамольныя рѣчи трехъ генералъ-адъютантовъ, хотя, правда, рѣчи эти были внушены заботою о цѣлости и спокойствіи родины. Но всего страннѣе то, что Шуваловъ и Потаповъ были какъ разъ изъ числа наиболѣе европейски-настроенныхъ, даже полонофильскихъ государственныхъ людей, а князь Долгоруковъ, вся тучная и добродушная фигура котораго словно дышала непробуднымъ сномъ, былъ—совершенное политическое ничтожество. Самъ Потаповъ, единственный изъ трехъ генераловъ, котораго я зналъ довольно близко—былъ очень маленькій, тщедушный, очень остроумный, но поверхностный человѣкъ, искренно убѣжденный поклонникъ самодержавія, хотя и доводилось ему носителя этого самодержавія порой под-

вергать критикѣ. Такъ,—помню, онъ разсказывалъ это у насъ за обѣдомъ,—когда передъ Восточной войной толпа на Дворцовой площади громко вызывала Государя, чтобы привѣтствовать его криками «ура», Потаповъ сказалъ, не присоединяясь къ общему ликованію: «Ваше Величество, когда народъ пріучается рукоплескать своему Государю, онъ тѣмъ самымъ пріобрѣтаетъ право ему высказывать неодобреніе».

Потаповъ былъ такъ малъ ростомъ, что младшій мой братъ, увидавшій его, кажется, въ первый разъ,—когда Александръ Львовичъ только что вернулся отъ Государя, и весь увѣшанный орденами, спиною къ пылавшему камину курилъ огромную и очень зловонную папиросу,—вдругъ спросилъ у отца: «что̀ это, въ самомъ дѣлѣ,—генералъ, или только—переодѣтый мальчикъ?» Потаповъ этого ему никогда не простилъ. Когда въ 1867 году Потапова назначили въ Вильну—генералъ-губернаторомъ на мѣсто Кауфмана, онъ круто повернулъ въ сторону отъ Муравьевской политики, сталъ неблагосклонно относиться къ нѣкоторымъ изъ русскихъ мировыхъ посредниковъ и задумалъ искать примиренія съ поляками. Его образъ дѣйствій встрѣчалъ открытую оппозицію не только со стороны Каткова, громившаго эту, якобы, измѣну русскому дѣлу, но и со стороны нѣкоторыхъ изъ ближайшихъ сотрудниковъ Потапова: его товарища — князя Багратіона, бывшаго прежде Тверскимъ губерна-

торомъ, попечителя Виленскаго округа П. Н. Батюшкова и Ковенскаго губернатора Базилевскаго. Эти господа, изъ числа которыхъ одинъ Багратіонъ считался несомнѣнно умнымъ, находили, что «ежовыхъ рукавицъ» не пора еще снимать, и что однимъ страхомъ можно Западный Край держать въ повиновеніи. Нападали на Потапова и многіе изъ его родственниковъ,—вся семья Мещерскихъ, добрѣйшій князь А. В. Оболенскій (родной братъ Софіи Васильевны), — мужъ ея младшей сестры Натальи Васильевны А. Н. Карамзинъ, словомъ всѣ, кто прямо или косвенно держался славянофильскихъ воззрѣній. А, между тѣмъ, Потаповъ былъ совершенно правъ, хотя въ частностяхъ, можетъ быть, и дѣлалъ промахи. Можно подавить механически любую народность, покоренную силою оружія. Но пока съ такою народностью духовно не сольешься, ея вѣрноподданность останется чисто - показной. Россія имѣла несчастье, или неосторожность, присоединить къ себѣ не только однѣ окраиныя провинціи бывшей Польши, но самую ея сердцевину. Что при этомъ у Императора Александра I было чистосердечное намѣреніе, не свободное, впрочемъ отъ тщеславія, возстановить полунезависимое Польское королевство подъ своимъ скипетромъ, этого поляки ему вовсе въ заслугу не зачли. И удивляться тутъ нечему. Ни одинъ историческій народъ, у котораго не вымеръ окончательно духъ преданности родинѣ, не можетъ помириться, по

крайней мѣрѣ сразу, съ потерею своей національности. И полякамъ дѣлаетъ честь, что они съ этимъ не помирились. Двумя только путями можно постепенно сгладить упорную антипатію побѣжденныхъ къ побѣдителямъ. Надо ихъ поставить въ такія условія, которыя были-бы значительно лучше, выгоднѣе, разумнѣе условій ихъ прежней самостоятельной жизни. И въ то-же время, надо всякую попытку къ измѣнѣ обставить такими грозными трудностями, которыя заставили-бы призадуматься любого охотника до возстановленія «ойчизны» путемъ возстанія. Незачѣмъ, при этомъ, мечтать о полномъ установленіи единства: историческія традиціи живутъ долго, именно, благодаря искусственному ихъ сохраненію въ безвоздушной средѣ. Мы поступали какъ разъ наоборотъ. За исключеніемъ, развѣ, полдюжины пановъ, имѣвшихъ доступъ къ очагу власти, и угодливость которыхъ напрасно принимали за преданность, поляки не видѣли для себя никакой особой выгоды въ строгой вѣрности русскому правительству, а попытки противъ этого правительства крамольничать не были обставлены никакими особыми препятствіями.

Въ огромной лотереѣ, какая зовется Россіей, у нихъ выигрышныхъ билетовъ не имѣлось, а удачное отложеніе отъ нея сулило имъ Польшу отъ «morza do morza». Иллюзій тутъ было, конечно, сколько угодно; но аляповатая близорукость русскаго правительства не переставала эти

иллюзіи поддерживать. Не стану здѣсь судить о способѣ, какимъ покончили съ повстаніемъ 63-го года. Но, когда край былъ умиротворенъ по неволѣ, нельзя было сохранять вѣчно сухой формальный гнетъ и глядѣть на цѣлые милліоны своихъ подданныхъ, какъ на постоянныхъ заговорщиковъ. Показывать польскимъ окраинамъ, что имъ не довѣряютъ, и, въ тоже время, отъ нихъ ожидать вѣрно-подданническихъ чувствъ, — это была наивность, равносильная надеждамъ поляковъ свергнуть русское иго. Понимая это прекрасно, Потаповъ твердилъ, что руссификація края—совершенно безнадежная цѣль, и что вполнѣ достаточно, коли въ русскомъ оркестрѣ—польскія скрипки свою партію станутъ наигрывать гармонично. Не безъ основанія Потаповъ думалъ, что въ пылу репрессіи Муравьевъ навезъ въ западный край такихъ русскихъ дѣятелей, которымъ интересы Россіи кажутся очень близкими съ интересами революціи. Мы почему-то вообразили, что русское дѣло можетъ упрочиться въ Западномъ Краѣ, какъ скоро мы станемъ тамъ искусственно возбуждать крестьянъ противъ помѣщиковъ. Съ этою цѣлью намъ пригодными казались тамъ люди, которыхъ въ Россіи не стали-бы на службѣ терпѣть, и мы, съ спокойною совѣстью, принялись на окраинахъ насаждать демократизмъ, который мы дома считали для себя неудобнымъ. Персоналъ мировыхъ посредниковъ и судей, преподавателей гимназій, даже, попросту, чиновниковъ

особыхъ порученій,—былъ набранъ, именно, изъ этой неудобной среды, гдѣ тогда царило убѣжденіе, что русская народность и русская вѣра вполнѣ солидарны съ демократическими поползновеніями. Потаповъ взялся за очистку этихъ своеобразно-благонамѣренныхъ авгіевыхъ конюшенъ, и, можетъ быть, при этой очисткѣ поступалъ иногда и безтактно, и несправедливо. Но основной его тезисъ былъ совершенно вѣренъ. Онъ не переставалъ твердить, что нельзя стоять въ собственной странѣ военнымъ станомъ, и утверждать, въ то-же время, что эта страна,—все-таки,—собственная. Будь его политика послѣдовательно примѣнена, она, вѣроятно-бы, создала въ западномъ краѣ контингентъ польскихъ оппортунистовъ.— Но вѣчныя колебанія—судьба нашихъ правительственныхъ мѣръ—и отсутствіе твердой постоянной системы, здѣсь, какъ и повсюду, дало себя чувствовать.

VII.

Выпускные экзамены.--Петербургскіе пожары.—Лѣто въ деревнѣ.—Экономическое положеніе Тверской губерніи.—Зима 1862—1863 года.—«Компанія».- Тогдашнее настроеніе общества.—Поступленіе на службу.—Характеръ II-го Отдѣленія.—Графъ В. П. Панинъ.

Въ мартѣ, если не ошибаюсь, намъ, университетскимъ изгоямъ по-неволѣ, было объявлено, что насъ допустятъ до экзамена. Шепнули при этомъ, что экзамены будутъ не особенно строги. Мы, разумѣется, поспѣшили этимъ воспользоваться и принялись усердно зубрить по тетрадкамъ предметы, которыхъ мы вовсе не слушали. Немногому научила насъ эта псевдо-наука, и вновь я могъ убѣдиться, что записками и учебниками живую рѣчь профессора не замѣнить. Мы принялись за дѣло вчетверомъ—Горчаковъ, Рюминъ и, если не ошибаюсь, Алексѣй Комаровскій, хотя послѣдній былъ не юристъ, а филологъ. Камертонъ мудрости держалъ извѣстный преподаватель исторіи—братъ Ѳеодора Ѳеодоровича Эвальда—Владиміръ Ѳеодоровичъ, вскорѣ послѣ того назначенный директоромъ Маріинской гимназіи. Это былъ милѣйшій человѣкъ. такой-же добрый, какъ братъ, и, пожалуй, еще умнѣе. По крайней мѣрѣ умъ его казался мнѣ болѣе отъ міра сего, чѣмъ философская, вдумчивая глубина

Ѳедора Ѳедоровича.—Эвальдъ служилъ намъ какъ-бы научною совѣстью, давалъ намъ видѣть, какъ въ зеркалѣ, наши недочеты, и, благодаря ему, это форсированное накачиваніе насъ экзаменаціонными свѣдѣніями сошло съ рукъ благополучно. Кромѣ гражданскаго права, въ которомъ я былъ всего слабѣй, я получилъ вездѣ пятерки. По гражданскому праву насъ экзаменовалъ нѣкто Михаилъ Михайловичъ Михайловъ, о которомъ слухи ходили, что онъ незаконный сынъ бывшаго министра—графа Уварова. Помнится, я увѣрялъ товарищей, что когда у кого-либо такое совпаденіе имени, отчества и фамиліи—это вѣрный признакъ незаконности происхожденія. Михайловъ задалъ мнѣ одинъ изъ тѣхъ вопросовъ, на которыхъ всегда рѣжутся на экзаменахъ: «Съ какого момента», спросилъ онъ, «начинается правоспособность»? Тутъ, что ни отвѣтишь, въ точку не попадешь. Не попалъ и я. Остальные профессора оказались снисходительнѣе. И встрѣчались юнцы, нахально злоупотреблявшіе этой снисходительностью. Экзаменаторы получали отвѣты—одинъ нелѣпѣе другого, и съ отчаяніемъ махали рукой на все.

Но пока шелъ этотъ жалкій парадъ незнанія, иная забота поднималась надъ Петербургомъ. Пожары одинъ другого грознѣе зажигались, то тамъ, то здѣсь; и завершились они грандіознымъ бѣдствіемъ: пламя охватило Апраксинскій и Александровскій рынокъ и обратило ихъ въ море

огня, жадно пожиравшаго неистощимую пищу всевозможнаго хлама, скопившагося на этихъ рынкахъ. Ходили смутные слухи, что какіе-то неизвѣстные люди—нѣкоторые увѣряли, что это были студенты—и сами поджигали и другихъ поднимали на то-же. Слышалъ я и о подметныхъ письмахъ, и очень возможно, что они были, даже помимо всякаго поджога. Всегда бываютъ охотники—изъ бѣдствія сдѣлать шутку. Странно только, что рождались ложные, если только они были ложны, слухи на почвѣ всеобщей боязни за завтрашній день, на увѣренности, что откуда-то грозитъ таинственная опасность. И, когда мы уѣхали въ деревню, надъ Петербургомъ не одно облако дыма стояло, а болѣе еще тяжелое облако страха передъ неизвѣстностью. Конечно, у такого страха—глаза велики, но почти цѣлый мѣсяцъ столица была какъ-бы въ осадѣ, да и по другимъ городамъ—красный пѣтухъ разгуливалъ. Врядъ-ли все это было случайно. Утверждать ничего не берусь. Но отъ Потапова, которому было поручено вести слѣдствіе, я слышалъ осенью того-же года, что, по его убѣжденію, главные обвиняемые—Чернышевскій и Михаиловъ—уличены, и виновность ихъ не подлежитъ сомнѣнію.

Лѣто 1862-го года, какъ и слѣдующее,—мы проводили въ деревнѣ. Съ виду ничего особеннаго тамъ не происходило. Работали только неохотно, неряшливо, а тамъ, гдѣ перешли на денежную повинность—платили еще неохотнѣе.

Но это въ хозяйствѣ была не диковинка. Крѣпостной трудъ никогда большой аккуратностью не отличался, и во главѣ ума издавна стоялъ обычай все дѣлать кое-какъ. Теперь только этотъ обычай приходился помѣщикамъ солоно, такъ какъ за все надо было платить, а денегъ не было, и, подъ покровомъ наружной тишины, быстрыми шагами продвигалась ликвидація старины. Владѣльцы бросились отдавать свои земли крестьянамъ въ аренду—иныхъ арендаторовъ не было—въ томъ разсчетѣ, что на себя мужички станутъ работать исправно и своими руками создадутъ тѣ оборотныя средства, которыхъ ни у кого не было на лицо, ни у помѣщиковъ, ни у бывшихъ крѣпостныхъ. Эта надежда не сбылась. Слишкомъ ужъ въѣлась въ жизнь деревни вѣковая неряшливость. Да и стоило посмотрѣть на крестьянскія поля, всѣ изрѣзанныя длинными лентами и покрытыя тощимъ, сорнымъ хлѣбомъ, чтобы заранѣе предсказать, чего можно было ждать отъ крестьянской аренды. Такія-же ленты появились на помѣщичьихъ поляхъ, и ни одной работы ни одинъ хозяинъ предпринять не могъ безъ согласія на то всѣхъ, т. е. пресловутаго міра. Этотъ міръ призванъ былъ оберегать землю отъ истощенія, а на самомъ дѣлѣ оберегалъ ее отъ всякой сколько-нибудь порядочной культуры, и никому, или почти никому, въ голову не пришло отрѣзать какому-нибудь исправному домохозяину столько-то десятинъ, а другому еще столько-то, и дать

каждому изъ нихъ справляться съ ними по своему. Община сидѣла еще слишкомъ крѣпко въ умахъ, и сами господа помѣщики воображали, будто она имъ обезпечиваетъ близкихъ, хорошихъ и, главное, дешевыхъ рабочихъ. Да и скотъ содержался на общемъ дворѣ; общими были—и рига, гдѣ хлѣбъ молотился, и амбаръ, куда его ссыпали. Наивно думали, что круговая порука и хозяйство сообща вѣрно страхуютъ помѣщика и отъ неисправности въ платежахъ, и отъ неисправности въ работѣ, а крестьянъ—отъ грознаго призрака обезземеленія.

Помнится, на одномъ ученомъ вечерѣ, въ картофельномъ клубѣ, гдѣ читалась иногда немудрая агрономія, мнѣ пришлось услыхать изъ устъ такого умнаго человѣка, какъ князь Дмитрій Александровичъ Оболенскій, слѣдующія слова, обращенныя ко мнѣ, сидѣвшему рядомъ съ нимъ: «Да, вотъ, именно, гдѣ настоящій узелъ вопроса: какая ни на есть община, а иной гарантіи платежной способности крестьянъ не отыщешь». И такъ думали многіе.

И все это оказалось совершенной неправдой. Круговая порука никого не обезпечила, ни частныхъ лицъ, ни казну. На практикѣ она мало примѣнялась, но постоянной угрозой висѣла она надъ каждымъ домохозяиномъ, суля ему неизбѣжную отвѣтственность за всѣхъ неисправныхъ, какъ скоро онъ самъ постарается быть исправнѣе прочихъ; такова-же награда за трудъ, какую сулила община. Общинное уравненіе оказалось уравне-

ніемъ внизъ: хорошій хозяинъ долженъ былъ подлаживаться къ плохому; а въ тѣхъ имѣніяхъ, въ которыхъ стали хозяйничать крестьяне, случилось еще одно культурное явленіе: усадьбы, которыхъ никто болѣе не поддерживалъ, быстро обращались въ развалины. Разумѣется, и матушка, и я, да и сосѣди тоже, глядя на это раззореніе, только недоумѣвали, откуда оно взялось, и способа отыскать не могли, какъ создать деньги изъ ничего, какъ повести хозяйство безъ оборотнаго капитала. Мнѣ, какъ несовершеннолѣтнему, управлять не приходилось; да и мало толку вышло бы изъ моего управленія, такъ какъ въ хозяйствѣ импровизировать не приходится. Опекуномъ надъ всѣми нами, но опекуномъ только для вида, былъ отецъ моихъ пріятелей—старикъ Веневитиновъ. Онъ подписывалъ отчеты, вѣроятно, ихъ не прочитывая. и постоянно совѣтовалъ платить, какъ скоро кто-нибудь этого требовалъ. Избѣгать всякаго спора—было его любимымъ догматомъ. Оттого онъ и оставилъ долговъ почти на триста тысячъ, не смотря на свое крупное состояніе.

Объѣхалъ я въ первое-же лѣто многихъ владѣльцевъ уѣзда—надо-же было представиться согражданамъ. И внѣшній видъ прочной домовитости меня повсюду поражалъ. Вездѣ сытыя тройки, изобиліе всякаго снадобья и разноцвѣтныхъ наливокъ, вездѣ гостепріимство хоть куда. Дѣйствіе реформы не успѣло еще сказаться, а скрытый червь уже поттачивалъ эти благоустроенныя хоромы

Долженъ я признаться, что при всемъ внѣшнемъ радушіи чувствовалось по отношенію ко мнѣ какое-то предзвятое недовѣріе. «А ну-ка посмотримъ», думали эти господа—«что изъ этого петербуржца выйдетъ»..... Во мнѣ именно видѣли петербуржца и будущаго чиновника.

Тогда это недовѣрчивое отношеніе меня слегка озадачило; теперь я его понимаю, какъ нельзя лучше. И большую я сдѣлалъ глупость, не поселившись въ деревнѣ совсѣмъ и не принявшись за хозяйство практически. Петербургъ, и канцелярскій, и салонный, не далъ мнѣ ровно ничего цѣннаго, а только взвинчивалъ мое самолюбіе, да и то въ невѣрномъ направленіи. Деревня научила-бы меня жизни куда какъ лучше бумагъ, и тому въ особенности, научила-бы, какъ много лучше своей работой приносить ощутительную пользу, чѣмъ изощрять свой мозгъ, какъ-бы пользу извлекать изъ другихъ. А вѣдь этимъ только и занимаются, хоть порой, можетъ быть, и неудачно и въ салонахъ, и на службѣ.

Экзамены были сданы. Кандидатскій дипломъ мнѣ позволялъ тотчасъ поступить въ какое-нибудь вѣдомство. Но ни въ какое вѣдомство меня не тянуло. Въ юношескіе годы меня предназначали въ дипломатію. Но какъ-то случилось, что въ министерство иностранныхъ дѣлъ я не поступилъ. По этому поводу не могу не вспомнить слѣдующій маленькій случай: въ началѣ 61-го года пріѣхалъ въ Петербургъ извѣстный амери-

канскій медіумъ Дэвидъ Юмъ, про котораго въ то время въ цѣлой Европѣ много толковали. Бывалъ онъ у насъ довольно часто, и разъ, какъ я входилъ въ гостиную матери, гдѣ былъ съ нею спиритъ, она меня представила ему, сказавъ: «Будущій дипломатъ. Къ дипломатической карьерѣ онъ готовился съ юныхъ лѣтъ».

— Никогда вашъ сынъ дипломатомъ не будетъ—съ невозмутимой флегмой покачалъ головой Юмъ. Потомъ, немного помолчавъ, онъ наклонился къ матери и произнесъ вполголоса: «Повторяю,—за себя вамъ опасаться нечего»,—мать себя чувствовала тогда нездоровой—«вы проживете долго. Но есть близкій вамъ человѣкъ, который вамъ кажется совершенно здоровымъ, но, которому угрожаетъ опасная болѣзнь. Будьте осторожны». Какъ оно всегда бываетъ, намекъ прошелъ даромъ. Мать и не подозрѣвала, что близкая опасность грозитъ отцу; а годъ спустя, его не стало.

Отецъ, помнится, мнѣ разсказывалъ преинтересный опытъ, сдѣланный, въ его присутствіи, Юмомъ. Было это у барона Н. Е. Мейендорфа, съ которымъ отецъ былъ друженъ. Они сидѣли вечеромъ втроемъ съ Юмомъ въ кабинетѣ барона, и отецъ спросилъ у американца, не испробовалъли онъ когда-нибудь своей магнетической силы—про гипнотизмъ тогда еще не знали—надъ предметами неодушевленными.

— Пробовалъ,—отвѣтилъ неохотно Юмъ,—но почти всегда неудачно...

— Попробуйте еще. Видите, вотъ въ сосѣдней комнатѣ—это была столовая—стоитъ кресло на колесахъ. Не можете ли вы отсюда заставить это кресло придвинуться къ намъ.

Юмъ поморщился, видимо неувѣренный въ себѣ. Потомъ онъ сталъ продѣлывать быстрыя движенія руками, замѣтно напрягая свои силы. Кресло все не двигалось. Спустя минутъ десять, однако, оно какъ-то задрожало все и сперва неувѣренно, потомъ все ровнѣе подкатилось къ дверямъ. Но дальше оно не двинулось: у порога кабинета коверъ представлялъ ему непреодолимое препятствіе.

Не имѣю поводовъ не довѣрять словамъ отца, всегда говорившаго правду, да и не вижу, впрочемъ, почему дѣйствіе гипнотической силы, доведенное до максимума напряженія у иныхъ субъектовъ, не можетъ оказать вліяніе и на такъ называемые неодушевленные предметы. Если они подлежатъ воздѣйствію тепла и электричества, не вижу, почему на нихъ не могъ-бы вліять и гипнотизмъ, т.-е. напряженная человѣческая воля, становящаяся механическимъ двигателемъ. Мнѣ разсказывали про Юма случай, еще болѣе замѣчательный, и притомъ разсказывали нѣсколько человѣкъ, бывшіе свидѣтелями этого случая. Большинство изъ нихъ живы до сихъ поръ. Дѣло происходило за обѣдомъ у Дмитрія Николаевича Бенардаки. Были тутъ, между прочимъ,—Алексѣй Комаровскій, оба Куракина—Борисъ и Анатолій,

Константинъ Горчаковъ, братья Балашевы, Петръ Волконскій — не помню остальныхъ: всѣхъ присутствовавшихъ было 16 человѣкъ. Столъ на 16 приборовъ довольно трудно наклонить въ какую-либо сторону, а между тѣмъ, этотъ самый столъ принялся наклоняться, и ножки съ одного бока поднялись вверхъ. Но всего страннѣе то, что вино и вода въ стаканахъ сохранили при этомъ поверхность, параллельную столу, а не полу, какъ-бы слѣдовало. Нарушенъ былъ, такимъ образомъ, законъ тяготѣнія. Такъ мнѣ разсказывали про это въ торжественныхъ выраженіяхъ нѣкоторые изъ присутствовавшихъ—не могу все дѣло объяснить простымъ сочинительствомъ, а про возможность коллективнаго внушенія до сихъ поръ не слышно. Объяснять необъяснимое не берусь, и лично къ явленіямъ спиритизма, медіумизма, магнетизма и т. д. отношусь совершенно холодно.

Цѣлый годъ прошелъ у меня въ ничего не дѣланіи, и не оттого только, что не поступилъ я на службу. Читалъ я, правда, не мало, но безъ всякой опредѣленной цѣли, и не принимался ни за какую работу. Написанная мною тогда статья про новый романъ Виктора Гюго—«Des misérables»—была до того дѣтски плоха, что ее не помѣстили даже въ оффиціальной «Сѣверной Почтѣ»; послѣ только что изданныхъ крестьянскихъ положеній даже оффиціальнымъ органамъ было велѣно казаться либеральными, а съ либеральной точки зрѣнія критика романа Гюго не могла быть

допущена. Зато я весь отдался коллективной жизни товарищескаго круга, въ который вошли теперь друзья обоихъ братьевъ Веневитиновыхъ. Вспоминая это отдаленное теперь уже время, поражаюсь однимъ: изъ цѣлой группы молодыхъ людей—общимъ числомъ до 30-ти,—находившихся въ полномъ разцвѣтѣ здоровья и силъ, уцѣлѣло всего трое—Оттонъ Медемъ (въ настоящее время—Новгородскій губернаторъ), младшій изъ Комаровскихъ—Николай, и пишущій эти строки, слѣпой и больной старикъ. Уцѣлѣлъ еще одинъ, пожалуй,—Алексѣй Философовъ, но онъ, совсѣмъ больной, проживаетъ за границей. Остальныхъ скосила смерть, и какая смерть! большею частью—страдальческая, иногда насильственная. А тогда, казалось, намъ будущее одно хорошее сулило. Всѣ мы были не слишкомъ обдѣлены природой, а нѣкоторые, какъ Смирновъ и Шуваловъ, обладали выдающимися способностями. Всѣ мы были крѣпки, молоды, не слишкомъ бѣдны,—и надъ этимъ не мѣшаетъ призадуматься всѣмъ тѣмъ, кто никнетъ головой передъ какимъ-либо бременемъ, или кто вступаетъ въ жизнь съ черезчуръ пылкими ожиданіями. Полный разгромъ цѣлаго поколѣнія пріятелей и повальное неосуществленіе всего, что обѣщало имъ будущее, можетъ отрезвить хоть кого, и отшибить у всякаго охоту въ черезчуръ розовомъ цвѣтѣ представлять себѣ жизненный путь или слишкомъ мрачно вспоминать о своихъ разочарованіяхъ, когда онъ уже пройденъ.

А все-таки это было хорошее время. Не потому хорошее, что молодость золотила намъ все ожидавшее насъ впереди, а потому, что у всѣхъ чувствовался тогда подъемъ духа, и на ближайшее будущее всѣ смотрѣли съ довѣріемъ. Русское общество даже было молодо, а стало-быть и честно. И эта честность невольно выпрямляла даже людей, склонныхъ быть себѣ на умѣ и смотрѣть на жизнь глазами паука. Не поручусь, напримѣръ, чтобы всѣ первые земцы, всѣ мировые посредники такъ называемаго перваго призыва, всѣ дѣятели судебной реформы—приступали къ своему дѣлу съ безукоризненнымъ прошлымъ и вели его тоже безукоризненно. Не всѣ они, разумѣется, были рыцарями безъ страха и упрека, но общій уровень былъ высокъ, потому что высокій былъ данъ камертонъ. И хоть мы, юноши, еще въ настоящую жизнь не вступали и не отправляли въ ней никакой обязанности,—и мы чувствовали невольно ея благородное, очищающее вліяніе. И мы чистосердечно думали, что насъ ожидаетъ какое-то священное служеніе. Были, разумѣется, и тогда промахи. Чисто по-дѣтски расправляло крылья молодое общество, точно оно собиралось всѣмъ показать, что научилось ходить самостоятельно; но это было, именно,— по-дѣтски, наивно, идеалистически-честно. Самые завзятые матеріалисты, вѣрившіе, именно вѣрившіе въ необыкновенную мудрость природы—были идеалистами на практикѣ. Этотъ наивный духъ

легковѣрныхъ увлеченій на Западѣ былъ стертъ революціей 48-го года,—этимъ великимъ разочарованіемъ 19-го вѣка. У насъ этимъ духомъ завѣяло позднѣе; все вокругъ насъ, если можно такъ выразиться, было подернуто честностью. Люди, конечно, были не лучше и не хуже обыкновеннаго, но они стыдились казаться худыми. А это много значитъ.

Мы сами, такъ называемая «компанія», т. е. кучка юношей, собиравшихся у Веневитиновыхъ, какъ въ главномъ центрѣ,—мы, чего грѣха таить, мило, весело, безцѣльно теряли попусту время. Заходили другъ къ другу чуть не каждый день, и утромъ и вечеромъ, какъ придется, безъ всякаго опредѣленнаго дѣла, и болтали часъ—другой, то наигрывая что-нибудь на инструментѣ, то нанизывая риѳмы на строчки посредствомъ стиховъ, то, по-просту, говоря о разномъ вздорѣ, дразня, вышучивая другъ друга..... И какъ-то все это складывалось въ какую-то коллективную жизнь, точно мы были еще на учебной скамьѣ. И все это потому только, что настоящая жизнь не начиналась. Нѣкоторые изъ насъ,—Алексѣй Философовъ, Медемъ, Смирновъ, два брата Корфа,—стали усердно заходить и въ верхній этажъ, въ кабинетъ Алексѣя Владиміровича. Зеленая молодежь была признана дозрѣвшею и допускалась теперь въ кругъ близкихъ, собиравшихся тутъ чуть не каждый вечеръ. И, нѣтъ-нѣтъ—какъ воспоминаніе угасшаго алтаря искусства, какимъ

былъ домъ покойнаго Михаила Юрьевича, тутъ настоящія свѣтила появлялись: Тургеневъ, Вяземскій, Тютчевъ, Антонъ Рубинштейнъ. Но это случалось уже рѣдко. Молодежь, самая незрѣлая, почти завладѣла гостепріимнымъ домомъ. Всякій изъ насъ, которому хотѣлось чашку чаю выпить послѣ театра, или кому не весело было гдѣ-нибудь въ иномъ домѣ, спѣшилъ туда, и далеко за полночь тянулись наши пестрыя рѣчи, касавшіяся рѣшительно всего, за однимъ только исключеніемъ,—современной Россіи. Радикальное движеніе проходило какъ-то мимо насъ; и, если упоминалось о современномъ искусствѣ и литературѣ, о русской музыкѣ,—насчетъ всего этого только плечами пожимали. Сороковые года въ этомъ умственномъ уголкѣ—все еще продолжались.

Осенью я все-таки рѣшился поступить на службу. Часто бывавшій у насъ князь А. В. Шаховской, старшій меня нѣсколькими годами, уговорилъ меня поступить во II отдѣленіе, гдѣ состоялъ и онъ. Шаховской былъ очень некрасивъ, почти до уродливости, съ очень темнымъ цвѣтомъ лица, за что его прозвали «prunеau», и положительно неистощимъ въ разсказываніи комическихъ анекдотовъ и въ умѣніи передразнивать чужую рѣчь. II отдѣленіе будто-бы представляло собою какой-то благоухающій оазисъ въ сухой пустынѣ Петербургскаго бюрократизма. Тамъ, яко-бы, царствовали нравы совсѣмъ особые, чисто товарищескіе; и служащіе были не

простые люди съ волчьими аппетитами, а пропитанные благородствомъ джентльменты. Мой предварительный визитъ графу Модесту Андреевичу Корфу—тогдашнему начальнику II отдѣленія — подтвердилъ эти блестящіе разсказы. Графъ Корфъ былъ и самъ по себѣ человѣкъ очень мягкій, хотя всю жизнь провелъ за зеленымъ сукномъ, но былъ многимъ обязанъ моему дѣду, подъ начальствомъ котораго началъ службу. Говорили, правда, что, по случаю своего мундирнаго 50-лѣтія, онъ предпочелъ Андреевской лентѣ изрядную денежную сумму, что нѣсколько исключительно въ лѣтописи нашего высшаго чиновничества. Но это нисколько не мѣшало ему быть человѣкомъ мягкимъ, и вдобавокъ умнымъ и ученымъ. Не помѣшало оно графу получить въ концѣ концовъ и Андрея Первозваннаго. Модестъ Андреевичъ, знавшій меня съ дѣтства—мальчикомъ я часто бывалъ въ его домѣ и считался другомъ его сына Моди, впослѣдствіи—одного изъ видныхъ представителей рэдстокизма—принялъ меня не какъ будущій начальникъ, а какъ родственникъ изъ наиболѣе близкихъ. Не заставилъ меня ждать и пяти минутъ, и, очутившись въ кабинетѣ, я получилъ любезное приглашеніе себѣ выбрать наиболѣе подходящую редакцію: соотвѣтственно отдѣламъ Свода, II отдѣленіе было раздѣлено на редакціи, и во главѣ каждой изъ нихъ стоялъ отвѣтственный спеціалистъ изъ болѣе или менѣе крупныхъ свѣтилъ

этого синклита юристовъ. Корфъ посовѣтовалъ мнѣ, кажется, впрячь себя либо въ 15 томъ— къ старику Францу Семеновичу Малевскому, либо къ Федору Михайловичу Меркусу,—редактору законовъ о состояніяхъ. Все это было сказано самымъ отеческимъ тономъ. А все время, пока длился мой, правда не особенно долгій визитъ, почтительно дожидался очереди своего доклада управляющій канцеляріи — тайный совѣтникъ Мягковъ; его звали Николай Дмитріевичъ, и внѣшность его, бюрократически-согбенная, имѣла видъ паралито-геморроидальный. Чернильницей такъ и вѣяло отъ него. Когда я вошелъ, онъ дожидался въ проходной комнатѣ, и, не скрою, оказанное мнѣ предпочтеніе меня въ то время очень польстило; конечно ради этого крошечнаго пассажа, въ лицѣ Мягкова я пріобрѣлъ себѣ врага. Да, былъ я тогда зеленъ и неопытенъ. Помнится, въ университетѣ мнѣ совѣстно было при мысли, что, поступивъ куда-нибудь, я стану получать казенное жалованье. Меня тянуло къ профессурѣ, и хотѣлось мнѣ занять со временемъ каѳедру политической экономіи. Но кончина отца сдѣлала это невозможнымъ, такъ какъ приходилось заняться семейными дѣлами. На мнѣ все-таки лежала нѣкоторая отвѣтственность, какъ на старшемъ въ семьѣ.

Знакомство съ персоналомъ II отдѣленія не подтвердило отзывовъ Шаховского, перезнакомившаго меня съ моими новыми товарищами. При-

няли меня безъ всякаго особаго благодушія. Впрочемъ, и самъ Шаховской, какъ я скоро увидѣлъ, былъ не на особо-хорошемъ счету. За его вѣчное балагурство его, правда, любили, но за вѣчное ничего недѣланье цѣнили не высоко. Мнѣ недолго пришлось воспользоваться благосклонностью Корфа. Черезъ мѣсяцъ послѣ моего поступленія, его замѣнилъ графъ Викторъ Никитичъ Панинъ—отецъ моего друга. Это былъ тотъ самый Панинъ, бывшій министръ юстиціи, котораго Герценъ прозвалъ «трехполѣннымъ», и про котораго столько анекдотовъ ходило. Его наружность, вѣчно согнутая, вслѣдствіе необычайнаго роста, его задумчивое лицо, такъ занятое собственнымъ ходомъ мысли, что внѣшній міръ для него будто не существовалъ,—были, въ самомъ дѣлѣ, комичны. Такую смѣсь настоящаго вельможенства съ презрительнымъ самодурствомъ, глубокаго знанія съ бюрократическими привычками,—въ другомъ человѣкѣ трудно-бы отыскать. Но во II отдѣленіи онъ оставался вполнѣ просвѣщеннымъ начальникомъ. Жалобъ на какія-либо его выходки я не слыхалъ. Самъ тайный совѣтникъ Мягковъ совершенно напрасно дрожалъ во время доклада. Графъ Панинъ и не замѣчалъ, что у Мягкова уходитъ душа въ пятки.

1908 г.

VIII.

5-ое дѣйствіе «Горя отъ Ума».—Заграничное путешествіе.—Съѣздъ монарховъ въ Киссингенѣ.—Наша политика въ 1864 г.—Графъ Эрнстъ Стакельбергъ.—Николай Александровичъ Безобразовъ.—Рейнскій водопадъ и поѣздка по Швейцаріи.—Hôtel Beaux Rivages близъ Лозанны.—Семья Бётлеръ.—Семья Ларскихъ.—Княгиня Т. А. Юсупова и ея отецъ графъ А. И. Рибопьеръ.

Совершенно позабылъ упомянуть объ одномъ небезъинтересномъ случаѣ, бывшемъ со мною какъ-разъ въ годъ моего балагурства. Разъ вечеромъ—въ кабинетѣ Панина—я увидалъ на столѣ четко-исписанную, довольно объемистую тетрадку.—Знаете, что это за штука?—спросилъ меня Панинъ, улыбаясь изподлобья.—Ни болѣе, ни менѣе, какъ 5-й актъ «Горя отъ ума», никогда до сихъ поръ ненапечатанный.—И онъ принялся читать.

Я, по-просту, не вѣрилъ ушамъ. Грибоѣдовскій стихъ, да и только: легкій, остроумный и сжатый. Помню до сихъ поръ содержаніе: Княгиня Марія Алексѣевна заговорила, и на Фамусова посыпались всевозможныя бѣды. Изъ Петербурга ему посовѣтовали подать въ отставку. Скалозубъ уже не думалъ заводить рѣчь о генеральшѣ. Графиня Хрюмина, какъ о томъ доносилъ Загорѣцкій, приходила въ ужасъ и увѣряла всѣхъ и каждаго, что къ Фамусову людямъ изъ порядочнаго

общества нельзя уже ѣздить. Репетиловъ громко негодовалъ въ Англійскомъ клубѣ на упадокъ нравовъ. А Молчалинъ, внезапно охладѣвшій къ Софьѣ, съ приниженною язвительностью намекалъ на желаніе перейти въ другое вѣдомство. Чацкаго успѣли пока удержать въ Москвѣ, но, рѣшившись опять взглянуть на свой поруганный идолъ, онъ не въ силахъ былъ уже воскресить въ себѣ угасшее пламя, и съ грустнымъ спокойствіемъ говорилъ, что развѣнчанному идеалу онъ не можетъ уже отдать свою жизнь.—Подлинная-ли это была развязка Грибоѣдовской комедіи, не знаю, и склоненъ думать, что нѣтъ. Не слыхалъ я про эту рукопись болѣе никогда, и могу заявить только одно,—написана она была такими-же образцовыми стихами, какъ само «Горе отъ ума». А склоненъ я думать, что это, всетаки, была поддѣлка,—вотъ почему: въ планъ Грибоѣдова входило лишь—обрисовать тогдашнее общество, и центральною фигурою этого общества являлся Фамусовъ, какъ носитель его предразсудковъ, его двуличія, его пошлаго міросозерцанія. Для всего этого—4-го акта пьесы было совершенно достаточно. Испугъ Фамусова передъ приговоромъ княгини Маріи Алексѣевны вполнѣ выражаетъ его трепетъ не передъ судомъ совѣсти, даже не передъ такъ называемымъ общественнымъ мнѣніемъ, а лишь передъ злыми сплетнями какой-нибудь знатной барыни. Его нравственное ничтожество обнаруживается до дна, и не было никакой надобности

показывать, какъ подѣйствовали на общество пересуды княгини. Общество это, въ сущности, было ничѣмъ не лучше самого Фамусова, и незачѣмъ было его представлять козломъ отпущенія, потому что мотивомъ общественнаго негодованія была-бы, въ сущности, не возмущенная совѣсть, а лишь рабское поклоненіе отзывамъ великосвѣтской рѣшительницы судебъ.

Лишняя черта подлости у персонажей Грибоѣдова ничего не прибавила-бы къ ихъ непривлекательному облику. Во всякомъ случаѣ, появиться въ печати 5-ый актъ «Горя отъ Ума» по-тогдашнему, не могъ, совершенно независимо отъ его подлинности. Антиправительственная соль въ немъ была до того ѣдка и до того сгущена, что самая снисходительная цензура его-бы не пропустила.

Лѣто 64-го года мы всей семьей проводили заграницей, и мнѣ выпала не совсѣмъ легкая роль устроителя общаго благополучія и комфорта по всевозможнымъ гостинницамъ и желѣзнымъ дорогамъ. За каждое опозданіе поѣзда, за цѣны въ отеляхъ или недостаточную меблировку приходилось быть въ отвѣтѣ. Начало путешествія прошло при самой торжественной, почти исторической обстановкѣ. Въ Киссингенѣ, гдѣ матушка пила воды, собрался настоящій конгрессъ. Нашъ Государь и Императрица, Австрійская чета, короли: Прусскій, Саксонскій, Баварскій и Вюртембергскій,—два послѣдніе только что вступившіе

на престолъ,—и цѣлая гурьба министровъ, посланниковъ и шныряющихъ агентовъ, такъ и силившихся уловить малѣйшее дуновеніе политическаго вѣтра. Былъ тутъ и Цесаревичъ, очень подружившійся съ молодымъ Баварскимъ королемъ, съ которымъ онъ совершалъ длиннѣйшія прогулки по окрестнымъ горамъ. На лицѣ его уже, однако, лежала грозная печать приближавшейся смерти. Онъ былъ необыкновенно блѣденъ, и расширившіеся глаза точно съ недоумѣніемъ глядѣли на что-то—совсѣмъ близкое, неизбѣжное. Слѣдующей весной его не стало; а необыкновенно красивый король Людовикъ II, только что покинувшій университетскую скамью, дышалъ свѣжестью и силой, а вдобавокъ и умомъ. Ничто въ немъ не предвѣщало будущую его печальную участь. Когда онъ кланялся или съ кѣмъ-нибудь заговаривалъ, голова его какъ-то невольно чуть-чуть склонялась на бокъ. И движеніе это, при его высокомъ ростѣ, выходило чрезвычайно милымъ и красивымъ. Не знаю, толковали-ли о чемъ между собою монархи, но было у нихъ достаточно событій подъ рукою, чтобы снабдить ихъ пищей для обсужденія. Шла какъ-разъ крошечная датская война, и побѣду двухъ великихъ державъ надъ маленькой Даніей приходилось дисконтировать. Франція и Англія съ полуискреннимъ рвеніемъ хотѣли придти на помощь къ Датскому королю. Первая—изъ принципіальной нелюбви къ Германіи, вторая—изъ опасенія,

какъ-бы датскіе проливы не попали рано или поздно въ прусскія руки. Послѣднее обстоятельство должно было и Россію побудить вступиться. Мы, вѣдь, тоже подписали трактатъ 51-го года, гарантировавшій Даніи ея цѣлость и неприкосновенность Эльбскихъ герцогствъ. Но только-что миновавшая исторія съ польскимъ возстаніемъ вернула насъ къ антагонизму съ западомъ Европы, какой существовалъ во время крымской войны. Мы тогда нашли открытую поддержку лишь въ Пруссіи. Австрія сперва было-присоединилась къ нашимъ врагамъ, но скоро отстала, принявъ точку зрѣнія князя Горчакова, что польскій вопросъ касается не всей Европы, а лишь трехъ восточныхъ державъ. Нужно было уплатить долгъ благодарности. Дальновидный князь Бисмаркъ необыкновенно тонко разсчиталъ всѣ выгоды отъ ненужной его помощи намъ въ дѣлѣ польскихъ инсургентовъ, находившихъ себѣ поддержку къ тому-же не въ Прусской Познани, а въ Австрійской Галиціи. И вотъ, еще разъ государственные интересы принесены были въ жертву личнымъ отношеніямъ и мнимой благодарности за ненужную совершено услугу. Безнравственный примѣръ эгоистическаго отказа отъ помощи слабому былъ данъ всему міру могущественными правительствами, забывавшими въ эту минуту, что, уступая завоевательнымъ инстинктамъ Пруссіи, они только подготовляютъ себѣ затрудненія въ будущемъ. Въ журналѣ «Revue des deux mondes»

польскій публицистъ Юліанъ Клячко посвятилъ, нѣсколько лѣтъ спустя, этому безславному событію замѣчательную статью «L'eclipse le l'Europe» «Ничто» говоритъ онъ между прочимъ «не даетъ повода къ такому грустному презрѣнію, какъ слабость, выказанная сильнымъ изъ за себялюбивыхъ мотивовъ».

Это же не переставалъ твердить въ моемъ присутствіи, бывшій тоже въ Киссингенѣ, нашъ тогдашній посолъ въ Вѣнѣ, графъ Эрнстъ Стакельбергъ, большой пріятель моего покойнаго отца. Въ немъ догоралъ одинъ изъ послѣднихъ представителей старинной корректной дипломатіи, умѣвшей соединять съ пренебрежительною ловкостью рѣчи—глубокую вѣрность безсмертнымъ принципамъ уваженія къ чужому праву. «Это не выгодно только съ перваго взгляда»,—говаривалъ Стакельбергъ: «въ концѣ концовъ только строгимъ поддержаніемъ чужихъ правъ можно обезпечить неприкосновенность собственныхъ». Безукоризненный джентльменъ во всемъ,—и въ своихъ внѣшнихъ пріемахъ, и въ душевныхъ ощущеніяхъ, гдѣ ни одной соринки не допускалось,—Стакельбергъ при всемъ томъ едва-ли особенно придерживался строгости въ своей частной жизни. Блестящая и легкомысленная Вѣна этому, вѣроятно, способствовала. Зато онъ и носилъ на своемъ лицѣ несомнѣнные признаки жизненнаго истощенія. До крайности блѣдный и худощавый, онъ, казалось, доживалъ послѣдніе дни, но до-

живалъ ихъ, не переставая быть оживленно любезнымъ, никогда не забывая выказывать любой женщинѣ то особое рыцарское поклоненіе, которое мы теперь начинаемъ позабывать. И суждено ему было въ самомъ дѣлѣ прожить недолго: въ 1869 году, если не ошибаюсь, его не стало, и къ его сыновьямъ ни одно изъ качествъ отца не перешло по наслѣдству.

Былъ въ Киссингенѣ и другой замѣчательный человѣкъ, съ которымъ я видѣлся каждый день,— Николай Александровичъ Безобразовъ, опальный Мирабо нашей крѣпостнической партіи. Краснорѣчіемъ онъ въ самомъ дѣлѣ отличался необыкновеннымъ, и безконечные наши разговоры сводились большею частію къ его монологамъ. По горячности своихъ рѣчей, по возбужденному выраженію разгорѣвшихся щекъ, по вызывающей густотѣ своихъ длинныхъ черныхъ усовъ—Безобразовъ скорѣе походилъ на демагога, чѣмъ на консерватора. Я имѣлъ случай убѣдиться, какъ не терпѣлъ его Государь, не отвѣчавшій при встрѣчѣ ни на одинъ изъ его почтительныхъ поклоновъ. Безобразовъ былъ и умный и, главное, искренно-убѣжденный человѣкъ, когда твердилъ, что въ погонѣ за популярностью правительство обобрало помѣщиковъ, нарушивъ грамоту Екатерины II. Его искренность должна остановить всякій укоръ его довольно-таки уродливымъ взглядамъ. Пользы онъ не извлекъ никакой для себя изъ своей горячности. И родину

и семью онъ любилъ самой преданною любовью. Необыкновенно мягкою и нѣжною становилась его рѣчь, какъ скоро онъ заговаривалъ о своихъ дѣтяхъ; и возбужденный цвѣтъ лица былъ лишь симптомомъ сердечной болѣзни, приготовлявше ему раннюю могилу: онъ тоже не дожилъ до 70-хъ годовъ.

Изъ Киссингена мы поѣхали сперва любоваться космополитическими удовольствіями Бадена, на которыя я все-таки тогда посматривалъ только сбоку, не входя въ самый его блестящій водоворотъ, а оттуда вѣчными неподвижно-величественными красотами Швейцаріи. Поѣхали мы туда черезъ Рейнскій водопадъ, бывшій для меня какъ-бы вступительнымъ аккордомъ въ грандіозную симфонію горной природы. Мой глазъ понемногу привыкалъ воспринимать ея мощь. Какъ Вагнеровскую музыку, природу можно оцѣнивать лишь понемногу. Сразу впечатлѣніе не дается. И когда проѣздомъ черезъ Брюнихъ отъ Луцерна къ Интерлакену, издали мнѣ показались впервые громады снѣжныхъ горъ, точно откровеніе мнѣ сказалось. Рядомъ все повышавшихся тоновъ мы переходили отъ банальныхъ красотъ сѣверной Швейцаріи, съ довольно-таки буржуазною роскошью безсчисленныхъ плодовыхъ деревьевъ, къ неподдѣльному, почти неземному величію вѣчно спящихъ въ своемъ ледяномъ покровѣ нетронутыхъ вершинъ и въ тѣсную долину Интерлакена, гдѣ такъ странно въ двухъ

шагахъ отъ этой молчаливой мощи царитъ мѣщанская сутолока отельной жизни. Можно было воображать себя въ 2 шагахъ отъ Юнгфрау, которую видно здѣсь отвсюду. Помню одно впечатлѣніе совсѣмъ уже недюжинное въ своей простой, хотя и грозной рѣзкости. 21 іюля, мы поѣхали цѣлымъ обществомъ въ Гриндельвальдъ, гдѣ мертвые великаны совсѣмъ, казалось, непосредственно подступаютъ къ будничной жизни. Въ какихъ-нибудь ста шагахъ отъ садика гостинницы, гдѣ розы цвѣли въ изобиліи, поднимается снѣжная пелена Гриндельвальдскаго глетчера, и до четырехъ угрюмыхъ вершинъ Вешегорна, Айгера, Менха и Шрекгорна—этихъ владыкъ Бернскихъ альпъ—будто рукой подать. Разумѣется, это одинъ оптическій обманъ.

Часовъ пять длилась поѣздка, не переставая дарить насъ чудной погодой и яркимъ солнцемъ. Каково же было мое изумленіе, когда въ Интерлакенѣ меня встрѣтили разрушительные слѣды пронесшейся тамъ бури! Пока мы наслаждались тишиною горныхъ тайниковъ, богатаго урожая мирной долины не стало. Все было уничтожено вихремъ и градомъ. Но, повидимому, объ этомъ горевали не слишкомъ: настоящій урожай тамъ собираютъ съ пріѣзжихъ.

Въ Тунѣ мы посѣтили семью нашего посланника въ Швейцаріи, А. П. Озерова, у котораго расцвѣтали двѣ премилыя дочери, тогда еще подростки, скромныя въ своей нераспустившейся

красотѣ. Одна изъ нихъ, Ольга Александровна, вышла впослѣдствіи за моего дядю князя Шаховского, овдовѣвшаго отъ своего перваго брака съ графиней А. М. Віельгорской, а теперь состоитъ игуменьей одного монастыря въ Западномъ Краѣ.

Другая, Марія Александровна, стала женою моего пріятеля А. И. Гончарова, нынѣ тоже умершаго. Когда четыре года спустя сестры Озеровы показались въ Петербургскомъ свѣтѣ, онѣ вызвали всеобщее поклоненіе своей эффектной наружности. Мнѣ, признаюсь, она показалась черезчуръ эффектной: подростками онѣ мнѣ нравились больше.

Вѣнцомъ нашего путешествія было Женевское озеро: своимъ ярко-голубымъ зеркаломъ, по которому снуютъ безчисленные заостренные паруса, оно глядитъ кусочкомъ Италіи, переброшеннымъ черезъ Альпы. Мы поселились около Лозанны въ колоссальномъ отелѣ «Beaux rivages». Тамъ цѣлый мѣсяцъ прошелъ въ непрекращавшемся веселіи.

Безчисленныя прогулки по горамъ, дружескій хохотъ юной толпы, среди которой былъ цѣлый цвѣтникъ хорошенькихъ дѣвушекъ, игра въ крокетъ съ ними, да походы по сосѣднимъ виноградникамъ, гдѣ мы безсовѣстно воровали желтѣвшія грозди и сочныя груши,—все это была одна сплошная забава, среди которой участіе милыхъ дамъ подстрекало посягать на чужое

добро. Тутъ была очень милая англичанка m-rs Buttler, постоянно объѣзжавшая Европу съ 3-мя дочерьми, несмотря на свои ограниченныя средства. Она приходилась, тѣмъ не менѣе племянницей герцогу Ормонду, про что охотно упоминала. Поразительно распорядилась судьба съ ея дочерьми. Старшая, Эмели, вышла позже за австрійскаго миссіонера; вторая, Изабелла, блестящая и разбитная—за еврейскаго банкира Оппенгейма и рядомъ съ огромнымъ богатствомъ получила тяжкую болѣзнь, лишившую ее ногъ. Третья, Роза, самая привлекательная изъ всѣхъ, вышла за М. Чарльза Стенгопа и скончалась рано. Носились смутные слухи, будто она покончила съ собой. Этотъ трагическій конецъ шелъ какъ нельзя лучше къ ея очаровательной наружности: драгоцѣнный даръ обаятельной прелести почти всегда искупается страданіями. Самые душистые цвѣты вянутъ рано.

Въ 1871 г. я ее мелькомъ видѣлъ въ Баденѣ, но уже совсѣмъ не тою милою, сердечною дѣвочкой, какою она была въ «Beau rivage'ѣ». Ее окружалъ тогда сонмъ знатной преимущественно молодежи, среди оторой она, повидимому, не прочь была отыскать мужа. Но мужъ ея отыскался не здѣсь, и, кажется, онъ и былъ причиной ея молодой смерти.

Были въ «Beau-rivage'ѣ» разумѣется и русскіе.—Гдѣ ихъ нѣтъ? Была тамъ, между прочимъ, семья Лярскихъ, какъ полнѣйшій контрастъ

семьѣ Бетлеръ. На сколько тѣ старательно покрывали свою британскую натуру лакомъ космополитизма, на столько самою подлинною Русью вѣяло отъ Лярскихъ. Самого главы семьи, Евгенія Петровича, тутъ не было. Супруга его, несмотря на многочисленныя поѣздки заграницу, сохранила отпечатокъ какой-то чисто-замоскворѣцкой распущенности и замоскворѣцкаго добродушія. Эти два качества, вмѣстѣ взятыя, если это только не недостатки, сказывались даже порой изъяномъ въ ея туалетѣ, хотя она довольно замѣтно била на элегантность. Чистокровными русскими, при всемъ своемъ взаимномъ несходствѣ, глядѣли и ея три дочери: Наташа, Аненька и Женя,—впослѣдствіи княгиня Черкасская, госпожа Звегинцева и графиня Корветто. Послѣдняя была тогда еще дѣвочкою, средняя уже смотрѣла взрослой барышней, не смотря на свои $13^1/_2$ лѣтъ. Никогда не видалъ я дѣвушки такой скороспѣлой. Она въ сущности была душой всѣхъ похожденій и забавъ мѣстной молодежи.

Близко познакомился я тоже и съ четой Юсуповыхъ. Называю четой, хотя было очень мало общаго между княземъ Николаемъ Борисовичемъ и супругой его, княгиней Татьяной Александровной. Близкое родство—они были двоюродные,—ихъ все-таки не сближало. Княгиня была отъ природы необыкновенно любезна, словоохотлива и отзывчива на любое смѣшливое замѣчаніе. Воспитаніе дочерей оставляло ей много свобод-

наго времени и, благодаря этому, она перечитала кажется все, что было выдающагося, да и второстепеннаго тоже, во всѣхъ европейскихъ литературахъ. Это была одна изъ самыхъ образованныхъ женщинъ, съ которыми я встрѣчался. Она приходилась дочерью графу А. И. Рибопьеру, нашему бывшему послу въ Константинополѣ. Трудно было встрѣтить старика болѣе любезнаго, съ болѣе изящными сѣдинами. Это было полное воплощеніе XVIII вѣка. Такихъ стариковъ уже нѣтъ. Помню, какъ совсѣмъ мальчикомъ, я поѣхалъ его благодарить за участіе, выказанное имъ по случаю кончины моего отца. Онъ былъ одинъ и держалъ на колѣняхъ свою крошечную внучку, извѣстную позже своею недюжинной красотою Александру Ивановну Рибопьеръ, которую въ семьѣ почему то прозвали Алисой. И не было у этого старика даже оттѣнка снисхожденія къ моему юному возрасту. Была только какъ-бы стихійная, совсѣмъ просто выливавшаяся, природная любезность. Одной изъ своихъ дочерей, Татьянѣ Александровнѣ, онъ эту любезность передалъ по наслѣдству.

IX.

Большой свѣтъ въ эпоху моей молодости: его отличіе отъ теперешняго.—Дома графа В. П. Орлова-Давыдова, Панинныхъ, графини Протасовой.—Княгиня Е. П. Кочубей.—Щербатовы.—Александръ Щербатовъ и его отецъ, князь Григорій Александровичъ.—Графиня Кушелева, ея зять Голицынъ.—Князь Юлій Урусовъ.—Князь И. М. Голицынъ.—Князь В. А. Долгоруковъ.—Другое семейство Долгоруковыхъ: князь Сергѣй Александровичъ, княгиня Марья Александровна, ихъ дѣти.—Анна Александровна Мойра и ея мужъ.

ТОГДАШНІЙ свѣтъ мало походилъ на теперешній. Все было проще въ обстановкѣ и болѣе условно въ людскихъ отношеніяхъ. Преданія той эпохи, когда все было точно опредѣлено: и какъ кланяться, и кому въ особенности, и какъ разговаривать, и даже какъ влюбляться,—эти преданія еще тяготѣли надъ тогдашнимъ обществомъ. Напрасно, впрочемъ, попалось мнѣ подъ перо слово «тяготѣть». Въ сущности, для человѣка бывалаго—много было свободы подъ этой корою приличій. Вѣдь и классическую музыку можно наигрывать легко, а тогда въ нравахъ именно классицизмъ чувствовался, и слегка лишь начинала прокрадываться въ него халатность, эта русская форма. Тогда только поведеніе безъ особыхъ церемоній, спустя рукава, такъ сказать, тотчасъ выдавало человѣка чуть-чуть неблаговоспитаннаго, слегка зараженнаго дурнымъ тономъ,

излишнею фамильярностью или недостаткомъ такта. Женщинамъ руки не протягивали никогда, развѣ при большой интимности. И для дамъ большимъ знакомъ благоволенія было протягивать ее съ своей стороны. У старухъ руку цѣловали; съ молодыми отъ этого воздерживались. Заговорить съ дамой по-русски значило быть съ ней на очень короткой ногѣ. Вообще, безъ основательнаго знанія иностранныхъ языковъ обходиться было трудно, и неловкій оборотъ во французской рѣчи вмѣнялся въ большую вину. Англійскій языкъ почему-то былъ спеціальностью барышень, немного вообразившихъ, что мужчинамъ этотъ языкъ недоступенъ. Благодаря этому мнѣ часто приходилось уловлять обрывки разговоровъ, вовсе для меня не предназначенныхъ. Случалось мнѣ и присутствовать при зарожденіи и ростѣ маленькихъ свѣтскихъ романовъ, однако не всегда завершавшихся бракомъ. И молодой человѣкъ, который вздумалъ бы тогда подбираться къ невѣстамъ, пользуясь свободою баловъ, и дѣлать это вопреки ея родителямъ,—считался бы почти авантюристомъ, котораго никуда не слѣдовало впускать. Конечно, въ видѣ исключенія, такіе случаи бывали: могучая страсть или, что почти также сильно, пламенная жажда приданаго превозмогаетъ даже приличія. Но отъ родительской, особенно материнской санкціи, тогда еще въ принципѣ не успѣли отдѣлаться. Не знаю, бывали-ли отъ этого многочисленнѣе несчастные

браки; что-то не помнится. Разводы, по крайней мѣрѣ, случались очень рѣдко, а друзья сердца или дома узаконялись лишь въ случаѣ очень продолжительной связи. Передъ такимъ доказательствомъ застарѣлой, но не поблекшей любви смягчались и наиболѣе строгія матроны, у которыхъ добродѣтель была порой лишь результатомъ возраста. Могъ бы назвать многія четы, прожившія долго среди невозмутимаго мира, невозмутимаго, по крайней мѣрѣ, для постороннихъ глазъ. Маленькія столкновенія, кстати сказать, — несомнѣнный признакъ супружеской вѣрности. Мое оптимистическое мнѣніе о моихъ сверстницахъ, быть можетъ, плодъ моей недальнозоркости. Да и кому открыта тарабарская грамота женской сѣти?

Однимъ изъ самыхъ пышныхъ петербургскихъ домовъ тогда былъ домъ графа В. П. Орлова-Давыдова, пышность котораго, кажется, еще усиливалась, благодаря его новизнѣ. Графъ Владиміръ Петровичъ, питомецъ Эдинбургскаго университета и самый корректный человѣкъ въ Петербургѣ, получилъ и наслѣдство, и графскій титулъ не особенно давно. Помню, когда онъ открылъ свои палаццо на Сергіевской,—я тогда еще былъ студентомъ,—онъ спросилъ на другой день у моего отца:—Ну что? Все хорошо было?

— Слишкомъ много всякаго добра подавали,— отвѣтилъ мой отецъ.—Куда ни глянешь—либо пирожное, либо конфеты.

— Ah, vous me trouvez nouveau riche...

И балы графа были въ самомъ дѣлѣ очень блестящими. Еще блестящѣе была коллекція старинныхъ картинъ въ гостиной графини. Самъ графъ старался быть какъ можно благодушнѣе въ своей сановитости. Онъ замѣтно подражалъ англійскимъ привычкамъ. Удивительно странные два анекдота про него разсказывали.

Разъ онъ напечаталъ въ московскихъ газетахъ, что его подольское имѣніе «Отрадное», гдѣ все было съ иголочки, можно осматривать ежедневно до четырехъ часовъ. Долго не являлся на зовъ никто. Наконецъ, пріѣхалъ бѣдный студентъ Петровской академіи.—Но, увы! было уже 4 часа и 5 минутъ. Графъ вынулъ часы и сказалъ, что къ своему необычайному сожалѣнію не можетъ отступить отъ назначеннаго срока. Потомъ онъ добавилъ:

— Что, есть у васъ фракъ и бѣлый галстукъ?

Этихъ принадлежностей туалета у студента, разумѣется, не оказалось.

— Тогда, извините меня,—возразилъ графъ,—пригласить васъ къ обѣду никакъ не могу. Самому себѣ никогда не позволю обѣдать иначе, какъ въ бѣломъ галстукѣ. Въ Англіи всѣ такъ дѣлаютъ.

Другой разъ графъ чутъ не сталъ виновникомъ министерскаго кризиса въ Англіи. Какъ всѣ почетные члены трехъ университетовъ (Fellows)—графъ былъ «fellow» Эдинбургскаго университета—

Владиміръ Петровичъ подавалъ и свой голосъ при выборѣ члена въ парламентъ отъ своей alma mater. Англійскій посолъ отобралъ отъ него избирательную записку; и графъ подалъ ее за своего личнаго друга сэра Lionel Playfair (Плэйфера), который однимъ голосомъ пересилилъ своего противника. Графъ Владиміръ Петровичъ былъ строгій консерваторъ, а вотировалъ за Виговъ. У власти было тогда очень шаткое торійское министерство Дарби.

Совершеннымъ контрастомъ съ домомъ графа Владиміра Петровича служилъ домъ его троюроднаго брата, графа В. Н. Панина. Здѣсь все дышало стариной,—и самъ хозяинъ, чего добраго, одинъ изъ древнѣйшихъ памятниковъ Петербурга, и самыя стѣны его дома. Недаромъ Панина я назвалъ памятникомъ: отъ прочихъ живыхъ людей онъ отличался рѣзко. Человѣкъ огромнаго знанія и ума глубокаго, онъ отличался порою самодурскими причудами, граничащими иногда съ сумасшествіемъ. Не привожу здѣсь никакихъ анекдотовъ на его счетъ, хотя ихъ было множество. Всѣ они дошли до меня изъ вторыхъ или третьихъ рукъ. Припомню здѣсь только одну его выходку. Пожелавъ младшую дочь назвать Маріей, онъ поручилъ знаменитому Михаилу Ивановичу Топильскому, его начальнику канцеляріи, составить для него біографіи всѣхъ угодницъ и преподобныхъ, носившихъ имя Маріи. Надо было изъ нихъ выбрать наиболѣе подходящую. Михаилъ Ивановичъ при-

несъ свою работу, и что же? графъ узналъ, что всѣ святыя этого имени вели въ молодые годы довольно предосудительную жизнь. «Какъ», воскликнулъ Панинъ: «вы позволили себѣ подумать, что я дамъ своей дочери имя непотребной женщины? Не только не дамъ, но отъ этого дня запрещаю, чтобы во всѣхъ моихъ деревняхъ служили молебны которой либо изъ этихъ Марій».

Младшую дочь Панина назвали Наталіей. Она дожила всего до 18 лѣтъ и скончалась отъ чахотки. Зародышъ этой болѣзни былъ, впрочемъ, у всѣхъ членовъ семьи Паниныхъ. Уцѣлѣла одна только графиня Комаровская. Самая замѣчательная изъ всѣхъ четырехъ сестеръ—вторая, Евгенія, образованная почти какъ отецъ и обладательница очень чуткаго ума, замужъ не вышла и скончалась тоже, не доживъ до 30-ти лѣтъ. Была общая всѣмъ Паниным черта—какая-то полузастѣнчивая наклонность запирать себя на замокъ и въ самой глубинѣ сердца, подъ внѣшней оболочкой чего то холоднаго таить въ себѣ какое-то не распускавшееся чувство нѣжности къ страждущимъ. Будь этому чувству дана воля, оно можетъ быть развилось бы до протествующаго либерализма. У старшей изъ Паниныхъ, графини О. В. Левитовой, этотъ либерализмъ даже проснулся совсѣмъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, у нея была единственная въ Петербургѣ оппозиціонная гостиная, соединявшая самое отборное умственное изящество съ самымъ брезгливымъ отношеніемъ

къ оффиціальному міру. Впрочемъ, и представители этого міра сюда заглядывали пофрондировать. Такое ужъ это было время: не легко было отыскать члена государственнаго совѣта, который не стоялъ бы въ рядахъ оппозиціи въ началѣ XX ст.

Фигура Панина была такъ оригинально-уродлива, съ наклоненной головой, съ глазами, внимательно ушедшими въ себя, съ вѣчною разсѣянностью человѣка, презиравшаго не только всѣхъ, но и все, что стоитъ ее запечатлѣть въ памяти. Большой баринъ былъ въ немъ до того сплетенъ съ чиновникомъ, что распутать ихъ онъ даже самъ не могъ. Гдѣ кончался одинъ, гдѣ другой начинался—Панинъ хорошенько не зналъ, а между тѣмъ подъ этой канцелярской формой жилъ другой человѣкъ, свободный отъ предразсудковъ, сумѣвшій показать себя даже симпатичнымъ начальникомъ во Второмъ Отдѣленіи. И самъ легендарный М. И. Топильскій вовсе не былъ только Молчалинымъ, вѣчнымъ услужникомъ собаки дворника. Онъ низкопоклонничалъ съ увлеченіемъ. Въ своемъ министрѣ онъ видѣлъ какое-то божество, которому онъ подносилъ самый искренній, самый преданный ѳиміамъ. И не думалъ онъ обижаться, потому что Панину никогда въ голову не пришло его пригласить къ обѣду или на чашку чая.

Разъ, по приглашенію графини Евгеніи Викторовны, я провелъ у Паниныхъ вечеръ. Это былъ скорѣе музей окаменѣлостей, чѣмъ живое

сборище живыхъ людей. Въ квадратной гостиной оконъ не было. Дорогіе гобелены украшали всѣ четыре стѣны. Это служило какъ будто символомъ. Графиня-мать, рожденная Тизенгаузенъ, присоединяла къ этой знатной деревянности свою личную балтійскую неподвижность. Въ числѣ гостей находился, между прочимъ, графъ Паленъ, братъ цареубійцы, который въ 1814 году былъ генералъ-губернаторомъ въ Парижѣ. Въ своей молодости онъ видѣлъ дворъ Людовика XVI. Никогда не встрѣчалъ я старика, столь прямого и высокаго—ростомъ онъ, кажется, превосходилъ Николая Павловича—и удивительно гордо держалась на его девятидесятилѣтнихъ плечахъ его безволосая голова. Да, акварельныхъ натуръ было тогда меньше, чѣмъ теперь, и жизнь не успѣла еще стереть всего выпуклаго въ характерахъ.

Чистою декораціей, хотя очень недекоративной, былъ домъ графини Протасовой—вдовы извѣстнаго Оберъ-прокурора Синода, который разъ предложилъ Николаю Павловичу подвергнуть цензурѣ Евангеліе отъ Луки. «Іисуса Христа», отвѣтилъ на это, какъ извѣстно, Государь, «мы можемъ, я думаю, пропускать безопасно».

Графиня Наталія Димитріевна, въ качествѣ Гофмейстерины Императрицы, считалась первою дамой въ городѣ, и на ея вторникахъ всегда бывала толпа. А между тѣмъ она сама до того походила на истукана, что можно было усомниться, жива-ли она. Огромная бородавка на совершенно

блѣдномъ лицѣ, глаза безъ всякаго выраженія и слова почти безсознательныя, еле звучавшія, спадая съ ея мало-подвижныхъ устъ,—вотъ каковъ былъ свѣтскій идолъ, которому весь Петербургъ ѣздилъ на поклоненіе. Къ ней подходили, цѣловали поблекшія руки, она что-то пробормочетъ въ отвѣтъ, и начнется салонное богослуженіе, то среди обширнаго круга гостей, близъ хозяйки, то у чайнаго стола, гдѣ гостепріимно занимали молодежь ея, только что выпущенныя, племянницы Оболенскія. Старшая, Варвара Дмитріевна, какъ появилась на горизонтѣ петербургскаго свѣта, такъ и стала въ немъ звѣздой самой первой величины. Никто не вальсировалъ такъ художественно, никто съ такой изысканной простотой не поддерживалъ бесѣду съ безразличными людьми. Нѣсколько лѣтъ спустя, Варвара Дмитріевна себѣ составила спеціальность изъ людей государственныхъ, даря свое вниманіе преимущественно генералъ-адъютантамъ или кандидатамъ въ министры. Ея младшая сестра, Лиза, обладала рѣдкимъ даромъ: у нея былъ чудный контральто; до того чудный, что разъ въ моемъ присутствіи въ Гамбургѣ, когда она пропѣла «Divinités du Styx» Глука, сквозь окно раздались громкія, несмолкавшія рукоплесканія собравшихся на улицѣ слушателей.

Душою всего дома графини, разумѣется, была не она, а ея племянница, княгиня Дарія Петровна, Оболенская, мать обѣихъ только что названныхъ барышень. Добродушно-тонкое лицо княгини

явно носило московскій отпечатокъ. Она любила службы, твердо помнила родню каждаго и говорила охотнѣе всего по-русски. Ея мужъ, князь Дмитрій Александровичъ, былъ одинъ изъ самыхъ умныхъ государственныхъ людей своего времени. Онъ принадлежалъ еще къ тому поколѣнію членовъ Государственнаго Совѣта, которые прошли мимо бюрократіи, не заразившись ею. Онъ вполнѣ былъ человѣкъ жизни, а не бумаги. Доктрина его не заѣдала, хотя юристъ онъ былъ очень хорошій. Такими были тогда многіе—графъ П. Д. Киселевъ, В. П. Титовъ, графъ Д. Н. Блудовъ. Умъ ихъ научилъ большему, чѣмъ наука, и никакимъ догматизмомъ они затронуты не были.

Домъ графини Наталіи Дмитріевны былъ настоящимъ мѣстомъ священнодѣйствія. И обѣдни въ ея крошечной церкви, и ея утренніе пріемы по вторникамъ, и дававшіеся у нея балы,—носили почти религіозный характеръ. Здѣсь былъ свѣтъ по преимуществу и его центральная точка, главный алтарь его культа. Въ заключительной сценѣ своего «Дыма» Тургеневъ, кажется, намекалъ именно на этотъ домъ, называя его «храмомъ».

Наискось, черезъ Невскій, былъ другой алтарь этого свѣта, но мало похожій на капище у графини Протасовой. Если тамъ все было подернуто православіемъ, то у княгини Е. П. Кочубей откровенно царствовало космополитическое язычество. Этому нисколько не мѣшала домашняя церковь: помню, тамъ молились немного, и подъ

конецъ обѣдни въ сосѣдней комнатѣ дамскія платья безпокойно шуршали: обладательницамъ ихъ, казалось, было совѣстно, что онѣ пріѣхали такъ поздно. Болтовня тамъ, конечно, стояла неумолкаемая. Чинно было только вокругъ хозяйки: такой убѣжденной чинности трудно было отыскать у кого-либо другого. Самое воспоминаніе тревожныхъ годовъ молодости она носила съ невозмутимою торжественностью. Не только она сама, но и всѣ про эти годы, какъ будто, совсѣмъ забыли, такъ удачно княгиня замѣняла 10 заповѣдей правилами этикета. Черезъ эти правила, разумѣется, гораздо менѣе дозволялось переступать. Восковыми свѣчами, во всякомъ случаѣ, въ этомъ домѣ не пахло. Здѣсь все отдано было иному божеству-гордости, смягчавшейся впрочемъ предъ наплывомъ человѣческаго чувства, когда струны сердца приходили въ волненіе. Помню, какъ разъ въ Сенъ-Жерменѣ, близъ Парижа, княгиня даже не скрываясь отдавала свою заботливость одному умиравшему отъ чахотки австрійскому дипломату.

Полный контрастъ съ княгиней Еленой Павловной представляла собою княгиня С. А. Щербатова, двоюродная сестра моего пріятеля Панина. Несмотря на огромное состояніе и на положеніе въ обществѣ, это была олицетворенная скромность. Она глядѣла почти сконфуженной роскошью своего дома. Щербатовы стали тогда принимать, для старшей своей дочери, впослѣдствіи графини Толстой; и если добродушіе совмѣстимо съ боль-

шимъ свѣтомъ, имъ былъ пропитанъ весь ихъ палаццо на Моховой. Принимали тамъ хоть и все ту-же великосвѣтскую толпу, но какъ-то по домашнему. Изъ двухъ тогда почти ужъ взрослыхъ сыновей князя, особенной симпатичностью отличался младшій, Александръ. Онъ былъ—повторенная мать. Не знаю человѣка болѣе прямого и хрустально-чистаго.

Желаніе играть роль,—а игралъ онъ впослѣдствіи роль довольно видную—никогда не обусловливало его образа дѣйствій. Искреннее желаніе принести пользу было его постояннымъ руководящимъ мотивомъ. Конституціонныя тенденціи, заимствованныя въ молодые годы отъ отца, повернули впослѣдствіи въ столь же непритворную, нѣсколько славянофильскую, преданность самодержавію,—не какъ факту только, а какъ идеѣ. Несмотря на это, впрочемъ, я часто въ немъ подмѣчалъ какъ-бы стоявшіе особнякомъ осколки взглядовъ, плохо вязавшихся съ его основнымъ мнѣніемъ и почти граничившихъ съ соціализмомъ.

Черта эта у русскихъ людей встрѣчается не рѣдко. Имъ не всегда удается подвести своимъ мнѣніямъ итогъ и связать ихъ въ одно гармоническое цѣлое. Отецъ молодого Щербатова, князь Григорій Алексѣевичъ, былъ человѣкъ несомнѣнно замѣчательный. Такой же хрустально-чистый, какъ сынъ и такой же равнодушный—съ виду, по крайней мѣрѣ—къ внѣшнимъ почестямъ, онъ находился однако несравненно больше сына во власти у

своего честолюбія. Это былъ представитель одного, довольно распространеннаго у насъ, вида большихъ баръ, охотно заискивающихъ въ демократіи, не переставая въ то же время держаться нѣкоторой надменности въ обращеніи. Они чувствовали, словно, что народныя волны до нихъ не доплещутъ. Когда я поступилъ въ университетъ, князь Григорій Алексѣевичъ только что оставилъ попечительскій постъ. Среди студентовъ онъ былъ очень популяренъ, потому что всегда предполагалъ въ нихъ людей культурныхъ и нравственно развитыхъ. И въ одномъ надо признаться,—прошло съ тѣхъ поръ 40 лѣтъ,—эти предполагавшіяся качества были тогда болѣе сродни нашей молодежи, чѣмъ въ настоящее время. Въ нихъ предполагали воспитанныхъ людей, и отъ того, можетъ быть, они старались такими казаться. Въ 1865 г. князь Щербатовъ былъ губернскимъ предводителемъ и въ этомъ качествѣ предсѣдательствовалъ на только-что открывшемся земскомъ собраніи. У него, какъ дошло до меня по слухамъ, собирались довольно часто, такъ называемые, «земскіе дѣятели» и горячо обсуждали, слѣдуетъ-ли земству придать политическій характеръ. Большинство—въ томъ числѣ и самъ князь—смотрѣли на земское собраніе какъ на подготовительную ступень къ парламенту. На этомъ, впрочемъ, сходились тогда люди самаго различнаго образа мысли, въ томъ числѣ и такіе архи-консерваторы, какъ графъ В. П. Орловъ-Давыдовъ и графъ А. П.

Шуваловъ. Охранительный либерализмъ въ духѣ газеты «Вѣсть» былъ тогда въ большомъ ходу. Онъ-бы могъ обратиться въ могущественную партію съ княземъ Щербатовымъ на лѣвомъ крылѣ, если бы отъ него не откололись такъ рѣзко славянофилы, съ Юрьемъ Самаринымъ, княземъ А. И. Васильчиковымъ и Дмитріевымъ во главѣ. Сомнительный демократизмъ этихъ славянофиловъ нисколько не помѣшалъ ихъ преемникамъ стать на самое правое крыло теперешней правой и одному изъ нихъ, именно Дмитріеву, за одно съ такимъ западникомъ, какъ Борисъ Чичеринъ, обрушиться впослѣдствіи такъ яростно на популярную книгу Васильчикова «Землевладѣніе и земледѣліе».

Совершенно особое положеніе въ тогдашнемъ Петербургѣ,—положеніе отдѣльнаго недоступнаго прихода—занималъ домъ графини Кушелевой. Это была настоящая грандъ-дама, потому, между прочимъ, что огромное состояніе не помѣшало ей разориться. Послѣ ея смерти это состояніе оказалось совершенно растаявшимъ. Мѣсто обширныхъ богатыхъ хоромъ заняли разные банки, акціонерныя и другія правленія. На сколько причиною этому была ея пріемная дочь—настоящей у графини не было—и первый мужъ этой дочери, князь Борисъ Голицынъ,—рѣшить трудно. Всего вѣроятнѣе, что непонятное разореніе графини было результатомъ великорусской безалаберности и систематическаго расхищенія черезчуръ избалованною и многочис-

ленной прислугой. На мѣстѣ огромной дачи на Петергофскомъ шоссе, красуются теперь однѣ развалины, а прислоненное къ ней Лигово стало заурядной дачной мѣстностью для невзыскательнаго люда. Петергофское шоссе на всемъ протяженіи до Стрѣльны—живое кладбище былой знати, погибшей не отъ того, что ее кто нибудь спихнулъ, а отъ собственнаго разложенія. Здѣсь замки стоятъ не на горахъ, какъ на Западѣ, а попросту на равнинѣ, за одно съ жилищами простыхъ смертныхъ. И эти простые смертные ихъ вытѣснили повсюду. Какъ замки нѣмецкихъ феодаловъ, разрушившіеся по ненужности, равнинныя затѣи Екатерининскихъ вельможъ не прожили и сотни лѣтъ, оказавшись ненужными тоже. Переходъ жизни отъ нихъ къ созданіямъ буржуазнаго комфорта еще ярче, еще безутѣшнѣе говоритъ у насъ, чѣмъ на Западѣ, о совершившемся переломѣ. Прежде, отъ Екатерингофа до Стрѣльны сосредоточивалась вся лѣтняя жизнь высшаго Петербургскаго круга. Теперь—это сперва фабрики и трактиры, потомъ пустыня, занесенная пескомъ воспоминаній, потомъ расцвѣтъ мелкой дачной жизни средняго класса, живущаго въ сколоченныхъ наскоро избенкахъ, и посреди всего этого высится и процвѣтаетъ Сергіева-Пустынь—одно изъ лучшихъ созданій Растрелли, правда болѣе похожая на промышленное предпріятіе, чѣмъ на монастырь.

Князь Борисъ Голицынъ былъ очень стройный офицеръ генеральнаго штаба, съ вырази-

тельнымъ лицомъ, и считался лучшимъ дирижеромъ баловъ, не утрачивая вслѣдствіе того репутаціи серьезнаго человѣка. Женился онъ на воспитанницѣ графини, отличавшейся необыкновенною уродливостью, едва ли по особенному влеченію. Но не смотря на серьезность и на расчетливость, кончилъ онъ очень дурно. Что-то не совсѣмъ выясненное случилось. Жена ему предпочла совѣтника итальянскаго посольства, маркиза Инконтри, похожаго лицомъ на картоннаго бандита. Этотъ итальянецъ былъ до того неразлученъ съ своимъ моноклемъ, что тотъ, кажется, въ концѣ концовъ совершенно вросъ ему въ лицо. Послѣ смерти графини некрасивая маркиза долго еще украшала собою русскую колонію во Флоренціи, а ея первому мужу пришлось доживать печальный вѣкъ по разнымъ закоулкамъ восточныхъ губерній Россіи. Едва графиня Кушелева испустила духъ, слетѣлись отовсюду темные вороны и расклевали дочиста ея колоссальное состояніе. И было что-то поразительно-грустное въ воспоминаніи блеска, окружавшаго когда-то ея неподдѣльную сановитость, когда на мѣстѣ этого блеска въ видѣ надгробнаго памятника осталась одна пустота.

Преемникомъ Голицына, въ роли бальнаго дирижера былъ князь Юлій Урусовъ, очень милый молодой человѣкъ, доводившій до каррикатурности подражаніе парижскимъ модамъ. Лицо у него было точно слѣплено изъ гутаперчи, такъ

оно глядѣло комически-сплюснутымъ. Жилетъ онъ носилъ черезчуръ открытый, штаны черезчуръ широкіе, да и къ выраженію самаго лица могло прекрасно подйти словечко «черезчуръ». Доводилъ онъ свое искусство, впрочемъ, до художественности, а передъ художественностью надо преклоняться.

Перехожу разомъ въ совсѣмъ противоположенную сферу. Полненькій, много на свѣтѣ видавшій и еще больше разсказывавшій, баронъ А. К. Мейендорфъ, никогда не обѣдавшій два дня сряду въ томъ же домѣ, былъ тоже типомъ своего рода. По эластичности своего болтливаго лица, онъ имѣлъ нѣчто общее съ Юліемъ Урусовымъ и охотно высыпалъ, рѣдко повторяясь, съ три короба анекдотовъ. Его круглое морщинистое лицо было такъ-же подвижно, такъ же склонно изображать гримасу, какъ плоскія, вытянутыя черты Юлія Урусова. Не могу не вспомнить, что никогда, положительно никогда не слышалъ его злословящимъ, хотя онъ, кажется, всю свою жизнь сводилъ къ болтовнѣ. Кто-то приписалъ ему слѣдующее изреченіе: Il ne faut pas parler, il faut agir... Causons!

Таковъ былъ дѣйствительно его рецептъ для излѣченія русскаго ничегонедѣланія.

Однимъ изъ лучшихъ украшеній петербургскихъ гостиныхъ былъ князь Иванъ Михайловичъ Голицынъ. И у него была спеціальность, и даже цѣлыхъ двѣ: онъ былъ присяжнымъ испол-

нителемъ на домашнихъ спектакляхъ и великолѣпно читалъ вслухъ, преимущественно тоже пьесы. Декоративная личность его, какъ нельзя лучше, подходила къ сценѣ. И разъ онъ достигъ почти совершенства, выступивъ у княгини Паскевичъ въ ролѣ Евгенія Онѣгина. Романъ былъ передѣланъ для театра Я. П. Полонскимъ. Но еще лучше, чѣмъ на сценѣ, князь умѣлъ выказать себя въ частной жизни. Его неутомимая любезность никогда не становилась банальной и никогда не уступала мѣсто раздраженію. А раздражаться было отъ чего. Жизнь далась далеко не гладкою этому въ совершенствѣ любезному человѣку, несмотря на то даже, что любезность эта имѣла своимъ корнемъ не привычку только вращаться при дворѣ, а настоящее расположеніе къ людямъ.

Не могу, разставаясь съ петербургскимъ свѣтомъ, не вспомнить гостепріимную фигуру князя Владиміра Андреевича Долгорукаго и его артистическій парикъ. Въ годы, предшествовавшіе его назначенію московскимъ генералъ-губернаторомъ, онъ принималъ въ своемъ домѣ на Шпалерной, передняя часть котораго выходила на Неву. Кто тамъ жилъ тогда—не знаю. Но тамъ еще витали преданія извѣстной княгини Варвары Долгорукой, одной изъ первыхъ дамъ эпохи Александра I, игравшей при немъ ту же роль, какую въ дни моей молодости играла княгиня Е. П. Кочубей. Какъ умудрялся князь Владиміръ Андреевичъ

принимать Государя и давать балы въ своемъ небольшомъ домѣ, который впослѣдствіи занимали мы, право не знаю; но балы выходили удачные и не слишкомъ тѣсные. Даже особенной офиціальности на нихъ не чувствовалось, не смотря на присутствіе Государя. Свободу отъ натянутости всегда придаетъ вѣрность сразу взятаго тона.

Не знаю, въ какомъ поколѣніи приходился съ родни князю Владиміру Андреевичу другой князь Долгоруковъ, — Сергѣй Александровичъ, занимавшій мѣсто начальника комиссіи прошеній, тогда очень важное. Выдающійся умъ замѣнялъ князю не особенно выдающееся образованіе. Сердце у него горячностью не отличалось, а дѣла тѣмъ не менѣе были очень разстроенныя, судя по тому, по крайней мѣрѣ, что при своемъ очень большомъ состояніи Долгоруковы жили сперва если не впрямь бѣдно, то довольно тѣсно и неряшливо. Княгиня Марія Александровна была очень дружна съ моей матушкой, благодаря чему

зналъ ее съ дѣтства. Но не она, сама по себѣ, представляла выдающійся интересъ, несмотря на острый и не слишкомъ добрый умъ. Интересны были ея дѣти, всѣ до единаго отличались породистой красотой. Красивыя до того, что нельзя было бы себѣ представить кого-нибудь изъ Долгорукихъ съ заурядным лицомъ. Младшая дочь Маріи Александровны, княгиня А. С. Салтыкова, Анюта Салтыкова, какъ звали ее въ свѣтѣ, достигала въ этомъ отношеніи апогея. Съ младшимъ ея бра-

томъ, Митрикомъ, я впослѣдствіи подружился въ Лондонѣ, гдѣ онъ былъ тогда секретаремъ посольства. Не могу здѣсь не остановиться на минуту передъ тонкимъ умомъ младшей сестры Маріи Александровны—сперва графини Сиверсъ, потомъ разведенной съ мужемъ и вышедшей за португальскаго посланника, виконта Лобъ-де-Мойра. Мойра былъ въ Петербургѣ всеобщимъ любимцемъ. Такой чисто-южной любезности, живой, быстрой, ничуть не принужденной, встрѣтить на нашемъ сѣверѣ не легко. И всей этой подвижности придавала особую комическую прелесть тучная фигура словоохотливаго португальца. Когда Горчаковъ съ такимъ необыкновеннымъ умѣніемъ отпарировалъ по случаю польскаго возстанія ноты всѣхъ иностранныхъ кабинетовъ, кромѣ португальскаго, онъ, помнится, на португальскую ноту отвѣтилъ довольно небрежнымъ тономъ, подчеркнувъ въ тоже время живую симпатію, которой пользовался у насъ представитель Португаліи.

И вотъ, всѣмъ желанный гость сталъ принимать самъ въ домѣ своей жены на Малой Итальянской. Помню этотъ домъ съ зелеными ставнями, безконечно длинный и очень некрасивый снаружи. Внутри за то онъ былъ не таковъ,—удобенъ, почти уютенъ. Хотя тамъ собиралось самое избранное общество, оно чувствовало себя тамъ будто запросто. Даже присутствіе Государя не стѣсняло. И здѣсь, въ новомъ домѣ графини Мойра на Фурштатской, куда она переѣхала

послѣ смерти мужа, по вторникамъ черезъ каждыя двѣ недѣли неизмѣнно собирались, ради вечерняго жертвоприношенія. Скучно никогда не было. Хозяйка страдала глазами и защищалась отъ свѣта ручнымъ экраномъ. Но необыкновенный природный тактъ и привычка къ свѣту, доведенные до виртуозности, замѣняли ей зрѣніе, и не только ей самой, но и всѣмъ ея гостямъ помогали находить себѣ удобное мѣсто среди лабиринта принаряженной толпы. Что значитъ и чего можетъ достигнуть умѣлая хозяйка,—вечера графини Анны Александровны показывали наглядно.

X.

Второе Отдѣленіе. Характеръ тамошнихъ работъ. Первое дѣло, мнѣ порученное; приступъ къ городовому положенію.—Д. М. Сольскій, какъ предсѣдатель.—Прочіе корнеи II Отдѣленія Ф. С. Малевскій. Е. А. фонъ-Бревернъ.—Е. А. Перетцъ.—В. А. Желѣзниковъ.—Ф. А. Брунъ.—Ф. М. Маркусъ.—Комиссія объ измѣненіи законовъ о католическомъ духовенствѣ, какъ образецъ бюрократическаго безсмыслія.

ВТОРОЕ отдѣленіе сослужило мнѣ одну великую службу: оно меня навсегда, и вполнѣ наглядно научило, что такое бюрократія. Пусть читатель полюбуется. Кстати сказать, въ своемъ раздѣленіи на три этажа, старшихъ чиновниковъ, старшихъ и младшихъ помощниковъ,—оно состояло изъ самыхъ добросовѣстныхъ, самыхъ просвѣщенныхъ и нелицепріятныхъ людей, набранныхъ при томъ изъ самыхъ разнообразныхъ національностей. Тутъ было нѣсколько нѣмцевъ и поляковъ, одинъ финляндецъ, одинъ высокопоставленный жидъ—Е. А. Перетцъ и другой, подъ сильнымъ сомнѣніемъ и, last not least, Владиміръ Дмитріевичъ Стасовъ, который весь свой недюжинный умъ прилагалъ къ тому, чтобы говорить нелѣпости, какъ скоро онъ выходилъ изъ обычнаго молчанія.

Одна національность была тоже представлена недурно—полусумасшедшій Рѣпинскій, котораго упорно терпѣли, изъ боязни скандала. Отъ всей

этой группы почтенныхъ и высокообразованныхъ людей такъ и вѣяло канцелярской чернильницей и полнымъ непониманіемъ совершеннаго безплодія ихъ работъ.

Служба меня занимала не много. А что гораздо сильнѣе самой службы въ смыслѣ карьеры—умѣніе обходиться съ людьми—занимало еще меньше. Дѣтище Сперанскаго пришлось мнѣ не по вкусу, и я ему тоже. Другими словами, я надѣлалъ тамъ массу безтактностей, въ которыхъ не раскаиваюсь, впрочемъ, нисколько. Дабы понятно было все остальное, два слова объ архитектурѣ Второго Отдѣленія. Свои три разряда оно распредѣляло по нѣсколькимъ самостоятельнымъ редакціямъ, которыя раскромсали между собою отдѣльные томы Свода. Во главѣ этихъ редакці стояли безразлично и старшіе чиновники, и помощники ихъ, и многочисленныя лица, взятыя со стороны и не вошедшія въ штатъ, хотя имъ платили иногда лучше, чѣмъ штатнымъ. Новобранцы были адъютантами редакторовъ. Достался я Францу Семеновичу Малевскому, человѣку добрѣйшему и ученѣйшему, пережившему только эпоху своей способности къ труду. Отъ этой способности у него осталось одно только—чрезвычайная боязнь ошибиться, какъ разъ приводившая его къ безчисленнымъ ошибкамъ и, главное, къ страшной медлительности. Онъ занимался уголовными законами. При такомъ начальникѣ работать мнѣ приходилось не много, и свободы—и

зимней, и, въ особенности, лѣтней—у меня оставалось сколько угодно. Можетъ быть, благодаря этому мнѣ приходилось, съ перваго же года, участвовать въ безчисленныхъ комиссіяхъ, этихъ неуклюжихъ зародышахъ нашего парламентаризма. Первая по очереди была подготовительная комиссія къ городовой реформѣ, предсѣдателемъ которой былъ товарищъ главноуправляющаго Д. М. Сольскій, будто рожденный для предсѣдательствованія. Огромный лобъ, скрывавшій, по всей вѣроятности, умъ столь же огромный, прекрасная техника слова и умѣніе всегда подыскать такую согласительную формулу, которая объединяла большинство,—вотъ его отличительныя качества. Что изъ этихъ формулъ содержаніе было тщательно вывѣтрено, это, разумѣется, въ счетъ не шло. А между тѣмъ здѣсь ключъ къ одной странной загадкѣ.

Дмитрій Мартыновичъ 35 лѣтъ, т. е. съ 1863 г., сталъ товарищемъ главноуправляющаго, и съ тѣхъ поръ до 1905 года не переставалъ занимать государственныя должности. Вліяніе на дѣла у него было огромное, а между тѣмъ—трудно этому даже повѣрить. Ни одного живого дѣла, ни одной живой мысли изъ его умной головы не вышло. Россія ему обязана однимъ только—постоянной поддержкой злополучному С. Ю. Витте. Чутье ему не подсказывало, чѣмъ несетъ отъ этого псевдогосударственнаго человѣка. А происходило все это вовсе не отъ недостатка ума и не отъ злона-

мѣренности. Дмитрій Мартыновичъ, попросту, такъ привыкъ къ самому процессу законодательства, что онъ сталъ равнодушнымъ къ внутреннему смыслу данной мѣры, а добивался онъ отъ ней, главнымъ образомъ, совершенства наружной техники. Hier liegt der Hund begraben. Вся зловредность бюрократіи въ томъ, что внутреннее содержаніе упускается ради формы. Что мертвится духъ и въ концѣ концовъ прекрасные люди воображаютъ, будто законодательство само по себѣ, и сама по себѣ тоже Россія.

Однажды курьеръ принесъ мнѣ огромный пакетъ съ бумагами и приглашеніе Дмитрія Мартыновича явиться къ нему на слѣдующій день. Конвертъ заключалъ въ себѣ печатную записку тогдашняго Министра Внутреннихъ Дѣлъ П. А. Валуева и цѣлый рядъ отзывовъ на эту записку, исходившихъ какъ отъ разныхъ вѣдомствъ, такъ и отъ двухъ изъ главныхъ представителей второго отдѣленія: фонъ Бреверна и Пруна. По принятому тогда обычаю, мнѣ, какъ дѣлопроизводителю будущей комиссіи—это мнѣ потвердилъ на слѣдующій день Сольскій—поручалось составить сводную записку изъ основныхъ предположеній министерства и изъ всѣхъ сдѣланныхъ по этому поводу критикъ. Такая критика была дѣломъ обязательнымъ, и плохимъ считался тотъ сановникъ, который не доказалъ бы, что мнѣніе его коллеги совершенно неосновательно. Точно также сводная записка сколько-нибудь уважающаго себя чинов-

ника должна была непремѣнно заключать въ себѣ порицаніе существующаго порядка, примѣры изъ иностранныхъ законодательствъ, мнѣнія знаменитыхъ ученыхъ и окончательное заключеніе. Чѣмъ больше это мнѣніе содержало оригинальныхъ мыслей и чѣмъ неумолимѣе относилось къ законопроекту, тѣмъ лучше было для карьеры чиновника, подъ однимъ, конечно, условіемъ,—чтобы онъ попалъ въ точку, т. е. понравился начальнику. О Россіи, разумѣется, не думалъ никто.

Въ то время, т. е. при графѣ Панинѣ, роль второго отдѣленія была очень почетна. Къ нему посылались всѣ законопроекты, и первымъ раздавался голосъ его общаго присутствія—маленькой колыбели будущаго парламента. Эти общія собранія имѣли мѣсто по понедѣльникамъ, и мы, новобранцы, ходили туда учиться казенной элоквенціи. Пренія бывали иногда очень интересны и, главное, очень либеральны; но порой намъ доводилось и услышать на нихъ изрядный вздоръ. Такъ поднялся разъ вопросъ, что сдѣлать съ обрѣзками большихъ дорогъ, которыхъ многія земства не хотѣли поддерживать такими широкими, какъ прежде? Одинъ мудрецъ—Е. А. Перлицъ, если не ошибаюсь,—пространно доказывалъ, что обрѣзки эти надо продавать съ аукціоннаго торга въ пользу казны, такъ какъ дороги эти казенныя, и бывшимъ владѣльцамъ уже выдавалось вознагражденіе еще при Екатеринѣ II. Съ абстрактно-юридической точки зрѣнія мудрецъ былъ совер-

шенно правъ, но не догадывался, что во первыхъ никто этихъ узкихъ лентъ не купитъ, а во вторыхъ, что если бы и нашлись покупщики, они загородили бы тѣмъ самымъ дорогу для сосѣднихъ владѣльцевъ. Простое рѣшеніе—отдать эти отрѣзки придорожнымъ владѣльцамъ—не пришло въ голову никому. Жизнь, разумѣется, взяла свое. Привожу этотъ маленькій случай для того лишь, чтобы показать, къ чему приводитъ отвлеченная защита казеннаго интереса въ странѣ, гдѣ ни казенная, ни частная собственность особенной неприкосновенностью не пользуется. Начало записки П. А. Валуева запечатлѣлось въ моей памяти. «Въ наше время», говорилъ министръ, «когда всѣ различія между людьми по рожденію устарѣли, и согласно безсмертнымъ принципамъ 1789 года допускаются лишь различія по степени образованія и, пожалуй, по степени достатка,—хозяйственное управленіе городовъ должно быть совершенно перестроено. Нѣтъ уже мѣста для сословно-общественныхъ группъ».

Такъ, не переставая ссылаться на французскую революцію, писалъ министръ, не только не находившійся подъ обаяніемъ Якобинскихъ идей, но даже считавшійся представителемъ реакціоннаго образа мысли. Составилъ эту мазню, вѣроятно, не онъ самъ, а какой-нибудь столоначальникъ. Валуевъ развѣ прочелъ ее довольно разсѣянно. Но въ то время этотъ слогъ былъ почти обязателенъ, и въ демократическія лохмотья революціи любили

облекаться государственные люди. Самъ князь Горчаковъ, какъ извѣстно, въ объясненіе секуляризаціи католическихъ монастырей въ западныхъ губерніяхъ, ссылался на примѣры конвента и директоріи. Это входило въ составъ мундира, какъ въ недавнее время у насъ офиціально исполняли марсельезу, въ виду французскаго альянса. Всего забавнѣе было то, что ни Сольскій, ни я объ устройствѣ муниципалитетовъ на Западѣ и понятія не имѣли. А написать критику проекта все-таки было надо. По совѣту Дмитрія Мартыновича, я обратился къ прусскому и французскому законодательству.—Гнейста я тогда совсѣмъ не зналъ и вынесъ впечатлѣніе, что мэръ второй имперіи—какая-то двойственная личность—не то правительственный чиновникъ, не то представитель самоуправленія, а что прусская трехразрядная система должна дать прекрасные результаты.

Давала ли она ихъ въ самомъ дѣлѣ, объ этомъ я не безпокоился. Идея и Дмитрію Мартыновичу очень понравилась. Онъ откровенно признался, что про трехразрядную систему до сихъ поръ не слыхалъ. Благодаря этому пустому случаю городскіе избиратели у насъ были распредѣлены на три группы согласно прусскому образцу. И вотъ какъ пишется у насъ законъ. Не могу похвастаться этимъ своимъ первымъ шагомъ на пути законодательства. Что дѣлать?—Служба развращаетъ.

Первымъ теноромъ второотдѣленскаго парламента былъ потомокъ Авраама, Е. А. Перетцъ, первою скрипкою тамошняго чернильнаго оркестра—нѣкто В. А. Желѣзниковъ. Перетцъ былъ настоящимъ ораторомъ. Лучшаго либеральнаго чиновника себѣ представить нельзя. Ему, между прочимъ, Россія обязана тѣмъ, что въ 60-ые годы были сняты всѣ ограниченія съ интеллигентныхъ жидовъ, т. е. какъ разъ самыхъ опасныхъ. Они расползлись повсюду, и нельзя сказать, чтобы требованія къ нимъ предъявлялись особенныя: винокуры и механики, а подъ этимъ именемъ и сапожники—признавались интеллигентными въ достаточной степени. Ораторство Егора Абрамовича, отецъ котораго, какъ мнѣ говорили, былъ управляющимъ князя Бѣлосельскаго, привело его позднѣе въ Государственный Совѣтъ, гдѣ онъ долгіе годы предсѣдательствовалъ въ департаментѣ законовъ. В А. Желѣзниковъ, мой бывшій товарищъ по университету, одинъ изъ самыхъ сухихъ людей, которыхъ мнѣ удавалось встрѣчать, умудрялся безъ всякихъ собственныхъ мыслей удовлетворять вполнѣ требованіямъ канцелярскаго совершенства. Очень быстро онъ овладѣлъ тонкостями того слога, предназначеніе котораго—гипнотизировать слухъ подборомъ длинныхъ, ничего не значущихъ фразъ, неизбѣжно заглушающихъ вниманіе. Если цѣль законодателя—быть непонятнымъ, то этой цѣли Желѣзниковъ достигалъ вполнѣ. И тѣмъ не менѣе его не только перевели въ канцелярію

Государственнаго Совѣта, но тамъ онъ считался докой перворазряднымъ. Разскажу одинъ случай, рисующій его вполнѣ безъ всякихъ коментаріевъ. Не помню, въ какомъ году, Второе отдѣленіе занялось своей главной работой—такъ называемымъ своднымъ продолженіемъ, т. е. итоговой спайкой всѣхъ законовъ, опубликованныхъ въ промежуточное время. Въ эпоху реформъ это была нелегкая работа. И вотъ, къ неописанному ужасу всѣхъ книжниковъ и старцевъ, по чьей-то винѣ въ X томѣ обнаружилась пропущенною статейка, въ силу которой помѣщики въ западныхъ губерніяхъ оставались обязанными въ неурожайные годы ссыпать зерно въ амбары своихъ крестьянъ. Мудрецы завопили: «Въ силу второй статьи Общаго Положенія просто показать отмѣненною»..... Эта II статья, какъ извѣстно, признаетъ упраздненными всѣ обязательныя отношенія между помѣщиками и крестьянами. Но на бѣду тутъ оказался Желѣзниковъ, призванный на засѣданіе въ качествѣ эксперта.—«Извините господа», промолвилъ онъ авторитетнымъ тономъ, «такъ разсуждать мы не вправѣ».—«Что такое помѣщики, что такое крестьяне—мы знаемъ лишь изъ текста закона, и существуютъ они лишь по стольку, по скольку законъ ихъ существованіе признаетъ». Sic! Въ этихъ немногихъ словахъ весь ароматъ бюрократическаго духа.

Про г-на фонъ-Бреверна сказать нечего, развѣ, что онъ былъ очень достойный старецъ. Про

Ф. А. Бруно можно только то сказать, что преданность финляндской родинѣ привела его къ необыкновенному буквоѣдству, и по очень простой причинѣ: въ томъ и другомъ онъ одинаково видѣлъ движеніе къ строгой законности. У него была, впрочемъ, очень хорошенькая дочь, впослѣдствіи сошедшая съ ума. Семья эта была вполнѣ почтенная. Полуудостовѣренный еврей, сынъ извѣстнаго д-ра Маркуса, Ѳеодоръ Михайловичъ, былъ человѣкъ тоже почтенный, но желчный до чрезвычайности. Впрочемъ, кодификаціонная работа, принимаемая въ серьезъ, хоть кого доведетъ до болѣзни печени. Маркуса она вдобавокъ довела до Государственнаго Совѣта. Пришлось мнѣ разъ отъ него услышать поистинѣ замѣчательный афоризмъ. Въ уставѣ о паспортахъ, редакторомъ котораго я тоже состоялъ, сохранилось не тронутой отъ моего предшественника Шаховского статья, гдѣ упоминалось про Камчатку.—«Какъ могли вы это оставить», обратился ко мнѣ негодующимъ тономъ Маркусъ: «никакой Камчатки нѣтъ, есть только Приморская Область».. Бюрократизмъ признаетъ въ географіи только административныя дѣленія.

Но апогеемъ безсмыслія была комиссія для пересмотра законовъ, опредѣляющихъ организацію католической церкви въ Россіи. Предсѣдателемъ этой комиссіи былъ почтеннѣйшій графъ Эммануилъ Карловичъ Сиверсъ, директоръ департамента иностранныхъ исповѣданій, прозванный въ

петербургскомъ обществѣ «La vache mélancolique». Цѣль комиссіи, придуманная несомнѣнно очень умнымъ человѣкомъ, заключалась въ томъ, чтобы безъ всякаго соглашенія съ папой устроить по своему католицизмъ въ Россіи, опредѣлить, гдѣ быть епископскимъ каѳедрамъ, какъ назначать ихъ замѣстителей и какія ихъ должны быть отношенія къ паствѣ и къ правительству. Наивно воображали, что это возможно, что отыщутся такіе латинскіе духовные, которые подобному закону подчинятся. А между тѣмъ это было гораздо больше того, обо что обломали себѣ зубы Генрихъ IV и Фридрихъ Барбаросса, Людовикъ XIV и Наполеонъ. У насъ было, кажется, 4 засѣданія,—меня назначили дѣлопроизводителемъ,—но почему-то вдругъ догадались, что творятъ вздоръ. Комиссія перестала собираться, и объяснительная записка, которою меня необыкновенно торопили, осталась, кажется, нечитанною. Мнѣ стало ясно, насколько серьезно надо понимать оффиціальную торопливость.

XI.

Поѣздка съ Володей Виневитиновымъ въ ихъ Воронежское помѣстье.—Впечатлѣнія Москвы—Оружейная Палата съ ея портретной галлереей.—Первое знакомство съ черноземомъ. Имѣніе Веневитиновыхъ, с. Животинное. Тогдашнее хозяйничанье.—Имѣніе матери «Петровское».—Австро-Прусская война.—Наша роль въ этой войнѣ.—Поѣздка къ Потаповымъ въ Вильну.—Зарожденіе вопроса объ окраинахъ.

МОСКВУ я увидѣлъ впервые зрячими, т. е. взрослыми глазами весною 1866 года, и Бѣлокаменная мнѣ очень не понравилась. Безконечные, неправильные ряды то низкихъ, то высокихъ домовъ, деревянныя зданія въ перемежку съ каменными, даже на Кузнецкомъ мосту отвратительная мостовая, узкіе неровные тротуары,—все это глядѣло неряшливо и, странно сказать, убого. Мы собирались съ младшимъ Веневитиновымъ, Володей, только что окончившимъ университетъ, въ ихъ Воронежское имѣніе Животинное и, проѣзжая черезъ Москву, я все спрашивалъ у него, гдѣ же, наконецъ, центръ города. Даже Тверская площадь и генералъ-губернаторскій домъ меня поразили своею мизерностью, своимъ полнымъ отсутствіемъ архитектуры. Кремля я еще не видалъ и, когда увидѣлъ Василія Блаженнаго,

Спасскія ворота, золотоглавыя церкви при закатѣ солнца, наконецъ, видъ на Замоскворѣчье съ Кремлевской терассы,—мое впечатлѣніе разомъ измѣнилось. Не то чтобы эта смѣсь чего то Персидско-Индійскаго съ Итальянскою готикою меня поразила своимъ изяществомъ или строго-выдержаннымъ стилемъ, но печать незаурядной самобытности на всемъ этомъ лежитъ несомнѣнно. Залы въ Кремлевскомъ дворцѣ гораздо лучше, чѣмъ въ Зимнемъ, а видъ на Замоскворѣчье просто великолѣпенъ, опять не отъ того, что тамъ есть что-либо красивое само по себѣ, а просто вслѣдствіе яркой игры тоновъ. Прага, говорятъ, на это похожа. Заинтересовала меня, и вотъ почему, Оружейная Палата. О рѣдкостяхъ говорить не стану. Но есть тамъ двойной рядъ портретовъ XVII вѣка, портретовъ русскихъ и польскихъ, написанныхъ, конечно, аляповато, но тѣмъ не менѣе очень выразительныхъ. Съ одной стороны Ордынъ-Нащокинъ, Богданъ Матвѣичъ Хитрово, Алмазъ Ивановъ, Бояринъ Шеинъ, Милославскій, Матвѣевъ... Съ другой: Іеремія Вишневецкій, Константинъ Острожскій, Чарнецкій, Чарторыжскій и другіе тогдашніе представители Рѣчи Посполитой. Оставляя въ сторонѣ внутреннее достоинство этихъ людей, я былъ пораженъ однимъ: надменнымъ до нахальства, но несомнѣнно открыто—безстрашнымъ выраженіемъ поляковъ и осторожно-хитрымъ, какъ будто запуганнымъ выраженіемъ москвичей. При сравненіи, выгода

оставалась не на сторонѣ моихъ соотечественниковъ. И незачѣмъ было спрашивать у себя, всматриваясь въ эти лица, зачѣмъ мы были такъ жестоко побиты подъ Желтыми Водами, подъ Конотопомъ, подъ Чернобытью, а въ концѣ концовъ все-таки восторжествовали.

Грановитая палата и царскіе покои меня поразили своими малыми размѣрами. На что казалось такой огородъ городить, какъ кремлевскія палаты, чтобы жить въ такихъ закоулкахъ? Гдѣ могъ тутъ умѣститься бѣлый царь со всѣми своими придворными? Гдѣ видны тутъ «дворъ и роскошь Іоанна»? Одно тутъ чувствуется, несомнѣнно— патріархъ помѣщался въ двухъ шагахъ отъ царя, и едва ли отъ этого страдала власть патріарха.

Если эта тѣснота—не результатъ фантазіи археологовъ, перестроивавшихъ Кремль при Николаѣ Павловичѣ, то вполнѣ понятно, какъ долженъ былъ возмущаться противъ него могучій и широкій духъ Петра. Самыя краснорѣчивыя страницы исторіи всегда написаны на камнѣ.

31-го мая вечеромъ, при великолѣпной погодѣ, мы выѣхали въ коляскѣ по тульскому шоссе. Желѣзныхъ дорогъ на югѣ тогда еще не было.

Широкое раздолье чернозема раскрывалось передо мною впервые. Безбрежное море полей, прерываемое почти такимъ-же нескончаемымъ чернильнымъ пятномъ пара, и среди этой хлѣбной

пелены—кое-гдѣ развѣ, на горизонтѣ жалкій кустикъ, двойныя линіи истерзанныхъ бурею старыхъ ракитъ вдоль большихъ дорогъ. А тамъ, гдѣ двѣ такія дороги перекрещиваются, зрѣлище выходитъ почти величественное. Русскіе города издали глядятъ очень внушительными, бѣлизной своихъ стѣнъ. Но стоитъ туда въѣхать—знакомая изъ «тарантаса» картина: шлагбаумъ, заборъ, домъ, соборъ, домъ, заборъ, шлагбаумъ. Только число заборовъ мѣняется. Такова Тула, таковъ и Елецъ. Даромъ, что такъ широка и красива Сосна, обставленная известковыми горами. Движенія мало въ началѣ лѣта. Помѣщика мы не встрѣтили ни одного. Помѣщики тогда оправлялись только что отъ своего перепуга и начинали кое-гдѣ робко хозяйничать. Въ первую минуту послѣ освобожденія, они еще охотнѣе, чѣмъ на сѣверѣ, сдавали имѣнія крестьянамъ. Что можно барщину замѣнить свободнымъ трудомъ,—это здѣсь почти никому не приходило въ голову.

На третій день, позднею ночью мы прибыли въ Животинное, весьма благоустроенную вотчину Веневитиновыхъ. Дорогой мы, разумѣется, съ младшимъ изъ братьевъ, Володей, подружились по-настоящему. Характеръ у него былъ самый мягкій, самый уступчивый. Насъ помѣстили въ маленькій флигелекъ, съ очень низкими потолками, въ двухъ шагахъ отъ большого дома. Всю ночь окна оставались настежь. Въ то время никто и не думалъ о возможности грабежа. По-

строекъ въ Животинномъ было вдвое больше нужнаго, въ томъ числѣ каменные очень красивые домики, но съ соломенными крышами. Бережливости, основательнаго расчета не было и слѣда. Огромный квадратъ со всевозможными службами, потомъ еще болѣе обширный пустырь для пастьбы лошадей, гдѣ были слабые зачатки будущей аллеи изъ деревни въ домъ, и въ концѣ—этотъ домъ, массивный, двухэтажный, но такъ, что можно было жить только въ одномъ второмъ этажѣ, и кромѣ всего этого раздолья—огромная двухцвѣтная стѣна, съ монументальными воротами, предназначенная очевидно домъ огородить отъ сада, такъ какъ проникнуть туда нельзя было иначе, какъ черезъ одни изъ воротъ. Кто сочинилъ эту архитектуру, не знаю, но она была замѣчательно безтолкова. Садъ не отличался ни обширностью, ни обиліемъ цвѣтовъ. Но красилъ его Донъ, протекавшій мимо, съ неизбѣжной полуобвалившейся бесѣдкой на крутомъ берегу.

Приведу одинъ примѣръ нераціональнаго управленія Животиннымъ. Молоко отъ коровъ сдавалось въ аренду, а за ту небольшую часть удоя, которая поступала на господъ, платилось почти вдвое больше всей арендуемой суммы. Все вниманіе было отдано полямъ, но и тутъ, и притомъ какъ разъ на самой лучшей землѣ, содержалось 6000 тонкорунныхъ овецъ, приносившихъ одинъ убытокъ. Разсказываю это не потому, чтобы оно было само по себѣ интересно, а какъ иллю-

страцію тогдашняго хозяйничанія. Черноземъ самъ по себѣ, былъ такъ еще богатъ и мало тронутъ, что представлялось вполнѣ возможнымъ держаться самодурныхъ порядковъ. И какъ только стряхнули съ себя страхъ, на свободѣ показались, пышно расправляя крылья, всевозможные старосвѣтскіе помѣщики. У крестьянъ все глядѣло такимъ же старосвѣтскимъ. Скирды немолоченнаго хлѣба всѣхъ тоновъ, отъ ярко-золотого до темно-бураго, иногда предоставлялись на съѣденіе мышамъ четыре года сряду, даже болѣе этого. Господа народники въ такомъ расточительномъ изобиліи видѣли, какъ извѣстно, признакъ народнаго довольства. Позволяю себѣ думать, однако, что хлѣбъ для мышей не сѣется.

У Веневитиновыхъ я прожилъ ровно мѣсяцъ; и за это время не видѣлъ я тамъ ни капли дождя и ни капли скуки. Невозмутимое ясное небо намъ свѣтило, и хотя и возмутимая, но необыкновенная милая, сердечная хозяйка властвовала въ этомъ чисто сказочномъ домѣ. Апполина Михайловна и здѣсь, какъ въ городѣ, живо, стремительно интересовалась рѣшительно всѣмъ,—и музыкой, бывшей какъ-бы природнымъ достояніемъ ея семьи, и литературой, которую она знала вдоль и поперекъ, и живописью, о которой судила нѣсколько своеобразно, т. е. вкривь и вкось. Ко всему этому прибавлялись усердныя попытки поставить на правильную ногу хозяйство, изъ чего выходило одно только: постоянные споры

съ управляющимъ. Апполина Михайловна была въ своемъ домѣ революціоннымъ элементомъ, отсутствовавшій тогда мужъ—консервативнымъ. Алексѣй Владиміровичъ представлялъ собою рутину, т. е. безконечное повтореніе старыхъ ошибокъ, жена его—оппозицію, видѣвшую, что дѣло идетъ криво, но не знавшую, какъ его поправить. Но, повторяю, это былъ сказочный домъ, и настоящая жизнь его не касалась. Онъ весь жилъ разными забавами, въ которыхъ немолодая уже мать семейства не отставала отъ дѣтей,—чтеніемъ въ слухъ, музыкой, пѣніемъ, домашними спектаклями, поѣздками верхомъ. Современныхъ теченій просто не замѣчали и отзывались о нихъ съ нескрытымъ пренебреженіемъ. Въ Воронежѣ былъ тогда и сказочный губернаторъ, князь В. А. Трубецкой.—Умный, толковый и въ то же время гостепріимный весельчакъ, хорошо помнившій, что и Чацкій умѣлъ дурачиться,—князь Трубецкой дурачился охотно. Онъ нѣсколько походилъ на милѣйшаго губернатора изъ воспоминаній Гончарова. Его жена, добрѣйшая княгиня Марія Алексѣевна, очень остроумная вдобавокъ и души нечаявшая въ единственной дочери [1]). Словомъ, это было еще то время, когда весело жилось на Руси, и перепугавшіеся сперва помѣщики опять по немногу оправлялись отъ страха.

[1]) Княгиня Р. В. Трубецкая вышла впослѣдствіи за барона В. А. Фредерикса, нашего посланника въ Штутгартѣ.

Долженъ отдать справедливость тогдашней черноземной почвѣ: несмотря на бездождіе за весь іюнь, урожай озимыхъ вышелъ прекрасный. Почва тогда еще была повыносливѣе теперешней, несмотря на отсутствіе конституціонныхъ порядковъ.

Изъ Животиннаго я проѣхалъ на долгихъ въ Орловское имѣніе матушки «Петровское». Понималъ я, правда, въ хозяйствѣ мало, но понялъ то, что нелѣпо отдавать всю землю крестьянамъ, распродавая дорогія постройки, когда легко было получить болѣе ста пудовъ ржи съ десятины, и работа стоила баснословно дешево. Къ немалому огорченію бурмистра, почти столѣтняго патріарха, умѣвшаго соединять преданность съ плутовствомъ—теперь преданности больше нѣтъ, а плутовство осталось — я остановилъ распродажу усадьбы и, въ скромныхъ размѣрахъ на первый разъ, ввелъ снова хозяйскую запашку. Благословеніями, конечно, меня не провожали, когда я уѣхалъ.

Дорогой, между Ельцомъ и Тулой, я встрѣтилъ своего бывшаго опекуна, Алексѣя Владиміровича. Ему я сообщилъ про состояніе хлѣбовъ, а онъ мнѣ про Кентегрецкое сраженіе. Газеты тогда доходили поздно.

Австро-Прусская война была снова крупнымъ промахомъ нашей дипломатіи. Такъ оно обыкновенно и бываетъ, когда государственныя рѣшенія вдохновляются личными мотивами. Нашъ полусоюзъ съ Пруссіей, доходившій до выставленія

обсерваціонной арміи на австрійской границѣ, былъ прямымъ результатомъ неблагодарнаго поведенія Австріи во время Крымской войны. Если бы это поведеніе принесло вредъ одной Россіи, оно, можетъ быть, и прошло бы безнаказаннымъ: государства мстятъ рѣдко. Но оно было связано съ воспоминаніями, лично непріятными для князя Горчакова. Весь несомнѣнный патріотизмъ, весь зоркій государственный умъ этого сановника не смогли осилить въ немъ злой памяти вѣнской конференціи 1755 года. Князь Горчаковъ сдержалъ свою тогдашнюю аннибаловскую клятву и сталъ главнымъ виновникомъ разгрома Австріи. Полученный урокъ—не ожидать благодарности отъ иностранныхъ правительствъ за оказанные ему услуги—такимъ образомъ не прошелъ даромъ. Однако позже, на Берлинскомъ конгрессѣ мы увидѣли, что и Пруссія намъ довольно скупо заплатила за двѣ оказанныя ей услуги въ 1866 и 1870 году. Злопамятство по отношенію къ Австріи могло бы не затемнить передъ нашими глазами ту истину, что Австрія для насъ не только безопасна, но и необходима, благодаря ей одной собрана въ стройное цѣлое та пестрая мозаика славянскихъ народцевъ, которая иначе являла бы постоянное зрѣлище нескончаемыхъ междоусобій. Богъ лишилъ разума, къ сожалѣнію, не однихъ поляковъ. Всѣ славяне питаютъ другъ къ другу непримиримую безысходную вражду. Меттерниховскій клей, причинявшій намъ часто

довольно ощутительныя непріятности, все-таки ничего не значилъ въ сравненіи съ опасностями, какія намъ сулитъ объединенная Германія и какихъ намъ слѣдуетъ ожидать отъ независимыхъ славянскихъ странъ, этихъ вѣрныхъ притоновъ для устроителей всемірной революціи. Если Россіи послѣ Кентегреца пришлось переживать тяжелые дни, виною этому всегда было нѣмецкое единство. Понимали это хорошо уже при Елизаветѣ Петровнѣ. Тогдашніе государственные люди не всегда отличались неподкупностью, но всегда давали себѣ отчетъ, что въ интересахъ Россіи поддерживать равновѣсіе между Пруссіей и Австріей. Въ концѣ XIX вѣка это золотое правило было забыто, и люди самаго различнаго образа мыслей приносили свои горячія, но и недальновидныя пожеланія побѣдоносному королю Прусскому. Тутъ были и славянофилы, и патріоты, видѣвшіе въ Австріи притѣснительницу славянъ, и либералы, прославлявшіе въ побѣдахъ прусской арміи торжество передового начала, и люди попросту злопамятные, забывавшіе, что въ международной политикѣ злопамятству нѣтъ мѣста.

Впрочемъ, нашихъ иностранныхъ промаховъ не перечтешь, и брань по адресу вѣдомства иностранныхъ дѣлъ—самое безплодное, а потому и скучное занятіе. Добрые люди въ огромномъ большинствѣ праздновали прусскія побѣды, какъ свои собственныя. Это было зарей ложнаго національнаго чувства, самымъ точнымъ выраже-

ніемъ котораго была знаменитая фраза «шапками закидаемъ». Мы воображали, что имѣемъ не только право, но и обязанность быть сильными. И что эта сила всего лучше доказывается раздаваніемъ пинковъ всѣмъ и каждому. За эту политику, тогда начинавшую быть популярною, мы жестоко поплатились. Потаповъ, не переставшій твердить въ качествѣ виленскаго генералъ-губернатора, что чрезвычайныя мѣры не могутъ быть вѣчными, считался тогда почти измѣнникомъ, и М. Н. Катковъ не щадилъ своего талантливаго пера, чтобы возбуждать недовѣріе страны противъ всякой попытки примиренія съ поляками. Очень умные люди, какъ Ю. Ѳ. Самаринъ, какъ князь П. Р. Багратіонъ, какъ П. Н. Батюшковъ—поддакивали Каткову, кто громко, кто вполголоса.

Осенью этого года, а можетъ быть и слѣдующаго—навѣрно не помню—провелъ я нѣсколько дней въ Вильнѣ у жертвы этихъ нападокъ, А. Л. Потапова. Съ виду тамъ было сплошное веселье; танцовали, устраивали домашніе спектакли, общія прогулки, но подъ этой гладкой поверхностью чувствовалась сдержанная оппозиція приближенныхъ. Самъ товарищъ генералъ-губернатора, князь Багратіонъ, попечитель округа П. Н. Батюшковъ, сочинившій вопросъ о національности иконы Остробрамской Божьей Матери, и Ковенскій губернаторъ Базилевскій,—давали понять, что не все обстоитъ благополучно, потому что добрѣйшая Е. В. Потапова вводитъ польскихъ дамъ

въ свои благотворительные кружки, а ея мужъ не признаетъ за принципъ, что если полякъ о чемъ нибудь проситъ, ему слѣдуетъ отказать оттого только, что онъ полякъ.

И Балтійскимъ нѣмцамъ косвенно доставалось отъ этого квасного патріотизма. Несмотря на то, что Рижскимъ генералъ-губернаторомъ тогда былъ Петръ Андреевичъ Шуваловъ, далеко не квасной патріотъ, а министромъ внутреннихъ дѣлъ П. А. Валуевъ, эпоха мирнаго благоденствія въ Остзейскихъ губерніяхъ прекратилась. Австро-Прусская война этому содѣйствовала. Созданъ было миражъ балтійскаго сепаратизма и необходимости сравнять всѣ области Россіи «отъ финскихъ хладныхъ скалъ, до пламенной Колхиды». При полномъ забвеніи историческихъ особенностей, всѣ эти области надо было осчастливить тѣмъ же самымъ устройствомъ, тѣми же исправниками и становыми, которые внутри Россіи подвергались такому единодушному осмѣянію. Такъ, по крайней мѣрѣ, думали такъ называемые патріоты. Они были чистосердечно убѣждены, что всѣмъ, чѣмъ осчастливлена внутренняя Россія, должны удовлетвориться и окраины. Если онѣ благодаря этому немножко пострадаютъ, бѣда отъ этого не великая. Единство прежде всего. Эту милую теорію въ равной мѣрѣ антилиберальную и антиконсервативную, выдавали въ 60-тые годы за верхъ государственной мудрости. Плоды ея на лицо. Въ Остзейскомъ краѣ, гдѣ она вызвала къ жизни

эсто-латышскій вопросъ, первымъ ея насадителемъ былъ нѣкто Безбардисъ, и замѣчательно, что чисто революціонная проповѣдь этого господина велась съ благословенія такого умнаго и дальнозоркаго человѣка, какъ М. Н. Катковъ. На Страстномъ бульварѣ латышская автономія почему-то признавалась согласной съ русскими интересами.

XII.

Два первыхъ покушенія на Государя.—Впечатлѣніе на публику.—Пріемы у Веневитиновыхъ.—Новыя лица: И. И. Шамшинъ и А. А. Сабуровъ. Графъ В. А. Соллогубъ и его семья.—Шаховскіе.—П. В. Демидовъ и В. В. Коссиковскій.—А. А. Воейкова.—Мое знакомство съ музыкальнымъ міромъ Ѳ. М. Толстой.—Вечера по средамъ у Лешетицкихъ.

ПЕРВОЕ покушеніе на жизнь Государя произвело громадное, потрясающее впечатлѣніе. Личность убійцы, какъ и личность человѣка, спасшаго жизнь Александра II, ничѣмъ особеннымъ не отличались. Это были самые заурядные люди. Но первый разъ пришлось Россіи заглянуть въ ту мутную бездну, гдѣ начинала кипѣть революція, и страна ужаснулась, какіе плоды дала за короткое время литературная и газетная пропаганда. Противъ того самаго Государя, который крестьянамъ далъ гражданскія права, ввелъ мѣстныя представительныя учрежденія и освободилъ по крайней мѣрѣ столичную печать,—направлялась непримиримая злоба людей, имъ же допущенныхъ къ участію въ общественной жизни. Съ виду благородный, а на самомъ дѣлѣ подлый интеллигентъ, гулявшій по русскому роману съ начала 60-хъ годовъ, былъ, стало-быть, не иллюзія, не воображаемое лицо. На первыхъ порахъ, однако, добрая часть общества продолжала воображать,

будто такъ называемый либерализмъ, т. е. стремленіе открыть широко двери вверхъ полу-образованному разночинцу, и революціонныя посягательства—не имѣютъ между собой ничего общаго, и одно изъ другого не вытекаетъ. А такъ какъ вдобавокъ Каракозовъ былъ дворянинъ, хотя недоучившійся и нищій, а Комиссаровъ—крестьянинъ изъ той же Костромской губерніи, откуда былъ родомъ Сусанинъ, то и сложилась легенда, что дворяне издавна составляютъ крамольный классъ, изъ котораго выходятъ убійцы, а крестьяне—твердая опора власти, вѣрная церкви и благодарная престолу. Какъ оправдалась эта легенда, мы видимъ теперь. Но во всякомъ случаѣ, повторяю, впечатлѣніе было огромное. Имѣлъ случай въ этомъ убѣдиться въ Твери, куда поѣхалъ по дѣламъ на другой день послѣ событія. Въ этой лѣвой губерніи всѣ были потрясены глубоко, и такъ называемые передовые—не менѣе благонамѣренныхъ. Но русскій человѣкъ забываетъ скоро. Въ мозгу его быстро притупляются впечатлѣнія. И что пріобщить нашего разночинца къ образованію, внушивъ ему надежду на дипломъ, но не давъ ему никакой культуры, что такое вливаніе массы грубаго, полунищаго люда въ тонкую скорлупу нашей дѣйствительно культурной интеллигенціи—дѣло, пожалуй, опасное,—объ этомъ не думалъ никто. Съ одной стороны правительство стало смѣшивать въ одно стремленіе дворянства получить хотя долю участія въ управле-

ніи съ подпольной работой крамолы, съ другой— это самое дворянство принялось гладить крамолу по головкѣ, видя въ ней не заклятаго врага, какъ оно было въ дѣйствительности, а естественнаго союзника. Это двойное недоразумѣніе длилось цѣлыхъ сорокъ лѣтъ, и земство было тою почвой, на которой разыгралось искусственное вскармливаніе третьяго элемента дворянствомъ.

Зима 1866—67 года дала блестящій примѣръ этого недоразумѣнія. Петербургское земское собраніе, которое въ радикализмѣ упрекнуть было трудно, гдѣ предсѣдательствовалъ преемникъ князя Г. А. Щербатова, графъ А. П. Шуваловъ, демонстративно безъ особенной разработки подняло вопросъ о всенародномъ представительствѣ. Были тутъ, конечно, и господа, знавшіе, чего они хотѣли, и хотѣвшіе очень многаго, но они были въ ничтожномъ меньшинствѣ. Большинство ораторовъ,—царскосельскій предводитель Платоновъ, В. Н. Карамзинъ, графъ В. П. Орловъ—Давыдовъ, баронъ П. Л. Корфъ, его однофамилецъ баронъ М. Н. Корфъ, генералъ Веймарнъ и др.— были наиконсервативнѣйшими людьми, вырвавшими даже у газеты «Вѣсть» восторженную похвалу себѣ. И тѣмъ не менѣе правительство закрыло Петербургское земство на неопредѣленное время, нѣсколькихъ предсѣдателей управъ посадило въ Петропавловскую крѣпость, а самому предсѣдателю, графу Шувалову, посовѣтовало нѣсколько попутешествовать по Европѣ. Нельзя

сказать, чтобы это было особенно умно. Въ тогдашнемъ дворянствѣ можно было набрать немало людей, которые-бы годились для законодательной работы, не хуже тогдашнихъ членовъ Государственнаго Совѣта, и пожалуй болѣе убѣжденныхъ консерваторовъ, чѣмъ послѣдніе, и мало по малу создалась бы вокругъ правительства общественная корка изъ людей, которые чувствовали-бы себя солидарными съ властью и остановили-бы ее при совершеніи разныхъ крупныхъ ошибокъ. Весь городъ съѣзжался на засѣданія земства, и живое сочувствіе къ конституціонной идеѣ выражалось у всей этой блестящей публики, даже у дамской ея половины. Но чувство это было неясно, неопредѣленно. И вмѣсто того, чтобы изъ конституціонныхъ мотивовъ создать нѣчто консервативное, правительство дало вырости изъ нихъ глухому, затаенному озлобленію.

Совсѣмъ уже не такъ, какъ въ первый разъ, отозвалось въ обществѣ покушеніе Березовскаго. Оно произошло заграницей и совершено было полякомъ. Можно было его приписать одному національному фанатизму, и, хотя всѣ виды фанатизма сродни между собою, стряхнуть его съ русскихъ плечъ. Послѣдствія этого покушенія сказались не на внутренней, а на иностранной политикѣ. Правительство наше и безъ того косилось на Францію съ 1863 года, и свиданіе государей ихъ не сблизило. Сравнительно мягкій приговоръ надъ Березовскимъ показался намъ почти обиднымъ, а

грубыя слова Флоке на лѣстницѣ Palais de justice возмутили даже оппозиціонную часть русскаго общества. Три года спустя, Франціи пришлось жестоко поплатиться. Съ новымъ покушеніемъ произошелъ случай, довольно комичный. Послѣ неудавшагося выстрѣла Каракозова, посыпались отовсюду поздравительные адресы. Постепенно очередь достигла инородцевъ Восточной Сибири. И вотъ, когда Юкагиры или Чукчи приплелись въ Петербургъ съ своимъ адресомъ, ихъ прогнали не безъ нетерпѣнія, такъ какъ прошло уже болѣе года съ Каракозовскаго покушенія, и въ государя успѣлъ выстрѣлить Березовскій. Приходилось возвращаться домой ради составленія новаго адреса.

Зимою 1866—67 года Виневитиновскій домъ переродился. Молодое поколѣніе подросло до того момента, когда для него танцовать—становится обязанностью. Стали даваться званые вечера, на которыхъ танцовали до упада. Но этого было мало. Въ промежуткахъ, когда не приходилось выѣзжать, едва-ли не съ полудня до поздняго вечера, смѣнялись гости, завтракали, обѣдали, пили чай и раза по два, а то и по три въ день пары кружились, просто сами напѣвая какой-нибудь мотивъ любимаго вальса. Словомъ, дымъ стоялъ коромысломъ, и мѣсто глубокомысленныхъ разговоровъ, въ которые вплеталась чья-нибудь остроумная шутка, заняло оживленіе иного рода: возня, шумъ, смѣхъ и говоръ наполняли домъ

съ утра до вечера. Молодежь совсѣмъ имъ завладѣла. Наступила пора той всеобщей влюбленности, о которой говоритъ въ «Войнѣ и Мирѣ» Левъ Толстой. Изъ этой молодежи выдѣлялась, наряду съ дочерью хозяйки дома Марусей, ея кузина, дочь извѣстнаго писателя В. А. Соллогуба, Елизавета Владиміровна или, какъ ее называлъ отецъ, «Vivace» Владиміровна. Леля Соллогубъ, впослѣдствіи—г-жа Сабурова, вполнѣ заслуживала это прозвище. Это было само оживленіе, неисчерпаемое въ своихъ затѣяхъ. Соллогубы тогда вернулись въ Петербургъ, не помню ужъ откуда, съ Кавказа или изъ Дерпта. Знаю только, что они жили долго и на той, и на другой окраинѣ, и что всѣ сыновья прошли черезъ Дерптскій университетъ. Это придало имъ полунѣмецкій складъ, хотя никакихъ притязаній на аккуратность за ними не водилось. Въ ихъ натурѣ просвѣчивало что-то почти цыганское, унаслѣдованное отъ отца. Нѣсколько на таборъ походила ихъ квартира на Михайловской площади, все въ томъ же домѣ графа Вielьгорскаго, проданномъ его наслѣдниками кондитеру Кочкурову. Бельэтажъ, гдѣ прежде давались артистическіе вечера графа Михаила Юрьевича, занимали теперь Шаховскіе—моя тетушка, княгиня Софія Алексѣевна и сынъ ея Александръ Ивановичъ, которому жена, умирая, оставила дочь Мусю, впослѣдствіи графиню Келлеръ. Софія Алексѣевна была очень умная и довольно-таки сухая старушка, дожившая,

вѣроятно, благодаря этой сухости до 88 лѣтъ. Ея сынъ вѣчно брюзжалъ, говорилъ всѣмъ непріятности, накупалъ рѣдкія вещи и прекрасное вино и почему-то прослылъ добрякомъ, которому все прощалось. Нижній этажъ этого ковчега занимали Соллогубы, верхній—Комаровскіе. Кочкуровъ былъ тутъ при чемъ-то лишь потому, что поставлялъ жильцамъ дома всевозможныя сласти.

Графъ Соллогубъ, этотъ живой свидѣтель Пушкинской эпохи, имѣлъ на мою судьбу рѣшительное вліяніе. Ничего не написавшій особенно крупнаго, онъ былъ тѣмъ не менѣе очень крупнымъ талантомъ. Въ одномъ достоинствѣ ему никакъ отказать было нельзя: его проза всего ближе подходитъ къ Пушкинской. По своей прозрачности и простотѣ она стоитъ даже выше Тургеневской. Странное дѣло—съ произведеніями графа Владиміра Александровича я познакомился гораздо позднѣе, чѣмъ съ нимъ самимъ, и нѣкоторыя изъ нихъ, въ томъ числѣ знаменитый «Тарантасъ», мнѣ пришлись не особенно по вкусу. А между тѣмъ, если графъ не прямо вызвалъ у меня литературныя наклонности, на выработку моего вкуса, на мою ненависть къ длинно-писанію онъ имѣлъ прямое воздѣйствіе. Трудно было встрѣтить человѣка болѣе живого. Легкость работы была у него изумительная. Онъ могъ на какомъ-нибудь свѣтскомъ вечерѣ, не переставая, разговаривать, въ нѣсколько минутъ набросать драматическую сцену или даже стихотвореніе.

И выходило почти безукоризненно. Но это самое «почти», эта легкость сочинительства—и помѣшали Соллогубу стать настоящимъ художникомъ. Всѣ данныя на то у него были. Не было одного лишь—строгаго уваженія къ своей работѣ, безъ котораго ничего истинно-великаго не создать. Нѣкоторые изъ его разсказовъ, какъ «Исторія двухъ калошъ», «Большой Свѣтъ» и въ особенности «Аптекарша»—могутъ быть приравнены къ «Пиковой Дамѣ» и къ нѣкоторымъ изъ повѣстей Тургенева. А между тѣмъ легкое, блестящее перо Соллогуба не создало ни одного типа, никогда не врѣзывалось глубоко въ человѣческое сердце. Тѣмъ не менѣе иные изъ его афоризмовъ были безподобны по мѣткости. Привожу одинъ, засѣвшій у меня въ памяти: «Au fond de tous les arts, il y a de l'architecture, et c'est précisement ce dont nous autres Russes n'avons aucune idée».

Зима 1866—67 года заполнила гостепріимный домъ Веневитиновыхъ новыми, или почти новыми лицами. Наиболѣе крупнымъ изъ нихъ былъ тогдашній предсѣдатель Петербургскаго Окружного суда, И. И. Шамшинъ, нынѣ членъ Государственнаго Совѣта, котораго нельзя было не полюбить за основную черту его натуры—доброжелательство къ людямъ, вполнѣ мирившееся въ немъ съ неумолимо-яснымъ умомъ. На ряду съ нимъ сталъ часто пріѣзжать и его товарищъ, А. А. Сабуровъ, сынъ того самого Сабурова, который былъ всегда участникомъ партіи преферанса у Алексѣя Вла-

дміровича. Еще болѣе Шамшина онъ былъ тогда олицетвореніемъ судебной реформы и видѣлъ ея главную задачу въ обузданіи произвола администраціи. Помню до сихъ поръ одну его фразу: «Мы здѣсь, въ судѣ, установили практику—никогда не выслушивать подъ присягою въ качествѣ свидѣтелей полицейскихъ, участвовавшихъ въ дознаніи».

— Вы были бы совершенно правы,—хотѣлось ему отвѣтить—если бы цѣлью правосудія было оправданіе виновнаго.

Слова Андрея Александровича имѣли свое оправданіе. Когда на мѣсто бывшихъ «черныхъ» судовъ появились суды новые, съ безукоризненно высокимъ нравственнымъ уровнемъ, нѣкоторое преувеличеніе брезгливости съ ихъ стороны было совершенно понятно. Не совсѣмъ понятно одно—вѣчное сохраненіе усвоеннаго разъ навсегда антиправительственнаго жеста, точно міросозерцаніе либеральныхъ членовъ нашей магистратуры начиналось съ какой-то нравственной судороги.

Рядомъ съ этой новой парой друзей дома, появилась и другая, нѣсколько менѣе выдающаяся—бывшій нашъ посланникъ въ Лиссабонѣ, П. В. Демидовъ и приклеившійся къ нему университетскій товарищъ молодыхъ Веневитиновыхъ, В. В. Косиковскій.

Послѣдній былъ чрезвычайно красивый и достаточно самоувѣренный юноша, считавшій себя въ правѣ отъ жизни ожидать многаго. И жизнь

ему, въ самомъ дѣлѣ, многое дала, если не въ смыслѣ дипломатической карьеры—онъ поступилъ въ министерство иностранныхъ дѣлъ—то въ смыслѣ общественнаго положенія. Не ея вина, коли это многое, какъ заколдованное золото въ сказкѣ, въ его рукахъ превратилось въ сухія листья. Вдвоемъ съ Демидовымъ они очень походили на Фауста и Мефистофеля. Петръ Всеволодовичъ Коссиковскому также покровительствовалъ, какъ духъ тьмы у Гёте поставлялъ жизненное благо зарывшемуся въ науку доктору Фаусту. Самъ Демидовъ былъ очень умный человѣкъ, много видавшій и еще больше говорившій. И выраженіе лица, и рѣзкость тона, и самый звукъ его голоса—были скорѣе отталкивающаго свойства; такъ по крайней мѣрѣ находили почти всѣ его знавшіе. И Алексѣй Комаровскій, увидавъ разъ на улицѣ извозчика, подвозившаго къ подъѣзду Веневитиновыхъ какой-то поломанный стулъ, невольно воскликнулъ: «а, вотъ Демидовъ переѣзжаетъ къ тетушкѣ».

Демидовъ, въ самомъ дѣлѣ, почти-что переѣхалъ къ Веневитиновымъ, сумѣвъ однако избѣгнуть не совсѣмъ лестной роли нахлѣбника. Обѣдая тамъ чуть не каждый день, онъ дѣлалъ видъ, что оказываетъ милость хозяевамъ дома. Чѣмъ онъ ихъ плѣнилъ и какъ ѣдкая сухость его рѣчи могла понравиться всегда благожелательной Аполлинѣ Михайловнѣ,—въ толкъ не возьму. Но не прошло и трехъ мѣсяцевъ съ минуты его появ-

ленія, какъ онъ разыгрывалъ у Веневитиновыхъ роль великаго визиря, не смотря даже на отсутствіе симпатіи къ нему со стороны Алексѣя Владиміровича и на почти открытую вражду большинства друзей гостепріимнаго дома.

Была въ числѣ этихъ друзей одна особа, вполнѣ раздѣлявшая мою нескрываемую антипатію къ Демидову. Это была фрейлина великой княгини Маріи Николаевны—Александра Александровна Воейкова. До 1867 года она почти безвыѣздно проживала заграницей и привезла оттуда такой запасъ свѣдѣній изъ жизненной книги, не говоря уже о всѣхъ остальныхъ—она перечитала на своемъ вѣку рѣшительно все,—что могла перещеголять этимъ любого мудреца. Въ области живописи ей были извѣстны всѣ художники даже третьей руки, лишь-бы имъ было не менѣе двухсотъ лѣтъ отъ роду. Въ области музыки она едва ли не была лично знакома со всѣми современными композиторами. Въ области литературы, наконецъ, она не пропускала ни одного выдающагося произведенія или, по крайней мѣрѣ, прикидывалась, будто его прочла. Но все это было ничѣмъ въ сравненіи съ ея знаніемъ анекдотическихъ исторій современной Европы. Тутъ были ей извѣстны всѣ подробности, истинныя и лживыя. Спорить съ ней было не безопасно, она не прощала ни малѣйшей ошибки, особенно ошибки по части французскаго языка. Тутъ она была неумолима и робкой молодежи внушала

почтительный страхъ. Впослѣдствіи мы съ ней очень подружились, но тогда были немножко на военномъ положеніи. Всегда одѣтая въ темное, съ вѣчной кружевной наколкой на посѣдѣвшихъ волосахъ, она напоминала собою всѣхъ девятерыхъ музъ, за исключеніемъ развѣ одной Терпсихоры, и притомъ музъ, дожившихъ до очень зрѣлыхъ лѣтъ.

Въ эту зиму, а можетъ быть и въ слѣдующую—хорошенько не помню—довелось мнѣ сблизиться съ музыкальнымъ міромъ. Вели туда нѣсколько дорогъ. Леви, котораго я встрѣчалъ часто, Антонъ Рубинштейнъ, съ которымъ былъ давно знакомъ, и одинъ, если и не впрямь композиторъ, то, можно сказать, пасынокъ музыки—Ѳ. М. Толстой, болѣе извѣстный въ литературѣ подъ именемъ Ростислава. Онъ пописывалъ романы такъ-себѣ, былъ остроуменъ и довольно золъ и обѣдалъ у насъ часто, какъ полусвойственникъ: онъ приходился братомъ моему дядѣ Николаю Матвѣевичу, мужу сестры моей матери. Этотъ Толстой, когда-то написавшій итальянскую оперу «Birichno di parigi», жестоко провалившуюся,—былъ за панибрата со всѣми музыкальными звѣздами. Приписываютъ ему слѣдующій довольно удачный отвѣтъ. Представлялся онъ, какъ вновь назначенный гофмейстеръ, Великому Князю Константину Николаевичу, и притомъ въ очень полиняломъ мундирѣ, едва ли сходившемъ съ его плечъ лѣтъ 25 или болѣе. Великій Князь, вертя въ

рукѣ монокль, обратился къ нему по пріятельски.

«А, Ѳеофилъ Матвѣевичъ!... Какъ я радъ Васъ видѣть!.. Вѣроятно по случаю назначенія въ гофмейстеры? Хотя по Вашему мундиру не видно, что Вы только что назначены... А что»,—добавилъ онъ—«есть какая-нибудь разница между гофмейстеромъ и кухмистеромъ»?

— Разница та, Ваше Высочество—твердо отвѣтилъ Толстой,—что, будь я кухмистеромъ, я не имѣлъ бы счастія услыхать изъ устъ Вашего Высочества столь остроумное замѣчаніе...

Не знаю уже, благодаря кому изъ этихъ господъ я получилъ приглашеніе на среды у Лешетицкихъ, гдѣ собирались музыкальныя сливки перваго сбора. Среды эти были замѣчательны. Сперва музыка, самая превосходная, въ томъ числѣ пѣніе хозяйки дома, первой жены Лешетицкаго, потомъ ужинъ, блестѣвшій несмолкаемымъ остроуміемъ, котораго въ большемъ свѣтѣ нѣтъ и въ поминѣ. Бывали тутъ Венявскій, Давыдовъ, Рубинштейнъ съ своими женами, бывали Ауэръ и Леви; изрѣдка пріѣзжали, впрочемъ, и люди иного сорта—графъ Г. А. Строгановъ, мужъ Великой Княгини Маріи Николаевны, и графъ И. А. Рибопьеръ, являвшійся отвести душу среди этой геніальной богемы. Остроуміемъ они отличались большимъ. Нельзя сказать, чтобы Рубинштейнъ и Венявскій особенно стѣснялись присутствіемъ своихъ женъ. Циничнымъ, однако,

былъ одинъ только Венявскій. Въ общемъ всѣ эти евреи оказывались очень милыми и добродушными ребятами, подъ условіемъ имъ не попадаться на языкъ. У меня эти вечера, по крайней мѣрѣ, оставили очень пріятное воспоминаніе, и я имѣлъ случай убѣдиться не разъ въ предупредительной любезности этихъ господъ, многимъ казавшихся почти недоступными.

XIII.

Домъ Гагариныхъ: Князь Григорій Григорьевичъ и княгиня Софія Андреевна. Происхожденіе нашего славянофильства.—Славянскій съѣздъ въ Москвѣ. Ошибочность нашей тогдашней славянской политики.—Внѣшній видъ южныхъ славянъ.—Отъѣздъ Владиміра Панина на Кавказъ и его помолвка.

Не могу не помянуть добрымъ словомъ одну семью, куда я въ то время ѣздилъ часто. Это была семья Гагариныхъ, жившихъ тогда въ Академіи Художествъ. Князь Григорій Григорьевичъ, тогдашній ея вице-президентъ, былъ одинъ изъ самыхъ просвѣщенныхъ и любезныхъ людей, когда-либо мной виданныхъ. И не простая это была свѣтская любезность, не идущая глубже привѣтливой улыбки. У князя она шла прямо изъ сердца и выражалась готовностью каждому оказать услугу. Обладая самъ недюжиннымъ талантомъ, онъ былъ вѣрнымъ и тонкимъ художественнымъ критикомъ. Но и тутъ онъ казался критикомъ по неволѣ, будто строгій судъ ему былъ въ тягость. Гагарины принимали, кажется, по пятницамъ. Дѣти ихъ тогда подросли еще не совсѣмъ, но княгинѣ Софіи Андреевнѣ удавалось смѣшивать возрасты такъ, что всѣмъ было по

себѣ. Про княгиню кто-то замѣтилъ тогда, что при каждой встрѣчѣ она будто особенно обрадована увидать того именно, съ кѣмъ ей приходится разговаривать. Это была совсѣмъ не банальная любезность, запечатлѣвшаяся на иныхъ лицахъ, какъ чеканъ на монетѣ. Исходила ли она отъ сердца, какъ у ея мужа,—не знаю. Во всякомъ случаѣ привѣтливость обоихъ Гагариныхъ придавала ихъ дому совсѣмъ особый отпечатокъ. И есть, вдобавокъ, за княземъ Григоріемъ Григоріевичемъ крупная общественная заслуга. Благодаря его иниціативѣ, принялись изучать совершенно заброшенныя русскія древности, стали выходить изъ тьмы забвенія старинныя церкви временъ Суздальскаго Великаго Княжества, и изъ подъ грубой мазни стали выглядывать на свѣтъ Божій фрески XIV и XV вѣка, удивительныя по письму и по свѣжести красокъ. Нигдѣ, какъ у насъ, энергіи отдѣльнаго человѣка не представляется такого широкого простора, и нигдѣ тоже эти энергическіе люди не имѣются въ такомъ маломъ числѣ. Жатва велика, а дѣлателей нѣтъ. И немногихъ этихъ дѣлателей нельзя не вспомнить съ теплой благодарностью.

Заслуги Гагарина въ области русской археологіи приводятъ мнѣ на память другую картину, на этотъ разъ изъ области подогрѣтаго славянскаго чувства. Хочу сказать нѣсколько словъ объ Обще-Славянскомъ съѣздѣ въ Москвѣ весною 1868 года. Корни славянофильства сороковыхъ

годовъ лежатъ за предѣлами Россіи. Вскормилъ ихъ западный романтизмъ, и воспитала Гегелевская философія. Оно было ничѣмъ инымъ, какъ теоретическимъ отголоскомъ національнаго движенія, охватившаго всю Европу подъ конецъ Наполеоновскихъ войнъ. Каждый народъ имѣетъ право на саморазвитіе—учили Якови, Арндтъ и Фихте. Сообразно этому германская поэзія отъ космополитическихъ идеаловъ обратилась къ національнымъ. Генрихъ фонъ-Клейеръ и Кернеръ, Уландъ и Тикъ—были главными выразителями этого направленія въ Германіи, а одинъ изъ нихъ, Теодоръ Кернеръ, сложилъ свою голову за освобожденіе родины. Гегель далъ этой идеѣ философскую форму: каждый народъ долженъ выработать свои національныя свойства, и сочетаніе этихъ свойствъ составляетъ во всемірной исторіи общую гармонію человѣчества. Мнѣ возразятъ, можетъ быть, что все это относится къ одному нѣмецкому романтизму, между тѣмъ какъ романтизмъ обошелъ всю Европу. Но во первыхъ я пишу здѣсь не исторію всеобщей литературы, а лишь бѣглыя свои воспоминанія. Во вторыхъ мы, русскіе, т. е. наша славянофильская школа, получила свое начало не отъ романтизма вообще, а именно отъ нѣмецкой національной поэзіи. Вотъ какова теоретическая основа славянофильства, и первые выразители этого ученія у насъ—Хомяковъ, Сергѣй Аксаковъ и Кирѣевскій—были глубоко проникнуты безсознательнымъ западничествомъ,

а лучшій поэтъ школы, Тютчевъ—даже и вполнѣ сознательно. Но такъ-какъ русскій народъ не только не подчинялся иностранному игу, но даже и подчинилъ себѣ кое-какіе иностранные элементы, стоявшіе выше его по культурѣ, приходилось, для практическаго осуществленія идеи, во-первыхъ придумать себѣ нѣсколько воображаемыхъ идеаловъ въ русскомъ прошломъ, а во вторыхъ подвинтить въ себѣ нѣсколько дутыя симпатіи къ западнымъ и южнымъ славянамъ, не успѣвшимъ отстоять свою историческую самостоятельность. Отсюда—сердобольное отношеніе къ австрійскимъ и турецкимъ славянамъ, причемъ совершенно забывалось, что и за Россіей имѣется не малый грѣхъ передъ однимъ изъ крупнѣйшихъ изъ славянскихъ народовъ. Отсюда—легенда о русскихъ интересахъ, пострадавшихъ на западныхъ окраинахъ, будто вслѣдствіе коварства тамошнихъ жителей, а на самомъ дѣлѣ—благодаря недальновидности русскихъ администраторовъ. И Владиміръ Соловьевъ совершенно правъ, говоря, что къ первымъ, симпатичнымъ славянофиламъ пришли на смѣну другіе, принявшіеся искать не пропадало-ли гдѣ-нибудь русское добро и не могутъ-ли иностранные славяне быть для насъ хорошими агентами въ дѣлѣ расширенія нашихъ и безъ того широкихъ границъ.

Однимъ изъ проявленій этого уродливаго и зажигательнаго патріотизма и былъ Московскій съѣздъ 1868 года. Кто былъ его иниціаторомъ,

не помню; едва-ли это былъ Ригеръ, самый видный изъ тогдашнихъ славянскихъ вождей. Онъ все время держался въ сторонѣ, какъ бы недовѣрчиво озираясь на болѣе передовыхъ представителей славянства, особенно на младо-чеховъ. Ригеру вовсе не хотѣлось разгрома и даже ослабленія Австріи. Онъ стремился къ тому лишь, чтобы завоевать австрійскимъ чехамъ должное мѣсто въ управленіи Австрійской монархіей, и мѣсто это онъ полагалъ заполнить вполнѣ консервативными элементами. Съѣздъ, наоборотъ, имѣлъ явно анти-австрійскій характеръ: большинство съѣхавшихся гостей, какъ и тонъ привѣтственныхъ рѣчей, произнесенныхъ въ Москвѣ, не скрывало своего революціоннаго характера по отношенію къ Австріи, про Турцію уже не говорю. Нельзя не подивиться недальновидности, выказанной на этотъ разъ Катковымъ. Онъ не могъ не понимать, что весь смыслъ съѣзда въ попыткѣ ускорить, даже прямо вызвать переполохъ въ Австріи. А между тѣмъ результатомъ такого переполоха могло только явиться присоединеніе къ Россіи славянскихъ областей или образованіе изъ нихъ ряда самостоятельныхъ государствъ. И то и другое было бы для насъ одинаково пагубнымъ. Первое расширило бы до невозможности наши предѣлы, второе вызвало бы къ жизни нѣсколько враждующихъ между собою государствъ, которыя служили бы вѣчнымъ поводомъ къ чужому вмѣшательству, ничуть не обезпечивая насъ

надежными друзьями. Какъ мало искренняго сочувствія къ Россіи таилось въ сердцѣ пріѣхавшихъ славянъ, просвѣчивало недвусмысленно въ ихъ московскихъ рѣчахъ. Всего непонятнѣе тогдашнее потворство нашего правительства. Это было все продолженіемъ политики злопамятства, побудившей насъ стать на сторону Пруссіи въ 1866 году. А между тѣмъ, если бы Австріи не существовало, намъ надо было бы ее придумать,—это твердили тогда многіе изъ нашихъ. Въ самомъ дѣлѣ Австрійская монархія, склеивавшая въ одно цѣлое пеструю мозаику народностей, была для насъ наиболѣе выгоднымъ способомъ рѣшенія славянской задачи.

Съѣздъ показалъ лишній разъ, какъ трудно бороться противъ въѣвшихся въ мозгъ предразсудковъ: Австрія—единственная страна въ Европѣ, съ которой мы никогда не воевали, а между тѣмъ, во время съѣзда, огромное большинство русскихъ было твердо убѣждено, что вызвать паденіе Австріи—одна изъ нашихъ историческихъ задачъ.

Вдвоемъ съ Мишей Веневитиновымъ, воображавшимъ себя тогда панславистомъ, мы ѣздили на Варшавскій вокзалъ встрѣчать пріѣхавшихъ. Далеко не изящной вереницей потянулись славянскіе гости. Особенно неумытыми и некультурными глядѣли южные турецкіе «братушки»; и ровно никакого родства съ нами не видно было на ихъ загорѣлыхъ лицахъ, съ черными мало причесанными волосами. Съ турецкими славя-

нами, по части некультурности, могли соревновать и словаки. Но всѣхъ лучше были двое депутатовъ отъ совершенно онѣмеченныхъ Лужичанъ: такъ называемая «матица» прислала изъ «Будиссина», какъ тогда принято было называть Бауценъ, двухъ господъ, именовавшихся господинъ Дейчманнъ и г-нъ Нѣмецъ. Крѣпко сомнѣваюсь, не были-ли попросту евреями эти природные славяне.

Долго не попадало мнѣ подъ перо имя моего друга Панина. Въ 1866 году онъ покинулъ Петербургъ и поѣхалъ служить на Кавказъ, гдѣ онъ, впрочемъ, болѣе занимался изученіемъ тамошнихъ древностей, чѣмъ службою. Думаю, что причиною его отъѣзда были семейныя несогласія, про которыя онъ мнѣ, кстати сказать, никогда не заикался. Существуетъ легенда, будто эти разногласія шли такъ далеко, что у Владиміра Панина обнаружились неожиданно революціонно-демократическія поползновенія. Это совершенный вздоръ. Его въ сущности мягкая натура могла не совсѣмъ ладить съ довольно жесткимъ характеромъ отца: помню, какъ разъ, кажется въ 1871 году, уже совсѣмъ больной, онъ съ неподдѣльнымъ чувствомъ говорилъ, что наша важнѣйшая задача—воспитывать народъ, оберегая его и отъ старинной темноты, и отъ новаго растлѣнія. Но дальше этого онъ никогда не шелъ. Въ забвеніи этой истины—несомнѣнный крупный грѣхъ нашего поземельнаго дворянства.

Съ Кавказа Панинъ мнѣ изрѣдка писалъ. И вотъ однажды получаю отъ него съ южнаго берега Крыма письмо, извѣщавшее о его помолвкѣ съ А. С. Мальцевой. Разумѣется, я отвѣтилъ самыми горячими, искренними пожеланіями счастія. Нашелъ-ли онъ это счастіе въ самомъ дѣлѣ, осталось для меня тайной. Съ тѣхъ поръ мы видѣлись всего только два раза.

XIV.

Образованіе во Франціи министерства Эмиля Олливье.—Конституціонныя вожделѣнія у насъ.—Франко-Прусская война.—Французскія симпатіи въ Россіи.—Замужество М. А. Веневитиновой.—Начало распаденія нашей компаніи.—Встрѣча съ Панинымъ и его молодой женой.—Коммуна во Франціи.—Заграничное путешествіе 1871.—Встрѣча въ Карлсбадѣ съ А. В. Веневитиновымъ.—Поѣздка въ Штутгардтъ на свадьбу Володи Веневитинова—Кончина Е. В. Потаповой.—Возвращеніе черезъ Вѣну.—Переѣздъ въ домъ Безобразова.

ПОПЫТКА установить во Франціи конституціонную имперію при содѣйствіи Орлеанистовъ отразилась и у насъ. Министерство Эмиля Олливье было встрѣчено скорѣе сочувственно, хотя и безъ особеннаго довѣрія. Всѣ три фактора этого компромисса, — сомнительный императоръ, вскочившій на престолъ безъ всякихъ на него правъ, перебѣщикъ во главѣ кабинета, хотя перебѣщикъ, вѣроятно, искренній, и сторонники графа Парижскаго, члены кабинета: гг. Бюффэ, Дарю-Галлуэ и т. д.—къ прочности возобновленія бонапартизма довѣрія внушить не могли. И тѣмъ не менѣе у насъ, чисто теоретическія, правда, конституціонныя вожделѣнія оживились. Увы! насъ плѣнялъ собственно самый процессъ парламентализма — трибуна, запросы, министерскіе кризисы, игра въ большинство,—какъ Гоголевскаго Петрушку нѣкогда плѣнялъ самый процессъ чтенія.

Конечно, это было ребячествомъ, но въ этомъ ребячествѣ участвовали взрослыя, даже престарѣлыя дѣти. Земцы, разумѣется, были на первомъ планѣ. Люди честные и вполнѣ порядочные добросовѣстно увѣряли себя, что безъ этого жить нельзя, что Россія задыхается отъ скуки абсолютизма, что страдаютъ отъ этого даже самые урожаи. Эта безсмыслица печаталась, и въ нее вѣрили. Вѣрили, что стоитъ собраться мудрецамъ изъ Царево-Кокшайска и Кунгура—и мигомъ у помѣщиковъ лучше будетъ расти хлѣбъ, а у крестьянъ исчезнетъ малоземелье. У меня сохранилось письмо Владиміра Панина, написанное въ этомъ духѣ. Всѣ мы,—а лѣвымъ у насъ признавался одинъ Сергѣй Шевиль, влюбленный въ тѣнь Лассаля,—убѣжденно воображали, что въ близкомъ будущемъ мы очутимся на скамьяхъ праваго и лѣваго центра и станемъ участвовать во всероссійской говорильнѣ. Этотъ спортъ—очевидно это былъ только спортъ—плѣнялъ даже воображеніе такихъ людей, какъ Павелъ Шуваловъ, какъ А. С. Танѣевъ, забавлявшіе насъ тогда умѣніемъ импровизировать что угодно въ стилѣ кагого угодно композитора, какъ В. М. Юзефовичъ, впослѣдствіи вице-директоръ такого либеральнаго департамента, какъ государственная полиція. Вообще, съ либерализмомъ эти господа имѣли мало общаго. Но какъ-бы то ни было, московское дворянство заразилось теченіемъ и преподнесло адресъ съ просьбою «увѣнчать

зданіе». Государь отвѣтилъ, что предоставляетъ себѣ избрать для этого подходящую минуту. Это принято было, какъ обѣщаніе. Позволяю себѣ думать, что если-бы, въ какой-нибудь формѣ, было допущено тогда представительство, какъ разъ эта мѣра создала-бы у насъ консервативную партію. Трудно ожидать, чтобы люди очень интересовались учрежденіями, въ которыхъ не принимаютъ никакого участія. Нельзя тоже сказать, чтобы для молодежи обиваніе министерскихъ пороговъ было наилучшею школою для пониманія государственныхъ задачъ. Въ глазахъ большинства, эти задачи сводились къ одной собственной карьерѣ! И создалось благодаря этому представленіе, будто правительство само по себѣ, и общество само по себѣ тоже.

Но событія шли быстро. Министерство Эмиля Олливье просуществовало всего полгода и разсыпалось при первыхъ извѣстіяхъ о французскихъ неудачахъ. Государь повидался съ королемъ Прусскимъ въ Эмсѣ и обѣщалъ ему благопріятный нейтралитетъ, т. е. нравственное содѣйствіе Россіи. Здѣсь опять-таки проводилась политика злопамятства за польскія дѣла, а можетъ быть и за выстрѣлъ Березовскаго. Была ли выговорена какая нибудь благодарность за это содѣйствіе—не знаю. Вѣроятно нѣтъ. Иначе Бисмаркъ не пришелъ-бы въ такое бѣшенство, узнавъ о нарушеніи нами Парижскаго трактата. А мы вѣдь только взяли себѣ обратно свободу распоряженія надъ Чернымъ моремъ.

Что дѣлать?—чѣмъ больше политическое безкорыстіе, тѣмъ онъ кажется другимъ недостаточнѣе.

Публика наша, какъ извѣстно, держала сторону Франціи. Нѣжностью къ этой болтливой и хвастливой націи мы всегда страдали, воображая себя очень похожими на французовъ, хотя никакого сходства, строго говоря, нѣтъ. Владѣла нами, вѣроятно, жалость къ слабѣйшему, состраданіе къ побѣжденному. Но большинство, вѣроятно, увлекалось попросту республикой. Франція стала у насъ особенно популярна послѣ Седана. Нѣмцы, впрочемъ, держали себя тогда очень вызывающимъ образомъ. На Рязанской дорогѣ, когда я осенью ѣхалъ въ Орловское имѣніе, одинъ бывшій тутъ нѣмецъ, слыша вокругъ себя не совсѣмъ дружескія рѣчи, громко сказалъ: «Diese Russen werden sich nicht ruhig verhalten, bis sie tüchtig von uns auf den Buckel bekommen». Конечно, одинъ нѣмецъ всѣмъ не указка, какъ одна ласточка весны не дѣлаетъ. Но въ ту же осень на какомъ то нѣмецкомъ спектаклѣ въ Михайловскомъ театрѣ публика громко потребовала, чтобы оркестръ сыгралъ «Wacht am Rhein». Хотѣлъ бы я видѣть, что бы сдѣлала публика въ Берлинѣ, если-бы русскіе потребовали тамъ народный гимнъ.

Собственно, я долженъ былъ-бы поѣхать въ эту осень въ Животинное къ Веневитиновымъ на свадьбу Маруси, выходившей за Коссиковскаго. Но я туда не поѣхалъ. Приглашали меня, кстати сказать, не особенно настойчиво. Со времени появ-

ленія П. В. Демидова на сценѣ, наша дружба нѣсколько охладѣла. Свадьба эта встрѣчала, впрочемъ, далеко не единодушное сочувствіе въ самой семьѣ. Мать горой стояла за жениха, а отецъ чуть не плакалъ. Послѣ свадьбы молодые тотчасъ уѣхали за границу, гдѣ мы ихъ видѣли въ слѣдующемъ году.

Компанія наша мало по малу распадалась. Почти одновременно съ Панинымъ уѣхалъ на Кавказъ и Смирновъ, гдѣ вскорѣ женился на какой-то армянской дѣвицѣ изъ денежнаго міра. Большого счастія ему эта свадьба не принесла. Онъ почувствовалъ себя въ непривычной атмосферѣ и умственно задыхался. Когда намъ приходилось встрѣчаться невзначай, что-то горькое, не удовлетворенное, почти забитое въ немъ проглядывало. Вѣроятно, тяжкая семейная обстановка и довела его впослѣдствіи до умственнаго разстройства, среди котораго онъ угасъ. А между тѣмъ это былъ, несомнѣнно, самый даровитый изъ членовъ компаніи, тотъ, которому суждено было, вѣроятно, расцвѣсть всего пышнѣе. Онъ приходился сыномъ извѣстной Александрѣ Осиповнѣ Смирновой, едва ли не самой одаренной изъ женщинъ Николаевской эпохи. Ея записки, напечатанныя лѣтъ 10 назадъ въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ», говорятъ за нее. А между тѣмъ, эта высокоодаренная Александра Осиповна Смирнова, близкій другъ Пушкина, Вяземскаго, Карамзина,—Смирнова, которой всѣ поэты того времени посвящали

стихи, едва ли не была главной причиной разоренія своего сына и его неудачной женитьбы. Вторую половину своей жизни Смирнова провела за границей—въ Петербургѣ я видѣлъ ее всего разъ, уже старухой—и, привыкшая къ широкому размаху жизни, она тратила не считая и требовала отъ сына все новыхъ и новыхъ денегъ. Неразсчетливый, безкорыстный въ высшей степени, Миша продавалъ одно имѣніе за другимъ, чтобы удовлетворить прихотямъ матери и щедро надѣлить 3-хъ сестеръ, тоже безвыѣздно проживавшихъ за границей. Старшая, Ольга Николаевна, умерла дѣвицею. Она слегка пописывала. Вторая, Софья, красавица собой, была за княземъ Трубецкимъ. Младшая, Надя, моя ровесница и, кстати сказать, моя первая наклонность, когда намъ было по 12-ти лѣтъ, вышла за какого-то англичанина и съ нимъ потомъ развелась. Гдѣ она теперь—не знаю. Распростившись съ богатымъ наслѣдствомъ отца, Миша однако не удовлетворилъ этимъ требованій матери, и послѣдней его жертвой была женитьба на деньгахъ. Однако онъ повидимому не зналъ, что есть нѣчто, чѣмъ жертвовать нельзя,—своимъ духовнымъ міромъ, къ которому нельзя безнаказанно прививать среду низшаго порядка.

Смирновъ былъ не единственнымъ изъ членовъ нашего кружка, выбывшимъ изъ него при жизни. Алексѣй Комаровскій почему-то переселился въ Москву, гдѣ долго жилъ на Никитскомъ

бульварѣ въ домѣ Столыпина. Проѣздомъ мнѣ случалось у него останавливаться. Наконецъ, и тотъ изъ насъ, который пользовался среди товарищей наибольшею популярностью—Володя Веневитиновъ—въ зиму 70—71-го года надолго отбылъ заграницу: его назначили секретаремъ въ Штутгардтѣ.

Какъ-бы въ вознагражденіе за всѣ эти утраты, весною 71-го года мнѣ довелось увидать снова Панина съ его молодой женой. Ихъ свадьба происходила въ Крыму и съ тѣхъ поръ они не переставали странствовать, почему-то избѣгая Петербурга.

И вотъ, я неожиданно разъ получаю записку отъ Панина, приглашавшаго у него отобѣдать на слѣдующій день. Онъ жилъ не въ отцовскомъ домѣ, а занималъ небольшую квартиру на Малой Морской. Обстановка была очень скромная для такого богатаго человѣка. Но самъ хозяинъ, казалось, такъ и окунулся въ блаженство. Не могло быть никакого сомнѣнія, что онъ совершенно счастливъ. Молодая графиня меня очаровала чуть не съ перваго взгляда. Простота, откровенность,—то общее ко всѣмъ обращенное благожелательство, какое служитъ едва ли не лучшимъ украшеніемъ вполнѣ счастливыхъ людей. Недалекое будущее не могло тогда и въ голову прійти, какъ не приходило въ голову спросить у себя, хороша-ли собой Надежда Сергѣевна Панина. У нея была особая внутренняя красота, которая вся

соткана изъ солнечнаго свѣта. Послѣ обѣда мы втроемъ отправились пѣшкомъ въ циркъ у Симеоновскаго моста и тамъ смѣялись, какъ дѣти, нелѣпому въ сущности представленію. Пѣшкомъ мы и вернулись—былъ дивный майскій вечеръ—отужинать вмѣстѣ. Всѣ подробности этой короткой встрѣчи—черезъ нѣсколько дней я уѣзжалъ заграницу—у меня запечатлѣлись въ памяти. Тогда я не предвидѣлъ, что это свиданіе предпослѣднее.

А между тѣмъ въ Парижѣ бѣсновалась Коммуна, отражаясь конечно и на нашемъ такъ называемомъ обществѣ. Было и у насъ немало людей, сочувствовавшихъ парижскимъ бунтарямъ, видѣвшихъ въ коммунѣ зарю новаго міра доступа къ власти всѣхъ и каждаго. Что легкость такого доступа идетъ въ разрѣзъ съ идеей общественнаго подбора—нашимъ умникамъ не приходило на мысль. Что господство массы и полное снятіе барьеровъ, стоящихъ на пути, для притока снизу — равносильно господству невѣжества, пониженію общаго уровня — объ этомъ не догадывался никто. У меня на счетъ парижскихъ событій шли горячіе споры съ однимъ изъ нашихъ младшихъ товарищей, Сергѣемъ Шевичемъ, съ которымъ я тогда очень подружился. Странный человѣкъ былъ Сергѣй Шевичъ: очень образованный и очень не глупый, съ выразительною некрасивостью на чертахъ, онъ въ глубинѣ души очень льнулъ къ великосвѣтскому обществу, думая его огорошить своимъ радикализмомъ.

Другими словами, этотъ радикализмъ былъ напускной, не будучи въ то же время ни плоскимъ, ни заурядным. У него имѣлись, думается мнѣ, чисто Лермонтовскія притязанія нравиться женщинамъ и чисто Лермонтовская злоба, что это плохо удавалось. Помню, какъ выходя съ нимъ вмѣстѣ на улицу, послѣ бала у Половцевыхъ, я услышалъ изъ его нѣсколько искривленныхъ устъ: «Au fond quelle bonne chose que le luxe»!

А меня поражало, что французовъ никакія революціи не могутъ научить такой простой вещи, какъ милосердію или, по крайней мѣрѣ, терпимости. Коммунары разстрѣливали заложниковъ, людей по большей части выдающихся, какъ ни въ чемъ не бывало, а маленькій старичекъ Тьеръ, это воплощеніе умной, но и очень мѣщанской буржуазіи, съ легкимъ сердцемъ казнилъ болѣе 30.000 всякихъ парижанъ, взятыхъ съ оружіемъ въ рукахъ. А у насъ еще недавно проливались крокодиловы слезы по поводу жертвъ полевой юстиціи!

Изъ заграничнаго путешествія вспомню то лишь, что въ Карлсбадѣ мы встрѣтились съ моимъ бывшимъ опекуномъ, поразившимъ меня своимъ скорбно-болѣзненнымъ видомъ. Его подкосила не только свадьба дочери, но и предстоявшая женитьба второго сына, Володи, съ изяществомъ котораго онъ связывалъ блестящія надежды. Его невѣстой была воспитанница королевы Виртембергской, Эмилія Ивановна, рожденіе

которой было окружено нѣкоторою таинственностью.

На этой свадьбѣ мнѣ пришлось быть шафером невѣсты.

Штутгартъ—прелестный городъ, несмотря на то, что онъ почему-то на полверсты отошелъ отъ береговъ своего Неккара. Зовется, правда, его главная улица Neckar-Strasse, но самой рѣки нѣтъ, какъ нѣтъ. Дворцовая площадь съ веселымъ садикомъ на серединѣ, съ длинной галлерей, называемой Königsbau, гдѣ всѣ лучшія лавки, съ стариннымъ дворцомъ прежнихъ герцоговъ, дожившимъ какъ разъ до того момента, когда старина переходитъ въ развалины, и съ новымъ дворцомъ теперешнихъ королей, похожимъ на загородный—все это очень мило, красиво и уютно. Все это глядитъ очень изящной королевской бонбоньеркой, которой одного не достаетъ—величія. Да не достаетъ его и самому Виртембергу, самой демократической странѣ въ Германіи. Съ площади огромная аллея изъ чинаръ, вся обстроенная виллами, ведетъ въ маленькій городокъ Kannstauf и даетъ штутгартцамъ загородную тѣнистую прогулку, до которой рукой подать. Они ею впрочемъ не злоупотребляютъ, толпы я тамъ не видалъ. Должно быть, они сами находятъ, что толпа—нѣчто слишкомъ вульгарное для такого принаряженнаго мѣста, вдоль котораго стоитъ цѣлый рядъ маленькихъ дворцовъ, смотрящихъ конфетками. Жить мнѣ пришлось совсѣмъ

рядомъ съ желѣзнодорожной станціей, и съ площадью, и съ аллеей — въ единственной хорошей гостинницѣ Штутгарта «Hotel Meinhardt», гдѣ кормили тогда отлично и очень дешево. Въ Штутгартѣ, впрочемъ, все рядомъ и все дешево.

Про свадьбу мнѣ расказывать нечего. Она происходила во дворцѣ и была достаточно нарядна. Мой бывшій опекунъ дѣлалъ усилія надъ собой, чтобы казаться довольнымъ и придавать всему этому отельно-придворному торжеству нѣчто величественное. Понравилась мнѣ очень пріемная мать невѣсты, Ольга Александровна Тамилова, состоявшая при королевѣ не то статсъ-дамой, не то лектрисой. Она была женщина безспорно очень умная и два года спустя получила въ Петербургѣ мѣсто начальницы Смольнаго. Случился у меня съ ней курьезный инцидентъ. На другой день послѣ свадьбы я отправился во дворецъ къ Ольгѣ Александровнѣ съ визитомъ. Меня приняли, но впустившій меня камеръ-лакей сказалъ при этомъ, что Ольга Александровна переодѣвается и проситъ немного подождать. Въ гостиной я засталъ сидѣвшую на креслѣ молодую дѣвушку, указавшую мнѣ на другое кресло противъ себя. Со свойственной мнѣ разсѣянностью, я не узналъ великой княжны Вѣры Константиновны, вообразивъ, что мнѣ приходится говорить съ какой-нибудь изъ фрейлинъ королевы. Между тѣмъ разговоръ занесъ меня почему-то въ Грецію, гдѣ тогда поднималась

ожесточенная оппозиція противъ молодого короля и его супруги.

— «Mais vous parlez de ma soeur», — остановила меня вдругъ великая княжна. Я не успѣлъ сконфузиться—въ эту самую минуту вошла Ольга Александровна.

Въ это же лѣто, пока семья пила воды и принимала грязевыя ванны въ Франценсбадѣ, насъ вдругъ поразила печальная вѣсть. Екатерина Васильевна Потапова, это яркое воплощеніе обаятельной доброты и душевнаго мира, неожиданно скончалась отъ холеры. Съ ея именемъ было связано не для насъ однихъ, а для всѣхъ знавшихъ ее, столько теплыхъ воспоминаній, она такъ щедро сыпала вокругъ себя любовь къ ближнимъ, что ее, конечно, провожали широкія сожалѣнія. Слезы, пролитыя надъ ея гробомъ, были не условными слезами. Для меня она навсегда осталась идеаломъ женской чистоты и живымъ доказательствомъ, какъ плодотворна можетъ быть женская дѣятельность.

На возвратномъ пути изъ Швейцаріи, куда мы поѣхали лишній разъ убѣдиться, что хорошихъ воспоминаній воскрешать не слѣдуетъ, и гдѣ нѣкогда веселый «Beau Rivage» мы застали совершенно пустымъ, мы отправились черезъ Констанцкое озеро въ Мюнхенъ. Знаменитой картинной галлереи мнѣ посмотрѣть не удалось: какъ разъ въ тотъ день туда не пускали. Зато полюбовался я домашнимъ счастіемъ молодыхъ Кос-

сиковскихъ—въ Штутгартѣ они меня пригласили къ себѣ,—пріютившихся въ квартирѣ, очень хорошо обставленной и не особенно уютной. Коссиковскій былъ въ Мюнхенѣ вторымъ секретаремъ и, судя по его отзывамъ о тамошнемъ обществѣ, не особенно Мюнхеномъ восторгался. Меня привела въ нѣкоторое недоумѣніе знаменитая «Лудвигсштрасе», плодъ античныхъ фантазій короля Людвига I. Всѣ дома глядѣли греческими храмами. Меня увѣряли, что у домовъ этихъ одни фасады, и за ними никто не живетъ. Можно этому было повѣрить, такъ какъ по тротуару не видно было ни души.

Мы поѣхали дочой черезъ Вѣну. Была уже довольно глубокая осень, но Вѣна смотрѣла весело, какъ всегда. Въ цѣлой Европѣ я не видывалъ еще такого пестраго города и такихъ пестрыхъ женщинъ на тротуарахъ. Но яркость цвѣтовъ имъ не мѣшаетъ одѣваться хорошо. Въ большинствѣ онѣ сложены прекрасно, и у всѣхъ лица самыя привѣтливыя. Не встрѣтилъ я ни одного нищаго. Правда, я не заглядывалъ въ рабочіе кварталы. Вѣна много лучше не только казеннаго Берлина, но и довольно вульгарнаго въ своей красотѣ Парижа. Оригиналенъ въ ней рѣзкій контрастъ между чистенькими, узкими улицами центра (гдѣ необыкновенно быстро и ловко ѣздятъ красивыя извощичьи кареты, никого не задѣвая) и широкими массивными кварталами, замѣнившими собою прежнія крѣпостныя стѣны,

такъ называемыя «Glassis». Тутъ и архитектура совсѣмъ особенная—смѣсь классической, итальянской и ренессанса. Дома всѣ огромны. Это словно старинная драгоцѣнность въ новенькой оправѣ.

Въ Петербургѣ мы переѣхали въ другую квартиру, покинувъ ту, которую почти двадцать лѣтъ занимали на Царицыномъ Лугу, и которая видала столько товарищескихъ пирушекъ и столько разнообразныхъ проявленій вздорной молодости. Мы заняли странныя помѣщенія въ домѣ Безобразова на Фонтанкѣ, кажется въ самомъ высокомъ домѣ въ Петербургѣ. Огромная зала, двѣ почти стольже огромныхъ гостиныхъ, столовая въ помпейскомъ стилѣ и крайне ограниченное число внутреннихъ комнатъ. Все это было разукрашено домовладѣльцемъ Безобразовымъ домашними средствами и довольно аляповато, но въ общемъ глядѣло внушительно. Что дѣлать — надо было принимать.

XV.

Пріемы у насъ.—Новыя знакомства.—Графиня С. Л. Толстая и ея мужъ, графъ Алексѣй Константиновичъ.—Вечера у нихъ.—Софья Петровна Бахметева: ея замужество съ моимъ двоюроднымъ братомъ М. А. Хитрово.—Встрѣча съ Тургеневымъ и Маркевичемъ.—Баронъ Ф. К. Мейендорфъ.—Домъ графини С. В. Рибопьеръ и домъ Нарышкиныхъ.—II Отдѣленіе при князѣ С. Н. Урусовѣ.—Ф. А. Брунъ замѣняетъ Д. М. Сольскаго.—Комиссія о реформѣ лѣстницы наказаній и тюремная комиссія графа Соллогуба.—Засѣданіе у графа.—Наиболѣе выдающіеся члены комиссіи: Э. В. Фришъ, А. А. Сабуровъ, В. Н. Юферовъ и Н. К. Шмидтъ.—Секретарь В. И. Аристовъ.—Пріѣздъ Панина весной.—Извѣстіе о его кончинѣ.

У насъ съ осени 1871 года начались постоянные пріемы, болѣе широкихъ размѣровъ, чѣмъ до тѣхъ поръ. Лично я на нихъ скорѣе присутствовалъ, чѣмъ принималъ въ нихъ участіе. Хотя я уже лѣтъ 6 ѣздилъ въ такъ называемый свѣтъ, что-то мнѣ все мѣшало отряхнуть съ себя оледенявшую меня застѣнчивость. Меня все больше тянуло въ кругъ товарищей, хотя и порѣдѣвшій, но все еще довольно часто собиравшійся у меня въ моемъ маленькомъ кабинетѣ, въ сторонѣ отъ пріемовъ у матери. Она, правда, давно старалась пріучить этихъ товарищей, зазывая ихъ къ себѣ, но они все продолжали чувствовать себя болѣе привольно среди своихъ, на моей половинѣ. Помню иные изъ нашихъ вечеровъ, не совсѣмъ

похожіе на обычные пріемы у другихъ. Такъ, устроился у насъ благотворительный спектакль, въ которомъ вмѣстѣ съ любителями участвовала М. Г. Савина, бывшая тогда въ полномъ расцвѣтѣ молодости и успѣха. Она въ этотъ вечеръ выказала необыкновенную предупредительность и ни въ комъ не могла оставить сомнѣнія въ очаровательной мягкости своей натуры. Помню и другой благотворительный вечеръ, предназначенный для бѣдныхъ студентовъ, за которыхъ очень распинался тогда Сергѣй Шевичъ. Была тутъ музыка, и даже не плохая, была и поэзія, довольно-таки второго разбора. Миша Веневитиновъ, не дописавшій еще свою драму «О декабристахъ», взялся, между прочимъ, прочесть изъ нея монологъ Рылѣева. Разумѣется, одни эти имена заранѣе всѣхъ заинтересовали. И вотъ, Миша Веневитиновъ выходитъ передъ публикой, кашляетъ, какъ оно и слѣдуетъ, и громко раздается первый стихъ монолога.

Зачѣмъ, глупцы, смѣетесь надо мной?

Общій смѣхъ былъ отвѣтомъ на это любезное начало. Молодой поэтъ сконфузился не мало и дружныхъ рукоплесканій не вызвалъ. Замѣчательно, кстати, что на такіе благотворительные вечера съѣзжались охотно, и многія дамы уступали для нихъ свои гостиныя, нисколько не подозрѣвая, какова настоящая цѣль этихъ сборовъ. У многихъ изъ устроителей разыгрывалось при этомъ особаго рода тщеславіе. Помню, какъ года два спустя, все

общественное собраніе. 1908 г.

тотъ-же Шевичъ просилъ меня уговорить артистовъ, съ которыми я былъ близокъ—Давыдова, Рубинштейна и Ауэра, принять участіе въ концертѣ, устроенномъ въ залѣ пѣвческой капеллы. По-истинѣ замѣчательно, что пѣвческая капелла не встрѣтила тому никакихъ затрудненій, а названные артисты самымъ любезнымъ образомъ согласились. Концертъ, разумѣется, вышелъ очень удаченъ. Вотъ, какъ люди, не имѣвшіе особаго основанія сочувствовать революціонному движенію, близоруко ему помогали, даже при содѣйствіи правительства. Правда, тигренокъ тогда казался еще не страшнымъ, и тѣ самые, на которыхъ онъ исподтишка точилъ зубы и когти, съ какой-то благосклонной ироніей щеголяли своимъ потворствомъ. Система глаженія революціи по головкѣ принесла свои плоды очень скоро и приноситъ ихъ, кажется, до сихъ поръ.

Болѣе, чѣмъ пріемы у насъ, меня интересовали новыя знакомства, на которыя наталкивала меня жизнь. Разъ у Гагариныхъ—это было, если не ошибаюсь, въ 1770 году—меня представили графинѣ Софіи Андреевнѣ Толстой, женѣ поэта. Графиня была живымъ доказательствомъ, что обаяніе не нуждается въ красотѣ. Черты лица ея привлекательными не были, но умные глаза и умный тоже золотой голосъ придавали малѣйшему ея слову что-то особенно завлекательное. Мой разговоръ съ графиней продолжался такъ долго, что сидѣвшая въ другомъ углу гостиной молодежь

принялась меня потомъ усиленно дразнить за наклонность прицѣпляться къ старшему поколѣнію, а между тѣмъ, этотъ самый разговоръ начался для меня довольно постыднымъ образомъ: я почему-то воображалъ, что знаменитый Козьма Прутковъ—ничто иное, какъ псевдонимъ графа Алексѣя Константиновича. Графиня, разумѣется, не преминула меня надлежащимъ образомъ наказать за мое невѣжество и тутъ же пригласила бывать у нея. Съ графомъ Алексѣемъ Константиновичемъ я познакомился не сразу, и не сразу тоже завоевалъ себѣ благосклонность графини. Она, видимо, меня ощупывала сперва, окачивая даже иногда холодной водой. Совсѣмъ не такимъ былъ графъ. У него природный юморъ такъ притаился за добродушной благосклонностью, что сразу даже не былъ замѣтенъ. Это было самое полное сочетаніе тонкаго ума и сердечной доброты, какое я когда-либо встрѣчалъ. На его понедѣльникахъ никогда не бывало людно, но всегда было пріятно и весело. Непринужденное остроуміе и удивительное умѣніе сближать людей, самыхъ разнообразныхъ, отличали графа. Мнѣ кажется, за его маленькими ужинами встрѣчались по пріятельски—Тургеневъ и Маркевичъ. По крайней мѣрѣ обоихъ я тамъ встрѣчалъ, и, замѣчательно, ни отъ одного изъ этихъ далеко не добрыхъ людей я ни разу не услыхалъ тамъ рѣзкаго сужденія о комъ-либо.

У Тургенева, впрочемъ, были всѣ внѣшніе атрибуты доброты—мягкая рѣчь, склонность къ

уменьшительнымъ выраженіямъ, усвоенная разъ навсегда ласковость пріема. И создалась легенда о его необычайномъ мягкосердіи. Надо было появиться его письмамъ—плохую услугу оказалъ ему его другъ М. М. Стасюлевичъ, издавъ ихъ послѣ смерти великаго писателя,—чтобы двоедушіе этого, съ виду открыто привѣтливаго человѣка обнаружилось передъ глазами всѣхъ. Но объ этомъ послѣ. Мнѣ пришлось ближе познакомиться съ Иваномъ Сергѣевичемъ нѣсколько лѣтъ спустя и лично убѣдиться, до какой степени могли казаться интимными его отношенія къ человѣку, котораго онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ бранилъ самымъ не двусмысленнымъ образомъ. Этотъ человѣкъ былъ нѣкто Б. А. Чивилевъ, 2 года заграницею состоявшій моимъ секретаремъ.

Изъ литературныхъ извѣстностей бывали у Толстого еще Гончаровъ и Жемчужниковъ. Но встрѣчалъ я ихъ лишь мелькомъ у графа Алексѣя Константиновича. Болѣе обычнымъ посѣтителемъ его вечеровъ былъ одинъ изъ остроумнѣйшихъ людей, мною когда-либо встрѣченныхъ, баронъ Ф. К. Мейендорфъ, прежде,—нашъ посланникъ при папскомъ дворѣ, теперь зарывавшій свои выдающіяся способности въ Веймарѣ. Ему, вѣроятно, князь Горчаковъ ставилъ въ вину личное столкновеніе съ его святѣйшествомъ Піемъ IX. До сихъ поръ я не могу понять, какъ безусловно вѣжливый и деликатный баронъ могъ увлечься до рѣзкаго

отвѣта престарѣлому Папѣ. Достоинство Россіи онъ защищалъ несомнѣнно, но столь же несомнѣнно совершилъ крупную безтактность. Не стоило доводить до полнаго дипломатическаго разрыва съ Римскимъ престоломъ, когда для всѣхъ было ясно, что помимо соглашенія съ Папой воздѣйствовать на католическое духовенство невозможно. Всякій представитель Россіи въ Римѣ долженъ знать, что для нихъ неожиданностей при личныхъ объясненіяхъ съ Папой быть не можетъ, такія объясненія подготовляются заранѣе во всѣхъ подробностяхъ какъ «menu» параднаго обѣда.

Но едва ли не самой интересной особой въ домѣ графа Алексѣя Константиновича была племянница его жены, Софья Петровна Бахметева. Что-то загадочное, что-то невысказанное читалось охотно, но никогда не дочитывалось въ ея умныхъ чертахъ. Она не раскрывалась вполнѣ никогда, какъ не дѣлаетъ этого цвѣтокъ лотоса при солнечномъ свѣтѣ. Впрочемъ, сфинксъ сидитъ въ любой женщинѣ, пока она не замужемъ. Софья Петровна вскорѣ вышла за моего троюроднаго брата, Михаила Александровича Хитрово и съ нимъ уѣхала въ Константинополь. Передъ самою войной она вернулась оттуда и поселилась вмѣстѣ съ тетушкой почти рядомъ съ нами.

Часто тоже въ зиму 1870—71 года бывалъ въ домѣ графини С. В. Рибоньеръ, только что передъ тѣмъ овдовѣвшей. Домъ этотъ, выстроенный тоже недавно, находился на самомъ краю

города, въ Измайловскомъ полку. Онъ былъ также своеобразенъ, какъ его милая хозяйка. На всемъ его убранствѣ лежалъ отпечатокъ незауряднаго вкуса. Рибопьеры только что получили огромное Потемкинское наслѣдство, что вполнѣ давало возможность блеснуть самой широкой роскошью. Но роскоши, какъ чего-то совсѣмъ ненужнаго и даже неизящнаго, не чувствовалось вовсе. Впрочемъ, и наружный видъ дома, и внутренняя его обстановка—совершенно забывались ради его обитательницъ. Графиня Софья Васильевна все еще носила слѣды своей прославленной красоты: —вся эта вѣтвь Трубецкихъ была замѣчательно красива. Что-то несомнѣнно-художественное было и въ внѣшнемъ обликѣ графини, и въ ея разговорѣ. Этотъ разговоръ поражалъ своимъ откровеннымъ безстрашіемъ, въ которомъ ничего условнаго никогда не чувствовалось. Обычай вращаться только среди верховъ человѣчества, и верховъ не общества только, но, главнымъ образомъ, искусства и ума,—придавалъ графинѣ ту свободу обращенія, которая не нуждается ни въ малѣйшемъ притворствѣ. Познакомился я съ графиней, кажется, черезъ Веневитиновыхъ, гдѣ она иногда бывала съ старшей своей дочерью, впослѣдствіи баронессой Будбергъ. Съ Рибопьерами были тѣсно связаны два другихъ семейства—племянники покойнаго графа, дѣти его сестры Голенищевы-Кутузовы и Нарышкины, жившіе тогда у Пѣшеходнаго моста на Мойкѣ, въ бывшемъ домѣ Бу-

турлина. Семья Нарышкиныхъ, довольно многочисленная,—ихъ было четверо сестеръ и два брата—только что передъ тѣмъ совсѣмъ осиротѣла: ихъ отца давно не было въ живыхъ, а мать, рожденная Бартенева, годъ передъ тѣмъ скончалась. Покойная Марія Арсеньевна меня не жаловала. Но замужество моего пріятеля Оттона Медема на старшей ея дочери, Александрѣ Дмитріевнѣ, насъ сблизило. Единственная пока замужняя сестра—естественнымъ образомъ стала хозяйкой осиротѣвшаго дома, что и сдѣлало его вскорѣ однимъ изъ любимыхъ центровъ тогдашней молодежи. Отсутствіе всякой офиціальности, всякаго этикета, привлекало и здѣсь, какъ у Рибопьеровъ. Благодаря молодости хозяйки и ея умной добротѣ, непринужденность носила характеръ еще болѣе гостепріимный, чѣмъ у графини Софьи Васильевны. Молодыя дѣвушки, пріятельницы Нарышкиныхъ, съѣзжались сюда безъ своихъ матерей. Всеобщая благовоспитанность обходилась здѣсь безъ всякаго надзора. Это такъ удивило молодого дипломата, французика графа Вердоннэ, что разъ, выходя со мною отъ Нарышкиныхъ, онъ мнѣ сказалъ.—«А знаете, что у насъ въ Парижѣ не допустили бы такихъ пріемовъ, у насъ молодая дѣвушка не можетъ, не рискуя быть скомпрометированной, выѣзжать даже со своимъ отцомъ, а не то, чтобы совсѣмъ одной». Я почти разсмѣялся: такія соображенія не приходили намъ даже въ голову. Служебныя обязанности занимали меня

по-прежнему не много. Да онѣ и становились все менѣе привлекательными. Замѣна графа Панина княземъ С. Н. Урусовымъ, совершившаяся, кажется, въ 68 году, принесла второму отдѣленію мало пользы. Китайскіе пріемы въ немъ окончательно установились, и его либеральный мандаринатъ совершенно засохъ въ своемъ чиновничьемъ священнодѣйствіи. Не отличаясь особеннымъ рвеніемъ къ этой формѣ набожности, я впалъ естественнымъ образомъ въ немилость. Вскорѣ послѣ графа Панина оставилъ насъ и Д. М. Сольскій, назначенный Государственнымъ Секретаремъ. Замѣнилъ его Ф. А. Брунъ. И этотъ финляндскій дворянинъ, человѣкъ достойный во всѣхъ отношеніяхъ, вполнѣ мирился съ превращеніемъ нашего вѣдомства въ спящее болото, гдѣ кодификація должна была составлять наше единственное занятіе. Меня эта автоматическая работа, благодаря мелкому шрифту цитатъ, подготовила къ потерѣ зрѣнія, а кое-кого изъ прочихъ, пожалуй, къ умственной слѣпотѣ. Не помню, чтобы хотя одинъ серьезный вопросъ поднялся въ нашемъ захолустьѣ. Маленькій парламентъ, собиравшійся у насъ по понедѣльникамъ, за отсутствіемъ Сольскаго и Перетца тоже былъ отмѣненъ. Какъ образчики нашего высокаго умственнаго уровня, приведу два слѣдующихъ перла. Какъ редактору допотопнаго 14-го тома, гдѣ въ качествѣ юмористическаго чтенія до сихъ поръ здравствуетъ уставъ о пресѣченіи и предупрежденіи пре-

ступленій, мнѣ пришлось докладывать важное дѣло о неправильной выдачѣ 3-хъ рублей казачкѣ за поимку бѣглаго. По закону эти «три рубля» полагаются казаку. По здравой логикѣ, ихъ тѣмъ болѣе заслуживаетъ казачка, какъ существо болѣе слабое. Но контролеръ Донской области разсудилъ иначе: и, восходя до Петербурга, вопросъ разросся въ изрядный фоліантъ. Разумѣется, два вѣдомства—финансовое и контрольное—сочли долгомъ заступиться за своихъ подчиненныхъ, и второму отдѣленію приходилось рѣшить споръ въ порядкѣ интерпретаціи. Очень жаль, что мнѣ не пришло тогда на умъ разрѣшить дѣло попросту уплатою спорныхъ трехъ рублей. Помню только, что относились къ вопросу вполнѣ серьезно, требуя доказательствъ, что казачка заслуживаетъ по меньшей мѣрѣ такой-же награды, какъ представитель сильнаго пола, и отъ меня, конечно, требовали такой серьезности.

Другой случай былъ еще лучше. Въ продолженіе не помню уже какого года мною оставлена была нетронутой какая-то статья Устава о паспортахъ, въ которой упоминалось о полуостровѣ Камчаткѣ. Существованіе такого полуострова мнѣ показалось несомнѣннымъ и съ спокойною совѣстью я внесъ проектъ продолженія въ Синедріонъ, гдѣ предсѣдательствовалъ самый окостенѣлый изъ мандариновъ, Ф. М. Маркусъ.

— «Какъ!»—воскликнулъ Федоръ Михайловичъ, прочитавъ статью,—и въ его дрожащемъ голосѣ

слышалось негодованіе,—«какъ могли вы оставить безъ измѣненія? Никакой Камчатки нѣтъ, есть только Приморская Область»!

Были у насъ, впрочемъ, и дѣла поживѣе. Только они кончались обыкновенно ничѣмъ. Въ 1872 году меня назначили членомъ двухъ комиссій: одна о пересмотрѣ лѣстницы наказаній, подъ предсѣдательствомъ Э. В. Фриша, другая—комиссія тюремная, возникшая вслѣдствіе записки объ ужасномъ состояніи мѣстъ заключенія, представленной Государю графомъ В. А. Соллогубомъ. Въ обѣихъ комиссіяхъ важную роль игралъ А. А. Сабуровъ, годъ назадъ сдѣлавшійся зятемъ графа. Онъ женился на его старшей дочери, Елизаветѣ Владиміровнѣ. Съ очень небольшими средствами Елизавета Владиміровна своему маленькому «home» на Милліоной съумѣла придать необыкновенно уютный, гостепріимный видъ. Ея маленькая гостиная была устроена съ большимъ умѣніемъ. Мебель такъ разставили, что она располагала къ бесѣдѣ,—а это много значитъ. И умѣло тоже разбросаны были по комнатѣ красивыя вещицы изъ фарфора и бронзы. Тѣмъ и другимъ, да и гостями, у нея бывавшими, госпожа Сабурова потчивала всѣхъ, за одно съ чаемъ, чрезвычайно мило. Чай сервировали аппетитно, а гости всегда бывали первый сортъ. Встрѣчалъ я тамъ часто, между прочимъ, генерала Вердера, нѣмецкаго военнаго повѣреннаго, и лифляндскаго предводителя фонъ-Бока, игравшаго тогда въ Пе-

тербургѣ роль дипломатическаго представителя Остзейскаго края. Вердеръ глядѣлъ тонко и остро, какъ лезвіе шпаги, а Бокъ—сутуловато и очень некрасиво, но и чрезвычайно умно.

Фришовская комиссія должна была служить переднею для новаго уложенія, а Соллогубовская—для переустройства тюремъ. Но уложеніе уже введено въ дѣйствіе, хотя этого дѣтища Таганцова лучше было-бы, пожалуй, и не вводить—а лѣстница наказаній осталась все та же. Соллогубовская комиссія была предверіемъ переустройства тюремъ, а въ тюрьмахъ до сихъ поръ существуетъ контрастъ между конфетками для показыванія иностранцамъ и помойными ямами, гдѣ нѣтъ ни работъ, ни надзора, ни чистаго воздуха.

Трое лицъ—Фришъ, Сабуровъ и А. В. Бѣлостоцкій—принимали участіе, и притомъ очень видное, въ обѣихъ комиссіяхъ; это и придавало имъ нѣкоторое единство. Бѣлостоцкій былъ очень милый, хотя и не особенно умный человѣкъ, нравственно-чистоплотный въ высшей степени. Въ соллогубовской комиссіи я съ нимъ очень подружился. Изъ прочихъ ея членовъ припомню еще В. Н. Юферова, вице-директора департамента полиціи, воплотившаго въ себѣ полицейскую строгость въ совершенствѣ, хотя онъ умѣлъ быть и весело добродушнымъ и, пожалуй, даже либеральнымъ. Либеральная полиція, какъ извѣстно,—чисто россійское изобрѣтеніе. Полнымъ контрастомъ Юферову служили двое представителей министерства

финансовъ, баронъ Штемпель, престарѣлый и тучный балтіецъ, никогда ничего не говорившій, и нѣкто Пальминъ, олицетвореніе невинной скромности. Но всѣхъ лучше и всѣхъ говорливѣе былъ Н. К. Шмидтъ, извлеченный изъ тюремныхъ узъ графомъ П. А. Шуваловымъ, тогдашнимъ шефомъ жандармовъ, и возведенный имъ въ санъ начальника его канцеляріи. Этотъ представитель всемогущаго вѣдомства былъ хохотунъ большой руки и охотникъ разсказывать анекдоты. Нельзя было его не полюбить—такимъ онъ глядѣлъ ручнымъ острякомъ. Впослѣдствіи онъ сталъ ярославскимъ губернаторомъ и окончилъ жизнь въ Сенатѣ,—впрочемъ, кажется, въ межевомъ департаментѣ. А прежде онъ былъ земскимъ дѣятелемъ и даже предсѣдателемъ управы изъ не особенно благонадежныхъ. Давно извѣстно, что tempora mutantur—за это онъ и пострадалъ, но печать страданія на его чело не легла.

Разумѣется, однако, самымъ интереснымъ и оригинальнымъ лицомъ въ комиссіи былъ ея предсѣдатель. Видѣть нѣсколько черезчуръ безшабашнаго литератора при оффиціальномъ дѣлѣ было уже само по себѣ зрѣлище незаурядное. Записка графа, только что передъ тѣмъ возвратившагося изъ командировки въ Сибирь, была составлена очень тепло; и Государь, прочитавъ ее, далъ Соллогубу самыя широкія полномочія. Можно было поручиться, что комиссія выйдетъ интересною. Графъ занималъ тогда квартиру на Мойкѣ,

у Краснаго моста. Принимая насъ въ первый разъ у себя, онъ тщательно пріодѣлся и причесался; но торжественности онъ не выносилъ и съ перваго же дня опереточный элементъ забрался въ комиссію. Были провозглашены на подобіе 10-ти заповѣдей основныя положенія будущей реформы и на другой день развѣшаны по стѣнамъ. Комическій, кафешантанный характеръ придавалъ комиссіи ея секретарь, нѣкто В. И. Аристовъ, состоявшій въ то же время старшиною художественнаго клуба. Какъ изъ этой помойной ямы его вытащилъ графъ, мнѣ не извѣстно. Всей своею нѣсколько сомнительной душой Аристовъ былъ преданъ графу, хотя и былъ, вѣроятно, готовъ ежеминутно совершить какую-нибудь мерзость. Смѣшно было видѣть, какъ скорбѣлъ отъ него вполнѣ корректный зять Соллогуба. Графъ очень скоро поддался развращающему вліянію Аристова: на пятомъ или на шестомъ засѣданіи онъ принялъ насъ уже въ халатѣ. Но въ одномъ надо ему воздать справедливость: онъ умѣлъ всѣхъ воодушевить, всѣхъ заставить работать. Онъ любилъ приговаривать — «Мы въ Россіи слишкомъ всѣ привыкли получать много, ничего не дѣлая—пора много сдѣлать, ничего за то не получая».

Въ эту самую весну мнѣ пришлось въ послѣдній разъ повидаться съ Панинымъ. Онъ пріѣхалъ въ Петербургъ на нѣсколько дней и разъ вечеромъ завернулъ ко мнѣ. Перемѣна въ немъ была изумительная. За короткій годъ будто цѣ-

лое десятилѣтіе надъ нимъ пронеслось, такъ осунулось и пожелтѣло его лицо, такъ уныло звучалъ его голосъ. И унылыми были его рѣчи. Онъ предвидѣлъ нешуточныя бѣдствія, нависшія надъ Россіей и, точно завѣщаніе, повторялъ Комаровскому и мнѣ:—«Учите народъ!.. Не забывайте народа»!..

Кажется, я у него спросилъ, не собирается ли онъ въ земство; и, кажется тоже, онъ только безнадежно махнулъ рукой. Про жену ни слова. Что-то надъ нимъ самимъ нависло—оттого то онъ и смотрѣлъ на будущее такъ мрачно,—но что именно онъ чувствовалъ тогда, онъ намъ не раскрывалъ.

Изъ Петербурга Панинъ уѣхалъ въ Московскую вотчину Марфино. И едва прошло два мѣсяца, письмо Комаровскаго меня извѣстило, что онъ скончался. Перестало биться это благородное сердце, такъ много таившее въ себѣ невысказаннаго.

Была ли при немъ жена въ минуту смерти, не знаю. Но слѣдующей зимой я разъ получилъ отъ графини Надежды Сергѣевны записку, приглашавшую къ ней зайти. Нашелъ я графиню въ ея траурномъ платьѣ, такою же прелестною, какъ въ первый разъ. Она имѣла для меня порученіе отъ мужа, порученіе, свидѣтельствовавшее о необыкновенной деликатности покойнаго. Онъ возвращалъ мнѣ запечатанными всѣ мои письма къ нему, прилагая къ нимъ свою фотографію, ко-

торой у меня до тѣхъ поръ не было. Мы оба—и графиня и я—были на волосокъ отъ того, чтобы расплакаться. Больше я ее никогда не видалъ. Разъ только мнѣ сказали, что она вернулась изъ-за границы и живетъ въ Гатчинѣ. Я къ ней отправился. Большая дача среди парка, окруженная со всѣхъ сторонъ галлереей и запертая наглухо—вотъ что я увидѣлъ. Дача напоминала собою хлыстовскую молельну. Съ обѣихъ сторонъ сидѣли какія-то двѣ женщины, кажется, англичанки, объявившія мнѣ, что графиня никого не велѣла принимать. Съ тѣхъ поръ нѣмая загадка окутала ея жизнь.

XVI.

Тюремная комиссія въ Москвѣ.—Князь А. А. Ливенъ.—Осмотръ тюремъ въ Московскомъ судебномъ округѣ.—С. М. Мартыновъ.—Выѣздъ въ Рязань и въ Тверь.—Моя поѣздка по Тверской губерніи.—Возвращеніе въ Петербургъ и сильный припадокъ лихорадки—первый предвѣстникъ моей болѣзни.—Зима 1872—73 года.—Закрытіе комиссіи.—Домъ княгини В. С. Ливенъ.—П. А. Валуевъ.—Кончина А. В. Веневитинова.—Веневитинскій домъ послѣ его смерти.—Послѣдніе дни «компаніи».—Пріемы у Коссиковскихъ.

ВЪ августѣ пришло ко мнѣ приглашеніе немедленно пріѣхать въ Москву, куда перебралась и вся тюремная комиссія. Странствующія коллегіи встрѣчаются рѣдко, и надо отдать графу Соллогубу справедливость—онъ по-прежнему придавалъ своей комиссіи живой незаурядный характеръ. Засталъ я тамъ Фриша, наѣзжавшаго изъ Петербурга, князя Крапоткина, Бринкмана, Пальмина, барона Штемпеля, Бѣлостоцкаго и Шмидта, тоже новавшаго постоянно между обѣими столицами. Осеннюю свою резиденцію Соллогубъ, кажется, завелъ въ Леонтьевскомъ переулкѣ, гдѣ среди невѣроятной массы бумагъ, записокъ и всякаго хлама, поминутно появлялись то должностныя лица, то дамы, то разные техники, то попросту молодые люди, ничѣмъ не занятые. В. И. Аристовъ перенесъ сюда и свою безалаберную веселость, свой монокль и кафе-шантан-

танный свой запахъ. Одинъ за другимъ пріѣзжали изъ разныхъ губерній мѣстные инженеры и архитекторы, главная задача которыхъ, кажется, въ томъ, чтобы обворовывать казну. Были они, впрочемъ, люди съ виду очень милые. Рѣшили объѣхать коллегіально всѣ губернскіе города Московскаго учебнаго округа, а внутри каждой губерніи продолженіе объѣзда поручить уже отдѣльнымъ членамъ. Работа кипѣла совсѣмъ не по обычному: письма отправлялись во всѣ 4 стороны свѣта, телеграммы приходили то и дѣло. И не однѣ телеграммы, а и живые люди появлялись, взбудораженные отъ обычной спячки. Днемъ засѣданія въ пыльной залѣ, оживленныя, часто прерываемыя то смѣшливыми разсказами, то неожиданнымъ появленіемъ какого-нибудь посторонняго лица; вечеромъ всѣ отправлялись въ какой-нибудь театръ. Въ той же гостинницѣ, какъ и я, въ «Дрезденѣ», остановился Бѣлостоцкій, съ которымъ я тутъ и подружился. Онъ повѣрялъ мнѣ недоумѣнія своей чистой брезгливой души, вызванныя нѣкоторыми изъ людей, съ которыми приходилось встрѣчаться.

Заходили, впрочемъ, въ комиссію и лица вполнѣ серьезныя. Такъ, разъ мнѣ пришлось встрѣтиться съ будущимъ министромъ юстиціи Манасеинымъ, тогдашнимъ прокуроромъ Московской судебной палаты. Произвелъ онъ на меня самое неблагопріятное впечатлѣніе нахальнымъ канцелярскимъ либерализмомъ. Другой разъ встрѣ-

тился у Соллогуба съ Московскимъ губернаторомъ, княземъ А. А. Ливеномъ, однимъ изъ самыхъ милыхъ людей, когда-либо мною виданныхъ. Ливенъ былъ ростомъ очень высокъ и во всѣхъ отношеніяхъ крупный человѣкъ—и чертами лица, и размѣрами черепа, и богатствомъ мысли подъ этимъ черепомъ. Никогда не было, я думаю, въ Россіи губернатора, столь далекаго отъ бюрократизма: широкая, открытая любезность, полное равнодушіе къ формѣ и отсутствіе всякой заурядности въ способѣ мыслить и выражаться. Многіе, какъ я потомъ узналъ, отзывались о немъ неблагопріятно, припоминая какія-то прошлыя юношескія погрѣшности. Иными словами, у Ливена было много враговъ, едва-ли только главнымъ источникомъ этой вражды не была зависть къ его крупному таланту. Очень жаль, что этому выдающемуся, государственному человѣку не дано было доиграть своей роли до конца, во всякомъ случаѣ онъ былъ бы теперь однимъ изъ украшеній Государственнаго Совѣта. Въ числѣ людей, которыхъ я всего чаще встрѣчалъ среди этого Московскаго тюремнаго карнавала, былъ Соломонъ Мартыновъ, съ которымъ я познакомился нѣсколькими годами раньше, не переступая, однако, съ нимъ, черезъ порогъ простого знакомства. Въ Москвѣ мы не то что сблизились, а перешли почти на товарищескую ногу. Мартыновъ былъ очень умный и еще болѣе образованный человѣкъ, умѣвшій смѣшивать тѣ два ремесла, про которыя Грибоѣдовъ говоритъ,

что ихъ смѣшивать не надо. У него балагуръ и серьезный человѣкъ существовали бокъ-о-бокъ, другъ другу не мѣшая. Одно не давало мнѣ подружиться съ Мартыновымъ по настоящему—внутренняя холодность души, просвѣчивавшая черезъ его зоркій умъ. Мартыновъ выдавалъ себя за убѣжденнаго матеріалиста, хотя едва-ли искренно: искреннихъ матеріалистовъ вообще на свѣтѣ немного. Циникомъ онъ казался большимъ, но былъ, вѣроятно, такимъ лишь для виду. Въ свой внутренній интимный міръ онъ, впрочемъ, очень не многихъ впускалъ. Позже, когда я его ближе узналъ, еще одна черта въ немъ не совсѣмъ пріятно поражала. Онъ былъ очень неразборчивъ на пріятелей, и можно было у него встрѣтить людей довольно сомнительныхъ.

Седьмого сентября мы цѣлой комиссіей отправились въ Рязань. Этимъ городомъ долженъ былъ начаться объѣздъ. Все тамъ было заурядно: и самый городъ; и его тюремныя учрежденія, и губернаторъ Болдыревъ, впослѣдствіи попавшій подъ судъ. Принялъ онъ насъ очень любезно. Но одно вышло для меня ужъ совсѣмъ не заурядно. Какъ помню, 8-го числа чудная была погода, но дулъ истинно-сумасшедшій вѣтеръ,—я взобрался на церковную колокольню, чтобъ полюбоваться оттуда на широкую картину пріокскихъ луговъ. Видъ былъ, дѣйствительно, чудесенъ; но продуло меня такъ основательно, что оттуда я вернулся съ ощущеніемъ озноба, не покидавшаго меня болѣе двухъ

мѣсяцевъ. Это и было, вѣроятно, исходною точкою моей болѣзни, возникшей отъ простуды спинного мозга.

Изъ Рязани комиссія вернулась сперва въ свой центральный лагерь, Москву, оставивъ въ Рязани одного изъ своихъ членовъ, добрѣйшаго князя Крапоткина, которому порученъ былъ объѣздъ губерніи. Недѣлю спустя мы отправились въ Тверь, гдѣ совершеніе объѣзда было поручено мнѣ. Очень богатый, но и очень скупой губернаторъ, А. Н. Сомовъ, намъ задалъ, тѣмъ не менѣе, нѣчто въ родѣ Валтасарова пира. Убѣдившись воочію, что подслѣдственные арестанты иной разъ продерживаются въ тюрьмахъ болѣе года, Соллогубъ меня благословилъ на полуоффиціальную экскурсію. Погода была рѣдкая для конца сентября, и я пустился въ путь, недоумѣвая, какъ это не додумались замѣнить при слѣдствіяхъ письменную корресподенцію телеграфной. Случалось, напримѣръ, что какой-нибудь преступникъ изъ пограничнаго уѣзда Тверской губерніи перебѣжитъ въ Московскую—и, вмѣсто простой телеграммы одного слѣдователя другому, пойдетъ оффиціальная бумага странствовать кружнымъ путемъ изъ Твери въ Москву. Въ практикѣ нашего чиновничества такихъ нелѣпостей много. Самыя простыя мѣры даются всего медленнѣе. Помню, когда я заговорилъ объ этомъ съ княземъ С. Н. Урусовымъ, князь у меня почти гнѣвно спросилъ:

— А на какія суммы прикажете министерству юстиціи вести эту корресподенцію?—Въ бюджетѣ на то ассигновокъ нѣтъ.

— Если бы телеграфное вѣдомство,—позволилъ я себѣ отвѣтить,—находилось въ чужомъ государствѣ, князь, я понялъ бы это возраженіе, но такъ отъ замѣны переписки телеграммами казна только выиграетъ, такъ какъ сократится отъ этого содержаніе послѣдственныхъ.

Тверскіе уѣзды вовсе меня не поразили своимъ неустройствомъ. Напротивъ, усвоивъ себѣ разъ мысль, что уѣздный городъ являетъ мерзость запустѣнія, а уѣздная полиція имѣетъ наклонность къ нѣкоторому лихоимству, можно было только удивиться внѣшнему и внутреннему порядку губерніи. Поразили меня въ особенности исправники, къ которымъ я приступалъ съ предвзятымъ недовѣріемъ. За весьма немногими исключеніями, это были люди способные и чрезвычайно расторопные, связанные только безконечными формальностями закона. Нашъ законъ, извѣстное дѣло, опутываетъ честнаго человѣка на каждомъ шагу, не ставя никакихъ серьезныхъ препятствій мошеннику. Расторопностью и умомъ меня особенно поразилъ Осташковскій исправникъ Бойковъ: онъ бы въ министры годился, а не дошелъ и до начальника отдѣленія. Новоторжскій исправникъ Гропеско, несмотря на свои 70 слишкомъ лѣтъ, былъ усерднымъ дамскимъ кавалеромъ и убѣжденнымъ щеголемъ: ко мнѣ онъ явился въ

лакированныхъ сапогахъ и въ бѣлыхъ, какъснѣгъ, перчаткахъ. Нечего и говорить, что мундиръ на немъ былъ съ иголочки. Было ли съ иголочки и полицейское управленіе—не знаю.

Въ Осташковѣ меня встрѣтилъ и другой замѣчательный человѣкъ—городской голова Савинъ, женатый на актрисѣ Орловой и пробывшій нѣсколько лѣтъ въ Англіи. Онъ казался настоящимъ британцемъ, какъ будто и черты лица успѣли у него изъ природно-русскихъ переродиться въ англійскія. Накормилъ онъ меня очень недурнымъ обѣдомъ, поданнымъ въ половинѣ восьмого, говорилъ со мною все время по-англійски, и всячески старался привить англійскіе пріемы къ своему родному Осташкову. И некрасивый городъ, съ маленькими, однообразными каменными домиками, поразилъ меня своей чистотой въ это время года.

Покончивъ съ западною частью губерніи, гдѣ отъ Зубцова до Осташкова меня провожали нескончаемыя веревки, натянутыя по обѣ стороны дороги—тогда веревочный промыселъ здѣсь еще процвѣталъ—пустился я на пароходѣ внизъ по Волгѣ, побывалъ въ Корчевѣ, этой пародіи на городъ, съ его 600 жителей и 15-ю хижинами; изображавшими изъ себя набережную Волги, а въ Калязинѣ наткнулся на истинно-невѣроятный случай. Въ тамошнемъ острогѣ содержалась, какъ бѣглая, непомнящая родства—и содержалась, кажется, $1^1/_2$ года,—полусумасшедшая немолодая

крестьянка: она разъ отправилась-было въ лѣсъ по грибы, заблудилась, и когда стала разспрашивать про дорогу, позабыла вдругъ названіе своей деревни. Поднялись подозрѣнія, свели ее къ волостному, чуя въ ней политическую неблагонадежность, а затѣмъ препроводили въ Калязинскую тюрьму. Не напиши я про этотъ случай губернатору, она бы, вѣроятно, такъ и осталась въ этой тюрьмѣ до конца жизни.

Промелькнулъ передо мной веселый Кашинъ, съ своими вишневыми садами, построенный на 7-ми холмахъ, подобно Риму, и унылый Бѣжецкъ, со своими кривыми улицами и отвратительнымъ, хоть и широкимъ берегомъ болотистой Мологи. Въ хмурый осенній день обширные топкіе луга по ея сонному теченію глядѣли особенно уныло. Въ Вышнемъ Волочкѣ образованный городской голова мнѣ отвелъ роскошныя комнаты, гдѣ не было форточекъ, но имѣлось множество оранжерейныхъ растеній съ сильнымъ запахомъ, отъ котораго я ночью чуть не задохнулся. Но помню въ Волочкѣ, и помню ярко, другого человѣка, поразившаго меня своею дѣловитою добротой. Это былъ предсѣдатель управы, О. П. Медвѣдевъ, типъ идеальнаго земца, скромнаго, добросовѣстнаго, преданнаго своему углу. Одно его портило слегка—пессимизмъ. Онъ уже тогда предвидѣлъ завоеваніе земства третьимъ элементомъ. Медвѣдевъ жаловался, — онъ былъ тогда уже не молодъ—что некому будетъ замѣнить его поколѣніе, когда оно сойдетъ со сцены.

— А дѣтей у васъ, нѣтъ?—спросилъ я.

Медвѣдевъ въ отвѣтъ только грустно махнулъ рукой.

Совершенно инымъ человѣкомъ былъ Новоторжскій предсѣдатель управы, В. М. Линдъ; съ низкимъ лбомъ, угрюмыми, впалыми глазами, весь сгорбленный, онъ глядѣлъ опернымъ заговорщикомъ. Новоторжское земство его себѣ подобрало подъ масть, поклявшись разъ навсегда до второго пришествія заниматься показываніемъ правительству кукиша въ карманѣ. Бакунины, отъ которыхъ шла эта благородная традиція, были, по крайней мѣрѣ, умными и образованными, хоть и безтолковыми людьми. Въ Линдѣ поражала смѣсь тупости съ радикализмомъ. Увѣряли, что онъ незаконный сынъ какого-то архіерея. Не знаю, что на немъ больше отразилось—раскаяніе пастыря въ нарушеніи 7-ой заповѣди или свойственная русскому духовенству способность производить революціонное потомство.

Къ счастію, онъ былъ молчаливаго десятка. Зато онъ разомъ вознаграждалъ себя, какъ скоро принимался говорить въ собраніи, гдѣ, кромѣ самыхъ заѣзженныхъ пошлостей, никому не пришлось отъ него, что либо услышать.

Въ концѣ октября вся комиссія была опять въ сборѣ на берегахъ Невы: до самой Пасхи кипѣла работа. Едва-ли иной предсѣдатель сумѣлъ такъ энергично своихъ сочленовъ оторвать отъ привычнаго водотолченія и надѣть на нихъ зако-

нодательный хомутъ. Составлялись планы будущихъ тюремъ. Высчитывалась стоимость новой организаціи; и, если даже во всемъ этомъ была нѣкоторая фантастичность, всетаки реальный матеріалъ для преобразованія былъ собранъ. Работай такъ всѣ комиссіи на Руси, не пришлось бы жаловаться на бюрократизмъ. Нужды нѣтъ, что изъ всей этой работы вышло довольно мало, и съ закрытіемъ комиссіи все дѣло было обращено на обычный медленный путь соображеній и предначертаній. Большія рѣки иногда теряются въ пескахъ, и это имъ не мѣшаетъ быть большими. Плодъ отъ нашихъ трудовъ пожали не мы. Да, собственно говоря, плодовъ этихъ и не было. Вторая комиссія, на этотъ разъ образованная при Государственномъ Совѣтѣ, какъ водится, передѣлала все подготовленное нами. И вмѣсто коренного преобразованія тюремъ принялась за частичное вставленіе заплатъ. Уже Спаситель сказалъ, что это никуда не годится. Тѣмъ не менѣе, привыкли у насъ такъ поступать, и едва ли отъ этой привычки такъ скоро отстанутъ.

Вмѣстѣ съ тюремной лихорадкой я привезъ съ собой въ Петербургъ и лихорадку настоящую, схваченную въ Рязани. На другой день послѣ пріѣзда я былъ на маленькомъ вечерѣ у Е. В. Сабуровой, и тамъ меня неожиданно схватилъ настоящій приступъ. Я былъ вынужденъ поторопиться домой; всю ночь меня трепало, а къ утру какъ рукой сняло. Но эта была лишь передышка:

непрошенная гостья ровно черезъ годъ вернулась Такъ было и въ слѣдующіе годы, вплоть до начала моей болѣзни; только приступы стали повторяться чаще, и осенью и весною. Въ эту зиму познакомился я съ женою князя Ливена, Варварой Сергѣевной, жившей тогда въ прежнемъ домѣ графини Мойра на Малой Итальянской. Княгиня и ея мужъ меня почему-то осыпали любезностями, и это было необыкновенно милостиво со стороны княгини, особенной сердечной добротою не отличавшейся. Умна она была зато необыкновенно. Она не только отгадывала любую недосказанную мысль, она умѣла будить и мысль еще не проснувшуюся. Князь Андрей Александровичъ былъ тогда назначенъ товарищемъ министра Государственныхъ Имуществъ, и не мудрено, что я задумалъ воспользоваться его любезностью, чтобы перейти въ это вѣдомство. Два года спустя я такъ и сдѣлалъ. Въ то время самого министра, П. А. Валуева, я почти совсѣмъ не зналъ, встрѣчая его лишь мелькомъ въ свѣтѣ. Мнѣ почему то нравилась его изящная, нѣсколько торжественная фигура, напоминавшая его собственный памятникъ изъ мрамора или изъ бронзы. Тогда немножко посмѣивались надъ его манерой выражаться красно. Позже, я думаю, пришлось бы обрадоваться, кабы имѣлся подъ рукой государственный человѣкъ, ему подобный. Краснорѣчіе съ риторической окраской не мѣшало ему плодить не бумаги только, а мысли; и не его вина, коли большая часть

этихъ мыслей не осуществлялась. Передъ его воображеніемъ носился, правда, образъ западнаго государственнаго человѣка, говорящаго для цѣлой страны. А если ему пришлось ограничиться внѣшними пріемами такого сановника, въ этомъ виноваты скорѣе его обычные слушатели, чѣмъ онъ самъ.

Зима 1872—73 года омрачена была грустнымъ событіемъ. А. В. Веневитиновъ сперва захирѣлъ и сталъ то и дѣло обнаруживать безпричинную раздражительность: помню, какъ разъ въ декабрѣ, передъ самыми праздниками, онъ неожиданно вошелъ въ столовую, гдѣ семья и близкіе мирно ужинали, и закричалъ на насъ, что засиживаемся слишкомъ долго и всѣмъ давно пора на покой. Такая вспышка была знакомъ плохимъ, и едва ли не обусловило ее продолжавшее его грызть неудовольствіе на свадьбу дочери и на женитьбу сына. Послѣ этой сцены я уже болѣе его не видалъ. Вмѣсто обычныхъ посѣтителей въ домъ по нѣскольку разъ въ день стали наѣзжать доктора. И, разумѣется, ихъ частые визиты имѣли свой обычный исходъ.

Разъ, утромъ, ко мнѣ пришло извѣстіе, что моего бывшаго опекуна не стало.

Пышно отпѣвали Алексѣя Владиміровича. Много народа перебывало на панихидахъ. Но, кажется, вдова и дѣти, горевали не особенно. Очень скоро, по крайней мѣрѣ, домъ вошелъ снова въ обычную колею. Одна только произошла

внѣшняя перемѣна. Старшій изъ сыновей, Миша, принявшій на себя управленіе дѣлами семьи, вскорѣ переѣхалъ на другую квартиру, въ домъ, недавно купленный А. И. Шаховскимъ на углу Литейнаго и Фурштадтской. Старинный притонъ нашей компаніи, комнаты въ нижнемъ этажѣ, отошли въ чужія руки, и съ потерею очага стало все болѣе утрачиваться сознаніе товарищеской общности. Новые члены, правда, по одиночкѣ замѣнили выбывшихъ, какъ А. С. Танѣевъ, впослѣдствіи замѣнившій своего отца въ управленіи первымъ департаментомъ Канцеляріи Его Величества; какъ нѣсколько развинченный, но очень талантливый В. В. Ширковъ — оба они были прекрасными музыкантами,—какъ П. Н. Исаковъ, какъ милѣйшій В. М. Юзефовичъ, котораговвела въ нашъ кружокъ очень цѣнившая его А. А. Воейкова. Но все это было уже не то. Дороги у насъ понемногу расходились, и, какъ видимый признакъ ослабленія товарищескаго чувства, недостатки каждаго изъ насъ стали явственнѣе для остальныхъ. Прежде надъ ними добродушно трунили, теперь принялись ихъ подробно осуждать.

Впрочемъ, и надъ всѣмъ гостепріимнымъ домомъ Веневитиновыхъ, — «la maison du bon Dieu» какъ его прозвали близкіе—висѣлъ уже Дамокловъ мечъ. Многимъ казалось, что глава семьи въ домѣ перваго мѣста не занималъ, и что и безъ него она станетъ жить по-прежнему. Это была иллюзія: дѣла пошли довольно криво—

Миша дѣловыхъ способностей не обнаруживалъ; признаки разложенія множились. Изъ дома уѣхали Комаровскіе и Шаховскіе. Скончались Фредро и баронъ Мейендорфъ. Мы уѣхали въ свою родную Вѣну. Комаровскіе переселились на Моховую. Охладились понемногу и мои отношенія къ семьѣ. Артистическихъ вечеровъ уже не было. Правда, во вторую половину 70-хъ годовъ, когда вернулись въ Петербургъ Коссиковскіе, домъ расцвѣлъ опять на короткое время, давались свѣтскіе вечера при участіи дамъ, съ которыми сблизилась Марья Алексѣевна. Эти вечера обыкновенно заканчивались маленькими, очень веселыми и очень дорого стоившими ужинами, на которыхъ первую скрипку держали милѣйшій князь И. М. Голицынъ и князь Эмиль Витгенштейнъ, недавно пріѣхавшій изъ за-границы съ своимъ братомъ Фердинандомъ. Оба они были космополитическими балагурами, безъ всякой опредѣленной національности. Обновилась и женская половина общества. Племянницы Титовыхъ, княгиня Барятинская, съ необыкновенно-красивымъ и умнымъ профилемъ подъ необыкновенно-ранней сѣдиной, моя кузина Куракина со своимъ мужемъ, элегантная вдовушка Нечаева и другія охотницы до свѣтскихъ ужиновъ съ болтовней, такою же искристой, какъ сопровождавшее ее шампанское. Но эта была уже вечерняя заря для гостепріимнаго дома.

XVII.

Деревенскія знакомства.—Свадьбы въ семьѣ Мещерскихъ.—Назначеніе А. А. Потапова шефомъ жандармовъ, на мѣсто графа П. А. Шувалова.—Характеръ этого государственнаго человѣка.—Комитетъ пяти министровъ.—Причины неудачи этого комитета въ борьбѣ съ крамолой.—Встрѣча съ барономъ Дампіэрромъ.—Откуда бралась затаенная симпатія къ революціонерамъ.—Причины безсилія комитета.—Ненормальность выдѣленія государственной полиціи изъ вѣдомства внутреннихъ дѣлъ.—Несогласія между министрами.—Общая непопулярность графа Шувалова.—Водворившаяся послѣ его отъѣзда вѣдомственная автономія и ея послѣдствія.—Чтеніе у насъ графомъ Соллогубомъ своихъ мемуаровъ.

Когда мы не ѣздили за-границу, лѣто мы проводили по-прежнему въ Тверской деревнѣ. Тамъ стояла теперь полная тишь да гладь, хотя особаго подъема и не замѣчалось. Земство обнаруживало на первыхъ порахъ много рвенія, хотя нельзя сказать, чтобы толкъ изъ этого выходилъ большой. Росли одни только податные оклады безъ соотвѣтствующаго роста благосостоянія. Узналъ я поближе кое-кого изъ мѣстныхъ, такъ называемыхъ, дѣятелей и долженъ сказать, что въ нашемъ уѣздѣ, по крайней мѣрѣ, посредники второго призыва были гораздо лучше посредниковъ перваго. Съ двумя изъ нихъ, съ Н. А. Ярышкинымъ и В. И. Закрѣйскимъ—оба давно въ могилѣ—я даже подружился, хотя оба они были слишкомъ на 30 лѣтъ старше меня. Первый,

Ярышкинъ, нигдѣ не кончившій курса и тѣмъ не менѣе прекрасно образовавшійся въ лучшей изъ школъ опыта,—отличался самымъ дорогимъ изъ качествъ общественнаго дѣятеля—горячимъ сердцемъ, никогда не дававшимъ ему замерзнуть на формальной сторонѣ дѣла. Природный умъ помогалъ ему находить правду чутьемъ, не по буквѣ закона только, а и по существу. Его товарищъ по должности, В. Закрѣйскій, былъ гораздо болѣе тонкимъ политикомъ, знавшимъ всѣ ходы уѣздной дипломатіи. Но его доброта была гораздо поверхностнѣе доброты Ярышкина. Оба они послѣдовательно одинъ за другимъ, и оба очень удовлетворительно, были у насъ въ земствѣ предсѣдателями управы. Въ началѣ земство у насъ было совсѣмъ на правахъ частнаго предпріятія и умѣло хозяйничать съ малыми средствами. Судить объ этомъ я, впрочемъ, могъ тогда лишь съ чужихъ словъ, такъ какъ самъ до 1884 г. въ немъ не участвовалъ: меня попросту не выбирали, продолжая во мнѣ подозрѣвать столичнаго барича. И по всей вѣроятности не помогалъ моей репутаціи въ уѣздѣ способъ моего управленія маетностями семьи.

Истинно-близкія отношенія у насъ были, впрочемъ, только съ Латашинымъ. Слишкомъ 50 верстъ разстоянія не мѣшали намъ воображать, будто мы сосѣди. Раза два, а то и три въ лѣто эти 50 верстъ проскакивались нашими лошадками. Тамошнее молодое поколѣніе выростало

понемногу и по два раза—24-го іюля въ Борисовъ день и въ Спасъ 6-го августа, когда въ Латашинѣ была ярмарка,—туда съѣзжался весь околотокъ. Старшая Мещерская, Екатерина Борисовна, уже выѣзжала и въ Петербургѣ дѣлила съ Варварой Дмитріевной Оболенской лавры первой по успѣху и по красотѣ молодой барышни. Благодаря ей, Латашино находилось тогда, въ 1873 году, на самой вершинѣ своего деревенскаго блеска. Въ слѣдующую зиму Екатерина Борисовна вышла замужъ за Алексѣя Никитича Татищева, едва вернувшагося изъ Греціи, гдѣ онъ состоялъ при посольствѣ, и вскорѣ затѣмъ назначеннаго секретаремъ въ Вѣну. За старшею сестрой не заставила себя ждать и вторая, Марія Борисовна, вышедшая за Петра Николаевича Огарева (нынѣ сенатора). Не знаю почему, на этихъ вѣнчаніяхъ, происходившихъ въ Твери, я присутствовать не успѣлъ. Почти одновременно совершилась и помолвка старшаго сына Мещерскихъ, Бориса, замѣчательнаго красавца, какъ всѣ они. На балу у насъ, въ послѣднее воскресенье масляницы онъ сдѣлалъ предложеніе графинѣ Маріи Алексѣевнѣ Мусиной-Пушкиной, приходившейся троюродной сестрой и своему жениху, и мнѣ.

Благодаря Мещерскимъ, жившимъ тогда у своего дяди Потапова, въ домѣ III отдѣленія, зима 1873—74 года прошла очень оживленно. Постоянно собирались то у нихъ, то у насъ, то у Пушкиныхъ, то у Оболенскихъ. На своемъ закатѣ бывшая

компанія поставляла мужской персоналъ этихъ вечеровъ, и каждый изъ ея членовъ былъ обязательно влюбленъ въ какую-либо изъ обычныхъ у частницъ этихъ вечеринокъ. А. Л. Потапова, какъ разъ осенью въ 1873 году, назначили шефомъ жандармовъ на мѣсто графа А. П. Шувалова, получившаго тогда мѣсто посла въ Лондонѣ. Его переходъ къ выдающейся дипломатической роли былъ скорѣе результатомъ оппозиціи противъ него въ Петербургѣ, чѣмъ особаго довѣрія къ его умѣнію водить за носъ иностранныхъ министровъ. Во время своего 10-ти лѣтняго завѣдыванія государственной полиціей, графъ Петръ Андреевичъ былъ первымъ министромъ въ полномъ смыслѣ слова. Съ самого начала 70-хъ годовъ, едва поднялось народническое движеніе, была образована негласная коллегія изъ 5-ти министровъ—изъ главно-управляющихъ II и III отдѣленіями и министровъ юстиціи, финансовъ и внутреннихъ дѣлъ. Этой коллегіи было поручено выслѣдить всѣ признаки начавшей бродить по Россіи смуты, главнымъ образомъ занимаясь двумя сторонами общественной жизни—высшими учебными заведеніями и печатью. Совѣту пяти министровъ даны были самыя обширныя полномочія, но нельзя сказать, чтобы его дѣятельность была особенно успѣшна. Смута не переставала расти. Хожденіе въ народъ, т. е. переряживаніе себя въ мнимыхъ рабочихъ, дабы распространять брошюры революціоннаго содержанія,—не только

не прекращалось вслѣдствіе принятыхъ мѣръ, но съ 1876 года перешло къ террористическимъ пріемамъ. Самыя опасности, которымъ подвергали себя агитаторы, тайна, окружавшая ихъ покушенія,— придавали революціонерамъ ореолъ романтическихъ героевъ, соблазнявшій молодежь. Бѣда была именно въ томъ, что совершители политическихъ убійствъ казались вдохновленными безкорыстіемъ и самоотверженнымъ благородствомъ. И для многихъ это кажущееся благородство было чѣмъ-то соблазнительно-выдающимся среди всеобщаго болота эгоизма и корысти. Самые мирно-настроенные люди не рѣшались остановить молодежь, потому что это можно было сдѣлать лишь возбуждая въ ней соображенія личнаго разсчета и стараясь какъ разъ подавить въ ней наиболѣе высокіе самоотверженные мотивы. Да надо и признать, что всѣ дѣйствія правительства за послѣднее десятилѣтіе царствованія Александра II носили именно тотъ характеръ, который всего болѣе претитъ горячимъ натурамъ, болѣе подчиненнымъ фантазіи, чѣмъ разсудку. Это была смѣсь боязливой неискренности съ мелочною придирчивостью. Надо было серьезно заняться народной школой и не давать ее въ руки людей, проникнутыхъ атеистическимъ соціализмомъ. Вмѣсто того отдѣльныхъ учителей, иногда фаворитовъ земства, по чьему либо доносу отставляли отъ должности или даже ссылали въ мѣста не столь отдаленныя. Земство, разумѣется, приходило въ негодованіе. И рядомъ

съ этимъ, въ числѣ правительственныхъ чиновниковъ, представителей министерствъ народнаго просвѣщенія и финансовъ, встрѣчались нерѣдко люди безусловно неблагонадежные, покрывавшіе революціонеровъ своимъ авторитетомъ. Этихъ чиновниковъ имѣли бы полное право смѣнить, а ихъ оставляли на мѣстѣ. Надо было съ земствомъ итти рука-объ-руку, стараясь внушить ему, что его интересы тождественны съ интересами правительства, предоставивъ ему въ руки достаточныя денежныя средства изъ обширной области косвенныхъ налоговъ, не принуждая его къ непосильному обложенію одной земли. Вмѣсто этого боязливо заботились объ одномъ—не допускать никакой, даже самой невинной манифестаціи, подавляя во что-бы то ни стало конституціонное движеніе въ странѣ. Этимъ добились одного: дворянство ступило на явно-оппозиціонный путь. И судебная, и земская реформы подвергались ряду ограничительныхъ мѣръ, свидѣтельствовавшихъ о явномъ недовѣріи къ магистратурѣ и къ мѣстному управленію. Не лучше ли было бы позаботиться, чтобы личный составъ судебнаго вѣдомства и земскихъ гласныхъ былъ проникнутъ сознаніемъ своихъ обязанностей и не воображалъ, будто главная изъ этихъ обязанностей—фрондировать, какъ-бы показывая правительству языкъ? Даже такой консерваторъ, какъ тогдашній министръ юстиціи графъ К. И. Паленъ, за все время своего управленія усердно заботился объ удач-

номъ подборѣ чиновъ судебнаго вѣдомства, стараясь очистить его отъ сомнительныхъ элементовъ и высоко держать въ его средѣ знамя безукоризненной этики. Но графъ не хотѣлъ допустить, и совершенно справедливо, чтобы рали бюрократическихъ соображеній нарушался законъ,—это правительственное честное слово.

Разъ въ 1875 году между Парижемъ и Версалемъ я случайно познакомился съ однимъ изъ членовъ тогдашняго собранія, барономъ Дампіэрромъ, депутатомъ за департаментъ Кальвадосъ, и не могъ ему удовлетворительно отвѣтить на слѣдующій вопросъ:

— Всѣ наши правительства, — сказалъ баронъ,—самыя консервативныя даже, остерегаются отдать школу окончательно въ руки духовенства. Они хорошо знаютъ, что духовенство передѣлаетъ дѣтей на свой образецъ и подобіе. Какъ же это ваши школы, которыя вполнѣ въ рукахъ правительства, даютъ однихъ ниги листовъ? Неужели русское самодержавіе слабѣе іезуитовъ?

— Наша страна, — могъ я только сказать барону, — такъ обширна, что правительству не услѣдить за всѣми назначеніями.

Руководящимъ лицомъ въ комитетѣ пяти министровъ былъ, разумѣется, графъ П. А. Шуваловъ. Онъ обладалъ двумя главными качествами руководящаго государственнаго человѣка—яснымъ умомъ и силою воли. Высшаго образованія въ

строгомъ смыслѣ у него не было—онъ прошелъ лишь черезъ Пажескій корпусъ. Но какъ у многихъ изъ нашихъ выдающихся сановниковъ, науку ему замѣнили жизненная школа и природный даръ распознавать людей. Будь онъ прямо и открыто назначенъ первымъ министромъ, дѣло-бы, вѣроятно, пошло лучше. Будь онъ попросту даже министромъ внутреннихъ дѣлъ, онъ имѣлъ бы въ своихъ рукахъ весь персоналъ управленія и лучше бы съ нимъ справился, чѣмъ тогдашніе начальники этого вѣдомства—Тимашевъ и Маковъ. Первый былъ джентльменъ съ головы до ногъ и остроуміемъ отличался большимъ. Но это остроуміе все уходило на рисованіе каррикатуръ и на разговоры съ дамами. Россіи онъ, къ сожалѣнію, вовсе не зналъ. Разъ, когда ему доложили о пріѣздѣ Тургайскаго губернатора, онъ спросилъ—«А развѣ у насъ есть такая губернія»? Другой разъ въ Государственномъ Совѣтѣ онъ опровергалъ собственное представленіе, совершенно о немъ позабывъ. Судя по тому, что каждый день отъ 4-хъ до 6-ти его можно было встрѣтить, съ вѣчнымъ моноклемъ въ глазу, на Морской усердно присматривающимся къ проѣжавшимъ дамамъ, въ томъ числѣ и къ кокоткамъ, можно было подумать, что въ Россіи все обстоитъ благополучно. Обстояло все, напротивъ, неблагополучно до крайности. Преемникъ Тимашева,—Маковъ былъ попросту совершеннымъ ничтожествомъ.

Но не оттого только графъ Шуваловъ ничего не могъ сдѣлать, что ему ничего, кромѣ тайной полиціи, подчинено не было, а потому еще, что эта самая тайная полиція была поставлена въ ненормальное отношеніе къ прочимъ вѣдомствамъ. По своему характеру она должна находиться въ строгой зависимости отъ министерства внутреннихъ дѣлъ, конечно, подъ условіемъ, чтобы министръ не былъ ни куклой, ни тряпкой. Наполеонъ I отъ этого правила отступилъ, но потому лишь, что въ его царствованіе все внутреннее управленіе, собственно говоря, сводилось къ полиціи. Вслѣдствіе этого власть и могла при немъ сосредоточиваться въ рукахъ Фушэ и его преемника, герцога Ролиго, между тѣмъ, какъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ оставался совершенно въ тѣни. У насъ самостоятельность тайной полиціи создавала лишь непрерывный рядъ пререканій и недоразумѣній. И оттого-то Министерство Юстиціи чувствовало себя постоянно обиженнымъ вмѣшательствомъ жандармовъ во всѣ судебныя дѣла съ политической окраской. Губернаторы пикировались съ голубыми полковниками. Хотя случалось и такъ, что эти полковники обращались за интересными свѣдѣніями въ губернаторскую канцелярію Тверской губернаторъ А. Н. Сомовъ мнѣ разсказывалъ, что про всѣ исторіи, происходившія въ Тверской губерніи, онъ зналъ гораздо раньше мѣстнаго жандармскаго полковника, и благосклонно ему о нихъ сообщалъ. Этотъ полковникъ, самый

милый и безобидный человѣкъ на свѣтѣ, постоянно водившій хлѣбъ-соль съ вождями лѣвой, и тѣмъ не менѣе ничего не видавшій далѣе своего носа. Этотъ опереточный полковникъ воображалъ, что выпытываетъ секреты оппозиціи, а вмѣсто того самъ ей выдавалъ призрачные секреты правительства. Министръ Народнаго Просвѣщенія, графъ Д. А. Толстой, не такой былъ человѣкъ, чтобы кому-либо подчиниться. И при рѣдкой энергіи обладалъ, къ сожалѣнію, столь же рѣдкою узкостью взглядовъ. О графѣ Толстомъ, впрочемъ, будетъ рѣчь впереди. Что же касается князя С. Н. Урусова, къ совѣтамъ котораго только прислушивались, увы! его обширный умъ и обширныя знанія могли помочь въ любомъ теоретическомъ вопросѣ, но оказывались безсильными тамъ, гдѣ приходилось считаться съ народной психологіей и находить средства воздѣйствовать на душу молодого поколѣнія. Въ результатѣ преобладающая роль графа Петра Андреевича и его вліяніе на Государя имѣли послѣдствіемъ только постоянное стараніе подъ него подкопаться и Государя противъ него возстановить. Его называли тогда въ обществѣ Петромъ IV, намѣренно преувеличивая его вліяніе на дѣла. Когда онъ уѣхалъ въ Лондонъ, его коллеги вздохнули свободнѣе. Его преемникъ, А. А. Потаповъ, конечно, первымъ министромъ стать не могъ, ни въ дѣйствительности, ни на бумагѣ. Съ этой минуты начинается то многоглавіе, или вѣрнѣе безглавіе

правительства, которое длилось до самаго послѣдняго времени, если не считать краткую эпоху «диктатуры сердца». Выигрывала отъ этого, конечно, автономія министерствъ, но единство управленія рѣшительно проигрывало. Главнымъ врагомъ для каждаго вѣдомства былъ не врагъ цѣлаго государства, а любое сосѣднее министерство, которому слѣдовало ставить палки въ колеса. Любопытное, я думаю, можно было бы составить повѣствованіе о междуусобной войнѣ нашихъ министровъ. Тутъ были побѣды, и пораженія, и даже капитуляціи. Каждое министерство, вдобавокъ, содержало, болѣе или менѣе явно, особаго своего повѣреннаго при остальныхъ вѣдомствахъ. Онъ выпытывалъ канцелярскія тайны, доносилъ о нихъ кому слѣдовало и заключалъ, когда нужно, мирные договоры. Россія являлась чѣмъ-то вродѣ Соединенныхъ Штатовъ, только раздѣленною на части была не ея территорія, а функціи отдѣльныхъ отраслей ея управленія. Словомъ, она дробилась не горизонтально, а вертикально. Иные находили эту министерскую автономію полезной: въ ней заключалась, какъ увѣряли, нѣкоторая гарантія отъ полновластія какого нибудь великаго визиря. Можетъ быть, но гарантія эта покупалась дорогою цѣною. Возьмемъ хотя бы высшія учебныя заведенія, распредѣленныя у насъ чуть не по всѣмъ вѣдомствамъ. Какая-бы ни была политика власти по вопросамъ народнаго образованія, она должна быть одинакова во всѣхъ высшихъ шко-

лахъ, и общеобразовательныхъ и техническихъ. Между тѣмъ каждый изъ г.г. министровъ прилагалъ всѣ усилія, дабы проводить систему, не похожую на политику своихъ коллегъ, и строгія мѣры одного вѣдомства тотчасъ находили себѣ противовѣсъ въ попустительствѣ другого. Нельзя не признать, что эта безсистемная пестрота, принесла свои горькіе плоды.

Весною 74 года должно было у насъ происходить въ небольшомъ кружкѣ чтеніе графа Соллогуба, только-что окончившаго свои мемуары. Всѣ приглашенные предчувствовали, что мемуары будутъ чрезвычайно забавны и съѣхались аккуратно. Но вотъ уже 11 часовъ, пробило и 12, а графа все нѣтъ. Собирались уже разъѣзжаться, какъ Соллогубъ вошелъ, весь запыленный, въ какой-то тужуркѣ и въ желтыхъ башмакахъ. Онъ извинился развязно, какъ всегда, что долженъ былъ просидѣть въ Окружномъ Судѣ, до приговора по какому то дѣлу, чрезмѣрно затянувшемуся. И что же? ни долгое ожиданіе, ни болѣе чѣмъ небрежный костюмъ не были поставлены Соллогубу въ вину. Я могъ воочію убѣдиться, какъ настоящій талантъ подчиняетъ себѣ свѣтскую чопорность. И графъ сумѣлъ вознаградить своихъ слушателей за терпѣніе: отрывки изъ его записокъ оказались восхитительными.

XVIII.

Мое участіе въ Тверскомъ Земствѣ; уѣздное собраніе въ Старицѣ, Губернское Собраніе, его физіономія.—Почему я нехотя пристaлъ къ лѣвымъ.—Интриги противъ предсѣдателя, князя Б. В. Мещерскаго.—Почему побѣда остается почти всегда за лѣвыми.

Когда меня выбрали въ гласные по нашему Старицкому уѣзду, и выбрали не безъ усердныхъ стараній князя Бориса Васильевича, бывшаго тогда губернскимъ предводилемъ, Тверское земство было у правительства уже на самомъ дурномъ счету. На него смотрѣли чуть ли не какъ на центральное гнѣздо революціи, и А. Л. Потаповъ, котораго я старался въ этомъ разувѣрить, отвѣтилъ мнѣ почти строго:

— «Ты объ этихъ людяхъ судить не можешь... Всей ихъ подноготной ты не знаешь».

Во всякомъ случаѣ къ Старицкому уѣздному собранію эти слова относиться не могли. Тамъ господствовали истинно-патріархальные порядки. Ярышкинъ хозяйничалъ въ управѣ, не мудрствуя лукаво, выстраивалъ домашнимъ порядкомъ шоссе, обходившееся по полторы тысячи съ версты и весь бюджетъ уѣзда едва достигалъ сорока тысячъ. Одинъ человѣкъ въ собраніи старался замутить воду, но его никто въ серьезъ не принималъ, хорошо чувствуя, что весь его

радикализмъ—опереточный, и заступается онъ за народъ больше ради красного словца: думается мнѣ, что онъ даже самъ посылалъ отъ себя въ газеты телеграммы и корресподенціи. Говорю я объ извѣстномъ Е. А. де-Роберти. Познакомился я съ нимъ, такъ сказать, въ два пріема. Не помню ужъ въ какомъ году, проходя съ управляющимъ по свѣжимъ зеленямъ, я наткнулся на Евгенія Валентиновича, изволившаго по этимъ самымъ зеленямъ гонять зайцевъ. Находя это нѣсколько безцеремоннымъ, я послалъ въ тотъ же день записку его отцу, выражая старику мое удивленіе. Евгеній Валентиновичъ написалъ мнѣ въ отвѣтъ, вмѣсто извиненія, нѣсколько далеко не любезныхъ словъ. Каково-же было мое изумленіе, когда въ самый годъ нашего избранія въ гласные, встрѣтившись со мной въ поѣздѣ, де-Роберти ко мнѣ подсѣлъ и заговорилъ самымъ любезнымъ образомъ. Миръ былъ не только заключенъ, но осенью, на земскомъ собраніи, мы негаданно вдругъ оказались союзниками. Въ моихъ глазахъ, всякія политическія партіи въ земствѣ, особенно въ уѣздномъ—чистѣйшій вздоръ, и любое предложеніе имѣетъ цѣну только по степени своей пригодности. Де-Роберти, напротивъ, не скрывалъ, что на земство смотритъ исключительно, какъ на подготовку будущаго парламента. Собственно земскіе вопросы въ его глазахъ были предметомъ нескрываемаго презрѣнія. Та-же двойственность была у него и съ крестьянами. На словахъ онъ

за нихъ распинался, а на дѣлѣ велъ съ ними у мировыхъ судей безчисленные процессы. Какъ бы то ни было, на первыхъ двухъ собраніяхъ у насъ было съ нимъ полное согласіе. Предубѣжденіе противъ меня, особенно замѣтное со стороны предводителя В. М. Кроткова и одного изъ мировыхъ судей Козлова, разлетѣлось съ перваго же дня сессіи. Для меня земское дѣло было новинкою, и занялся я имъ съ большимъ рвеніемъ, повѣряя отчетность не на словахъ, а на дѣлѣ, чего раньше, кажется, не дѣлалось вовсе. Поворотъ по отношенію ко мнѣ сказался на выборахъ губернскихъ гласныхъ. Вмѣсто баллотировки, какъ оно слѣдовало, приняты были единогласно семь лицъ предложенныхъ мною. Попали туда, разумѣется, и де-Роберти, и я. Остался у меня въ памяти, между прочимъ, одинъ комическій инцидентъ, относившійся впрочемъ къ сессіи слѣдующаго года. Въ отчетѣ по городской больницѣ значилось невѣроятное число бутылокъ хорошаго вина, будто-бы выпитаго паціентами. Объ этомъ я доложилъ собранію, подозрѣвая, что на самомъ дѣлѣ вино выпито самимъ докторомъ и его гостями. До корня дѣла, разумѣется, не захотѣли докапываться, все ограничилось дружнымъ смѣхомъ. Съ однимъ изъ членовъ собранія я особенно подружился—со старикомъ Измайловымъ, прежде глядѣвшимъ на меня довольно враждебно. Онъ оказывался однимъ изъ самыхъ теплыхъ, самыхъ искренно-преданныхъ дѣлу

людей, и его уродливая внѣшность только еще болѣе поднимала въ моихъ глазахъ цѣну его золотого сердца.

Скромная дѣловитость уѣзднаго земства замѣнялась въ губернскомъ показнымъ бездѣліемъ. Здѣсь надо было прежде всего блеснуть бойкою рѣчью и подготовить себя къ будущей роли мѣстнаго избранника въ центральное представительное учрежденіе. Это учрежденіе у всѣхъ не выходило изъ помысловъ. Долженъ отдать тогдашней управѣ полную справедливость. Средства ея были скромныя, но подъ руководствомъ князя Бориса Васильевича, соединявшаго предводительское званіе съ должностью предсѣдателя управы, и дорожное, и страховое дѣло велись исправно, а больницы содержались въ образцовомъ порядкѣ. Хотя правые, т. е. враги крупныхъ расходовъ и демонстративныхъ постановленій, имѣли тогда въ собраніи большинство въ нѣсколько голосовъ, члены управы—А. Б. Враскій, П. А. Корсаковъ и А. П. Апостоловъ—были всѣ изъ лѣвыхъ. Несомнѣнное знаніе дѣла имъ давало въ земствѣ нравственный перевѣсъ, а предсѣдательство Мещерскаго въ достаточной мѣрѣ успокаивало правое большинство. Въ то раннее время исторіи земства, впрочемъ, разница политическихъ взглядовъ была не столь рѣзкою, какъ теперь. Дѣло само по себѣ, приносимая обществу польза,—стояли тогда для всѣхъ на первомъ планѣ. Правые немного лишь отставали отъ своихъ лѣвыхъ кол-

легъ въ защитѣ земской самостоятельности отъ чиновничьяго воздѣйствія. Самъ Борисъ Васильевичъ, хотя по традиціямъ почти крѣпостникъ, не могъ не признать дѣловыхъ способностей такъ называемыхъ либераловъ, послѣдователей маститыхъ вождей Тверского либерализма—Александра и Павла Бакунинхъ, родныхъ братьевъ извѣстнаго эмигранта. Оба они были Гегельянцами до мозга костей, и въ этомъ отношеніи ихъ можно было даже назвать отсталыми: матеріализмъ 60-хъ годовъ ихъ не коснулся. Мещерскій до такой степени проникся тогда уваженіемъ къ лѣвой половинѣ земства, съ Новоторжскимъ уѣздомъ во главѣ, что года два или три шелъ съ ними даже рука объ руку. Поссорило ихъ ничтожное обстоятельство. Борисъ Васильевичъ нѣсколько опрометчиво принялъ на себя передъ министерствомъ Народнаго Просвѣщенія отвѣтственность за порядки въ Ржевской учительской семинаріи. Разъ—это было, кажется, въ 1872 году—какой-то ученикъ этой семинаріи прокололъ ротъ у иконы Николая Чудотворца и вставилъ туда папироску. Инспекторъ раздулъ это маленькое происшествіе, а слѣдствіе обнаружило, что начальство школы особаго довѣрія не заслуживаетъ. Случай съ образомъ Николая Чудотворца былъ, кажется, первымъ у насъ проявленіемъ того особаго либерализма, который въ глупомъ кощунствѣ видитъ нѣчто передовое и освободительное. Семинарія была закрыта. Лѣвые подняли

крикъ, потому что Мещерскій не сумѣлъ защитить школу, а Борисъ Васильевичъ находилъ, что лѣвые его подвели и, благодаря имъ, онъ теперь на дурномъ счету у правительства. Когда я въ первый разъ пріѣхалъ на губернское собраніе, этотъ антагонизмъ еще тлѣлъ подъ угольями; впослѣдствіи онъ разгорѣлся.

Шелъ я въ земство съ твердымъ намѣреніемъ вступить въ ряды правыхъ. Но вышло иначе. Въ числѣ лѣвыхъ были какъ разъ нѣсколько моихъ хорошихъ знакомыхъ, и сдѣлалось какъ-то само собой, что занялъ я мѣсто у стола рядомъ съ ними. Это мнѣ не мѣшало, конечно, подавать голосъ сплошь и рядомъ съ ихъ противниками. Но бѣда была въ томъ, что эти противники не только отличались общимъ недугомъ русскихъ консерваторовъ—отсутствіемъ энергіи—но имѣлось сверхъ того въ числѣ ихъ и нѣсколько людей сомнительной репутаціи. Именъ называть не стану. Водить съ ними близкую дружбу было какъ-то не совсѣмъ ловко. Моя принадлежность къ лѣвымъ въ такой степени признавалась безспорной, что на сходки правыхъ меня даже не приглашали. Недоразумѣніе это установилось тѣмъ легче, что самъ я, какъ сказано выше, существованія политическихъ партій въ земствѣ не признавалъ. Человѣка по моему слѣдовало выбирать смотря по его способностямъ, а не потому, что онъ консерваторъ или радикалъ. Обѣ половины Тверского земства смотрѣли на дѣло совершенно иначе, что не позво-

ляло мнѣ окончательно примкнуть ни къ тѣмъ, ни къ другимъ. Отличало меня отъ большинства правыхъ и то обстоятельство, что я чувствовалъ себя вполнѣ независимымъ отъ вожаковъ обѣихъ партій и ровно никакихъ земскихъ должностей не домогался. Проклятый денежный вопросъ,—земское жалованіе, какъ средство заткнуть дыру въ доходахъ съ имѣнія,—играетъ, увы, въ жизни земства преобладающую роль. Строго говоря, всякое самоуправленіе тогда только можетъ идти правильно, когда содержаніе платится только должностнымъ лицамъ по назначенію. А всякая служба по выборамъ безплатна. Иначе создается неизбѣжная зависимость избраннаго отъ членовъ большинства и, какъ результатъ такой зависимости,—вассальныя отношенія, не оставляющія мѣста для свободы дѣйствій. Помню, какъ одинъ господинъ, долго служившій мировымъ судьей, подобострастно упрашивалъ меня подать за него голосъ при выборѣ непремѣннаго члена отъ нашего уѣзда. Голосъ свой я уже обѣщалъ другому и не могъ удовлетворительно отвѣтить на его слезливую улыбку. Часто мнѣ приходилось слышать ужасающіе навѣты на Тверскихъ лѣвыхъ. Обвиняли ихъ многіе чуть не въ государственной измѣнѣ и въ хроническомъ заговорѣ противъ правительства. Думается мнѣ, что несмотря на заведенную у нихъ дисциплину, эти лѣвые были очень пестры по образу мыслей. Имѣлись въ ихъ числѣ, вѣроятно, нѣкоторые настоящіе соціалъ-

революціонеры по убѣжденію, искренно воображавшіе, что наступитъ земной рай, когда всякое правительство исчезнетъ, а отъ помѣщика и слѣдъ простынетъ. Но имѣлись и такіе—ихъ было даже, вѣроятно, большинство—которые видѣли какъ разъ въ помѣщикахъ передовой классъ носителей просвѣщенія. Немногіе ветераны либерализма, какъ Бакунины, замерли на идеалахъ 40-хъ годовъ, увлекаясь теоріями отвлеченныхъ мыслителей, выстраивавшихъ свои утопіи на философской основѣ. Были, наконецъ, и простые консерваторы съ сословной точки зрѣнія: они наивно воображали по крайней мѣрѣ, что разъ они выборные, это ихъ уже обязываетъ принадлежать къ оппозиціи. Страхъ іудейскій и воображаемая необходимость лавировать между партіями не мало, конечно, содѣйствовали чисто болѣзненной трусости этихъ господъ. «Nomina sunt odiosa», конечно. Могу только засвидѣтельствовать, что въ рѣдкой изъ средневѣковыхъ итальянскихъ республикъ тратилось столько лицемѣрія и коварства за всю ихъ исторію, какъ за время одной земской сессіи въ Твери. И коварство это тратилось совершенно попусту, иногда за чечевичную похлебку. Такъ, особый спеціалистъ по этой части, вождь Тверского центра, бѣжецкій предводитель Н. А. Чаплинъ разъ при мнѣ, вопреки своимъ торжественнымъ обѣщаніямъ, перешелъ съ права на лѣво, со всѣми десятью гласными своего уѣзда, за то лишь, что одному изъ его бѣжичанъ было обѣщано лѣвыми

избраніе въ непримѣнные члены губернскаго присутствія. Такъ дешево можно было купить тверского гласнаго, да еще одного изъ самыхъ видныхъ.

Предсѣдательствовалъ князь Борисъ Васильевичъ безподобно. Никогда не измѣнялъ онъ невозмутимой вѣжливости тона, никогда не выходилъ изъ обязательнаго предсѣдательскаго нейтралитета Благодаря ему никакого инцидента на собраніи при мнѣ не происходило, хотя поводовъ къ тому бывало много. При малѣйшемъ признакѣ начинающейся бури, Мещерскій спокойно останавливалъ говорившаго, къ какой бы партіи тотъ ни принадлежалъ. Это строгое безпристрастіе обезпечивало князю Борису Васильевичу его несомнѣнный авторитетъ надъ собраніемъ.

Между тѣмъ, втайнѣ противъ него уже ковались ковы. И онъ про это догадывался прекрасно. Въ самый день моего пріѣзда онъ давалъ у себя политическій обѣдъ, гдѣ рекомендовалъ наиболѣе вліятельнымъ членамъ собранія выбрать на его мѣсто предсѣдателемъ управы Новоторжскаго предводителя Оленина,—это былъ какъ разъ одинъ изъ вѣроятныхъ кандидатовъ лѣвой и въ то же время человѣкъ совсѣмъ не лѣваго темперамента, балагуръ и весельчакъ, гораздо болѣе пригодный для пріятельскаго ужина, чѣмъ для предсѣдательствованія въ какой бы то ни было серьезной коллегіи. Самъ предлагая Оленина, Борисъ Васильевичъ на этотъ разъ обезоружилъ

оппозицію, и князя выбрали на новое трехлѣтіе. Это не помѣшало Оленину три года спустя выступить на выборахъ уже съ явной поддержкой земской лѣвой. Мещерскій тогда, правда, самъ отказался баллотироваться. Но едва ли причиной этому не была открытая оппозиція противъ него, не стѣснившаяся выставить кандидатуру Оленина, не смотря на дружескія отношенія, продолжавшія существовать между обоими кандидатами. Тогда-то и произошелъ тотъ актъ предательства со стороны Н. А. Чаплина, о которомъ говорено выше. Не могу забыть до сихъ поръ сходки лѣвыхъ, на которую меня пригласили по ошибкѣ. Замѣчательно было на ней собственно то нескрываемое лицемѣріе, съ которымъ противники Мещерскаго оплакивали печальную необходимость противодѣйствовать его переизбранію. Какъ будто отъ нихъ самихъ не зависѣло отказаться отъ своего заговора. Я позволилъ себѣ это высказать открыто, и, разумѣется, никогда болѣе на сходки лѣвыхъ меня не приглашали. У Оленина было до того пристыженное лицо, что невольно его становилось жаль. Предсѣдателемъ онъ прошелъ и остался много лѣтъ въ этой должности, но правилъ ее изъ рукъ вонъ плохо. Не могу не упомянуть объ одной подробности, хорошо рисующей тверское двоедушіе. Сторонники князя Мещерскаго заявили наканунѣ баллотировки, что содержаніе управы должно быть увеличено. Лѣвые оспаривали это съ необыкновеннымъ жаромъ. Произно-

сились патетическія рѣчи, въ которыхъ говорилось, что земства, добросовѣстно исполняющія свои обязанности, скромны на содержаніе своихъ выборныхъ. И эти выборные, получая мало, дѣлаютъ много. Прибавка была отвергнута. Но ужъ на слѣдующій годъ, когда предсѣдателемъ былъ Оленинъ, радѣтели земскаго кошелька назначили ему то самое жалованіе, въ которомъ отказано было Мещерскому.

Оставался я участникомъ тверского земства до самой своей болѣзни и могу сказать, что обязанъ ему многимъ. Оно было для меня вторымъ университетомъ. Само двоедушіе, его проникавшее съ головы до ногъ, служило вѣрнымъ обличителемъ тѣхъ наивныхъ иллюзій, за которыя мы расплачиваемся теперь. Мы тогда приходили въ восторгъ отъ любого оправдательнаго приговора, видя въ немъ и торжество милосердія, очень мало похожаго на христіанское, и протестъ народной совѣсти противъ общественнаго гнета. Мы сердобольно гладили по головкѣ каждаго административно-ссыльнаго, не различая правыхъ отъ виноватыхъ, и старательно вскармливали революціоннаго звѣря, тогда еще крошечнаго, но умѣвшаго уже и тогда исправно показывать когти. Подраставшей молодежи, вмѣсто нужнаго ей воспитанія, мы подносили отравлявшую ее лесть, заранѣе признавая ее гораздо мудрѣе насъ и гораздо пригоднѣе старшихъ для любой дѣятельности. Это ужъ входило въ тогдашній катехизисъ земской лѣвой.

А брала эта лѣвая постоянно верхъ надъ правой, даже находясь въ меньшинствѣ, по очень простой причинѣ. Она всегда была тутъ на мѣстѣ, въ сборѣ, а тѣ ея члены, которые жили не въ самой Твери и не въ сосѣднемъ Торжкѣ, пріѣзжали всегда аккуратно. Правые, напротивъ, постоянно опаздывали, а то и не пріѣзжали вовсе. Благодаря этому, при открытіи собранія, искусственное лѣвое большинство всегда выбирало подходящую комиссію по образу своему и подобію.

Кто бывалъ на земскихъ собраніяхъ, знаетъ, конечно, какова сила этой комиссіи. Черезъ нее идутъ всѣ доклады, а доклады почти всегда принимаются.

И такъ будетъ постоянно, пока защита общества не станетъ равна по силѣ нападающему, пока вѣрно понятый консерватизмъ не вдохновитъ на отпоръ, какъ вдохновляютъ на разрушеніе горячія, но избитыя фразы мнимаго либерализма, пока наши охранители не перестанутъ дрожать передъ публикой на хорахъ и передъ любымъ репортеромъ передовой газеты. Такъ легко пожинать популярность ухаживаніемъ за толпой, что устоять противъ этого обольщенія могутъ однѣ очень стойкія натуры. Иные изъ такихъ пожинателей дешевыхъ ораторскихъ успѣховъ не останавливаются и передъ тѣмъ, что сами себѣ зачастую приносятъ вредъ и сплошь и рядомъ говорятъ противъ собственныхъ убѣжденій. Такъ пріятно прочесть въ газетѣ свое имя и тутъ же

похвалу себѣ анонимнаго корреспондента, что противъ такого сладкаго ощущенія безсильны и люди, готовые безстрашно итти навстрѣчу непріятельскихъ пуль. Въ Твери первая сессія губернскаго земства ознаменовалась для меня неожиданнымъ артистическимъ знакомствомъ. Тамъ командовалъ чѣмъ-то ген. Зыбинъ, по общему увѣренію замѣчательно добрый человѣкъ, но такъ и оставшійся для меня совершеннымъ незнакомцемъ. Зато познакомился я съ его женою и дочерью, уносившими всякаго, кто съ ними встрѣчался, далеко за предѣлы Твери и ея мелкихъ интригъ къ самымъ верхамъ художественнаго міра. Мать и дочь были не только хорошо знакомы съ музыкой, не только исполняли ее въ совершенствѣ,—онѣ были проникнуты ею, и гармонія звуковъ стала для нихъ какъ-бы природной стихіей. Г-жа Зыбина очень недурно складывала романсы въ видѣ дуэтовъ и вмѣстѣ съ дочерью ихъ исполняла необыкновенно тепло. Тутъ было нѣчто большее простого умѣнія пѣть—тутъ была душа, выраженная звуками. Позже я часто встрѣчался съ обѣими Зыбиными въ Петербургѣ, бывалъ у нихъ въ ихъ небольшой квартирѣ, гдѣ можно было встрѣтить всѣхъ петербургскихъ знатоковъ музыки, и видѣлъ ихъ часто и у Веневитиновыхъ, и у графини Рибопьеръ, съ которою онѣ были въ родствѣ У Екатерины Кирилловны Зыбиной—такъ звали дочь—обнаружился еще одинъ талантъ: она играла недурно и часто при-

нимала участіе въ спектакляхъ при Дворѣ. Позже, когда мы цѣлой семьей были за-границей, она вышла замужъ за барона Остенъ-Сакена, предсѣдателя военно-окружнаго суда въ Петербургѣ. По возвращеніи моемъ изъ за-границы въ 1885 г., я очень подружился съ Екатериною Кирилловной и могъ вполнѣ оцѣнить рядомъ съ ея музыкальнымъ талантомъ тонкій ея, чисто артистическій умъ.

XIX.

Поѣздка въ Вѣну.—Посолъ Новиковъ и прочіе члены посольства.—Начало нашего сближенія съ Австріей.—Лоренцъ-Штейнъ.—Профессорская вечеринка.—Мобилизаціонный планъ Австрійской арміи.—Встрѣча съ Тотлебенымъ.—Поѣздка заграницу въ 1877 году.—Карлсбадъ: случай съ итальянскимъ княземъ.—Свиданіе Императоровъ и С. С. Татищевъ.—Толстой и Тургеневъ.—Политическій споръ между ними.—Два маленькихъ случая для характеристики Тургенева.

ОСЕНЬЮ 1874 года мнѣ пришлось побывать въ Вѣнѣ и тамъ остаться довольно долго—мѣсяца 2 слишкомъ. Вѣна подтвердила вполнѣ то улыбающееся впечатлѣніе, какое я уже вынесъ отъ мимолетнаго проѣзда черезъ нее 3 года назадъ. Несмотря даже на правило возвращаться домой не позже 10-ти, правило, нарушаемое постоянно, Вѣна гораздо больше Парижа кажется столицей хроническаго веселья. Мнѣ лично это веселье передавалось черезъ гостепріимную семью Молоствовыхъ, жившую рядомъ съ Вѣнскимъ Рингомъ, въ пристройкѣ къ одной изъ большихъ гостинницъ. Молоствовъ, занимавшій тогда должность военнаго уполномоченнаго, былъ женатъ на старшей дочери князя А. А. Суворова, вполнѣ унаслѣдовавшей широкую, немного порывистую любезность своего отца. Самъ Молоствовъ былъ человѣкъ очень молчаливый и угрюмый, любившій безпокойно ходить взадъ и впередъ по комнатѣ. Никто не подозрѣвалъ тогда,

что ему въ близкомъ будущемъ грозитъ страшная болѣзнь—умопомѣшательство, отъ котораго онъ и погибъ, кажется 3 года спустя. Жена его, Любовь Александровна, обладала, напротивъ, оживленіемъ и говорливостью необыкновенными. Встрѣтила она меня совершенно по родственному, и рѣдкій вечеръ я къ ней не заглядывалъ. Ея подроставшіе мальчики всѣ глядѣли будущими красавцами. Постоянно къ ней кто нибудь заходилъ, и члены посольства повѣряли ей всѣ свои маленькія невзгоды.

Тогдашній нашъ посолъ Е. Н. Новиковъ былъ очень милый, умный и, главное, добрый человѣкъ, хотя вѣчно брюзжалъ, какъ почти всѣ немолодые русскіе дипломаты. Заграничный воздухъ, который наши соотечественники такъ любятъ, все-таки, должно быть, приходится имъ въ концѣ концовъ не по нраву. Но сверхъ того, несмотря на умъ и доброту, Новиковъ былъ человѣкъ крайне несуразный и вовсе не обладавшій способностью управлять. Благодаря этому, посольство наше представляло зрѣлище нескончаемыхъ междуусобій и полнаго непорядка. Особенною милостью посла тогда пользовался младшій секретарь, С. С. Татищевъ, и пользовался этимъ, чтобы выкидывать колѣнца, приведшія вскорѣ къ концу его дипломатическую карьеру. Умъ и развязность—а послѣдняя едва ли не полезнѣе самаго ума,—не мѣшали ему выдѣлывать одну безтактность за другой и быть на самомъ дурномъ счету у всѣхъ

товарищей. Особенно не любилъ его другой младшій секретарь, Вестманъ, такой же скромный, какъ Татищевъ былъ нахаленъ, такъ же старавшійся отъ всего удаляться, какъ Татищевъ охотно совался впередъ. Старшій секретарь, князь Урусовъ, былъ человѣкъ умѣренныхъ способностей, угрюмый и неуживчивый. Остроумный и когда-то изящный совѣтникъ посольства, Васильчиковъ, стоялъ тогда на порогѣ сумасшествія, овладѣвшаго имъ годъ спустя. Однимъ словомъ, посольство находилось въ полномъ разложеніи, и среди его членовъ господствовали постоянные раздоры. Это давало пищу для ежедневной хроники, подчасъ очень забавной. Но успѣху нашихъ дѣлъ въ Вѣнѣ это способствовало довольно мало. На лицѣ посла запечатлѣлись слѣды постояннаго нервнаго раздраженія. Онъ глядѣлъ на будущее мрачно; а пессимизмъ, извѣстное дѣло, никогда не привлекалъ измѣнчивой фортуны.

А между тѣмъ, какъ разъ въ то время, подготовлялось у насъ соглашеніе съ Австріей по восточному вопросу. Долгое соревнованіе съ ней по турецкимъ дѣламъ, побуждавшее ее пугливо оберегать Оттоманскую Имперію отъ русскихъ посягательствъ, уступало мѣсто желанію поживиться за одно съ нами на счетъ распадавшихся владѣній Порты.

На этой почвѣ уже зрѣло сближеніе, и никому въ голову не приходило, что знаменитому больному долго еще придется удивлять Европу

своей выносливостью. Къ сожалѣнію, Новиковъ былъ не особенно пригоднымъ орудіемъ для будущаго союза. Въ Австріи выражала намъ симпатіи придворная партія, любившая вспоминать о временахъ Наполеоновскихъ войнъ, когда мы сражались заодно съ австрійцами. Но какъ разъ завязать близкія сношенія съ вѣнской знатью Новиковъ совсѣмъ не умѣлъ; мѣшала ему въ этомъ особенно жена, то и дѣло попадавшая въ неловкія положенія, благодаря некстати сказанной фразѣ. Съ тогдашнимъ министромъ иностранныхъ дѣлъ, Андраши, Новиковъ былъ не особенно въ ладахъ. А это было, какъ разъ, время наибольшаго вліянія венгерцевъ при австрійскомъ дворѣ, благодаря не прекратившемуся еще медовому мѣсяцу добраго согласія Вѣны съ Пештомъ. Внутренними дѣлами собственно Австріи или, какъ ее называли тогда, Цислейтаніи—управляло, подъ мнимымъ предсѣдательствомъ безцвѣтнаго князя Ауэршперга. буржуазно-либеральное министерство, главными членами котораго были недавній бургомистръ Вѣны—Гискра и жидовствующій финансистъ—Пленеръ. Это министерство и своими внѣшними пріемами, и своей жидофильской политикой терзало нервы строго-католической вѣнской аристократіи. Оно относилось полувраждебно къ духовенству, старалось вырвать у него изъ рукъ школу и проводило законопроекты въ смыслѣ установленія полной экономической свободы и безусловнаго уравненія правъ евреевъ съ хри-

стіанами. Каковы были внѣшніе пріемы господъ министровъ, въ этомъ я могъ убѣдиться самъ. Разъ, весь кабинетъ собрался отобѣдать въ той гостинницѣ, гдѣ я остановился, и стеклянныя двери только отдѣляли меня отъ того стола, гдѣ засѣдали государственные люди. Громкая болтовня и не менѣе громкій хохотъ, кстати довольно грубый, рѣзко отличали этотъ кабинетскій обѣдъ отъ того, какъ себѣ представляешь трапезу товарищей по министерству. Было выпито изрядно, и тонъ бесѣды поднимался все выше. Наконецъ, до моихъ ушей долетѣли слова, обращенныя, кажется, къ тогдашнему министру юстиціи:

«Mein lieber»—фамилію не помню—«Sie betragen sich, aber wie ein betrunkener Student».

Представляю себѣ, какую гримасу скорчили бы черты любого изъ нашихъ сановниковъ, если бы къ нему отнеслись съ подобною фразой. Добавлю, что члены министерства, не смотря на выдающуюся въ немъ роль славянина Гискры, большой симпатіи къ Россіи не питали. Андраши, наоборотъ, хотя и былъ въ 1849 году участникомъ венгерскаго возстанія, за что его даже приговорили къ смерти,—вполнѣ раздѣлялъ тогда взгляды придворной партіи и ея нелюбовь къ буржуазному министерству. Этимъ надо было воспользоваться. Но съ этою цѣлью слѣдовало бы отправить въ Вѣну такого посла и въ особенности такую посланницу, которые могли-бы завести дружбу съ

вѣнской знатью. Руководящую роль въ вѣнскомъ обществѣ играла тогда извѣстная княгиня Полина Меттернихъ, удивительно злая на языкъ и безцеремонная на двусмысленныя остроты. Съ нею госпожа Новикова была въ самыхъ дурныхъ отношеніяхъ за то, что не кстати поссорилась съ другомъ сердца княгини, съ секретаремъ баварской миссіи, графомъ Монжеласомъ. Княгиня не ограничилась тѣмъ, что сказала Маріи Николаевнѣ въ лицо какую-то дерзость, но честила нашу бѣдную посланницу немилосердно по всѣмъ стогнамъ и перепутьямъ Вѣны. Немудрено, что анекдотамъ насчетъ госпожи Новиковой не было конца.

Гораздо интереснѣе, впрочемъ, русскаго посольства и его внутреннихъ дрязгъ, было для меня знакомство съ знаменитымъ профессоромъ Лоренцомъ Штейномъ. Это былъ въ самомъ дѣлѣ недюжинный человѣкъ, думавшій прямо и независимо, безъ всякаго оттѣнка профессорства. Голова у него была поразительно ясна. Помнится, я разъ попросилъ его мнѣ сказать причины громаднаго краха, постигшаго Вѣну, какъ раскатъ громового удара, раздавшагося надъ Берлинской биржей подъ вліяніемъ французскихъ 5-ти милліардовъ. На Вѣнѣ лишь косвенно отразился крахъ, а тѣмъ не менѣе она едва могла отдышаться. Мнѣ было не совсѣмъ понятно, какъ это 5-ти милліардная манна разстроила нѣмецкій рынокъ. Штейнъ мнѣ это объяснилъ:

— Всякій усиленный притокъ чужого капитала—сказалъ онъ—все равно денежнаго или товарнаго, какъ скоро онъ не результатъ собственнаго, народнаго труда,—вноситъ въ производство страны и въ ея торговый обмѣнъ сильную пертурбацію. Какъ пріемъ возбудительнаго средства, такой притокъ лихорадочно усиливаетъ предпріимчивость безъ всякаго вниманія къ спросу, вызывая на первыхъ порахъ призракъ обманчиваго довольства. Сдѣлки размножаются, заработокъ растетъ, биржевая спекуляція горячится, и многіе воображютъ, что стали богачами. Но вдругъ обнаруживается, что рынокъ не въ состояніи поглотить всего созданнаго, и ликвидація начатыхъ дѣлъ затруднительна. Тогда биржевыя цѣнности подаются быстро назадъ, фабрики закрываются, и все распродаютъ по дешевой цѣнѣ. Многіе рабочіе остаются безъ хлѣба, а мнимые богачи напрасно стараются удержать за хвостъ уплывающее богатство.

Къ Лоренцу Штейну я заходилъ часто. Почти всегда мы оставались вдвоемъ и онъ говаривалъ мнѣ, что удивляется свойству русскихъ всѣмъ интересоваться, между тѣмъ, какъ его нѣмецкіе коллеги строго замыкаются въ свою спеціальность. Про него этого сказать было ужъ никакъ нельзя. Исторія искусства, и попросту исторія помимо экономическихъ вопросовъ, его интересовали живо. Онъ мнѣ разъ повѣдалъ, что занялся переводомъ на нѣмецкій языкъ русскихъ полицейскихъ законовъ.

— За какую скучную работу вы, однако, принялись—невольно воскликнулъ я.

— Russland muss doch ein furchtbar stark regiertes Land sein», замѣтилъ онъ. «Keine Ziege kann ja bei Ihnen über einen Graben springen, ohne bei Jemanden um Erlaubniss zu bitten...

— Nun, es ist nicht so schlimm, былъ мой отвѣтъ. Diese Gesetze werden ganz einfach nicht beobachtet.

— Ach so!—отозвался онъ, улыбаясь.

Разъ, впрочемъ, онъ показалъ себя настоящимъ профессоромъ: получилъ я отъ него приглашеніе на званый вечеръ. Одѣлся я какъ слѣдуетъ, воображая, что это будетъ вечеръ съ настоящими гостями, и къ своему удивленію засталъ только двухъ коллегъ Штейна съ чубуками во рту, ихъ супругъ въ огромныхъ чепцахъ съ разноцвѣтными лентами и трехъ малокровныхъ барышенъ, вопреки обычаю вѣнокъ, очень уродливыхъ. Ихъ занималъ, выбиваясь изъ силъ, тоже очень блѣднолицый юноша. Мой костюмъ возбудилъ всеобщее удивленіе. У Штейна была на головѣ обычная ермолка, и, когда я, повинуясь привычкѣ, заговорилъ съ дамами, профессора на меня посмотрѣли съ необыкновеннымъ состраданіемъ. «Стоитъ съ такими дурами говорить», будто думали они про себя, и пожалуй, были совершенно правы. До меня доносились все болѣе разговоры дамъ въ чепцахъ въ слѣдующемъ родѣ: «Ach, denken Sie sich doch, liebe

Amalie, die Talglichter sind um einen Kreuzer gestiegen»...

Но правда остается правдой. Презрѣніе нѣмецкихъ профессоровъ къ своимъ женамъ поразительно. Они смотрятъ на нихъ, какъ на кухарокъ и, благодаря этому, эти дамы кухарками и становятся.

Передъ моимъ отъѣздомъ Молоствовъ меня снабдилъ таинственной бумагой, содержаніе которой я узналъ только въ Петербургѣ. Въ канцеляріи министерства изумились, взглянувъ на нее: это было не болѣе не менѣе, какъ мобилизаціонный планъ всей австрійской арміи, выкраденный Молоствовымъ изъ Военнаго Министерства посредствомъ подкупа. Будущій союзъ не мѣшалъ намъ, повидимому, относиться къ Австріи слегка недовѣрчиво. Попадись эта бумага австрійцамъ на глаза, мнѣ бы, вѣроятно, досталось. Но досталось въ дѣйствительности одному бѣдному Молоствову, исполнившему только свой непріятный долгъ военнаго агента. Его перестали гдѣ-либо принимать и потребовали отъ Россіи его смѣщенія. Подготовлявшееся давно умственное разстройство тутъ разразилось: я узналъ изъ газетъ что Молоствовъ покончилъ съ собою, застрѣлившись въ соборѣ какого-то маленькаго итальянскаго города.

На возвратномъ пути изъ Вѣны со мной приключилась довольно оригинальная встрѣча. Въ Бѣлостокѣ я увидѣлъ на платформѣ разбу-

шевавшагося стараго генерала, бранившаго кого то на ломанномъ русскомъ языкѣ. Его хриплые окрики и сутуловатыя, сгорбленныя плечи очень напоминали расходившагося стараго пѣтуха. «Не мудрено, что насъ бьютъ», подумалъ я, «когда нами командуютъ такіе господа». Я, однако, ошибался жестоко. Генералъ подсѣлъ ко мнѣ въ купэ, извинившись, что со мною проѣдетъ до Динабурга—тогда его Двинскомъ еще не называли. Мы разговорились, и онъ мнѣ повѣдалъ, что производитъ осмотръ нашихъ западныхъ крѣпостей. Онъ только что пріѣхалъ изъ Бреста. Но и это мнѣ не помогло догадаться, съ кѣмъ я разговариваю. Съ самоувѣренностью незнанія я принялся ему излагать свой планъ защиты Россіи отъ непріятельскаго вторженія и между прочимъ сказалъ, что надо было бы укрѣпить по настоящему треугольникъ Витебскъ-Орша-Смоленскъ, т. е. промежутокъ между верховьями Двины и Днѣпра, да провести вдобавокъ стратегическую линію отъ Кіева въ Петербургъ. 12-й годъ у меня не выходилъ изъ памяти.

— Изъ какой газеты вычитали вы эти глупости?—оборвалъ меня старикъ; и когда нѣсколько удивленный такой любезностью, я отвѣтилъ, что это мои собственныя измышленія, онъ сказалъ:

— Такъ знайте же, съ кѣмъ вы говорите. Это дѣло мнѣ немножко знакомо: я—Тотлебенъ, а прошлыя событія не всегда повторяются...

Слѣдующей весной мы снова отправились за границу и начали съ Карлсбада. Тамъ случилось довольно забавное, маленькое происшествіе. Былъ тамъ между прочимъ одинъ великолѣпный итальянецъ съ необыкновенно пламеннымъ взглядомъ черныхъ очей, слишкомъ пунцовымъ ртомъ и сверкавшими бѣлизной зубами. Звали его княземъ Santa-Lucia; и хотя онъ говорилъ по-французски съ ужаснымъ акцентомъ, бывшія тутъ русскія дамы къ нему относились чрезвычайно любезно. А дамы эти были хотя и не молодыя, но за то очень знатныя—княгиня Бетси Барятинская, про которую Маркевичъ сострилъ, что, разсуждая съ собой, она мысленно повторяетъ слова Гейне: «Wenn ich nur denke wie ich vornehm bin, so wird es mir ganz schauderhaft», графиня Е. Н. Адлербергъ и графиня Тэкла Шувалова. Вдругъ, разъ утромъ, поднимаясь съ постели, я услышалъ барабанный бой и увидалъ, какъ по улицѣ нѣсколько вооруженныхъ ведутъ съ собою мнимаго князя. Онъ оказался попросту бывшимъ crupier, сбѣжавшимъ изъ Монте-Карло, вѣроятно, не съ пустыми руками. Надо быть осторожнымъ съ итальянскими князьями.

Въ Карлсбадѣ произошелъ и другой комическій инцидентъ. Бывшій тамъ С. С. Татищевъ съ обычною развязностью убѣждалъ князя Суворова поѣхать на встрѣчу къ Государю въ день предполагавшагося его свиданія съ Австрійскимъ Императоромъ.

— Милый мой,—отвѣтилъ добродушно князь,— я вижу государя довольно часто и хорошо знаю, что можетъ ему доставить удовольствіе. Онъ терпѣть не можетъ въ такихъ случаяхъ, какъ этотъ, присутствія постороннихъ...

Татищевъ, однако, остался при своемъ и въ день свиданія изъ Карлсбада исчезъ. Слѣдующій номеръ «Neue Freie Presse» принесъ извѣстіе, что «unter andern Herrn, wurde Majestäten vorgestellt Kammerjunker von Tatischtscheff, mit dem sich Majestäten gnädigst unterhilten».

Очень довольный собой, Татищевъ вернулся въ Карлсбадъ на слѣдующій день, но тамъ его ожидало не совсѣмъ пріятное разоблаченіе. Пріѣхалъ туда и Молоствовъ, бывшій на свиданіи по обязанности: его исторія съ австрійской мобилизаціей тогда еще не разгласилась.

— Удивляюсь этой телеграммѣ въ газетѣ—сказалъ онъ Татищеву.—Никакой русскій камеръюнкеръ при мнѣ Государямъ не представлялся. Но, правда, я замѣтилъ какого-то господина въ придворномъ мундирѣ, тщетно старавшагося пробиться черезъ полицейскую цѣпь.

Были, впрочемъ, въ Карлсбадѣ и люди поинтереснѣе князя Santa-Lucia и С. С. Татищева. Были тамъ И. С. Тургеневъ и графъ А. К.Толстой. Мнѣ и въ голову не приходило, что вижусь съ Алексѣемъ Константиновичемъ въ послѣдній разъ.

Толстой былъ тогда уже очень боленъ, хотя по обыкновенію веселъ и милъ. Заходилъ

онъ къ намъ пить чай почти каждый вечеръ Узнавъ отъ него, что Тургеневъ въ Карлсбадѣ, я отправился къ нему на слѣдующій день и услышалъ отъ него, что онъ занятъ большимъ романомъ, далеко еще не конченнымъ — это была «Новь»—и очень страдаетъ отъ подагры. Карлсбадское лѣченіе ему помогало не особенно. Сказалъ онъ мнѣ тоже мимоходомъ, что изъ всѣхъ своихъ произведеній всего больше цѣнитъ «Затишье»— какъ разъ сравнительно болѣе слабое. Съ великими писателями случается это часто. Подобно матерямъ, они всего болѣе привязаны къ своимъ неудавшимся дѣтямъ. Тургеневъ сталъ заходить къ намъ тоже, и разъ у него завязался съ Толстымъ споръ, котораго никогда не забуду.

— Наполеонъ предсказалъ, — началъ Иванъ Сергѣевичъ,—что черезъ сотню лѣтъ Европа будетъ либо Казацкою, либо Якобинской. Теперь сомнѣнія уже нѣтъ: ея будущее въ демократіи. Поглядите на Францію—это образецъ порядка, а между тѣмъ она все болѣе и болѣе демократизуется.

Толстой возражалъ горячо: онъ былъ совсѣмъ противоположнаго мнѣнія. Принципы, торжествовавшіе во Франціи, и постоянныя уступки радикаламъ—ему претили въ высшей степени. Тургеневъ настаивалъ на своемъ и въ отвѣтъ на теплыя, убѣжденныя слова Толстого голосъ его поднимался все выше, доходя почти до взвизгиванія. Они были друзьями, а споръ между ними грозилъ принять не совсѣмъ дружелюбный характеръ.

— То, къ чему идетъ Франція,—говорилъ Толстой, — это господство посредственности. Мы наканунѣ того дня, когда талантъ станетъ препятствіемъ для политической карьеры. Какъ вы не видите, Иванъ Сергѣевичъ, что Франція неуклонно идетъ внизъ...

Тургеневъ почти ядовито замѣтилъ, что оба они, должно быть, подъ словами «подъемъ» и «упадокъ» понимаютъ не тоже самое. Тургеневъ, какъ онъ увѣрялъ, весь былъ на сторонѣ того могучаго движенія, которое проникало тогда всю Европейскую прессу, толкая Францію на путь демократизаціи.

Не могу здѣсь не привести двухъ крошечныхъ эпизодиковъ, случившихся нѣсколько позднѣе: для характеристики Тургенева они не безразличны. Въ маѣ 1876 года я узналъ, что Иванъ Сергѣевичъ въ Петербургѣ и остановился на Конюшенной въ такъ называемыхъ «Волховскихъ баняхъ». Я поспѣшилъ туда въ надеждѣ съ нимъ повидаться. Застать мнѣ его не удалось. А его камердинеръ сказалъ мнѣ, что Тургеневъ совершаетъ раздѣлъ съ братомъ и, благодаря этому, цѣлый день возится съ адвокатами и нотаріусами.

— Но обѣдать Ивана Сергѣевича пригласить можно?—спросилъ я.

Слуга отвѣтилъ, что его баринъ каждый день обѣдаетъ либо у принцессы Ольденбургской, либо у княгини Воронцовой.

Осенью того же года Тургеневъ былъ опять

въ Петербургѣ, на возвратномъ пути изъ Спасскаго. На этотъ разъ онъ жилъ въ гостинницѣ Демутъ, со стороны Мойки. Я поѣхалъ къ нему снова. Онъ былъ дома и принялъ меня. Картина была уже не та. Великаго писателя я засталъ сидѣвшимъ на широкомъ диванѣ, между двумя мнѣ неизвѣстными господами съ довольно всклокоченною наружностью. Тургеневъ передъ ними, видимо, лебезилъ, озираясь то на одного, то на другого съ безпокойнымъ выраженіемъ въ глазахъ. Это были Антоновичъ и Благосвѣтловъ,—какъ разъ тѣ двое людей, которые въ печати относились къ великому писателю съ наиболѣе безцеремонною грубостью. Онъ познакомилъ меня съ ними такъ, какъ представляютъ молоденькаго офицерика коронованной особѣ. Да они и были, повидимому, коронованными особами въ глазахъ Тургенева.

Оставался я у Ивана Сергѣевича недолго. Нѣсколько вопросовъ насчетъ его здоровья, нѣсколько словъ въ память уже покойнаго Толстого, и я не счелъ нужнымъ болѣе мѣшать бесѣдѣ Тургенева съ столь ему любезными магнатами радикализма. Мнѣ ясно представились два противоположныхъ полюса въ жизни Ивана Сергѣевича. Съ одной стороны—большой свѣтъ, куда его все-таки тянуло, хотя онъ такъ его бранилъ въ своемъ «Дымѣ», съ другой—революція, передъ которой онъ болѣе или менѣе искренно преклонялся.

XX.

Поѣздка по горнымъ областямъ Австріи.—Reichenhall и Tigernsee.—П. А. Валуевъ.—Супруги Радовицъ.—Парижъ при 3-ей республикѣ.—Поѣздка въ Италію: Флоренція и Венеція.—Встрѣча дорогой съ двумя польскими панами изъ Галиціи.

Какъ ни интересенъ былъ Карлсбадъ въ этомъ году, я отъ него оторвался въ первыхъ числахъ іюля, чтобы прокатиться по горнымъ областямъ Австріи. Только что была открыта для движенія новая дорога «Gisela-Bahn». выходившая изъ Зальцбурга, чтобы оттуда проникнуть вверхъ по долинѣ Зальцы въ самую глубь Альпійскихъ ущелій. Въ Бишофсгофенѣ она раздвоялась, съ одной стороны направляясь въ Тироль мимо подошвы Гроссъ-Глокнера, съ другой—въ Каринтію на соединеніе съ линіей, идущей туда по долинѣ Эннса. Мнѣ особенно хвалили послѣднюю, и хвалили совершенно справедливо. Долина Эннса получила въ Австріи прозваніе «Das G'säuse» отъ безчисленныхъ водопадиковъ, вѣчно поющихъ свою негромкую пѣсню. Пройдя мимо монастыря Адмонтъ, забравшагося на самую вершину горы, дорога въ Вилахѣ поворачиваетъ по долинѣ верхней Дравы въ сторону Тироля, гдѣ достигаетъ у самаго спуска въ Италію маленькой крѣпостцы Франценсфесте, призванной караулить,

неизвѣстно для чего, быстрое теченіе Этша. Природа горной Австріи, правда, тономъ ниже Швейцарской—она менѣе грозна, менѣе величественна. Но отъ того какъ разъ она кажется доступнѣе, и разноцвѣтные оттѣнки ея утесовъ будто теплѣе, мягче, словомъ ближе къ югу. Австрія нигдѣ не достигаетъ суроваго трагизма Швейцарскихъ Альпъ. Едва ли тамъ найдется хоть одно мѣстечко, на которомъ лежалъ бы такой отпечатокъ безутѣшнаго величія, какъ Гримзель и Фурка. Все здѣсь говоритъ о романтической драмѣ; древней трагедіи съ ея неумолимомъ фатумомъ здѣсь искать нечего. Подходилъ я къ самому подножью Гроссъ-Глокнера, но и тутъ, несмотря на снѣжный колпакъ, вѣетъ австрійскимъ добродушіемъ. Selbst Alpen sind in Österreich gemüthlich. Никогда не забуду нѣсколькихъ часовъ, проведенныхъ мною въ дивномъ мѣстечкѣ Zellam See, гдѣ виноградники такъ весело ютятся у южнаго подножья мрачнаго каменнаго моря,—такъ называемаго: Steinernes Meer Какъ облако, нѣкогда сопровождавшее евреевъ, эта груда почти непроходимыхъ волнъ голаго камня мрачнымъ отвѣсомъ стоитъ надъ Баварскимъ озеромъ Königssee, гдѣ трагизмъ природы достигаетъ своего высшаго выраженія, и почти улыбаясь, согрѣтая солнцемъ, спускается на югъ въ Тирольскую долину.

Въ послѣднихъ числахъ августа я нагналъ семью въ Рейхенгалѣ, гдѣ жилось вполнѣ невоз-

мутимо, подъ невозмутимымъ сіяніемъ палящаго солнца. Нигдѣ не обступало меня такъ сознаніе остановившагося будто времени — безцѣльной истинно-буржуазной тишины. Въ Рейхенгалѣ единственная цѣль—поѣздка въ Бергтесгаденъ полюбоваться на Ватсманъ. Теперь проведена туда желѣзнодорожная вѣтка. Тогда ѣздили въ экипажѣ. Пожалуй, это было лучше. При самомъ въѣздѣ въ городокъ,—одинъ поворотъ колеса и передъ главной тамошней гостинницей, какъ бы въ рамкѣ изъ зелени, вы видите осыпанный снѣгомъ Ватсманъ съ двумя своими остроконечными спутниками. Очень похоже на декорацію. Еще болѣе на нее похоже ужасное озеро Königssee—именно ужасное своей черной водой, окруженное стѣнками отвѣсныхъ утесовъ, и негдѣ причалить кромѣ двухъ пристаней на обоихъ концахъ.

Гораздо болѣе Авернскаго озера Königssee годилось бы для роли отверстія въ адъ. Вполнѣ чувствуешь себя во власти злой враждебной силы, когда очутишься на серединѣ озера, и съ обѣихъ сторонъ неумолимыя, недоступныя скалы. Стоитъ разразиться грозѣ, а здѣсь онѣ набѣгаютъ часто, и черныя волны поглотятъ навсегда неосторожныхъ гостей непривѣтливаго озера.

Изъ Рейхенгаля мы только немножко передвинулись въ очаровательное «Tegernsee», гдѣ тѣ же Альпы, но мирныя, доступныя, совсѣмъ не строгія. Озера я бурливымъ не видалъ—оно гладко, какъ лохань, и глядитъ уже совершенно южнымъ,

почти голубымъ. Tegernsee былъ тогда еще въ зачаткѣ: большихъ гостинницъ ни одной, и разныя избушки, за дешевую цѣну, отдавались въ наемъ охотникамъ до экономнаго far niente, среди красивой рамки непередѣланной, неискалѣченной природы. Цивилизація тогда еще не наложила на Тегернзее своей опошляющей руки. П. А. Валуевъ, постоянный гость этого милаго мѣстечка, жилъ тоже въ хижинѣ, точно такъ же, какъ нашъ ближайшій сосѣдъ Радовицъ, тогдашній германскій посолъ въ Константинополѣ, съ которымъ я познакомился въ Петербургѣ еще прошлою зимой. Онъ пріѣзжалъ къ намъ, кажется, чтобы обнюхать положеніе, созданное нашимъ обоюднымъ кокетничаніемъ съ Австріей. Германское правительство зорко сторожило, какъ бы мы съ ея сосѣдкой не сошлись—ne faites pas la cour à ma fille,—будто говорило оно Россіи словами заботливой маменьки. Оно смотрѣло на побѣжденную Австрію почти какъ на вассала. Радовицъ былъ не совсѣмъ доволенъ своими петербургскими впечатлѣніями. «Mit der alten Freundschaft ist es aus», говорилъ онъ тогда, намекая, что князю Горчакову не совсѣмъ по вкусу приходятся успѣхи его берлинскаго коллеги. Впрочемъ, и самъ Радовицъ втайнѣ не долюбливалъ Бисмарка и вскорѣ съ нимъ разошелся совсѣмъ. Потому, вѣроятно, что великіе люди имѣютъ привычку себя ревниво оберегать отъ талантливыхъ преемниковъ. Оттого-то у нихъ, большею частью, такихъ преем-

никовъ и не бываетъ. Не могу судить, годился-ли бы Радовицъ на первыя роли, но милъ онъ былъ чрезвычайно,—онъ заходилъ къ намъ часто съ женой, русской по рожденію: она была дочерью И. Озерова, нашего посланника въ Мюнхенѣ—и оба несомнѣнно блистали остроуміемъ, каждый по своему: онъ—спокойнымъ и ласковымъ, она—болѣе страстнымъ, съ легкимъ оттѣнкомъ злости.

Она представляла любопытный примѣръ, какъ русскіе быстро перечеканиваются въ чужія національности. Надежда Ивановна Радовицъ глядѣла совершенной нѣмкой и усвоила себѣ даже южно-германскій акцентъ.

Встрѣча съ П. А. Валуевымъ утвердила меня въ мысли перейти къ нему въ министерство государственныхъ имуществъ. Не скрою, я старался, разговаривая съ нимъ, показать ему товаръ лицомъ. У меня всегда была слабость къ этому государственному человѣку, въ самомъ дѣлѣ въ высокой степени благонамѣренному и способному, хотя я видѣлъ ясно нѣкоторый комизмъ его изысканнаго благообразія.

Поѣхалъ я на осень въ Парижъ, неизвѣстно зачѣмъ, такъ какъ въ сущности терпѣть не могъ этого всемірнаго кабака и его болтливыхъ и хвастливыхъ обитателей.

Однимъ меня поразила эта столица веселья—нечистотою своихъ улицъ, далеко ужъ не глядѣвшихъ такими прибранными, какъ при имперіи. А между тѣмъ часъ настоящей демократіи, ко-

торую такъ привѣтствовалъ Тургеневъ, еще не пробилъ тогда для Франціи. Никогда не понималъ я восторженнаго поклоненія Парижу со стороны моихъ соотечественниковъ. Два-три забавныхъ представленія, да хорошая ѣда въ ресторанахъ,—особыхъ восторговъ не объясняютъ. Пробылъ я тамъ двѣ недѣли и въ началѣ октября перевалилъ черезъ Альпы полюбоваться Италіей, которой еще не зналъ. Тому, кто ждетъ отъ страны солнца необыкновенныхъ красотъ, надо знать заранѣе, что онъ встрѣтитъ ихъ въ изобиліи лишь въ области искусства. Тамъ его ждетъ въ самомъ дѣлѣ богатая жатва наслажденій. Что же касается самой природы, она удовлетворитъ тѣхъ лишь, кто отъ нея спрашиваетъ однихъ красочныхъ эффектовъ и кому ничего больше не нужно кромѣ голаго камня. Итальянцы обнажили свои горы основательно.—На всемъ переѣздѣ черезъ Аппенины между Болоньей и Флоренціей—одни жидкія оливковыя деревца. Въ городахъ долго не терпѣли зелени, воображая, что она даетъ лихорадку. Деревья, конечно, есть, но какъ-то отдѣльными осиротѣлыми экземплярами, и всего больше это черные кипарисы, похожіе на метелки, и вѣчно-зеленые дубы—«lecci», какъ ихъ зовутъ итальянцы—съ сухою, довольно рѣдкою листвой. Ничего нѣтъ похожаго на богатую зелень Германіи и Австріи. Линіи благородны, очертанія мягки, природа, словомъ, подготовляетъ жителей къ скульптурѣ. Но и горы, и равнина

мнѣ съ первыхъ же шаговъ напомнили театральную декорацію. Когда во Флоренціи я въ первый разъ проѣхался по знаменитому Viale de Colli, откуда городъ представляется какъ въ чашкѣ и крыша собора стоитъ у вашихъ ногъ, а слѣва сторожитъ нависшее надъ вами кладбище San Miniato, гдѣ мрачные кипарисы на своемъ мѣстѣ,—впечатлѣніе въ самомъ дѣлѣ огромное. Но пріѣдается оно скоро. Обиліе камня, хотя бы это былъ мраморъ, все-таки подавляетъ и холодитъ. Зато все, что создалъ человѣкъ, поистинѣ великолѣпно. Тутъ, въ холодномъ мраморѣ столицы и въ старинной живописи давно умершихъ мастеровъ, настоящая сила, настоящая жизнь. Всего болѣе поразили меня произведенія Донателло и среди картинъ—Madonna Andrea del Sarto въ «Трибунѣ». Не стану, однако, повторять сказаннаго тысячу разъ другими и сказанаго, конечно, гораздо лучше, чѣмъ могъ бы сдѣлать это я.

Совершенно случайно завернулъ я въ Венецію, куда меня сманилъ встрѣченный на пути бывшій австрійскій чиновникъ, долго тамъ служившій. Странное дѣло, Венеція была уже почти 10 лѣтъ въ рукахъ итальянцевъ, а глядѣла она совершенно вымершей. На Canal Grande съ моей гондолой не повстрѣчалась ни одна. На улицахъ, т. е. на крошечныхъ переходахъ черезъ безчисленные внутренніе канальчики—ни души. По мраморному тротуару Славянской набережной—два-три прохожихъ и группа лодочниковъ, стоявшихъ

безъ дѣла, въ красивыхъ позахъ, какія въ Италіи невольно у даются даже рабочему люду. Въ домахъ много выбитыхъ стеколъ и никакого признака жизни. У гавани ни одного парохода, и когда я ночью ѣхалъ на станцію по черному Canal Grande, и кое-гдѣ рѣдкій фонарь давалъ немного свѣта, невольно я говорилъ себѣ, что вздумается кому-либо опрокинуть мою лодку или попросту меня зарѣзать,—про это никогда, никто не узнаетъ. Много, должно быть, нѣмыхъ преступленій тутъ погребено. Полное безлюдіе, полный мракъ, полная тишина. Только на площади Святого Марка все ярко освѣщено и толпится народъ, а достаточная публика вокругъ столиковъ болтаетъ, поѣдая мороженое. И все-таки, а можетъ быть какъ разъ благодаря этому мертвенному затишью—болѣе сильнаго впечатлѣнія я никогда не испытывалъ. Въ огромной залѣ станціи, гдѣ тоже было почти совсѣмъ пусто, когда я обернулся, мнѣ представилось какое-то огромное отверстіе, полузавѣшанное большою красною занавѣсью. Меня направили туда—и вдругъ разомъ передо мною широкій просторъ канала и длинный рядъ мраморныхъ разноцвѣтныхъ дворцовъ.

Три ступени внизъ—и меня повезла гондола по нѣмому городу. И что ни шагъ, то великолѣпіе. Венеція умерла, но мраморный ея гробъ чудесенъ. Тутъ все—произведеніе искусства: и лѣстницы въ домахъ, и самыя перила на этихъ

лѣстницахъ, и оконныя рамы, и замки въ дверяхъ. Все выковано, вырѣзано, изваяно настоящими художниками. А ночью, когда зажигаются звѣзды и небесное освѣщеніе мерцаетъ надъ темнымъ городомъ, а гдѣ-то вблизи у подъѣзда хоръ уличныхъ музыкантовъ распѣваетъ: «Vieni la barca é prontua»,—Венеція становится еще лучше, она возстаетъ изъ гроба, какъ чудное привидѣніе.

Къ сожалѣнію, я остался въ Венеціи не долго. Мнѣ надо было спѣшить домой. Мягкая южная ночь меня провожала, а черезъ нѣсколько часовъ—Альпы, снѣгъ, холодъ. Стояла половина октября, и близкая зима уже стучалась въ дверь.

На обратномъ пути домой, на мою долю выпало интересное знакомство. Между Вѣной и русской границей, кажется въ Одербергѣ, ко мнѣ подсѣли два польскихъ пана изъ Галиціи, повидимому знатные—незнатныхъ поляковъ, впрочемъ, я въ Европѣ не встрѣчалъ. Фамиліи ихъ теперь не помню, а если-бы и помнилъ, воздержался бы называть. Скажу только, что были они оба люди очень милые и образованные. Паны ясновельможные, узнавъ, что я русскій, со мною живо разговорились, по-французски, конечно. Оба взапуски меня увѣряли въ своей преданности Россіи и въ готовности русскому правительству служить. Вѣроятно, у нихъ были помѣстья либо въ Царствѣ, либо въ Западномъ Краѣ. Они, казалось, были другъ съ другомъ въ самыхъ близ-

кихъ отношеніяхъ. На границѣ, однако, гдѣ одинъ изъ нихъ пересѣлъ въ другой вагонъ, его пріятель, оставшись со мною вдвоемъ, запѣлъ совершенно иную пѣсню. Онъ принялся меня уговаривать не вѣрить словамъ его соотечественника, какъ онъ говорилъ, самаго двуличнаго изъ смертныхъ. Я навострилъ уши и внутренно посмѣивался. Въ Варшавѣ—новая перемѣна декораціи. Бывшій со мною панъ меня окончательно покинулъ, горячо повторяя свои увѣренія въ преданности. Его замѣнилъ тутъ же его товарищъ, просидѣвшій со мной до Бѣлостока или до Гродны,—навѣрное не помню; и мнѣ пришлось услыхать отъ него точь въ точь повтореніе словъ его пріятеля. Только на этотъ разъ предметомъ обличеній былъ уже покинувшій насъ спутникъ. По увѣреніямъ пана ясновельможнаго, это былъ человѣкъ недостойный никакого довѣрія: лживый, обманчивый, ковавшій противъ нашего правительства всевозможные ковы. «О дружба, это ты»! восклицалъ я про себя. Впрочемъ, повторяю, оба поляка были люди очень милые и образованные.

XXI.

Возстаніе Босніи и Герцеговины и его отраженіе у насъ.—Правительство, дворъ и придворныя дамы.—Графиня А. Д. Блудова.—Исторія съ моимъ братомъ Сергѣемъ: его поѣздка въ Герцеговину.—А. П. Философова и ея мужъ.—Салонъ графини Е. Н. Тизенгаузенъ и его обычные посѣтители.—Баронесса А. К. Пилларъ и ея сестра, Е. К. Столыпина.—А. С. Іонинъ и его вторая женитьба.—Мой выходъ изъ II Отдѣленія и поступленіе въ Министерство Государственныхъ Имуществъ.—Исторія съ племеннымъ быкомъ.

ПЕТЕРБУРГЪ я засталъ въ необычномъ возбужденіи. Славянская волна бурлила и поднималась высоко, немножко по Репетиловски. Мы никогда хорошенько не знали, чего собственно добиваемся на Балканскомъ полуостровѣ,—проливовъ для себя или освобожденія для братушекъ. Въ восточномъ вопросѣ мы всегда сидѣли между двухъ стульевъ,—между безкорыстнымъ заступничествомъ за славянъ и очень корыстнымъ желаніемъ получить турецкое наслѣдство. Наше сочувствіе къ единовѣрцамъ, въ сущности почти ни во что не вѣрующимъ, было, съ одной стороны, подогрѣто истинными славянофилами и пѣвшими съ ними въ унисонъ шалыми дамами, а съ другой—революціонными поползновеніями, всегда готовыми присосаться къ любому возстанію. Про соглашеніе съ Австріей, судя по тону газетъ и разговоровъ, знали далеко не всѣ. Ее продолжали

обзывать коварной и воображали искренно, что она очень встревожена движеніемъ въ Босніи и Герцеговинѣ, между тѣмъ, какъ это движеніе она вызвала сама. Мы принимали въ серьезъ воображаемаго героя возстанія, Луку Вуколовича, и его сподвижника, сербскаго воеводу Машу Врбицу, и увѣряли самихъ себя, что они падутъ жертвою австрійскихъ козней, между тѣмъ какъ, на самомъ дѣлѣ, эти герои преспокойно находили себѣ убѣжище въ Далматіи послѣ какой-нибудь опереточной стычки, гдѣ не было ни убитыхъ, ни раненыхъ. Невѣроятнаго пройдоху, попа Жарко, мы тоже произвели въ кандидаты на мученика, и, пожалуй, хорошо сдѣлали, такъ какъ была минута, когда въ цѣлой Европѣ этотъ попъ Жарко оказался нашимъ единственнымъ союзникомъ. Помнится мнѣ, что въ зиму 75—76 года газеты преважно разсуждали о какомъ-то Албанскомъ племени, именовавшемся «Пипери» и о двухъ спорныхъ лугахъ, большомъ и маломъ «Брдахъ», на которые имѣли одинаковыя притязанія Сербы и Албанцы. На счетъ всего этого вздора, между тѣмъ, страстно волновались дамы, хорошенько даже не знавшія, гдѣ собственно лежитъ Боснія и Герцеговина, и о разныхъ «Брдахъ», конечно, никакого понятія неимѣвшія. Но тогда все это нельзя было находить комичнымъ. Не только общество въ широкомъ смыслѣ, но и люди, очень хорошо знавшіе, что все картонное возстаніе было результатомъ осенней поѣздки Императора

Франца-Іосифа по Далматіи, давали себя увлекать, чистосердечно воображая, что мы наканунѣ великаго историческаго момента объединенія славянъ. Умственныя эпидеміи гораздо заразительнѣе физическихъ. И зараженными оказались даже мерзлые дипломаты, строчившіе то и дѣло ноты, меморандумы и въ концѣ концовъ даже ultimatum. Тогда заявили себя два совсѣмъ новыхъ типа дипломатическихъ агентовъ—патріоты, въ самомъ дѣлѣ горячо принимавшіе славянскій вопросъ къ сердцу, какъ дѣлалъ это умный и талантливый князь Цертелевъ, и международные проходимцы, вродѣ Веселитскаго-Божійдаровича, сына какого-то русскаго генерала и какой-то черногорки, тѣмъ не менѣе являвшагося на разныя конференціи въ качествѣ заправскаго предводителя не совсѣмъ опредѣленнаго комитета герцеговинскихъ повстанцевъ. Въ Петербургѣ онъ показывалъ себя въ черногорскомъ національномъ костюмѣ, и принимали его въ качествѣ заморскаго звѣря, отъ котораго досужіе люди ожидали чего-то очень интереснаго. Словомъ, Петербургъ былъ въ самомъ опереточномъ настроеніи, даже съ точки зрѣнія костюма. Но музыка въ этой опереткѣ была только отчасти комическая: рядомъ съ смѣхотворнымъ элементомъ была чистосердечная струна самаго искренняго энтузіазма. Движеніе особенно подогрѣвала очень умная женщина, графиня А. Д. Блудова, которая, не смотря на крайнюю полноту, умѣла заражать

сердца, и въ своей гостинной въ Зимнемъ Дворцѣ умѣла собирать вокругъ себя бурную молодежь и убѣленныхъ сановниковъ, политическихъ поповъ и благочестивыхъ дамъ, говорившихъ пламенныя славянофильскія рѣчи на отборномъ французскомъ языкѣ. Изъ числа этихъ дамъ главными, безъ сомнѣнія, были дочери Тютчева, Анна и Дарія Ѳеодоровны. Первая замужемъ за И. С. Аксаковымъ, вторая состоявшая при дворѣ въ качествѣ каммеръ-фрейлины. Славянское движеніе, хотя революціонный чертъ и пользовался имъ, показывая даже въ иной часъ свое чертовское копыто,—охватило тогда всю дамскую половину двора, не исключая даже обратившуюся давно въ мумію графиню Протасову. А тогда при дворѣ изобиловали умныя дамы—назову, кромѣ графини Блудовой, баронессу Раденъ, графиню Е. К. Тизенгаузенъ, ея племянницу, баронессу А. К. Пилларъ, Д. Ф. Тютчеву и двухъ очень приближенныхъ къ Императрицѣ замужнихъ дамъ, Г-жу Мальцеву и княгиню С. А. Гагарину. Когда на сторонѣ ложной и неопредѣленной идеи за одно сердце и умъ, она не можетъ не восторжествовать. Такъ оно, какъ извѣстно, и случилось. Были, конечно, и люди, мало сочувствовавшіе славянству, въ томъ числѣ графъ П. А. Шуваловъ и А. Л. Потаповъ. Они постоянно твердили, что смѣшно, имѣя у себя дома исправниковъ, становыхъ и административную ссылку, опираться заграницей на революціонный элементъ. Но ихъ

слушали мало. Къ обычной ненависти, съ какою въ широкихъ кругахъ относятся къ консерватизму вообще, тутъ консерватизмъ имѣлъ противъ себя вдобавокъ національное чувство, цвѣтъ духовенства, увлекавшихся дамъ и симпатичнѣйшую черту человѣческой натуры—готовность къ безкорыстному самопожертвованію. Такимъ людямъ, какъ А. А. Нарышкинъ, ушедшій добровольцемъ въ Сербію, и Н. А. Кирѣевъ, сложившій тамъ свою голову, нельзя было не сочувствовать. Съ Нарышкинымъ я познакомился годомъ позднѣе, но слухи о немъ доходили до меня и тамъ. Не будучи военнымъ, онъ игралъ въ Сербской войнѣ при Черняевѣ очень видную роль. А въ слѣдующемъ году былъ ординарцемъ у Скобелева и вернулся съ двумя георгіевскими крестами. И при всемъ томъ Нарышкинъ военнымъ никогда не былъ. Но сердце въ немъ поистинѣ было не статское, въ особенности не чиновничье. Человѣка болѣе чуждаго бюрократическихъ привычекъ я никогда не встрѣчалъ.

Впрочемъ, подготовленіе войны 1877 года и самая эта война были временемъ поразительнаго смѣшенія понятій и людей. Правительство сквозь пальцы смотрѣло на отъѣздъ русскихъ офицеровъ въ ряды добровольцевъ, отправлявшихся воевать въ Сербію, и въ числѣ этихъ добровольцевъ было не мало общественныхъ плевелъ, — авантюристовъ - революціонеровъ и авантюристовъ попросту. Самъ генералъ Черняевъ, этотъ «архи-

стратигъ славянской рати», какъ назвала его одна поэтесса, немножко смахивалъ на средневѣкового кондотьера. Въ одномъ лагерѣ находились по недоразумѣнію хрустально-чистые славянофилы, придворныя дамы и за одно съ ними революціонные проходимцы. Многіе очень умные люди, какъ И. С. Аксаковъ и М. Н. Катковъ, а пожалуй и самъ канцлеръ князь Горчаковъ—находили, что славянское движеніе откроетъ спасительный клапанъ и приметъ въ свое русло тревожную потребность волноваться и воевать, которая въ мирное время отвлекала въ революціонной странѣ такъ много горячихъ молодыхъ головъ. Расчетъ былъ можетъ быть и вѣренъ, но вотъ что просмотрѣли тогдашніе руководители нашего общества: много революціонныхъ элементовъ было, правда, увлечено славянскимъ потокомъ, но самый этотъ потокъ далъ новую пищу броженію, сильно возбудивъ общественные нервы. И въ результатѣ революціонная волна нисколько не улеглась.

Не станемъ, однако, забѣгать впередъ. Многіе изъ наиболѣе пылкихъ поборниковъ славянства вернулись домой сильно отрезвленными. Разскажу случай съ моимъ братомъ Сергѣемъ, бывшимъ тогда конно-гвардейскимъ офицеромъ. Въ одинъ прекрасный день, начиненный проповѣдью С. Е. Шевича, онъ уѣхалъ заграницу, захвативъ съ собою нѣсколько тысячъ рублей. Семья, разумѣется, всполошилась. Посланы были телеграммы для за-

держанія брата на границѣ. Но все оказалось напрасно: братъ, и не думавшій выходить въ отставку, достигъ благополучно Рагузы и съ благословенія тогдашняго нашего Резидента, А. С. Іонина, роздалъ повстанцамъ привезенныя деньги. Александръ Семеновичъ, котораго многіе въ Петербургѣ считали зачинщикомъ возстанія, былъ на самомъ дѣлѣ представителемъ самой ортодоксальной дипломатіи, слишкомъ только, можетъ быть, влюбленнымъ въ Черногорію. Да и нечего удивляться, что Черногорія его увлекла своимъ ужъ совсѣмъ не банальнымъ видомъ. И природа и люди тамъ не имѣютъ ни малѣйшаго сходства съ буржуазной европейской культурой. А. С. Іонинъ не только долго жилъ въ Черногоріи, но почти управлялъ ею. Какъ бы то ни было, онъ принялъ брата совсѣмъ по дружески и предостерегъ его отъ излишнихъ увлеченій герцеговинскими инсургентами. Шесть мѣсяцевъ спустя, братъ вернулся разочарованнымъ, бранилъ Шевича на всѣ корки и увѣрялъ, что возстаніе поддерживается австрійскими деньгами и австрійскимъ оружіемъ, а повстанцы послѣ боя, совершенно безкровнаго, мирно отдыхаютъ на австрійской территоріи, откуда отправляются въ газеты извѣстія о небывалыхъ кровопролитныхъ стычкахъ.

Случаю съ братомъ я былъ обязанъ мимолетнымъ знакомствомъ съ извѣстной А. П. Философовой, мужъ которой былъ тогда старшимъ военнымъ прокуроромъ. Меня послали къ нему, дабы

умилостивить власти насчетъ поведенія брата. Воображали чистосердечно тогда, что грозитъ ему великая опасность. Было двѣнадцать часовъ. Меня приняли. Вхожу въ обширный кабинетъ, пройдя черезъ столовую, гдѣ видны были остатки завтрака, прерваннаго, вѣроятно, моимъ появленіемъ. Застаю супруговъ вдвоемъ. Философовъ ходилъ взадъ и впередъ и курилъ усердно, одѣтый въ какой то балахонъ и въ туфли, кажется, на босу ногу. Покуривала и Анна Павловна, сидѣвшая на диванѣ и тоже одѣтая болѣе чѣмъ по домашнему. Комната глядѣла неприбранной. Вся обстановка носила отпечатокъ неряшливости. Но супруги оказались милѣйшими людьми, какъ разъ такими, какихъ мнѣ было надо: полное незнаніе закона и совершенное къ нему равнодушіе, а со стороны Анны Павловны---даже прямая симпатія къ возстанію, какъ таковому.

— Какъ? Вы развѣ не находите,—спросила, кажется, Анна Павловна—что въ возстаніи есть такъ много поэзіи?

Прямо отвѣта на мою просьбу мнѣ не дали, за то пригласили отзавтракать. Мы усѣлись. Объѣдки оказались холодными и очень невкусными. Но я былъ голоденъ и принялся рѣзать кусокъ престарѣлой курицы. «Что вы, аристократъ или демократъ?»—неожиданно спросила меня, продолжая курить, хозяйка дома, вѣроятно, не совсѣмъ довольная моимъ отношеніемъ къ инсургентамъ.

«Я попросту голоденъ, Анна Павловна»,—отвѣтилъ я ей только.

Да, это было курьозное время. Во всѣхъ салонахъ шли подписки. Дамы прохаживались по Гостинному Двору, для сбора пожертвованій. Собирали милостыню и въ церквахъ. Появилась новая порода либеральныхъ поповъ, вѣроятно, впрочемъ, не совсѣмъ новая. Въ славянскомъ обществѣ благонамѣренно произносились зажигательныя рѣчи. Придворные и революціонеры оказывались не только въ одной и той же гостиной, но и за однимъ и тѣмъ же столомъ, гдѣ собиралась какая-нибудь подкомиссія. Слово «дипломатъ», въ то время—синонимъ противника войны, стало ругательно. Протопресвитеръ Янышевъ произнесъ разъ въ Исаакіевскомъ соборѣ въ день 19-го февраля политическую проповѣдь, въ которой громилъ не одну Турцію, но и Австрію, напоминая про историческую миссію Россіи—освободить отъ чужого ига притѣсненныхъ славянъ и создать изъ нихъ нѣчто цѣлокупное. Все это были одни воздушные замки. Мы шли рука объ руку съ Австріей, вовсе не собиравшейся братушкамъ дать политическую самостоятельность, а желавшей только округлить себя на счетъ турокъ. Не мудрено, что мы шли съ нашей союзницей къ неодинаковой цѣли, если только опредѣленная цѣль у насъ имѣлась. Славяне на самомъ дѣлѣ объединяться вовсе не думали. Напротивъ, они всѣ другъ друга ненавидѣли, что и показала вскорѣ

болгаро-сербская война. Сергѣй Шевичъ, племянникъ графини Блудовой, не смотря на то, что самъ себя считалъ матеріалистомъ, лобызался съ какимъ то іеромонахомъ съ Аѳона, и оба говорили одни и тѣ же слова, приправленныя у Шевича краснымъ соусомъ, у Аѳонскаго монаха—елеемъ. Это былъ настоящій маскарадъ, въ которомъ свои своихъ поистинѣ не познавали.

Напрасно я выше упомянулъ о баронессѣ Эдитѣ Раденъ, вовсе не принадлежавшей къ числу славянофильствующихъ дамъ. Зато всѣ остальныя очень умныя, названныя мною, женщины прямо или косвенно участвовали въ завариваніи славянофильской каши. Даже салонъ глубокопочтенной графини Е. Ф. Тизенгаузенъ, хотя ни она, ни ея племянница, баронесса Пилларъ, движенію едва ли очень сочувствовали, былъ мѣстомъ сборища, гдѣ разные дѣятели этой эпохи, какъ А. С. Іонинъ и князь Церетелевъ, бывали часто. Правда, тамъ встрѣчались и люди противоположнаго лагеря, какъ, напр., Жомини и милѣйшій князь И. М. Голицынъ. Но въ 1876 году вся придворная атмосфера была пропитана славянскимъ запахомъ, и запахъ этотъ поневолѣ проникалъ и въ гостиную графини Екатерины Ѳеодоровны, такъ какъ эта гостиная была прямымъ отголоскомъ взглядовъ Императрицы Маріи Александровны.

Салонъ графини Тизенгаузенъ въ Зимнемъ Дворцѣ стоитъ того, чтобы о немъ вспомнить.

Онъ былъ открытъ каждый вечеръ съ 10 часовъ, и никогда не оставался пустымъ: понимаю это слово и въ умственномъ смыслѣ, такъ какъ рѣдкій день не удавалось тамъ встрѣтить какого-нибудь интереснаго, даже выдающагося человѣка. Тутъ кромѣ племянниковъ графини, Толстыхъ, происходившихъ, какъ и она, по женской линіи отъ Кутузова, бывали часто люди очень недюжинные—Жомини, Побѣдоносцевъ, графъ Феликсъ, Сумарокъ-Эльстонъ, по своей необыкновенной любезности напоминавшій мнѣ покойнаго графа Стакельберга, Іонинъ, Голицынъ, генералъ Вердеръ, прусскій военный агентъ, и его помощникъ Лигницъ, Церетелевъ, Б. П. Мансуровъ и т. д. и т. д.—всѣхъ не запомнить. Изъ дамъ я встрѣчалъ тамъ старшую сестру Панина, графиню Ольгу Левашову, графиню Паленъ, жену графа Константина Ивановича, очаровательную княгиню Гагарину, рожденную Стенбокъ. А между тѣмъ, строго свѣтскаго тутъ ничего не было. Снобизмъ и чванство отсутствовали вполнѣ. Для интелектуальнаго салона, какой желала у себя завести, напр., Е. В. Сабурова, тутъ было слишкомъ много добродушія. Въ своемъ глубокомъ креслѣ, графиня—ей было подъ 80—тонкая, немного высохшая, но всегда привѣтливая, и привѣтливая искренно, отъ самаго сердца,—всѣхъ принимала съ одинаковой улыбкой. Проходили длинную и низкую гостиную, чтобы къ ней подойти, а противъ нея, по другую сторону чай-

наго столика, сидѣла баронесса Пилларъ съ профилемъ, напоминавшимъ миніатюры 18-го вѣка, по уму тоже напоминавшая умъ наиболѣе знаменитыхъ женщинъ той эпохи; младшая ея сестра, Е. К. Столыпина, сидѣвшая за другимъ столомъ, придавала салону веселую, даже отчасти игривую ноту. Ея молодая красота вовлекала и молодыхъ, и не совсѣмъ уже молодыхъ людей въ разговоры, выходившіе за предѣлы чисто умственной сферы. Даже люди, стоявшіе уже на порогѣ старости, какъ Іонинъ и Мансуровъ, были въ нее немножко влюблены. Поневолѣ вокругъ нея точно разыгрывалась оперетка, между тѣмъ, какъ вокругъ ея старшей сестры шла серьезно-изящная пьеса, напоминавшая Октава Фёлье. Ѣздить я сталъ къ графинѣ Тизенгаузенъ въ зиму 75—76 года. А бывать у нея часто сталъ лишь въ слѣдующемъ году. И одно могу сказать—люди самыхъ различныхъ взглядовъ и самыхъ различныхъ возрастовъ чувствовали себя тамъ, какъ дома. Опытная хозяйка имѣетъ много общаго съ лидеромъ политической партіи—ей приходится сглаживать шероховатости и создавать гармонію изъ самымъ разнообразныхъ тоновъ, а этимъ талантомъ баронесса Пилларъ обладала вполнѣ.

Мнѣ часто здѣсь попадалось подъ перо имя А. С. Іонина. Не могу воздержаться отъ попытки возсоздать, хотя немногими штрихами, его симпатичный образъ—о немъ ходили въ Петербургѣ

самыя невѣрныя представленія. Многіе думали, что Іонинъ—нѣчто вродѣ политическаго агитатора, поджигавшаго славянскія страсти. Распѣвали на его счетъ, подражая извѣстной опереткѣ «La fille de Madame Angot»:

Ah, c'est donc toi, Monsieur Ionine
Qu'as inventé l'Herzegowine"...

И все это было совершенно несогласно съ дѣйствительностью. Іонинъ оказался агитаторомъ поневолѣ, потому что агитаціей занималось само правительство. Славянъ онъ любилъ искренно, но не дѣлалъ себѣ на ихъ счетъ никакихъ иллюзій. А черногорцевъ онъ выдѣлялъ изъ прочихъ, потому что съ ними сжился и полюбилъ ихъ. Да и нельзя было артистической натурѣ Іонина, отворачивавшейся отъ всего заурядnаго, отъ всего мѣщанскаго, не полюбить такой самобытный народецъ, какъ черногорцевъ. Іонину нравилось все декоративное. А что могло быть болѣе декоративно тамошней природы и тамошнихъ людей? Дипломатія, среди которой онъ вовсе не былъ такимъ enfant terrible, какъ его коллега Церетелевъ, не убила въ немъ художественную струнку. Отъ того его такъ и привлекали женщины, и не одной красотой, а особеннымъ, тонкимъ складомъ ума. Онъ одинаково поклонялся изящнымъ чертамъ привлекательной госпожи Столыпиной и высокому уму графини Левашевой,

можетъ быть самой начитанной женщины въ Петербургѣ. И въ жены онъ себѣ выбралъ—это была его вторая женитьба—молоденькую черногорку, воспитанную въ Далматинскомъ монастырѣ, соединившую въ себѣ южный типъ красоты своей родины съ тою шлифовкою, какую ей сумѣли придать и воспитаніе въ католическомъ монастырѣ, и вся обстановка жизни Запада, которою она прониклась быстро.

Но я снова забѣгаю впередъ.

Іонинъ женился лишь въ 1885 г. и привезъ молоденькую жену въ Петербургъ въ 1886 году. Въ то время, когда я познакомился съ Іонинымъ, онъ былъ холостякомъ и глядѣлъ старше своихъ лѣтъ. Это былъ глубоко-добрый человѣкъ и очень зоркій въ тоже время. Людская низость не оставалась для него тайной, но относиться мягко къ людямъ онъ оттого не разучался. А для него самого совершить что-нибудь дурное или пожелать другому зла было просто невозможностью.

Въ зиму 75—76 года произошла со мною давно желанная перемѣна: я покинулъ Второе Отдѣленіе и перешелъ къ П. А. Валуеву, не смотря на то, что мнѣ тамъ ничего опредѣленнаго не обѣщали. Не могу скрыть, что Второе Отдѣленіе меня не удерживало; но и я съ нимъ прощался съ легкимъ сердцемъ, сожалѣя лишь о томъ, что потерялъ тамъ столько времени и попортилъ себѣ зрѣніе безконечными корректурами. Въ Министерствѣ Государственныхъ Иму-

ществъ я нашелъ совсѣмъ иную обстановку,— вполнѣ товарищескія отношенія съ тѣми немногими людьми, съ которыми я былъ близокъ, въ томъ числѣ съ моимъ стариннымъ пріятелемъ и ровесникомъ, Анатоліемъ Куракинымъ, и необыкновенно любезный пріемъ со стороны князя Ливена, товарища Валуева. Чиновничество и тутъ, конечно, было, но оно пряталось въ подонкахъ министерства и разъ только, помнится, мнѣ пришлось его почувствовать во всей неприглядности и во всемъ комизмѣ. Разъ, передъ праздникомъ, насъ было нѣсколько человѣкъ, собравшихся поболтать и покурить въ кабинетѣ Директора Департамента земледѣлія, В. И. Вешнякова. Вдругъ общій разговоръ оборвался, и Вешняковъ обратился ко мнѣ: «А что вы, Константинъ Федоровичъ, не выпишете черезъ насъ племенного голландскаго быка? Условія вѣдь самыя льготныя?»...

Министерство занималось тогда распространеніемъ въ Россіи иностранныхъ породъ скота. Теперь представителей этихъ породъ можно достать и у насъ дома.

— Что-жъ, прикажете васъ записать?—продолжалъ Вешняковъ, принимаясь чертить карандашемъ невѣроятныя каракули.

— А впрочемъ,—остановился онъ,—эта бумажка можетъ затеряться—у меня ихъ такъ много... Лучше напишите мнѣ, хоть завтра.

Такъ я и сдѣлалъ. Жду. Проходятъ праздники. Проходитъ январь. Февраль уже въ концѣ. Думаю,

про моего быка забыли. Вдругъ, утромъ звонокъ. Входитъ околоточный надзиратель съ требованіемъ росписаться въ полученіи бумаги, въ которой изображено, что взыскивается съ такого-то Головина 1 руб. 60 коп. за непредставленіе гербовыхъ марокъ при прошеніи о выпискѣ племенного быка; въ самой просьбѣ отказать.

Это не требуетъ комментаріевъ.

XXII.

Революціонное движеніе конца семидесятыхъ годовъ.—Вырожденіе народничества и переходъ его въ терроризмъ.—Политическіе процессы; саратовскій прокуроръ Жихаревъ.—Ошибочность правительственной внутренней политики.—Настроеніе провинціальнаго дворянства въ отвѣтъ на приглашеніе стать на стражѣ школы.—Перемѣна фронта у либеральной печати.—Сходка умѣренныхъ и крайнихъ у одного сенатора.—Мой разрывъ съ Е. И. Утинымъ.—Женитьба Шевича и его отъѣздъ въ Америку.—Оправданіе Вѣры Засуличъ и его отголоски.

ОДНОВРЕМЕННО съ возраставшимъ славянскимъ броженіемъ мы переживали тогда и усиливавшееся броженіе революціонное.

Революціонный идеализмъ, вызвавшій хожденіе молодежи «въ народъ» съ обязательнымъ переодѣваніемъ въ рабочій костюмъ, мало-по-малу перерождался, становясь все угрюмѣе и злѣе, жертвуя собою ради того, чтобы младшая братія своихъ же печальниковъ отдавала въ руки полиціи, какъ это случилось съ Тургеневскимъ Неждановымъ,—стало пріѣдаться, какъ не совсѣмъ пріятное времяпровожденіе. Словомъ, Неждановы уступили мѣсто Соломинымъ. Молодежь становилась практичнѣе. Нельзя двадцать лѣтъ сряду безнаказанно исповѣдывать теоретическій матеріализмъ безъ того, чтобы въ концѣ концовъ онъ не перешелъ изъ теоріи въ жизнь. Переходъ отъ народничества къ терроризму былъ своего рода отрезвле-

ніемъ отъ чужого пира, на которомъ наши революціонеры находили себѣ пока лишь похмѣлье. Когда именно совершился переломъ, трудно сказать съ опредѣленностью. Духовныя перерожденія совершаются втайнѣ, и замѣчаютъ ихъ тогда лишь, когда они даютъ о себѣ знать какимъ нибудь внѣшнимъ проявленіемъ. Выстрѣлъ Вѣры Засуличъ и былъ такимъ ударомъ грознаго набата, началомъ наступательныхъ дѣйствій со стороны революціонеровъ. Два громкихъ процесса, такъ называемыя—дѣло пятидесяти шести, и ранѣе начавшееся, но оконченное позднѣе, дѣло ста девяносто трехъ,—положили конецъ мирному народничеству, т. е. революціонной болтовнѣ, безъ революціонныхъ актовъ. Мирнымъ это народничество было, впрочемъ, лишь относительно: изъ переписки Здановича съ сестрами Субботиными видно, что тогда уже вождямъ движенія въ неопредѣленномъ будущемъ мерещилась кровавая баня. Но все-таки это были пока еще одни слова, результатъ настроенія, которое насиліемъ можно было только ожесточить. Тогда посылали въ Сибирь за такіе поступки, на которые теперь смотрятъ по необходимости сквозь пальцы. Настоящихъ убійцъ развелось столько, что некогда заниматься тѣми, которые ограничиваются распространеніемъ зажигательныхъ брошюръ. А тогда попадали въ предварительную тюрьму не только за такое распространеніе, а за простое знакомство съ агитаторами. Обостреніе пропаганды вызвало со стороны тре-

тьяго отдѣленія и обостреніе преслѣдованія, не особенно, правда, удачное. Заниматься, положимъ, и тогда слѣдовало молодыми людьми, читавшими и раздававшими крамольную литературу, только не путемъ арестовъ и высылокъ. Нравственное зло надо было лѣчить воспитаніемъ, а не карательными мѣрами. Когда Саратовскій прокуроръ Жихаревъ принялся за энергичную выполку революціонныхъ плевелъ и подвергъ слѣдствію свыше двухъ тысячъ человѣкъ, онъ, въ сущности, вовсе не ошибался на счетъ зловредности большинства арестованныхъ. Но онъ ошибся жестоко насчетъ полезности этихъ арестовъ. Нравственнаго зла физическимъ подавленіемъ не исцѣлить. Бѣда была только въ томъ, что за перевоспитаніе молодежи правительство взяться было не въ силахъ. Давно извѣстно, что такое перевоспитаніе удастся можетъ тамъ только, гдѣ само общество за него принимается и стоитъ на стражѣ собственной безопасности. У насъ общество почему-то воображало, что его хата съ краю, и съ плохо-скрытымъ злорадствомъ смотрѣло на неудачныя попытки власти справиться съ революціей административнымъ порядкомъ. Извѣстно, какъ земство отвѣтило на призывъ дворянству взять школу въ свои руки. На письмо Государя къ графу Д. А. Толстому, изъ многихъ губерній получился холодный отвѣтъ, который можно было бы выразить приблизительно такъ: «Дѣлайте, что хотите; расхлебывайте кашу, которую заварили, сами, а

мы будемъ на васъ спокойно поглядывать и любоваться, что изъ всего этого выйдетъ».

Такъ думала подъ конецъ семидесятыхъ годовъ большая часть провинціальнаго дворянства. «По дѣломъ вамъ, господа, по дѣломъ», будто говорило оно правительству, дуясь на него за разныя не совсѣмъ ловкія мѣры воздѣйствія, вродѣ ненужныхъ цензурныхъ стѣсненій и неудачно составленныхъ, иногда прямо смѣхотворныхъ, циркуляровъ. Чиновничество давно привыкли ненавидѣть и чистосердечно его отождествляли съ правительствомъ, которое бранить прямо, безъ обиняковъ, тогда еще не смѣли. Наше помѣстное дворянство воображало, что революціонная пропаганда его совсѣмъ не касается, что она направлена исключительно противъ властей, и спокойно глядѣло, сложа руки, какъ этимъ властямъ достается. А между тѣмъ, стоило взять въ руки любую книжку одного изъ такъ называемыхъ «либеральныхъ» журналовъ, чтобы съ первыхъ же словъ увидѣть, каково настроеніе, выросшее въ эпоху великихъ реформъ, среди новой интеллигенціи. Странное дѣло: нашъ передовой классъ добродушно видѣлъ въ этой интеллигенціи союзниковъ себѣ и гладилъ ее по головкѣ, какъ бы не замѣчая моря грязныхъ чернилъ, пролитыхъ радикальною печатью въ теченіе двадцати лѣтъ. Доставалось при этомъ и земству, несмотря на его оппозиціонное настроеніе. Публицисты «Отечественныхъ записокъ» и «Дѣла» находили, что все это однѣ побря-

кушки, одна либеральная маниловщина, а нужно совсѣмъ иное...

Что именно было нужно въ глазахъ нашихъ радикаловъ, видно изъ слѣдующаго инцидента, разсказаннаго мнѣ однимъ изъ его участниковъ, С. Е. Шевичемъ.

Въ отличіе отъ крайнихъ журналовъ, розовая пресса съ «Вѣстникомъ Европы» во главѣ, вплоть до покушенія Вѣрочки, порицала политическія насилія совершенно по ортодоксальному. Черта между классическимъ символомъ вѣры простого либерализма съ одной стороны, и кровавымъ государственнымъ переворотомъ съ другой,—проводилась твердо. По измѣнившемуся тону либераловъ чувствовалось, что между ними и лѣвой заключено какое-то соглашеніе. «Что-же случилось»? спрашивали у себя многіе.

А случилось вотъ что. Конституціонныя вожделѣнія, копошившіяся во многихъ земствахъ, начинали вызывать среди лѣвыхъ немалыя опасенія. Хоть земству и днемъ и ночью снилась конституція, оно все-же состояло преимущественно изъ помѣщиковъ—элемента самого неблагонадежнаго съ точки зрѣнія лѣвыхъ. И они стали добиваться, чтобы вся печать единодушно отнеслась къ земскому либерализму отрицательно. Съ этою цѣлью у одного лѣваго сенатора, бывшаго профессора, а теперь члена Государственнаго Совѣта, разъ вечеромъ собрались главные представители умѣренныхъ и крайнихъ. Умѣренныхъ явилось, впрочемъ,

не особенно много. Одинъ изъ наиболѣе пламенныхъ радикаловъ, впослѣдствіи повѣшенный—кажется, это былъ Клеменцъ—краснорѣчиво доказывалъ, что введеніе представительства было-бы для раликаловъ, т.-е. для революціи, самой опасной мѣрой. Освободительныя идеи въ народную массу еще не проникли, и выборы дадутъ, вѣроятно, палату чисто-дворянскую, т. е. гальванизируютъ умирающее верхнее сословіе. Напротивъ, продолженіе дѣйствующаго бюрократическаго режима всѣхъ объединитъ мало-по-малу въ оппозиціи. Стало быть, не нужно пока реформъ, и—чѣмъ хуже, тѣмъ лучше. Что таково было заключеніе лѣвыхъ, неудивительно. Но что оно увлекло и многихъ умѣренныхъ, доказываетъ только неизлѣчимую трусость и дряблость послѣднихъ. Кажется, изъ нихъ трое или четверо только посмѣли подать голосъ противъ резолюціи. Кадетская тактика, видно, не новость.

Какъ бы то ни было, самъ почтенный «Вѣстникъ Европы» повернулъ фронтъ, и одинъ изъ его главныхъ воротилъ, мой бывшій товарищъ по университету, Е. И. Утинъ, передо мной высказался разъ, говоря о своемъ громкомъ сочувствіи революціонерамъ, какъ наиболѣе яркимъ носителямъ общественнаго недовольства. Разговоръ между нами вышелъ довольно крупный, и съ тѣхъ поръ мы перестали другъ-другу кланяться.

Утинъ былъ тогда однимъ изъ главныхъ политическихъ адвокатовъ Петербурга и въ этомъ

качествѣ защищалъ кого-то изъ обвиняемыхъ по дѣлу пятидесяти-шести. Онъ мастерски умѣлъ повышать и понижать голосъ, гдѣ нужно, прикидываться негодующимъ, выдѣлывать благородные жесты въ родѣ бросанія на столъ книги Свода Законовъ и т. д. Словомъ, ему были извѣстны всѣ фокусы актерскаго ораторства. Ломалъ ли онъ когда-нибудь стулъ въ дѣланномъ изступленіи, какъ Гоголевскій учитель древней исторіи,—не знаю. Впрочемъ, я испыталъ на себѣ дѣйствіе адвокатскаго краснобайства, отправившись на одно изъ засѣданій по дѣлу пятидесяти-шести. Подсудимую Батюшкову—племянницу, кстати сказать, Помпея Николаевича,—защищалъ, какъ помнится, Герардъ. Его теплыя, можетъ быть искреннія слова, да поразительно блѣдный изможденный видъ красиваго лица подсудимой вызвали во мнѣ живое чувство жалости, особенно, когда я узналъ, что Батюшкова приговорена на поселеніе. Улики противъ нея были не сильны. Когда пришли ее арестовать, она быстро проглотила какую-то бумагу, изорванную на мелкіе клочки: подозрѣвали, что это былъ списокъ участниковъ революціоннаго кружка съ ихъ адресами. Вотъ, если не ошибаюсь, и все. Лицо Батюшковой говорило о чистѣйшемъ безкорыстнѣйшемъ идеализмѣ и такъ меня тронуло, что я убѣдительно просилъ графиню Тизенгаузенъ добиться черезъ Государыню смягченія участи Батюшковой. Удалось-ли это, не знаю.

Вскорѣ послѣ разсказаннаго мною инцидента Шевичъ покинулъ Россію надолго. Несмотря на различіе взглядовъ, мы были съ нимъ очень дружны. Впрочемъ, и различіе взглядовъ было, думается мнѣ, не особенно глубокимъ. Шевичъ любилъ хвастать своими разрушительными идеями и пугать ими барышенъ. Но любилъ онъ и свѣтъ, среди котораго выросъ.—А роль великосвѣтскаго пропагандиста ему нравилась. Нравился ему и самый процессъ революціи, какъ Гоголевскому Петрушкѣ нравился процессъ чтенія. Шевича особенно прельщала фигура Лассаля, такъ хорошо умѣвшаго совмѣщать въ себѣ посѣтителя гостиныхъ и клубовъ съ апостоломъ революціи. Все это современемъ, вѣроятно, улеглось бы. На бѣду Шевичъ встрѣтился съ бывшей невѣстой Лассаля, баронессой Деннигесъ, ставшей княгиней Раковицъ и этотъ сомнительный титулъ развозившей по всѣмъ большимъ городамъ Европы. Ее привезъ въ Петербургъ, если не ошибаюсь, генералъ Черевинъ. Познакомившись съ Шевичемъ случайно, она увлекла его умомъ, а еще болѣе тѣмъ, что имя ея было такъ тѣсно связано съ именемъ Лассаля. Красотой она едва бы могла кого-нибудь увлечь; госпожа Раковицъ была на цѣлыя десять лѣтъ старше Шевича. Это не помѣшало ему совершить непростительную глупость: онъ на ней женился, вмѣсто того, чтобы попросту съ нею отужинать. Разумѣется, въ Петербургскомъ обществѣ для него больше мѣста не было, и онъ совершилъ новую

глупость, уѣхавъ въ Америку пріискивать себѣ второе отечество.

Много говорилось у насъ о сочувствіи, съ какимъ было встрѣчено даже среди высшаго общества оправданіе Вѣры Засуличъ. Въ этой легендѣ много преувеличеннаго. Какъ разъ въ тотъ вечеръ, когда состоялся приговоръ, я былъ у княгини Гагариной, гдѣ собралось человѣкъ около тридцати. Въ двѣнадцать часовъ пріѣхала туда княгиня Е. Г. Волконская, опоздавшая, потому что была на процессѣ. Помню еще горячее неподдѣльное негодованіе, съ которымъ княгиня разсказывала о случившемся. Скандальное оправданіе вызывало въ ней чувство гнѣва и стыда, а княгиня Волконская несомнѣнно была одною изъ самыхъ передовыхъ дамъ Петербурга. И это чувство сказывалось не у нея одной. Увѣряли, что и князь Суворовъ, и даже князь А. М. Горчаковъ громко аплодировали приговору, что, такъ сказать, само правительство обрадовалось своему поруганію. Это совершенная неправда. Аплодировалъ-ли Суворовъ, не знаю; но князь Александръ Михайловичъ и другія оффиціальныя лица, присутствовавшія на судѣ, были поражены не менѣе княгини Волконской. Поражены были и заграницей. Помню еще взволнованную статью по этому поводу въ «Revue des deux Mondes». Тогда еще восхваленіе политическихъ убійствъ не вошло, какъ теперь, во всеобщій обиходъ.

XXIII.

Салонъ графини С. А. Толстой и его обычные гости.—Владиміръ Соловьевъ.—Мой первый романъ «Серьезные люди».—Мой визитъ у М. М. Стасюлевича и его послѣдствія.—Знакомство съ Н. А. Любимовымъ и появленіе романа въ «Русскомъ Вѣстникѣ».—Графъ Е. А. Саліасъ.—А. Н. Ацухтинъ.—Петербургъ передъ войной: пріемы и уличное веселье.—Возвращеніе Коссиковскихъ изъ Варшавы: пріемы у нихъ.—Княгиня Т. А. Юсупова и ея домъ.

ГРАФИНЯ С. А. Толстая, вдова поэта, продолжала традиціи мужа, собирая у себя, кажется по пятницамъ, выдающихся представителей литературы и умныхъ дамъ, способныхъ оцѣнить ихъ по достоинству. Тутъ бывали Е. А. Нарышкина, княгиня М. А. Барятинская, княгиня В. С. Ливенъ, Е. В. Сабурова, графиня Паленъ, словомъ—весь тогдашній умственный цвѣтъ петербургскихъ салоновъ. Въ то время въ Петербургѣ выдѣлился кружокъ не совсѣмъ добрыхъ, но за то очень начитанныхъ, почти ученыхъ женщинъ, немного кокетничавшихъ своимъ умственнымъ превосходствомъ и сдѣлавшихся чѣмъ-то въ родѣ женскаго Олимпа. Въ поклонникахъ у этого Олимпа недостатка не было, хотя поклонялись ему на чисто-интеллектуальной почвѣ. Въ любомъ обществѣ стоитъ признать за собою право на превосходство, чтобы такое превосходство признавали и другіе. Въ данномъ случаѣ это

былъ въ самомъ дѣлѣ избранный кружокъ, въ высокой степени изящный. Сама графиня Толстая въ обществѣ показывалась мало, но къ ней ѣздили охотно---подышать артистическою атмосферой, завѣщанной покойнымъ графомъ. У нея было на кого поглядѣть: Гончаровъ, Достоевскій, вѣроятно Тургеневъ, котораго, впрочемъ, на пятницахъ я не встрѣчалъ, и молодое еще, восходившее свѣтило—высокоталантливый Владиміръ Соловьевъ, быть можетъ самый замѣчательный изъ друзей графини, замѣчательный по хрустальному благородству души еще болѣе, чѣмъ по яркости таланта. Вечера графини немножко походили на священнодѣйствіе. Литературные кумиры принимали благовонный дымъ кадильницъ и, какъ подобаетъ кумиру, сами говаривали очень мало. Меня часто забавляло, какъ одно нѣмое присутствіе какой-нибудь знаменитости, хотя бы она не проронила ни слова, способно приводить въ восторгъ встрѣтившихъ ее дамъ, находящихъ одно лицезрѣніе извѣстнаго писателя или артиста уже само по себѣ достаточно интереснымъ. Гончаровъ былъ поразительно молчаливъ, а Достоевскій могъ просидѣть цѣлый вечеръ въ такой мертвой неподвижности, что положительно напоминалъ курильщика опіума съ крайняго Востока. Охотники до крылатыхъ словъ и до мѣткихъ замѣчаній должны были возвращаться домой, получивъ отъ знаменитости довольно постную умственную пищу. Къ счастію, салонъ оживлялся

присутствіемъ графа Соллогуба и А. С. Іонина, пріѣхавшаго въ Петербургъ вскорѣ послѣ сербско-турецкой войны. Оба эти человѣка, такъ мало походившіе другъ на друга во всѣхъ отношеніяхъ, были одинаково неистощимы, когда приходилось быть забавными или сказать что-нибудь незаурядное. Съ Іонинымъ, несмотря на разницу лѣтъ, я подружился искренно. Съ Владиміромъ Соловьевымъ дружба была еще впереди. Но уже тогда меня поразила одна особенность: отъ него можно было услышать самыя разнообразныя рѣчи, и восторженно религіозныя, и туманно-философскія, и даже попросту смѣшливыя—Соловьевъ очень охотно и чистосердечно смѣялся,—но банальнаго, изношеннаго, словомъ,—ненужнаго, я ничего отъ него не слыхалъ, ни тогда, ни послѣ. Онъ былъ чрезвычайно красивъ, и красивъ тоже своеобразно. Онъ походилъ на брамина своимъ исхудалымъ лицомъ, длинными черными волосами и глубокимъ взглядомъ чудныхъ глазъ. Высшія тайны ему были доступны—это чувствовалось сразу, хотя онъ не любилъ высказываться передъ любопытными, помня евангельскія слова о бисерѣ.

Меня вдвойнѣ интересовали эти литературныя знакомства. У меня въ головѣ засѣлъ тогда планъ моего перваго романа «Серьезные люди», за который я принялся въ 1877-омъ году. Помню, какъ, написавъ первыя главы, я искренно вообразилъ, что пишу что-то необычайное. Теперь я

этого романа стыжусь, но тогда я съ нимъ необыкновенно носился. Литературные первенцы всегда дороги своимъ отцамъ. Помню, какъ эти знаменитыя первыя главы я прочелъ два раза вслухъ,—въ первый разъ у графини Толстой въ присутствіи Іонина, Соловьева и вернувшейся изъ Константинополя моей кузины, Софьи Петровны Хитрово, а вторично—въ болѣе многолюдномъ собраніи, у А. Н. Апухтина. У графини меня окатили чуть-чуть холодной водой; у Апухтина довольно тепло похвалили. Помню и то, какъ со своимъ уже готовымъ романомъ я отправился къ М. М. Стасюлевичу, мечтая для него о «Вѣстникѣ Европы».

Стасюлевичъ принималъ просителей по средамъ съ аккуратностью нѣмецкаго профессора—ровно съ 11—12 ч. Принималъ онъ—надо ему воздать въ этомъ справедливость—съ вѣжливостью, которой обыкновенно просителямъ не выказываютъ. Европейская атмосфера, правда немного холодная, чувствовалась сразу. Съ нѣкоторымъ трепетомъ я представилъ свою рукопись на редакторскій судъ. Черезъ двѣ недѣли я получилъ ее обратно, всю испещренную поправками, не скажу, чтобы всегда удачными. При этомъ было письмо, разумѣется, съ отказомъ, вѣжливое, холодное, но опять-таки вполнѣ европейское по формѣ. Признаюсь, я тогда немножко разсердился, собираясь даже гдѣ нибудь отпечатать передѣлки Стасюлевича, не отличавшіяся особеннымъ литературнымъ

вкусомъ. А по настоящему мнѣ слѣдовало бы поблагодарить Михаила Матвѣевича за добросовѣстный трудъ далеко не забавнаго прочтенія чужой рукописи, которую онъ, видимо, старался передѣлать въ духѣ своего кирпичнаго журнала. Разсердила меня, собственно, одна фраза изъ письма Стасюлевича: «вмѣсто психическаго анализа, вы даете лѣтопись вечеровъ и баловъ». Этотъ упрекъ дѣлали мнѣ потомъ часто: «къ чему, молъ, заниматься такъ называемымъ свѣтомъ, который задыхается отъ пустоты и бездѣлія»? Мнѣ кажется, откровенно говоря, что психическая жизнь бываетъ въ салонахъ точно также, какъ въ избахъ, только въ первыхъ она посложнѣе и поинтереснѣе.

Иной пріемъ мнѣ былъ оказанъ въ редакціи «Русскаго Вѣстника», стоявшей тогда на самой вершинѣ журнальнаго міра: въ ней только что окончилась «Анна Каренина», и шли «Братья Карамазовы». Алексѣй Комаровскій меня свелъ съ Н. А. Любимовымъ, товарищемъ Каткова по редакціи, и лѣтомъ 1878-го года—извиняюсь, что забѣгаю впередъ,—я свезъ ему «Серьезныхъ людей» въ Люблино подъ Москвой, гдѣ онъ жилъ тогда на дачѣ. Здѣсь я не нашелъ уже той замороженной вѣжливости, съ которой принимали на Галерной. Разговоръ съ Николаемъ Алексѣевичемъ былъ самый радушный, и результатъ оказался вполнѣ удовлетворительнымъ. Мой первенецъ былъ принятъ, и получилъ я за него тысячу

рублей. Обивать редакціонные пороги мнѣ не пришлось, и въ январской книжкѣ «Русскаго Вѣстника», т. е. по настоящему 1-го февраля 1879-го года, I-ая часть «Серьезныхъ людей» появилась въ печати. Сосѣдство «Братьевъ Карамазовыхъ» было хоть и лестно, но за то довольно невыгодно. Но дѣлать было нечего: главное— первый шагъ былъ совершенъ, и, разумѣется, я былъ полонъ большихъ иллюзій насчетъ своего начальнаго произведенія. Но это—общая слабость всѣхъ литераторовъ.

Не могу здѣсь не вспомнить моего настоящаго крестнаго отца по беллетристикѣ. Это былъ мой близкій сосѣдъ по Шпалерной, гдѣ мы тогда жили,—графъ Евгеній Андреевичъ Саліасъ, тогда очень видный романистъ, недавно отпечатавшій лучшее свое произведеніе, «Пугачевцевъ». Въ то время историческіе романы были въ большомъ ходу, и четыре тома «Пугачевцевъ» проглатывались всѣми. Съ Саліасомъ я познакомился у Каткова, у котораго былъ разъ вечеромъ проѣздомъ черезъ Москву. Хозяинъ дома, несмотря на свое блестящее перо, не отличался ни умѣньемъ, ни охотой разговаривать. Обмѣнъ мыслей у него выходилъ довольно тяжелый. Саліасу и мнѣ пришлось бесѣдовать больше вдвоемъ. Мы сразу подружились и зимою въ Петербургѣ встрѣтились уже какъ давнишніе знакомые. У Саліаса московское безформенное добродушіе сливалось съ пылкою живостью южанина: отецъ его былъ

родомъ изъ Тулузы. У него дома стоялъ вѣчный гомонъ громкихъ и ласковыхъ дѣтскихъ голосовъ. Дѣтей у него было много и всѣ они глядѣли веселыми, красивыми, непринужденными. Въ студенческіе годы Саліасъ отдалъ дань боевымъ увлеченіямъ молодежи. Въ концѣ 70-хъ годовъ онъ былъ уже значительно правѣе меня. Получивъ въ свое завѣдываніе «С.-Петербургскія Вѣдомости» послѣ Корша, онъ повелъ ихъ въ такъ называемомъ реакціонномъ духѣ. Ему сильно доставалось отъ тупыхъ лѣвыхъ перьевъ.

Живя на той же улицѣ—мы тогда занимали бывшій домъ князя В. А. Долгорукова, перешедшій къ его зятю, Воейкову—Саліасъ и я видѣлись очень часто. Моимъ романомъ онъ остался, повидимому, доволенъ и предложилъ уступить мнѣ мѣсто, обѣщанное ему въ первой книжкѣ «Вѣстника» слѣдующаго года. Для писателя, особенно такого небогатаго, какъ Саліасъ, это было немалою жертвой, которую пишущая братія, конечно, оцѣнитъ. Повѣсть, отсроченная ради меня, была, кажется, «Мадонна», одно изъ самыхъ оригинальныхъ, если не изъ самыхъ лучшихъ произведеній Саліаса. Не торопись онъ всегда, имѣй онъ время продумать и пропустить черезъ критическое сито каждое свое произведеніе, изъ него бы вышелъ очень крупный писатель.

Нѣсколько выше у меня промелькнуло имя другого писателя, съ которымъ я познакомился

не знаю гдѣ и котораго встрѣчалъ довольно часто у старшаго Веневитинова. Алексѣй Николаевичъ Апухтинъ соединялъ наружность самую непоэтичную—онъ былъ до невѣроятности полнъ и передвигался даже съ трудомъ—съ однимъ душевнымъ свойствомъ, очень рѣдкимъ у всѣхъ писателей, и у поэтовъ въ особенности: онъ былъ чрезвычайно скроменъ и остерегался выпустить въ свѣтъ свои стихотворенія, приберегая ихъ для знакомыхъ. Если бы онъ зналъ, какой его ожидаетъ успѣхъ, онъ вѣроятно не прятался бы такъ отъ широкой публики. Бывало, всѣ мы усядемся, притаивъ дыханіе и заслушиваясь Апухтина—онъ читалъ безподобно. Безподобными тоже выходили подчасъ его остроты. Ихъ красило въ особенности необыкновенное добродушіе. Апухтинъ могъ быть злымъ, когда хотѣлъ, но рѣдко этимъ пользовался. Одно меня всегда поражало: всѣ пьесы этого остроумнаго толстяка вертѣлись около трагической любовной драмы. Сюжеты ихъ постоянно—жестокая измѣна любимой женщины. Сдается мнѣ, что измѣна происходила въ воображеніи автора: любовь, хотя бы на одну минуту между кѣмъ либо и жирнымъ поэтомъ, могла бы объясниться развѣ полнымъ извращеніемъ всѣхъ пяти чувствъ. Необыкновенно комичны вообще потуги критиковъ раскрыть жизнь писателя посредствомъ написаннаго имъ. Этимъ путемъ сдѣлали изъ Лермонтова жертву деспотизма, а изъ Апухтина—жертву дамскаго безсердечія.

Откровенно говоря, женское коварство тутъ было, вѣроятно, ни при чемъ.

Помню еще, какъ я смѣялся, прочитывая въ «Русской Мысли» рецензію господина Скабичевскаго на вышедшій тогда первымъ изданіемъ томъ стихотвореній Апухтина. Скабичевскій пресерьезно увидѣлъ въ этихъ стихотвореніяхъ горькія признанія великосвѣтскаго поэта, которому тяжело живется, несмотря на всѣ дары фортуны, среди блеска пустой и безсердечной раззолоченной жизни. Онъ чуть не рисуетъ Апухтина больнымъ, изможденнымъ страдальцемъ вродѣ Надсона. Хорошо же онъ его зналъ! У Апухтина раззолоченная жизнь! Апухтинъ, чуть-ли не каждый вечеръ проводившій за картами,—жертва великосвѣтскаго безсердечія! Вотъ какъ попадаютъ впросакъ, силясь возсоздать личность и жизнь писателя по его произведеніямъ!

Въ зиму 1876—77 г., несмотря на все надвигавшуюся войну, Петербургъ не переставалъ веселиться или, по крайней мѣрѣ, дѣлалъ видъ, что забавляется. Не помню зимы, болѣе оживленной. Плясали чуть не каждый день, и въ тоже время отдѣльные кружки не переставали собираться гдѣ-нибудь на огонекъ. Чуть не каждую ночь морозный воздухъ оглашался веселымъ звономъ колокольчиковъ скользившихъ по снѣгу троекъ. Фельетоны лѣвыхъ газетъ, разумѣется, не переставали твердить, что Петербургъ задыхается отъ скуки, и мрачное томленіе сердецъ

отзывается на холодный мракъ общественной жизни. Обязательная скорбь издавна стала однимъ изъ неизбѣжныхъ пріемовъ нашихъ лѣвыхъ. А между тѣмъ веселье охватило вовсе не одинъ только парадный Петербургъ. И въ среднемъ кругу стояла та-же сумятица. Театры всегда были полны, по улицамъ сновала оживленная толпа, и отсутствіе «общественной» жизни, въ тѣсномъ смыслѣ, повидимому, не мѣшало жителямъ столицы находить нѣкоторую прелесть и въ жизни не общественной. А тѣ, для которыхъ балы и вечера перестали быть новинкою, покидали ихъ ранѣе конца, чтобы найти въ какомъ-нибудь гостепріимномъ домѣ небольшое общество, среди котораго можно было провести часъ-другой въ пріятной болтовнѣ за веселымъ ужиномъ.

Марія Алексѣевна Коссиковская вернулась въ эту зиму изъ Варшавы, куда она переселилась изъ Мюнхена: дипломатическая карьера ея мужа была непродолжительна. Старинный «Божій Домъ», какъ его называли обычные друзья, расцвѣлъ снова. Туда съѣзжались съ разныхъ церемонныхъ вечеровъ, чтобы отвести душу насчетъ ближняго и поужинать. Общество было совсѣмъ не то, что прежде: князь И. М. Голицынъ, П. С. Мальцевъ съ своею женою, успѣвшій тоже жениться и подать въ отставку отъ должности дирижера баловъ князь Ю. Урусовъ, два брата Витгенштейнъ, Эмиль и Фердинандъ, образцовые представители космополитической знати, Анатолій Куракинъ съ своей

милой женой, З. Н. Нечаева и многіе еще другіе, которыхъ не припомню—составляли основной персоналъ этихъ, почти ежедневныхъ вечеровъ. Изъ прежней «компаніи», тутъ не было, кажется, никого. И надо отдать справедливость хозяйкѣ дома: она умѣла изъ этихъ людей, прежде лишь рѣдко бывавшихъ у ея матери, сплести нѣчто очень дружное и гармоничное.

Былъ и другой домъ, куда я сталъ часто ѣздить въ эту зиму — домъ-дворецъ княгини Т. А. Юсуповой. Разъ, получаю отъ нея записку, приглашавшую меня принять участіе въ затѣваемомъ домашнемъ спектаклѣ Сценическія мои способности оставались пока неизвѣстными мнѣ самому. Къ стыду моему, я выказалъ полную неспособность вести свою роль и получилъ отставку. Спектакль удался на славу, особенно съ точки зрѣнія собравшейся публики. Весь Петербургъ съѣхался въ Юсуповскій домъ, остававшійся закрытымъ лѣтъ 20, если не болѣе. Да и теперь его не собирались открывать. Вывозить дочь было еще рано, и по вечерамъ обычные посѣтители оставались пить чай внизу въ кабинетѣ князя. И тамъ, впрочемъ, было на что посмотрѣть. Въ этой сравнительно тѣсной обстановкѣ радушная любезность хозяевъ казалась ближе и проще.

А между тѣмъ война все надвигалась, хотя въ Петербургѣ многіе продолжали въ нее не вѣрить. Надежды цѣплялись за малѣйшее извѣстіе, казавшееся благопріятнымъ для мира. А между

тѣмъ съ самого начала 1877 года вопросъ былъ рѣшенъ. И не могу сказать, чтобы открытіе военныхъ дѣйствій кого-либо особенно поразило. Были увѣрены въ побѣдѣ. А когда такъ быстро и блистательно совершился переходъ черезъ Дунай, и турки, повидимому, защищались такъ слабо, Петербургъ преждевременно заликовалъ, учитывая напередъ результаты легкой военной прогулки до самого Константинополя. Едва-ли когда-нибудь война начиналась съ такимъ легкимъ сердцемъ, и едва-ли когда-нибудь тоже за первыми побѣдами такъ быстро наступало разочарованіе.

XXIV.

Первыя тревожныя извѣстія изъ Малой Азіи.—Европейскій театръ войны.—Первыя двѣ Плевны.—Благотворители, репортеры и карьеристы на войнѣ.—Поѣздка въ Воронежъ, Саратовъ и Тулу.—Комическій эпизодъ съ княземъ Енгалычевымъ.—Физіономія Саратова.—Нижняя Волга.—Тульская губернія.—Взятіе Плевны.—Зимнія побѣды и сидѣніе въ Сан-Стефано.—Наша неудачная попытка обмануть Австрію.—Берлинскій Конгресъ: былъ-ли онъ причиною усилившагося движенія?—Настоящій характеръ нашей революціи.—Образованіе «Эллипсиса»: Ф. А. Мышинъ, А. С. Ермоловъ и В. Г. Трироговъ.—Моя записка объ изученіи общины на мѣстахъ и что изъ нея вышло.

ДУРНЫЯ извѣстія не замедлили придти. Но это были только пока извѣстія изъ Малой Азіи, гдѣ три генерала съ кавказскими фамиліями,—Лорисъ-Меликовъ, Тергукасовъ и Оклобжіо—не внушали къ себѣ особеннаго довѣрія. Съ самаго начала военныхъ дѣйствій посмѣивались надъ малоазіатскимъ планомъ кампаніи съ тремя отдѣльно дѣйствующими отрядами, и находили этотъ планъ нѣсколько похожимъ на извѣстный планъ генерала Бума. Встревожились умѣренно, немного посмѣиваясь надъ нашими вѣчными неудачами и расчитывали на быстрыя побѣды въ Европѣ. А когда вмѣсто побѣды случились первая, а въ особенности вторая Плевна, настроеніе перемѣнилось сразу. Охватила всю Россію тревога. И газеты содѣйствовали по мѣрѣ силъ усиленію всеобщаго безпокойства. Это была первая наша

война, куда пускали корреспондентовъ, иностранныхъ и своихъ, и гдѣ оффиціальныя донесенія не были единственнымъ источникомъ получавшихся извѣстій. Правда, отъ этого выиграли не много. Обычная казенная ложь смѣнилась враньемъ корреспондентовъ, бившихъ главнымъ образомъ на эффектъ и совсѣмъ не понимавшихъ, что совершалось передъ ихъ глазами на театрѣ войны. Воображаю, какъ надоѣдали эти господа заправскимъ боевымъ военнымъ, повсюду вмѣшиваясь и распространяя ложныя и дурныя извѣстія. Главная квартира напа и штабы отдѣльныхъ корпусовъ были уже совсѣмъ не то, что въ прежнія войны. Армію сопровождала цѣлая туча газетчиковъ, добровольцевъ, сестеръ милосердія и сестеръ черезчуръ милосердныхъ, къ которымъ присоединились разнаго рода благотворители, и чистосердечные и себѣ на умѣ. Какъ милосердныя сестры иной разъ просто искали приключеній, такъ и подчиненные князю Черкасскому молодые господа часто искали попросту карьеры, не находя ея въ своихъ министерствахъ. Искреннія радѣтели о судьбѣ раненыхъ и больныхъ, лучшимъ представителемъ которыхъ былъ Александръ Щербатовъ, видѣли рядомъ съ собою такихъ молодчиковъ, которые на этихъ больныхъ и раненыхъ хотѣли состряпать себѣ извѣстность. Рядомъ съ добровольцами, проникнутыми самоотверженной любовью къ родинѣ, какъ Нарышкинъ, были и такіе, которые искали себѣ безо-

пасныхъ георгіевскихъ крестовъ. Армія тянула за собою огромный хвостъ полувоенныхъ и совсѣмъ невоенныхъ, съ дамами въ придачу. Все это сновало, путалось, разсказывало про событія вкривь и вкось, словомъ мѣшало, служа иногда посмѣшищемъ для прикомандированныхъ къ арміи иностранцевъ. А за всѣмъ этимъ, въ тылу— компанія жидовъ, снабжавшихъ армію дрянной провизіей. Повсюду карманная, любовная или карьерная мечта, вплетавшаяся въ служеніе родинѣ. Все это можетъ быть хорошо въ какой-нибудь Бразиліи или Аргентинѣ, гдѣ кафешантанные генералы командуютъ фельетонными войсками. Но у насъ это было и ново, и гадко. Создался быстро типъ военнаго репортера, привиравшаго что угодно и получавшаго гонораръ насчетъ нашихъ пораженій. Словомъ, военная богема у насъ расцвѣла, какъ могла бы она расцвѣсть въ какой нибудь Франціи съ ея правительствомъ изъ проходимцевъ.

Въ началѣ августа я отправился, какъ всегда, на черноземъ и по старой памяти заѣхалъ въ Животинное. Тамъ было весело и людно. Погода чудесная, обѣ молодыя четы на лицо. Младшій братъ, Володя, пріѣхалъ въ Россію въ отпускъ, и всѣ мы повѣсничали, и женатые и холостые, какъ будто намъ только что минуло двадцать. Помню какое-то представленіе въ Воронежѣ. Давали, кажется, «Грозу» куда мы поѣхали цѣлымъ обществомъ и послѣ, неизвѣстно почему,

захотѣли устроить ужинъ въ честь актрисы, недурно сыгравшей Катерину. Помню тоже, что насъ къ этой актрисѣ не пустили, сказавъ, что у нея сидитъ какой-то господинъ, фамиліи котораго не помню: допустимъ, что эта фамилія была Бобрищевъ. Изъ-за него вышелъ потомъ прекомичный инцидентъ. Когда я, недѣли двѣ спустя, ѣхалъ въ Саратовъ съ младшимъ Веневитиновымъ, мнѣ пришлось изъ Козлова телеграфировать о чемъ-то Мишѣ и вздумалось прибавить въ телеграммѣ слова: «кланяйся Бобрищеву, если его увидишь». Въ эту самую минуту подходитъ ко мнѣ давнишній нашъ знакомый, князь Енгалычевъ, въ то время тамбовскій губернскій предводитель, и видитъ въ телеграммѣ, что упомянуто о Бобрищевѣ.

— Какъ?—воскликнулъ онъ,—вамъ извѣстно гдѣ Бобрищевъ, вы съ нимъ знакомы?

— Что такое, князь?—спросилъ я въ недоумѣніи.

— Попросту то, что Бобрищевъ—членъ нашей управы, и мы тщетно его розыскиваемъ: онъ увезъ съ собою изрядную сумму земскихъ денегъ...

Право, мнѣ никогда такъ не грозилъ арестъ, какъ въ эту минуту: Енгалычевъ все хотѣлъ получить отъ меня дополнительныя свѣдѣнія объ этомъ Бобрищевѣ, ему не вѣрилось, что это было случайное совпаденіе именъ.

Саратовъ мнѣ показался новымъ американскимъ городомъ, чѣмъ-то вродѣ Чикаго въ зача-

точномъ видѣ. Улицы съ пятиэтажными домами и асфальтовыми тротуарами, рядомъ съ такими, гдѣ тротуаровъ вовсе не было, и вмѣсто домовъ—лачуги. Гостинница огромная, подъ стать европейской столицѣ, ковры великолѣпные и мебель—тоже, а звонки не дѣйствовали, и по стѣнамъ коегдѣ ползали отечественные тараканы. Столовая огромная, въ два свѣта, кушанья хоть куда, а все-таки чувствуется запахъ размашистыхъ купеческихъ пирушекъ. И сама Волга размашиста. Цѣлая дюжина пароходовъ, которымъ плыть хотя бы по Миссисипи; на берегу чудный вокзалъ съ прекрасной терассой, гдѣ мы разъ съ Веневитиновыми—пріѣхалъ въ Саратовъ и старшій—провели чуть не цѣлую ночь подъ открытымъ небомъ. А противоположный берегъ какой-то неопредѣленный, неоформленный. На вокзалѣ, несмотря на его внѣшній европеизмъ, все тѣ же вѣчныя приволжскія арфистки и все то же гнусное приволжское пьянство.

Помню, какъ разъ, пока мы обѣдали, пришло извѣстіе объ ужасной третьей Плевнѣ. Злую новость вывѣсили на стѣнѣ. Одинъ за другимъ ходившіе въ столовую прочитывали мрачную телеграмму. Кровавая неудача поразила насъ, какъ неожиданный ударъ грома. Не помню, чтобы послѣ какая-нибудь иная вѣсть, хотя бы изъ хроники недавней революціи, произвела такое ошеломляющее впечатлѣніе. Какимъ это образомъ, съ прекрасными войсками, сумѣвшими зимой перевалить

черезъ Балканы, мы терпѣли неудачу за неудачей—оставалось зловѣщей загадкой. По одиночкѣ почти всѣ—герои, а въ совокупности...

Изъ Саратова мы поднялись вверхъ по Волгѣ до Хвалынска, въ девяти верстахъ откуда было одно имѣніе, недавно доставшееся Веневитиновымъ. На пароходѣ не было почти никого, и главное удовольствіе немногихъ пассажировъ ограничивалось ѣдой, въ самомъ дѣлѣ прекрасной. Любоваться положительно нечѣмъ; слѣва—голыя, пустынныя высоты, лишенныя всякихъ изгибовъ, а стало быть—и всякой привлекательности. Справа—безформенные низовые луга, тоже пустынные. За то по самой Волгѣ то и дѣло сновали пароходы. Могучая масса воды—иной разъ берега не видно съ парохода—да яркое, голубое, осеннее небо—некрасивымъ это назвать нельзя. Однообразно оно только ужъ очень. И на берегу жизнь тамъ только виднѣлась, гдѣ мы подъѣзжали къ какой-нибудь пристани. Саратовское имѣніе Веневитиновыхъ—гладкая черная скатерть, надъ которой высились нѣсколько приземистыхъ строеній. Кругомъ ни одного деревца, а дохода, кажется, ни одной копейки. Производило оно грустное впечатлѣніе, и не мудрено, что владѣльцы съ нимъ разстались вскорѣ.

Разстались и мы. Я вернулся въ Хвалынскъ, чтобы оттуда черезъ Саратовъ проѣхать въ образцовое имѣніе генера Ребиндера, Шебейкино, куда меня давно приглашала моя кузина—жена гене-

рала. Но не тутъ-то было. Пароходы внизъ гдѣ то застряли въ пути, и послѣ трехъ часовъ, проведенныхъ въ скучномъ ожиданіи на Хвалынской пристани, я махнулъ рукой на свои проекты и сѣлъ на другой пароходъ, ѣхавшій вверхъ, чтобы съ нимъ добраться до Сызрани. На этомъ пароходѣ я уже былъ совсѣмъ одинъ. И въ Сызрани тоже я могъ вполнѣ насладиться одиночествомъ. До отхода поѣзда ждать приходилось почти цѣлый день. Мнѣ припомнился невольно образъ жизни египетскихъ пустынниковъ: ни одного человѣка знакомаго, ни одной книги, а газеты все старыя, и въ цѣломъ городѣ рѣшительно не на что посмотрѣть. Неизвѣстно почему, Сызрань въ трехъ верстахъ отъ пристани и три эти версты самой отвратительной дороги, а до станціи почти такъ же далеко. Чтобы скоротать время, можно было развѣ придумать какое-нибудь необыкновенное преступленіе, либо заняться угрызеніями совѣсти. Но совѣсть у меня на зло молчала. До Тулы, куда я собирался къ своему двоюродному брату, было полтора дня пути. Я изготовилъ себѣ запасъ терпѣнія. Къ счастью, на первой же станціи слышу знакомые голоса—это были опять Веневитиновы, ѣхавшіе къ себѣ домой.

Тульская губернія—совсѣмъ не то, что Тверская. Вдоль всей линіи отъ Ряжска до самой Тулы идетъ справа и слѣва непрерывный рядъ усадебъ. Есть изъ нихъ и крупныя, есть и такъ себѣ. Но все это настоящія усадьбы, гдѣ живутъ

и хозяйничаютъ болѣе или менѣе толково. Такъ, по крайней мѣрѣ, было въ концѣ 70-хъ годовъ. Теперь, вѣроятно, благотворная дѣятельность крестьянскаго банка кое-кого изъ владѣльцевъ выгнала изъ насиженныхъ гнѣздъ. Отъ имѣнія моего двоюроднаго брата «Присадъ» было рукой подать—версты три не больше—до шести или семи такихъ гнѣздъ, относительно благоустроенныхъ. Разумѣется, такая близость вызывала общеніе, и рѣдкій день проходилъ безъ того, чтобы не заѣхалъ кто-нибудь изъ сосѣдей или мы вдвоемъ не отправились къ одному изъ нихъ. Когда я осенью вернулся въ Петербургъ, томительное, угнетенное настроеніе надъ нимъ тяготѣло. Никогда ни прежде, ни послѣ такого дружнаго уныния мнѣ не приходилось увидать даже въ ужасные дни, предшествовавшіе катастрофѣ 9-го января. И мигомъ все разсѣялось. Я обѣдалъ у графини Медемъ, когда разнеслась по городу вѣсть о взятіи Плевны. Подробностей еще не было. Узнали о нихъ лишь на слѣдующій день. И сразу поднялась волна увѣренности въ побѣдѣ, совершенно такъ же, какъ иной разъ въ нѣсколько часовъ мѣняется погода, и солнце и тепло смѣняютъ нависшія-было тучи. Всю зиму было такъ же: шли отъ побѣды къ побѣдѣ, и требованія росли за одно съ успѣхомъ вплоть до С.-Стефанскаго тяжкаго сидѣнія. Даже не молодые, болѣе чѣмъ трезвые люди не могли воздержаться отъ нетерпѣнія, когда передъ самыми воротами Константинополя приш-

лось отказаться отъ близкой добычи. Ожиданія были такъ взвинчены, что неожиданная остановка заставила все позабыть, — и долгую тревогу, и славу перехода черезъ Балканы, и полное уничтоженіе турецкихъ армій. Чѣмъ менѣе понимали изъ-за чего мы остановились въ Санъ-Стефано, тѣмъ болѣе слышалось со всѣхъ сторонъ попытокъ къ разъясненію. И слово, будто бы данное королевѣ Викторіи не вступать въ Константинополь, и страхъ передъ англійскимъ флотомъ, стоящимъ въ Безикской бухтѣ, и угроза общеевропейской войны,—все это приводилось, какъ причина нашего черезчуръ осторожнаго сидѣнія. А настоящая причина была совсѣмъ иная. Кто-то у насъ вздумалъ схитрить черезчуръ. По соглашенію съ Австріей мы не должны были ей уступать ничего, если бы не переходили черезъ Балканы, и предоставляли ей Боснію и Герцеговину въ случаѣ занятія нами Константинополя. Мы придумали нѣчто среднее—остановиться передъ турецкой столицей и такимъ образомъ, соблюдая букву соглашенія, освободить себя отъ обѣщанія уступить Австріи славянскія земли. Придумано было хитро, но опытъ показалъ, что хитрость не всегда выгодна. Говорили мнѣ, что императоръ Францъ-Іосифъ заплакалъ, когда услыхалъ о нашемъ вѣроломствѣ. Не знаю, присовѣтовалъ-ли намъ Бисмаркъ такъ поступить: во-всякомъ случаѣ, онъ извлекъ изъ нашего поступка пользу, заставивъ Австрію почти позабыть о войнѣ 1866 года. Вмѣсто

того, чтобы дать ей Боснію и Герцеговину добровольно, мы должны были смотрѣть, какъ на Берлинскомъ конгрессѣ эти двѣ области ей были вручены отъ лица цѣлой Европы. Вотъ о чемъ намъ слѣдовало жалѣть и сокрушаться, а не о томъ, что Болгаріи не достались Восточная Румелія и Кавальская бухта. Тѣмъ болѣе нечего было объ этомъ плакать, что нѣсколько лѣтъ спустя, когда Восточная Румелія сама отдалась Болгаріи, прогнавъ своего генералъ-губернатора, мы чуть не объявили ей за это войну, ощутивъ въ себѣ вдругъ необыкновенное желаніе охранить святость Берлинскаго трактата, нами же нѣсколько разъ нарушеннаго. Берлинскій конгрессъ, на судъ котораго мы рѣшились представить Санъ-Стефанскій договоръ съ Турціей, казался нашимъ патріотамъ чѣмъ-то въ высшей степени позорнымъ. Позорнымъ онъ былъ въ самомъ дѣлѣ, но не потому, что урѣзали тамъ Великую Болгарію и отказали намъ почти во всемъ: мы въ сущности и не знали хорошенько, чего намъ просить, и Бисмаркъ былъ формально правъ, говоря, что онъ не могъ играть роль нашего уполномоченнаго и удовлетворять такія требованія, которыхъ мы вовсе не ставимъ. Позорнымъ было то, что мы молчаливо признали неприкосновенность нашихъ парижскихъ обязательствъ 1856-го года, согласно которымъ Турція была поставлена подъ опеку цѣлой Европы. Безъ согласія такъ называемаго концерта, ничего нельзя

было у Турціи отнять, и благодаря этому концерту, у нея отняли очень многое, и отняли какъ разъ ея же опекуны. Увѣряли часто, что Берлинскій конгрессъ былъ главной причиной усилившагося послѣ него революціоннаго террора. Едвали это совсѣмъ вѣрно. Какъ признакъ нашей слабости и малыхъ успѣховъ нашей дипломатіи, берлинскій трактатъ, конечно, не поднялъ авторитета нашего правительства и за границей, и дома. Но революція была у насъ попросту результатомъ желанія умственнаго пролетаріата втиснуться въ правящій классъ, не путемъ умственной правильной работы, а болѣе короткимъ путемъ насилія. Тогдашняя Россія страдала отъ невозможности удовлетворить эту понятную жажду карьеры на частной службѣ. Будь у насъ развитѣе промышленность и не стремись наша молодая интеллигенція главнымъ образомъ на государственную службу, движеніе, вѣроятно, улеглось бы само собою. На бѣду хотѣлось ей такихъ порядковъ, при которыхъ и для бездарности доступенъ земной рай, а это возможно какъ разъ на государственной службѣ, гдѣ много должностей, на которыхъ шевелить мозгами незачѣмъ. На самомъ дѣлѣ Россія—та страна, гдѣ умственному пролетаріату государство предоставляетъ наибольшее число вакансій; въ Германіи и во Франціи доступъ къ оффиціальной карьерѣ гораздо труднѣе и голоднѣе, чѣмъ у насъ. Но и въ Россіи свободныхъ мѣстъ не хватаетъ для

всего голоднаго пролетаріата, а когда извѣстный классъ стремится къ неосуществимому, исходъ одинъ—революція.

Какъ-бы то ни было, покушенія размножились. Славная война не ослабила воодушевленія революціонеровъ. А литература ему вторила. Толстые журналы дружно повторяли, что все лучше существующаго режима, а беллетристика второго разряда создавала все тотъ же типъ самоотверженнаго, симпатичнаго разночинца, увлекавшаго всѣхъ женщинъ и дававшаго внушительные уроки гнилымъ представителямъ правящаго класса. Беллетристикѣ, какъ нельзя лучше, содѣйствовала въ этомъ, такъ называемая, «экономическая» литература, умѣло игравшая цифрами и сочинившая ученіе о крестьянскомъ малоземельи, подмигивая на крупную собственность, какъ на причину этого малоземелья. Въ то время община была въ модѣ. Народники—эти лѣвые славянофилы—видѣли въ ней подготовительную школу соціализма и ставили передъ ней свѣчку, какъ передъ палладіумомъ русскаго крестьянства и защитницей отъ обезземеленія. Толки объ общинѣ и статистическія фантазіи мнимыхъ ученыхъ вродѣ профессора Янсона обнаруживали такую тенденціозность изслѣдованія и такое малое знакомство съ дѣйствительной деревней, что зародили у меня и у хорошаго моего пріятеля Левшина мысль о пользѣ изслѣдованія общины на мѣстахъ, дабы убѣдиться, на самомъ-ли дѣлѣ она

такъ однообразна по всему лицу русской земли, какъ думали выдававшіе себя за ея прекрасныхъ знатоковъ.

Кстати о Ф. А. Левшинѣ. Познакомился я съ нимъ давно, но сблизился теперь только: онъ состоялъ, подобно мнѣ, при министерствѣ государственныхъ имуществъ. Это былъ самый безкорыстный, самый не себялюбивый человѣкъ, котораго я когда-либо встрѣчалъ, исключительно заботившійся объ успѣхѣ начатаго дѣла, совершенно безотносительно къ личной пользѣ. Прирожденное остроуміе и необыкновенная мягкость нрава дѣлали общеніе съ нимъ въ высшей степени пріятнымъ. Мы придумали вдвоемъ создать общество вольныхъ экономистовъ и привлечь туда какъ можно болѣе людей изъ оффиціальнаго міра,—разумѣется людей знанія, опытности и ума. Первый, къ которому мы обратились, былъ А. С. Ермоловъ, тогда еще занимавшій только мѣсто начальника отдѣленія въ департаментѣ земледѣлія. А. С. Ермоловъ слылъ уже въ то время за большого знатока крестьянскаго дѣла, и первыя его работы обнаруживали драгоцѣнную наклонность къ основательному, благотворному труду. Онъ начиналъ пользоваться довольно громкой извѣстностью. Работоспособность его была внѣ всякаго сомнѣнія, любезность тоже, хотя особенно веселымъ и общительнымъ его назвать было нельзя. Онъ согласился на наше предложеніе и на первыхъ порахъ въ за-

рождавшееся общество вошли А. Н. Куломзинъ тогдашній управляющій дѣлами комитета министровъ, М. Н. Галкинъ-Врасскій и еще одинъ человѣкъ, сумѣвшій произвести на чиновный Петербургъ сильное впечатлѣніе. Это былъ В. Г. Трироговъ, саратовскій земецъ, очень неуклюжій на видъ, но драгоцѣнный для насъ, какъ много поработавшій надъ крестьянской общиной. Большинство нашихъ сочленовъ были тогда сторонниками этой формы быта. Исключеніе составляли Левшинъ и я. Впослѣдствіи общество разрослось и получило названіе «эллипсиса». Предсѣдательствовалъ въ немъ Левшинъ до самой своей смерти въ 1884-мъ году. Преемникомъ его былъ М. Н. Галкинъ-Врасскій. Просуществовало оно ровно десять лѣтъ.

Постоянные толки о такъ называемомъ земельномъ вопросѣ навели меня на мысль, что недурно было бы правительству самому предпринять изслѣдованіе на мѣстахъ для изученія мірскихъ порядковъ, какъ они существуютъ на самомъ дѣлѣ, а не на бумагѣ только. Трироговъ и подвергся съ моей стороны энергичному выпытыванію, такъ какъ самъ я изъ личнаго опыта про деревню зналъ немного. Результатомъ этого выкачиванія оказалась записка, не слишкомъ длинная, какъ оно и слѣдуетъ, которую я представилъ графу Валуеву. Прочелъ-ли ее графъ—не знаю—вѣроятно, нѣтъ—но даромъ она не пропала. Была назначена странствующая комиссія

изъ 18-ти лицъ, дабы изслѣдовать лѣтомъ 1876 г. во всѣхъ отношеніяхъ нѣсколько губерній, но главнымъ образомъ въ отношеніи крестьянскаго быта. Намъ была дана пространная инструкція съ совѣтомъ въ каждой губерніи избрать себѣ типичный уѣздъ и въ этомъ уѣздѣ типичную волость. Какъ знатокъ человѣческаго сердца, графъ Валуевъ не хотѣлъ насъ обременять и догадывался, что наши изслѣдованія произойдутъ главнымъ образомъ въ районѣ нашего лѣтняго мѣстопребыванія. Онъ предпочиталъ заранѣе съ этимъ помириться, чѣмъ задавать отъѣзжавшимъ трудно выполнимыя программы. На мою долю выпали губерніи Тверская, Тульская и Орловская, впрочемъ намѣченныя мною самимъ, и, снабженный благословеніемъ начальства, я пустился въ путь.

XXV.

Оффиціальная поѣздка въ Орелъ и Тулу.—А. В. Шереметьевъ.—Желчный Орловскій губернаторъ Боборыкинъ и Тульскій веселый губернаторъ Ушаковъ.—Князь Дмитрій Оболенскій и его образцовое имѣніе.—Село Каменка.—Спѣшное составленіе отчета и отъѣздъ заграницу.—Вильдбадъ: князь Горчаковъ и графъ П. А. Шуваловъ.—Госпожа Бишофсхеймъ и ея дочери.—Баденъ-Баденъ: княгиня Меншикова.—Госпожа Реджина и ея дочь, графиня Потоцкая.—Парижъ: выставка и неудачный балъ въ Версали.

Мой путь сперва лежалъ въ Орелъ, гдѣ слѣдовало пособрать всевозможныя справки и, такъ сказать, надышаться воздухомъ губерніи. Въ первый же день моего пріѣзда я встрѣтился въ столовой гостинницы съ милѣйшимъ А. А. Нарышкинымъ, съ которымъ мы наговорились досыта. Недавно еще, передъ войной, въ которой онъ принялъ такое блестящее участіе, Нарышкинъ былъ предсѣдателемъ Орловской губернской управы, и зналъ, разумѣется, губернію вдоль и поперекъ. Лучшаго приступа къ моей задачѣ нельзя было найти. Въ тотъ же вечеръ Александръ Александровичъ познакомилъ меня съ однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ людей, мною когда-либо встрѣченныхъ,—съ губернскимъ предводителемъ, А. В. Шереметьевымъ. Прекрасные, глубокіе черные глаза, выпуклый лобъ, полный силы, и ротъ, на которомъ запечатлѣлись, такъ

сказать, умныя слова, черезъ него проходившія. Вотъ каковы были его особенныя примѣты. Въ недюжинномъ умѣ этого человѣка я могъ убѣдиться, просидѣвъ съ нимъ вдвоемъ весь слѣдующій вечеръ. Съ его женой, одной изъ самыхъ красивыхъ женщинъ Петербурга, я былъ уже знакомъ съ предыдущаго года и довольно часто къ ней заѣзжалъ. Про Александра Васильевича я успѣлъ только пока наслышаться, и репутація его, какъ человѣка необыкновенно властнаго и умнаго, была всеобщая. Почему-то его въ Петербургѣ только прозвали le Rouge d'Orel. Шереметьевъ былъ слишкомъ уменъ, чтобы стать настоящимъ краснымъ. Въ оппозиціи онъ былъ дѣйствительно, во-первыхъ потому, что въ оппозиціи быть выгодно, а во-вторыхъ потому, что его избранію въ предводители чинили разныя оффиціальныя препятствія. Онъ увѣрялъ, какъ увѣряли многіе, что крестьяне все болѣе разоряются и отъ пьянства, и отъ того, что послѣ 19-го февраля ихъ бросили на произволъ судьбы. Въ Орлѣ увѣряли однако, что этому разоренію онъ способствовалъ самъ, помогая скупкѣ земли у однодворцевъ черезъ посредство мѣстнаго банка, котораго онъ былъ директоромъ. Но если тутъ и были нѣкоторые пріемы аферистскаго сорта, то нельзя было отрицать заслугъ Шереметьева по хозяйству губерніи вообще. Это былъ настоящій предводитель въ тѣсномъ смыслѣ, и предводительствовалъ онъ не однимъ дворянствомъ. Его

сильная воля и плодотворный умъ подчиняли себѣ все мѣстное общество. Это былъ вполнѣ типичный представитель славянскаго таланта, не всегда разборчиваго на средства, но всегда неистощимаго въ придумываніи такихъ средствъ; и въ концѣ концовъ, общественный дѣятель въ немъ стоялъ выше авантюриста: своей губерніи онъ принесъ многостороннюю пользу, а самъ умеръ почти въ нищетѣ. Мнѣ онъ послужилъ образцомъ для героя одной изъ моихъ повѣстей, для «Сильнаго человѣка».

Полнымъ контрастомъ съ Шереметьевымъ служилъ тогдашній губернаторъ Боборыкинъ. Это былъ человѣкъ желчный, завистливый и совсѣмъ безпомощный. Такъ и казалось, что всю жизнь ему дѣлали непріятности и семья, и общество, и начальство. Неудивительно, что онъ былъ сердитъ на весь міръ и всего болѣе—на своихъ Орловскихъ дворянъ. Когда я попросилъ его мнѣ оказать содѣйствіе, онъ кисло отвѣтилъ, что къ нему много уже наѣзжало разныхъ чиновниковъ, а пользы отъ этого не вышло никакой. Онъ, впрочемъ, разсказалъ мнѣ одно небезъинтересное дѣло. Крестьянамъ одной изъ казенныхъ волостей Сѣвскаго уѣзда отвели надѣлъ такимъ остроумнымъ образомъ, что сѣнокосы оказались въ пятнадцати верстахъ отъ соотвѣтствующихъ селеній, и крестьяне были вынуждены отдавать ихъ въ аренду какому-то мѣстному кулаку. Въ результатѣ—обѣднѣніе волости, отъ котораго страдала сама казна,

не получавшая съ этой волости слѣдуемую оброчную подать. Но поправить сдѣланную ошибку было якобы невозможно, потому что обиженные пропустили какой то срокъ для подачи жалобъ. И крестьяне продолжали разоряться, а казна—получать недоимки. Новый любопытный примѣръ, какъ строгое соблюденіе формальнаго закона порой еще вреднѣе его нарушенія. И почтенный губернаторъ, не разъ вѣроятно нарушавшій законъ, могъ только безпомощно разводить руками и посматривать на печальныя послѣдствія допущенной глупости. Къ Боборыкину мнѣ возвращаться не пришлось. Орловскія учрежденія, и подчиненныя ему, и не подчиненныя—снабдили меня всѣми нужными свѣдѣніями необыкновенно быстро. Особенно не могъ я нахвалиться земцами. Управа помѣщалась очень скудно, но и ея персоналъ отличался ревностью къ дѣлу и щеголялъ отсутствіемъ бюрократическихъ формальностей и проволочекъ Это было еще время, когда земскія должностныя лица получали мало, а дѣлали много. Еще лучшее впечатлѣніе вынесъ я изъ Тулы. Тамошняя управа, въ особенности ея предсѣдатель А. Н. Кислинскій, отличались тѣмъ истинно благотворнымъ трудолюбіемъ, какое бываетъ только у людей, горячо преданныхъ своему дѣлу. Земское хозяйство было образцовое, и мало по малу губернія покрывалась сѣтью шоссейныхъ дорогъ, что достигалось при самомъ низкомъ обложеніи. Правда, Тульская губернія

имѣетъ слишкомъ три милліона капитала въ своемъ распоряженіи. Но и при этомъ условіи такъ блестяще вести больничное дѣло и такъ исправно содержать мосты на своихъ прекрасныхъ дорогахъ, какъ туляки, и при этомъ брать съ десятины по 7, 8-ми копеекъ,—этого можно достигнуть только при чрезвычайно толковомъ и бережливомъ управленіи. Тульскій губернаторъ Ушаковъ не былъ озлобленъ противъ мѣстнаго общества и не произносилъ кислыхъ рѣчей по адресу правительства, какъ дѣлалъ это его орловскій коллега. Съ земствомъ онъ не имѣлъ никакихъ пререканій и непріятностей ни отъ кого не испытывалъ, да и никому не чинилъ самъ. Это былъ администраторъ изъ той сказочной эпохи, когда управлять собственно не приходилось вовсе, а достаточно было кормить губернію хорошими обѣдами и докладывать въ Петербургъ, что все обстоитъ благополучно. И въ самомъ дѣлѣ благополучно все и обстояло. Тула имѣла рѣшительно мажорный видъ, сытый и довольный. Но главная моя задача была не въ губернскомъ городѣ, а въ деревнѣ. И въ Орлѣ, и въ Тулѣ мнѣ пришлось изслѣдовать по четыре волости, и вотъ что оказалось: большинство деревень—кажется три четверти—либо вовсе не передѣляли полей съ 1858-го года, т. е. съ десятой ревизіи, либо передѣляли всего одинъ разъ по случаю разверстанія. Повсюду отдѣльные дворы обнаруживали далеко ушедшую впередъ дифференціацію. Между

числомъ наличныхъ душъ и размѣромъ подворнаго надѣла не было никакого соотношенія, и при совершенно одинаковыхъ условіяхъ въ одной и той же деревнѣ оказывались дворы, совершенно неодинаковые по достатку. Различіе зависѣло очевидно отъ семейнаго состава болѣе или менѣе благопріятнаго и отъ личныхъ свойствъ хозяина—отъ его трезвости и трудолюбія. Словомъ, тѣхъ якобы общихъ причинъ повальнаго разоренія, о которыхъ такъ много говорилось у насъ и писалось—пока не было и слѣда. Совершался лишь процессъ обогащенія однихъ, при обѣднѣніи другихъ, какой наблюдается и у некрестьянъ.

Въ Тулѣ я могъ лишній разъ убѣдиться, что аферистовъ у насъ ловкость не спасаетъ отъ бѣды, и помѣщику, будь онъ «семи пядей во лбу», аферистомъ быть не приходится. Еще въ предшествующемъ году я познакомился, пока жилъ у двоюроднаго брата, съ однимъ изъ его сосѣдей, княземъ Д. Н. Оболенскимъ, молодцомъ во всѣхъ отношеніяхъ, прыткимъ, умнымъ и ни у какой теоріи не находившемся въ плѣну. Онъ тогда пригласилъ меня къ себѣ, и хозяйствомъ его я не могъ налюбоваться. Глядѣло оно совсѣмъ по европейски. Постройки съ иголочки, служащіе, ходившіе по струнке, и въ числѣ ихъ даже пара чистокровныхъ великобританцевъ. Несмотря на весь этотъ блескъ, на все это наружное довольство, надъ княземъ стряслась невзгода; онъ взялъ на себя казенный подрядъ, поставку су-

харей въ дѣйствующую армію, и на этомъ подрядѣ, несмотря на весь свой умъ, потерпѣлъ значительный убытокъ. Его финансовое положеніе очень напоминало судьбу А. В. Шереметьева, съ которымъ онъ, кстати сказать, былъ довольно близокъ. Оба они знали хорошо, гдѣ раки зимуютъ; а между тѣмъ оба попались и потерпѣли крушеніе отъ того самаго, что озолотило-бы любого природнаго купца. Разница между ними была, такъ сказать, болѣе количественная, чѣмъ качественная. У Шереметьева натура была глубже, трагичнѣе, если можно такъ выразиться. Но результатъ выходилъ одинъ: оба пошли ко дну тамъ, гдѣ можно было пойти въ гору. Умнымъ людямъ, извѣстное дѣло, въ Россіи не везетъ. Разъ вдвоемъ съ княземъ—онъ былъ тогда епифанскимъ предводителемъ—мы поѣхали въ большое село Каменку, одно изъ имѣній графовъ Бобринскихъ. Тамъ Оболенскій собирался произвести ревизію волостного правленія. Мнѣ это было какъ нельзя болѣе кстати. Шла навозница. Оболенскій сразу замѣтилъ, что крестьяне возятъ удобреніе не на свой паръ, а на снимаемую ими въ аренду помѣщичью землю. Остановивъ одного изъ мужиковъ, князь спросилъ, почему они такъ дѣлаютъ.

Отвѣтъ стоитъ того, чтобы его запомнили.

— Да, что, ваше сіятельство, чего намъ свою земельку удобрять, когда она у насъ каждые три года въ передѣлъ идетъ. Чего навозъ транжи-

рить? А коли графское поле удобрить поисправнѣе, напередъ знаешь, что земелька графская за тобой останется...

Мы съ княземъ переглянулись. Жаль, что этого отвѣта не пришлось услышать кому-нибудь изъ сторонниковъ общины.

Къ 1-му іюля я вернулся въ свое родное гнѣздо и всячески себя торопилъ, чтобы къ концу мѣсяца прихватить и Тверскую губернію, и написать свои три доклада.

1-го августа, если не ошибаюсь, вся работа была представлена министру. Хотѣлось мнѣ воспользоваться осенью, чтобы съѣздить заграницу. Здоровье становилось плохимъ, и спѣшная работа его не поправила. Мой отдъѣздъ совпалъ какъ разъ съ дерзкимъ убійствомъ Мезенцева. Это кровавое дѣло, совершенное послѣ цѣлаго ряда болѣе мелкихъ политическихъ убійствъ, ударило наконецъ по притупившимся нервамъ общества. Лично я искренно сожалѣлъ о Мезенцевѣ, котораго зналъ съ самой хорошей стороны, какъ человѣка добраго, избѣгавшаго всякаго ненужнаго проявленія силы. Формалистомъ онъ не былъ вовсе. Онъ замѣнилъ А. Л. Потапова осенью 1876 года, когда у послѣдняго вдругъ появились начальные признаки умственнаго разстройства. Быть шефомъ жандармовъ въ концѣ 70-хъ годовъ едва ли кому могло оказаться по плечу. И Мезенцевъ, не смотря на природную доброту, поневолѣ нажилъ себѣ враговъ. Во вся-

комъ случаѣ, своей жестокой участи онъ не заслужилъ.

Моя заграничная поѣздка началась съ Вильдбада, куда меня послали принимать ванны, якобы очень полезныя для разстроенной нервной системы. Разумѣется, ванны не оказали никакого дѣйствія. Зато мнѣ дано было полюбоваться интереснымъ зрѣлищемъ: въ Вильдбадѣ находились оба наши представителя на берлинскомъ конгрессѣ: князь Горчаковъ и графъ Шуваловъ. Не знаю, были ли они въ самомъ дѣлѣ врагами, какъ утверждала молва, не помню только, чтобы я когда-либо ихъ встрѣтилъ вдвоемъ. Горчакова всегда провожалъ одинъ заграничный русскій, Миклашевскій, создавшій себѣ роль постояннаго спутника канцлера, когда тотъ выѣзжалъ за предѣлы Россіи. Этотъ Миклашевскій приходился дядей теперешнему екатеринославскому предводителю. Цѣлью жизни онъ поставилъ себѣ странствованіе по курортамъ, гдѣ онъ усердно сплетничалъ. Впрочемъ, это былъ самый милый и добродушный сплетникъ, всегда готовый оказывать знакомымъ маленькія услуги. Кромѣ Миклашевскаго, за Горчаковымъ очень ухаживала бывшая въ Вильдбадѣ съ двумя дочерьми жена богатѣйшаго Лондонскаго жида, госпожа Бишофсхеймъ, сама бывшая, кажется, родомъ изъ Вѣны. Какимъ образомъ ультрахристіанское слово «Бишофъ» попало въ еврейскую фамилію, — предоставляю объ этомъ судить охотникамъ до генеологіи. Эта,

въ сущности, очень милая, хоть и очень тщеславная дама спросила у меня разъ, зачѣмъ канцлеръ никогда не ѣздилъ въ Лондонъ.

— Англичане,—сказала она,—любятъ замѣчательныхъ людей и сдѣлали бы канцлеру достойную встрѣчу.

Князю почему-то вздумалось меня женить на одной изъ дочерей госпожи Бишофсхеймъ, — на любой изъ нихъ, разумѣется. До какой степени здѣсь принималось въ расчетъ взаимное влеченіе, показываетъ это полное безразличіе выбора. Спѣшу добавить, что обѣ жидовскія барышни вышли позднѣе за двухъ шотландскихъ перовъ,—одна за лорда Дэзарта, другая за лорда Селкилка. Помнится мнѣ комическій эпизодъ, случившійся уже въ Баденѣ, куда я поѣхалъ изъ Вильдбада. Мнѣ пришлось разъ зайти къ госпожѣ Бишофсхеймъ въ Hôtel d'Europe. Почтенная дама почему-то принялась расхваливать мнѣ свой удивительный домъ въ Парилане, наилучшей изъ улицъ Лондона. Въ подтвержденіе своихъ словъ она тутъ же показала мнѣ альбомъ, гдѣ одна изъ ея дочерей нарисовала акварелью цѣлый рядъ необыкновенно роскошныхъ покоевъ.

— Вотъ эта картина,—говорила мнѣ госпожа Бишофсхеймъ, — настоящій Рембрандъ, а это вотъ—подлинный Andrea del Sarto... А эти гобелены изъ Fontainebleau времени Франциска I. Вотъ здѣсь—цѣлая комната, гдѣ меблировка вся

прямо изъ Версальскаго дворца. А вы замѣчаете эту богатую позолоту?

Позолоты было, дѣйствительно, очень много.

— Я слишкомъ восхищаюсь талантомъ вашей дочери,—отвѣтилъ я,—чтобы имѣть возможность восхищаться убранствомъ вашего дома.

Изъ скучнаго Вильдбада я перевалилъ въ колескѣ черезъ Шварцвальдъ въ баденскую долину, до которой оттуда рукой подать. По-нѣмецки это, конечно, значитъ, что приходится цѣлыхъ полдня употребить на поѣздку.

Меня увѣряли въ Вильдбадѣ, что я вполнѣ буду вознагражденъ дикой красотой мѣстности; но это оказалось вздоромъ: мѣстность поражаетъ лишь своимъ однообразіемъ. Едва замѣтно, что поднимаешься въ гору. Шварцвальдъ здѣсь очень низокъ, и дикость ограничивается тѣмъ, что по дорогѣ сплошь тянется вересъ среди полнаго безлюдья. Правда, тѣмъ сильнѣе контрастъ съ Баденомъ, гдѣ сразу погружаешься въ людской водоворотъ. Двѣ недѣли я тамъ провелъ среди непрекращавшагося ряда прогулокъ, обѣдовъ, поѣздокъ въ веселомъ космополитическомъ обществѣ. Жизнь въ курортахъ тѣмъ хороша, что люди, видящіе другъ друга въ первый разъ, съ мѣста становятся друзьями, перескакивая черезъ скучныя формальности перваго знакомства. Душой этого международнаго кружка была княгиня Меншикова, въ ту пору—настоящая царица Бадена. Далеко уже не молодая, она была положительно

неутомима въ исполненіи добровольно принятой на себя обязанности—быть постоянной хозяйкой пестраго Бадена. Передъ нею проходила цѣлая галлерея разнообразныхъ лицъ изъ всевозможныхъ національностей—англичане, испанцы, австрійцы, русскіе; не было однихъ французовъ, забывшихъ дорогу въ Баденъ послѣ войны 1870 года. Да о нихъ и не сожалѣли. Очень все это походило на кинематографъ. Было-ли это настоящей забавой, или только усердною поддѣлкой подъ нее—не знаю. Мнѣ лично было весело, и я совсѣмъ забылъ надвигавшуюся грозную болѣзнь. По вечерамъ—погода стояла все время чудная—собирались за круглымъ столомъ, рядомъ съ табачнымъ магазиномъ,—послѣдней изъ лавокъ, выстроенныхъ на гуляньи, въ двухъ шагахъ отъ знаменитаго Конверсаціонсгауза. Здѣсь или очень близко отсюда стояло когда-то русское дерево, съ такою желчью описанное Тургеневымъ въ его «Дымѣ». Оно высохло, увѣряла княгиня Меншикова, отъ сего злословія, раздававшагося подъ его тѣнью. Было-ли въ самомъ дѣлѣ такъ ѣдко, что тамъ говорилось, не могу сказать: въ моемъ присутствіи ближняго терзали умѣренно. И не могу сказать тоже, чтобы Тургеневъ былъ особенно правъ въ своемъ описаніи. Смѣси безобразія и пошлости, глупаго свинства и грубой развязности, которой отличаются нарисованные Тургеневымъ генералы и княгини,—не было и слѣда. Слѣда не было тоже и того поклоненія, съ какимъ

будто-бы относились баденскія дамы къ французскому жидку Вердье. Русскіе, которыхъ я тамъ видѣлъ, были этому Вердье не чета. Престарѣлый канцлеръ и его ровесникъ, бывшій посолъ въ Лондонѣ, графъ Хребтовичъ, нашъ посланникъ въ Карлсруе Колошинъ, престарѣлый щеголь баронъ Икскуль, въ то время русскій посолъ въ Римѣ,—на Тургеневскихъ героевъ не походили. И та давящая скука, какую, по его словамъ, приходится разгонять при помощи раковъ, которыхъ стараются магнитизировать,—эта скука существовала въ одномъ воображеніи великаго писателя. Княгиня Меншикова говорила мнѣ, что какъ скоро онъ показывался въ многолюдномъ обществѣ, Тургеневъ поражалъ своей неувѣренной робостью, этой основной чертой почти всѣхъ его героевъ. Наболтавшись до-сыта подъ звуки бойкаго оркестра, отправлялись пить чай у баронессы Мюленсъ, русской дамы, вышедшей за голландскаго банкира, давно похороненнаго, и отличавшейся необыкновенной ревностью гостепріимства. Тамъ болтовня продолжалась далеко за полночь. Не могу не вспомнить двухъ женщинъ, составлявшихъ главную приманку Баденскаго общества: госпожу Реджина, когда то неаполитанскую посланницу въ Петербургѣ, и ея дочь—графиню Потоцкую. Привлекательность старухи Реджина составляло ея непосредственное, чисто-южное оживленіе,—вѣчный юморъ, никогда незадернутый чѣмъ-либо

похожимъ на серьезную заботу. У ея 25-лѣтней дочери эта непосредственность сказывалась даже нѣкоторой небрежностью туалета. Замѣчательно хорошенькая, графиня какъ-бы подчеркивала свою оригинальную красоту отсутствіемъ всякой изысканности въ одеждѣ. Не думаю, чтобы мать и дочь были обременены особенно глубокими познаніями. Онѣ могли блистать лишь тѣмъ, что имъ дала природа. А природа дала имъ много. Вѣчно смѣющіеся глаза госпожи Реджина и глубокіе, загадочные глаза ея дочери одинаково носили въ себѣ отпечатокъ южнаго солнца. Что могло скрываться за этимъ смѣхомъ и за этой загадочностью, право не знаю. Въ курортѣ такихъ вопросовъ себѣ не задаешь: довольно и того, что постигаешь съ перваго взгляда. Прошло немного лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ послѣдній разъ я заглядывалъ въ Баденъ, а перемѣна тамъ замѣчалась большая. Все дальше разростались виллы по склонамъ горъ, постепенно замѣняя собой прежніе крестьянскіе дворы. Тамъ, гдѣ ранѣе стояли скромныя постройки какого-нибудь «бидернгофа», теперь красовалась чугунная позолоченная рѣшетка, за которой виднѣлось искусственное убранство сада, съ обстриженнымъ газономъ, причудливыми цвѣтниками и фонтанами посреди. Происходило очевидно перерожденіе мелкой собственности: она не перестала быть мелкою, но перестала служить для нуждъ рабочаго населенія. Крестьянскія

хозяйства исчезали, уступая мѣсто прихотливой роскоши.

Послѣ трехнедѣльнаго пребыванія въ Аркашонѣ, куда меня послали принимать морскія ванны, 18-го октября я пріѣхалъ въ Парижъ, гдѣ тогда была выставка.

За три года, какъ я тамъ не бывалъ, Парижъ сталъ неузнаваемъ. Сразу видно было, что онъ попалъ въ руки новыхъ господъ. Порядокъ и чистота были уже не прежніе. Безопасность тоже оставляла желать многаго, хотя и хулиганство не достигало еще до современнаго расцвѣта. Разношерстная толца на бульварахъ держала себя тоже совсѣмъ по новому, чувствуя себя очевидно полною хозяйкой города. Помню одинъ случай, приведшій меня въ негодованіе. Разъ на Капуцинскомъ бульварѣ я увидѣлъ какого-то блузника, распродававшаго грубо намаленную каррикатуру на распятье. Не хочу припоминать здѣсь подробностей—онѣ были возмутительны;—вдругъ изъ кафе «Scribe» выскочила небольшая кучка молодыхъ людей, набросилась на блузника и стала рвать на клочки отвратительную каррикатуру. Этимъ однако дѣло не кончилось. Другая кучка, очевидно сочувствовавшая продавцу непозволительнаго рисунка, въ свою очередь напала на молодыхъ людей и затѣяла съ ними драку. Тутъ вступилась и полиція; но вмѣсто того, чтобы заступиться за правое дѣло, она приняла сторону болѣе многочисленныхъ защитни-

ковъ богохульства. Молодые люди были арестованы. Всякія комментаріи тутъ излишни. Агенты правительства, не только допускающіе на улицѣ явныя безобразія, но еще вступающіе въ союзъ съ поругателями религіи,—это достаточно говоритъ, въ какія руки перешла тогда власть. Выставка, конечно, собрала въ Парижѣ очень пестрый разноплеменный людъ. Но дѣло было не въ одной выставкѣ. И полицейскіе вели себя уже иначе. Они ухаживали за новымъ хозяиномъ Франціи,—сволочью, и ранѣе этого признававшейся ея хозяиномъ, но вступившей въ свои права по настоящему лишь недавно. Двое русскихъ, не помню, какъ ихъ звали,—вздумали было произвести бонапартистскую манифестацію на Елисейскихъ Поляхъ и были за то уведены въ кутузку. Въ одномъ изъ театровъ имѣла тогда большой успѣхъ новая пьеса «Marceau ou les enfants de la République», прославлявшая героевъ террора — Робеспьера и компанію. Два иностранца, австріецъ и англичанинъ,—тоже позабылъ ихъ фамиліи,—поѣхавшіе послушать эту новинку, не только не присоединились къ воодушевленію публики—можно себѣ представить, что это была за публика,—но въ своей ложѣ повернулись къ ней спиной, опираясь на барьеръ. Ихъ зашикали, они отвѣтили тѣмъ же. Шумъ увеличился: не шикали уже, а кричали, и въ результатѣ обоихъ иностранцевъ заарестовали въ качествѣ виновниковъ скандала. Ихъ выпустили

только по настоянію ихъ посольствъ. Стало-быть, при какомъ угодно режимѣ практикуется заключеніе подъ стражу, только не тѣхъ же самыхъ лицъ арестуютъ; и смотря потому, кого именно запираютъ, это считается либеральнымъ или реакціоннымъ. Мнѣ вздумалось разъ предложить своему извозчику десять франковъ, чтобы онъ прокричалъ громко «vive l'empereur!»—но тотъ отказался: видно, острастка была не на шутку. Про выставку говорить не стану. Про нее сказано довольно въ свое время, а миновавшія выставки—тоже, что лопнувшіе мыльные пузыри. Скажу лучше, что видѣлъ въ нашемъ посольствѣ. Тамъ открыто появлялось глумленіе насчетъ французскаго правительства. Вся канцелярія съ громкимъ смѣхомъ предлагала кому угодно пригласительный билетъ на имѣвшій быть въ версальскомъ дворцѣ огромный международный балъ. Всѣхъ приглашенныхъ было, кажется, тысячъ десять. Такъ какъ это меня не слишкомъ прельщало, одинъ изъ секретарей, кажется Нарышкинъ, мнѣ сказалъ:— Да пошлите своего слугу, коли сами не поѣдете...

Слуги я не послалъ по той простой причинѣ, что я былъ въ Парижѣ совсѣмъ одинъ. Пренебрежительный тонъ по адресу новой Франціи нисколько не скрывался, видно такой ужъ былъ данъ лозунгъ. На одной изъ стѣнъ канцеляріи красовалась акварельная каррикатура на тогдашняго перваго министра Вадингтона, человѣка, кстати-сказать, очень умѣреннаго. Хотя самъ я не

долюбливалъ Франціи, мнѣ это показалось черезчуръ безцеремонно. Какъ ни какъ, не совсѣмъ годится открыто выражать презрѣніе къ тому правительству, при которомъ акредитованъ, хотя бы это было правительство болгарское или сербское.

На балъ я, разумѣется, не поѣхалъ. Извѣстно, чѣмъ онъ окончился. Толкотня, давка, невыносимая жара, и въ концѣ концовъ—невозможность отыскать въ передней свою верхнюю одежду, зонтикъ и калоши. Кстати пошелъ проливной дождикъ. Публикѣ пришлось, не найдя извощиковъ, шлепать въ однихъ фракахъ по мокрой грязи до вокзала. Людовикъ XIV мстилъ за то, что нарушили величественный покой его дворца. Со стѣнъ этого дворца важные господа на картинахъ, должно быть, насмѣшливо улыбались на пришедшую въ ихъ пустыя хоромы безпорядочную толпу. Но всего лучше вотъ что: на обратномъ поѣздѣ въ Берлинъ я разговорился съ однимъ нѣмцемъ, кажется фабрикантомъ изъ Рейнской провинціи, слегка подтрунивая надъ неудавшимся баломъ.

— Не понимаю васъ,—отвѣтилъ онъ.—Меня наоборотъ умилило это зрѣлище. Я былъ въ тотъ вечеръ въ Версали. И несмотря на дождь и на суматоху, великое это было зрѣлище, показавшее всѣмъ тамъ бывшимъ, что теперь дворцы прежнихъ королей открыты цѣлому народу.

Какъ хотите, разговоръ между русскимъ и нѣмцемъ, гдѣ первый бранитъ Францію, а второй ею умиляется, это случай не совсѣмъ обыкновенный.

XXVI.

Зима 1878—79 года.—Эпидемія убійствъ.—Ихъ отраженіе на обществѣ.—Пріемъ у Е. В. Сабуровой, у Половцевыхъ, у княгини Юсуповой, у Щербатовыхъ.—Музыкальный вечеръ госпожи Юрьевичъ.—Покушеніе Соловьева.—Засѣданія элписиса у Левшина.—Острыя проявленія моей болѣзни.—Разгоръ съ А. Д. Градовскимъ.—Отъѣздъ за границу.—Профессоръ Эрмъ.—Обѣдъ у нашего посла Новикова.—Санаторія Шенекъ на берегу Люцернскаго озера.—Зима 1879—80 года.—Баронъ Бэтманъ.—Отъѣздъ въ Италію черезъ Бреннеръ.

ЗИМА 1878—79 года была послѣдней зимой моей свободы. Болѣзнь моя постепенно развивалась, все болѣе сковывая меня въ своихъ желѣзныхъ тискахъ. Странная это была зима, такая оживленная, какъ будто русское общество себя чувствовало свободнымъ отъ всякихъ непривычныхъ заботъ. А между тѣмъ, гдѣ то въ полутьмѣ копошились подпольные кружки, державшіе въ осадѣ полновластное правительство. Оно прибѣгало все къ большимъ мѣрамъ строгости, усиленно преслѣдуя своего невидимаго врага. И врагъ все не давался въ руки. Искали объединенную организацію въ надеждѣ словить главарей, а главари были повсюду. Революціонные союзы не переставали сплетаться и расплетаться, точно разноцвѣтныя звѣзды въ калейдоскопѣ. Утѣшали себя, что союзы эти малочисленны, и ничего не стоитъ огромной благоразумной массѣ подавить

горсть сумасбродныхъ бунтарей. Но эта благоразумная масса оставалась неподвижной и бездѣятельной, пока то здѣсь, то тамъ вспыхивали на ея поверхности одиночныя попытки взволновать ее. Неутомимая сила бунтарей зависѣла отъ двухъ причинъ: они не брезгали никакими средствами для своихъ туманныхъ цѣлей, увѣряя себя, что есть какая-то доблесть въ политическомъ убійствѣ. Среди общества, вмѣсто негодованія и ненависти, ихъ преступныя усилія вызывали одно безучастіе, иногда переходившее даже въ прямое сочувствіе. Корни революціи питались этимъ пассивно участливымъ отношеніемъ къ ней такъ называемаго благоразумнаго общества. Лучшимъ доказательствомъ, что революція находила себѣ поддержку въ окружавшей ее мнимо-благопріятной средѣ,—рѣзкій переломъ, случившійся послѣ 1-го марта. Когда отравленные плоды мнимо благороднаго движенія ясно показали себя предъ остальными глазами, симпатіи разомъ отхлынули и, не находя себѣ болѣе поддержки, революціонное движеніе зачахло. А пока въ эту злополучную зиму оно все чаще и чаще повторяло свои кровавыя покушенія. Они направлялись уже прямо противъ самого Государя Освободителя, и въ нихъ все замѣтнѣе стали участвовать представители того самаго класса, который ему былъ обязанъ гражданской свободой. Что интересы этого класса и его нужда тутъ служили лишь предлогомъ, а настоящей цѣлью движенія было поставить во

главѣ Россіи полуобразованнаго разночинца,—въ этомъ уже мало кто сомнѣвался. Неумытые идеалисты народничества спѣли свою неуклюжую пѣсенку. На ихъ смѣну пришли люди болѣе практичные, терпкіе, злые, которымъ всякая тропинка была хороша, лишь бы она вела, куда слѣдовало. И между собой революціонеры чинили жестокую расправу. То на льду Невы отыщутъ трупъ какого-нибудь неизвѣстнаго, то на улицѣ, на поѣздѣ или среди товарищеской пирушки кто-нибудь, подозрѣваемый въ измѣнѣ, получитъ въ возмездіе смертельный ударъ, часто отъ женской руки. На улицѣ въ Петербургѣ все чаще повторялись случаи анонимныхъ оскорбленій по адресу какого-нибудь нелюбимаго должностного лица, или даже попросту военнаго съ генеральскими эполетами. Терроръ достигалъ своей цѣли: онъ сбивалъ съ толку правительство, а своихъ держалъ въ строгомъ повиновеніи.

Петербургъ между тѣмъ веселился. Домашніе спектакли слѣдовали одинъ за другимъ, балы за балами. Помню очень удачное, хотя и крошечное представленіе у Е. А. Сабуровой, гдѣ поставили остроумную французскую шараду ея отца. Помню, какъ въ III-мъ дѣйствіи самъ авторъ и М. А. Сольская вдвоемъ сыграли очень недурно «pro verbe», гдѣ графъ Владиміръ Александровичъ, съ большимъ юморомъ, представлялъ влюбленнаго поэта, нѣсколько выжившаго изъ ума, а госпожа Сольская воплотила довольно условный

типъ молодой женщины, высоко стоящей надъ увлеченіями сердца, — любимый типъ Октава Фелье. Запишу кстати здѣсь небольшое стихотвореньице графа, удачно пародировавшее манеру Виктора Гюго. Вотъ оно:

Alors que vient l'Automne
Avec ces bruits confus
Et qu'on ne voit personne
Dans les bosquets touffus,
On voit dans la nuit sombre
En son humide abri
Se profiler à l'ombre,
Le nénuphar fletri,
Enfant à blonde tête
Image du bonheur,
Respecte le poète
Solitaire et rêveur:
Car au temps où nous sommes,
Dans ce monde sans arts
Du grand marais des hommes—
Il est le nénuphar.

Многочисленными были и танцовальные вечера. Какъ разъ въ эту зиму открыли свои гостепріимныя двери три роскошныхъ дома: стали принимать госпожа Половцева, княгиня Юсупова и княгиня Щербатова, вывозившая въ эту зиму свою второю дочь. Ея два сына, Алексѣй и Александръ, стали почти одновременно женихами двухъ графинь Строгановыхъ, одна изъ которыхъ приходилась дочерью графинѣ Маріи Болеславнѣ, той самой, которой я нѣкогда восхищался въ Киссингенѣ. Не видалъ

я ея никогда, но слышалъ много про ея вполнѣ разумную широкую благотворительность. Въ своемъ великолѣпномъ Немировѣ, когда-то вотчинѣ Потоцкихъ, она, какъ говорятъ, на образецъ всѣмъ богатымъ людямъ тратила щедрою рукой свои крупныя средства, на помощь бѣдному люду, но тратила не шаблонно, на одну равнодушную помощь, а сознательно и толково, никогда не забывая про свои созданія. Мой другъ А. А. Нарышкинъ повторялъ мнѣ часто, что у нея чисто мужской умъ. Какой-то иностранецъ на придворномъ балу просилъ Нарышкина его представить княгинѣ Щербатовой.

— C'est une très grande dame, à ce que j'entends,—сказалъ при этомъ дипломатъ.

— C'est bien plus,—отвѣтилъ Нарышкинъ,—c'est une grande âme.

На первомъ балу у Половцевыхъ случился довольно комическій пассажъ. Главная опора любого бала, кавалергарды неожиданно забастовали и на балъ не пріѣхали. Что было причиной этой оригинальной забастовки — не знаю: вѣроятно, они хотѣли испробовать свои силы, какъ, впрочемъ, дѣлали это не разъ и настоящіе забастовщики. Кавалергарды могли быть довольны результатомъ: ихъ тщетно дожидались до полуночи, и балъ чуть-чуть не провалился.

Княгиня Т. А. Юсупова стала въ эту зиму понемножку вывозить свою дочь. При такихъ условіяхъ, какъ рѣдкая прелесть княжны, соеди-

нявшей наружную привлекательность съ хрустальной добротой, и совершенно исключительная даже для Петербурга роскошь ея палаццо,—не мудрено, что эти пріемы имѣли большой успѣхъ.

Былъ еще одинъ домъ, куда я часто ѣздилъ—домъ госпожи Юрьевичъ, гдѣ артистическая струнка звучала заодно съ простымъ задушевнымъ гостепріимствомъ. Тамъ и концерты давались, и цыгане пѣли, и въ карты играли, и всѣ многочисленные друзья хозяйки чувствовали себя какъ дома. Е. А. Юрьевичъ обладала рѣдкимъ голосомъ и рѣдкой любезностью. Собирались у нея очень охотно. Помню одинъ ея вечеръ, совершенно выдававшійся по удачности. Давали у нея III актъ «Фауста» и V «Африканки». Никому, кромѣ нея, такая задача не была подъ силу. Всѣ это прекрасно сознавали и охотно приносили ей выраженіе своей искренней признательности.

А между тѣмъ гроза все надвигалась. 2-го апрѣля 1879 года грянуло Соловьевское покушеніе, исключительное по своей дерзости. Исключительнымъ оно было еще потому, что преступникъ оказался воспитанникомъ придворной среды: онъ былъ сыномъ какого-то служителя изъ Аничковскаго дворца и учился на казенный счетъ. Всего курьезнѣе, что ночь передъ покушеніемъ онъ провелъ у Анны Павловны Философовой,—сталобыть, опять таки, въ средѣ почти казенной. Судьба нашего правительства—находить себѣ враговъ въ собственномъ лагерѣ. Почтенную даму постигло

наказаніе не особенно строгое: ограничились тѣмъ, что ее попросили попутешествовать. Самъ я не могъ уже быть на принесеніи поздравленій въ Зимнемъ дворцѣ: на то слишкомъ подвинулась моя болѣзнь. Но, судя по разсказамъ присутствовавшихъ, эти поздравленія—странно звучитъ это слово по поводу опасности, которой подвергся Государь—большой сердечностью не отличались. У публики, даже у придворной, видно, притупились нервы. Два дня спустя у Ф. А. Левшина, на засѣданіи «элипсиса», я встрѣтилъ А. Н. Куломзина, бывшаго тогда товарищемъ министра государственныхъ имуществъ, и спросилъ у него, какъ онъ объясняетъ себѣ поразительное хладнокровіе общества въ виду опасности, грозящей ему самому. Отвѣтъ Куломзина стоитъ записать.

— Настоящаго антагонизма между нами и революціонерами нѣтъ, вотъ въ чемъ дѣло,—сказалъ онъ.—Непрерывная цѣпь связываетъ людей самыхъ благонамѣренныхъ съ заговорщиками...

А. Н. Куломзинъ былъ совершенно правъ. Оппозиціонный духъ чувствовался въ самой правительственной средѣ. Люди, слегка задѣтые какой-нибудь оффиціальной безтактностью, либо недовольные системой классическаго образованія, бранили правительство огуломъ, совершенно забывая, что все ихъ существованіе съ этимъ правительствомъ связано. Даже тѣ, которымъ не на что было жаловаться, и которые только смотрѣли

съ боку, со стороны, какъ производились разные недосмотры и неловкости, не воздерживались отъ насмѣшекъ и порицаній. Въ этомъ и была опасность: она заключалась въ отсутствіи сознательной поддержки, а не въ силѣ нападенія. Это ярко обнаружилось, между прочимъ, весною 1879 года. Вновь назначенный ген.-губ. Петербурга, герой Балканской кампаніи І. В. Гурко—распорядился, чтобы передъ воротами всѣхъ домовъ круглые сутки сторожили дворники. Оригинальный видъ столицы, гдѣ въ продолженіе цѣлой прозрачной весенней ночи у каждаго дома, лежа, караулилъ спящій дворникъ—носилъ отпечатокъ какой-то безпомощной испуганности. Что-то и комичное, и тревожное было въ этой безполезной предосторожности. И проѣзжавшіе по улицѣ неистощимо смѣялись надъ этимъ неуклюжимъ надзоромъ за спокойствіемъ города, не мѣшавшимъ нисколько побѣдоносному шествію революціи. Ни одного искренняго выраженія сочувствія, даже серьезнаго признака безпокойства—подмѣтить было нельзя. Зубоскальство и теперь, почти наканунѣ 1-го марта, не переставало быть любимымъ занятіемъ прирожденныхъ защитниковъ порядка.

Только что упомянулъ про свою болѣзнь. Утромъ 15-го марта вдругъ неожиданно я лишился способности ходить. Тогда еще я не привыкъ передвигаться съ чужой помощью и, въ теченіе нѣсколькихъ недѣль, долженъ былъ совсѣмъ воздерживаться отъ прогулокъ. На первыхъ по-

рахъ я воображалъ, что это—слабость временная, и не могъ разстаться съ надеждой на будущее. Мало-по-малу силы возвращались, и мнѣ все мерещилось ихъ полное возстановленіе. Правды мнѣ, конечно не говорили ни врачи, ни родные. Мнѣ только посовѣтовали за-границей повидаться съ двумя тогдашними знаменитостями, съ Эрбомъ и Шарко. И въ послѣднихъ числахъ мая мы отправились сперва въ Гейдельбергъ. Но прежде чѣмъ говорить про свое путешествіе, не могу не упомянуть о разговорѣ съ профессоромъ Градовскимъ, происходившемъ у меня за нѣсколько дней до отъѣзда. Съ А. Д. Градовскимъ я познакомился еще въ прошлую зиму. Это былъ человѣкъ необыкновенно пріятный въ обращеніи, мягкій безъ всякаго двуличія, полный доброжелательства и всегда умѣвшій выслушивать собесѣдника. Либералъ въ настоящемъ смыслѣ слова, онъ могъ развѣ грѣшить нѣкоторой теоретичностью, но ему и въ голову не приходило, что насиліе когда-либо можетъ быть полезнымъ средствомъ для ускоренія такъ называемаго прогресса. Въ этотъ прогрессъ онъ вѣрилъ немножко по-профессорски; голова его не вполнѣ умѣла обходиться безъ шаблона. Но покупать какія-либо свободы цѣной крови онъ, конечно, не мечталъ. Доживи онъ до нашихъ дней, онъ былъ бы, вѣроятно, октябристомъ. На многихъ пунктахъ мы съ нимъ вполнѣ сходились. И вотъ, когда онъ всталъ, прощаясь со мной, и не подозрѣвая, разумѣется, что мы видѣлись въ послѣд-

ній разъ, я указалъ на висѣвшій противъ насъ большой портретъ Николая Павловича и спросилъ:

— Ну скажите, Александръ Дмитріевичъ, отчего при немъ вотъ, хоть и былъ онъ крутенекъ, никакихъ попытокъ къ насильственному перевороту не было? А теперь, несмотря на то, что гораздо легче живется—эта все растущая крамола, при полномъ безучастіи всѣхъ, призванныхъ быть охранителями?

— Вотъ видите—отвѣтилъ Градовскій: при Николаѣ Павловичѣ былъ поставленъ высокій барьеръ, и всѣ знали, что онъ не опустится, и перескочить черезъ него нельзя.—Ну, и сидѣли смирно. А теперь барьеръ то опускается, то поднимается опять, и никто хорошенько не знаетъ, что дозволено, что нѣтъ: оттого-то и пробуютъ черезъ барьеръ перескакивать...

Путь нашъ лежалъ въ Гейдельбергъ къ профессору Эрбу. Много я съ нимъ провозился за первые два года пребыванія моего за границей, и долженъ отдать справедливость его добросовѣстности и знанію. Это былъ человѣкъ очень ученый и старательный, но въ то же время далеко не умный, настоящій буржуа науки. Помнится, какъ въ 1880 году мы съ нимъ разъ встрѣтились на желѣзной дорогѣ и разговорились о политикѣ. Онъ обнаружилъ полное незнакомство съ этой областью; и, замѣтивъ на моемъ лицѣ, должно быть, нѣкоторое изумленіе, онъ счелъ долгомъ сказать:

— Wissen Sie ich habe Keine Zeit mich mit allen diesen Dingen zubeschefftigen... Ich interressiere mich für mein Fach, und was nicht dazu gehört, darum bekümmere ich mich wenig.

Другими словами, жизнь сама по себѣ и наука тоже. Ученые кроты, залѣзшіе въ свою спеціальность, солнца видѣть не хотятъ. Оно имъ не нужно.

Впрочемъ, на первыхъ порахъ лѣченье мое шло довольно успѣшно. Помнится, какъ разъ въ Vöslau — мы проводили лѣто въ окрестностяхъ Вѣны — я поѣхалъ обѣдать къ нашему послу Новикову, и пока я велъ къ столу свою даму, въ моей походкѣ ничего подозрительнаго не замѣчалось. Послѣ обѣда, когда всѣ были на балконѣ, выходившемъ на дворъ, тамъ появился самородный оркестръ, скверно наигрывавшій разные венгерскіе мотивы. Были ли то словаки или цыгане, не знаю. Помню только, что въ своихъ грязныхъ дырявыхъ костюмахъ, съ своими огромными усищами они очень напоминали опереточныхъ бандитовъ. Новиковъ имъ кинулъ пригоршню мелочи, и, обратившись къ бывшему тутъ румынскому посланнику,—не помню какъ его звали—язвительно сказалъ.

— Вотъ видите, я раздаю тайные фонды, которые мнѣ присылаютъ для поддержки братьевъ-славянъ! Да, да, вотъ они братья, наши братья,— эта дырявая сволочь!—И замѣчаете тоже, какъ я щедро и тайно веду агитацію!?.

Это было довольно характерно для человѣка, котораго многіе считали за славянофила. Въ августѣ я вновь показался Эрбу, и тотъ отправилъ меня въ санаторію Шенекъ, на берегу Люцернскаго озера, гдѣ производилось водяное леченіе. Великолѣпная природа имѣла тамъ двухъ не совсѣмъ пріятныхъ спутниковъ—томящую скуку и отвратительную ѣду. Подъ предлогомъ необходимой діэты, питали насъ сухими овощами, плохою говядиной и простоквашей. На возвратномъ пути я заглянулъ въ Баденъ и 1-го ноября былъ снова въ Гейдельбергѣ. Въ Баденѣ я имѣлъ лишній разъ случай полюбоваться необыкновенной любезностью императора Вильгельма. Разъ мы сидѣли цѣлымъ обществомъ у круглаго стола и невинно занимались игрой въ домино, какъ вдругъ на галлереѣ, вдоль лавокъ, показалась улыбавшаяся фигура престарѣлаго императора. Мы всѣ поднялись съ мѣстъ; но императоръ, отвѣчая на нашъ поклонъ и улыбаясь еще болѣе, сказалъ по-французски:

— Садитесь, господа, садитесь. Пожалуйста, чтобы изъ за меня никто не безпокоился...

Въ Гейдельбергѣ, отъ нечего дѣлать, садились у меня чуть не каждый вечеръ за партію въ вистъ. Тутъ были, кромѣ моего брата, ревельскій бургомистръ г. Майеръ и богатѣйшій франкфуртскій банкиръ, баронъ Морицъ Бетманъ, владѣлецъ знаменитой «Аріадны». Какъ показываетъ его фамилія—«Beth» по-еврейски значитъ: долгъ—ба-

ронъ былъ палестинскаго происхожденія. Тѣмъ не менѣе онъ усердно бранилъ жидовъ и увѣрялъ, будто его фирма, одна только христіанская во всемъ Франкфуртѣ, много страдала отъ еврейскихъ подвоховъ. Бетманы были произведены въ бароны священной имперіи еще при Максиміліанѣ I-мъ и съ тѣхъ поръ тщательно избѣгали браковъ съ еврейками, стараясь быть въ свойствѣ съ французской знатью и съ швейцарскими патриціями. Однако, жидовскую кровь побѣдить не такъ то легко: Бетманъ носилъ на своемъ лицѣ несомнѣнные слѣды семитическаго происхожденія. Разъ я его спросилъ, какимъ это образомъ франкфуртскіе милліонеры, держащіе весь городъ въ своихъ рукахъ, допускаютъ, чтобы депутатами оттуда въ рейхстагъ являлись крайній радикалъ Зондеманъ и какой-то мало извѣстный соціалистъ.

— Разумѣется—отвѣтилъ Бетманъ—мы столь же мало питаемъ сочувствія къ соціализму, какъ и вы. Но еще болѣе соціализма мы ненавидимъ Пруссію. И вотъ почему мы не только допускаемъ, но даже поощряемъ избраніе этихъ мерзавцевъ...

На этотъ разъ леченіе Эрба оказалось неудачнымъ. И съ первыхъ же дней новаго года, онъ отправилъ меня въ Италію. Когда докторамъ уже нечего прописывать, они прибѣгаютъ къ послѣднему лекарству,—къ солнцу юга.

XXVII.

Переѣздъ черезъ Альпы.—Флоренція.—Тамошнее общество.—Мой двоюродный братъ Пандольфини.—Взрывъ въ Зимнемъ Дворцѣ и начало «диктатуры сердца».—Замѣна гр. Д. А. Толстого А. А. Сабуровымъ.—Непопулярность Толстого.—Первые шаги новаго министра.—Пребываніе въ Ливорно.—Возвращеніе въ Германію.—Гамбургъ.—Гр. Зубовъ.—Парижъ.—Шарко и его паціенты.—Похороны Бланки.—Знакомство съ двумя русскими іезутами: О. Гагаринъ и О. Балабинъ.—1-е марта.—Потеря зрѣнія.

ЧУДНАЯ лунная ночь сіяла на январьскомъ небѣ, когда мы перевалили черезъ Бреннеръ, и первые кипарисы возвѣстили мнѣ въ Ботценѣ, что мы уже въ Италіи. Но, если была тамъ прелестная, отчетливая ясность итальянскихъ очертаній, итальянскаго тепла не было и въ поминѣ. Никогда я такъ не мерзъ, какъ переѣзжая черезъ Аппенины между Болоньей и Флоренціей. Въ городѣ цвѣтовъ, куда мы пріѣхами утромъ 7-го января, стояло нѣсколько градусовъ мороза, и половина теченія Арно была покрыта ледяною корой. Въ комнатахъ гостинницы на Lungarno, гдѣ мы остановились, было всего градусовъ восемь. Но итальянецъ-слуга меня обнадежилъ, что къ полудню солнце достаточно нагрѣетъ стѣны. И, дѣйствительно, въ двѣнадцать, когда мы завтракали, всѣ окна были раскрыты, и пронизанный солнцемъ воздухъ вли-

валъ въ комнаты свѣтъ и тепло. А еще позже, въ два, публика сновала по набережной, нѣсколько часовъ передъ тѣмъ еще обледенѣлой, одѣтая совсѣмъ по лѣтнему. Такъ было и въ слѣдующіе дни. По утрамъ въ тѣни ледокъ, а въ полдень прямо жарко. Не скажу, чтобы эти рѣзкіе контрасты были особенно полезны для здоровья.

Флоренція славится праздностью. Не только тамъ не дѣлаютъ ничего, но такъ и чувствуется, что всѣмъ дѣлать нечего. Пріѣзжіе толпятся въ галереяхъ, но постояннымъ жителямъ галереи давно успѣли надоѣсть. Удивляюсь, впрочемъ, какъ они со скуки не умираютъ. Въ четыре—обязательная поѣздка въ «Cascine»—эти «Кашине»—длиннѣйшій городской паркъ, состоящій всего изъ двухъ параллельныхъ аллей,—потомъ визиты, потомъ званый обѣдъ у кого-нибудь и неизбѣжный вечеръ, гдѣ все тѣ-же люди ежедневно сталкиваются, чтобы перебирать все тѣ-же давно устарѣвшія сплетни. Интересовъ никакихъ. Большинство такъ привыкло къ искусству, назойливо обступающему всякаго, что имъ уже не занимаются. Городскихъ дѣлъ нѣтъ: чистоту улицъ поддерживаетъ природа, а не самоуправленіе. Честолюбія тоже нѣтъ—палата не здѣсь, и въ министры никто не попадаетъ. Да и попадать незачѣмъ: политическіе дѣятели окружены такимъ презрѣніемъ, что ихъ нигдѣ не принимаютъ. Литературы нѣтъ почти вовсе. Нѣтъ и музыки, несмотря на музыкальность итальянцевъ. Кон-

цертовъ не бываетъ почти никогда, а опера, притомъ скверная, бываетъ урывками, когда наѣдетъ случайно набранная труппа. Единственный интересъ — погода и амуры. Хвастаютъ другъ передъ другомъ, что сегодня «una bellissima giornata»,—а это бываетъ почти каждый день. Не менѣе банальны и любовныя интриги, по крайней мѣрѣ среди «высшаго» флорентинскаго общества. Про нихъ знаютъ всѣ, и всѣ разсказываютъ. Строгостью нравовъ Флоренція не отличается, но незаконные союзы здѣсь долговѣчны. Ихъ продолжительность служитъ имъ узаконеніемъ. Любовь, обросшая мхомъ, почтенна. Немудрено, что при отсутствіи всякаго дѣла жители столицы Медичисовъ совсѣмъ перемѣшались съ иностранцами, и Флоренція превратилась въ зимній курортъ — «a winter city», какъ назвала ее англійская романистка Уйда.

Въ числѣ этихъ иностранцевъ блистала тучная американка, миссисъ Ван-Скай и еврей, мистеръ Джонъ Майеръ, впослѣдствіи произведенный въ маркизы Мартиньяни. И эти болѣе чѣмъ сомнительные члены международной аристократіи здѣсь чувствуютъ себя, какъ рыба въ водѣ. Они принимаютъ охотно, денегъ не жалѣютъ, и ѣздятъ къ нимъ всѣ. Какая-то семья греко-руссовъ Папудовъ принадлежала къ этому сонму флорентинскихъ звѣздъ. Принадлежалъ къ нимъ и бывшій французскій посолъ въ Петербургѣ, баронъ Талейранъ, физіономіей напоминавшій лавочника, съ женой,

рожденной Бенардаки, и нѣкая миссисъ Verity, дочь мѣстнаго банкира, еврея Фенци. Всѣ, у кого есть средства, и кто больше не имѣетъ положенія на родинѣ,—находятъ легкое убѣжище въ этомъ пестромъ раю космополитической знати.

Здѣсь, конечно, есть и люди въ самомъ дѣлѣ интересные по своимъ личнымъ свойствамъ. Была тамъ, между прочимъ, замѣчательнаго ума женщина, Марія Александровна Зубова, внучка извѣстной пѣвицы Каталани, въ юные дни тоже обладавшая чуднымъ голосомъ, а теперь, въ болѣе зрѣлыхъ лѣтахъ, отличавшаяся необыкновенной оригинальностью взглядовъ и характера. Нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ она проживала въ Женевѣ, принадлежа тамъ къ кружку высоко-культурныхъ русскихъ дамъ, которыхъ можно было-бы сравнить съ музами, если-бы онѣ всѣ не были замужемъ. Божкомъ этого кружка—у всякаго дамскаго кружка непремѣнно есть мужской божокъ—былъ извѣстный кальвинистскій богословъ Ernest Navilla. И замѣчательно, что г-жа Зубова, поклонница Навилля, какъ разъ подъ вліяніемъ его проповѣди обратилась въ католицизмъ. Католичкой она была, впрочемъ, очень терпимой, но ея вторая дочь, вышедшая замужъ за какого-то пьемонтскаго графа, доводила католическій фанатизмъ до того, что считала грѣховнымъ переписываться съ иновѣрцами, и при этомъ она даже не была глупа.

Водился у меня во Флоренціи двоюродный братъ, графъ Пандольфини, приходившійся бра-

томъ даже роднымъ Алешѣ Хитрово, но тѣмъ не менѣе по семейнымъ соображеніямъ носившій итальянскую фамилію и владѣвшій итальянскимъ майоратомъ. У него была очень милая и очень богатая жена родомъ англичанка и очень красивый палаццо, построенный по рисункамъ Рафаэля.

Разъ я къ нему зашелъ въ холодный январскій день и засталъ его уткнувшимся въ уголъ кабинета рядомъ съ пустымъ каминомъ, въ теплomъ пальто и, кажется, въ калошахъ на ногахъ. «Не снимайте верхней одежды»,—сказалъ онъ мнѣ: въ комнатѣ было далеко не тепло,—«мы, итальянцы, разсчитываемъ на солнце, чтобы насъ согрѣвать»...

Невольно я взглянулъ на холодный каминъ и подумалъ, что не мѣшало-бы тамъ зажечь нѣсколько полѣньевъ. Удивительный народъ эти южане: въ убранствѣ дома у нихъ барская роскошь, и даже роскошь самая большая—щедро расточаемое пространство,—а экономничаютъ они на топкѣ. И картины со стѣнъ будто насмѣшливо смотрѣли на хозяина. А все-таки это былъ милѣйшій, совершенно теплый и добрый человѣкъ: его согрѣвало отзывчивое сердце, эта лучшая изъ нравственныхъ топокъ. Не могу сказать, чтобы для меня, лишеннаго возможности по причинѣ болѣзни много кружиться въ обществѣ и посѣщать музеи, зима во Флоренціи доставила много наслажденія. Вѣчныя прогулки то по Кашинамъ, то по Viale de'Colli мнѣ скоро

надоѣли до чрезвычайности. Совершенно безцѣльная и ничѣмъ не наполненная жизнь подавляла своимъ пустымъ однообразіемъ. Одной хорошей погоды недостаточно. И вотъ, жизнь наполнилась вдругъ безпомощной тревогой по родинѣ. Произошелъ взрывъ въ Зимнемъ дворцѣ, встрѣченный неискренними сожалѣніями западной печати, сожалѣніями, сквозь которыя просвѣчивало злорадство, а черезъ нѣсколько дней послѣдовало назначеніе Лориса. Началась «диктатура сердца», и началась совсѣмъ благополучно. Первые шаги диктатора сопровождались почти всеобщимъ сочувствіемъ. Назначеніе А. А. Сабурова, высиженнаго своей женою въ государственные люди, возбудило даже надежды, очень скоро, впрочемъ, испарившіяся. Его смѣхотворная поѣздка по Россіи съ выраженіями симпатій земскимъ лѣвымъ вызвала насмѣшки даже среди этихъ лѣвыхъ. Неискренность и неловкость чувствовались въ этой либеральной шумихѣ. Миша Веневитиновъ написалъ изъ Петербурга, что его двоюродный братъ, Андрей Александровичъ, очень не любитъ Каткова, и что поэтому онъ мнѣ не совѣтуетъ писать въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Мнѣ пришлось только лишній разъ пожать плечами и ожидать дальнѣйшихъ событій. А событія были все въ томъ-же родѣ: не прекращающіяся попытки вылѣчить русскую политическую болѣзнь невинными средствами, да притомъ еще съ примѣсью шарлатанизма. Помадою и сахарной водой кра-

молы не подавишь. Лорисъ былъ очень умный и очень храбрый человѣкъ—онъ доказалъ послѣднее, когда на него набросился убійца—но есть люди, не боящіеся ни кинжала, ни пули, а готовые растаять передъ рукоплесканіями.

Всеобщая радость при назначеніи Сабурова вызывалась тою ненавистью, съ которой большинство русскихъ относились къ его предмѣстнику, гр. Д. А. Толстому. Привѣтливымъ и симпатичнымъ графа, въ самомъ дѣлѣ, назвать было трудно: это была сама ничѣмъ не прикрашенная сухость. Но въ нападкахъ по его адресу много было фальшиваго и преувеличеннаго. Рѣдкій изъ нашихъ министровъ когда-либо отличался такою послѣдовательностью, такою твердостью программы. Его обвиняли многіе, въ томъ числѣ и его коллеги, что возведенный имъ въ главу угла классицизмъ ведетъ къ систематическому оглупѣнію юношества. Говорилъ мнѣ это, между прочимъ, Э. В. Фришъ. Но едва-ли все дѣло не сводилось къ бездушному формализму преподаванія и къ неудачному подбору учителей. Родныхъ классиковъ у насъ было немного, и греческую культуру насаждать у насъ часто приходилось выписаннымъ изъ-за границы чехамъ. Основательное изученіе писателей замѣнялось въ гимназіяхъ зубреніемъ сиктаксиса. Немудрено, что классицизмъ, обставленный чисто формальными трудностями, сталъ ненавистенъ и ученикамъ, и ихъ родителямъ. Проваливаться никому не пріятно, а идеаломъ русской

молодежи всегда было завоеваніе диплома безъ труда.

Но узкія ворота въ храмъ просвѣщенія едва ли не были по идеѣ очень полезны: они преграждали путь въ университетъ той широкой волнѣ невѣжественной бездарности, которая теперь вливается каждый годъ въ нашу высшую школу. Цѣль университетскаго преподаванія едва ли въ томъ, чтобы открывать широкій доступъ въ государственную службу юношамъ, у которыхъ одинъ ярлыкъ знанія, и которые вѣчно предъявляютъ государству неисполнимыя требованія, какъ будто на немъ лежитъ обязанность обезпечивать на казенный счетъ голодные аппетиты всякой посредственности. Къ сожалѣнію, плотина, которую гр. Дмитрій Андреевичъ старался противопоставить наплыву незнанія, дѣлалась ненавистною вслѣдствіе ненужнаго формализма, установленнаго графомъ въ бытѣ воспитанниковъ гимназій, сопровождая каждый ихъ шагъ надоѣдливымъ стѣснительнымъ надзоромъ.

Мы покинули Флоренцію въ маѣ, когда въ ней стало ужъ очень душно. Воздухомъ можно было дышать только вечеромъ. Безчисленные свѣтляки носились въ потемнѣвшемъ воздухѣ, и ароматъ цвѣтовъ былъ почти одуряющій. «Развѣ этого для жизни недостаточно,—говаривалъ мнѣ Пандольфини,—особенно когда днемъ отъ духоты ни за что нельзя приняться»?

Въ половинѣ мая мы уѣхали на берегъ въ Ливорно въ ожиданіи пріѣзда моего младшаго брата. Ли-

ворно—городъ самый заурядный: прямыя улицы, ровные дома и на берегу моря рощица изъ пиній, такая маленькая, что можно было въ ней сдѣлать какіе нибудь полтораста шаговъ, оставаясь въ полупрохладѣ. А когда днемъ проѣдешься по берегу, такъ печетъ солнце, что безъ свѣтлаго зонтика обойтись нельзя. Зато вечеромъ послѣ заката такая наступала прохлада, что надо одѣваться почти по зимнему. 1 іюля по новому стилю отправился я черезъ Пизу и Геную обратно въ Германію, и путешествіе вполнѣ меня вознаградило за Ливорнскую скуку. Чудная лунная ночь серебрила море, пока поѣздъ мчался по Ривьерѣ, Riviera di Levante, и сквозь высѣченныя въ скалахъ арки сонныя жемчужныя волны плескались о самое полотно. А кое-гдѣ, въ Сестро, напримѣръ, или въ Спеціи, голые утесы разступались—и по разсѣлинѣ южная природа расцвѣтала во всей роскоши своего убранства. Не спалъ я всю ночь, такъ это было дивно, и не понимаю, почему никто не останавливается въ этой восточной половинѣ Ривьеры.

Въ Гомбургѣ, гдѣ я провелъ лѣто, мнѣ пришлось подружиться съ человѣкомъ, мимо памяти котораго не могу пройти равнодушно. Это былъ графъ Гавріилъ Николаевичъ Зубовъ, братъ извѣстной основательницы Георгіевской общины, умной и энергичной графини Е. Н. Гейденъ. Съ сестрой онъ помѣнялся ролями: она взяла на свою долю мужскія качества дѣятельнаго почина и желѣзной воли. Зубовъ сорокъ слишкомъ лѣтъ ос-

тавался настоящимъ ребенкомъ по хрустальной чистотѣ сердца, ни въ комъ не подозрѣвавшемъ зла. А зла онъ видалъ въ жизни достаточно. Довѣрчивость къ бывшему товарищу по полку его побудила на себя принять отвѣтственность за долги пріятеля. И крупное состояніе графа было унесено, благодаря этому излишку самоотверженной доброты: у него остались крошечныя средства, на которыя онъ скромно лишь могъ ютиться въ бѣдной комнатѣ почти подъ чердакомъ. Связи и знакомства онъ, однако, сохранилъ: можно безъ преувеличенія сказать, что онъ стоялъ на пріятельской ногѣ съ цѣлой Европой, оставаясь вполнѣ русскимъ, несмотря на этотъ космополитизмъ. Зубовъ былъ неистощимъ на забавные разсказы, никогда однако не походившіе на сплетни, хоть онъ и зналъ всю подноготную почти всѣхъ европейскихъ столицъ. Природная доброта, не затронутая горечью, не давала ему злословить.

Въ Гомбургѣ тоже мнѣ опять пришлось встрѣтиться съ старикомъ Соллогубомъ. Но это не былъ уже тотъ веселый, брыжжущій остроуміемъ Соллогубъ, котораго я зналъ прежде. Мѣсто первой его жены, настоящаго ангела кротости, которую Соллогубъ цинично называлъ «une Madonne manquée qui a eu le tort de me prendre pour un Joseph», мѣсто графини Софьи Михайловны заняла какая-то авантюристка, непонятно почему успѣвшая плѣнить старика. Она была немолода ужъ, не особенно красива и большимъ изяще-

ствомъ не отличалась. Человѣкъ съ такимъ тонкимъ вкусомъ, какъ старый графъ, по настоящему ею не долженъ былъ увлечься. Должно-быть, богиня мести ее послала Соллогубу, какъ нравственную кару. Дрянная, некультурная женщина обращалась съ избалованнымъ поэтомъ по начальнически, выказывая ему открыто презрѣніе, и онъ это терпѣливо сносилъ. Сохранились въ немъ еще, какъ догоравшіе уголья, отрывочные блестки ума и таланта. Но движущая пружина въ немъ была подорвана. Онъ и не подозрѣвалъ, что самъ надъ собою произнесъ и привелъ въ исполненіе смертный приговоръ. Да онъ и скончался, кажется, два или три года спустя. Больше я съ нимъ не встрѣчался.

Мое лѣченіе шло плохо. Появлялись уже первые признаки слабости зрѣнія, и походка все ухудшалась. Пришлось вспомнить совѣтъ петербургскихъ врачей и повидаться съ знаменитымъ Шарко. Такъ и было сдѣлано. Въ первыхъ числахъ ноября я пріѣхалъ въ Парижъ. Шарко меня поразилъ бонапартовскимъ складомъ своей головы. Его черты удивительно напоминали лицо Наполеона, хотя, какъ мнѣ говорили, онъ былъ еврей по происхожденію. Шарко находился тогда на самомъ порогѣ своего громкаго открытія, и, какъ всѣ очень талантливые ученые, страшился вступить въ невѣдомую область, которую собирался завоевать. Онъ не вѣрилъ еще въ гипнотизмъ и разсказывалъ мнѣ про свои, никогда не

удававшіеся, опыты съ ясновидящими. Но это былъ человѣкъ въ высшей степени доступный всякой новой истинѣ, «open to argument», какъ говорятъ англичане. Въ эту зиму съ нимъ и произошло научное откровеніе. Въ эту зиму тоже онъ совершалъ свою поѣзду въ Россію, откуда вернулся въ восхищеніи отъ оказаннаго ему пріема. Тамъ онъ наткнулся на извѣстный случай съ молодой графиней Капнистъ, въ одно мгновеніе вылѣченной отъ продолжавшейся нѣсколько лѣтъ слабости суставовъ, пока она отирала пыль съ фамильной иконы Божьей Матери. Шарко останавливался какъ-бы въ недоумѣніи передъ этимъ случаемъ, толкуя его, разумѣется, по своему.

— «Elle n'a pas voulu m'attendre»,—шутилъ онъ по этому поводу: –«il aurait été plus gentil de sa part de me laisser la gloire de sa guérison».

Шарко собирался поѣхать въ Полтавскую губернію къ Капнистамъ, какъ вдругъ узналъ о неожиданномъ излѣченіи молодой дѣвушки.

Лѣченіе у знаменитаго профессора дало одинъ только результатъ, и притомъ довольно плачевный—оно ускорило минуту, когда потухли мои глаза. Зима въ Парижѣ и лѣто въ Гомбургѣ, куда меня снова отправили, были рядомъ долгихъ мучительныхъ дней постепеннаго возрастанія окружавшаго мрака. Да и съ двумя другими, хорошо мнѣ знакомыми паціентами Шарко было тоже. Въ Парижѣ я встрѣтилъ двухъ своихъ

пріятелей—Николая Корфа, у котораго тоже потеряно было зрѣніе, и Соломона Мартынова, пораженнаго нервною болѣзнью, подобною моей. Жалко было смотрѣть, съ какими усиліями, опираясь на двѣ трости, онъ плелся по тротуару. И его ясный, тонкій умъ грозилъ помутиться. Мартыновъ сознавалъ это прекрасно и съ удивительнымъ хладнокровіемъ силился выкарабкаться изъ ямы, куда попалъ. Убѣдившись, что Шарко ему не помогаетъ, онъ имѣлъ мужество съ нимъ разстаться и обратился къ другой знаменитости, къ Фурнье, у котораго методъ лѣченія былъ совершенно иной, чѣмъ у Шарко. Мартыновъ подвергъ себя съ истинно спартанскимъ терпѣніемъ такимъ героическимъ средствамъ, которыхъ иной организмъ, пожалуй, и не выдержалъ-бы. Примѣръ этотъ убѣдилъ меня въ двухъ печальныхъ истинахъ—во-первыхъ, что медицина вовсе не наука, такъ какъ первѣйшіе ея жрецы другъ другу противорѣчатъ, а во-вторыхъ, что себя щадить никуда не годится. Либо панъ, либо пропалъ. И Мартыновъ оказался паномъ: много лѣтъ ужъ онъ занимаетъ мѣсто члена международнаго суда въ Египтѣ и до сихъ поръ путешествуетъ по Европѣ совершенно одинъ. Слугу ему замѣняетъ все еще трость.

Въ Парижѣ я лишній разъ могъ убѣдиться, что уличныя волненія, такія страшныя издали, въ отчетахъ газетъ, вблизи производятъ малое впечатлѣніе. Нѣсколько дней послѣ моего пріѣзда

должны были происходить похороны—гражданскія, разумѣется—извѣстнаго анархиста Бланки. Крупный тюремный цензъ—онъ просидѣлъ подъ замкомъ большую часть жизни—обезпечивалъ ему шумные проводы въ могилу; а пресса заранѣе била тревогу, что революціонная манифестація выйдетъ необыкновенно страшною. Страшною она, пожалуй, и вышла. Полтораста тысячъ человѣкъ разной сволочи провожало его колесницу съ подходящими случаю пѣснями. Революціонный ритуалъ былъ выдержанъ въ высшей степени. Но приняты были мѣры, и едва какой-то господинъ на кладбищѣ сталъ произносить рѣчь о необходимости покончить разъ навсегда съ «l'infâme bourgeoisie»—сперва полиція пошла въ аттаку на бунтарей, а когда это не удалось,—появились войска, заготовленныя на всякій случай. Одного залпа хватило, чтобы разсѣять толпу, изъ которой человѣкъ 200 были сведены въ кутузку, а нѣсколько десятковъ пали жертвою своей готовности разгромить богатые кварталы. А между тѣмъ въ этихъ кварталахъ совершившееся не произвело ровно никакого впечатлѣнія: та-же веселая публика на бульварахъ, тотъ-же сонмъ экипажей въ Булонскомъ лѣсу. На другой день только газеты со всѣми признаками ужаса возвѣстили мирному населенію, что оно было на волоскѣ отъ нешуточной опасности.

Въ эту зиму мнѣ пришлось познакомиться съ двумя поистинѣ интересными людьми, русскими

по рожденію, но іезуитами по профессіи. Это были О. Гагаринъ и О. Балабинъ, обращенные въ лоно Римской церкви еще въ сороковые годы извѣстною г-жей Свѣчиной. До перехода въ католицизмъ они были попросту свѣтскими людьми, искавшими, какъ мнѣ говорилъ Гагаринъ, свѣта истинной вѣры, между тѣмъ какъ православіе имъ давало одну бездушную обрядность. Ихъ поразилъ контрастъ между живою ревностью посѣтителей салона г-жи Свѣчиной, съ аббатомъ Лакордэромъ во главѣ, и равнодушною холодностью русскихъ.

— Очень васъ успѣли возстановить противъ іезуитовъ?—спрашивалъ меня неоднократно О. Гагаринъ:—и очень они, по вашему, страшные люди?

Страшными они не глядѣли нисколько. Гагаринъ производилъ впечатлѣніе маститаго повѣсы, сохранившаго наклонность къ легкомысленному остроумію XVIII в. Онъ солоно шутилъ, любилъ двусмысленные разсказы и не смотря на духовный санъ былъ не совсѣмъ удобнымъ собесѣдникомъ въ присутствіи молодыхъ дѣвушекъ. Странное у него было сходство съ типомъ французскихъ Бурбоновъ. Разсказывали мнѣ, что надъ его совѣстью тяготѣло воспоминаніе о его не совсѣмъ красивомъ участіи въ трагической судьбѣ Пушкина. Въ своихъ мемуарахъ на это намекаетъ и гр. Соллогубъ, знавшій Гагарина близко. Но трудно было этому повѣрить, судя по безпечной

веселости симпатичнаго патера, съ поразительнымъ добродушіемъ переносившаго стѣсненія, которымъ подвергался. Не только ему былъ воспрещенъ пріѣздъ въ Россію, но и на состояніе его была наложена рука. Что-же касается О. Балабина, это былъ самый кроткій, самый безобидный человѣкъ, какого себѣ можно было представить. Словомъ, іезуитское коварство ничего, казалось, не могло имѣть общаго съ этими двумя незлобивыми людьми.

Послѣдняя газета, мною прочитанная, была та, которая принесла съ собою ужасную вѣсть о первомъ марта. Подали мнѣ ее раннимъ утромъ, когда я былъ еще въ постели. И какъ ни слабо было остававшееся у меня зрѣніе, я дочиталъ до конца. Съ первой-же минуты меня поразило удивительное отсутствіе самой азбучной осторожности. Знали вѣдь, что готовилось покушеніе—и все-таки... Зачѣмъ было Государю ѣхать по узкой набережной Екатериновки, когда вдоль Царицына Луга и по набережной Невы ему опасности не грозило? Да и зачѣмъ ему было выѣзжать въ этотъ роковой день? И гдѣ-же были мѣры предосторожности? Какъ было не замѣтить, не задержать подозрительныхъ субъектовъ, поджидавшихъ его на пути? На что-же сыскная полиція?

Тревожные вопросы такъ и толпились въ головѣ одинъ за другимъ, оставаясь неразрѣшенными. И не разрѣшены они до сихъ поръ. Вѣсти о подробностяхъ стали приходить изъ Петербурга,

большею частью, какъ водится, неточныя. Братъ описывалъ все подробно: онъ былъ на площади, слышалъ стонъ народа, видѣлъ ужасъ гнѣвной толпы, готовой наброситься на всякаго, въ комъ можно было подозрѣвать сочувствіе преступникамъ, даже простое равнодушіе...

Газета «Порядокъ», вышедшая на слѣдующій день, не нашла иныхъ словъ кромѣ холодныхъ опасеній, что усилятся цензурныя строгости и пострадаетъ свобода печати... Они могли помышлять тамъ, въ этой буржуазно-либеральной редакціи, въ такую минуту о свободѣ печати!.. И на этотъ же слѣдующій день, какъ писалъ братъ, въ его тюремномъ вѣдомствѣ чиновничьи перья строчили тотъ же ненужный вздоръ, какъ и всегда, и канцелярскія чернила не возмущались, что повседневная пошлая жизнь такъ быстро вступала въ свои презрѣнныя права... А профессоръ А. И. Воейковъ разсказывалъ мнѣ впослѣдствіи, что въ самый вечеръ 1-го марта онъ заходилъ къ одному изъ своихъ коллегъ и тамъ изъ почитаемыхъ устъ одного извѣстнаго ученаго, кстати сказать, близкаго ко Двору, онъ услышалъ тысячу разъ позорныя слова, выражавшіе полную солидарность съ случившимся. Не хочу называть по имени человѣка, не постыдившагося выразить полное сочувствіе злодѣямъ. Человѣкъ этотъ давно въ могилѣ, и пусть его мертвую память не загрязнятъ его недостойныя слова.

А между тѣмъ все сгущались вокругъ меня

сумерки. Помню, какъ теперь, послѣднее письмо, мною написанное въ полномъ сознаніи, что я слѣпну. Помню укоръ, брошенный д-ромъ Галензовскимъ, первымъ оккулистомъ Парижа, по адресу Шарко, которому онъ сказалъ:—«Monsieur Golovine vous doit de perdre le vue bien plus tôt qu'il ne l'aurait perdu sans cela».

Лѣченіе Шарко заключалось въ холодныхъ душахъ по спинному хребту. Походку это нѣсколько улучшало, ускоряя въ то же время перерожденіе зрительнаго нерва. Лѣто было сплошнымъ мученіемъ, хотя въ Гамбургѣ, гдѣ мы его опять проводили, не было недостатка въ знакомыхъ. Сознавать, что съ каждымъ днемъ подступаетъ неотвратимый врагъ, потеря глазъ — это одно изъ самыхъ ужасныхъ ощущеній, мною когда-либо испытанныхъ. Передъ моимъ умывальнымъ столомъ висѣли на стѣнѣ двѣ женскія фигурки, твердо врѣзавшіяся въ мою память какъ разъ потому, что съ каждымъ новымъ утромъ ихъ очертанія становились для меня все тусклѣе, все туманнѣе. И я почти благословилъ тотъ день, когда они изчезли совсѣмъ. Завѣса была опущена, и кончилось безполезное терзаніе неосуществимой надежды. Это было 14-го сентября 1881 года.

К. Головинъ.

Мои воспоминанія.

Томъ II.

(1881—1894 г.г.).

Типо-литографія Т-ва „ОВЪТЫ"
СПБ Невскій просп., д. 136.
1910.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стран.

I. Поѣздка въ Англію и новое лѣченіе у массажиста Чельгрина.—Первыя впечатлѣнія на англійскомъ берегу.—Мнимая сухость англичанъ.—Ихъ добровольное подчиненіе традиціи.—Ихъ взглядъ на законность широкаго вознагражденія умственнаго труда.—Случай съ художественнымъ критикомъ.—О. А. Новикова.—Лордъ Эбердэръ и его опредѣленіе либеральной внутренней политики въ Англіи. . . . . 1—12

II. Примѣры эксцентричности нѣкоторыхъ англійскихъ радикаловъ миссисъ Эштонъ Дилькъ; капитанъ Бэли: г-нъ Фиц-Джеральдъ.—Миссисъ Ньютонъ Бьюмонтъ.—Убійство въ Фениксъ-Паркѣ и удивительный примѣръ англійской благонамѣренности. — Встрѣча съ лэди Лительтонъ у Соломона Мартынова; ея рѣзкія сужденія о зятѣ Гладстонѣ. — Примѣры англійской распущенности: процессы маркиза Блэндфорда и лэди Колинъ Кэмбелль. — Лэди Лонсдэлъ и ея похожденія. — Дѣло лорда Бересфорда съ редакторомъ газеты «Wanity Fair».—Оригинальный случай съ однимъ изъ членовъ нашего посольства. — Кн. Лобановъ и его преемникъ, баронъ Моренгеймъ. — Политика кн. Лобанова, какъ министра, и ея опасныя стороны.—Секретарь французскаго посольства графъ Флоріанъ. — Графиня Ирма Зичи и венгерскій разбойникъ Росса Шандоръ.—Разговоръ съ браминомъ Могини.—Исторія съ агентствомъ для найма квартиръ. — Русскій генеральный консулъ фонъ-Бергъ.—Отъѣздъ изъ Англіи.—Два любопытныхъ примѣра англійскаго лойялизма. . . . . 13—33

III. Коронаціонныя торжества. — Настроеніе Петербурга: уличныя буйства.—Спасательная дружина. — Роль въ ней П. П. Шувалова.—Первые шаги новаго правительства. Два теченія въ немъ: бывшіе народники правѣютъ и сливаются съ консерваторами. — Новая правительственная партія и ея глава К. П. Побѣдоносцевъ.—

Стран.

Религіозный національнымъ и политическій. — Послѣдствія того и другого. — Характеристика Императора Александра III.—Его громадныя заслуги въ иностранной политикѣ. . . . . 34—49

IV. Встрѣча въ Петербургѣ съ М. А. Веневитиновымъ и В. М. Юзефовичемъ.—Послѣдній сообщаетъ мнѣ проектъ такъ называемой Лорисъ-Меликовской конституціи.—Причины непринятія проекта.—Характеристика графа Д. А. Толстого, какъ министра внутреннихъ дѣлъ.—Его предшественникъ графъ Н. П. Игнатьевъ. — Физіономія министерства при графѣ Игнатьевѣ.—Д. И. Воейковъ.—Эпизодъ съ нижегородскимъ земствомъ.—Впечатлѣніе произведенное моимъ романомъ «Внѣ колеи». — Причины его успѣха. — Его настоящая героиня.—Встрѣча моя съ г-жей Харжевской; ея дѣйствительная натура.—Кончина Тургенева, графа В. А. Соллогуба и Б. М. Маркевича. . . . . 50—62

V. Новые друзья. — Воейковъ. — Хвостовъ. — Бехтѣевъ.—Толки объ общинѣ; моя книга «Сельская община въ литературѣ и дѣйствительности».—Засѣданія «Эллипсиса». — Докладъ г-на Половцева въ Вольно-Экономическомъ обществѣ въ 1879 году. Споръ объ этомъ докладѣ. — Враждебное отношеніе публики ко мнѣ.—Закрытіе Кохановской комиссіи. Ея проектъ мѣстной реформы. Оппозиція меньшинства комиссіи, состоящаго изъ кн. А. Д. Оболенскаго, С. С. Бехтѣева и А. Д. Пазухина.—Мое сотрудничество въ «Руси» и переписка съ И. С. Аксаковымъ.—Новый отъѣздъ за границу. . . 63—75

VI. Новое заграничное путешествіе.—Баденъ.—П. В. Жуковскій.—А. Н. Станкевичъ. — П. В. Анненковъ.—Г-жа Баратынская.—Г-жа Зографо.—Г-жа Жадовская.—В. П. Титовъ и Е. А. фонъ-Бревернъ. — Разростаніе мелкой дачной собственности насчетъ крестьянскихъ хуторовъ. — Кончина А. М. Веневитиновой. — Отъѣздъ съ братомъ въ Англію; остановка въ Гаагѣ. — Странная встрѣча въ Гайдъ-Паркѣ.—Брайтонъ. — Перемѣна въ жизни Лондона: народныя волненія. — Сектанская община «Bedsham» и протестантскій аскетизмъ.—Лордъ Рэдстокъ и миссъ Вальдегрэвъ.—Митингъ въ Гайдъ-Паркѣ, куда я случайно попалъ. — Нашъ посолъ въ Лондонѣ г-нъ Сталь и его супруга.—Вторичная остановка въ Гаагѣ на возвратномъ пути. — Баронъ ванъ Дорнъ де-Вестkапелле. . . . . 76—94

Стран.

VII. Общее мажорное настроеніе послѣ Кушки.—Наша болгарская политика.—Мы противорѣчимъ самимъ себѣ.—Финансовое управленіе Н. Х. Бунге и его характеръ.—Полная возможность ввести у насъ представительство въ половинѣ 80-хъ годовъ.—Минута была упущена.—А. Д. Пазухинъ.—Характеръ его воззрѣній и отличіе его отъ настоящихъ славянофиловъ. Кончина Ф. А. Левшина.—Мои занятія статистикой.—Слабая сторона земскихъ изслѣдователей.—Два примѣра оригинальнаго отношенія къ статистическимъ работамъ.—Я. П. Полонскій. . . . . 95—108

VIII. Кончина В. А. Веневитинова.—Новые посѣтители моихъ средъ профессоръ: А. И. Воейковъ, И. И. Кауфманъ, А. И. Лыкошинъ.—Баронъ Р. А. Дистерло.—С. А. Андреевскій: инцидентъ въ Сенатѣ съ первоприсутствующимъ Рѣпинскимъ.—Мережковскій.—Возвращеніе изъ-за границы А. С. Іонина и моего троюроднаго брата М. А. Хитрово.—Національный вопросъ, какъ основная тема бесѣдъ на моихъ средахъ.—Распредѣленіе русскихъ партій по мнѣнію Н. А. Хвостова.—Двѣ національныхъ политики—руссификація Остзейскаго и Западнаго краевъ.—Инцидентъ съ губернаторомъ Клингенбергомъ.—Наша политика въ Остзейскомъ краѣ и Манасеинская ревизія: ея послѣдствія.—Общій характеръ нашей политической системы на окраинахъ. . 109—124

IX. Назначеніе И. А. Вышнеградскаго на мѣсто Н. Х. Бунге.—Дѣятельность Ивана Алексѣевича въ городской думѣ.—Партія Санъ Галліотовъ.—Финансовая политика И. А. Вышнеградскаго.—Отношеніе къ нему общества.—М. Н. Катковъ и его тогдашнее вліяніе на дѣла.—Почему онъ не вступилъ въ государственный совѣтъ.—Его непопулярность за университетскій уставъ 84 года.—А. В. Головнинъ; оригинальный случай съ профессоромъ Захарьинымъ.—Дворянскій и Крестьянскій земельные банки; ихъ внутреннее противорѣчіе и логическая связь.—Е. Э. Картавцевъ, какъ управляющій обоими банками.—Почему ни тотъ ни другой не достигли цѣли.—Двоякія требованія, предъявлявшіяся Крестьянскому банку.—Увольненіе Е. Э. Картавцева. . . . . 125—138

X. Земледѣльческій кризисъ; почему онъ больше поражалъ помѣщиковъ, чѣмъ крестьянъ.—Безсильныя старанія объяснить кризисъ и помочь ему.—Естественныя

Стран.

колебанія въ хлѣбномъ производствѣ и въ хлѣбныхъ цѣнахъ.—Отраженіе толковъ о бѣдствіяхъ земледѣлія на моихъ средахъ.—Споры о мѣстной реформѣ.—И. Н. Дурново, преемникъ графа Д. А. Толстого.—Разсказъ Хвостова объ открытіи новымъ министромъ комиссіи о мѣстномъ преобразованіи. — Конецъ «Эллипсиса».—Мелкая земская единица.—Н. Н. Кашкинъ, племянникъ А. А. Нарышкина. . . . . 139—151

XI. Наша иностранная политика во вторую половину 80-хъ годовъ. — Настоящая подкладка нашихъ отношеній съ Германіей.—Коварство кн. Бисмарка.—Разрывъ нашего тайнаго соглашенія съ Берлиномъ при графѣ Каприви.—Кончина императора Вильгельма I. — Трехмѣсячное царствованіе Фридриха III. — Характеристика отношеній Вильгельма I къ своему канцлеру.—Смерть Щедрина и кончина «Отечественныхъ записокъ». — М. П. Гедеоновъ и А. П. Соломонъ. . . . . 152—163

XII. В. И. Ковалевскій.—Н. В. Верещагинъ и его молочная ферма.—Л. Н. Шишковъ.—М. А. Кавосъ.—Французскій посолъ Лабулэ.—Яша Рубинштейнъ и псевдо-цыганскіе концерты.—А. А. Боейкова и ея другъ, графиня А. А. Толстая, бывшая воспитательница в. кн. Маріи Александровны. — Графиня С. А. Толстая, вдова поэта.—Аврора Карловна Карамзина. . . . . 164—176

XIII. Знакомство съ кн. С. С. Абамелекъ-Лазаревымъ; характеръ его ума.—Мои литературныя работы и причины ихъ неуспѣха.—Поѣздка въ Грацъ.—М. П. Іонина.—Боркинская катастрофа.—Еще объ И. А. Вышнеградскомъ.—Введеніе земскихъ начальниковъ.—Характеристика реформы. . . . . 177—186

XIV. Кончина моей матери.—С. П. Хитрово и ея мужъ Михаилъ Александровичъ.—Отставка кн. Бисмарка.—Религіозныя собесѣдованія у насъ.—Отецъ Алексѣй Колоколовъ и Георгіевская община.—Графиня Е. Н. Гейденъ.—Наша Финляндская политика. . . . . 187—198

XV. Новый журналъ «Русское Обозрѣніе» и его редакторъ кн. Церетелевъ.—Упадокъ русской литературы.—Декадентство, общее всѣмъ искусствамъ.—Двѣ характеристическія черты новаго направленія: крайній реализмъ формы при фантастичности содержанія. — Оперы Вагнера. — Картины Беклина. — Пьесы Метерлинга и Ибсена.—Гауптманъ и его «Потонувшій Колоколъ».—Ме-

Стран.

терлингъ.—Отраженіе на русской литературѣ.—Земская реформа и ея послѣдствія. — Спектакли у графа А. Д. Шереметева, у кн. М. С. Волконскаго и въ Зимнемъ Дворцѣ.—Кн. И. М. Голицынъ.—Владиміръ Соловьевъ и мое сближеніе съ нимъ. — Его характеристики какъ человѣка и какъ писателя. — Его крупный полемическій талантъ.—Слабыя стороны его философіи.—Значеніе его какъ моралиста. . . . . 199—217

XVI. Переговоры съ папой о единеніи церквей.—Близость къ осуществленію взаимнаго общенія.—Причины, почему оно не состоялось.—Соловьевъ меня вводитъ въ «Вѣстникъ Европы». — Мой романъ «Андрей Мологинъ.—Кисло-сладкое знакомство съ М. М. Стасюлевичемъ. . . . . 218—228

XVII. Маіоратная комиссія Н. С. Абазы.—Члены комиссіи.—Результатъ ея работъ.—Причины ея неуспѣха.—В. К. ф. Плеве.—Н. В. Шидловскій.—Кн. А. Д. Оболенскій и А. А. Нарышкинъ.—А. С. Ермоловъ.—Голодъ 1891 года. Почему его послѣдствія были такъ гибельны.—Замѣна И. А. Вышнеградскаго С. Ю. Витте.—Книга А. С. Ермолова «Неурожай и народное бѣдствіе». . . . . 229—240

XVIII. Второй годъ занятій комиссіи.—Мелкая собственность и ея отношеніе къ вопросу о крестьянскомъ землевладѣніи.—Горячее заступничество за общину среди консерваторовъ. — Двойной вредъ мірского владѣнія — хозяйственный и политическій.—Сенатскія толкованія пытаются вложить содержаніе въ юридическое понятіе объ общинѣ.—Законъ 14 декабря 1893 г.—Агитація въ пользу преобразованія Министерства Государственныхъ Имуществъ въ Министерство Земледѣлія.—Назначеніе Ермолова министромъ. . . . . 241—250

XIX. Финансовое управленіе графа С. Ю Витте. — Творчество новаго министра на самомъ дѣлѣ—лишь подраженіе системѣ И. А. Вышнеградскаго. — Положительныя качества С. Ю. Витте.—Накопленіе золотого фонда съ помощью продажи за-границу русскихъ цѣнностей.—Возрастаніе %% платимыхъ иностранцамъ.—Ежегодные займы при бюджетныхъ переборахъ.—Куда шли эти займы. — Образованіе «свободной» наличности. — Казенное покровительство тремъ видамъ промышленности—металлургической, бумаго-прядильной и химической.—Забвеніе необходимости усилить платежную

Стран.

способность русской деревни и тщетный разсчетъ на вывозъ нашихъ фабрикатовъ. — Усиленное развитіе крупной промышленности.—Послѣдствія—металлургическій кризисъ и развитіе соціализма. — Заслуги гр. Витте.—Недосмотръ по вопросу о серебряной монетѣ. 251—262

XX. Сельско-хозяйственный совѣтъ.—Н. А. Хомяковъ. — Причина малой плодотворности въ начинаніи министерства земледѣлія. — Сибирская дорога и золотая реформа.—Оппозиція противъ этихъ двухъ мѣръ.—Противники въ Государственномъ Совѣтѣ.—Кончина графини Е. Н. Гейденъ.—Лѣто въ Финляндіи.—Финляндское устройство.—Наша ошибочная политика въ Финляндіи.—Сестры Дитрихсъ.—В. А. Оболенскій.—Раннее возвращеніе въ Петербургъ.—Болѣзнь и кончина Императора Александра III . . . . . 263—274

Глава I.

Поѣздка въ Англію и новое лѣченіе у массажиста Чельгрина.—Первыя впечатлѣнія на англійскомъ берегу.—Мнимая сухость англичанъ.—Ихъ добровольное подчиненіе традиціи. — Ихъ взглядъ на законность широкаго вознагражденія умственнаго труда. — Случай съ художественнымъ критикомъ. — О. А. Новикова. — Лордъ Эбердэръ и его опредѣленіе либеральной внутренней политики въ Англіи.

ПРИНЯТО считать англичанъ чопорными и сухими. Установился даже условный типъ комическаго британца, проглотившаго аршинъ и двигающагося взадъ и впередъ, точно его завели ключемъ. Все это совершенный вздоръ. Перевидалъ я многое множество сыновъ и дочерей Альбіона и долженъ сказать, что дома у себя они самый гостепріимный и сердечный народъ, какой я только знаю.

На континентѣ, правда, другое дѣло. Тайное презрѣніе, какое они питаютъ ко всѣмъ прочимъ народамъ, тутъ проявляется не только открыто, но и рѣзко. Они проходятъ мимо васъ, точно передъ ними не живой человѣкъ, а облако тумана, и глядятъ покорителями вселенной, передъ которыми цѣлый міръ представляетъ лишь полчище вассаловъ.

Но у себя, въ своей Англіи, это же чувство превосходства выражается совершенно обратно: они считаютъ себя обязанными перещеголять всѣхъ своей предупредительностью. И это не одна пустая форма. Когда англичанинъ пишетъ „my dear friend“ господину или дамѣ, съ которыми онъ только разъ отобѣдалъ, онъ, въ самомъ дѣлѣ, признаетъ, что встрѣча съ кѣмъ-либо въ знакомомъ домѣ обязываетъ его признавать незнакомца своимъ пріятелемъ. Лэди или миссисъ, у которыхъ онъ отобѣдалъ, по его понятіямъ, никакъ не могутъ познакомить его съ человѣкомъ, который бы не былъ джентльменомъ съ ногъ до головы. И когда онъ иностранца называетъ «своимъ пріятелемъ»,—а для этого всего только и нужно рекомендательное письмо отъ хорошаго знакомаго,—это не пустое слово. Онъ, въ самомъ дѣлѣ, считаетъ себя обязаннымъ выказывать своему такъ называемому «другу» всяческія услуги—рекомендовать его какому-нибудь пріятелю, доставить нужный адресъ, прислать какую-нибудь вещь, которой нигдѣ, кромѣ Англіи, пріобрѣсть невозможно. Правда, это продолжается не особенно долго: послѣ двухъ-трехъ лѣтъ разлуки дружба тихо умираетъ сама собой. Но въ другихъ странахъ она и не зарождается. И мимолетный знакомый—французъ, нѣмецъ, итальянецъ—очень бы удивился, если-бы къ нему изъ за границы обратились за какой-нибудь услугой.

Всѣ эти замѣчанія изъ-за того, что въ первыхъ числахъ декабря 1881 года мы неожиданно перекочевали въ Лондонъ. Случилось это вотъ какъ. Шарко осенью, когда я передъ нимъ предсталъ уже слѣпымъ, послалъ меня брать ванны въ мѣ-

стечкѣ La Malou, въ южной Франціи. И неожиданно для меня самого эти ванны мнѣ принесли замѣтную пользу, а можетъ быть и совпали съ случайнымъ улучшеніемъ. Только сталъ я совершать довольно длинныя прогулки, о которыхъ нельзя было и помышлять, пока я былъ зрячимъ. А у человѣка, извѣстное дѣло, разгорается аппетитъ, когда его жизненная волна уноситъ вверхъ. Пріятельница моей матери, кн. М. А. Долгорукова, съ которой мы встрѣтились въ Парижѣ, наразсказала намъ чудеса про шведскаго массажиста Чельгрина, практикующаго въ Лондонѣ и будто-бы, могущаго даже возстановить зрѣніе. Больные легковѣрны—я иногда еще помышлялъ объ исцѣленіи—и въ одинъ прекрасный, а въ сущности очень туманный день мы очутились въ Лондонѣ въ Groswenor отелѣ, стоящемъ наискось противъ дворца, у самой станціи «Викторія», на границѣ аристократическаго квартала Belgradia, гдѣ нѣтъ ни одного магазина, и спускающейся къ Темзѣ бѣдной части города Pimlico.

Гостинница эта представляла ту выгоду, что почти рядомъ съ нею начинались лондонскіе парки, тянущіеся версты на три отъ дворца до самыхъ предмѣстій черезъ весь центръ города. Можно себѣ представить, какую цѣнность представляла бы эта огромная площадь, если бы ее застроили, и какая роскошь—отдавать ее только подъ прогулки лондонцевъ. Лондонская публика уже нѣсколько вѣковъ, какъ избрала себѣ любимымъ сборнымъ мѣстомъ средній изъ этихъ парковъ, знаменитый Hyde Park, гдѣ каждый день отъ 4 — 7, конечно въ хорошую погоду, трудно пробраться среди элегантной

толпы. Особенность Лондона составляетъ то, что какъ разъ толпа здѣсь элегантна, а бѣдный людъ, которому никто, однако, не возбраняетъ доступъ въ урочный часъ, самъ собою какъ-то стушевывается и исчезаетъ. На крошечной площади передъ главными входными воротами, рядомъ съ дворцомъ герцоговъ Веллингтонъ, стояла тогда еще конная статуя побѣдителя при Ватерлоо. Теперь, ради удобства публики, ее убрали отсюда и поставили на маленькую возвышенность въ сосѣднемъ Гринъ-Паркѣ.

Почти каждый день отправлялся я сюда въ тѣ часы, когда шумный паркъ бываетъ пустъ и одни породистые барашки гуляютъ по вѣчно зеленымъ, стриженнымъ лугамъ, да лебеди красиво плывутъ по огромному пруду. Моимъ любимымъ мѣстомъ отдохновенія былъ павиліонъ для оркестра, гдѣ оркестръ никогда, однако, не играетъ: онъ помѣщается обыкновенно на противоположномъ концѣ у казармъ англійскихъ конногвардейцевъ, такъ называемыхъ „Horse Guards“, ради которыхъ и самая улица, гдѣ стоятъ казармы, получила названіе „Knightsbridge“ т. е. рыцарскій мостъ. Это совершенно то же, что Кузнецкій мостъ въ Москвѣ: здѣсь лучшіе и самые дорогіе магазины. „Hyde Park“, впрочемъ, съ трехъ сторонъ обхватываетъ лондонская роскошь: кромѣ только что упомянутой улицы, тянется здѣсь ея продолженіе „Piccadilly“ и, совершенно скромная на видъ, а на самомъ дѣлѣ состоящая изъ ряда роскошныхъ домовъ „Park Lane“, гдѣ торговля совершенно отсутствуетъ и гдѣ тщеславные богачи всячески стараются пріобрѣсти себѣ особнякъ, какъ лучшее свидѣтельство своей необыкновенной эле-

гантности. Среди этихъ богачей не послѣднее мѣсто занимаютъ сыны Израиля. Остальные парки гораздо малолюднѣе. Никто не думаетъ однако ихъ застраивать. Англичане ихъ слишкомъ цѣнятъ, какъ единственное мѣсто въ городѣ, гдѣ можно подышать настоящимъ свѣжимъ воздухомъ. Всего здѣсь много для глазъ—и красивые туалеты, и еще болѣе красивыя ихъ обладательницы и лучшая изъ роскоши—изобиліе цвѣтовъ. Но цвѣты эти какъ то лишены аромата. Ихъ всетаки подавляетъ дымъ и копоть безчисленныхъ лондонскихъ фабрикъ. И въ иные туманные дни этотъ дымъ непроницаемой завѣсой опускается на лондонскія улицы, такъ что на шагъ отъ себя не видно, и можно встрѣтиться лицомъ къ лицу со своимъ пріятелемъ, не узнавъ его. Никакой свѣтъ не властенъ надъ желтоватою тьмою лондонскихъ Fog'овъ Электрическіе фонари не болѣе замѣтны среди этихъ тумановъ, какъ зажженная спичка. И всетаки лондонскій климатъ прекрасенъ: жарко здѣсь не бываетъ никогда, но зато рѣдкій день нельзя сидѣть на воздухѣ. Этотъ климатъ подходитъ какъ разъ подъ нравъ жителей, всегда ровный и сдержанный, чуждый всякаго порыва и въ ту и въ другую сторону. А можетъ быть этотъ нравъ и выработался какъ разъ благодаря условіямъ климата. Помню, какое рѣзкое впечатлѣніе произвелъ на меня первый мой переѣздъ черезъ каналъ съ французскаго берега на англійскій. Тамъ, во Франціи, совершенно лишняя бѣготня, возгласы, крики—словомъ, шумъ ради самаго шума. На англійской приморской станціи напротивъ,—все тихо, почти безгласно.

алчными руками. Въ его клиникѣ сеансы для мужчинъ мѣнялись часами, посвященными прекрасному полу. И едва ли расположенность къ нему дамъ, отчасти, не зависѣла оттого, что ассистенты достойнаго Чельгрина всѣ до единаго, были рослые, красивые молодые люди изъ бывшихъ военныхъ, обладавшіе особенною молодцоватостью шведовъ, этихъ прирожденныхъ поклонниковъ гимнастики. А все-таки нельзя отрицать, что шарлатанъ Чельгринъ, хоть и собиралъ съ легковѣрныхъ очень солидныя деньги, своимъ массажемъ, въ самомъ дѣлѣ, приносилъ нѣкоторую пользу. Удивляться тутъ нечему: и въ области политики не мало талантливыхъ фокусниковъ, умѣющихъ втирать публикѣ очки, но осужденныхъ на вѣрную неудачу, какъ скоро они задаются крупными государственными вопросами, на которые одной ловкости недостаточно.

Англійская система поблажки всякимъ авантюристамъ имѣетъ, разумѣется, очень дурныя стороны. Овецъ въ любой странѣ всегда гораздо больше, чѣмъ тѣхъ, которые занимаются ихъ стрижкой. И какъ разъ отъ этой стрижки законъ долженъ бы оберегать легковѣрныхъ жертвъ шарлатанства. Но, въ сравненіи съ русской системой безнаказности печатной клеветы, это попустительство можетъ, пожалуй, и показаться недурнымъ. Разъ, во время моего пребыванія въ Лондонѣ, какой то живописецъ изъ самоновѣйшихъ устроилъ выставку своихъ произведеній, состряпанныхъ въ самомъ что ни на есть декадентскомъ стилѣ. Приходили на нихъ глядѣть всѣ падкіе на модныя новинки, а таковыми и въ Лондонѣ можно прудъ прудить. Пришелъ туда и на-

стоящій художественный критикъ, полюбовался дикови́нкой и напечаталъ такую назидательную статью, что выставка замѣтно опустѣла. Художникъ-декадентъ тотчасъ предъявилъ искъ въ подлежащій судъ, увѣряя, что благодаря критику онъ лишился законныхъ барышей. И судъ присудилъ ему 300 фунтовъ проторей и убытковъ. Не совсѣмъ это хорошо съ точки зрѣнія печатнаго слова, но для нашихъ борзописцевъ было бы не безполезно пройти черезъ такую спасительную школу. Браниться она бы ихъ отучила.

Хотя въ Лондонъ мы пріѣхали какъ въ заколдованный лѣсъ, довольно скоро нашли мы въ этомъ лѣсу и кое-какія тропинки. Въ Лондонѣ зимой обыкновенно проживала старинная моя знакомая О. А. Новикова, состоящая тамъ негласной представительницей Россіи, не передъ англійскимъ правительствомъ, а передъ англійской публикой. Она была хорошо знакома съ многими государственными людьми—съ Гладстономъ, съ Асквитомъ, съ Кэмбель-Бенерманомъ и съ писателями тоже, какъ Фрудъ, Карлэйль, Кинглэкъ, Стедъ и др. Сама она попи́сывала зачастую въ газетахъ, и надо ей отдать справедливость—въ своихъ статьяхъ она англичанъ не щадила. Воздать должное здѣсь надо обѣимъ сторонамъ, и Ольгѣ Алексѣевнѣ за ея откровенное мужество, и англійскимъ читателямъ за ихъ терпимость.

Для нея, повидимому, англичане дѣлали исключеніе: большіе охотники бранить домашніе порядки, не отставая въ этомъ отъ нашихъ милыхъ соотечественниковъ, они обыкновенно не допускаютъ, чтобы иностранцы имъ вторили. Въ ихъ глазахъ,

одни природные британцы имѣютъ право обличать темныя стороны англійской жизни. Чужіе могутъ этими темными сторонами только восхищаться. Но Ольгѣ Алексѣевнѣ все прощалось, и г-нъ Стедъ въ своей радикальной газетѣ давалъ широкое гостепріимство откровенной, негодующей правдѣ, какую, не обинуясь, г-жа Новикова высказывала насчетъ англійской политики.

Мы узнали черезъ г-жу Новикову, что хорошій знакомый моихъ родителей, встрѣтившійся съ ними въ Италіи еще въ 40-хъ годахъ, мистеръ Генри Брюсъ, теперь проживаетъ въ Лондонѣ и, благодаря своему участію въ одномъ изъ кабинетовъ Гладстона, превратился въ члена верхней палаты подъ именемъ лорда Эбердэра. Почти 40 лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ въ Римѣ онъ съ моими родителями восхищался тамошними музеями; но у англичанъ память не коротка и едва г-жа Новикова, встрѣтившись съ нимъ на какомъ то вечерѣ, напомнила ему про старинное знакомство, онъ не замедлилъ къ намъ пріѣхать. Это былъ очень рослый, необыкновенно благообразный старикъ, поразившій меня мягкостью своихъ сужденій и выходящею изъ ряда вонъ начитанностью. Въ 70 лѣтъ слишкомъ онъ зналъ Мильтона и Байрона наизусть и несмотря на то, что Стедъ въ своей газетѣ признавалъ за нимъ одно только достоинство—умѣніе пріятно и неистощимо вести салонную бесѣду—у него были и другія, болѣе серьезныя достоинства. Онъ состоялъ президентомъ Лондонскаго географическаго общества и изъ личной дружбы къ своему преемнику по министерству внутреннихъ дѣлъ, сэру Вер-

нону Гаркорту, добровольно предсѣдательствовалъ въ комиссіяхъ, гдѣ подготовлялись законопроекты министерства, до внесенія ихъ въ палату общинъ. У насъ подобный примѣръ едва ли отыщется. Довелось мнѣ услышать отъ лорда Эбердэра, убѣжденнаго сторонника либеральной партіи—онъ былъ одинъ изъ 44-хъ лордовъ, подававшихъ голосъ въ пользу ирландскаго билля Глэдстона, слѣдующій отвѣтъ на вопросъ мой: „можетъ ли въ самомъ дѣлѣ англійская либеральная партія искренно желать коренной демократизаціи страны?“ „Мы желаемъ ее столь же мало, какъ и наши противники, но думаемъ, что очень бы скоро нашимъ учрежденіямъ и самой нашей конституціи наступилъ бы конецъ, если бы всѣ представители верхняго общественнаго слоя дружно стояли бы за непоколебимое сохраненіе существующихъ порядковъ. Намъ кажется не безъ основанія, что когда за реформу стоятъ люди нашего класса, проводя ее, мы тѣмъ самымъ умѣряемъ ея силу“. Англійскіе либералы, какъ видно, не совсѣмъ походятъ на нашихъ.

Но съ тѣхъ поръ рецептъ лорда Эбердэра, служившій программой всѣмъ англійскимъ либераламъ отъ Фокса и Шеридена вплоть до лорда Пальмерстона, пришелъ, увы, въ нѣкоторое забвеніе. Случилось это съ тѣхъ поръ, какъ ирландскій законопроектъ отпугнулъ виговъ отъ традиціонной политики реформъ и, съ маркизомъ Гартингтономъ во главѣ, они перешли на сторону консерваторовъ. Теперь либеральныхъ аристократическихъ домовъ, во главѣ которыхъ стояли прежде герцоги Бетфордъ и Девонширъ, въ Англіи болѣе не суще-

ствуетъ. Зато ряды сторонниковъ сэра Кембеля-Бенермана и мистера Асквита набираются изъ элементовъ довольно сомнительныхъ, и современные либеральные кабинеты не останавливаются передъ такими проектами, какъ обязательное отчужденіе собственности и упраздненіе палаты лордовъ.

Правда, врядъ-ли эти проекты осуществятся такъ скоро, но осуществилось во всякомъ случаѣ одно—пророческое предостереженіе лорда Эбердэра.

Глава II.

Примѣры эксцентричности нѣкоторыхъ англійскихъ радикаловъ, миссисъ Эштонъ Дилькъ; капитанъ Бэли; г-нъ Фиц-Джеральдъ.—Миссисъ Ньютонъ Бьюмонтъ.—Убійство въ Феникъ-Паркѣ и удивительный примѣръ англійской благонамѣренности.—Встрѣча съ лэди Лительтонъ у Соломона Мартынова; ея рѣзкія сужденія о зятѣ Гладстонѣ.—Примѣры англійской распущенности: процессы маркиза Блэндфорда и лэди Колинъ Кэмбелль.—Лэди Лонсдэлъ и ея похожденія.—Дѣло лорда Бересфорда съ редакторомъ газеты «Wanity Fair».—Оригинальный случай съ однимъ изъ членовъ нашего посольства.—Кн. Лобановъ и его преемникъ, баронъ Моренгеймъ.—Политика кн. Лобанова, какъ министра, и ея опасныя стороны.—Секретарь французскаго посольства графъ Флоріанъ.—Графиня Ирма Зичи и венгерскій разбойникъ Росса Шандоръ.—Разговоръ съ браминомъ Могини.—Исторія съ агентствомъ для найма квартиръ.—Русскій генеральный консулъ фонъ-Бергъ.—Отъѣздъ изъ Англіи.—Два любопытныхъ примѣра англійскаго лойялизма.

Не всѣ англійскіе радикалы раздѣляютъ умѣренные взгляды лорда Эбердэра. Случайно мы познакомились съ депутатомъ за Ньюкэссль, мистеромъ Эштонъ Дилькъ, братомъ сэра Чарльза и съ его прелестной женой, дочерью богатѣйшаго банкира изъ Сити, мистера Смита, представлявшаго этотъ высоко-консервативный округъ въ нижней палатѣ. Разъ они у насъ обѣдали и мнѣ пришлось за столомъ сидѣть рядомъ съ миссисъ Эштонъ Дилькъ. Они въ тотъ же вечеръ собирались къ тогдашнему морскому министру лорду Нордбруку и въ силу

этого хорошенькая миссисъ Дилькъ была въ вырѣзномъ платьѣ съ великолѣпными кружевами и въ богатомъ ожерельѣ изъ крупныхъ алмазовъ. Дочь консервативнаго милліонера меня подарила, однако, слѣдующимъ удивительнымъ исповѣданіемъ вѣры.

Разговоръ какъ-то насъ привелъ къ французской революціи и къ ея наиболѣе кровавымъ сценамъ.

— Ахъ, что французская революція! — сказала очаровательная англичанка. — По-моему, далеко не достаточно срубили тогда головъ. Вотъ погодите, когда у насъ начнется, не то будетъ,—по крайней мѣрѣ 300000 человѣкъ пошлемъ на эшафотъ.

— А какъ же это вы, спросилъ я нѣсколько пораженный,—собираетесь сегодня на званый вечеръ къ лорду Нордбруку и вдобавокъ украсили себя этими чудными брилліантами?

Не помню, что она мнѣ отвѣтила, но видно, кадетская мораль и кадетское совмѣщеніе милліоновъ съ радикализмомъ не у насъ однихъ встрѣчается.

Приведу еще два примѣра этого оригинальнаго совпаденія. Въ числѣ нашихъ знакомыхъ былъ нѣкто мистеръ Бэли, двоюродный братъ наиконсервативнѣйшаго шотландскаго лорда Бэйли Кохрэнъ. Это былъ человѣкъ необыкновенно элегантный и, въ то же время, скромный, открыто признававшійся мнѣ, что онъ въ высокой степени презираетъ нравы и предразсудки своей среды. Онъ исповѣдывалъ не обинуясь взгляды, граничащіе съ соціализмомъ. А между тѣмъ онъ бы скорѣе подавился, чѣмъ вступилъ въ близкія отношенія съ кѣмъ-либо, кто бы не принадлежалъ къ его обществу, или чѣмъ сдѣлался бы членомъ какого-нибудь клуба средней руки.

Другой экземпляръ въ томъ же родѣ былъ нѣкто мистеръ Фиц-Джеральдъ, тоже принадлежавшій къ очень знатному семейству, но самъ очень не богатый и занимавшійся писаніемъ корреспонденцій для газеты „Daily News“. Въ качествѣ сотрудника онъ былъ посланъ редакціей въ Турцію во время нашей послѣдней восточной войны, и его письма оттуда дышали пламенной ненавистью къ туркамъ и столь же горячимъ восхваленіемъ братушекъ. Мнѣ онъ говаривалъ, между прочимъ, что давно пора взять подъ плугъ пустопорожнія земли, занятыя безполезными парками, либо огромными площадями, предназначенными лишь для ружейной охоты.

— Какъ!—восклицалъ онъ, — есть въ Англіи довольно мѣста для разведенія дичи, а не хватаетъ ее для бѣднаго населенія!

Онъ находилъ, что все занятое одной роскошью слѣдуетъ безъ дальнѣйшей церемоніи конфисковать. Разъ, когда вспыхнулъ на одномъ шотландскомъ островѣ Скай мятежъ среди поселенныхъ тамъ фермеровъ, захватившихъ въ полную собственность самовольно помѣщичью землю, онъ находилъ это совершенно законнымъ поступкомъ со стороны возмутившихся.—«Они признали себя, утверждалъ онъ очень увѣренно,—полными собственниками земли. И скоро такъ будетъ въ цѣлой Англіи».

Не подозрѣвалъ Фиц-Джеральдъ, конечно, что 25 лѣтъ спустя, подобныя теоріи будутъ провозглашаться въ Россіи прямо съ каѳедры нашими трудовиками. Это сходство его, вѣроятно бы, немного охладило.

Мистеръ Фиц-Джеральдъ, однако, былъ очень

приличный и хорошо воспитанный человѣкъ. Такого рода господа въ Англіи составляютъ, впрочемъ, исключеніе. Чаще мнѣ доводилось слышать рѣчи иного рода. Дочь одной богатой вдовы миссъ Ньютонъ Бьюмонтъ мнѣ хвасталась, что въ ихъ имѣніи на шотландской границѣ, кажется въ Нордтумберлендѣ, цѣлыхъ 17 тысячъ акровъ отданы подъ охоту на „Grouses", и составляютъ сплошной пустырь.

Стыдиться этого почтенная миссъ и не думала. И громадное большинство англичанъ ничуть не смущаются тѣмъ, что вблизи крупныхъ замковъ имѣются парки въ 100 или болѣе акровъ для разведенія фазановъ. Но самое любопытное, что мнѣ довелось услыхать въ этомъ родѣ, высказалъ мнѣ съ неподдѣльною искренностью кельнеръ, подававшій мнѣ по утрамъ кофе.

Только что было получено извѣстіе объ убійствѣ въ Фениксъ-Паркѣ намѣстника Ирландіи, лорда Фредерика Кевендиша и статсъ-секретаря по ирландскимъ дѣламъ мистера Бёрка, внука знаменитаго писателя. Негодованію слуги не было предѣловъ и оно выражалось гораздо страстнѣе, чѣмъ такое же негодованіе у насъ.

Но что особенно замѣчательно, это различіе, какое дѣлалъ кельнеръ между обѣими жертвами преступленія. Онъ почти допускалъ, что, пожалуй, возможно убить г-на Бёрка, но посягнуть на жизнь второго сына герцога Девоншира—это ужъ ни на что не похоже. Подобнаго срама въ Англіи не было съ самой казни Карла I-го. И такъ думаетъ громадное большинство простого народа. Даже язвительныя статьи радикальныхъ газетъ и возгласы

ораторовъ на революціонныхъ митингахъ пока не въ состояніи поколебать это настроеніе.

Какъ то разъ у своего пріятеля Соломона Мартынова, поселившагося въ Лондонѣ тоже ради массажиста Чельгрина, я встрѣтилъ свояченицу Глэдстона, лэди Литтлтонъ. Она приходилась Мартынову какой-то дальней родней. Сестра его матери была замужемъ за лордомъ Бэрингомъ, а тотъ состоялъ въ свойствѣ съ лэди Литтлтонъ. Никогда не видалъ я англичанки болѣе рѣзкой въ своихъ сужденіяхъ и менѣе разборчивой на слова. Ничуть не стѣсняясь присутствіемъ человѣка, котораго она видѣла въ первый, а можетъ быть и въ послѣдній разъ, лэди Литтлтонъ заговорила про Гладстона въ такихъ выраженіяхъ, которыя едва-ли можно было бы отыскать и въ газетахъ.

— О, могу васъ увѣрить, обратилась она ко мнѣ,—мой зять—самый первый лицемѣръ на свѣтѣ. Представьте себѣ, что до сихъ поръ его можно встрѣтить въ сумерки на Piccadilly, отыскивающаго тамъ молоденькихъ дѣвочекъ!

Въ Лондонѣ, какъ извѣстно, развратъ очень молодъ. Но трудно было бы заподозрить въ погонѣ за 13—14 лѣтними дѣвчонками 78-ми лѣтняго старика, какимъ былъ тогда Глэдстонъ, извѣстный вдобавокъ въ качествѣ горячаго проповѣдника цѣломудрія. Ни передъ чѣмъ не отступавшая откровенность знатной англичанки вообще мало соотвѣтствовала ходячему представленію о сдержанности англичанъ. Ее на половину, развѣ, извиняло то обстоятельство, что мужъ почтенной дамы, лордъ Литтлтонъ, былъ политическимъ врагомъ Гладстона

и принадлежалъ къ самымъ крайнимъ представителямъ консерватизма. Что эта сдержанность, однако, приписывается англичанамъ не вполнѣ напрасно, доказываетъ слѣдующій небольшой случай. 3 года спустя, во вторичное мое посѣщеніе Лондона, тамъ надѣлалъ много шуму процессъ лорда Блэндфорда, старшаго сына герцога Марльборо, съ своей женой, дочерью герцога Аберкорна. Громадное состояніе Чорчиллей, которому присвоенъ титулъ герцога Марльборо, было сильно расшатано и лордъ Блэндфордъ, ради удовлетворенія своихъ не совсѣмъ цѣломудренныхъ наклонностей, безцеремонно растрачивалъ приданое жены. Та потребовала развода, и скандалъ вышелъ необыкновенно шумный, такъ какъ процессъ обнаружилъ не совсѣмъ красивыя стороны въ жизни англійской аристократіи. Когда при мнѣ разсказали эту исторію, очень прозрачно намекая на довольно-таки грязныя подробности, а я позволилъ себѣ назвать маркиза Блэндфорда мерзавцемъ—соотвѣтствующее англійское выраженіе „Blackguard“—моя собесѣдница съ негодованіемъ воскликнула:—Ахъ, какъ можете вы прибѣгать къ такимъ крѣпкимъ словамъ! У насъ это только называется „не совсѣмъ деликатнымъ поступкомъ“.

Процессъ лорда Блэндфорда очень скоро, впрочемъ, получилъ какъ бы отголосокъ въ болѣе еще скандальномъ процессѣ лорда Колина Кэмбелля, тоже съ его супругой. На этотъ разъ виноватой оказалась, впрочемъ, жена, и виноватой настолько, что даже газеты посовѣстились воспроизвести всѣ подробности, обнаруженныя на судѣ. Вообще нельзя сказать, чтобы нравственность была много выше

въ столицѣ Англіи, чѣмъ въ Парижѣ. Порокъ здѣсь менѣе шумный чѣмъ во Франціи, но, пожалуй, еще болѣе откровенный. Какъ разъ зимою 82-го года очень много говорилось о похожденіяхъ совсѣмъ молоденькой и чрезвычайно красивой лэди Лонсдэль, которую мужъ, тотчасъ послѣ свадьбы, отправилъ на своей яхтѣ совершать новобрачное путешествіе, причемъ онъ ее поручилъ попеченіямъ одного изъ своихъ друзей, а самъ остался дома. Послѣдствія этой неумѣстной довѣрчивости дали себя знать очень скоро. Причина этого страннаго поступка молодого супруга такъ и осталась неизвѣстной. Онъ не долго, впрочемъ, оставался законнымъ обладателемъ своей красивой, хоть и невѣрной жены. Смерть его унесла черезъ два года; и болѣе чѣмъ оригинальное поведеніе его вдовы, вышедшей 3 года спустя второй разъ замужъ за лорда Грэя, имѣло эпилогъ еще болѣе странный. Двоюродный братъ ея покойнаго мужа, тоже лордъ Лонсдэль, разъ катался верхомъ въ Гайдъ-Паркѣ съ однимъ изъ своихъ близкихъ пріятелей и тотъ, не стѣсняясь, сталъ насмѣшливо отзываться о его овдовѣвшей кузинѣ, приравнивая ее къ очень извѣстной тогда звѣздѣ полусвѣта. Раздраженный лордъ Лонсдэль этого не стерпѣлъ и со всего размаха ударилъ пріятеля хлыстомъ. Тотъ соскочилъ съ лошади, и между обоими друзьями завязалась рукопашная. Ихъ съ трудомъ розняла полиція. Все это происходило на глазахъ у многочисленной отборной публики, — и тѣмъ и завершилось: дуэль не входитъ въ обычай англичанъ, а кого изъ двухъ противниковъ осудить, публика хорошенько не знала. До какой степени

дуэль чужда англійскимъ привычкамъ, показалъ мнѣ случай между маркизомъ Бэресфордомъ и редакторомъ газеты „Vanity Fair“, фамиліи котораго не помню. Маркизъ былъ назначенъ душеприказчикомъ одного пріятеля, завѣщавшаго свое имѣніе женѣ, но подъ тѣмъ условіемъ, что если она выйдетъ замужъ вторично, наслѣдство переходитъ къ Бэресфорду. Охотница до сплетенъ, газета „Vanity Fair“ увѣряла, что благородный маркизъ съ тѣхъ поръ всячески старался найти подходящаго жениха и сосватать за него привлекательную вдовушку. Это, разумѣется, по вкусу Бэресфорда не пришлось; и въ одинъ прекрасный день онъ явился въ редакцію, чтобы отколотить ея хозяина. Вышло только не совсѣмъ по его желанію: редакторъ оказался сильнѣе маркиза и бой былъ перенесенъ на улицу съ великимъ ущербомъ для одежды противниковъ. Оба они были отведены въ участокъ за производство уличнаго безпорядка и мировой судья обоихъ приговорилъ къ трехнедѣльному аресту. Смѣялись надъ этимъ много, но никто и не думалъ ожидать, чтобы дѣло окончилось кровавой развязкой. А когда по выходѣ почтеннаго редактора изъ заточенія, я съ нимъ встрѣтился въ клиникѣ Чельгрина - массажистъ, быть можетъ, былъ призванъ стереть слѣды рукопашной—мнѣ удалось услыхать отъ него подробный разсказъ о случившемся. И не только почтенный редакторъ не стѣснялся объ этомъ говорить, но и никто изъ присутствующихъ не воздержался отъ пожатія ему руки.

Какъ ни строги у себя дома англичане въ соблюденіи такъ называемыхъ „принциповъ“, нельзя

сказать, чтобы эта строгость особенно стѣсняла ихъ въ нѣсколько вольномъ примѣненіи нравственнаго закона къ частной жизни. Вотъ, напримѣръ, что случилось, какъ меня увѣряли, съ однимъ изъ членовъ нашего посольства, молодымъ человѣкомъ очень красивой внѣшности, пользовавшимся въ Лондонѣ большимъ успѣхомъ у прекраснаго пола. Получилъ онъ разъ приглашеніе въ замокъ, находившійся совсѣмъ вблизи отъ столицы, къ лэди N. N. Про имена участниковъ этой исторіи лучше умолчать. Дѣло было въ ноябрѣ, и сумерки уже сгущались, когда молодой русскій подъѣзжалъ къ замку.

— Сэръ N. N. дома? спросилъ онъ у выбѣжавшаго слуги,—и много у васъ гостей?

Гости обыкновенно приглашаются въ англійскіе замки цѣлыми партіями и на опредѣленный срокъ.

— Никого нѣтъ, отвѣтилъ слуга. — Сэръ N. N. въ своемъ шотландскомъ имѣніи на охотѣ, но лэди N. N. дома и приказала васъ просить.

И слуга отправился докладывать.

Молодой человѣкъ очутился въ передней и черезъ нѣсколько минутъ былъ введенъ въ совершенно пустую залу, гдѣ царствовала полутьма.

„Странный пріемъ“, подумалъ нашъ соотечественникъ. „Ни души и почти ничего не видно!“...

Но не успѣлъ онъ додумать своей мысли, какъ за его спиной безъ шума растворилась дверь, легкіе шаги незамѣтно проскользнули по ковру—и вдругъ, двѣ руки ласково, чтобы не сказать болѣе, обвились вокругъ его шеи... Надъ финаломъ этой исторіи опускаю занавѣсъ. Но думается мнѣ,

что ея герой сумѣлъ не ударить лицомъ въ грязь.

Пора, однако, бросить анекдоты: поговорю лучше о своихъ лондонскихъ знакомыхъ—они того стоятъ. Первое мѣсто между ними едва ли не занимаетъ жена нидерландскаго посланника, графиня Биландъ. Русская по происхожденію, она приходилась родной племянницей поэту Языкову. Но русской она перестала быть давно: ея мужъ былъ секретаремъ посольства въ Петербургѣ въ моментъ кончины Николая I-го. Очень ужъ не молодая графиня, тѣмъ не менѣе, отличалась необыкновенною живостью. Разговоръ ея блестѣлъ остротами, а образъ ея жизни былъ рядомъ постоянныхъ выѣздовъ, прогулокъ, путешествій. Наслаждалась она жизнью вполнѣ. И легкомысліе, наполнявшее ея слова, на этой жизни ничуть не отражалось. Мужъ ея былъ тоже вполнѣ доволенъ и собой, и своей Голландіей, и тѣми странами, гдѣ ему приходилось ее представлять. Онъ былъ неистощимъ на историческіе анекдоты, хотя, признаюсь, немного повторялся. Любилъ онъ на политическихъ банкетахъ щегольнуть прекраснымъ знаніемъ англійскаго языка и наговорить англичанамъ рядъ льстивыхъ словъ, не стѣсняясь даже сильно преувеличенной лестью. — Никогда не бойтесь, говаривалъ онъ мнѣ—чтобы сказанныя кому-либо любезности показались черезчуръ грубыми. Чѣмъ сильнѣе похвала, тѣмъ лучше: на это никогда не обижаются.

Случилось ему, впрочемъ, вступить разъ съ англійскимъ правительствомъ въ явныя пререканія и, какъ онъ увѣрялъ, одержать надъ нимъ дипломати-

ческую побѣду. Одинъ голландскій торговый пароходъ былъ задержанъ и обысканъ англійскимъ крейсеромъ въ Красномъ морѣ оттого, что на этомъ пароходѣ подозрѣвалась тайная корреспонденція съ индусскими князьками, а можетъ быть что-нибудь и почище корреспонденціи, или попросту говоря—оружіе. Подозрѣнія оказались напрасными и Биландъ достигъ того, что англичане не только возвратили пароходъ, но вдобавокъ извинились. Такимъ образомъ не во всякомъ дѣлѣ торжествуетъ одно право сильнаго.

Совѣтникомъ русскаго посольства тогда былъ истинно замѣчательный человѣкъ А. П. Давыдовъ, которому преждевременная смерть не дала оказать родинѣ услуги, какія она была въ правѣ отъ него ожидать. Онъ приходился роднымъ братомъ графу Владиміру Петровичу Орлову-Давыдову, но былъ на цѣлыхъ 25 лѣтъ моложе. Рѣдко мнѣ случалось видѣть у дипломата такую искреннюю, можно даже почти сказать дѣтскую добросовѣстность, что нисколько не мѣшало ему смѣшить собесѣдниковъ оригинальнымъ остроуміемъ. Ни слѣда не было въ немъ той обязательной разочарованной кислоты, которою обыкновенно отличаются не молодые русскіе дипломаты. Когда въ 1885 году его назначили посланникомъ въ Японію, онъ принялся изучать эту страну, погрузившись въ ворохъ книгъ и документовъ, какими его щедро надѣлилъ Лондонъ. Сужденія его были до того мѣтки и желаніе стать на твердую почву дѣйствительности такъ искренно, что едва-ли, останься онъ въ Токіо подольше, мы бы втянулись въ несчастную политику, къ которой насъ привели неувѣренность и самомнѣніе преем-

никовъ князя Лобанова. Кстати о кн. Лобановѣ, тогдашнемъ русскомъ послѣ въ Лондонѣ. Онъ увезъ оттуда, когда его перевели въ Вѣну, твердое убѣжденіе, что въ цѣломъ мірѣ нѣтъ у насъ болѣе закоренѣлыхъ враговъ, чѣмъ англичане. И вся энергичная политика его кратковременнаго министерства была направлена къ тому, чтобы создавать Англіи всевозможныя затрудненія. Съ точки зрѣнія русскаго самолюбія нельзя не признать за этой политикой великихъ достоинствъ: князь отступилъ отъ системы боязливаго невмѣшательства своего предшественника, Гирса, и придерживался неизмѣнно правила, что оставаться спокойнымъ зрителемъ событій значитъ то же, что дать этимъ событіямъ себя опередить. Г-нъ Гирсъ, ничего не оставлявшій желать со стороны дипломатической техники, преслѣдовалъ одну только мечту—къ сожалѣнію это была только мечта—остановить ходъ всемірной исторіи и спокойно наслаждаться министерскимъ портфелемъ среди всеобщаго затишья. Князь Лобановъ принялся сразу за активную политику и во время его управленія на Россію всѣ смотрѣли, какъ на вершительницу судебъ міра. Центръ тяжести европейскаго равновѣсія онъ перенесъ изъ Берлина въ Петербургъ, притомъ нисколько не разсорившись съ Германіей, хотя второй по очереди канцлеръ графъ Каприви и отказался возобновить съ Россіей тайный договоръ, заключенный съ нами Бисмаркомъ. Несмотря на это, какъ извѣстно, во время Японо-Китайской войны состоялось довольно неестественное тройственное соглашеніе между Россіей, Германіей и Франціей. Во

время путешествія Государя въ Берлинъ и въ Вѣну, несмотря на тройственный союзъ 1880-го года, направленный, въ сущности, противъ насъ, политика трехъ имперій временно получила одинаковое направленіе, основною чертой котораго былъ общій антагонизмъ противъ Англіи. Одновременно съ этимъ мы подготовляли нашему тогдашнему недругу разныя непріятности въ Персіи и въ Афганистанѣ, натравливали на него Соединенные Штаты, заводили интриги въ Абиссиніи, и затѣяли нѣсколько смѣхотворную экспедицію въ Фашоду, гдѣ французскій отрядъ долженъ былъ встрѣтиться съ русскими вооруженными искателями приключеній: войскомъ ихъ назвать было трудно. На мѣсто встрѣчи они, какъ извѣстно, не явились. Все это было очень грандіозно, все это свидѣтельствовало о широкихъ замашкахъ князя Лобанова, но въ нѣкоторомъ легкомысліи ему въ этомъ отказать нельзя. Окончательное сужденіе о планахъ князя произнести трудно, такъ какъ смерть не дала имъ осуществиться. Но если бы все это дозрѣло, кто знаетъ, не пришлось ли бы намъ расхлебывать кашу, еще почище манджурскаго похода. Во всякомъ случаѣ зерно нашей войны съ Японіей было несомнѣнно посѣяно княземъ Лобановымъ, и С. Ю. Витте пришлось только поливать уже появившійся росточъ. Конечно, по сравненію съ тѣми пигмеями, которые занимали постъ министра иностранныхъ дѣлъ послѣ князя Лобанова, онъ долженъ былъ казаться геніемъ. Но крупнымъ людямъ суждено и дѣлать крупныя ошибки.

Три нашихъ посла при мнѣ смѣнили другъ друга

въ Лондонѣ—кн. Лобановъ, баронъ Моренгеймъ и г-нъ Сталь. Хорошо знакомъ я былъ только съ послѣднимъ, котораго увидѣлъ въ первый разъ въ Штутгартѣ, во время свадьбы Володи Веневитинова. Отъ барона Моренгейма у меня осталась въ памяти только его привычка, говоря по-французски, очень протяжно останавливаться на гласныхъ, обозначенныхъ такъ называемымъ accent circonflexe. Эта особенность придавала его рѣчи нѣчто комически-торжественное. Это не мѣшало ему, впрочемъ, быть остроумнымъ и даже съ виду милымъ человѣкомъ. Говорили, что князь Горчаковъ его недолюбливалъ за какое-то черезчуръ острое словцо. Говорили тоже, что по происхожденію онъ былъ еврей. Не ручаюсь ни за то ни за другое. Оставался онъ въ Лондонѣ не болѣе года, оттого ли, что не поладилъ съ англичанами или потому, что его нѣсколько аффектированное произношеніе дѣлало его особенно пригоднымъ для Парижа. Только перевели его посломъ во Францію уже въ 1883 г. Г-нъ Сталь—но о немъ рѣчь впереди: я съ нимъ встрѣтился въ Лондонѣ только во второй мой пріѣздъ въ 1885 году.

Столица Англіи, разумѣется, и среди дипломатическаго корпуса, и внѣ его рядовъ, очень богата личностями, замѣчательными по эксцентричности. Французское посольство, несмотря на полное торжество республиканской партіи, могло похвастаться такимъ секретаремъ, въ сравненіи съ которымъ мой образъ мысли могъ бы показаться революціоннымъ. Это былъ графъ Флоріанъ, потомокъ извѣстнаго писателя и легитимистъ строжайшаго разбора,

почти готовый отказаться отъ своего отечества ради династіи Бурбоновъ. И онъ, и его молодая жена, по рожденію бретонка, были люди высокообразованные и необыкновенно пріятные въ обращеніи. Однако, вѣра въ законную династію, несмотря на ея довольно жалкій личный составъ, была въ нихъ такъ сильна, что безъ нея они не представляли себѣ возможности дальнѣйшаго существованія Франціи.

— Скажите, графъ, спросилъ я у него, разъ, — неужели вамъ никогда не приходило въ голову, что у васъ политическій отборъ людей, стоящихъ у власти, такъ неимовѣрно плохъ оттого, что верхній слой общества оборачивается спиной къ общественнымъ дѣламъ и какъ бы не желаетъ марать себѣ руки, ихъ касаясь?.. Между тѣмъ, законнаго короля возвратить себѣ вы не въ силахъ. А справедливое участіе въ управленіи вы, пожалуй, могли бы за собой обезпечить, если бы разстались съ несбыточной мечтою.

Эти слова, кажется, возбудили его негодованіе.

Во главѣ австрійскаго посольства стоялъ тогда венгерецъ, мало способный графъ Карольи. Зато въ этомъ посольствѣ была своего рода нимфа Эгерія, имѣвшая на ходъ дѣлъ большое вліяніе—графиня Ирма Зичи, мать одного изъ секретарей. Въ 50 слишкомъ лѣтъ она не только сохранила такъ называемые слѣды бывшей красоты, но и поразительную гибкость стана и внѣшность совсѣмъ еще молодой женщины. Ея разговоръ такъ же былъ чуждъ сѣдины, какъ и ея волосы. Не прочь она была о самой себѣ разсказать анекдотъ, говорившій о бле-

стяще прожитыхъ годахъ и о заслуженныхъ успѣхахъ въ обществѣ. Но не въ одномъ обществѣ она пользовалась успѣхомъ. Въ то время, когда она съ покойнымъ мужемъ жила въ ихъ родовомъ замкѣ, среди венгерскихъ степей, вся Венгрія трепетала отъ громкихъ подвиговъ извѣстнаго разбойника Россы Шандора. Разъ этотъ Шандоръ неожиданно появился съ толпой вооруженныхъ товарищей передъ воротами замка, грозя все спалить, если его не впустятъ. Его не только впустили, но посадили ужинать за тѣмъ же столомъ, гдѣ сидѣли графъ и графиня. Тогда онъ объявилъ, что ничего не тронетъ въ замкѣ если графиня ему позволитъ у ней поцѣловать руку. Счастливы страны, гдѣ имѣются еще галантные разбойники и романтизмъ держится въ нравахъ!

Но едва-ли не самый замѣчательный человѣкъ, съ которымъ мнѣ довелось встрѣтиться въ Лондонѣ, былъ индусъ, браминъ Могини. Съ званіемъ брамина онъ соединялъ принадлежность къ сектѣ буддистовъ и несмотря на то воображалъ, что прикосновеніе чьей-либо руки можетъ его осквернить. Онъ эту боязнь передъ рукопожатіемъ съ не браминомъ облекалъ въ такую комически-скромную форму, что можно было на это только разсмѣяться.

Могини цѣлый вечеръ провелъ у насъ въ богословскомъ спорѣ со мною. Онъ пресерьезно доказывалъ, что истинное христіанское ученіе исходитъ отъ Будды, котораго онъ называлъ „Господомъ“, и у котораго это ученіе заимствовали христіане.

— Съ гораздо большимъ правомъ, говорилъ онъ,— мы называемъ Будду Господомъ „our Lord“, чѣмъ вы

своего Спасителя. И существованіе Будды достовѣрнѣе и ученіе его гораздо выше. Христіане живутъ въ надеждѣ получить награду за исполненіе заповѣдей своего Учителя, а мы никакой награды не ждемъ. Проповѣдуя самопожертвованіе и милосердіе, мы вполнѣ безкорыстны.

Могини старался доказать, что понятіе о такъ называемой Нирванѣ совершенно невѣрно; не означаетъ оно вовсе утраты индивидуальности и вѣчнаго покоя въ полномъ забвеніи.—Дѣло въ томъ, утверждалъ онъ,—что переселеніе душъ, т. е. въ сущности эволюція личности, безконечна, но что въ то же время чѣмъ выше и чище становится существо, тѣмъ болѣе его утомляетъ жизнь и тѣмъ сильнѣе оно стремится къ покою.

Стало быть, въ концѣ концовъ—все-таки Нирвана, или, какъ мы привыкли ее понимать,—духовная смерть. И это постепенное восхожденіе къ совершенству небытія происходитъ въ силу одного принципа добра, не какъ повиновеніе Буддѣ, но какъ слѣдованіе по свѣтлому пути самозабвенія и самопожертвованія. Я позволилъ себѣ ему возразить, что страннымъ образомъ, однако, это безкорыстное очищеніе ни къ какому прогрессу не привело, а напротивъ, въ Индіи и на Цейлонѣ сошло на нѣтъ среди созерцательнаго недѣланія и постепенно обросло совершенно языческими суевѣріями. А тамъ, гдѣ буддизмъ пріобрѣлъ наибольшее число послѣдователей, т. е. въ Китаѣ и Японіи, онъ превратился въ чисто государственную религію, задыхающуюся среди массы бездушныхъ формъ, а среди высшихъ классовъ

вполнѣ замѣненную разными философскими системами. Едва ли свѣтъ съ Дальняго Востока „The Light of Asia“ когда-нибудь освѣтитъ человѣчество широкимъ лучемъ прогресса. Едва-ли тоже буддизмъ не сталъ чисто созерцательнымъ среди индусовъ оттого, что естественныя наклонности ихъ тянутъ къ бездѣятельности, а черствый, практическій духъ китайцевъ и японцевъ свелъ всю ихъ религію къ формальной обрядности и къ бездушному послѣдованію сухой нравственной философіи.

Вторую зиму 1882—83 года мы провели на частной квартирѣ въ домѣ лэди Стэдъ, которую она отдавала желающимъ въ наемъ за 10 фунтовъ въ недѣлю. Это обычная плата за маленькіе четырехэтажные домики въ двѣ или три комнаты для каждаго этажа домики, впрочемъ, очень помѣстительные и удобные. Весь Лондонъ такъ живетъ, избѣгая сожительства нѣсколькихъ семей въ томъ же домѣ. Исключеніе составляютъ гостинницы, которыхъ очень много, роскошныя палаццо знати, расчитанныя для пріемовъ, но тоже имѣющія фасады не болѣе, какъ въ семь или восемь оконъ, и, наконецъ, очень немногочисленные большіе ковчеги такъ называемые „Flats“, раздѣленные на нѣсколько десятковъ квартиръ. Англичане лишь скрѣпя сердце разстаются съ своей дорогой независимостью, не терпящей даже сосѣдства. Притомъ стѣны домовъ такъ тонки, что почти слышно какъ разговариваютъ рядомъ съ вами въ сосѣднемъ домѣ. Разъ, въ воскресенье, какая-то дама, жившая рядомъ съ нами и весь день наигрывавшая религіозные гимны, прислала сказать моей матери, игравшей сонату Бетховена, что для вос-

кресная дня не совсѣмъ прилична такая музыка. А съ другой стороны—тамъ жило еврейское семейство — наигрывали въ то самое время мотивы изъ оффенбаховскихъ оперетокъ. Оригинально было тоже слышать каждый день, какъ членовъ этого семейства призывали къ обѣденному столу завываніями гонга.

Эта вторая лондонская зима закончилась для насъ поистинѣ лондонскимъ происшествіемъ. Мы захотѣли на май, который предполагали тоже провести въ Англіи, нанять ту же дачу, гдѣ провели лѣто 82-го года. Это была настоящая голубятня съ крошечнымъ садикомъ, но все-таки довольно удобная, и тоже построенная согласно принципу автономіи отъ сосѣдей. Съ хозяйкой, нѣкоей миссисъ Ньютонъ, не трудно было сойтись. Но черезъ нѣсколько дней я получилъ въ высокой степени обиженное и далеко не любезное письмо отъ того агента, который въ предыдущемъ году отыскалъ для насъ эту самую дачу. „Ничѣмъ кажется“, писалъ онъ, „не заслужилъ я вашего неудовольствія, а между тѣмъ вы себѣ позволили обойтись безъ моего содѣйствія при наймѣ дачи, которую я помогъ вамъ отыскать въ прошломъ году. Считаю за вами 2 фунта вознагражденія за понесенные мною убытки“.

Ни копѣйки я этому господину, конечно, не заплатилъ, но русскій консулъ, г-нъ Бергъ—кстати сказать, родной братъ фельдмаршала—мнѣ объяснилъ, что поступилъ я не корректно и что если кто разъ обратился къ агенту, онъ связанъ съ нимъ на цѣлую жизнь при каждой сдѣлкѣ, если только

не можетъ доказать, что агентъ его надулъ или обокралъ.

Этого г-на Берга, преуморительнаго и почти изъ ума выжившаго старичка я приберегъ въ видѣ конфетки для самаго конца моихъ лондонскихъ воспоминаній. Удивительный скряга, онъ никогда не нанималъ извозчика, не смотря на свои 80 лѣтъ и, на случай дождя, носилъ въ карманѣ одну галошу, которую надѣвалъ то на правую, то на лѣвую ногу. Въ томъ же карманѣ всегда находился чугунный молочникъ, съ которымъ онъ имѣлъ обыкновеніе заглядывать въ молочную лавку, дабы утолить голодъ: когда его никуда не приглашали отзавтракать или отобѣдать, онъ болѣе роскошной трапезы себѣ не разрѣшалъ. Это былъ убѣжденный прихлебатель.

Перваго іюня, въ чудный лѣтній день, пароходъ насъ перевезъ на берегъ Голландіи. Бурное Сѣверное море было гладко, какъ зеркало. 3-го, т. е. почти наканунѣ коронаціи, мы были въ Петербургѣ и должны были поселиться въ Европейской гостинницѣ, потому что нашу квартиру временно занимали Палены.

Передъ отъѣздомъ изъ Лондона я имѣлъ случай убѣдиться, какимъ авторитетомъ тамъ пользуется королевское семейство: принцъ Уэльскій, теперешній король, уѣзжалъ съ тѣмъ же поѣздомъ, что и мы; и такъ какъ онъ на поѣздъ опоздалъ почти на цѣлый часъ, пассажиры должны были его покойно дожидаться. Ропота со стороны дожидавшихся пассажировъ я не слышалъ. Повидимому, у всѣхъ твердо держалась увѣренность, что принцъ Уэльскій не можетъ опоздать безъ достаточно уважительной причины.

Другой примѣръ такого же почти безграничнаго уваженія къ царственнымъ особамъ мнѣ пришлось увидать, когда я вторично былъ въ Лондонѣ, въ 1885 году. На королеву Викторію въ Виндзорѣ сдѣлано было неудачное покушеніе: въ рукахъ злодѣя револьверъ осѣкся и самъ злодѣй оказался сумасшедшимъ. Глэдстонъ посовѣтовалъ королевѣ использовать этотъ случай и пріѣхать въ Лондонъ изъ Виндзора не по желѣзной дорогѣ, а въ открытой коляскѣ. Погода была, кстати, великолѣпная, и мнѣ захотѣлось присоединиться къ несмѣтной толпѣ, собравшейся встрѣчать королеву вдоль всего пути по Гейдъ-Парку и никогда мнѣ не случалось услыхать такіе единодушные, восторженные возгласы. Словно народъ безгранично радовался не одному спасенію королевы, а тому въ особенности, что не затронутой осталась драгоцѣнная всѣмъ представительница всей англійской націи.

Глава III-я.

Коронаціонныя торжества.—Настроеніе Петербурга: уличныя буйства.—Спасательная дружина.—Роль въ ней П. П. Шувалова.—Первые шаги новаго правительства. Два теченія въ немъ: бывшіе народники правѣютъ и сливаются съ консерваторами.—Новая правительственная партія и ея глава К. П. Побѣдоносцевъ.—Религіозный національнизмъ и политическій.—Послѣдствія того и другого.—Характеристика Императора Александра III.—Его громадныя заслуги въ иностранной политикѣ.

ВЪ Петербургъ я пріѣхалъ почти наканунѣ коронаціи. Несмотря на то, что прошло уже болѣе двухъ лѣтъ съ перваго марта и правительство крѣпко усѣлось въ сѣдло, многіе боялись, какъ бы на коронаціи чего-нибудь не произошло. Кромѣ охраны, образовалось подъ руководствомъ нѣкоторыхъ господъ изъ золотой молодежи добровольная дружина, вербовавшая себѣ сторонниковъ изъ простонародія. Членамъ этой дружины приходилось кое-когда исполнять и обязанности сыскной полиціи, что иногда кончалось удачно, а иной разъ приводило и къ довольно комическимъ инцидентамъ. Нити трехъ или четырехъ организацій, охранявшихъ такъ называемый порядокъ, часто перепутывались, а то и вели въ противоположныя стороны. Однимъ изъ самыхъ ревностныхъ участниковъ этой великосвѣтской полиціи, а можетъ быть и ея главой, былъ

мой старинный пріятель Павелъ Шуваловъ. Отъ двора Великаго князя Владиміра Александровича, у котораго онъ долго состоялъ адъютантомъ, Шуваловъ перешелъ къ большому двору, вслѣдствіе какой то личной непріятности съ Великимъ княземъ. Его назначили флигель адъютантомъ. Но особенно далеко онъ почему то не пошелъ, несмотря на свои недюжинныя способности. Онъ все собирался перехитрить всѣхъ. А это порой хуже, чѣмъ не хитрить вовсе. Карьерные инстинкты, конечно, играли свою роль въ образованіи спасательной дружины. Никому, однако, изъ ея членовъ не пришлось особенно подняться. Она составлялась большею частью изъ неудачниковъ, что объясняетъ ея неособенную брезгливость и ея сравнительный не успѣхъ. Шуваловъ, кстати сказать, цѣлыхъ полтора года слылъ за полупомѣшаннаго, и до сихъ поръ никто не знаетъ навѣрно, было ли это дѣйствительное или только притворное разстройство. Какъ бы то ни было, когда я вернулся въ Петербургъ вторично въ 85-мъ году, его только что назначили командиромъ какого-то пѣхотнаго полка, стоявшаго, кажется, въ Курскѣ. Ему было тогда ровно 40 лѣтъ и не совсѣмъ это соотвѣтствовало блестящимъ стремленіямъ его молодости.

Наружность Петербурга меньше измѣнилась за 4 года моего отсутствія, чѣмъ его нравственный обликъ. Мостовая все такая же ужасная, вѣчно исправляемая и никогда не исправная. На Загородномъ проспектѣ все тотъ же трактиръ подъ именемъ „гостинница Друзья“ съ восклицательнымъ знакомъ въ концѣ, причемъ этотъ восклицательный

знакъ не успѣлъ исчезнуть съ вывѣски. А почти рядомъ, на другой вывѣскѣ трое какихъ-то ужасно размалеванныхъ мужчинъ съ невѣроятными усищами и въ зеленыхъ штанахъ изображены были играющими на билліардѣ. Какой-то отчаянно хамскій отпечатокъ не стерся пока съ петербургскихъ предмѣстій. Зато нравственное перерожденіе не оставляло желать лучшаго. Оппозиціонный тайный совѣтникъ куда-то скрылся. Вѣчнаго глумленія надъ правительствомъ не было слышно. Всѣ, казалось, чрезвычайно радовались, что въ Москвѣ все обошлось благополучно. Но 16-го числа вечеромъ, когда вѣсти оттуда обошли и простой народъ, радость сказалась особеннымъ образомъ. Я имѣлъ неосторожность прокатиться по Невскому и Морской и, хотя самъ лично вышелъ изъ поѣздки цѣлъ и невредимъ, не могъ однако не замѣтить, что плебейская лояльность очень сродни революціонному настроенію. Какого-то генерала высадили изъ коляски, у двухъ проѣзжавшихъ дамъ выпрягли изъ экипажа лошадей, кучеровъ заставляли сворачивать и т. д., и т. д. О ругательствахъ уже не говорю: они такъ и носились въ тепломъ вечернемъ воздухѣ. Переполнявшій улицы народъ чувствовалъ свою силу и злоупотреблялъ ею. И удивляться тутъ нечему. Самое появленіе народа на авансценѣ, даже народа самаго благонадежнаго, уже заключаетъ въ себѣ что-то почти мятежное. Проявлять свое чувство толпа иначе не можетъ, какъ ломая какой-нибудь предметъ и творя надъ кѣмъ-либо насиліе. Замѣтили это тогда многіе, но замѣтили да и только... Надъ всѣмъ положеніемъ царствовало одно несомнѣнно

счастливое обстоятельство: та безразличная среда, всегда готовая осмѣивать власть и сочувствовать выходкамъ бунтарей, эта среда, обнимавшая почти всю Россію, когда я уѣхалъ за границу въ 79-мъ году, рѣшительно отказывалась теперь питать своимъ сочувствіемъ революціонные корни. Это было плодомъ перваго марта. И неудачныя попытки партіи „Народной Воли“ свалить вину на помѣщичій классъ, грубая ложь, будто первое марта было какою-то отместкой за 19-е февраля, всѣмъ открыла глаза. Чиновная буржуазія, та самая, чья религія сводится къ культу 20-го числа, словомъ, всѣ государственные нахлѣбники поняли опасность и оборотились спиной къ демагогамъ. Но радуясь этому повороту, наивно вообразили, что можно разсчитывать на его прочность. Отвращеніе отъ кровавыхъ дѣлъ русскихъ террористовъ еще не значило, что всѣ готовы на активное содѣйствіе власти. Оно не шло дальше сочувственнаго нейтралитета. А такого нейтралитета мало для благополучнаго и здороваго роста общества. Безспорно можно было обратить эту летаргическую массу въ союзника правительства, дѣйствующаго сознательно и планомѣрно. Для этого одно только было нужно—повѣрить въ себя и въ свой народъ. Послѣ Кушки, т. е. два года спустя, въ самый апогей царствованія, можно было ограничиться гомеопатическими уступками. Всѣ бы остались ими довольны и превратились бы изъ равнодушной патоки въ разумныхъ консерваторовъ. Но благопріятная минута была упущена. Не открыли провинціи иного законнаго доступа къ управленію страной, кромѣ вѣчнаго обиванія пороговъ

у министерствъ. И десять, а еще болѣе 20 лѣтъ спустя пришлось въ этомъ раскаяться.

Не станемъ, однако, забѣгать впередъ: мы пока еще только переживаемъ эпоху коронаціонныхъ торжествъ. Тогда было все ликованіе и вѣра въ будущее. Нельзя однако сказать, чтобы первые шаги новаго правительства были особенно увѣренными. Назначеніе такого политическаго шарлатана, какъ генералъ Барановъ, петербургскимъ градоначальникомъ, неожиданное введеніе всеобщей подачи голосовъ въ столицѣ, даже съ участіемъ женщинъ, и рядомъ съ этимъ манифестъ 29-го апрѣля, говорившій такимъ твердымъ, не двусмысленнымъ языкомъ,—все это, вмѣстѣ взятое, несомнѣнно указывало на нѣкоторое колебаніе, на отсутствіе опредѣленной программы. И въ этомъ колебаніи уже былъ зародышъ тѣхъ двухъ теченій, которыя на время слились, несмотря на свое внутреннее несходство и придали всему царствованію его основной колоритъ.

Снизу поднималась волна бывшаго народничества, какъ бы отрезвленная первымъ мартомъ и готовая принять наслѣдство прежнихъ славянофиловъ. Сверху все явственнѣе проявлялось сознаніе необходимости твердой правительственной власти, которая за главную свою задачу признала бы строго-національную политику и внѣ Россіи и внутри ея. Было время, когда даже рѣзкая фигура Константина Петровича Побѣдоносцева стала почти популярной. Онъ не былъ простымъ носителемъ самодержавія, какъ такового, самодержавія временъ Николая I-го; онъ признавалъ, что верховная власть обязана являться повсюду защитницей двухъ основныхъ народныхъ

устоевъ—одного въ области религіи, другого въ области гражданской жизни,—православія и народности. Въ послѣдніе годы предыдущаго царствованія наростала многочисленная партія, обвинявшая тогдашнее правительство въ космополитизмѣ и видѣвшая въ наслѣдникѣ престола твердаго хранителя чисто національныхъ интересовъ. Въ этомъ теченіи и тогда уже слабо проявлялся какой-то безсознательный демократизмъ. А съ той минуты, когда густыя толпы народничества пристали къ правительству, этотъ демократизмъ сдѣлался даже очень замѣтенъ. Появился особый сортъ людей, готовыхъ одновременно произносить такія неоднородныя слова, какъ „сильная власть“ и „права народнаго большинства“. Эти господа не только признавали за кореннымъ великорусскимъ племенемъ законныя полномочія на господство, но ставили ему въ прямую обязанность давить инородцевъ и механически ихъ передѣлать въ чистокровныхъ русскихъ. Основнымъ догматомъ этой религіи особаго сорта было самодержавіе, не царя только, но и того чисто русскаго большинства, которое будто бы ошибаться не можетъ никогда. Упускалось изъ виду, что подъ этимъ, на первый взглядъ вполнѣ благонадежнымъ теченіемъ, скрывалось иное—преклоненіе передъ густыми народными массами, передъ всѣми ихъ вѣрованіями, привычками, суевѣріями. Въ зародышѣ здѣсь уже заключалась пресловутая „четыреххвостка“, т. е. не болѣе не менѣе, какъ самодержавіе толпы—„la souveraineté du peuple“. Увы, всякое проявленіе народа, въ тѣсномъ смыслѣ слова, на исторической авансценѣ, всякое его прямое участіе въ комедіи или,

пожалуй, въ драмѣ всемірной исторіи, носитъ почти однѣ и тѣ же черты. Во имя ли престола выступаетъ толпа, во имя ли революціи, она, какъ смерчъ, не даромъ проносится надъ поверхностью общества. Ея слѣдъ всегда тотъ же самый – разрушеніе и насиліе.

На первыхъ порахъ эти неизбѣжныя послѣдствія громкаго проявленія народныхъ инстинктовъ не сказываются ясно. Среди учащейся молодежи, этого обычнаго фермента, образовался даже типъ людей, которымъ хотѣлось прежде всего сытно пожить, блеснуть дешевой роскошью и громко провозглашать патріотическіе крики. Наиболѣе распространеннымъ идеаломъ тогдашняго общества было единство въ самой грубой внѣшней его формѣ. Тѣ же учрежденія и, при возможности, тотъ же языкъ и та же религія отъ Бѣлаго моря до Чернаго, отъ петербургскихъ болотъ до прибрежья Тихаго океана, стало общимъ лозунгомъ русскихъ націоналистовъ. Нужно ли говорить, что признаннымъ главою этого направленія, наиболѣе яркимъ его носителемъ, словомъ, фактическимъ первымъ министромъ Императора Александра былъ Константинъ Петровичъ Побѣдоносцевъ. Усумниться въ его огромныхъ способностяхъ нельзя. Нельзя оспаривать и мягкости его натуры и глубокаго его образованія и его несомнѣнной работоспособности. Какъ уже сказано выше, его задачей было утвердить самодержавіе на двухъ объединительныхъ началахъ – религіозномъ и гражданскомъ, т. е. на православіи и на народности. Во имя единаго Бога и русскаго политическаго единства, православіе должно было безусловно господ-

ствовать, и рядомъ съ нимъ, рука объ руку, должна была всюду преобладать русская школа. Ежегодно въ своихъ отчетахъ оберъ-прокуроръ Святѣйшаго Синода всеподданнѣйше ликовалъ по случаю обращенія въ православіе нѣсколькихъ сотъ, а то и тысячъ иновѣрцевъ. Вполнѣ подчиненное ему фактически министерство народнаго просвѣщенія столь же усердно водружало повсюду и русскія школы. Что распространеніе народной религіи и народнаго языка служитъ лучшимъ проводникомъ для политическаго единства, это несмомнѣнно. Но подъ однимъ условіемъ—чтобы пропаганда велась самимъ обществомъ въ сознаніи своего превосходства надъ сосѣдней культурой, а не чиновниками, то и дѣло прибѣгающими къ помощи жандарма. Патентованная школа и патентованная церковь, съ государственною печатью на обѣихъ, не удавались никогда. Религія можетъ быть только цѣлью; обращенная въ средство, она немедленно мертвѣетъ.

Константинъ Петровичъ чистосердечно воображалъ, будто его православіе—чистѣйшій снимокъ съ евангельскаго ученія. Между тѣмъ, желая быть послѣдователемъ Христа, онъ являлся безсознательнымъ ученикомъ еврейскихъ законниковъ, строго державшихся буквы вмѣсто духа и въ концѣ концовъ предавшихъ въ руки язычниковъ Спасителя міра. Одно и то же недоразумѣніе затемняло души и фарисеевъ, этихъ еврейскихъ славянофиловъ, и тонкое пониманіе К. П. Побѣдоносцева. Ученіе Христа было не отъ міра сего и сулило небесныя блага тѣмъ, кто равнодушенъ къ земнымъ. А его близорукіе истолкователи требовали отъ христіанства

какъ разъ этихъ земныхъ благъ, и пріобрѣсть ихъ были готовы путемъ насилія. Роковое недоразумѣніе между проповѣдью Спасителя и чисто мірскими стремленіями Его слушателей—это недоразумѣніе легло и въ основу такъ называемой руссификаціи. Съ одной стороны, обязательныя правила, запрещавшія воспитанникамъ школъ говорить на иномъ языкѣ, какъ на русскомъ, заставлявшія ихъ присутствовать при чтеніи православныхъ молитвъ, замѣнявшія недостатокъ культуры разными посулами въ пользу новообращенныхъ въ православіе; съ другой—готовность открывать свои школы на средства частныхъ лицъ, лишь бы только это дозволило правительство—эта печальная диллема не могла не превести къ развязкѣ еще болѣе печальной: подавлять у инородцевъ ихъ національныя особенности — плохое средство къ нимъ привить русскій патріотизмъ. Языкъ, на которомъ не дозволяютъ говорить, религія, которую стѣсняютъ въ ея проявленіяхъ, становятся вдвойнѣ дорогими, даже людямъ равнодушнымъ по природѣ къ своему вѣроисповѣданію и къ своей національности. Они сливаются съ историческими преданіями и становятся поперекъ какъ разъ тому, чего домогается власть—объединенію съ великимъ отечествомъ. Задача народа, покорившаго себѣ разноплеменныя окраины, заключается въ томъ, чтобы воспользоваться разноцвѣтными способностями присоединенныхъ народовъ, создать гармонію изъ несхожихъ звуковъ, какъ въ любомъ оркестрѣ каждый отдѣльный инструментъ сохраняетъ вполнѣ самостоятельность, содѣйствуя, однако, единству цѣлаго. Есть у насъ для этого великій историческій

примѣръ. Римляне покорили себѣ гораздо болѣе разнородныхъ странъ, чѣмъ сдѣлали это мы. И въ этихъ странахъ все было разнородно—и религія, и языкъ, и форма правленія. Что-же, воспользовались ли римляне своими побѣдами, чтобы навязать свою культуру побѣжденнымъ? Они не только этого не сдѣлали, но въ эпоху своего расцвѣта подпали обаянію греческой образованности. Божествамъ всѣхъ народовъ, вошедшихъ въ огромное римское государство, было открыто право гражданства и у себя дома, и въ сборномъ храмѣ для всей имперіи, въ Пантеонѣ. Органы мѣстнаго управленія остались нетронутыми, а позволительно думать, что въ Галліи, напримѣръ, и въ Малой Азіи они были не совсѣмъ тождественны. Муниципалитеты сохранили повсюду свои права и благосостояніе отдѣльныхъ городовъ повсюду зависѣло отъ щедротъ богатыхъ гражданъ, которыхъ на эту щедрость подстрекало тщеславіе. Объединеніе имѣло только два могущественныхъ органа—войско, стоявшее подъ командою природныхъ римскихъ офицеровъ, и проконсула, по нашему генералъ-губернатора. Сохранялись даже кое гдѣ, какъ во Фракіи напр., подчиненныя Риму мѣстныя династіи. И все-таки ни при республикѣ, ни при имперіи, вплоть до III вѣка по Р. Хр., римское единство не было поколеблено ничуть. Надо было сперва, чтобы крѣпкій цементъ связывавшій всѣ эти разнородныя области, цементъ римскаго патриціата, внутренно разложился, перейдя отъ готовности всѣмъ жертвовать для родины, къ готовности жертвовать родиной ради собственнаго удобства. У насъ вмѣсто такого цемента имѣлось, на лицо одно чиновничество, мало похожее на римскій патриціатъ.

Нельзя при этомъ не удивиться вотъ чему. Это торжество оффиціальной народности и формальнаго православія происходило какъ разъ при государѣ, до такой степени чуждомъ всякаго формализма, какъ императоръ Александръ III. Онъ былъ глубоко проникнутъ необходимостью высоко держать знамя Россіи и никогда это знамя, даже послѣ взятія Парижа въ 1814 году, не было развернуто такъ гордо, какъ во время его царствованія. Языкъ англійской прессы за первую половину 80-хъ годовъ говорилъ объ этомъ громко. Была въ ней сначала нота почти презрительная въ отношеніи къ намъ въ началѣ этого десятилѣтія. Состояніе нашихъ финансовъ признавалось близкимъ къ банкротству. Нашъ авторитетъ въ Европѣ подвергся еще большему паденію курса, чѣмъ нашъ бумажный рубль. Но правительство очень быстро оправилось отъ первоначальной нерѣшительности. Указъ 29-го апрѣля никакой революціи не вызвалъ, какъ прочили англичане. Мы заговорили съ Европой языкомъ хотя очень спокойнымъ, но далекимъ отъ малѣйшаго оттѣнка нерѣшительной угодливости. И все это несмотря на то, что министерство иностранныхъ дѣлъ отъ кн. Горчакова перешло въ не особенно твердыя руки г-на Гирса. Настоящимъ министромъ былъ самъ государь и онъ сумѣлъ быстро завоевать довѣріе къ себѣ какъ разъ потому, что политика его шла прямо, не заворачивая на окольныя дороги, но за то и не сбиваясь съ пути. Въ цѣломъ мірѣ у насъ не было ни одного признаннаго союзника, кромѣ князя Черногорскаго. И тѣмъ не менѣе, при необыкновенно низкомъ курсѣ, безъ всякой побѣды на военномъ полѣ, сознаніе на-

шего могущества росло въ цѣломъ мірѣ чрезвычайно быстро. Самое спокойствіе политики Александра III дѣйствовало неотразимо на воображеніе. А воображеніе гораздо болѣе могущественный факторъ реальной силы, чѣмъ обыкновенно думаютъ. И когда произошла Кушка, это единственное наше вооруженное столкновеніе за все царствованіе, крикъ раздраженныхъ англичанъ очень походилъ на трескотню стаи испуганныхъ воронъ. Мы поспѣли въ пору и этого было достаточно, дабы послужить противовѣсомъ не совсѣмъ удачной нашей политики въ болгарскомъ вопросѣ.

Личное неудовольствіе государя противъ князя Александра привело насъ къ рѣзкому противорѣчію съ самими собой. На Берлинскомъ конгрессѣ мы едва не захотѣли воевать съ цѣлой Европой изъ-за Восточной Румеліи. Теперь, когда Восточная Румелія сама отдалась Болгаріи, Россія была единственной державой не захотѣвшей признать этотъ совершившійся фактъ. Скрытая причина такого противорѣчія лежала въ томъ, что Болгаріи мы хотѣли отдать Румелію непремѣнно сами. Конечно, въ обоихъ случаяхъ съ нашей стороны была преувеличенная оцѣнка случившагося. Никакой кровной обиды Россіи не было въ томъ, что на Берлинскомъ конгрессѣ Румелію на половину возвратили Турціи. Незачѣмъ было оскорбляться и тѣмъ, что князь Болгарскій удачно присоединилъ себѣ эту область. Но и этотъ промахъ—а въ политикѣ всегда совершаются промахи, какъ скоро затронуто личное самолюбіе — и самоизгнаніе князя Александра съ своего поста не могли поколебать того общаго благопріятнаго впечатлѣнія, какое производила на всѣхъ русская политика.

Теперь мы знаемъ, гдѣ была тайная причина нашей тогдашней увѣренности въ себѣ. Ее придавало намъ неопубликованное соглашеніе 1883 г. съ Германіей, совершенно обезсиливавшее съ виду направленный противъ Россіи тройственный союзъ. Великая заслуга императора Александра, что, не особенно долюбливая нѣмецкое правительство и вовсе не довѣряя князю Бисмарку, онъ все таки съ нимъ сошелся, какъ не претило, должно быть, его правдивой натурѣ такое соглашеніе. Едва-ли въ цѣлой всемірной исторіи отыщется другой случай, когда бы такая крупная тайна была такъ долго сохранена. Тогда объ этомъ договорѣ у насъ не знали, и почтенная публика была увѣрена, что въ Германіи мы имѣемъ опаснаго противника, съ которымъ порваны всякія связи. Не особенно любезныя по отношенію къ намъ рѣчи князя Бисмарка въ рейхстагѣ поддерживали эту иллюзію, скрывая истину отъ довѣрчивыхъ нѣмцевъ.

Но если внѣшняя политика наша шла отъ успѣха къ успѣху, нельзя того же сказать о политикѣ внутренней. Императоръ Александръ III хотѣлъ и тутъ обезпечить успѣхъ за русскимъ дѣломъ; онъ ошибся въ одномъ лишь—Россія, какъ государство, была гораздо сильнѣе, чѣмъ какъ нація. Не духовное превосходство великорусскаго племени надъ всѣми остальными обезпечивало намъ сплоченность внутри и могущество извнѣ. Долго, слишкомъ долго сдержанное при всякой попыткѣ на собственный починъ, великорусское племя привыкло къ инерціи, къ которой вдобавокъ его предрасполагала природа. Русификація окраинъ предоставлялась не обществу, а

полиціи явной и тайной, хотя въ числѣ этихъ окраинъ были и многія такія, которымъ по культурѣ значительно уступали русскіе.

Грузины, добровольно къ намъ присоединившіеся, и еще менѣе насъ проявлявшіе способность къ самодѣятельности, стали просыпаться отъ своего вѣкового ничегонедѣланія и замечтали объ автономіи. Но Грузія все-таки когда-то была отдѣльнымъ царствомъ, хотя и постоянно раззоряемымъ турками. Но та же автономія овладѣла и стремленіями армянъ, никогда, съ самаго римскаго завоеванія, самостоятельности не знавшихъ. Не мѣшало этому ни матеріальное процвѣтаніе, котораго они достигли подъ владычествомъ Россіи, ни зрѣлище кровавой, безнаказной расправы, чинимой надъ ихъ единоплеменниками въ сосѣднихъ турецкихъ провинціяхъ. Но что говорить объ армянахъ и грузинахъ? Не обрусѣли и татары, не обратились къ православію и язычники. Даже тутъ, на восточной окраинѣ, наше православіе не обнаружило никакой жизненной силы, довольствуясь записываніемъ новообращенныхъ. Было странно при этомъ мечтать о торжествѣ русской вѣры и русской народности тамъ, гдѣ онѣ имѣли дѣло съ поляками и нѣмцами. А между тѣмъ успѣхи русскаго попа, опиравшагося на жандарма, были завѣтною мыслью не только правительства, но и части самой прессы, до начала XX-го вѣка. Даже убѣжденные славянофилы, какъ напр. А. А. Нарышкинъ, въ бытность свою управляющимъ государственными имуществами въ двухъ Остзейскихъ губерніяхъ, а вслѣдъ затѣмъ подольскимъ губернаторомъ, негодовалъ на грубыя формы прозельитизма,

употреблявшіяся въ видахъ руссификаціи всей западной окраины. Въ Остзейскихъ губерніяхъ даже частнымъ лицамъ было запрещено не только открывать нѣмецкія школы, но и вступать въ соглашеніе ради совмѣстнаго воспитанія дѣтей, подъ руководствомъ нѣмецкихъ учителей. Школы, открытыя на средства мѣстнаго дворянства, насильственно обращались въ русскія. Ученикамъ изъ православныхъ оказывалось послабленіе на экзаменахъ. На желѣзныхъ дорогахъ конлуктора-протестанты оставлялись на службѣ лишь подъ условіемъ перехода въ православіе. Тѣ же два любимые способа—принужденіе съ одной стороны, — дѣйствіе на эгоистическіе инстинкты съ другой, еще въ большей степени примѣнялись въ Привислинскомъ краѣ и въ западныхъ губерніяхъ. Коль скоро костелъ приходилъ въ нѣкоторую ветхость, не позволяли его чинить, дабы ускорить минуту, когда надо было признать католическій храмъ небезопаснымъ для богослуженія. Тогда костелъ закрывался совсѣмъ.

Мы, такимъ образомъ, играли въ руку невѣрію: сплошь да рядомъ населеніе, которому нельзя было молиться по своему, вовсе отвыкало отъ посѣщенія церкви. Преслѣдованіе польскаго языка, цензура польскихъ изданій, мѣры строгости даже въ отношеніи къ наукѣ, были на всемъ нашемъ юго-западѣ еще строже, чѣмъ подобныя имъ мѣры, направленныя противъ лютеранства въ Балтійскихъ губерніяхъ. И вся эта формальная пропаганда, все это механическое обрусѣніе оказывались тщетными. Удары, направленные противъ чужихъ вѣроисповѣданій, роковымъ образомъ попадали въ свое. Забывалось при

этомъ одно: Россія была сильна именно какъ государство; а въ составъ этого государства входили и поляки, и нѣмцы, и татары, и армяне. Нельзя было отъ нихъ требовать особенно ревностнаго служенія славѣ государства, отъ котораго имъ лично для себя нечего было ожидать.

Позволительно думать, что благородная, рыцарская натура Александра III чужда была этихъ нашептанныхъ извнѣ мелочныхъ, недостойныхъ мѣръ. Онъ желалъ конечно органическаго сліянія всѣхъ обитателей Россіи въ одинъ народъ. Но исполнители на мѣстѣ, привыкшіе къ пріемамъ русскаго чиновничества, органическое превращали въ формальное, мертвенное. Немудрено, что медленно подготовлялся поворотъ въ общественномъ мнѣніи, взявшій подъ свою защиту въ концѣ концовъ даже настоящій сепаратизмъ, когда онъ, наконецъ, появился.

Но я забѣгаю впередъ. Пока все было торжество и радость. Повсюду сыпались адресы и подносилась хлѣбъ-соль. Извѣстныя слова государя къ волостнымъ старшинамъ ясно показывали, что онъ и не думалъ поднимать руку на основные историческіе устои. Едва-ли онъ захотѣлъ бы это сдѣлать и на окраинахъ. Никакого ропота, никакой жалобы не слышалось въ общемъ мажорномъ аккордѣ, встрѣтившемъ мое возвращеніе на родину весною 1883 г.

Глава IV.

Встрѣча въ Петербургѣ съ М. А. Веневитиновымъ и В. М. Юзефовичемъ.—Послѣдній сообщаетъ мнѣ проектъ такъ называемой Лорисъ-Меликовской конституціи.—Причины непринятія проекта.—Характеристика графа Д. А. Толстого, какъ министра внутреннихъ дѣлъ.—Его предшественникъ графъ Н. П. Игнатьевъ.—Физіономія министерства при графѣ Игнатьевѣ.—Д. И. Воейковъ.—Эпизодъ съ нижегородскимъ земствомъ.—Впечатлѣніе произведенное моимъ романомъ «Внѣ колеи».—Причины его успѣха.—Его настоящая героиня.—Встрѣча моя съ г-жей Харжевской; ея дѣйствительная натура.—Кончина Тургенева, графа В. А. Соллогуба и Б. М. Маркевича.

Засталъ я въ Петербургѣ не смотря на то, что весь онъ былъ тогда въ Москвѣ, довольно многихъ пріятелей. Миша Веневитиновъ, не измѣнившійся ничуть, немного только пополнѣвшій, жилъ опять въ старинномъ „Божьемъ домѣ“, въ двухъ шагахъ отъ Европейской гостинницы, и видѣлись мы часто. Онъ нашелъ себѣ занятіе, очень къ нему подходившее. Во второмъ отдѣленіи, куда онъ перешелъ, ему поручили какую то буквоѣдную должность, и съ нескрываемымъ наслажденіемъ онъ наклеивалъ разноцвѣтные ярлычки на книги, приводя въ порядокъ давно запущенную библіотеку. На роду ему было написано сдѣлаться нѣмецкимъ профессоромъ. Онъ могъ бы съ добросовѣстностью заниматься изученіемъ знаковъ препинанія, кабы не препятство-

вала тому прирожденная русская халатность. Другой пріятель мой, В. М. Юзефовичъ, состоявшій тогда вице-директоромъ государственной полиціи, мнѣ разсказалъ до мельчайшихъ подробностей послѣдніе часы „диктатуры сердца“ и сообщилъ даже, хранившійся въ большой тайнѣ, проектъ Лорисъ-Меликовской конституціи. Трудно понять теперь, какимъ образомъ эта, такъ называемая конституція могла возбудить хотя бы самомалѣйшія опасенія. По два выборныхъ отъ каждаго губернскаго земства, призванныхъ войти въ составъ Государственнаго Совѣта и выбираться каждое трехлѣтіе—это едвали не послужило бы вѣрнымъ средствомъ о благонамѣрить земскія собранія: выборные стали бы, конечно, добиваться назначенія отъ правительства, какъ пристани гораздо болѣе спокойной, чѣмъ могло быть избраніе колеблющимся большинствомъ. Понятно, впрочемъ, почему главный противникъ этой блѣдной тѣни представительства, К. П. Побѣдоносцевъ, съ убѣжденнымъ жаромъ протестовалъ и противъ этой гомеопатической конституціи. Контрастъ между ухаживаніемъ за такъ называемымъ либерализмомъ и роковымъ событіемъ 1-го марта слишкомъ рѣзко билъ въ глаза, и всѣ либеральныя поползновенія среди петербургскаго общества временно были забыты. Опасались, какъ бы при своемъ тогдашнемъ составѣ, земскія собранія не обогатили Государственнаго Совѣта нѣсколькими десятками якобинцевъ. Опасенія были напрасны. Совершенно такъ же, какъ поправѣла столица, передвинулась вправо и провинція. 4 года, проведенныхъ мною за границей, позволяли мнѣ ясно чувствовать, какъ

переменился Петербургъ. Собирались у насъ каждый вечеръ и разговоры ясно показывали, какъ всѣми владѣло одно чувство—нескрываемая радость, что успѣли избѣгнуть грозившей всѣмъ опастности. Въ этомъ чувствѣ было, конечно, болѣе эгоизма, чѣмъ вѣрноподданической преданности. Но безъ такого эгоизма не обходится ни одно движеніе, охватывающее цѣлое общество. Странно было слышать, какъ чурались всякой мысли о представительствѣ люди, прежде громко мечтавшіе о близкой конституціи. Да, за эти 4 года, проведенныхъ мною за границей, Россія пережила рѣзкій переломъ, сама быть можетъ того не сознавая. Она не пошла назадъ и впередъ не двинулась, а какъ-то взяла въ сторону. На того самаго графа Д. А. Толстого, котораго чуть не проклинали, когда онъ былъ министромъ народнаго просвѣщенія, смотрѣли теперь какъ на вѣрнаго кормчаго и считали, что онъ приведетъ насъ къ спокойной пристани. Жаждали именно спокойствія. А между тѣмъ самъ графъ Дмитрій Андреевичъ едва-ли заслуживалъ и прежнюю брань, и теперешнія похвалы. Это былъ прежде всего человѣкъ съ желѣзною волей, а этого сорта людей у насъ водилось не много. Къ этому несомнѣнному качеству, недостаточному, впрочемъ, для настоящаго государственнаго человѣка, присоединялись у него два крупныхъ недостатка. Онъ принципіально не довѣрялъ почти никому и лишенъ былъ того внутренняго подъема, который одинъ способенъ внушить и поддержать плодотворную мысль. Броня предвзятаго недовѣрія его охраняла отъ чужого вліянія. Эта черта, между прочимъ,

отличала его отъ другого государственнаго человѣка, успѣвшаго позднѣе возбудить противъ себя такую же почти всеобщую нелюбовь—отъ В. К. Плеве. Но для Плеве событія все-таки не проходили даромъ, и чужіе совѣты имъ не отвергались принципіально. И все-таки, установившаяся за графомъ Толстымъ репутація, что у него есть своя непоколебимая система, принесла ему самое главное—приливъ довѣрія и государя и общества. Государь собственно такъ же мало любилъ его, какъ и всѣ имѣвшіе съ нимъ дѣло, и назначеніе графа министромъ въ 1882 году было со стороны Императора Александра III великимъ актомъ самоотверженія. А между тѣмъ, „системы“ внѣ области школы у Дмитрія Андреевича собственно не было никакой. Ненависть къ выборнымъ должностямъ, предположеніе, будто вицъ-мундиръ обезпечиваетъ пригодность и благонамѣренность чиновника—вотъ чѣмъ исчерпывалась его убогая система.

Его блестящій предшественникъ графъ Н. П. Игнатьевъ мало на него походилъ. Доступный всѣмъ, воспріимчивый для всякой новой идеи, желавшій положить предѣлъ взаимному непониманію правительства и земства, графъ Игнатьевъ обладалъ въ высокой степени творческимъ умомъ, творческимъ, къ сожалѣнію, и по части испанскихъ замковъ. Онъ ненавидѣлъ формализмъ въ такой же мѣрѣ, въ какой графъ Дмитрій Андреевичъ отъ него ожидалъ если не спасенія, то, покрайней мѣрѣ, передышки. Въ окончательное спасеніе едва-ли давалъ графу Толстому особенно вѣрить его пессимизмъ. А въ кабинетъ графа Николая Павловича всякіе

составители проектовъ, въ томъ числѣ и прожектеры, допускались охотно.

Убѣжденный земецъ Д. И. Воейковъ, прямой антиподъ всякаго формализма, небрежный даже къ своему платью, очень умный, хоть и не слишкомъ дисциплинированъ былъ этотъ умъ, графомъ Игнатьевымъ назначенъ былъ начальникомъ его канцеляріи. На половину народникъ, на половину консерваторъ, онъ былъ олицетвореніемъ того монархическаго полудемократизма, который придавалъ новому привительству его основную окраску. Мы были съ Воейковымъ товарищами по университету, и въ то время другъ друга очень недолюбливали. Теперь было уже иное дѣло. Мы съ нимъ возобновили знакомство въ слѣдующую зиму и стали видаться часто. Прочитавъ кое-какія изъ моихъ статей, Воейковъ захотѣлъ меня включить въ число такъ называемыхъ „свѣдущихъ людей", созванныхъ графомъ Н. П. Игнатьевымъ. Кстати о свѣдущихъ людяхъ, этой гомеопатической конституціи, призванной служить ячейкой для будущаго „собора". Выбирало ихъ само правительство, сначала въ числѣ тринадцати, потомъ 32-хъ человѣкъ, ради трехъ важныхъ вопросовъ—пониженія выкупныхъ платежей, упорядоченія винной торговли и переселенія на сибирскія свободныя земли. Надо воздать правительству спреведливость: выбирая этихъ людей, оно выказало полное безпристрастіе. Такіе дѣятели какъ Галаганъ, Д. Ф. Самаринъ, графъ Бобринскій, Н. А. Хвостовъ, С. С. Бехтѣевъ и старообрядецъ Марокинъ и т. д. сдѣлали бы честь любому выборному собранію. Что созывъ этихъ

людей не попросту оказывался одною изъ многочисленныхъ комиссій, легко было увидѣть изъ того почета, съ какимъ ихъ принимали въ Петербургѣ. Широко передъ ними раскрывались двери Государственнаго Совѣта, въ прѣніяхъ котораго они призваны были участвовать. И вступали они туда почти какъ побѣдители.

Весною 1882 года графъ Н. П. Игнатьевъ выступилъ со своимъ знаменитымъ проектомъ земскаго собора, имѣвшаго быть созваннымъ въ Москвѣ. Членовъ, кажется, предполагалось не менѣе 1200. Соборъ былъ призванъ возстановить порванную нить совѣщательнаго представительства, не собиравшагося съ XVII-го вѣка. Проекъ вызвалъ у государя юмористическій вопросъ: „Ну, а что мы предложимъ этимъ господамъ, когда они соберутся?“ Повидимому законопроектъ былъ выработанъ только вчернѣ. Славянофилы издавна привыкли видѣть въ соборѣ какую-то панацею отъ всѣхъ золъ. Имъ онъ представлялся чѣмъ-то въ родѣ финала „Жизнь за Царя“ гдѣ спереди нѣсколько солистовъ въ національныхъ костюмахъ поютъ „Славься“, за ними хоръ обывателей ихъ дружно поддерживаетъ, а совсѣмъ на заднемъ планѣ безумолку гудятъ и переливаются московскіе колокола. Это нѣсколько оперное представленіе о „соборѣ“ особенной примѣнимостью конечно не отличается, такъ какъ перенести въ современность учрежденіе средневѣковое не значитъ перенести туда и средневѣковый духъ. Соборъ легко можетъ превратиться въ учредительное собраніе, если только правительство не займетъ по отношенію къ нему твердаго, опредѣленнаго

положенія. Примѣръ у всѣхъ на памяти—національное собраніе, открывшееся въ Версалѣ 5-го мая 1789 года, Впрочемъ, къ чему вспоминать Версаль, когда сама Москва съ XVII-го вѣка видала достаточное число кровавыхъ бунтовъ?

Не могу не передать здѣсь маленькаго разсказа изъ служебной практики Д. И. Воейкова. Не ручаюсь за его полную достовѣрность, но обрисовываетъ онъ наши бюрократическіе нравы очень ярко. Нижегородское земство давно хлопотало, чтобы два уѣзда этой губерніи, Макарьевскій и Балахвинскій, не оставались попрежнему сидѣть верхомъ на Волгѣ, а были перемежеваны такъ, чтобы рѣка служила имъ взаимной границей. Ходатайство это лежало подъ сукномъ, какъ и многія иныя земскія ходатайства, слишкомъ 10 лѣтъ. Узнавъ объ этомъ, графъ Игнатьевъ въ первую минуту вспылилъ.

— Разумѣется, надо тотчасъ удовлетворить просьбу земства, сказалъ онъ Дмитрію Ивановичу. На бѣду, однако, вмѣшался другой высокопоставленный чиновникъ, посмотрѣвшій на вопросъ иными глазами, чѣмъ Воейковъ.

— Извините, ваше сіятельство, обратился онъ къ министру,—не рискуемъ ли мы возбудить противъ себя нареканіе въ медленности дѣлопроизводства? Не лучше ли попросту написать въ Нижній, что въ теченіе минувшихъ годовъ обстоятельства могли перемѣниться, и потому министерство ждетъ отъ земства новыхъ объясненій.

— А по вашему, это ускоритъ рѣшеніе вопроса, смѣясь возразилъ графъ. Однако мнѣніе превосходительнаго бюрократа восторжествовало,

и земство, кажется, махнуло рукой на свое ходатайство. По крайней мѣрѣ оба уѣзда и до сихъ поръ верхомъ сидятъ на Волгѣ.

Перемѣну я засталъ въ Петербургѣ не въ одномъ только настроеніи общества. За 4 года успѣла значительно порѣдѣть наша «компанія», т. е. мои бывшіе товарищи, если впрямь друзьями ихъ назвать нельзя. Про болѣзнь Павла Шувалова я уже сказалъ. Но это былъ далеко не самый трагическій случай въ нашей маленькой средѣ. Двое изъ братьевъ Корфъ, Аркадій и Ѳедоръ, покончили съ собой. Подробности ихъ кончины мнѣ и по сей часъ остались неизвѣстными. Третій братъ Николай, лишившись зрѣнія еще когда я видѣлъ его въ Парижѣ, стоялъ теперь подъ грозною рукою подкрадывавшагося къ нему помѣшательства. Н. Г. Есиповъ, сынъ извѣстнаго археолога, уѣхалъ за границу, откуда уже не возвращался: у него открылась саркома на шеѣ. Весельчакъ Алексѣй Барановъ отдалъ печальную дань своему великолѣпному аппетиту: онъ объѣлся осетромъ и умеръ отъ воспаленія кишекъ. Но самая грустная участь постигла лучшаго изъ насъ, Мишу Смирнова. Недавно лишившись своей матери, о чемъ я узналъ еще въ Лондонѣ, онъ не выдержалъ и самъ послѣдствій своей мученической жизни. Подъ вліяніемъ среды, въ которую онъ попалъ, Смирновъ мало-по-малу опустился на самое дно умственнаго разстройства: съ женой онъ разошелся, поѣхалъ, какъ всѣ русскіе, искать за границей спасенія и тамъ вскорѣ угасла его многообѣщавшая жизнь.

Не предвидѣлъ я, что иныя утраты, еще болѣе

тяжкія, ожидаютъ меня въ близкомъ будущемъ. Меня приняли въ Петербургѣ съ очень лестными похвалами на счетъ моихъ литературныхъ работъ. Только что появился тогда мой большой романъ „Внѣ колеи", имѣвшій нѣкоторый успѣхъ. Легко было бы тогда, судя по оказанному мнѣ пріему, вообразить себя если не крупнымъ, то по крайней мѣрѣ сноснымъ писателемъ. Вскорѣ меня въ этомъ разувѣрили; успѣхъ уже больше не повторялся, слегка лишь коснувшись меня, какъ публициста. Не стану поэтому надоѣдать кому-либо моей беллетристической карьерой. Одно могу сказать—она развлекала меня среди моей тяжкой болѣзни. И за то, разумѣется, ей большое спасибо. Романъ „Внѣ колеи" выдался изъ числа прочихъ, вѣроятно, благодаря своей героинѣ, списанной съ натуры. Разъ встрѣтился я на поѣздѣ съ младшей изъ сестеръ Харжевскихъ, Лизой, и нѣсколько часовъ—на станціи мнѣ пришлось ждать другого поѣзда—провелъ въ разговорѣ съ ней. Старшая сестра Александра была фиктивною женой кн. Циціанова и сыграла видную роль въ такъ называемомъ процессѣ «56-ти». Лиза была дѣвушка по истинѣ замѣчательная. Внѣшніе пріемы она себѣ усвоила—или по крайней мѣрѣ старалась усвоить—самые размашистые. Но подъ этими пріемами какъ бы тихо струилось прирожденное изящество, принуждавшее ее постоянно забывать про свое предвзятое намѣреніе казаться настоящей нигилисткой. Ея тонкія, нѣжныя черты, ея молодость—ей минуло едва 18—тюрьма, черезъ которую она успѣла пройти, все это придавало ей почти трогательную прелесть. Немудрено, что пре-

лестью этой былъ охваченъ кіевскій прокуроръ, на долю котораго выпало стать ея обвинителемъ. Вмѣсто обвиненія онъ ее выпустилъ на свободу и сдалъ на поруки одному родственному ей семейству, живущему невдалекѣ отъ насъ. Удалось ли мнѣ передать въ своемъ романѣ рѣдкую смѣсь преднамѣренной грубости съ тонкимъ, даже очаровательнымъ прирожденнымъ изяществомъ—эта двойственная печать и дѣлала ея натуру такою выдающейся—я, конечно, не знаю, и конецъ ея жизни я придумалъ совершенно иной, чѣмъ было на дѣлѣ. Никогда впрочемъ я не позволялъ себѣ срисовывать рабски. Всего только разъ еще, въ повѣсти «Баловень счастья», я вывелъ моего покойнаго друга Смирнова. Но и въ этихъ двухъ случаяхъ, когда главное лицо романа или повѣсти оказывалось списаннымъ съ живого оригинала, я передѣлывалъ либо внѣшнюю обстановку, либо самую судьбу выведеннаго героя. Тѣмъ болѣе поступалъ я такъ съ лицами второстепенными. Тутъ я бралъ у своего оригинала какую-нибудь особенность, выдающуюся черту, его отличавшую, и передавалъ это свойство какому-нибудь вымышленному лицу, вся обстановка котораго была совершенно иная. Мужья оказывались женатыми не на своихъ дѣйствительныхъ женахъ; у дѣтей бывали родители совершенно иные, чѣмъ въ дѣйствительности. Лизу Харжевскую я не встрѣчалъ болѣе никогда. По слухамъ, она вышла за какого то земскаго техника и рано скончалась отъ болѣзни сердца.

1883 годъ былъ роковымъ для русской литературы. Она лишилась едва-ли не лучшаго своего

украшенія—Тургенева и двухъ, правда второстепенныхъ, но все же крупныхъ талантовъ—Соллогуба и Маркевича. Какъ ни тяжелы были предсмертныя мученія Ивана Сергѣевича, почти отрадно вспоминать то чувство всеобщаго горя, всеобщаго безпокойства, съ которымъ вся мыслящая Россія слѣдила за ходомъ неумолимой его болѣзни. Теперь такъ горевать разучились, да пожалуй и оплакивать было бы некого. Послѣднее письмо умиравшаго къ Льву Николаевичу Толстому едва-ли забыто до сихъ поръ, до того истинное благородство содержанія звучитъ противорѣчіемъ съ взаимною нелюбовью, разъединявшею двухъ великихъ писателей. Тургеневъ унесъ въ свою преждевременную могилу не одни воспоминанія о своихъ безсмертныхъ твореніяхъ: съ нимъ вмѣстѣ было схоронено и умѣніе облекать нашъ родной языкъ въ такую поэтическую форму, подмѣчавшую у каждаго изъ выведенныхъ лицъ тонкіе, нѣжные штрихи.

Глубже Тургенева, можетъ быть, захватывалъ жизненные конфликты Достоевскій. Графъ Толстой, пожалуй, доходилъ до неподражаемаго мастерства въ анализѣ. Но по изяществу формы и по красотѣ рисунка, оба они во многомъ уступали Тургеневу. Иванъ Сергѣевичъ никогда не забывалъ, что безформеннаго искусства не бываетъ. Въ этомъ смыслѣ Тургеневъ былъ вполнѣ классикомъ, совершенно такъ же, какъ былъ классикомъ Пушкинъ. И странно сказать, что въ литературахъ Запада нѣтъ такого писателя, котораго можно было бы поставить на ряду съ нимъ. Два величайшихъ тамошнихъ романиста, Бальзакъ и Диккенсъ, правда, достигаютъ

совершенства въ обрисовкѣ характеровъ, но письмо ихъ несравненно грубѣе и главное менѣе сжато и выпукло, чѣмъ у Тургенева. Въ нѣмецкой литературѣ Пауль Гейзе издалека напоминаетъ изящество манеры и глубокій пессимизмъ Тургенева. Но все же ему до Ивана Сергѣевича далеко. И какъ скоро онъ выходитъ изъ рамокъ мелкой новеллы, Гейзе становится расплывчатымъ и не въ силахъ распорядиться судьбою своихъ героевъ. Нельзя, конечно, не признать, что за послѣднія 15 лѣтъ, т. е. послѣ «Вешнихъ водъ», ничего крупнаго Тургеневъ не далъ. Его «Новь» стоитъ гораздо ниже прочихъ большихъ его повѣстей. Но благодарная память читающей Россіи не можетъ не поклоняться глубокой поэзіи, никогда не покидавшей пера Тургенева, даже когда его творческая сила видимо ослабѣла. Теперь «народная тропа», ведущая къ его могилѣ, нѣсколько заросла бурьяномъ. Тургеневъ какъ будто не въ модѣ, и разные Горькіе и Андреевы распродаются лучше его повѣстей. Но это временное забвеніе минуетъ, какъ миновало оно для Пушкина и по крайней мѣрѣ три главныхъ перла его творчества— «Дворянское гнѣздо», «Отцы и дѣти» и «Дымъ»— снова завоюютъ себѣ уже вѣчное мѣсто въ русской литературѣ.

Два слова о Маркевичѣ и Соллогубѣ. Конечно, графъ Владиміръ Александровичъ растратилъ свой крупный талантъ на бездѣлушки, а послѣдніе годы и попросту ничего не писалъ. Маркевичъ свое перо загрязнилъ, отдавъ его на служеніе политическимъ страстямъ. Нельзя, однако, забывать, что изъ всѣхъ русскихъ писателей Соллогубъ всего ближе стоитъ

къ прозѣ Пушкина по прозрачности творчества, и вдобавокъ своимъ неисчерпаемымъ остроуміемъ былъ среди общества, среди дѣйствительной жизни, какъ бы чрезвычайнымъ посланникомъ русской беллетристики. Болеславъ Маркевичъ съ своей стороны, при всей неряшливости слога, при всемъ пристрастіи, съ которымъ обрисованы нѣкоторыя его фигуры и составлена фабула его романовъ,—Болеславъ Маркевичъ всетаки несомнѣнный мастеръ въ созданіи типовъ, правда иногда смахивающихъ на портреты, но зато необыкновенно яркихъ въ своихъ контурахъ. Разумѣется, потомство его пожалуй не запомнитъ, но всякій, кому захочется въ его творенія заглянуть ради исторической справки, найдетъ въ нихъ вѣрное отраженіе эпохи Александра II-го. Впрочемъ, два изъ его романовъ „Забытый вопросъ“ и „Двадцать пять лѣтъ назадъ“, гдѣ злоба дня не затронута вовсе, могутъ похвалиться и чистою, вполнѣ безпристрастной художественностью. Почти одновременно сошли такимъ образомъ въ могилу три человѣка, относившихся при жизни другъ къ другу столь враждебно, и лишь благодаря примиряющей мягкости графа А. К. Толстого, иногда мирно сходившихся за его гостепріимнымъ столомъ.

Глава V-я.

Новые друзья.—Воейковъ.—Хвостовъ.—Бехтѣевъ.—Толки объ общинѣ; моя книга «Сельская община въ литературѣ и дѣйствительности».—Засѣданія «Эллипсиса».—Докладъ г-на Половцева въ Вольно-Экономическомъ обществѣ въ 1879 году. Споръ объ этомъ докладѣ.—Враждебное отношеніе публики ко мнѣ.—Закрытіе Кохановской комиссіи. Ея проектъ мѣстной реформы. Оппозиція меньшинства комиссіи, состоящаго изъ кн. А. Д. Оболенскаго, С. С. Бехтѣева и А. Д. Пазухина.—Мое сотрудничество въ «Руси» и переписка съ И. С. Аксаковымъ.—Новый отъѣздъ за границу.

ЗИМА 1883—84 года втолкнула меня въ среду, для меня новую, въ которой судьба меня подарила друзьями, прежде въ молодые годы мнѣ незнакомыми. Ихъ наружность такъ и осталась мнѣ неизвѣстною, и мнѣ приходилось какъ бы дополнять воображеніемъ оставшіяся мнѣ незнакомыми черты. Что дѣлать? Надо было замѣнить прежнихъ друзей, которыхъ унесла смерть или отлучка, новыми пріятелями: человѣческое сердце такъ же боится пустоты, какъ и природа. Мишу Веневитинова я болѣе не засталъ въ Петербургѣ. Онъ переѣхалъ въ Москву вслѣдъ за Алексѣемъ Комаровскимъ, и на берегахъ Невы появлялся уже только урывками. Младшій братъ Алексѣя Комаровскаго, Николай отправился за границу и поселился въ Австріи, на живописныхъ берегахъ Верхней Дравы. Стариковъ

Комаровскихъ не стало—они скончались оба, пока я былъ за границей. Одно за другимъ звѣнья, соединявшія меня съ прошлымъ, съ золотыми юными годами, рвались и исчезали.

На первыхъ порахъ угасшихъ или уѣхавшихъ пріятелей замѣнили три человѣка—Д. И. Воейковъ, о которомъ я уже говорилъ, Н. А. Хвостовъ и С. С. Бехтѣевъ. Хвостовъ былъ долгое время мировымъ судьей въ Елецкомъ уѣздѣ, а шуринъ его Бехтѣевъ—Елецкимъ предводителемъ. Оба принесли съ собой въ Петербургъ свѣжую струю провинціальной опытности и провинціальнаго здраваго смысла. Это не помѣшало имъ занять очень видное мѣсто среди петербургскаго бюрократическаго синклита. Встрѣтилъ онъ ихъ, правда, не особенно благосклонно, но выдающійся умъ обоихъ открылъ себѣ понемногу мѣсто въ его сомкнутыхъ рядахъ. Н. А. Хвостовъ, старшій членъ этой даровитой семьи, всегда остроумный, всегда неистощимый въ своихъ разсказахъ изъ черноземнаго уѣзднаго быта, въ то время безпощадно обличалъ не малые грѣшки петербургской чиновничьей мудрости, всегда смотрящей на Россію свысока и никогда ее вѣрно непонимающей. Какъ помощникъ оберъ-секретаря вновь открытаго II-го Департамента Сената, Хвостовъ мастерски разсказывалъ уморительные анекдоты о добросовѣстныхъ стараніяхъ господъ сенаторовъ уразумѣть народную жизнь, оставшуюся для нихъ заколдованнымъ лѣсомъ. Одинъ только изъ этихъ почтенныхъ старцевъ, не особенно почтенный Ф. Д. Барыковъ, прежній директоръ земскаго отдѣла, отличался среди прочихъ своей дальновид-

ностью оттого, должно быть, что ему было рѣшительно все равно, каковъ будетъ въ данномъ случаѣ приговоръ Сената. Холодное безразличіе очень похоже на безпристрастіе и яснѣе видитъ правду иной разъ, чѣмъ ревнивое заступничество за эту самую правду. Барыковъ выходилъ изъ своего равнодушія тогда только, когда дѣло касалось Западнаго края. Прежній гонитель польскаго элемента, онъ сталъ теперь его усерднымъ защитникомъ, можетъ быть не совсѣмъ безвозмездно. Его остроумный цинизмъ не возмущалъ, а только смѣшилъ. Барыковъ любилъ хвастаться, что въ затруднительныхъ случаяхъ, дабы затормозить дѣло, онъ придумывалъ какую-нибудь мудреную закорючку и, предоставляя сочленамъ поломать надъ ней ветхія головы, уходилъ спокойно покурить. Къ сожалѣнію, мнѣ не пришлось съ этимъ представителемъ змѣиной мудрости познакомиться.

С. С. Бехтѣевъ былъ самоучка, удачно прошедшій лучшую изъ школъ—школу дѣйствительной жизни. Въ то время онъ, вмѣстѣ съ Хвостовымъ, представлялъ собою либеральнаго коновода Елецкаго земства, ускореннымъ темпомъ ведущаго за собою своихъ нѣсколько отсталыхъ собратьевъ по черноземному землевладѣнію. Въ орловскомъ губернскомъ собраніи оба они принадлежали къ прогрессивной партіи А. В. Шереметьева и А. А. Нарышкина. Это не помѣшало тремъ уцѣлѣвшимъ изъ нихъ, Нарышкину, Хвостову и Бехтѣеву, быть въ настоящее время строгими консерваторами. Теоретическія измышленія Петербурга, тогда придумывавшія для русской провинціи совершенно излиш-

ніе намордники, такъ теперь, когда они стремятся передѣлать Россію въ угоду либеральной теоріи, не перестаютъ встрѣчать среди живыхъ людей практики дружную оппозицію. Въ Петербургѣ тогда Бехтѣевъ считался образцовымъ предводителемъ. Его любили показывать пріѣзжимъ иностранцамъ и охотно сажали во всевозможныя комиссіи въ качествѣ эксперта. На одномъ пунктѣ мнѣ приходилось съ этими людьми сталкиваться почти враждебно. Они были горячими сторонниками общины и сельскаго мірского строя, а я столь же горячимъ ную его противникомъ. Это нисколько не мѣшало пріятельскимъ отношеніямъ между нами: споры даже какъ будто питали дружбу. Были это по преимуществу теоретическіе споры, хоть и подкрѣпленные ссылками на жизненный опытъ. Но кто не знаетъ, что подобныхъ—ссылокъ сколько угодно найдется у всякаго, кому нужно обосновать излюбленную теорію. Въ то время вопросъ объ общинѣ главнымъ образомъ вращался среди общихъ соображеній, не входя въ детальную ихъ разработку. Не могу здѣсь. кстати, не упомянуть объ одной странности въ моей судьбѣ. Мнѣ всегда приходилось имѣть дѣло съ славянофилами, которымъ я вполнѣ сучувствовалъ, какъ людямъ, нисколько не раздѣляя славянофильскаго образа мысли. Долженъ отдать этому направлечію справедливость: его представители всегда оказывались самыми искренними, самыми честными сыновьями родины. И основной ихъ принципъ—глубокое уваженіе къ историческимъ основамъ Россіи—былъ и моимъ любимымъ принципомъ. Хотя, быть можетъ, они грѣшили нѣсколько тѣмъ, что созда-

вали себѣ небывалую Россію въ прошломъ, разукрашивая ее своей богатой фантазіей.

Въ 1885 году, кажется, вышла моя книжка, озаглавленная „Наша сельская общиина въ литературѣ и въ дѣйствительности". Послѣ Б. Н. Чичерина я былъ, кажется, первымъ, осмѣлившимся поднять руку на святыню, общую у насъ для народниковъ и для славянофиловъ. У этого алтаря слился дымъ отъ кадильницъ нашихъ правыхъ и лѣвыхъ. Чистые консерваторы, охотно бы вернувшіеся къ царствованію Алексѣя Михайловича, встрѣчались тутъ въ своихъ симпатіяхъ съ земскими статистиками, мечтавшими о поголовномъ надѣленіи землей всѣхъ и каждаго*). Натуральное хозяйство и воздѣлываніе хлѣба лишь на собственное потребленіе, а не на продажу, было до нѣкоторой степени общимъ идеаломъ обоихъ. Для народниковъ сельское хозяйство, какъ промыселъ, дающій барышъ, казалось грѣхомъ противъ народа. А въ глазахъ иныхъ консерваторовъ это былъ если и не грѣхъ, то, по крайней мѣрѣ, излишняя роскошь. Помню, какъ одинъ изъ такихъ консерваторовъ, П. А. Матвѣевъ, двоюродный братъ Хвостова, мнѣ доказывалъ, что довольство народа заключается въ обиліи сырыхъ продуктовъ, а не въ количествѣ зарабатываемыхъ денегъ. Лучшимъ показателемъ сельскаго изобилія служили, по его мнѣнію, тѣ скирды необмолоченнаго, побурѣвшаго хлѣба, которыя въ доброе старое время обступали на всемъ черноземѣ околицу

*) Поклонники Стеньки Разина сходились на этомъ съ послѣдователями знаменитаго А. С. Хомякова.

любой деревни. Пахать землю для прокормленія полевыхъ мышей считалось такими господами экономической мудростью. Они не додумались до того, что отсутствіе барыша отъ земледѣлія пріучаетъ земледѣльца работать неряшливо. Съ появленіемъ паровоза на черноземѣ это благополучіе, впрочемъ, навсегда прекратилось. А перестройки экономической жизни вызываютъ и перемѣны въ другихъ сторонахъ быта. Когда натуральному хозяйству былъ положенъ конецъ развитіемъ промышленности и желѣзными дорогами, нечего было надъ этимъ покойникомъ проливать напрасныя слезы. Надо было помочь русскому крестьянину стать на ноги и сумѣть воспользоваться паровымъ транспортомъ. Что при этомъ добрая треть, если не цѣлая половина крестьянскихъ хозяйствъ, должны будутъ погибнуть, какъ сохнутъ тощія деревца среди высокоствольнаго лѣса, это было, конечно, безспорно. Но что же съ этимъ подѣлаешь? Любой промыселъ долженъ ограничиться той рабочей силой, которая для него необходима. Все лишнее вычеркивается вонъ. Напрасная трата рабочей силы и есть настоящая пагубная роскошь въ народномъ хозяйствѣ. Люди, не постигнувшіе этого, просто обрекаютъ свою страну не только на безконечный застой, но и на вѣчную бѣдность. Ничего не можетъ быть пагубнѣе напрасной затраты труда, бросанія на вѣтеръ этого созидателя богатства. Теперь, кажется, всѣ это поняли, или почти всѣ. И, какъ водится, многіе хватили черезъ край. Хочется имъ, заодно съ общиной, вышвырнуть за бортъ и само крестьянское сословіе,—его обычаи, взгляды, его привычки и вѣрованія. И со-

вершенно такъ же, какъ въ половинѣ восьмидесятыхъ годовъ критика обзывала меня за мою книгу плантаторомъ и Остзейскимъ барономъ, я и теперь не прихожусь ей ко двору, потому что искусственно, преждевременно ломать сословныя группы въ странѣ, ускорять процесъ ихъ разложенія, мнѣ кажется нелѣпостью. Статистика не даромъ говоритъ, что въ сельскихъ округахъ и смертность ниже, и жизнь въ среднемъ продолжительнѣе, и ниже %-ъ негодныхъ къ военной службѣ призывныхъ. Въ этомъ отношеніи восточная земледѣльческая Германія рѣзко отличается отъ западной, фабричной.

Вопросъ объ общинѣ живо обсуждался въ нашемъ кружкѣ, слабо разросшемся, но не угасшемъ во время моего отсутствія. Лишь предсѣдатель кружка Ф. А. Левшинъ и я были заступниками личной собственности. В. Г. Трироговъ, ставшій тогда директоромъ департамента государственныхъ земель, былъ напротивъ почти фанатическимъ представителемъ общинной теоріи. Къ нему примыкали, хотя съ меньшимъ жаромъ, А. С. Ермоловъ и А. Н. Куломзинъ, занявшій теперь важное мѣсто начальника канцеляріи комитета министровъ. Помню отчетливо горячіе дебаты по этому поводу на одномъ изъ засѣданій „Эллипсиса“, собиравшагося теперь у меня. А. С. Ермоловъ, защищая мірской бытъ, дѣлалъ, впрочемъ, нѣкоторыя уступки его противникамъ, уступки, побудившія Левшина воскликнуть: „Ну, тогда отъ общины черезъ нѣсколько лѣтъ останутся лишь пухъ и перья!“. А. Н. Куломзинъ, съ своей стороны, добавилъ, что безусловная

свобода личной собственности немыслима и что ей суждено съ каждымъ новымъ поколѣніемъ суживаться, склоняясь все болѣе къ нѣкоторому коллективизму. Въ настоящее время ни А. С. Ермоловъ, ни А. Н. Куломзинъ, ни даже С. С. Бехтѣевъ, бывшій тоже сторонникомъ общинной теоріи, на прежней точки зрѣнія уже не стоятъ; а В. Г. Трирогова унесла могила.

Помню я живо одно интересное засѣданіе Вольно-Экономическаго Общества, происходившее въ началѣ 79-го года, за нѣсколько мѣсяцевъ до моего отъѣзда за границу. Упоминаю о немъ лишь теперь, потому что пришлось къ слову. Предсѣдательствовалъ извѣстный профессоръ политической экономіи Вреденъ, и предсѣдательствовалъ очень осторожно, чтобы не сказать боязливо. Причиной тому было присутствіе цѣлой толпы длинноволосыхъ молодыхъ людей и барышенъ, одѣтыхъ въ черное, съ полнымъ отсутствіемъ бѣлья на рукахъ и на шеѣ. Въ первый разъ я встрѣчалъ въ Вольно-Экономическомъ Обществѣ этотъ яко-бы передовой хоръ, впослѣдствіи завладѣвшій и авансценой, и приведшій само Общество къ закрытію. Оригинально было то, что члены, подвергшіеся баллотировкѣ, должны были стушевываться передъ улицей. Еще оригинальнѣе, пожалуй, было непростительное легкомысліе коренныхъ членовъ, допускавшихъ пополненіе Общества такими господами, которые о сельскомъ хозяйствѣ и понятія не имѣли, но съ готовностью проводили всякое постановленіе въ такъ называемомъ „либеральномъ“ смыслѣ. Наводненіе ученаго Общества новобранцами изъ вовсе не уче-

ной молодежи было по меньшей мѣрѣ глупостью. При нѣкоторой осмотрительности ему легко было стать въ рукахъ настоящихъ хозяевъ настоящею цитаделью земледѣлія. Въ тотъ вечеръ докладчикомъ былъ, какъ разъ по общинному вопросу, нѣкто г-нъ Половцевъ. Онъ поклонялся модному идолу—власти міра, и утверждалъ, что надо беречь эту драгоцѣнную форму общественнаго устройства, которая со временемъ—не безъ пафоса утверждалъ онъ—обниметъ, какъ слѣдуетъ надѣяться, всю Россію.

Возражалъ Половцеву я, только что вернувшійся изъ поѣздки, совершенной по порученію графа Валуева. Видѣнное мною не подтверждало горячей увѣренности докладчика. Большинство деревень, мною изученныхъ во всѣхъ трехъ губерніяхъ,—Тульской, Орловской и Тверской,—ни разу не передѣляло своихъ полей либо съ десятой ревизіи, если это были крестьяне государственные, либо съ момента разверстанія, если они были помѣщичьи. Такой порядокъ можно было назвать общиннымъ развѣ на бумагѣ. Притомъ самый характеръ мірского строя, отъ котораго главнымъ образомъ уцѣлѣла зловредная опека міра надъ отдѣльными домохозяевами, оказывался далеко не одинаковымъ даже въ предѣлахъ коренной Россіи. Впослѣдствіи двѣ изъ губерній, осмотрѣнныхъ мною, Тульская и Орловская, были подробно изслѣдованы г-номъ Кошкаровымъ и результаты его поѣздки вполнѣ подтвердили обнаруженные мною факты, хотя на порогѣ восьмидесятыхъ годовъ на всемъ черноземѣ происходили многочисленные всеобщіе передѣлы, главнымъ образомъ въ бывшихъ казен-

ныхъ селеніяхъ. Въ прѣніяхъ по докладу г-на Половцева участвовали три такихъ знатока крестьянскаго дѣла, какъ кн. А. И. Васильчиковъ, Ф. Д. Барыковъ и профессоръ Вернадскій. Первые два соглашались со мной, третій, кажется—нѣтъ. Но замѣчательно, что мои слова наткнулись на дружное шиканье длинноволосыхъ юношей и черныхъ дѣвицъ. А когда я позволилъ себѣ замѣтить предсѣдателю, что публика, казалось бы, не должна мѣшать членамъ Общества высказываться, тотъ робко отвѣтилъ, что я слишкомъ уже иду въ разрѣзъ съ симпатіями „молодого поколѣнія". Ну, а какъ быть теперь, когда эти симпатіи повернули въ обратную сторону?

Но вернемся къ „Эллипсису". Много въ немъ говорилось о Кохановской комиссіи, закрывшейся при графѣ Димитріи Андреевичѣ, послѣ долгаго и тщательнаго обсужденія мѣстной реформы. Не стану возвращаться къ давно всѣмъ извѣстному изобрѣтенію комиссіи—къ „волостелямъ", прозваннымъ въ насмѣшку „коростелями", къ устройству новыхъ сельскихъ всесословныхъ ячеекъ, въ сущности очень напоминавшихъ теперешнія земскія единицы и т. д. и т. д. Это было блюдо, приготовленное въ силу послѣдняго слова науки либеральнымъ чиновничествомъ, къ которому примыкали и нѣкоторые либеральные земцы, въ томъ числѣ представитель Твери Н. А. Чаплинъ. Были тутъ и неизбѣжные профессора, среди которыхъ выдавался И. Е. Андреевскій, разумѣется разбиравшій вопросъ съ чисто теоретической точки зрѣнія. Краснорѣчивый Иванъ Ефимовичъ усматривалъ въ немъ какіе-то

„элементы“ и какіе-то „моменты“, и въ концѣ концовъ признавалъ, кажется, что „моменты“ и „элементы“—одно и то-же Ф. Д. Барыковъ занимался вышучиваніемъ своихъ сочленовъ и сочинялъ на нихъ стишки, ходившіе тогда по рукамъ. Но замѣчательно, что большинство комиссіи встрѣчало неумолимыхъ критиковъ въ трехъ людяхъ, вовсе не солидарныхъ между собою, но представлявшихъ вѣчную оппозицію „земли“ чиновничеству, — все равно, какимъ бы ни было это чиновничество, либеральнымъ или консервативнымъ. Эти люди были кн. А. Д. Оболенскій, тогда пензенскій губернскій предводитель, А. Д. Пазухинъ, представитель Симбирска и представитель Орла—С. С. Бехтѣевъ. Едва-ли ихъ можно счесть людьми одной и той же партіи. А между тѣмъ ихъ возраженія исходили изъ одного и того же принципа—изъ признанія самодержавной силы необходимости. Они первые стали говорить, что на низшихъ ступеняхъ администрація и судъ должны находиться въ однѣхъ и тѣхъ же рукахъ по той простой причинѣ, что не хватитъ матеріала на пополненіе двухъ параллельныхъ должностей, административной и судебной. Впослѣдствіи къ этой разумной идеѣ были присоединены двѣ другія, далеко не столь очевидныя: замѣна выбора назначеніемъ и замѣна юрисдикціи перваго департамента Сената подчиненіемъ министерству Внутреннихъ Дѣлъ. Словомъ, сами того не зная, кн. А. Д. Оболенскій и С. С. Бехтѣевъ бросили первое сѣмя, изъ котораго потомъ выросли земскіе начальники. Когда, 6 лѣтъ спустя, это осуществилось, кн. Оболенскій и С. С. Бех-

тѣевъ стали открещиваться отъ своего невольнаго дѣтища. Но было уже поздно.

Немножко виноватъ по этой части и я. Уже въ 1883 году я послалъ въ аксаковскую „Русь“ двѣ статьи, озаглавленныя: „Волость, уѣздъ и губернія“. Въ нихъ проводилась мысль, что пора положить конецъ нелѣпому антагонизму между правительствомъ и земствомъ, между выборными представителями общества и казенными чиновниками. Достигалось это созданіемъ въ каждой губерніи центральной примирительной коллегіи, составленной изъ выборныхъ лицъ и изъ назначенныхъ властью органовъ различныхъ вѣдомствъ. Основаніемъ реформы являлась должность, стоявшая на нижней ступени мѣстнаго устройства, должность, объединявшая мѣстный судъ и управленіе. Я не останавливался въ спасительномъ страхѣ передъ великою тѣнью Монтескье и не боялся нарушенія принципа раздѣленія властей, когда едва на одну изъ нихъ хватало во многихъ уѣздахъ людей независимыхъ, образованныхъ и согласныхъ отправлять возложенныя на нихъ скромныя обязанности. И. С. Аксаковъ охотно принялъ мою политическую стряпню: онъ самъ былъ почти одного мнѣнія со мною. Но ни ему, ни Оболенскому, ни Бехтѣеву, ни мнѣ тогда не снилось, что все это приведетъ къ учрежденію земскихъ начальниковъ и къ упраздненію выборныхъ мировыхъ судей новаго типа. Объ этомъ, впрочемъ, ниже. Въ зиму 1883—84 года, не зная вовсе Ивана Сергѣевича Аксакова, я вступилъ съ нимъ въ переписку и сталъ посылать въ „Русь“ литературно-критическія статьи, обозрѣвавшія текущую журна-

листику. Статьи эти оставались безъ подписи и авторъ ихъ былъ извѣстенъ однимъ моимъ ближайшимъ друзьямъ. Къ сожалѣнію, самое интересное изъ писемъ Аксакова у меня затерялось. Въ немъ была яркая картина золотой эпохи сороковыхъ годовъ за то время, когда не произошло еще разрыва между западниками и славянофилами. Въ глазахъ Аксакова тогдашній великолѣпный расцвѣтъ художественной формы при глубинѣ разрабатывавшихся идей—этотъ расцвѣтъ былъ купленъ черезчуръ дорогою цѣной. „Эта высокая, драгоцѣнная культура", писалъ Аксаковъ, „выросла на почвѣ крѣпостного права. Почву эту утучнялъ подневольный крестьянскій трудъ, а мы, наслаждаясь его плодами, ограничивались тѣмъ, что платонически возставали противъ рабства"...

Ивана Сергѣевича, какъ почти всѣхъ славянофиловъ, угнетала мысль, что высокая образованность кучки людей покоится на закрѣпощеніи народа. На него, какъ бы вскользь, иногда вѣяло чѣмъ то похожимъ на соціализмъ. Но конечно это были мимолетныя теченія и, доживи онъ до нашихъ дней...

Мое короткое сотрудничество въ „Руси" прекратилось уже весною 1884 года: Аксаковъ заболѣлъ, а я вновь уѣхалъ за границу.

Глава VI-я.

Новое заграничное путешествіе.—Баденъ.—П. В. Жуковскій.—А. Н. Станкевичъ.—П. В. Анненковъ.—Г-жа Баратынская.—Г-жа Зографо.—Г-жа Жадовская.—В. П. Титовъ и Е. А. фонъ-Бревернъ.—Разростаніе мелкой дачной собственности насчетъ крестьянскихъ хуторовъ.—Кончина А. М. Веневитиновой.—Отъѣздъ съ братомъ въ Англію; остановка въ Гаагѣ.—Странная встрѣча въ Гайдъ-Паркѣ.—Брайтонъ.—Перемѣна въ жизни Лондона: народныя волненія—Сектанская община „Bedsham" и протестантскій аскетизмъ.—Лордъ Рэдстокъ и миссъ Вальдегрэвъ.—Митингъ въ Гайдъ-Паркѣ, куда я случайно попалъ.—Нашъ посолъ въ Лондонѣ г-нъ Сталь и его супруга.—Вторичная остановка въ Гаагѣ на возвратномъ пути.—Баронъ ванъ Дорнъ де-Вестkапелле.

ПЕРВОЕ лѣченіе шарлатана Чельгрина принесло такіе хорошіе результаты, что мнѣ захотѣлось большаго—полнаго возстановленія здоровья. Чельгринъ наобѣщалъ возвратить мнѣ зрѣніе, и я имѣлъ слабость ему повѣрить. Шведскій массажистъ успѣлъ тѣмъ временемъ открыть нѣсколько филіальныхъ отдѣленій своей гимнастической клиники въ разныхъ европейскихъ центрахъ. Одно изъ нихъ было въ Баденѣ, куда онъ самъ и главные его ассистенты переселились на лѣто 1884 года. Поѣхалъ туда и я. Чельгринъ хотѣлъ было и въ Петербургъ послать одного изъ своихъ учениковъ; но узнавъ отъ меня, какова плата врачамъ въ Россіи, отъ испол-

ненія этой затѣи воздержался. Лѣто въ Баденѣ оказалось необыкновенно душнымъ. Послѣ коротkаго періода свѣжести, которую я тамъ засталъ въ іюнѣ, разразилась вдругъ величественная, сердитая гроза, а вслѣдъ за нею, вопреки обычаю, разомъ наступилъ зной. Чтобы подышать сноснымъ воздухомъ надо было подниматься на горы, что я и дѣлалъ каждый день, обрадованный, что самые крутые подъемы мнѣ давались сравнительно легко. Конечно я за это поплатился.

Въ Баденѣ, разумѣется, я засталъ многихъ знакомыхъ, и лѣто, въ сущности, прошло очень пріятно. Сблизился я, между прочимъ, если не впрямь подружился, съ П. В. Жуковскимъ, сыномъ поэта и человѣкомъ въ такой мѣрѣ симпатичнымъ, что и въ голову не приходило подвергнуть его чему-либо похожему на анализъ. Художественностью отъ него такъ и вѣяло, точно это было прямое наслѣдіе его знаменитаго отца. По общимъ отзывамъ, въ живописи онъ былъ однимъ изъ тѣхъ диллетантовъ, которые почти достигаютъ мастерства. Любоваться его картинами я не могъ и долженъ былъ положиться на чужіе отзывы. Но его несомнѣнный талантъ стушевывался передъ чистой гармоніей его душевнаго настроенія. Доброжелательная любезность Павла Васильевича такъ очаровывала, что никто не спрашивалъ у себя, глубоко ли это всеобщее доброжелательство.

Существовали, однако, двѣ темы, гдѣ мы съ Жуковскимъ не сходились во мнѣніяхъ. Онъ былъ горячимъ поклонникомъ Вагнера, а мое поклоненіе великому композитору было довольно холоднаго

свойства. Но болѣе серьезное разногласіе насъ разъединяло въ религіозныхъ вопросахъ. Жуковскій мнѣ разъ сказалъ: „vous êtes un croyant incrédule, et moi—un incrédule croyant“ другими словами, онъ находилъ, что я скорѣе послѣдователь догмы христіанства, а самъ онъ—послѣдователь его духа. Можетъ быть, онъ былъ отчасти и правъ. Впослѣдствіи когда я сблизился съ Владиміромъ Соловьевымъ, у насъ съ нимъ тоже оказывалось это противорѣчіе. Увѣряли, что Жуковскій никогда не женился потому, что его влекло чисто умственное обаяніе одной очень высоко образованной женщины, нынѣ уже сошедшей въ могилу. И на судьбу моего друга М. Н. Смирнова эта самая женщина оказала, будто-бы, такое же вліяніе.

Жуковскій занималъ цѣлый этажъ въ одиноко стоявшемъ домѣ въ промежуткѣ между двумя холмами, возвышающимися надъ Лихтентальской аллеей. Тамъ жилъ и другой человѣкъ, тоже высоко художественный по настроенію, А. Н. Станкевичъ, братъ знаменитаго хозяина гостепріимнаго московскаго дома, служившаго центромъ для литературы 40-хъ годовъ. Преклонный возрастъ не охладилъ у Станкевича природной отзывчивости на каждую живую мысль, на любое явленіе въ области искусства. Долгіе часы мы проводили съ нимъ въ пріятельской бесѣдѣ, всегда согрѣтой неподдѣльнымъ тепломъ этой свѣтлой души. Многимъ я ему обязанъ. Объ одномъ только сожалѣю: я не успѣлъ съ его помощью достигнуть знакомства съ другимъ эпигономъ 40-хъ годовъ,—съ П. Н. Анненковымъ, тоже проводившимъ въ Баденѣ лѣто. Оба они

были живою лѣтописью прошлаго, гдѣ первое мѣсто занималъ недавно скончавшійся И. С. Тургеневъ. Анненковъ и Станкевичъ видались каждый день, и я упустилъ случай изъ этого новаго источника отхлебнуть живой воды, щедро расточаемой послѣдними представителями незабвенной эпохи.

Мнѣ пришлось въ Баденѣ опять встрѣтиться съ двумя давнишними товарищами по болѣзни, съ С. Мартыновымъ и барономъ Бэтманомъ, которые тоже, и оба съ полнымъ успѣхомъ, искали выздоровленія у Чельгрина. Мартынову, кстати сказать, я былъ обязанъ знакомствомъ съ Станкевичемъ. Встрѣтилъ я въ Баденѣ, впрочемъ, и знакомыхъ совсѣмъ иного рода. Въ одномъ домѣ со мной, въ нижнемъ этажѣ, жила А. Д. Баратынская, вдова брата извѣстнаго поэта, бывшаго нѣкогда Казанскимъ губернаторомъ. Ее и прозвали въ Петербургѣ „Анной Казанской". Не смотря на свои довольно уже зрѣлые года, она сохранила всю свѣжесть молодого остроумія и, въ тоже время, что такъ рѣдко у остроумныхъ женщинъ—сохранила и молодую доброту. Постоянная близость ко двору, и не только къ русскому, но и къ заграничнымъ, ее ничуть не изсушила. Она усердно занималась переводомъ иностранныхъ поэтовъ на русскій языкъ и русскихъ на иностранный. Причемъ французская, нѣмецкая и англійская версификація были одинаково ей доступны. Я могъ убѣдиться въ близости ея къ престарѣлому императору Вильгельму: въ теченіе лѣта онъ три раза ее посѣщалъ.

Другая умная женщина, не молодая уже дѣвица Зографо, дочь бывшаго греческаго посланника въ

Петербургѣ, и походила на г-жу Баратынскую, и нѣтъ: артистическая струнка была въ ней сильно развита и, пожалуй, у нея нотка была еще мягче, чѣмъ у Анны Давыдовны. Не могу, однако, не отдать пальмы первенства другой старой дѣвѣ, г-жѣ Жадовской, не только чуждой того неизбѣжнаго окисленія, которому всегда почти подвергаются незамужнія женщины, но казавшейся самимъ олицетвореніемъ чистой идеальной поэзіи. Въ ея скромной квартирѣ было совсѣмъ не казистое піанино, изъ котораго ея тонкіе, одушевленнные пальцы умѣли, однако, вызывать истинно волшебные по нѣжности звуки. Она вся напоминала эолову арфу, когда по отзывчивымъ струнамъ ея хрустальной души пробѣгало священное дуновеніе искусства. Такія прелестныя музыкальныя вещицы, какъ „Lotos Blume“ Шумана и дивно грустныя прелюдіи Шопена, написанныя въ минуту его разлуки съ Жоржъ Сандомъ, г-жа Жадовская исполняла мастерски.

Баденъ—убѣжище для людей уже не молодыхъ, которымъ его мягкій воздухъ помогаетъ нѣсколько продлить свой вѣкъ. Встрѣтился я тамъ, между прочимъ, съ двумя почтенными стариками, удивившими меня своею бодростью. Это были В. П. Титовъ и Е. А. фонъ-Бревернъ, перешедшіе оба черезъ рѣдко переходимую грань 80-лѣтняго возраста. Меня поразило, съ какой почти юношескою легкостью они выпрыгнули изъ коляски, и какъ живо еще отзывались они оба на впечатлѣнія окружавшаго ихъ міра. Видѣлъ я ихъ въ послѣдній разъ. Девятый десятокъ начался у обоихъ давно, а голова работала

все попрежнему. Кажется, стоитъ человѣку пережить доступный большинству возрастъ, и безжалостная смерть сама ихъ щадитъ, давая имъ остановиться на пути къ могилѣ. Миръ ихъ праху—это были не только умные, но и добрые люди, всегда готовые всякаго, у кого было до нихъ дѣло, встрѣтить съ чувствомъ искренней благожелательности.

Одно меня особенно поразило въ это мое послѣднее посѣщеніе Бадена. По скатамъ красивыхъ холмовъ, обступившихъ его, причудливая роскошь все дальше отвоевывала мѣсто у прежняго скромнаго хозяйства шварцвальдскихъ крестьянъ. Нѣтъ года, чтобы какой нибудь дворъ мелкаго землевладѣльца не превращался въ красивую виллу, предназначенную для избалованнаго вкуса. Сады съ цвѣтами и фонтанами, теплицы, мраморъ замѣняли неказистыя крестьянскія постройки. И та земля, надъ которою трудились ради насущнаго хлѣба прежніе владѣльцы, становилась предметомъ изысканной прихоти, а то и самодовольнаго тщеславія. Такъ процессу раздробленія собственности соотвѣтствуетъ иной процессъ—обратнаго отвоеванія собственности у земледѣльца богатымъ горожаниномъ. Помню въ особенности одну такую виллу, представлявшую собою верхъ роскоши—недавно построенную виллу Фицтумъ. Она принадлежала вдовѣ саксонскаго министра графа Фицтумъ, урожденной графинѣ Потоцкой, и предназначалась, главнымъ образомъ, для пріема высочайшихъ особъ. Надъ этимъ ростомъ особаго вида мелкой собственности не мѣшало бы призадуматься г-дамъ экономистамъ. Вѣдь не въ одномъ Баденѣ роскошное, хотя и мелкое земле-

владѣніе разростается на счетъ крестьянскаго. Тоже происходитъ вездѣ, гдѣ природа сама тянетъ къ дачной жизни, гдѣ солнце съ одной стороны, а съ другой, желаніе похвастаться богатствомъ, манитъ къ себѣ капиталиста. На Ривьерѣ, въ окрестностяхъ столицъ и, въ особенности, въ Швейцаріи все чаще сносятся деревянскія избы и на ихъ мѣстѣ выростаютъ красивыя убѣжища для людей, ищущихъ отдыха отъ городской сутолоки. На берегу швейцарскихъ озеръ любопытно видѣть, какъ съ каждымъ новымъ годомъ вторгаются въ деревню золоченыя рѣшетки виллъ, носящія знатныя космополитическія имена либо имена такихъ же космополитическихъ царей биржи. Почти можно предвидѣть часъ, когда эти созданія изобрѣтательнаго чванства совсѣмъ вытѣснятъ убогихъ сосѣдей.

Осень 1884 года ознаменовалась для меня грустнымъ событіемъ, подведшимъ итогъ цѣлому ряду дорогихъ воспоминаній. Мой секретарь, развернувъ только что полученную почту и не подозрѣвая, что это для меня значило, прочелъ въ Новомъ Времени извѣстіе о кончинѣ А. М. Веневитиновой. Ни малѣйшаго подозрѣнія о ея болѣзни у меня не было. Ей минуло всего 60 и унесла ее эмболія. Она угасала постепенно: три раза, кажется, въ деревнѣ повторялись у нея опасные припадки сердечнаго недуга. Она едва ли чувствовала, что умираетъ, оставляя послѣ себя и въ семьѣ и въ обществѣ пустое мѣсто, котораго никто не заполнитъ. И съ нею вмѣстѣ сошло въ могилу какъ бы цѣлое духовное настроеніе— потребность обставлять жизнь художественно, искать выхода изъ сухой повседневной

прозы. Не замѣчаютъ образовавшейся пустоты оттого лишь, что изсякла сама эта жажда прекраснаго.

Изъ Бадена я въ началѣ октября опять поѣхалъ въ Англію продолжать лѣченіе у шарлатана Чельгрина. Остановился я на пути въ столицѣ Голландіи, гдѣ бывалъ уже раза два, полюбоваться зелеными лугами этой страны, которая вся, кажется, предназначена круглый годъ служить пастбищемъ своихъ жирныхъ стадъ. Не менѣе жирны и сами голландцы—въ переносномъ смыслѣ конечно. Они, кажется, самый богатый народъ въ мірѣ. Гаага носитъ отпечатокъ особенной тихой прелести своихъ небольшихъ, уютныхъ, чистенькихъ домовъ и задумчивыхъ, безконечныхъ аллей своихъ парковъ, незамѣтно переходящихъ въ лѣсъ. Если не ошибаюсь, такой лѣсъ простирается отъ Гааги вплоть до Лейдена. Ни малѣйшей возвышенности, ни малѣйшей извилистой линіи—все однообразная, почти грустная зелень. Одно портитъ Гаагу—нестерпимая вонь отъ безчисленныхъ ея каналовъ, то въ минуты прилива наполняющихся морской водой, то остающихся почти сухими, какъ скоро наступаетъ отливъ. Иначе это было бы лучшее мѣсто для успокоенія утомившихся нервовъ. Всеобщая зажиточность, обильная тѣнь и—въ этомъ надо отдать справедливость голландцамъ—превосходная кухня отличаетъ всю эту страну всеобщаго, хотя и мѣщанскаго довольства. Въ Лондонѣ, который въ октябрѣ показался мнѣ опустѣлымъ, со мной приключилась оригинальная встрѣча. Присѣлъ я подъ вечеръ, въ сумерки, въ совершенно безлюдномъ Гайдъ-Паркѣ, какъ вдругъ, откуда ни возьмись, какой-то

рабочій въ лахмотьяхъ, должно быть подвыпившій, ко мнѣ неожиданно подсѣлъ. Это въ Лондонѣ очень рѣдкое явленіе—въ лахмотьяхъ я тамъ никого не встрѣчалъ до сихъ поръ. Оборванецъ сталъ не просить, а требовать милостыню, и съ такимъ угрожающимъ видомъ, какъ будто на моей головѣ сосредоточилась вся вина въ бѣдствіяхъ человѣчества. Такое вторженіе жителей ужасныхъ восточныхъ кварталовъ въ прилизанный Вестминстеръ, должно быть, не каждому случается увидать.

Попробовалъ я изъ столицы Англіи заглянуть въ прославленный Брайтонъ, обязанный своимъ названіемъ тому, что солнце тамъ ярко сіяетъ въ осенніе мѣсяцы, когда надъ всей остальной Англіей виситъ туманная мгла. Въ самомъ дѣлѣ, когда выѣзжаешь изъ тоннеля передъ самой Брайтонской станціей, контрастъ поражаетъ своей рѣзкостью: градусовъ на 10 становится теплѣе, и полутьма смѣняется почти итальянскимъ безоблачнымъ небомъ. Такъ оно здѣсь почти круглый годъ. У самаго моря обширный, вымощенный плитами plage, гдѣ публика толпится до поздней ночи. Немного повыше—безконечный рядъ гостинницъ. Зато туманъ здѣсь замѣняется постояннымъ и порывистымъ вѣтромъ съ моря, плохо дѣйствующимъ на нервы. На третій день я не выдержалъ и вернулся въ Лондонъ. Тамъ засталъ я все то же, что и годъ назадъ. Но въ одномъ оказывалась перемѣна. Министерство Глэдстона собиралось провести крупную парламентскую реформу и, соотвѣтственно тому, среди массы рабочаго народа поднялось почти угрожающее движеніе. Угрожающимъ оно, впрочемъ, казалось только

иностранцамъ. Англичане меня увѣряли, что они ничуть за будущее не боятся. Они, въ самомъ дѣлѣ, знаютъ секретъ, какъ справляться съ волненіями. А было изъ-за чего безпокоиться. Тонъ радикальныхъ газетъ очень повысился, по улицамъ прохаживались люди, распѣвавшіе „What's to become of England, if things go on this way", а въ одинъ прекрасный день на Трафальгаръ-Скверѣ, у самаго памятника Нельсона, собрался огромный митингъ тысячъ въ 80, разыгравшійся довольно таки серьезно: отдѣльныя кучки, расходясь, выбивали стекла магазиновъ на богатыхъ улицахъ. Но и это англичанъ не испугало; и очень скоро все вошло въ обычную колею, хотя палата лордовъ упорно отказывалась пропустить избирательную реформу.

Изъ своего пребыванія въ Лондонѣ, въ зиму 1884—85 года, разскажу два эпизода, засѣвшіе у меня въ памяти. Въ Лондонѣ существовала тогда община какихъ-то сектантовъ съ очень неопредѣленнымъ вѣроученіемъ, гдѣ спеціально занимались вылѣчиваніемъ всевозможныхъ болѣзней съ помощью одной молитвы. Домъ, гдѣ собирались эти сектанты, носилъ еврейское названіе „Bethsham", т. е. „домъ молитвы". Тамъ, если не ошибаюсь, дважды въ недѣлю, по вторникамъ и по пятницамъ, происходило нѣчто въ родѣ богослуженія: собиралась самая разнообразная публика, и хозяева молельни, старшій братъ и старшая сестра, сказавъ нѣсколько назидательныхъ словъ, обходили присутствующихъ и всѣхъ, изъявлявшихъ желаніе подвергнуться своеобразному лѣченію, помазывали священнымъ масломъ—я чуть не сказалъ елеемъ. Смотрѣли на это

почти какъ на таинство, ссылаясь на то мѣсто изъ посланія апостола Іакова, на которомъ основано елеосвященіе. Матушка, раза три бывшая на этихъ собраніяхъ, разсказывала мнѣ, что каждый разъ по нѣсколько человѣкъ изъ бывшихъ тутъ громко заявляли, будто они получили здѣсь исцѣленіе. И мнѣ захотѣлось поглядѣть на этихъ оригинальныхъ сектантовъ, не принадлежащихъ ни къ какой опредѣленной церкви и тѣмъ не менѣе замѣнявшихъ таинства, которыхъ они не признавали, обрядомъ, основанномъ на Священномъ Писаніи. Въ одномъ изъ самыхъ отдаленныхъ кварталовъ Лондона стоялъ глядѣвшій одиноко и грустно трехъэтажный домъ, гдѣ въ пустой комнатѣ средняго размѣра меня посадили на принесенное туда кресло. Изъ-за дверей слышалось негромкое пѣніе какого-то гимна. Пахло чѣмъ-то похожимъ на постную монастырскую пищу; было почти холодно. Словомъ, „Bethsham“ показался мнѣ очень неуютнымъ и негостепріимнымъ. Смахивало на монашескую обитель, гдѣ долго приходится дожидаться какого-нибудь знаменитаго старца. И я дожидался не мало. Наконецъ появилась сестра— самого хозяина не было дома—и сразу заговорила со мною на «ты». Первымъ ея вопросомъ было: вѣрую ли я твердо? Потомъ, когда я спросилъ: правда-ли, что они добиваются исцѣленія одной молитвой, она отвѣтила утвердительно, но почти сурово. Ощущеніе неуютности во мнѣ все росло. «Недостаточно, однако», продолжала сестра, «быть христіаниномъ, чтобы получить желаемую помощь. Надо еще дать обѣтъ, что никогда больше не станешь обращаться къ человѣческому средству или спрашивать совѣта

у врача. Нельзя обращаться къ Богу, будто принимаешь какое-нибудь лѣкарство. Надо преклониться заранѣе передъ Его Премудростью: если Онъ не захочетъ помочь, съ этимъ необходимо примириться, а если молитва окажется успѣшною, это обязываетъ исцѣленнаго всѣ свои средства и духовныя, и матеріальныя отдавать на служеніе ближнимъ и на дѣла милосердія. Личная жизнь, личныя цѣли съ этой минуты прекращаются. Все сводится къ одному— къ благодарности Богу, которая находитъ въ себѣ выраженіе въ любви къ ближнему".

Все это было сказано тихимъ, унылымъ, но совсѣмъ не кроткимъ голосомъ. Отъ всей обстановки вѣяло ледянымъ аскетизмомъ. Отвѣтилъ я сестрѣ, что такихъ обязательствъ принять на себя не могу и покинулъ «Bethsham» съ недоумѣвающимъ вопросомъ на душѣ: какъ это протестантизмъ, обвиняющій прочія исповѣданія въ наклонности налагать на человѣка всякія путы и признавать обязательными для спасенія разные мудреные подвиги, самъ обнаруживаетъ наклонность къ чему то очень похожему на монашескій обѣтъ?

Въ Лондонѣ я имѣлъ случай встрѣтиться опять съ бывавшимъ у насъ въ Петербургѣ лордомъ Рэдстокомъ. Онъ, кажется, и не подозрѣвалъ о существованіи „Бэтшема". Но меня поразило сходство между обоими ученіями. Рэдстокъ продолжалъ говорить, что спасены мы всѣ давно, и необходимо лишь быть твердо убѣжденнымъ въ своемъ спасеніи. А между тѣмъ всетаки изъ его словъ выходило, что и для этого нужно что-то еще, тоже очень напоминавшее аскетизмъ. Надо было отказаться отъ

удовлетворенія всѣхъ личныхъ желаній, находя удовольствіе въ одномъ лишь, въ помощи ближнимъ. И увидѣлъ я въ Лондонѣ полное осуществленіе этого идеала — двадцатилѣтнюю дочь лорда Рэдстока, миссъ Вальдегрэвъ, посвятившую мнѣ цѣлый вечеръ, чтобы своею привлекательностью еще лучше подтвердить слова лорда. Увѣряли меня, что она очень хорошенькая. Но одного голоса ея было достаточно, чтобы убѣдить собесѣдника въ привлекательности того жизненнаго пути, на который она стала. А путь этотъ велъ къ спасенію очень непривлекательнымъ образомъ. Несмотря на свои 20 лѣтъ и на милую наружность, миссъ Вальдегрэвъ проводила время въ посѣщеніи тюремъ, проповѣдуя тамъ кротость и милосердіе, главнымъ образомъ порочнымъ женщинамъ. Нельзя было не восхищаться той свѣтлой радостью, съ которой она приносила себя въ жертву, забывая о своихъ 20-ти годахъ. И дѣлала она это не въ одномъ Лондонѣ: за границей она тоже занималась проповѣдничествомъ. На мой вопросъ, считаетъ ли она позволительнымъ веселиться, танцовать, бывать въ театрахъ или хотя-бы на концертахъ, миссъ Вальдегрэвъ отвѣтила: „Не только я не дѣлаю всего этого, но даже въ картинныхъ галлереяхъ не бываю, и не потому, чтобы это было запрещено какъ нѣчто предосудительное, а потому, что это отнимаетъ время, нужное для ближнихъ“.

Спасеніе по методу лорда Рэдстока выходило такимъ образомъ дѣломъ не совсѣмъ простымъ. Какъ этотъ угловатый человѣкъ своей неуклюжей рѣчью успѣлъ такъ нафанатизировать и взвинтить

свою хорошенькую дочку, до сихъ поръ не понимаю. Но говорятъ, учениковъ у почтеннаго лорда не мало по всей Европѣ, и одного изъ нихъ, съ которымъ я познакомился на возвратномъ пути черезъ Голландію, я забыть не могу до сихъ поръ. Онъ возбудилъ мое удивленіе не менѣе самой миссъ Вальдегрэвъ. Не могу не признать, что легче бы жилось на свѣтѣ, если бы побольше людей на нихъ походили. Нельзя, однако, не замѣтить, что способъ нравственнаго лѣченія по рецепту лорда Рэдстока пригоденъ для очень немногихъ. Такое полное самозабвеніе превышаетъ силы большинства людей. Да и Евангеліе говоритъ только „о любви къ ближнимъ, какъ къ самому себѣ". Самозакланія оно не требуетъ. Оригинально во всякомъ случаѣ, что вѣроисповѣдныя формы, совсѣмъ противоположныя — свободное сектанство, исходящее изъ методизма, и строго православное аскетическое ученіе, въ концѣ концовъ почти сходятся въ своихъ результатахъ.

Другое сильное впечатлѣніе получилъ я въ Лондонѣ на совсѣмъ иной почвѣ. Отправился я въ одно воскресеніе совершать обычную прогулку по Гайдъ-Парку и былъ пораженъ, найдя его совершенно безлюднымъ. Лишь издали доносились какіе-то голоса. Спросилъ я о причинѣ отсутствія публики у бывшаго тутъ констэбля, и получилъ неожиданный отвѣтъ: «Здѣсь сегодня происходитъ цѣлыхъ два митинга—одинъ ирландскій, другой соціалистическій. Оттого здѣсь такъ и пусто".

Захотѣлось мнѣ обратиться вспять, но констэбль мнѣ сказалъ, что едва-ли я успѣю убраться во

время, такъ какъ митинги повидимому окончились, и толпа валитъ къ воротамъ. Въ самомъ дѣлѣ, голоса становились все громче, раздавались одобрительные „shouts“. Приходилось искать убѣжища у павиліона для музыки, гдѣ на самомъ дѣлѣ музыка никогда не играетъ. Мой камердинеръ и я прислонились къ стѣнкѣ павиліона, стараясь какъ можно болѣе стушеваться. Обѣ толпы, соединившіяся въ одну, приближались стремительно, какъ бурная морская волна. Очень это напоминало извѣстное стихотвореніе Виктора Гюго „Les Djinns“, гдѣ несмѣтная толпа злыхъ духовъ ночью проносится по голой равнинѣ. Оба митинга отличало другъ отъ друга развѣ то, что на одномъ развивалось зеленое знамя, а на другомъ красное. Думалось мнѣ, что намъ обоимъ и павиліону тоже не сдобровать. Несмотря, однако, на бурные клики, толпа благополучно пронеслась мимо. Одинъ только мальчуганъ лѣтъ 16-ти коснулся меня случайно рукавомъ и тотчасъ извинился, снявъ картузъ, «Beg youe pardon, Sir, hope you're not hurt“, проговорилъ онъ быстро. Сзади его не переставали подталкивать. Стремительный бѣгъ не помѣшалъ, однако, волнамъ народа, едва онѣ вылились изъ воротъ, мирно разойтись по обѣимъ сторонамъ широкой улицы Grosvenor Place. Толпа, очевидно, старалась не мѣшать ни прожимъ, ни каретамъ. «Ну», подумалъ я, „немудрено, что англичанамъ позволяютъ собираться подъ открытымъ небомъ, а во всѣхъ прочихъ странахъ это воспрещено. Можно себѣ представить, чтобы надѣлала французская толпа, или хотя бы русская, опьяненная возбудительными рѣчами!“ Свободу,

самую широкую, можно дать народу, никогда не забывающему уважать и свободу прочихъ.

Весною 1885 года Лондонъ былъ оченъ озабоченъ волненіями въ Египтѣ. Имя главы тамошнихъ націоналистовъ, Араби-паши, не сходило съ устъ и съ газетныхъ столбцовъ. Собралась, какъ водится, конференція и, подписавъ актъ объ отреченіи отъ всякихъ корыстныхъ цѣлей, англійское правительство, не думая долго, принялось бомбадировать беззащитную Александрію. Печать увѣряла беззастѣнчиво, что Англія получила отъ остальной Европы порученіе водворить въ Египтѣ такъ называемый „порядокъ“. Мѣсяцъ спустя однако, когда русскія войска, подъ начальствомъ генерала Комарова, разбили при Кушкѣ афганцевъ, предводительствуемыхъ англійскими офицерами, въ Лондонѣ громко роздался взрывъ притворнаго негодованія. Не могу не вспомнить маленькую сценку, происшедшую по этому поводу въ гостиной матери. Пріѣхала къ ней одна ея хорошая пріятельница, лэди Виндфордъ, женщина необыкновенно мягкая въ обращеніи и въ высокой степени интересная, когда она принималась разсказывать о своихъ многочисленныхъ путишествіяхъ. Эта самая лэди Виндфордъ удивила меня предыдущей осенью своимъ неожиданнымъ посѣщеніемъ, когда я пріѣхалъ въ Англію вдвоемъ съ младшимъ братомъ. Мы жили тогда въ гостиницѣ. И никогда прежде меня не видавшая лэди Виндфордъ тѣмъ не менѣе пріѣхала меня навѣстить, узнавъ случайно о моемъ пріѣздѣ. Видно—пустая сказка, будто англичанка не заговоритъ даже съ мужчиной, ей формально не пред-

ставленнымъ. И вотъ эта самая милая лэди, когда весь Лондонъ заговорилъ про Кушку, вдругъ обратилась ко мнѣ со слѣдующимъ вопросомъ:

— Скажите, генерала Комарова предатутъ военному суду за то, что онъ нарушилъ «священное» соглашеніе Англіи съ Россіей?

— А позвольте мнѣ у васъ спросить въ свою очередь, лэди Виндфордъ, отвѣтилъ я,—былъ-ли преданъ военному суду тотъ англійскій адмиралъ, который «самовольно» бомбадировалъ Александрію?

Лэди Виндфордъ немедленно перевела разговоръ на другую тему, замѣтивъ, что лондонская зима въ этомъ году была необыкновенно сурова. На самомъ дѣлѣ, Кушка насъ чрезвычайно подняла въ глазахъ англичанъ, съ той же минуты переставшихъ говорить о Россіи, какъ о странѣ, съ которой нечего считаться.

Не могу не сказать здѣсь два слова о тогдашнемъ русскомъ послѣ въ Лондонѣ, господинѣ Сталь. Познакомился я съ нимъ еще въ то время, когда онъ былъ посланникомъ въ Штутгартѣ, и въ столицѣ Англіи я видѣлся съ нимъ довольно часто. Это былъ необыкновенно любезный и непритязательный человѣкъ, весь какъ будто проникнутый желаніемъ всѣхъ обворожить своей умной ласковостью. Скрывалась ли за этимъ предупредительнымъ обращеніемъ настоящая глубина политической мудрости, судить не берусь. Но, кажется, онъ прекрасно успѣвалъ въ своей задачѣ—устранять всѣ шероховатости между обѣими странами, нисколько въ то же время не жертвуя русскими интересами. Сглаживать какъ можно болѣе личныя

отношенія въ дипломатіи значитъ очень много, а этимъ умѣніемъ г-нъ Сталь обладалъ въ совершенствѣ. Его жена, урожденная княжна Горчакова, была женщиной совсѣмъ иного типа. Она тоже старалась обворожить собесѣдника, но не ласковостью, а неожиданностью оборотовъ своей извилистой манеры вести разговоръ. И кое-когда, очень рѣдко, въ этой всегда интересной бесѣдѣ чувствовалась слегка прикрытая шпилька, припасенная на случай. Къ г-жѣ Сталь прекрасно шло французское выраженіе «bel esprit».

Перваго іюня мы вторично покинули Англію, и всегда бурное нѣмецкое море насъ опять подарило рѣдкой безмятежностью своей, на этотъ разъ, вполнѣ спокойной гладью. Остановились мы опять дня на три въ Гаагѣ, чтобы познакомиться съ однимъ тамошнимъ ученикомъ лорда Рэдстока, къ которому онъ далъ мнѣ рекомендательную записку. Онъ оказался человѣкомъ поистинѣ замѣчательнымъ, способнымъ гораздо болѣе своего учителя увлекать и завоевывать сердца. Барону ванъ-Дорнъ де-Весткапелле тогда минуло 50. У него было крупное состояніе и занималъ онъ при дворѣ и въ обществѣ видное мѣсто. Богатство и положеніе, однако, не мѣшали ему съ самою теплою готовностью отдавать свое время каждому, кто бы онъ ни былъ, лишь бы только нуждался въ словѣ ободренія и сочувствія. Онъ посѣщалъ революціонныя митинги, опускался на самое дно порока и безъ всякой брезгливости велъ тамъ свою неутомимую проповѣдь. Въ его рѣчахъ звучало одно искреннее милосердіе. Никогда не услышалъ я отъ него суровой нотки. И своему

единственному сыну онъ не препятствовалъ нисколько вести обычную жизнь богатой молодежи. А ко мнѣ, человѣку ему совершенно незнакомому, онъ заходилъ цѣлыхъ три раза и слышалъ я отъ него одну только проповѣдь—проповѣдь терпѣнія и кротости. Лицемѣрія въ немъ не было ни слѣда. Когда онъ опускался на колѣни, горячо молясь за человѣка, совершенно ему чужого, полная искренность слышалась въ его молитвѣ. Мое путешествіе закончилось такимъ образомъ почти радостнымъ, мажорнымъ аккордомъ, хотя на этотъ разъ лѣченіе г-на Чельгрина принесло мнѣ несомнѣнный вредъ.

Глава VII-я.

Общее мажорное настроеніе послѣ Кушки.—Наша болгарская политика.—Мы противорѣчимъ самимъ себѣ.—Финансовое управленіе Н. Х. Бунге и его характеръ.—Полная возможность ввести у насъ представительство въ половинѣ 80-хъ годовъ.—Минута была упущена.—А. Д. Пазухинъ.—Характеръ его воззрѣній и отличіе его отъ настоящихъ славянофиловъ. Кончина Ф. А. Левшина.—Мои занятія статистикой.—Слабая сторона земскихъ изслѣдователей.—Два примѣра оригинальнаго отношенія къ статистическимъ работамъ.—Я. П. Полонскій.

Въ Россіи я ничего почти новаго не засталъ. Всеобщая мажорная нотка звучала только еще сильнѣе, несмотря даже на самопротиворѣчіе въ отношеніяхъ нашихъ къ Болгаріи. То самое, что такъ возмущало нашихъ патріотовъ на Берлинскомъ конгрессѣ—ампутація такъ называемой Восточной Румеліи, теперь возбуждала въ насъ совершенно противоположное чувство, когда Восточная Румелія отдалась Болгаріи сама. Вся Европа признала совершившійся фактъ, и мы одни стали коситься на освобожденную нами страну. Видно, намъ показалось обиднымъ, что не изъ нашихъ рукъ пришлось ей получить этотъ подарокъ судьбы. И цѣлыхъ 10-лѣтъ длился нашъ разрывъ съ тою самою Болгаріей, за которую мы столько пролили крови восемь

лѣтъ передъ тѣмъ. Но этотъ маленькій диссонансъ не могъ испортить громкой радости по случаю нашего международнаго подъема, за которымъ очень скоро долженъ былъ слѣдовать и подъемъ финансовый. Осенью 1885 года, когда я вернулся въ Петербургъ изъ тверской деревни, нашъ курсъ, а съ нимъ и весь бюджетъ, все еще влачили печальное существованіе, подавленные тройнымъ бременемъ— лажа, дефицита и бумажнаго обращенія. Пока Н. Х. Бунге оставался министромъ, не чувствовались благіе результаты его управленія. Они оказались тогда только, когда его въ 1887 году замѣнилъ И. А. Вышнеградскій. Неблагодарный Петербургъ, плохо разумѣвшій справедливыя и разумныя мѣры Николая Христіановича, острилъ надъ нимъ, обзывая его „Bunge“ и произнося его нѣмецкую фамилію по французски. Не отдавали себѣ отчета, сколько нужно было мужества, чтобы облегчать налоги въ такую минуту, когда казначейство должно было удовлетворяться недостаточными поступленіями. У почтеннаго старичка, нѣсколько, можетъ быть, зараженнаго доктринерствомъ, шарлатанскихъ пріемовъ не было и тѣни. Его росписи обходились безъ малѣйшей попытки втереть публикѣ очки. Въ одномъ, конечно, онъ принесъ ненужную жертву на алтарѣ теоріи: ежегодная уплата 50.000.000 государственному банку для погашенія бумажныхъ денегъ на такую-же цифру была, очевидно, самообманомъ. Прибѣгать къ займамъ, дабы полученныя суммы лишь перекладывать изъ кармана въ карманъ, это попросту значило ради фактивной уплаты увеличивать государственную задолженность. Но

и эта ошибка исходила изъ слишкомъ щепетильной честности Николая Христіановича, — качества очень рѣдкаго, не всегда отличающаго руководителя финансоваго вѣдомства.

Вѣчный плачъ о нашихъ столь неблестящихъ денежныхъ дѣлахъ только слабой зыбью пробѣгалъ по гладкой поверхности нашего успокоеннаго общества. Даже появленіе мало симпатичнаго типа студентовъ-гвардейцевъ, такъ называемыхъ «бѣлоподкладчиковъ», старавшихся похвастать щегольствомъ и предпочитавшихъ лекціямъ трактиръ,— даже этотъ типъ многимъ казался благопріятнымъ симптомомъ. А было это, въ сущности, симптомомъ огрубѣнія нравовъ, уже тогда готовыхъ воспринять столь популярную у насъ теперь философію Ницше. Эгоизмъ былъ и тогда въ модѣ. Превосходство чувственныхъ наслажденій надъ всѣми остальными уже тогда провозглашалось громко. А какъ средство себѣ ихъ обезпечить, конечно, проявлялось куреніе фиміама передъ золотымъ тельцомъ,—другими словами, готовность совершать всевозможныя подлости ради презрѣннаго металла. Развитіе невзыскательнаго жуирства было вполнѣ законнымъ послѣдствіемъ долгой проповѣди матеріализма, сперва исключительно теоретическаго и мирившагося съ самопожертвованіемъ на практикѣ. Мало-по-малу такое самопожертвованіе стало казаться попросту глупостью, а торжество положительныхъ знаній безъ соотвѣтствующаго использованія ихъ лично для себя у многихъ вызывало лишь презрительную улыбку. Отъ настоящаго здороваго консерватизма бѣлоподкладчики стояли далеко.

Наступила минута, когда успокоеніе умовъ и молчаніе земской оппозиціи давало возможность призвать земство къ участію въ центральномъ управленіи. Намѣренно я не произношу здѣсь слова «конституція», съ которымъ обыкновенно связываютъ опредѣленные пріемы, выхваченные изъ общественной жизни Запада. Болѣе или менѣе рабски копировать чужіе образцы несравненно легче, чѣмъ прислушиваться къ завѣтамъ своего прошлаго и выказывать нѣкоторое творчество въ созданіи новыхъ учрежденій. Такъ любили у насъ поступать издавна и, странное дѣло, любили это не одни подданные, — любило это и само правительство. Сверху до низу, начиная отъ Петра Великаго, Россія представляетъ собою мозаику чужихъ учрежденій, болѣе или менѣе успѣшно у насъ аклиматизировавшихся. Не менѣе чужія всѣ заимствованныя идеи, которыя съ конца XVIII-го вѣка туманно носятся въ головахъ нашихъ преобразователей. Энциклопедическое вольнодумство, равенство, провозглашенное, но очень мало соблюдавшееся во время французской революціи, англоманія при Александрѣ I-мъ и полусоціалистическіе миражи «петрашевцевъ»—все это рядъ попытокъ пересадить, къ намъ чужія растенія, не подготовивъ для нихъ даже почвы. Это конечно не особенно головоломно. Послать какого-нибудь юнаго чиновника изслѣдовать, положимъ, брауншвейгское законодательство, или изучить податную систему какого-нибудь швейцарскаго кантона—два случая такихъ командировокъ мнѣ дѣйствительно извѣстны—несравненно проще, чѣмъ созидать что-нибудь свое,

родное. Не особенно затруднительна та же погоня за иностранными идеалами, съ помощью которыхъ пробуешь догнать ушедшую отъ насъ впередъ Европу. Пригодны ли такіе идеалы для Россіи, объ этомъ заботятся мало. Пересаживай—и только! Вотъ почему и правительственное, и оппозиціонное реформаторство у насъ виситъ на воздухѣ. Вотъ почему до сихъ поръ наши партіи лишены реальной основы и привыкли размежевываться въ заоблачномъ пространствѣ.

Но эти замѣчанія мимоходомъ. Неосновательность нашихъ мечтаній выступила ярко передъ глазами всѣхъ лишь при созывѣ первой Думы. Буду имѣть случай къ этому вернуться. Въ половинѣ 80-хъ годовъ, когда правительство было на зенитѣ своей популярности, а среди общества стояла тишь да благодать, былъ едва ли не лучшій моментъ прочно заинтересовать культурные классы въ ходѣ оффиціальнаго механизма. Показать на дѣлѣ, что правительство и общество не смотрятъ другъ на друга съ предвзятымъ недовѣріемъ «ne se regardent pas, comme deux chiens de faïence», было тогда вовсе нетрудно. Между ними только стояла воображаемая перегородка, что то очень похожее на картонные обручи, которые такъ легко прорываются цирковыми наѣздницами. За самое скромное допущеніе выборнаго элемента въ центральныя учрежденія были бы тогда благодарны. Создалась бы въ странѣ настоящая консервативная партія, которой было бы дѣйствительно что охранять; а правительство обогатилось бы опытомъ и знаніемъ, накопленными провинціей. Былъ бы созданъ иной путь, кромѣ

прислуживанія въ канцеляріи, чтобы пробиться въ ряды администраціи. Государственная служба перестала бы высушивать людей и вытравлять изъ нихъ живое пониманіе дѣла, дабы ихъ лучше подготовить къ управленію страною.

Но благопріятная минута была упущена. Пришлось итти торною дорожкой западныхъ націй, прибѣгнуть къ такъ называемымъ «уступкамъ», когда въ умахъ опять закипѣло недовольство, и приглашаемымъ могло казаться, что безъ ихъ свѣтлыхъ головъ въ самомъ дѣлѣ обойтись уже нельзя и въ нихъ все спасеніе погибающей Россіи.

Но опять уступаю скверной привычкѣ забѣгать впередъ. Наканунѣ 1886 года все было окрашено въ розовый цвѣтъ. Могъ я это разомъ замѣтить по тѣмъ вѣяніямъ, какія доносились изъ оффиціальнаго міра въ засѣданія нашего маленькаго кружка, опять собиравшагося у меня, какъ и два года передъ тѣмъ. Воейковъ познакомилъ меня съ своимъ преемникомъ по управленію канцеляріей министерства, А. Д. Пазухинымъ, убѣжденнымъ представителемъ историческаго консерватизма. Это былъ человѣкъ крупнаго ума, только ума черезчуръ прямолинейнаго и потому склоннаго къ иллюзіямъ. Онъ былъ искренно убѣжденъ, что порядокъ управленія Россіей былъ почти — что идеальный при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, что къ тогдашнимъ нравамъ, къ тогдашнимъ понятіямъ намъ слѣдовало бы вернуться. Не говоря уже о томъ, что такое возвращеніе — чистая невозможность, крѣпко сомнѣваюсь въ красотѣ тогдашняго общественнаго строя и въ цѣлесообразности тогдашнихъ учрежденій.

Иные изъ оффиціальныхъ документовъ означенной эпохи, хотя бы инструкціи, дававшіеся нашимъ представителямъ за гриницей, свидѣтельствуютъ, правда, о высокомъ народномъ самосознаніи, но и о большомъ невѣжествѣ свидѣтельствуютъ тоже. Притомъ, увы, той истинной самобытности, которую славянофилы отыскиваютъ въ до петровскомъ времени, какъ разъ то и не было. Смѣсь татарскихъ пріемовъ съ византійскимъ формализмомъ слишкомъ запечатлѣлась на средневѣковой Москвѣ, чтобы осталось въ ней мѣсто для свободнаго творчества народнаго духа. Едва ли даже это творчество не изсякло вовсе. Не случись этого, Петру не пришлось бы, по выраженію Пушкина «Россію вздернуть на дыбы». Она пошла бы спокойнымъ, но вѣрнымъ шагомъ. А то ее прежде всего пришлось обрить, переодѣть и насильно раскрыть въ ней терема, гдѣ безцѣльно кисли русскія женщины, даже царскаго рода.

А. Д. Пазухина при всей его искренности, при всемъ его ораторскомъ талантѣ, одно отличало отъ настоящихъ славянофиловъ. У тѣхъ, изъ-за поклоненія Москвѣ XVII вѣка, сквозитъ любовь къ Россіи болѣе древней, гдѣ свободно гуляли новгородскіе ушкуйники и столь же свободно удѣльные князья, чисто по средневѣковому, воевали и грабили другъ друга. У Пазухина симпатіи послѣдняго рода отсутствовали вполнѣ. Онъ искренно любилъ московскаго чиновника, приказнаго, дьяка, „служилаго человѣка“, какъ онъ называлъ этого очень мало симпатичнаго субъекта. Пазухинъ чистосердечно воображалъ, будто наши служилые люди кореннымъ

образомъ отличались отъ юристовъ, судей и разныхъ коронныхъ чиновниковъ, служившихъ королевской власти на Западѣ. На самомъ дѣлѣ они отличались отъ послѣднихъ тѣмъ только, что были гораздо менѣе образованы; и точно такъ же, какъ на Западѣ, они вступали въ ряды правящаго класса двумя путями — военною и гражданскою службой, съ тою разницею, что на Западѣ военные подчасъ выказывали очень крамольный духъ гораздо позднѣе, чѣмъ у насъ. Во Франціи, напримѣръ, вплоть до полнаго торжества самодержавія при Людовикѣ XIV, аристократія и даже принцы крови крамольничали сколько угодно. Мнѣ бы не особенно улыбалась мысль имѣть своими предками московскихъ подъячихъ. Не улыбалась она тоже такимъ убѣжденнымъ славянофиламъ, какъ Н. А. Хвостовъ и С. С. Бехтѣевъ, а тѣмъ болѣе, какъ только что скончавшійся И. С. Аксаковъ. При всемъ томъ я очень полюбилъ Пазухина за его искренность и теплоту, столь чуждыя нашимъ бюрократамъ. Въ этомъ отношеніи онъ совсѣмъ уже не походилъ на подъячаго. Земскій человѣкъ въ немъ сказывался: онъ долго былъ алатырскимъ уѣзднымъ предводителемъ. А между тѣмъ его назначеніе находилось въ прямой связи съ мѣстной реформой, только проводимой графомъ Толстымъ по совершенно иному пути, чѣмъ путь задуманный кохановской комиссіей. Само меньшинство этой комиссіи, по крайней мѣрѣ два его члена — кн. А. Д. Оболенскій и С. С. Бехтѣевъ, не особенно привѣтствовали бы ту обстановку, въ которую поставлены были учрежденныя вновь должностныя лица — земскіе на-

чальники. И живо я помню, въ какое смущеніе меня привело неожиданное письмо Пазухина, написанное за годъ до обнародованія реформы, и вполнѣ подтверждавшее опасенія, высказанныя въ „Вѣстникѣ Европы“ К. К. Арсеньевымъ. Мнѣ не хотѣлось вѣрить, чтобы выборные судьи, становясь одновременно опекунами сельскаго самоуправленія, утратили прежнюю самостоятельность, сдѣлавшись простыми ставленниками губернаторовъ. Письмо Алексѣя Дмитріевича совсѣмъ меня ошеломило. Мнѣ стало ясно, куда приводила тропа, по которой мы шли. Но объ этомъ послѣ.

Пока въ нашемъ „Эллипсисѣ“ продолжали итти безконечныя пренія о будущемъ преобразованіи и почти лишь наканунѣ реформы, въ зиму 1888/89 года, мы узнали, въ чемъ она будетъ заключаться.

А пока Эллипсисъ потерпѣлъ тяжелую утрату. Все начало зимы 1884/85 г. Ф. А. Левшинъ проболѣлъ, а въ февралѣ его не стало. Это былъ одинъ изъ рѣдкихъ людей, которыхъ остроуміе никогда не увлекало въ сторону отъ природной доброты. Въ высшей степени доброжелательный и безкорыстный, онъ интересовался только пользою, какую могъ принести, оставаясь совсѣмъ равнодушнымъ къ своей личной роли. Онъ и не думалъ использовать своихъ вліятельныхъ связей въ карьерномъ смыслѣ и остался до смерти скромнымъ сотрудникомъ министерства государственныхъ имуществъ. Его нельзя было не полюбить. Нравственный авторитетъ Федора Алексѣевича сказывался какъ разъ среди нашего маленькаго кружка, гдѣ, подъ его предсѣдательствомъ, участвовало нѣсколько людей, стояв-

шихъ гораздо выше его въ служебномъ отношеніи. Его предсѣдательское кресло занялъ М. Н. Галкинъ-Врасскій.

Лично для меня собранія «Эллипсиса» имѣли то значеніе, что натолкнули меня на такіе вопросы, которыхъ я прежде оставался совершенно чуждъ,— на вопросы сельской статистики. Мнѣ показалось, что большинство людей, ею занимавшихся, говорятъ о сельскомъ бытѣ, изучивъ его только изъ окна вагона или изъ мертвыхъ цифръ, что почти одно и то-же. Надо видѣть деревенскую жизнь непосредственно, чтобы быть въ состояніи опредѣлить внутренній смыслъ статистическихъ данныхъ, и разузнавать въ ихъ безконечныхъ рядахъ, что въ нихъ плодъ фантазіи или простого вранья. Не слѣдуетъ забывать, что общимъ источникомъ всѣхъ нашихъ статистическихъ работъ служитъ просвѣщенное сотрудничество г-дъ волостныхъ писарей, и что ихъ записямъ поневолѣ вѣрятъ и правительство и публика. Земскіе изслѣдователи, правда, не совсѣмъ довѣрявшіе писарской статистикѣ, грѣшили инымъ образомъ — чрезмѣрной подробностью своихъ изысканій, гдѣ факты мимолетные и никакого значенія, въ сущности, не имѣвшіе, какъ, напр., число телятъ или овецъ въ данномъ селеніи, а пожалуй даже и число куръ или яицъ, записывали строго. Въ передовыхъ изданіяхъ, чѣмъ больше графъ являлось въ земскихъ подворныхъ спискахъ, тѣмъ это казалось лучше. Бѣда этой системы заключалась въ томъ, что въ самый моментъ своего непечатанія, цифры земскихъ статистиковъ не имѣли уже ничего общаго съ дѣйствительностью. Какъ основа подат-

ного обложенія, цифровыя данныя, имѣютъ тогда только смыслъ, когда онѣ выражаютъ собой наклонность извѣстнаго экономическаго явленія расти или, напротивъ, понижаться. Погоня за излишней точностью здѣсь почти такъ же вредна, какъ прямое уклоненіе отъ истины. Французская пословица „le mieux est l'ennemi du bien" — какъ нельзя болѣе примѣнима къ стараніямъ почтенныхъ земскихъ труженниковъ уловить за хвостъ измѣнчивую дѣйствительность.

Приведу здѣсь два примѣра, не лишенныхъ специфическаго юмора. Въ Тверской губерніи, хорошо мнѣ извѣстной, старшины, писаря и сама полиція выбивались изъ силъ, дабы заполнить многочисленные бланки, разсылавшіеся изъ Петербурга. Не говоря уже о томъ, что заполнялись они довольно фантастически, отвѣты приходили не изъ всѣхъ волостей уѣзда, а отъ частныхъ землевладѣльцевъ не приходили почти вовсе. Это мало безпокоило скромныхъ агентовъ правительства. Они прибѣгали къ очень простому средству, чтобы удовлетворить оффиціальную любознательность. Полученныя цифры попросту складывали и оказавшійся итогъ дѣлили на число волостей уѣзда. Къ этому же способу въ простотѣ душевной прибѣгалъ и тогдашній тверской губернаторъ А. Н. Сомовъ. Въ губерніи, какъ извѣстно, 12 уѣздовъ. А онъ разъ мнѣ признался, что получилъ отвѣты лишь изъ 11-ти, и долго не думая, приказалъ своей канцеляріи раздѣлить итоговую сумму на 12 Sic! Въ Петербургѣ на этихъ карточныхъ домикахъ возводили пышные испанскіе замки.

Но вотъ что еще забавнѣе. Профессоръ Фортунатовъ, издавая свою книгу „объ урожаяхъ ржи въ Россіи", наткнулся на тотъ фактъ, что въ разныхъ уѣздахъ Казанской губерніи получались и разныя среднія. Положимъ, напр., въ одномъ уѣздѣ средній урожай былъ 4, 5, а въ другомъ 5, 1 ч. Уважаемый профессоръ ломалъ себѣ долго голову надъ причиной этого „непонятнаго" факта. Не найдя для него никакого основанія ни въ свойствахъ почвы и климата, ни въ распредѣленіи жителей по національностямъ, онъ глубокомысленно догадался приписать болѣе высокіе урожаи одного уѣзда преобладанію въ немъ магометанъ надъ православными. Вмѣсто такого остроумнаго вывода, едва ли не вѣрнѣе было бы обѣ цифры признать одинаково произольными. Такое производство 4-хъ арифметическихъ дѣйствій надъ цифрами завѣдомо невѣрными, какъ выразился о нашей статистикѣ Н. А. Хвостовъ, было бы только невиннымъ времяпрепровожденіемъ, если бы изъ этого сомнительнаго хлама г-да публицисты не выводили иногда довольно странныхъ теорій. „Эллипсисъ" и ставилъ своей задачей, между прочимъ, добиться истины и разогнать статистическія сумерки, придавъ оффиціальнымъ изслѣдованіямъ болѣе разумное направленіе. Отчасти мы этого достигли, но только отчасти. Подсчитать итоги населенія въ такой обширной странѣ, какъ наша, не совсѣмъ уже легко, какъ доказала и всероссійская перепись. А подсчитать урожаи, не говоря уже о числѣ овецъ и телятъ или куръ, и совершенно невозможно. Надо было, между прочимъ, разсѣять ложное представленіе, затемняв-

шее и казенные умы, будто крестьянская душа есть нѣчто реальное, между тѣмъ какъ это лишь измѣнчивая податная единица. Приходилось тоже побороть иллюзію, что все огромное мужицкое населеніе представляетъ одноформенную массу, живущую при одинаковыхъ условіяхъ, между тѣмъ какъ и въ одной Великороссіи и юридическіе обычаи и характеръ владѣнія и форма передѣловъ не походятъ другъ на друга, зачастую въ смежныхъ губерніяхъ или даже уѣздахъ.

Мои новые друзья, число которыхъ постепенно росло, начиная отъ 1886 года, стали у меня собираться по средамъ, помимо засѣданій »Эллипсиса». Не могу не упомянуть объ одномъ изъ этихъ пріятелей, съ которымъ я сблизился совершенно неожиданно. Разъ, вечеромъ, мнѣ доложили о пріѣздѣ Я. П. Полонскаго, котораго я раньше видалъ только на публичныхъ чтеніяхъ. Это былъ тогда почтенно глядѣвшій, бодрый старикъ,—бодрый, несмотря на то что ему приходилось опираться на трость. Умъ его сохранилъ полную свѣжесть. Искры юмора отъ него такъ и сыпались. Служенія поэзіи онъ не покидалъ до самой смерти. Бесѣда съ нимъ всегда представляла неизсякаемый интересъ, стоило только зачерпнуть воспоминаній изъ его богатаго прошлаго. Темою для разговоровъ служилъ намъ всего чаще И. С. Тургеневъ, съ которымъ Яковъ Петровичъ былъ такъ друженъ. Недавно только появились отдѣльной книжкой письма Тургенева, изъ которыхъ большая часть была адресована Полонскому. Яковъ Петровичъ находилъ, какъ и я, что плохую услугу оказали великому писателю, напе-

чатавъ его корреспонденцію. Непонятно вообще, какъ позволяютъ себѣ съ такой безцеремонностью, едва сошелъ въ могилу крупный человѣкъ, копаться въ его частной жизни и дѣлать достояніемъ публики то, что при его жизни, конечно, обнародовать бы не посмѣли. Развѣ выдающіяся личности въ самомъ дѣлѣ вынуждены оплачивать свою извѣстность такою тяжелою данью? Развѣ ихъ частная жизнь должна быть выставлена на показъ для удовлетворенія празднаго любопытства?

Глава VIII.

Кончина В. А. Веневитинова.—Новые посѣтители моихъ средъ профессоръ А. И. Воейковъ.—И. И. Коуфманъ.—А. И. Лыкошинъ.—Баронъ Р. А. Дистерло.—С. А. Андреевскій: инцидентъ въ Сенатѣ съ первоприсутствующимъ Рѣпинскимъ.—Мережковскій.—Возвращеніе изъ-за границы А. С. Іонина и моего троюроднаго брата М. А. Хитрово.—Національный вопросъ, какъ основная тема бесѣдъ на моихъ средахъ.—Распредѣленіе русскихъ партій по мнѣнію Н. А. Хвостова.—Двѣ національныхъ политики—руссификація Остзейскаго и Западнаго краевъ.—Инцидентъ съ губернаторомъ Клинбегевргомъ.—Наша политика въ Остзейскомъ краѣ и Манасеинская ревизія: ея послѣдствія.—Общій характеръ нашей политической системы на окраинахъ.

Не упомянулъ я до сихъ поръ объ одной тяжелой утратѣ, понесенной мною лѣтомъ 1885 года. Былъ это одинъ изъ самыхъ дорогихъ товарищей моей юности, Володя Веневитиновъ. Всю зиму онъ проболѣлъ и только на годъ пережилъ свою мать. Мнѣ не пришлось съ нимъ встрѣтиться при возвращеніи въ Петербургъ, и одна только холодная газетная замѣтка принесла мнѣ печальную вѣсть о его ранней кончинѣ. Еще одного человѣка не стало, которому веселая юность сулила одно безоблачное счастье. Выгодная наружность соединялась въ немъ съ такою мягкостью нрава, что невольно къ нему шли навстрѣчу симпатіи всѣхъ. И этого баловня судьбы неожиданно, безпричинно

унесла страдальческая смерть среди обладанія тѣмъ, что признается обыкновенно полною чашей жизненнаго благополучія. Можетъ быть, это благополучіе было только кажущимся — не берусь объ этомъ судить. Въ любой жизни есть завѣса, за которой скрываются невѣдомыя даже самымъ близкимъ тайныя страданія и не высказанныя мечты. Какъ поблекшія листья разсыпались вокругъ меня дружескія связи молодыхъ годовъ. На смѣну къ нимъ приходили иныя,—приходило сближеніе съ людьми, внѣшность которыхъ такъ и осталась для меня неизвѣстной. Могъ я о нихъ судить лишь по внутреннимъ ихъ свойствамъ. Мало по малу разростался небольшой кружокъ, собиравшійся у меня по средамъ. Тутъ были и послѣдніе ихъ уцѣлѣвшихъ моихъ друзей, какъ Миша Веневитиновъ, графъ Саліасъ, Николай Комаровскій, А. А. Нарышкинъ, наѣзжавшіе временами въ Петербургъ, кто изъ провинціи, кто изъ-за границы. Были тутъ и новые знакомые, постепенно становившіеся друзьями—профессоръ А. И. Воейковъ, братъ Дмитрія Ивановича, А. И. Лыкошинъ, теперешній товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ, В. Г. Трироговъ, профессоръ И. И. Кауфманъ, А. Д. Пазухинъ, всегда прибавлявшій особенно теплую,, краснорѣчивую ноту къ нашимъ политическимъ бесѣдамъ. Заглядывали на мои среды и Іонинъ, только вернувшійся тогда изъ Египта и мой троюрдный братъ М. А. Хитрово, тоже, какъ и Александръ Семеновичъ, проведшій всю свою дипломатическую карьеру на Востокѣ. На одномъ посту, въ Софіи, они даже смѣнили другъ друга въ качествѣ нашего представителя, а на самомъ дѣлѣ

въ роли гувернеровъ молодого болгарскаго правительства. Несмотря на все различіе ихъ характеровъ, на весь пламенный идеализмъ Іонина и на гораздо болѣе реалистическій складъ ума Михаила Александровича, ихъ, кажется, связывала искренняя пріязнь. Въ Болгаріи они даже надѣлали совершенно одинаковыхъ ошибокъ, почему то вообразивъ, что болгарскихъ новичковъ-министровъ непремѣнно надо третировать свысока. Положимъ, большинство этихъ министровъ возбуждали къ себѣ все, что угодно, кромѣ уваженія. Но оба этихъ умныхъ человѣка позабыли ту истину, что люди, неожиданно поднявшіеся на высоту и мало заслужившіе такое счастье, всего менѣе готовы извинять пренебреженіе къ своей особѣ. Русскихъ почему то за границею, когда имъ случается побывать въ государствахъ съ новоиспеченнымъ правительствомъ, вдругъ одолѣваетъ необыкновенный аристократизмъ, котораго у насъ дома нѣтъ и въ поминѣ. Видѣлъ я это разъ уже въ Парижѣ и, при всей моей несимпатіи къ французамъ, показалось мнѣ это болѣе чѣмъ страннымъ. Въ Болгаріи повторилось то же, но еще въ большемъ размѣрѣ. Правда и то, что въ Болгаріи и консерваторы особеннаго уваженія не заслуживали. Но когда Іонинъ громко выражалъ свое чувство брезгливости къ нимъ, а Хитрово прямо хвастался, что устроилъ въ Болгаріи государственный переворотъ, особенно благопріятнаго воздѣйствія на наше положеніе въ Болгаріи оно имѣть не могло. И всѣ свои болгарскіе козыри—а козыри эти были самые крупные—мы растеряли довольно легкомысленно. Это замѣ-

чаніе, впрочемъ, мимоходомъ. Александра Семеновича Іонина я искренно полюбилъ. Да и нельзя было не полюбить этого сердечнаго, высоко благороднаго человѣка. Мой троюродный братъ своимъ тонкимъ критическимъ чутьемъ—онъ писалъ очень недурные и крайне забавные стихи—своимъ нѣсколько пряным остроуміемъ всегда служилъ богатымъ источникомъ веселья.

Былъ такимъ же источникомъ, но совсѣмъ въ иномъ смыслѣ, и профессоръ Кауфманъ, человѣкъ такъ хорошо постигавшій всѣ тонкости финансовыхъ вопросовъ. Жаль только, что впослѣдствіи его слишкомъ явное поклоненіе классическимъ понятіямъ о народномъ богатствѣ привело его въ станъ послѣдователей С. Ю. Витте. Боязнь передъ бумажнымъ обращеніемъ и нѣсколько суевѣрная любовь къ золотой валютѣ побудили его присоединиться даже къ довольно наивной идеѣ, будто золотыя деньги могутъ создать богатство страны, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ онѣ являются только естественнымъ послѣдствіемъ такого богатства.

Александръ Ивановичъ Лыкошинъ, по хрустальной прозрачности своей натуры, былъ словно повтореніемъ Іонина. Болѣе искренно—благонамѣреннаго человѣка трудно было бы и назвать. Онъ долго оставался убѣжденнымъ старонникомъ общины и тоже, мало по малу, отдѣлывался отъ этого кумира, насчитывавшаго въ числѣ своихъ поклонниковъ столь многихъ прекрасныхъ людей, впослѣдствіи раскаявшихся въ своемъ служеніи этому зловредному идолу. Лыкошинъ, тогда еще очень молодой человѣкъ, скоро сдѣлался въ нашемъ

кружкѣ всеобщимъ любимцемъ. За одно съ нимъ сталъ посѣщать мои среды и его пріятель баронъ Р. А Дистерло, извѣстный въ то время литературный критикъ журнала „Недѣля“. Съ тѣхъ поръ онъ промѣнялъ критическое перо на канцелярское, и въ этой новой роли, какъ статсъ-секретарь государственнаго совѣта, тоже выказалъ свои недюжинныя способности. Баронъ Дистерло былъ едвали не единственнымъ представителемъ литературы изъ числа моихъ новыхъ друзей. Яковъ Петровичъ Полонскій появлялся на моихъ средахъ не часто. Истекавшій 8-ой десятокъ давалъ себя чувствовать и не позволялъ ему часто выѣзжать. Іонинъ и Хитрово, хоть и писали оба, не были все-таки профессіональными литераторами. Познакомился я и съ другимъ поэтомъ диллетантомъ, успѣвшимъ соединить служеніе музѣ съ далеко не поэтическими занятіями присяжнаго повѣреннаго. Это былъ Сергѣй Аркадьевичъ Андреевскій, которому ничтобы не препятствовало быть человѣкомъ необыкновенно милымъ, если-бы невольно не приходилъ въ голову вопросъ, гдѣ въ его разсказахъ оканчивается дѣйствительность и гдѣ начинается фантазія. Прибавлю одно—онъ, кажется, не только на словахъ, но и въ жизни оказывался любителемъ веселаго времяпрепровожденія. Разсказывая про интересные процессы, гдѣ онъ выступалъ защитникомъ, Андреевскій съ особеннымъ чувствомъ удовлетворенія останавливался на подробностяхъ, отзывавшихся клубничкой. За свое клубничное ораторство онъ разъ, въ кассаціонномъ сенатѣ, защищая Бартенева извѣстнаго убійцу Маріи Вишневской, по-

лучилъ отъ первоприсутствующаго, сенатора Рѣпинскаго, строгую, но заслуженную отповѣдь. Андреевскій пустился было доказывать, что бываютъ случаи, гдѣ убійство—чуть не самое полное выраженіе преданной любви. Рѣпинскій его тотчасъ оборвалъ.—Господинъ защитникъ, сказалъ онъ,—напомню вамъ, что здѣсь вы имѣете дѣло съ присутствіемъ кассаціоннаго сената, а не съ гимназистами VI-го класса. Правда, у Рѣпинскаго былъ, какъ говорятъ сквернѣйшій характеръ. Но цѣль была достигнута, смѣлый Андреевскій смутился-таки и заговорилъ серьезно. Самое дѣло было имъ тѣмъ не менѣе проиграно.

Заглянулъ два раза на мои среды и Мержковскій. Эта, не знавшая застѣнчивости полузнаменитость, еще, правда, не достигшая своей теперешней европейской «славы», весь вечеръ говорила почти одна, размахивая руками и перекрикивая даже не высказанныя ей возраженія. Показалось ему, вѣроятно, что онъ произвелъ на присутствующихъ, людей почтенныхъ и уже не молодыхъ, самое чарующее впечатлѣніе. Нѣсколько лѣтъ спустя я имѣлъ случай, на вечерѣ у К. К. Арсеньева, съ нимъ столкнуться непосредственно и, уже не будучи хозяиномъ дома, я позволилъ себѣ отвѣтить не стѣсняясь.

Николай Алексѣевичъ Хвостовъ сказалъ мнѣ разъ, что у насъ въ Россіи, слѣва направо, насчитывается не 4 только партіи, какъ повсюду, а цѣлыхъ 8. Радикальнымъ народникамъ соотвѣтствуютъ космополитическіе анархисты; лѣвому центру, къ которому онъ причислялъ и себя,—сторонники парла-

ментаризма по западному образцу; умѣреннымъ правымъ, дорожащимъ національными интересами Россіи,—англоманы—консерваторы, мечтающіе о русской палатѣ лордовъ; а консерваторамъ изъ славянофиловъ, прообразомъ которыхъ являлся Константинъ Петровичъ Побѣдоносцевъ,—убѣжденные аграріи, мечтающіе о союзѣ съ остзейскими баронами и съ польскими панами. Если все это перевести на существовавшіе у насъ органы этихъ направленій, то на крайнемъ лѣвомъ флангѣ появились бы съ одной стороны «Народное Богатство», съ другой—„Отечественныя записки“ и «Дѣло», а на крайнемъ правомъ, тогда еще бодрствующему «Русскому Вѣстнику» и «Московскимъ Вѣдомостямъ» пришлось бы искать себѣ товарища въ покойной «Вѣсти» г-на Скарятина. Золотую или золоченую середину занимали бы въ журнальномъ мірѣ «Вѣстникъ Европы», «Голосъ», «Петербургскія Вѣдомости» и т. д. Въ этой классификаціи Хвостова было, пожалуй, много правды. Надо было къ ней сдѣлать одну только поправку: анти-національныя, центробѣжныя стремленія встрѣчаются не у насъ однихъ. Въ Германіи его представителями и при томъ очень могущественными являются съ одной стороны клерикалы, предпочитающіе Св. Отца императору, а съ другой—всякіе сепаратисты, поляки, эльзасцы, датчане и т. п. Во Франціи тоже, этой родинѣ шовинизма, лѣтъ 25 уже какъ начали пріобрѣтать силу такъ называемые «антимилитаристы», т. е. враги патріотизма и его выразительницы арміи. Ошибался Хвостовъ и на собственный счетъ: въ качествѣ сторонника земскаго собора, или, говоря по просту

совѣщательной думы, онъ полагалъ тогда, что принадлежитъ къ лѣвому центру. Событія послѣднихъ лѣтъ заставили его въ этомъ разубѣдиться. И не онъ одинъ, а всѣ выдающіеся славянофилы, какъ г-да Ф. Самаринъ и Д. Хомяковъ стоятъ на самомъ правомъ флангѣ нашего политическаго спектра. Національный вопросъ, столь тѣсно связанный съ общиннымъ, составлялъ тогда главный предметъ разногласій и споровъ въ нашемъ кружкѣ. Для иныхъ онъ исчерпывался тѣмъ, что общее отечество, общее для всѣхъ его окраинъ, должно было развивать свои матеріальныя и духовныя силы и неуклонно итти къ культурѣ и къ могуществу. Для другихъ націонализмъ заключался въ безусловной прививкѣ всего русскаго, и не только въ смыслѣ вѣры и языка, а и въ смыслѣ суевѣрій, ко всѣмъ народностямъ завоеваннымъ или присоединеннымъ къ Россіи. Для этого не только допускалось насиліе, но признавалось оно вполнѣ законнымъ, потому что большинство населенія имѣетъ будто бы не только право, но и прямую обязанность подавлять всякую инородческую особенность. Всюду одинаковая организація. И если духовное завоеваніе окраинъ оказывается невозможнымъ, его слѣдовало, пожалуй, замѣнить двумя другими пріемами—застращиваніемъ съ одной стороны, подкупомъ съ другой. Сторонники этого ученія и не догадывались насколько оно было въ сущности революціонно въ своемъ непризнаніи историческаго прошлаго. Они не догадывались, сколько угольевъ они подкладывали въ будущій очагъ русской революціи. Допустимъ, что и первая изъ двухъ указанныхъ точекъ зрѣнія была

лишь идеаломъ, что общее „отечество“, на самомъ дѣлѣ, не признавалось таковымъ нѣкоторыми изъ вошедшихъ въ составъ русскаго государства инородцами, въ особенности поляками и армянами. Но слѣдовало всетаки стремиться къ осуществленію идеала: онъ одинъ могъ привести къ органическому сліянію разнородныхъ частей Россіи. Довольствоваться механической спайкой могло только замедлить еще болѣе моментъ, когда наступитъ духовное сродство и должно было неминуемо привести къ обстроенію центробѣжныхъ вождѣленій.

Блестящее царствованіе Александра III-го было эпохой рѣшительнаго торжества политики механическаго сліянія, имѣвшей своимъ руководителемъ Константина Петровича и не встрѣчавшей особыхъ возраженій со стороны графа Дмитрія Андреевича и его преемниковъ. Старанія навязать русскій тулупъ всѣмъ инородческимъ національностямъ, православнаго попа всѣмъ иновѣрцамъ, русскій языкъ всѣмъ говорящимъ на иныхъ языкахъ, наконецъ, русскимъ становымъ замѣнить все исторически сложившееся по окраинамъ мѣстное управленіе—сдѣлалось главнымъ, основнымъ мотивомъ правительственной дѣятельности. А между тѣмъ, все ложно-оффиціальное, все грубо-механическое шло въ сущности наперекоръ натурѣ государя, въ высшей степени искренняго и въ словахъ, и въ поступкахъ, и совершенно чуждаго всякаго формализма. Силились его царствованіе отождествить съ реакціей, потому что введены были земскіе начальники и осословлено земство, а въ послѣдніе годы жизни Александра III были и попытки возстановить расшатанную силу

поземельнаго дворянства. Между тѣмъ эта такъ называемая «реакція» нисколько не помѣшала значительно разширить право раскольниковъ и облегчить положеніе низшихъ классовъ отмѣною соляного налога и подушной подати и ускореніемъ хода выкупной операціи. Выкупные платежи были понижены, а самъ выкупъ признанъ обязательнымъ. Какъ разъ односторонне-несправедливаго предпочтенія одного сословія другимъ и не было въ это славное царствованіе. Одно только въ немъ было несомнѣнно: грубоватое, неумѣлое проведеніе руссификаціи на окраинахъ, а въ великорусскомъ центрѣ имперіи—столь же неумѣлая поддержка умирающаго мірского быта.

Сперва остановлюсь на окраинной политикѣ. Она приводила иногда къ настоящимъ курьезамъ. Такъ ковенскій губернаторъ Клингенбергъ, желая не допустить богослуженія въ костелѣ, который порѣшили упразднить, употребилъ въ дѣло военную силу, вслѣдствіе чего нѣсколько упрямыхъ богомольцевъ были загнаны казаками въ озеро, гдѣ и утонули. Другимъ проявленіемъ революціонно-оффиціальной руссификаціи была не забвенная ревизія Прибалтійскихъ губерній министромъ юстиціи Манасеинымъ. Съ давнихъ поръ обрусѣніе проводилось не одинаково въ Западномъ краѣ и въ Остзейскихъ губріяхъ. Въ Западномъ краѣ, съ самаго польскаго возстанія, правительство держалось системы мелкихъ, но въ сущности очень тягостныхъ стѣсненій, на общемъ фонѣ которыхъ, отъ поры до времени, возникали крупные скандалы, изъ числа которыхъ, самый острый едва ли не былъ случай съ губерна-

торомъ Клингенбергомъ. Въ Прибалтійскомъ краѣ настоящаго обрусѣнія не только не было, но долго допускалась совершенно нелѣпая переписка на нѣмецкомъ языкѣ тамошнихъ мѣстныхъ учрежденій съ центральными русскими. Даже въ губернскихъ правленіяхъ въ Ревелѣ, Ригѣ и Митавѣ дѣлопроизводство шло по-нѣмецки; а когда въ концѣ 60-хъ годовъ, вновь назначенный Эстляндскимъ губернаторомъ М. Н. Галкинъ-Врасскій заговорилъ въ ревельскомъ губернскомъ правленіи по-русски, это вызвало сильнѣйшее негодованіе остзейцевъ, а со стороны тогдашняго губернскаго предводителя, графа Мейендорфа, не просто негодованіе, а явную оппозицію, доходившую до открытой невѣжливости. Разсказывалъ мнѣ про это самъ Михиль Николаевичъ, исполнявшій въ данномъ случаѣ прямую волю государя. Здѣсь очевидно бароны пересолили, и претензія ихъ переписываться съ сенатомъ по-нѣмецки была нѣсколько комична. Но причина такого пересола заключалась въ томъ, что, какъ они думали, одна уступка съ ихъ стороны повлекла бы неминуемую утрату всѣхъ ихъ привиллегій. Часть русской прессы, не обинуясь, твердила, что съ особенностями Прибалтійскаго края надо покончить разъ навсегда. Между тѣмъ правительство могло вполнѣ заявить о намѣченныхъ имъ реформахъ съ полною откровенностью, обѣщая въ то же время не переступать за указанную границу преобразованій. И эту границу было не трудно опредѣлить дѣйствительными нуждами Россіи, а не погонею за фиктивнымъ внѣшнимъ единствомъ. Тогда балты вѣроятно бы успокоились. Но было поступлено какъ

разъ наоборотъ. Сперва ихъ травила печать, а власть занималась лишь крошечными придирками. Потомъ, одно за другимъ, были круто вводимы преобразованія судебной части, школьнаго дѣла и мѣстнаго управленія. Съ первымъ остзейцы помирились скоро, признавъ несомнѣнное превосходство русскаго суда. Выражали они только нѣкоторое опасеніе насчетъ персонала судей, и нельзя сказать, чтобы опасенія эти не оправдались. Какъ строгіе блюстители закона, привыкшіе повиноваться Высочайшей волѣ, они вѣроятно помирились бы и съ мѣстной реформой, если бы ее стали примѣнять съ тактомъ, и полицейскія должности замѣщать природными балтами, знающими сносно по-русски. Что это вполнѣ было возможно, это доказалъ успѣхъ Д. С. Сипягина въ Курляндіи, съ первыхъ же дней его губернаторства. Но кн. Шаховской въ Ревелѣ совершалъ одну безтактность за другой, требуя, напр., чтобы протестанское ревельское общество строго соблюдало полицейскія правила о почитаніи великаго поста, которыхъ и въ Россіи никто не соблюдаетъ. Лифляндскій губернаторъ Зиновьевъ, въ началѣ своего управленія, тоже черезчуръ туго натягивалъ струну руссификаціи, но, какъ человѣкъ несомнѣнно умный, далъ себя убѣдить въ излишествахъ такой политики, исходившей болѣе изъ инстинктивной непріязни ко всему нѣмецкому, чѣмъ изъ гусударственнаго смысла. Заподозрѣвать какого-либо въ скрытомъ коварствѣ и въ недобрыхъ намѣреніяхъ— это лучшее средство такія намѣренія зародить и навести на коварство самыхъ лойяльныхъ людей. Помню, разъ я спросилъ у одного изъ самыхъ убѣж-

денныхъ руссификаторовъ, у Н. А. Мясоѣдова, пробывшаго въ Ригѣ 8 лѣтъ въ качествѣ прокурора соединенныхъ палатъ гражданскаго и уголовнаго суда.

— Ну, скажите, если бы 8 лѣтъ назадъ нѣмецкія войска вторглись въ Остзейскія губерніи, какъ были бы они встрѣчены населеніемъ?

— Какъ несомнѣнные враги, рѣшительно отвѣтилъ Мясоѣдовъ.

— А теперь было бы то же?

— Теперь Рига и Митава были бы иллюминованы, столь же рѣшительно провозгласилъ Мясоѣдовъ.

— Чудесный результатъ! воскликнулъ я,—и нетребующій комментаріевъ.

Прочіе невольно переглянулись: происходило это въ одну изъ моихъ средъ. Бывшій тутъ А. А. Нарышкинъ, тоже націоналистъ, только націоналистъ умѣренный, далъ себя переубѣдить всѣмъ тѣмъ, что нашелъ онъ въ теченіе 12-ти лѣтъ въ Прибалтійскомъ краѣ. Не только заговора противъ цѣлости имперіи, но и пассивной оппозиціи со стороны нѣмцевъ онъ не видалъ. Не видалъ онъ тоже систематическаго притѣсненія латышей и эстовъ. Безземельные батраки, по его словамъ, жили въ усадьбахъ Остзейскихъ бароновъ гораздо лучше, чѣмъ живутъ внутри Россіи рабочіе изъ крестьянъ, получившихъ надѣлъ. Школьные порядки возбуждали у А. А. Нарышкина прямое негодованіе, во-первыхъ, неудачнымъ подборомъ учителей, во-вторыхъ, недостойными средствами, которыми старались подѣйствовать на воспитанниковъ, соблазняя ихъ обѣ-

щаніями всякаго рода обратиться въ православіе. Преслѣдованіе пасторовъ за такъ называемое „совращеніе“ и насильственное удерживаніе въ православіи тѣхъ мѣстныхъ обывателей, чьи родители почему-либо были записаны православными—это одинаково возмущало честную душу А. А. Нарышкина. И дѣйствительно школьная реформа была самою слабою стороною въ дѣятельности правительства въ Остзейскомъ краѣ. Слѣдовало, разумѣется, за русскимъ языкомъ, какъ за государственнымъ, обезпечить преобладаніе и населеніе выучить говорить по русски. Но воспрещать всякое преподаваніе на нѣмецкомъ языкѣ, даже въ частныхъ домахъ, насильно превращать въ русскія тѣ учебныя заведенія, которыя мѣстнымъ дворянствомъ или городами основаны были на свой счетъ, едва ли согласовалось вполнѣ съ требованіями справедливости. И дерптскій университетъ можно было подвергнуть нѣкоторой передѣлкѣ, съ обязательнымъ изученіемъ русскаго языка и русской литературы въ самыхъ широкихъ размѣрахъ. Но перевести разомъ, безъ всякой подготовки, все тамошнее преподаваніе на русскій языкъ—это попросту значило выгнать оттуда большинство молодыхъ людей изъ нѣмецкихъ семействъ, а съ ними вмѣстѣ и профессоровъ, изъ которыхъ многіе пріобрѣли большую извѣстность. Тѣ и другіе нашли себѣ убѣжище въ германскихъ университетахъ, что мало содѣйствовало развитію въ нихъ русскаго національнаго чувства. Замѣна студентовъ остзейцевъ русскими семинаристами и прежнихъ профессоровъ наставниками изъ русскихъ привело къ тому только, что единствен-

ный нашъ университетъ, свободный отъ нигилизма, глотнулъ спеціальнаго „русскаго“ духа, т. е. пошленькаго революціонерства. Съ тѣхъ поръ Дерптъ уже могъ похвастаться ревностнымъ участіемъ во всѣхъ школьныхъ безпорядкахъ. Удивляться ли при этомъ, что у мирныхъ балтовъ, занятыхъ своимъ хозяйствомъ и дорожившихъ своими невинными университетскими корпораціями, завелась, если не впрямь крамола, то скрытое озлобленіе?! И вѣнцомъ этой мудрой политики была поѣздка г-на Манасеина, съ виду для ревизіи судебныхъ мѣстъ, а на самомъ дѣлѣ для пропагандированія руссификаціи посредствамъ тѣснаго союза между русскими чиновниками и мѣстными кружками изъ латышской интеллигенціи. Манасеинъ почему то вообразилъ, что эсто-латыши будутъ вѣрными проводниками русскаго духа и съ цѣлью популяризировать эту идею среди туземцевъ, принялся наускивать ихъ на нѣмецкихъ бароновъ. Наускиваніе эсто-латыши приняли за попустительство, но русскими оттого не сдѣлались, а чиновники съ обычною своей дальновидностью стали брататься съ революціонными интеллигентами изъ латышей ради вящшей пропаганды національнаго чувства. Замѣчательно одно, что за границей и у себя дома на окраинахъ мы очень охотно вступаемъ въ союзъ съ радикальными элементами. Такъ, по крайней мѣрѣ, поступали мы и въ Финлядніи и въ Остзейскомъ краѣ и въ Западныхъ губерніяхъ. Мы наивно вѣрили, что стоитъ по головкѣ погладить простой народъ, и мы пріобрѣтемъ себѣ его какъ вѣрнаго друга, благо въ трехъ названныхъ областяхъ высшіе классы и про-

стонародіе не принадлежатъ къ одному и тому же племени. Вышло на повѣрку, что въ Западномъ краѣ литовцевъ, бѣлоруссовъ и малороссовъ, недолюбливавшихъ своихъ польскихъ помѣщиковъ, мы искуственно съ ними помирили, что въ Финляндіи старинная вражда свекомановъ и фенномановъ потухла, уступивъ мѣсто полусоюзу между ними, а въ Остзейскомъ краѣ мы довели латышско-эстонское населеніе до прямой попытки одновременно отдѣлаться и отъ нѣмцевъ и отъ русскихъ. Не проще ли было бы искать соглащеніе съ наличными элементами порядка въ этихъ областяхъ, т. е. съ культурнымъ меньшинствомъ, а не искать популярности у народныхъ массъ несбыточными посулами, дѣйствуя на окраинахъ въ якобинскомъ духѣ, между тѣмъ, какъ въ центральной Россіи продолжали существовать учрежденія, очень схожія съ тѣми, которыя мы старались уничтожить на западѣ?

Глава IX-я

Назначеніе И. А. Вышнеградскаго на мѣсто Н. Х. Бунге.—Дѣятельность Ивана Алексѣевича въ городской думѣ.—Партія Санъ-Галліотовъ.—Финансовая политика И. А. Вышнеградскаго.—Отношеніе къ нему общества.—М. Н. Катковъ и его тогдашнее вліяніе на дѣла.—Почему онъ не вступилъ въ государственный совѣтъ.—Его непопулярность за университетскій уставъ 84 года.—А. В. Головнинъ; оригинальный случай съ профессоромъ Захарьинымъ.—Дворянскій и Крестьянскій земельные банки; ихъ внутренее противорѣчіе и логическая связь.—Е. Э. Картавцевъ, какъ управляющій обоими банками.—Почему ни тотъ ни другой не достигли цѣли.—Двоякія требованія, предъявлявшіяся Крестьянскому банку.—Увольненіе Е. Э. Картавцева.

НАЗНАЧЕНІЕ И. А. Вышнеградскаго министромъ финансовъ никого особенно не поразило: это назначеніе предвидѣли, когда шестью мѣсяцами раньше Иванъ Алексѣевичъ былъ сдѣланъ членомъ государственнаго совѣта. А удивляться было чему. Вышнеградскій совсѣмъ не принадлежалъ къ чиновному сонму. Вся его прежняя дѣятельность протекла въ области частныхъ интересовъ и частной предпріимчивости. Нельзя сказать, чтобы его репутація была изъ лучшихъ. На ряду съ высокимъ мнѣніемъ о его выдающихся способностяхъ, мнѣніе о его нравственномъ уровнѣ было гораздо менѣе высокимъ. Въ городской думѣ, гдѣ онъ былъ очень вліятеленъ,

Иванъ Алексѣевичъ принадлежалъ къ тѣсному кружку аферистовъ, отличившихся въ дѣлѣ городскихъ водопроводовъ и руководимыхъ гг. Санъ-Галли и Овандеромъ. Это были не только дѣловые люди, но прямо «дѣльцы» въ тѣсномъ смыслѣ слова, смотрѣвшіе на городское благоустройство съ точки зрѣнія своего личнаго благосостоянія. Думская партія Санъ-Галліотовъ, подобно Іерусалимскому храму, имѣла два притвора—внутренній и внѣшній. Послѣдній былъ отданъ оглашеннымъ, обязаннымъ своимъ избраніемъ протекціи г-на Санъ-Галли: ихъ роль въ думѣ ограничивалась поддержкою коноводовъ партіи. Впрочемъ, нельзя сказать, чтобы тогдашній распорядитель думы, г-нъ Санъ-Галли, набиралъ своихъ сторонниковъ исключительно среди людей нѣсколько подмоченыхъ. Ему надо было сдобрить свою партію, и поэтому ее украсить извѣстнымъ числомъ безусловно почтительныхъ именъ. Но все-таки адепты второго ранга въ внутренній притворъ, откуда исходили благодатные дожди, не особенно допускались. Нечего и говорить, что Иванъ Алексѣевичъ принадлежалъ къ самой сердцевинѣ думскихъ воротилъ. И назначенъ онъ былъ сперва въ Совѣтъ, а потомъ въ министры именно въ качествѣ дѣльца, какъ человѣкъ вполнѣ практичный и не особенно увлекающійся принципами. Его усердно проводилъ М. Н. Катковъ именно въ качествѣ противоядія теоретическимъ взглядамъ Н. Х. Бунге, на котораго Московскій оракулъ глядѣлъ, какъ на вреднаго идеолога. Но Вышнеградскій былъ не попросту кандидатомъ правыхъ. Онъ являлся первымъ у насъ, вполнѣ „бытовымъ“ министромъ, пріі-

обрѣвшимъ значеніе совершенно независимо отъ канцелярскаго сукна. Въ этомъ отношеніи, его карьера была знаменательна и, пожалуй, благотворна. Отъ его крупнаго ума—чѣмъ угодно,—только затхлостью не пахло. Бѣда въ томъ лишь, что онъ склоненъ былъ смотрѣть на государство, какъ на частное предпріятіе, какъ на компанію на акціяхъ, лишь бы девидендъ выходилъ крупныхъ. Ему было все равно, богатѣлъ ли народъ или нѣтъ. На ряду однако съ этой слабой и даже очень слабой стороной его дѣятельности, было въ ней и нѣчто для того времени непривычное. Финансовая опытность Ивана Алексѣевича во первыхъ научила его, что публику морочить можно, но никогда не слѣдуетъ морочить самого себя, а во вторыхъ научила смотрѣть на финансовый балансъ, какъ на нѣчто вполнѣ реальное, гдѣ каждый рубль, записанный въ дебетъ или кредитъ, долженъ существовать въ дѣйствительности, а не только въ воображеніи. Отвлеченные рубли, никогда до того времени не существовавшіе, начались у насъ только съ его преемника. Основныя правила Ивана Алексѣевича были: не допускать рѣшительно никакихъ отступленій отъ бюджета, пополнять государственное казначейства при помощи биржевой игры, которую можно было вести навѣрняка, имѣя всегда въ наличности не менѣе 500 милліоновъ, и построить финансовое благополучіе Россіи на развитіи косвенныхъ налоговъ. И то, и другое, и третье удалось Ивану Алексѣевичу блистательно. Первый-же годъ его управленія устранилъ изъ бюджета дефицитъ. Биржа, не только наша, но и заграничныя,

увидала въ немъ своего человѣка и довѣріе свое къ нему выразила поднятіемъ курса. Дошло до того, что уже въ 1890 году. Вышнеградскому пришлось понижать курсъ усиленною прикупкою золота за границей. Захоти онъ тогда, онъ вполнѣ могъ выполнить завѣтную мечту Н. Х. Бунге и открыть размѣнъ въ моментъ достиженія бумажками стоимости золота. Но онъ предпочелъ этому естественному пути, грозившему сильнымъ вздорожаніемъ жизни, путь девальваціи. Но существуютъ двѣ девальваціи: одна практиковалась при графѣ Канкринѣ и заключалась въ введеніи новой валюты и въ размѣнѣ на нее старой по пониженной стоимости. Эта девальвація совершалась вокругъ неподвижнаго тогда металлическаго рубля—разумѣется рубля серебрянаго. Девальваціи, какую задумалъ Иванъ Алексѣевичъ, имѣла, наоборотъ, совершиться вокругъ бумажнаго рубля съ помощью фиксаціи его на извѣстномъ уровнѣ. Выгода такой девальваціи заключалась въ сохраненіи status quo, въ признаніи существующей дѣйствительности, благодаря которому можно было вовсе не колебать внутреннихъ цѣнъ. Мысль эта принадлежитъ вовсе не С. Ю. Витте: онъ исполнилъ только программу своего предшественника, которому довести ее до конца не пришлось.

Назначеніе Вышнеградскаго, въ силу своей необычайности, возбудило въ обществѣ много толковъ, и толки эти были далеко не всѣ въ пользу Ивана Алексѣевича. Отставной государственный человѣкъ, бывшій министръ внутреннихъ дѣлъ, Тимашевъ, сказалъ тогда Государю:—самого Вышнеградскаго

я не боюсь, но боюсь тѣхъ, кого онъ за собой потащитъ. Тимашевъ оказался пророкомъ. Мнѣ пришлось только-что упомянуть о Катковоѣ. Хорошо я его узналъ, собственно говоря, теперь только, въ половинѣ 80-тыхъ годовъ, и вынесъ странное впечатлѣніе. Этотъ блестящій публицистъ съ перомъ булатнымъ и заостреннымъ, какъ кинжалъ, былъ очень неувлекателенъ, какъ собесѣдникъ. Онъ говорилъ не охотно и безъ всякаго юмора. Про блескъ его рѣчей и упоминать не стоитъ. Оттого вѣроятно онъ и не захотѣлъ вступить въ Государственный Совѣтъ, хотя это ему предлагали двукратно. Онъ, должно быть, не надѣялся на свой ораторскій талантъ. Не только онъ самъ не развертывался за пріятельской бесѣдой,—и прочимъ съ нимъ разговаривать было не легко. На чужія мысли онъ отзывался плохо, отвѣчалъ лишь неопредѣленными запутанными словами. Въ то время, т. е. въ послѣдніе годы жизни, Катковъ былъ на верху своего вліянія и на верху тоже своей непопулярности, въ качествѣ главнаго автора новаго университетскаго устава 1884 года. Его заслуги, какъ горячаго патріота, увлекшаго за собой всю Россію въ 1863 году, были почти позабыты. За то на виду у всѣхъ была его компанія противъ Николая Христіановича Бунге, гдѣ правда не была на его сторонѣ, и отмѣна той автономіи университетскаго совѣта, какую предоставилъ ему уставъ 1863 года.

Автономія заключалась въ правѣ совѣта утверждать профессоровъ, что могло повести къ завоеванію любой академической коллегіи пристрастнымъ кружкомъ. Конечно и занятіе каѳедры чисто бюро-

кратическимъ путемъ могло имѣть послѣдствіемъ господство податливыхъ бездарностей. Но для избѣжанія этихъ двухъ нежелательныхъ крайностей имѣлся средній путь, который, разумѣется, никому не пришелъ въ голову. Можно было предоставить академическому совѣту признавать за даннымъ лицомъ, послѣ нѣсколькихъ пробныхъ лекцій „pro venia legendi“ право занять каѳедру, въ то же время оставляя за министерствомъ право не утверждать кандидата. Нельзя впрочемъ сказать, чтобы вѣдомство народнаго просвѣщенія злоупотребляло своей монополіей: въ 90-ыхъ годахъ въ цѣлой Россіи былъ одинъ только профессоръ политической экономіи, не причислявшій себя прямо или косвенно къ соціалистамъ—это былъ Георгіевскій, увлекательностью не отличавшійся. Чему-же удивляться, что ученіе Маркса стало у насъ экономическимъ символомъ вѣры? Молодежь выносила изъ университетскихъ лекцій мало провѣренные взгляды эс—дековъ. Помнится, на диспутѣ въ Петербургѣ одинъ магистрантъ, позволившій себѣ усумниться въ безусловной вѣрности опредѣленія цѣнности у Маркса, получилъ строгое напоминаніе стороны одного изъ присутствующихъ профессоровъ, что къ авторитентному имени Маркса слѣдовало бы относиться съ большимъ уваженіемъ. *Sic!* И это происходило въ „Императорскомъ“ университетѣ столичнаго города С.-Петербурга.

Авторъ устава 1863 статсъ-секретарь А. В. Головнинъ скончался, какъ извѣстно, около того времени, когда утвержденъ былъ новый уставъ 1844 года. Мнѣ разсказывали по этому поводу слѣдующій ко-

мическій эпизодъ, приключившійся съ знаменитымъ Захарьинымъ. Не знаю, отъ какой болѣзни лечилъ Головнина прославленный московскій профессоръ. Была она, повидимому, изъ числа смирительныхъ. Замѣтивъ, что леченіе пользы не приноситъ. Захарьинъ обратился разъ къ двумъ племянницамъ умиравшаго государственнаго человѣка—родни болѣе близкой у Головнина не было—и съ откровенною суровостью объявилъ имъ, что наука безсильна и онъ даромъ беретъ деньги за ежедневные визиты. Племянницы всплеснули руками. Обычный вопросъ,—исчезла-ли всякая надежда и отвѣтъ столь-же обычный,—что пока жизнь не прекратилась, надежда всегда есть.

Вы, кажется, женщина вѣрующая, добавилъ смягчившись профессоръ,—а Богу все возможно.

— Стало быть, кромѣ чуда?.. возразила огорченная племянница. И такъ и не договорила.

Захарьина удалось наконецъ уломать, и онъ обѣщалъ вернуться на слѣдующій день.

Такъ онъ и сдѣлалъ. Погода стояла ясная, снѣгъ весело хрустѣлъ подъ санями профессора. У подъѣзда Головнина, на Шпалерной, онъ видитъ двухъ незнакомыхъ ему людей съ глубокою печалью на чертахъ. Въ качествѣ не постояннаго жителя Петербурга, Захарьинъ не узнаетъ въ этихъ людяхъ извѣстныхъ гробовщиковъ—Туранова и Шумилова. Ихъ печаль онъ истолковываетъ въ не благопріятномъ смыслѣ и говоритъ себѣ: „чтожъ, я предвидѣлъ конецъ“.

Но вышло совсѣмъ неожиданно. На вопросъ Захарьина, въ которомъ часу Головнинъ скончался,

швейцаръ, ухмыляясь, отвѣтилъ: —Никакъ нѣтъ, ваше превосходительство. Какъ проснулись сегодня, почувствовали себя гораздо лучше и спросить изволили чашку бульона. А какъ выпили бульонъ, такъ и велѣли заказать себѣ сани и выѣхали по случаю хорошей погоды. Теперь ихъ дома нѣтъ...

Увѣряли меня, что Захарьинъ сплюнулъ отъ досады. Чтожъ? Знаменитому врачу не можетъ быть пріятно увидѣть паціента на ногахъ, когда онъ ему предрекъ близкую кончину. Впрочемъ, кончина Головнина все-таки оказалась близкою, хоть и только сравнительно: онъ по настоящему умеръ 6 или 7 мѣсяцевъ спустя.

Однимъ изъ наиболѣе видныхъ учрежденій, созданныхъ въ царствованіе Алескандра III, былъ дворянскій банкъ. Помѣщики вопили, что при упавшихъ цѣнахъ—а хлѣбные цѣны начали падать съ конца 1883 года—хозяйничать стало невозможно. „Прямой убытокъ", говорили они, не всегда ясно сознавая, на сколько этотъ убытокъ зависитъ отъ плохого неразсчетливаго хозяйничанья. Какъ бы то ни было, надо было вырвать русское землевладѣніе изъ хищныхъ рукъ акціонерныхъ банковъ и перенести вопросъ о его прочности съ частной почвы дѣловыхъ барышей на почву государственную. Дешовый или, по крайней мѣрѣ, сравнительно дешевый кредитъ казался вѣрнѣйшимъ средствомъ на этомъ пути. И дворянскій банкъ былъ открытъ. Онъ былъ призванъ за помѣщичьимъ землевладѣніемъ утвердить его характеръ, какъ института не частнаго права только, а и государственной пользы. Увы, этотъ мнимоблагодѣтельный институтъ оказался Данаевымъ да-

ромъ, и для землевладѣльцевъ, которыхъ впуталъ въ растущіе долги и для самого государства, дѣятельность котораго направилась по совершенно ложному пути. Политическаго кредита не бываетъ, какъ и не бываетъ кредита благотворительнаго. Ипотечныя ссуды выдаются смотря по степени прочности ипотеки, и регламентировать порядокъ ихъ выдачи, какъ и высоту процента, законодательный актъ не въ состояніи. Нельзя, кстати, не замѣтить, что желая притти помѣщикамъ на помощь, правительство имъ выражало явное недовѣріе,—во-первыхъ взыскивая % % за полгода впередъ при самой выдачѣ ссуды, во-вторыхъ, ухватываясь за каждое средство взыскать съ плательщика недаимку. Логика событій, обязательная и для событій не логичныхъ, впрочемъ, не заставила себя ждать. Благотворительный кредитъ въ видѣ крестьянскаго банка очень скоро послѣдовалъ за сословнымъ. Разница была та лишь, что крестьяне должны, были получать деньги на покупку чужой земли, а помѣщики только на сохраненіе своей собственной. Основной идеей крестьянскаго банка было желаніе давать тѣмъ болѣе широкій кредитъ на покупку, чѣмъ менѣе было кредитоспособности у покупщика. На идеѣ крестьянскаго банка сходились впрочемъ люди, желавшіе создать на ряду съ крупнымъ дворянскимъ землевладѣніемъ, такую же прочную крестьянскую собственность, и люди, тайно стремившіеся къ поглощенію всей личной собственности крестьянской общиной. Однимъ изъ такихъ людей, кажется, былъ первый управляющій двумя враждебными и въ то-же время родственными банками, Евгеній Эпафродитовичъ Картавцевъ.

Онъ даже не считалъ нужнымъ скрывать, что его идеалъ, положимъ далекій—переходъ всей земли въ руки трудящагося населенія.

Государство такимъ образомъ одной рукою бралось поддерживать личное культурное землевладѣніе, а другой его-же подтачивало, предостовляя неимущимъ казенныя средства для вытѣсненія личной собственности. И выразителемъ этой двойственной политики служилъ директоръ обоихъ банковъ, вмѣщавшихъ въ себѣ двѣ противоположныя цѣли. Среди тогдашнихъ консерваторовъ встрѣчалось не мало чистосердечно вообразившихъ, что пара лошадей, запряженныхъ въ тотъ-же экипажъ можетъ одновременно его везти и на право, и на лѣво. Казалось имъ, что правильная аграрная политика и заключается въ справедливомъ распредѣленіи поземельной собственности между двумя сельскими классами, не давая въ ней участія горожанамъ. Подъ этими „горожанами“ разумѣлись во-первыхъ весь промышленно-торговый классъ, а во-вторыхъ тѣ изъ помѣщиковъ, которые смотрятъ на свои имѣнія лишь какъ на средство для жизни въ городѣ или для пребыванія за границей. Существовали такимъ образомъ въ глазахъ этихъ оригинальныхъ экономистовъ овцы и козлища землевладѣнія, т. е. элементы желательные и вредные.

Къ первымъ относились крестьяне, которымъ земля нужна какъ средство пропитанія, и тѣ изъ землевладѣльцевъ, которымъ она даетъ возможность нести вблизи родного гнѣзда общественную службу. Вторые, козлища—всѣ занятые такимъ предосудительнымъ дѣломъ, какъ обрабатывающая промыш-

ленность, хотя это „предосудительное“ занятіе и служитъ источникомъ обогащенія страны. Они, эти козлища и предназначались какъ объектъ для расширенія крестьянской собственности.

Вышло, однако, на дѣлѣ, что промышленно-торговый классъ, какъ болѣе зажиточный, гораздо въ меньшей степени распродалъ крестьянамъ принадлежавшія ему земли, чѣмъ сдѣлали то господа помѣщики. Появленіе на свѣтъ крестьянскаго банка послужило даже лишнимъ стлимуломъ передвиженію собственности изъ дворянскихъ въ крестьянскія руки. Въ первое двадцатилѣтіе послѣ 19 февраля, разставались съ землей одни слабые хозяева, которымъ не на что было продолжать безнадежную борьбу съ бездоходностью. Теперь, съ половины 80-хъ годовъ, къ нимъ присоединились помѣщики и крупные, какъ скоро дѣла ихъ запутывались по винѣ личной безтолковости, либо благодаря воровству управляющихъ. Крестьянскій банкъ, содѣйствуя повышенію цѣнъ, соблазнялъ на продажу родовыхъ имѣній и богатыхъ владѣльцевъ, не умѣвшихъ изъ своего земельнаго богатства извлечь доходъ. Подобно евреямъ въ пустынѣ, они въ голой скалѣ не умѣли открыть источника живой воды, хотя бы скала эта состояла изъ самаго драгоцѣннаго камня. Въ породѣ помѣщиковъ сельскохозяйственнаго Моисея не оказывалось. Да и не мудрено, что сословіе, у котораго есть земля, но мало денегъ, становится предметомъ натиска какъ со стороны капиталистовъ, ищущихъ наживы, такъ и со стороны полу-нищихъ крестьянъ, для которыхъ казенная благотворительность щедро раскрывала государ-

ственный сундукъ. Казенная щедрость оказывалась тѣмъ сильнѣе, что большинство заимодавцевъ и не помышляло вовсе объ аккуратномъ платежѣ процентовъ. Впрочемъ имѣлись въ то время экономисты-маниловы, которымъ вполнѣ искренно мерещились безвозвратныя ссуды въ пользу пролетаріевъ, и крестьянскій банкъ, по ихъ мнѣнію, долженъ былъ заниматься исключительно филантропіей, хотя бы и на счетъ плательщика налоговъ. Подобные господа думали, что справедливость требовала бы ссуды въ размѣрѣ по крайней мѣрѣ 90% цѣнности покупаемаго имѣнія, и что наиболѣе желательный покупщикъ—крестьянская община, т. е. собственникъ коллективный. Благодаря стараніямъ этихъ господъ, уставъ банка всего неблагопріятнѣе относился къ отдѣльнымъ домохозяевамъ, предоставляя имъ ссуду не свыше 500 рублей на каждаго. Крестьянскіе товарищества пользовались уже нѣсколько большими казенными милостями, но рогъ изобилія всего шире открывался для покупателей-общинниковъ,

Практика перваго десятилѣтія банка вызвала и въ литературѣ и среди персонала управлявшихъ банкомъ два противоположныхъ теченія. „Правительство“, утверждали одни, „должно открыто смотрѣть на банкъ, какъ на средство исправить капризы судьбы, въ неравномъ распределеніи земли“. Другіе, напротивъ, поневолѣ опасались несостоятельности банка и потому склонны были съ чисто коммерческой точки зрѣнія предпочитать состоятельнаго заемщика неимущему. Изрядно удивились тѣ и другіе, когда г-нъ Картавцевъ изъ объѣзда нѣкоторыхъ южныхъ губерній вынесъ убѣжденіе

что настоящія общинныя покупки существуютъ только на бумагѣ, а товарищескія, на самомъ дѣлѣ, набираютъ себѣ подставныхъ покупщиковъ, чтобы у казны подзанять возможно большую сумму. По совершеніи купчей, мнимые покупщики стушевывались и дѣйствительными владѣльцами пріобрѣтенной земли оказывались тѣ, кто за нее доплатилъ изъ своей мошны требуемую уставомъ дополнительную сумму. Въ концѣ концовъ отъ крестьянскаго банка выигрывали всего больше деревенскіе кулаки, и весь результатъ благотворительной операціи сводился къ расширенію участковъ сравнительно крупныхъ землевладѣльцевъ изъ мужиковъ. Такимъ образомъ ни волки не были совершенно сыты, т. к. для богатаго домохозяина 500 рублей было все-таки мало, ни овцы не оказывались цѣлыми, такъ какъ деревенская бѣднота оставалась при пиковомъ интересѣ. И та настоящая цѣль, которой въ самомъ дѣлѣ крестьянскій банкъ достигнуть могъ—созданіе у насъ личнаго мелкаго землевладѣнія, эта цѣль опять-таки достигнута не была.

Евгеній Эпафродитовичъ Картавцевъ не долго оставался во главѣ двухъ сосѣднихъ банковъ-антагонистовъ. Въ чемъ его собственно обвинили, точно не знаю, но въ одинъ прекрасный день ему велѣли подать въ отставку, сохранивъ ему, впрочемъ, какъ это у насъ вошло въ обычай, очень приличную пенсію. Пенсія эта вскорѣ оказалась излишнею. Какъ всѣхъ способныхъ людей, потерпѣвшихъ на государственной службѣ крушеніе, Евгенія Эпафродитовича снабдилъ усиленнымъ окладомъ одинъ изъ частныхъ банковъ. Тогда это было еще рѣдкость.

Впослѣдствіи дѣло дошло до того, что не одни только оппозиціонные кадеты, какъ В. И. Ковалевскій и И. Н. Кутлеръ, стали получать себѣ „консоляцію“ въ видѣ частнаго содержанія въ 20 и болѣе тысячъ, но по слухамъ сманивался и на жидовскій паекъ и самъ великій магъ С. Ю. Витте. Совершалось нѣчто поистинѣ изумительное: частная служба перерастала казенную.

Глава X-я.

Земледѣльческій кризисъ; почему онъ больше поражалъ помѣщиковъ чѣмъ крестьянъ.—Безсильныя старанія объяснить кризисъ и помочь ему.—Естественныя колебанія въ хлѣбномъ производствѣ и въ хлѣбныхъ цѣнахъ.—Отраженіе толковъ о бѣдствіяхъ земледѣлія на моихъ средахъ.—Споры о мѣстной реформѣ.—И. Н. Дурново, преемникъ графа Д. А. Толстого.—Разсказъ Хвостова объ открытіи новымъ министромъ комиссіи о мѣстномъ преобразованіи.—Конецъ «Эллипсиса».—Мелкая земская единица.—Н. Н. Кашкинъ, племянникъ А. А. Нарышкина.

Вторая половина 80-тыхъ годовъ была эпохой остраго благополучія земледѣлія и, въ то же время, его остраго горя. Благополучіе выражалось въ обиліи урожаевъ за пятилѣтіе 85—89 г. г.; горе—въ рѣзкомъ пониженіи цѣнъ на всѣ хлѣба. Страдали отъ этого, конечно, замѣтнѣе помѣщики, чѣмъ крестьяне, такъ какъ первые сѣютъ хлѣбъ для продажи, а вторые—большею частью на потребленіе. Разумѣется, и для земледѣльцевъ всего лучше была бы комбинація, при которой и зерна получалось бы возможно болѣе, и стоило бы оно дорого. Тогда не придумали бы нелѣпой теоріи, будто для Россіи, сбывающей примѣрно полъ-милліарда пудовъ зерна за границу, выгодна его дешевизна. Но безспорно, что эту дешевизну крестьянамъ легче перенести, чѣмъ

помѣщикамъ. Вотъ почему кризисъ, о которомъ идетъ рѣчь, сказался нѣкоторымъ приростомъ благосостоянія деревни и очень замѣтной убылью дворянскаго землевладѣнія. Это нисколько не мѣшало успѣхамъ культуры, сказавшимся какъ разъ въ помѣщичьихъ хозяйствахъ. Всякое препятствіе въ обезпеченіи чистаго дохода, пока оно не превышаетъ силъ производителя, идетъ на пользу обработки земли, при томъ условіи, конечно, чтобы у хозяина имѣлись средства возвышать ея культуру. Вотъ почему въ такія эпохи, какъ вторая половина 80-тыхъ годовъ, все слабое гибнетъ и распродается, а все, что посильнѣе, хоть и не процвѣтаетъ, но, по крайней мѣрѣ, кладетъ основу будущаго процвѣтанія. Все это однако лишь на первыхъ порахъ. Когда протекаетъ длинный рядъ лѣтъ при угнетенныхъ хлѣбныхъ цѣнахъ, а затѣмъ, вдобавокъ, полный неурожай стрясется надъ страной, какъ недоборъ 1891 года, плохо выносятъ это и зажиточныя хозяйства. Этимъ объясняется странное на первый взглядъ явленіе. За десятилѣтіе 1887—97 г., финансовое благополучіе Россіи замѣтно растетъ; даже бѣдствіе 1891 года на немъ мало отзывается, и не смотря на это, за то-же десятилѣтіе распродажа помѣщичьихъ имѣній идетъ ускореннымъ темпомъ къ великой радости передовыхъ публицистовъ. Въ покупной способности народа сказалось небольшое повышеніе и, благодаря многолюдству этого народа, такое повышеніе немедленно отозвалось на потребительныхъ налогахъ. Когда-же при С. Ю. Витте правительственная манна посыпалась на страну въ видѣ усиленнаго желѣзнодорожнаго строи-

тельства, затраченныя казенныя деньги стали возвращаться въ казначейство путемъ сильнаго подъема виннаго, сахарнаго, нефтянаго, табачнаго и спичечнаго акциза.

Все это для насъ теперь совершенно ясно. Ясно тоже, почему хлѣбъ падалъ въ цѣнѣ и почему также это паденіе сказалось на нашемъ земледѣліи не сразу. Лондонскій рынокъ сталъ понижаться уже съ 1868 года. Но мы это почувствовали лишь 15-ю годами позже. Лондонскій, или такъ называемой всемірный рынокъ, долженъ былъ понизиться очень значительно, чтобы цифра убытка могла уравновѣсить прибыль, доставленную русскому чернозему желѣзными дорогами. Когда сплавъ по рѣкамъ, да извозъ по дорогамъ были единственными средствами провоза хлѣба отъ чернозема къ портамъ и столицамъ, рожь на мѣстахъ производства стояла ниже двухъ рублей за четверть, овесъ зачастую не достигалъ и рубля. Подъемъ цѣнъ отъ желѣзнаго транспорта сказался на четверти въ 2, до 3 рублей, и цѣна вновь понизилась почти до прежняго уровня тогда только, когда соотвѣтственное пониженіе произошло и на Лондонскомъ рынкѣ. Тутъ ничего не было запутаннаго и непонятнаго. Совершался по просту въ хлѣбномъ производствѣ такой-же кризисъ, какой сплошь и рядомъ постигаетъ фабричное. Блестящія цѣны 60-тыхъ годовъ вызвали усиленную распашку цѣлинъ въ нашемъ отечествѣ, въ Соединенныхъ Штатахъ, въ Канадѣ и въ Австраліи. Чѣмъ ниже въ данной мѣстности стояла рента земли, тѣмъ легче ей было освоиться съ пониженіемъ отъ перепроизводства. Такая мѣстность шла отъ чистаго

нуля прежней доходности и мирилась прекрасно съ доходомъ въ нѣсколько копѣекъ на акръ, каковая прибыль все-таки представляла довольно высокій процентъ съ затраченнаго капитала. Такъ было отчасти и въ русской чисто земледѣлческой полосѣ: Въ началѣ 60-тыхъ годовъ 30 рублей за десятину составляли тамъ едва ли не maximum земельныхъ цѣнъ, и когда урожайный годъ давалъ кругомъ по 120 пудовъ зерна съ десятины, зерна, продававшагося не ниже 65 копѣекъ за пудъ, чистый доходъ превышалъ капитальную стоимость. Помѣщики блаженствовали, пили шампанское и накупали лошадей. Но когда земельныя цѣны перевалили за сто рублей, а хлѣбныя понизились до 40—35 коп. съ пуда, картина измѣнилась рѣзко. Все это какъ нельзя болѣе понятно, но тогда этого понимать не хотѣли; а главное, не хотѣли дожидаться, чтобы ростъ населенія догналъ усиленную распашку. Это было бы вполнѣ естественнымъ разрѣшеніемъ кризиса, простымъ средствомъ возстановить нарушенное равновѣсіе между предложеніемъ и спросомъ. И въ настоящее время равновѣсіе не только достигнуто, но издали грозитъ намъ исполненіе зловѣщаго пророчества Мальтуса. Такъ будетъ до новаго толчка въ смыслѣ расширенія обрабатываемой площади. Для такого расширенія, однако, если оно должно идти въ ширь, а не въ глубь, остается уже мало дѣвственныхъ земель. Южная часть Аргентины, западная Канада по ту сторону озера Винипегъ и, наконецъ, далеко еще не использованная южная Сибирь—вотъ главныя пока не занятыя мѣста для будущихъ поселеній. Помимо

этого существуетъ лишь очень сомнительная свободная площадь для колонизаціи—сухія пустыни внутри Новой Галландіи, лесовыя почвы передней Азіи, для которыхъ не многаго лишь нужно—воды и жидко заселенная южная конечность Африки, которая, однако, сѣвернѣе бывшаго Трансвааля для производства хлѣбовъ уже не годится. На этомъ очень далеко не уѣдешь. И страхи землевладѣльцевъ можно считать почти отошедшими въ вѣчность. Но, извѣстное дѣло — теоретическія доказательства въ пользу вѣроятности того или другого исхода даннаго процесса тревожатъ умы довольно поверхностно, между тѣмъ какъ состояніе хлѣбнаго рынка сельскаго хозяина бьетъ по карману непосредственно. Вотъ почему во вторую половину 80-тыхъ годовъ и за все продолженіе 90-тыхъ, у насъ расцвѣла болѣе обширная, чѣмъ толковая литература о причинахъ хлѣбнаго кризиса. Противники золотой валюты истолковывали его вздорожаніемъ денежныхъ знаковъ, возникшимъ благодаря демонетизаціи серебра. Можно успокоиться насчетъ справедливости этого толкованія: биметаллизмъ не восторжествовалъ нигдѣ, а хлѣбныя всетаки цѣны растутъ. На ряду съ пагубнымъ вліяніемъ золота объясняли кризисъ столь-же пагубнымъ дѣйствіемъ хлѣбной спекуляціи, покупками зерна на срокъ и злокозненностью биржевыхъ евреевъ. Трудно даже понять теперь, какъ 20 лѣтъ назадъ вѣрили въ небывалую возможность уронить хлѣбныя цѣны искусственно. Во всякомъ случаѣ зловредное вліяніе спекуляціи не исчезло до сихъ поръ, но почему то не оказываетъ болѣе воздѣйствія на цѣны.

За двумя другими факторами, на которые тогда ссылались часто, нельзя не признать нѣкоторой роли въ хлѣбномъ кризисѣ. Первый изъ нихъ — болѣе легкая организація хлѣбнаго транспорта и въ смыслѣ скорости и въ смыслѣ удешевленія; второй — истекавшій, впрочемъ, изъ перваго—наклонность Англійскаго рынка обезпечивать себя хлѣбными запасами лишь на очень короткій срокъ, что ставило въ неблагопріятныя условія тѣхъ производителей, которые, подобно намъ, ждать не могли или не хотѣли. Понятно, что дешевизна провоза изъ Соединенныхъ Штатахъ позволяла американцамъ успѣшно съ нами конкурировать, и что наша отсталость, какъ въ организаціи хлѣбной перевозки, такъ и въ оборудованіи сельскаго кредита, дѣлала русскимъ торговое соревнованіе съ американцами затруднительнымъ. Теперь, когда Америка быстрыми шагами идетъ къ уменьшенію своего вывоза, благодаря и растущей населенности и превращенію зернового хозяйства въ мясное, намъ открываются въ будущемъ блестящія перспективы, тѣмъ болѣе, что въ нашихъ рукахъ самая обширная область для расширенія хлѣбной культуры— Сибирь. Не далеко ужъ то время, когда мы станемъ монополизировать хлѣбный рынокъ, что намъ дастъ возможность установить вывозныя пошлины на зерно, не раняя внутреннихъ цѣнъ и эту новую статью государственнаго прихода всецѣло употреблять на подъемъ нашего сельскаго хозяйства. Но такимъ разрѣшеніе вопроса никогда не представлялось нашимъ экономистамъ 20 лѣтъ назадъ. Спасенія они искали только въ искусственныхъ мѣрахъ, чисто-

1913
1908 г.

сердечно думая, что стоитъ правительству захотѣть и цѣны поднимутся. Для своихъ выкладокъ они брали на вѣру цифры земледѣльческой статистики, добровольно углубляясь въ туманъ дутыхъ цифръ всемірaго урожая, плывущихъ грузовъ, видимыхъ и невидимыхъ запасовъ, не примѣчая даже грубаго разногласія между цифрами различныхъ земледѣльческихъ изданій. Одного этого разногласія было бы достаточно, чтобы самыхъ легковѣрныхъ людей убѣдить въ полной тщетѣ хлѣбной статистики, либо утверждающей бойко, чего она въ дѣйствительности знать не можетъ, либо руководимой закулисными коммерсантами, заинтересованными въ искаженіи истины.

Какъ бы то ни-было и въ ученыхъ обществахъ, и на такъ называемыхъ экономическихъ обѣдахъ, устроенныхъ В. П. Безобразовымъ, не переставали взбалтывать мнимо научную цѣну и придумывать остроумные, хоть и миѳическіе способы, придти на помощь бѣдствующимъ русскимъ помѣщикамъ. А помощь для нихъ возможна была въ то время лишь двоякая: пониженіе стоимости провоза по русскимъ дорогамъ и устройство зернового кредита въ достаточномъ размѣрѣ. Но и этого не дѣлалось, хотя совѣщанія на счетъ того и другого способа собирались ежегодно, а газеты были наводнены глубокомысленными размышленіями на этотъ счетъ. Ни одна изъ обѣихъ мѣръ не была однако принята. Простому удешевленію провоза безъ всякихъ фокусовъ надъ тарифными ставками мѣшало соревнованіе между отдѣльными районами: приволжскіе землевладѣльцы мечтали о доставкѣ своего зерна на границу по

цѣнамъ болѣе дешевымъ, чѣмъ для сельскихъ хозяевъ пограничныхъ, а центрально-русскіе помѣщики хотѣли и конкурировать и съ самыми западными, а приволжскимъ хозяевамъ насолить. При такомъ трогательномъ единодушіи ничего, разумѣется, не выходило. Вторая мѣра—дешевый зерновой кредитъ—наскакивала на корыстные разсчеты, какъ скоро она оставалась въ частныхъ рукахъ, и на формализмъ чиновниковъ, когда такой кредитъ устраивала сама казна.

Позволилъ я себѣ такъ долго остановиться на хлѣбномъ кризисѣ потому, что онъ служилъ тогда постоянной темой для безконечныхъ дебатовъ. Отраженіе этихъ преній отзывалось и на моихъ средахъ, гдѣ споры о хлѣбномъ кризисѣ шли параллельно съ толками о мѣстной реформѣ. Надъ придумываніемъ средствъ для подъема упавшихъ хлѣбныхъ цѣнъ ломали свои ученыя и неученыя головы и теоретики такъ называемой науки «о народномъ хозяйствѣ», и люди, изучившіе эту науку лишь на практикѣ собственныхъ хозяйственныхъ недочетовъ. Первый періодъ этихъ безконечныхъ и безплодныхъ разсужденій длился вплоть до самаго голода 1891 года, отъ котораго цѣны повысились сами собой, положивъ конецъ усиліямъ поднять ихъ искусственно. Дважды, въ самомъ началѣ 90-тыхъ годовъ и въ самомъ концѣ ихъ, факты просто рѣшали вопросъ, надъ которымъ такъ долго трудились безъ всякой пользы.

Реформа мѣстнаго управленія, когда стало ясно, что сведется она къ замѣнѣ выборной должности

мировыхъ судей назначенными земскими начальниками, занимала насъ тоже усердно, вызывая тогда у всѣхъ одинаковое неудовольствіе. Мрачныя предсказанія сыпались надъ колыбелью будущихъ земскихъ начальниковъ, угрожая имъ напередъ приниженностью передъ губернаторскою властью. „Лучшія силы провинціи не захотятъ“, твердили мнѣ, „унизить себя до такой неблаговидной должности“. Самымъ горячимъ опонентомъ новаго института являлся Н. А. Хвостовъ. Онъ, между прочимъ, передалъ мнѣ свой любопытный дорожный разговоръ съ А. С. Суворинымъ, съ которымъ встрѣтился на поѣздѣ по дорогѣ въ Москву. На всѣ зловѣщія предсказанія Хвостова, Алексѣй Сергѣевичъ отвѣчалъ тогда въ самомъ мажорномъ тонѣ, говоря, что правительство хорошо поступило, взявъ рѣшительно въ руки упавшія вожжи и, что, отбросивъ всякія отвлеченности, надо создать на мѣстахъ сильную непосредственную власть. Въ то времн словечко „сильная власть“ было также въ модѣ, какъ въ модѣ теперь слово „автономія“. Tempora mutantur. Въ то время не трудно было найти на столбцахъ Новаго Времени горячія проповѣди въ пользу общины, этого мнимо-историческаго столба нашего вполнѣ консервативнаго, деревенскаго самоуправленія. Куда дѣвался теперь этотъ столбъ, сгнившій весь до основанія, и въ особенности этотъ мнимый консерватизмъ?

Реформу довести до конца не пришлось графу Дмитрію Андреевичу, а его преемнику Ивану Николаевичу Дурново. На смѣну мрачнаго государственнаго человѣка пришелъ министръ совсѣмъ

иного типа,—веселый, любезный, но въ сущности мало дѣятельный. Онъ вносилъ въ привычки министерства тонъ и пріемы хлѣбосольнаго предводителя, готоваго всѣмъ наобѣщать съ три короба и не сдержать ничего изъ обѣщаннаго. Хвостовъ увѣрялъ, что на первомъ засѣданіи комиссіи, о мѣстной реформѣ, гдѣ предсѣдательствовалъ Иванъ Николаевичъ, онъ выразился приблизительно такъ:

— Насколько я понялъ взгляды моего предшественника, его главнаго цѣлью было отдалить, по возможности, судъ отъ населенія.....

Для В. К. Плеве, тогда еще товарища министра, это было уже черезчуръ. Онъ возразилъ предсѣдателю:

— За долгій рядъ лѣтъ, однако, населеніе такъ привыкло къ близости суда...

— Къ сожалѣнію, къ сожалѣнію! будто перебилъ его новый министръ. За достовѣренность разсказа не ручаюсь и можетъ-быть онъ попросту образчикъ государственныхъ взглядовъ Ивана Николаевича, котораго Хвостовъ не долюбливалъ. Тѣмъ не менѣе, почти 6 лѣтъ сряду безконечно длинные бакенбарды Дурново и его безпечно веселый нравъ царили надъ внутренними дѣлами Россіи. И царили они настолько, что посмѣивались надъ Иваномъ Николаевичемъ, правда, исподволь, но оффиціалный міръ его тѣмъ не менѣе побаивался. Любопытнымъ примѣромъ тому послужила внезапная кончина нашего „Эллипсиса“. На одномъ его засѣданіи горячо обсуждался вопросъ о земскихъ начальникахъ, вызвавшій у насъ громкіе протесты. Но ровно черезъ недѣлю, на слѣдующее засѣданіе

нѣкоторые изъ сочленовъ не явились вовсе, и какъ разъ изъ числа тѣхъ, которые наиболѣе высоко поднялись въ чиновной іерархіи. Это засѣданіе оказалось послѣднимъ. М. Н. Галкинъ больше „Эллипсиса“ не созывалъ.

Такъ называемая „мелкая земская единица“ и тогда уже считалась предметомъ единодушныхъ земскихъ вождѣленій. Единодушію этому нѣсколько лишь мѣшало то обстоятельство, что на вопросѣ о земской единицѣ сходились люди самые разнообразные, не всегда съ полной искренностью высказывавшіе свои заднія мысли. Такое гибкое учрежденіе, какъ самоуправляющаяся мѣстная ячейка, многимъ была извѣстна лишь изъ книгъ, преимущественно черезъ популярнаго у насъ Гнейста, и вполнѣ годилась, какъ для плантаторскихъ вождѣленій иныхъ, такъ и для чисто демократическихъ идеаловъ другихъ. Не даромъ имѣлся подъ рукой сосѣдній съ нами Лифляндско-Эстонскій „Kirchspiel“, въ которомъ собственоо Kirche играла послѣднюю роль, а первая скрипка оставалась въ рукахъ бароновъ. Откровенные россійскіе ландлорды всегда были не многочисленны, но родъ ихъ все-таки не переводился. И въ Петербургскомъ земствѣ они выработали проектъ, ставившій пресловутую ячейку въ полную зависимость отъ крупнаго барина. Но къ той-же мелкой единицѣ можно было подойти и съ иной стороны. Какъ разъ то обстоятельство, что земцевъ изъ мѣстныхъ дѣятелей во многихъ уѣздахъ не хватало, а въ иныхъ волостяхъ и совсѣмъ не было, воспламеняло апетиты тѣхъ земскихъ служащихъ, которые за не-

имѣніемъ ценза не могли стать гласными, но тѣмъ не менѣе надѣялись со временемъ забрать все земство въ свои руки. Имъ самоуправляющаяся волость и, главное, „волостной бюджетъ“ были какъ нельзя болѣе кстати. Пришлось бы volens-nolens передать сначала кое гдѣ, а потомъ и повсюду въ руки третьяго элемента земскія вожжи. Признаюсь, и я грѣшный нѣкогда въ Тверскомъ земствѣ проповѣдывалъ идею всесословной волости, т. е. въ сущности, той-же самой мелкой единицы. Конечно, только единица эта не представлялась мнѣ въ смыслѣ волостной диктатуры какого нибудь земскаго врача, статистика или учителя. Когда повсюду заговорили громко о мелкой единицы, т. е. въ концѣ 80-тыхъ годовъ, я уже не былъ ея сторонникомъ. Но туманъ, ее облекавшій, еще не успѣлъ разсѣяться и, какъ всегда среди политическихъ сумерекъ, люди совсѣмъ различныхъ взглядовъ шли въ этомъ вопросѣ рука объ руку. До какой степени туманъ сродни лучшимъ и самымъ лучшимъ людямъ у насъ въ Россіи, въ этомъ я могъ убѣдиться, познакомившись съ племянникомъ А. А. Нарышкина, съ свѣже выпущеннымъ лицеистомъ Н. Н. Кашкинымъ. Была ли у него золотая медаль—не помню. Но во всякомъ случаѣ онъ обладалъ въ высокой степени тѣми тремя свойствами, которыя обезпечиваютъ золотую медаль—знаніемъ и обширною памятью, чрезвычайной работоспособностью и стремительнымъ честолюбіемъ. По убѣжденіямъ, которыя неизмѣнно онъ высказывалъ слишкомъ 10 лѣтъ, Кашкинъ былъ одновременно славянофиломъ, влюбленнымъ въ царствованіе Алексѣя

Михайловича, усерднымъ изыскателемъ родословныхъ, очень дорожившимъ своею собственной, и горячимъ сторонникомъ не совсѣмъ еще опредѣленныхъ, но сильно передовыхъ, т. е. демократическихъ взглядовъ. Природный баричъ, привязанный къ родовой усадьбѣ и къ воспоминаніямъ старины, въ немъ уживался прекрасно съ теоретическимъ либераломъ въ духѣ „Вѣстника Европы“, всегда готовымъ метать громы въ сторону правительства, которому служилъ. Что не уживается въ душѣ русскаго помѣщика? Судьба Кашкина впрочемъ нѣсколько усложнялась тѣмъ, что отецъ его когда то былъ петрашевцемъ, а дѣдъ и впрямь декабристомъ, и революція, стало быть, жила въ немъ, какъ что-то наслѣдственное. Кашкинъ, вѣроятно, со временемъ разобрался бы въ этихъ противорѣчіяхъ, но жизнь его была скомкана болѣзнью. Непрочные легкіе заставили его покинуть службу и усѣсться въ своемъ углу: Петербургскаго воздуха онъ вынести не могъ. Не сладко пришелся ему, однако, и провинціальный воздухъ: въ своей Калужской губерніи онъ никакъ не могъ ужиться съ своей скромной должностью мѣстнаго судьи и, кажется, тайно вздыхалъ по тѣмъ самымъ канцеляріямъ, которыя такъ громко и язвительно поносилъ.

Глава XI-я.

Наша иностранная политика во вторую половину 80-ыхъ годовъ.—Настоящая подкладка нашихъ отношеній съ Германіей.—Коварство кн. Бисмарка. — Разрывъ нашего тайнаго соглашенія съ Берлиномъ при графѣ Каприви. — Кончина императора Вильгельма I. — Трехмѣсячное царствованіе Фридриха III.—Характеристика отношеній Вильгельма I къ своему канцлеру.—Смерть Щедрина и кончина «Отечественныхъ записокъ».—М. П. Гедеоновъ и А. П. Соломонъ.

Миролюбивая, лишенная всякой иниціативы, иностранная политика г-на Гирса была высоко цѣнима на Западѣ и побуждала Европу смотрѣть сквозь пальцы даже на наше очевидное славянофильство. А между тѣмъ совершенно явное охлажденіе съ Берлиномъ, при отсутствіи близости съ Австріей, заставляло многихъ думать, что вотъ-вотъ, не сегодня-завтра вспыхнетъ у насъ война съ нѣмцами. Большинство у насъ относилось къ возможности такой войны съ ухарскимъ хвастовствомъ; но въ сущности это самое большинство столкновенія побаивалось, чтобы не сказать трусило. Рѣчи князя Бисмарка въ рейхстагѣ подтверждали эти опасенія, а не особенно любезныя поѣздки государя за границу, гдѣ онъ то вовсе избѣгалъ Берлина, то оставался въ немъ очень недолго, не оставляли сомнѣнія, что отъ старинной дружбы нѣтъ уже и слѣда. Не многіе посвященные, конечно,

знали, въ чемъ дѣло, знали, что при Александрѣ III мы были гораздо дальше отъ разрыва съ Германіей, чѣмъ въ послѣдніе годы царствованія Александра II. Извѣстіе о тайномъ соглашеніи, устроеннымъ кн. Бисмаркомъ, почему-то среди публики не распространялось. Впрочемъ, можетъ быть, подобныхъ тайнъ на свѣтѣ много бываетъ: какъ скоро онѣ остаются тайнами, мы, разумѣется, про нихъ ничего не знаемъ—это не даромъ сказалъ уже Мюссэ. А по тону нашей печати можно было думать, что нѣтъ у насъ въ цѣлой Европѣ болѣе закоренѣлыхъ враговъ, чѣмъ нѣмцы. Подливали, разумѣется, масла въ огонь рѣзко проводившіяся реформы въ Остзейскомъ краѣ. Эти реформы тѣмъ болѣе раздражали нѣмцевъ и внутри нашей границѣ и внѣ ея, что не предвидѣлось имъ конца, и никто бы не могъ сказать увѣренно, до какихъ предѣловъ онѣ дойдутъ. Эта неопредѣленность очень нравилась тѣмъ, кто сознательно шелъ къ полному упраздненію Балтійскихъ особенностей и, конечно, пугала остзейцевъ. По тону прессы обѣихъ странъ можно было думать, что готовится кровавое столкновеніе. И какъ разъ въ 1887 году публика особенно насторожила уши, нервно готовясь услышать брянцаніе оружія. На самомъ дѣлѣ никакая гроза не собиралась и кн. Бисмаркъ можетъ быть для того только намѣренно хмурился, чтобы отвести глаза Австріи, которой соглашеніе Берлина съ Петербургомъ оставалось неизвѣстнымъ. Не думаю, чтобы эта коварная политика особенно приходилась по вкусу прямодушнаго Императора Александра III. Но она, во всякомъ случаѣ, обезпечивала миръ и

тѣмъ самымъ была великою заслугой и со стороны русскаго государя и со стороны перваго министра Германіи,—заслугою большею конечно со стороны перваго, которому приходилось, ради сохраненія мира, въ самомъ себѣ превозмочь страстное отвращеніе ко всему похожему на ложь.

Впослѣдствіи, когда Бисмарка смѣнилъ графъ Каприви, уволенный канцлеръ имѣлъ полное основаніе жаловаться, что Германія легкомысленно утратила главную основу своего международнаго положенія—доброе согласіе съ могущественной восточной сосѣдкой. Что-бы ни твердили о франко-русской дружбѣ, мы въ сущности заключили съ французскимъ правительствомъ лишь бракъ по разсчету: сердце тутъ было не при чемъ, какъ не при чемъ оно было, впрочемъ, и въ единомыслiи съ Берлиномъ. Да въ отношеніяхъ къ иностранцамъ оно иначе и быть не можетъ. Сентиментализмъ здѣсь не у мѣста, и взаимное влеченіе не болѣе, какъ декорація для толпы. Люди, думающіе иначе, должны были бы себѣ найти какой угодно предметъ для занятій, кромѣ иностранной политики.

Поневолѣ я затронулъ здѣсь и начало 90-тыхъ годовъ: послѣдствія тогдашнихъ событій развернулись лишь постепенно, заслуживъ государю имя «Царя Миротворца», а Россіи обезпечивъ въ Европѣ руководящее положеніе. И мы въ правѣ блескъ этого положенія, блескъ при томъ не мишурный, а вполнѣ выражавшій собою дѣйствительное соотношеніе силъ, приписать иниціативѣ государя, а ужъ ни какъ не его министра иностранныхъ дѣлъ. Г-нъ Гирсъ былъ очень достойный человѣкъ, но при-

думывать что нибудь отъ себя едва ли когда нибудь ему пришлось. Теперь, когда напечатаны мемуары кн. Бисмарка и воспоминанія кн. Гогенлоэ, все это стало общимъ достояніемъ. До очень недавняго времени, однако, руководящіе мотивы главныхъ дѣятелей, а потому и логика событій, оставались неизвѣстными. Какъ разъ то, что газетами съ обычнымъ глубокомысліемъ провозглашалось истиной, раскрытой зоркими глазами всевозможныхъ корреспондентовъ и обозрѣвателей, оказывалось сущей ложью. А настоящая правда, какъ и всегда оно бываетъ, пряталась за обманчивыя вывѣски. Такъ, напримѣръ, когда мы освободили себя отъ такъ называемаго союза трехъ императоровъ, пресса охотно воображала, что Россія тѣмъ самымъ пріобрѣла свободу дѣйствій. На самомъ дѣлѣ, нельзя было этого союза возобновить по очень простой причинѣ. Наше соглашеніе съ Берлиномъ должно было оставаться неизвѣстнымъ для Вѣны. Была, конечно, и другая вполнѣ возможная политика—полное отторженіе Австріи отъ союза съ Германіей, союза тоже очень не сердечнаго—словомъ, такъ называемая политика Кауница. Но время для такого поворота тогда не подоспѣло. Въ Вѣнѣ еще слишкомъ свѣжа была память о нашей попыткѣ отступиться отъ соглашенія 1875 г., и наше неудавшееся коварство затмѣвало у австрійцевъ даже тяжелое воспоминаніе о Кенигсгретцѣ. Событіе, напередъ учтенное дипломатами, и событіе необыкновенно крупное между тѣмъ надвигалось. 92-й лѣтній императоръ Вильгельмъ сходилъ постепенно въ могилу. И кончина его въ дѣйствительности оказалась событіемъ гораздо менѣе

крупнымъ, чѣмъ думали. Во главѣ Германіи цѣлыхъ два года еще оставался тотъ самый человѣкъ, который ею руководилъ уже болѣе четверти вѣка. Очень распространено было мнѣніе, что нелюбовь къ Россіи со стороны преемника императора Вильгельма, и въ особенности со стороны его британской супруги, немедленно скажется, какъ скажется тоже и нелюбовь обоихъ къ кн. Бисмарку. И не сказалось ровно ничего. Бисмаркъ не получилъ отставки и отношенія къ Россіи остались все тѣми-же. Умирающій Фридрихъ III блѣдною тѣнью проскользнулъ по исторіи, причинивъ только нѣмецкимъ либераламъ огорченіе, что за три мѣсяца своего нѣмого царствованія онъ ничего не выполнилъ изъ своей передовой программы. Такою же блѣдною тѣнью онъ, вѣроятно, остался бы, если бы ему суждено было прожить дольше. Разница между нимъ и его отцомъ была та, что больной Фридрихъ III воображалъ себя человѣкомъ очень замѣчательнымъ, исполненнымъ глубокомысленныхъ идей. А такихъ государей ихъ первые министры обыкновенно водятъ за носъ. Вильгельмъ I наоборотъ, какъ разъ потому что онъ по силѣ характера былъ не чета своему не далекому сыну, вполнѣ сознательно уступалъ кн. Бисмарку и терпѣлъ его превосходство, хотя, вѣроятно, своего канцлера не особенно долюбливалъ. Трехмѣсячное царствованіе его сына имѣло одно только послѣдствіе: оно позволило его властолюбивой вдовѣ титуловаться „die Kaiserin Fridrich“.

Когда своему отцу наслѣдовалъ Вильгельмъ II, страстный ученикъ Бисмарка, всѣ были убѣждены, что тутъ-то и начнется настоящее самодержавіе же-

лѣзнаго канцлера. И опять таки ошиблись. Не прошло и полутора года, какъ самодержавію этому былъ положенъ рѣзкій конецъ. Историческая заслуга императора Вильгельма I передъ своимъ народомъ заключалась въ той самоотверженности, съ которой онъ сумѣлъ воспользоваться геніемъ Бисмарка, подавляя въ себѣ часто готовое подняться неудовольствіе. Стушеваться передъ своимъ первымъ министромъ—не мелкая задача, и едва ли въ личности перваго министра наслѣдственный монархъ не ощущаетъ большаго ограниченія своей иниціативы, чѣмъ даже со стороны парламентскаго большинства. Настоящая конституція для прусскаго королевства заключалась въ особѣ того самаго министра, который въ душѣ ненавидѣлъ и презиралъ конституціонное начало. Невольно, быть можетъ, безсознательно строгій монархизмъ Бисмарка нанесъ традиціонной монархіи болѣе чувствительный ущербъ, чѣмъ могли-бы это сдѣлать всѣ взятые вмѣстѣ ораторы нѣмецкой лѣвой. Это и замѣтно теперь особенно ярко въ популярности имени Бисмарка какъ разъ среди либераловъ. Размолвка съ императоромъ Вильгельмомъ II была ничѣмъ инымъ, какъ отместкой государя, дорожившаго своимъ полновластіемъ, черезчуръ зазнавшемуся сановнику. Въ историческихъ событіяхъ дѣйствующія лица иногда призваны сыграть свою роль, сами не подозрѣвая внутренняго ея смысла. Но пока назрѣвалъ этотъ неминуемый разрывъ, за полтора года отъ кончины Фридриха III до увольненія канцлера, все шло съ виду прежнимъ путемъ и ничѣмъ нарушена не была кислосладкая дружба между нами и Берлиномъ.

Вернемся однако домой. 80-ые годы были роковой эпохою для русской литературы. Первымъ унесенъ былъ Достоевскій и шумныя его похороны служили яркимъ выраженіемъ его огромной, хоть и двойственной популярности. За нимъ послѣдовали Тургеневъ, Островскій, Маркевичъ, графъ Соллогубъ. Теперь очередь была за великимъ писателемъ, имя котораго ни разу еще мнѣ не попадалось подъ перо—это былъ самый блестящій талантъ нашей лѣвой, Шедринъ-Салтыковъ, лѣвый быть можетъ не столько по убѣжденіямъ, сколько по привычкѣ. Желчный темпераментъ едва ли не въ большей степени побуждалъ его къ хронической оппозиціи, чѣмъ вполнѣ продуманная и ярко очертенная программа. Когда человѣкъ, хотя-бы случайно, хотя-бы мимолетно очутился на пьедесталѣ и ему принялись усердно кадить съ какой нибудь стороны, ему съ такого пьедестала не совсѣмъ удобно сойти. И Щедринъ съ него не сошелъ до конца жизни. Потухшій его прахъ сопровождала до могилы все та-же не совсѣмъ искренняя овація, которой онъ былъ окруженъ за всю вторую половину своей жизни. Стоитъ вчитаться въ одно изъ лучшихъ его произведеній, въ повѣсть „Отецъ и Сынъ“, чтобы разглядѣть затаенную струю, уносившую съ собою его настоящія симпатіи. Все, хотя-бы слегка каррикатурное, онъ иемилосердно осмѣивалъ. Такъ дѣлаетъ, впрочемъ, большинство русскихъ, даже совсѣмъ не талантливыхъ. Но особенно теплаго сочувствія ни безпочвенному чиновнику, ни повисшему въ воздухѣ интеллигенту, во всѣхъ твореніяхъ Щедрина не за-

мѣтно. Его смерть имѣла, между прочимъ, одно неожиданное послѣдствіе, въ которомъ выразился весь трагизмъ его положенія: она унесла съ собой и его журналъ, прежній органъ Некрасова, „Отечественныя Записки“, тогдашній «Правительственный Вѣстникъ» нашихъ лѣвыхъ. Носились тогда слухи, что большая часть накопленныхъ Некрасовымъ денегъ, были завѣщаны его журналу въ качествѣ агитаціоннаго фонда и что тайныя силы, державшія въ своей зависимости Щедрина, заставляли его обращать свой популярный и богатый журналъ въ главный и руководящій нервъ революціи. Это обстоятельство было раскрыто, какъ увѣряли, благодаря несогласіямъ, возникшимъ послѣ смерти Щедрина, наслѣдниками Некрасова и осиротѣвшей редакціей «Отечественныхъ Записокъ». До какой степени все это вѣрно, не знаю. Но во всякомъ случаѣ популярный журналъ умеръ не естественною смертью, какъ скоро имя Щедрина перестало ему служить защитой.

Не могу здѣсь не упомянуть, хотя-бы вкратцѣ, о двухъ людяхъ, съ которыми я какъ разъ въ это время сблизился. Одинъ изъ нихъ былъ пріятель моего брата, Михаилъ Петровичъ Гедеоновъ, родной племянникъ того сенатора Гедеонова, который прославился своимъ до неумолимости злымъ языкомъ. Михаилъ Петровичъ не внушалъ того спасительнаго страха, съ какимъ относились къ его желчному дядѣ. Острить онъ былъ тоже гораздъ, но лишь въ рѣдкихъ случаяхъ его эпиграммы больно задѣвали. Отъ природы онъ былъ веселый, мягкій,

и беззаботный человѣкъ,—въ ранніе годы даже черезчуръ веселый. Онъ продѣлалъ всю Задунайскую кампанію 78—79 года и какъ разъ за это время съ нимъ произошелъ душевный переворотъ, о которомъ онъ мнѣ разсказывалъ неоднократно. Гедеоновъ придерживался беззаботнаго образа жизни и, какъ оно часто бываетъ съ беззаботными людьми, охотно подгонялъ религіозно-философскіе взгляды къ этому образу жизни. Словомъ, онъ былъ тогда ни во что не вѣровавшимъ матеріалистомъ, только безъ обычной для этого сорта людей надменной закоснѣлости. Вопросы о загробной жизни его попросту не занимали. И вотъ разъ, когда, совсѣмъ усталый отъ похода, онъ прилегъ отдохнуть, ему приснился отецъ, какъ будто подошедшій къ нему, чтобы проститься съ сыномъ. Гедеоновъ тотчасъ очнулся съ какимъ то неопредѣленнымъ, но зловѣщимъ предчувствіемъ. И вотъ онъ узналъ отъ брата, служившаго съ нимъ въ одномъ полку, что въ тотъ-же часъ и тому приснился тотъ-же сонъ. Предчувствіе усилилось и—не обмануло. На другой же день пришла къ обоимъ братьямъ телеграмма съ извѣстіемъ о кончинѣ ихъ отца. Отошелъ онъ въ вѣчность какъ разъ въ то время, когда обоимъ его сыновьямъ онъ предсталъ во снѣ. Гедеоновъ былъ такъ пораженъ, что все его міровозрѣніе сразу перевернулось. Отъ легкомысленнаго кутилы не осталось и слѣда. Михаилъ Петровичъ ударился даже въ противоположную крайность,– сталъ не только набожнымъ, но впрямь аскетомъ. Онъ принуждалъ себя вставать ночью, чтобы побывать у заутрени, соблюдалъ всѣ посты, углублялся въ подвижниче-

скую литературу. А въ то же время онъ не утратилъ способности быть весельчакомъ, разсказывать забавные анекдоты, а порой и переходить отъ слова къ дѣлу, поддаваясь неудержимому искушенію тряхнуть стариной. Вкусно покушать, выпить изрядно, а то пожалуй и нѣчто иное къ этому подбавить – это всегда было въ привычкахъ Гедеонова. Когда теперь среди поста и молитвы подступало къ нему искушеніе и онъ себя отстоять не могъ, волны аскетизма охватывали его, внушая ему новые подвиги. Онъ серьезно мечталъ иногда о монашествѣ. Но ожидалъ его подвигъ иного рода – мучительный недугъ и преждевременная кончина. А пока, въ первые годы нашего знакомства, онъ былъ, не смотря на весь свой аскетизмъ, милый и забавный собесѣдникъ, а подчасъ и собутыльникъ не дурной.

Другой не дюжинный человѣкъ, съ которымъ я тоже сблизился, но на короткое лишь время, Александръ Петровичъ Соломонъ, директоръ Александровскаго Лицея за послѣдніе годы. Съ нимъ тоже познакомилъ меня мой братъ, сослуживецъ его по тюремному вѣдомству. Соломонъ, какъ и Гедеоновъ, прошелъ лишь черезъ военную школу и участвовалъ вмѣстѣ съ Михаиломъ Петровичемъ въ Балканскомъ походѣ; не знаю только, по какому случаю, онъ промѣнялъ оружіе на тогу, тщательно восполняя свое чисто реальное образованіе посредствомъ усерднаго чтенія. На Гедеонова онъ походилъ мало. Веселая струна въ немъ не звучала. А струна религіозная звучала совсѣмъ по иному. На сколько Гедеоновъ былъ ревностнымъ право-

славнымъ, настолько Александръ Петровичъ увлекался католицизмомъ. Онъ пламенно мнѣ доказывалъ, — и доказательства его были подчасъ очень убѣдительнаго свойства, — что въ раннюю пору среднихъ вѣковъ, когда на Востокѣ поднималась ересь за ересью, настоящимъ хранителемъ истинной ортодоксальности былъ папа. Не участвуя непосредственно ни въ одномъ изъ вселенскихъ соборовъ, преемники Св. Петра посылали туда своихъ легатовъ, съ мнѣніемъ которыхъ всегда считались. Несогласіе ихъ на нѣкоторыя постановленія Халкидонскаго собора заставили тогдашняго Константинопольскаго патріарха отказаться отъ своей затѣи—стать восточнымъ папой, получивъ для своей патріархіи драгоцѣнное право посвященія на всѣ духовныя должности и безаппеляціоннаго рѣшенія по всѣмъ вопросамъ церковнаго устроенія. Благодаря римскимъ легатамъ, желаніе это не было удовлетворено, и автономія отдѣльныхъ восточныхъ епархій не утратилась. Раньше нашего сближенія съ Соломономъ, появилась книга кн. Е. Г. Волконской, строго осуждавшей православіе за разрывъ съ Римомъ. Княгиня, какъ извѣстно, и перешла въ католичество. Но Александръ Петровичъ католикомъ не сдѣлался. Каково же было мое изумленіе, когда два года спустя, отобѣдавъ у насъ, онъ почему то сталъ издѣваться надъ тѣмъ самымъ папскимъ престоломъ, горячимъ поклонникомъ котораго онъ себя считалъ! Льва XIII онъ прозвалъ, кажется, «шутникомъ» — „Un farceur“. Должно быть, я слишкомъ явно показалъ ему, какъ непріятно на меня подѣйствовали его слова. Съ тѣхъ

поръ мы раззнакомились. Онъ пересталъ у насъ бывать и я — у него. Разъ только мы случайно встрѣтились и пожали другъ другу руку: это было на улицѣ у подъѣзда доктора Н. Ѳ. Чигаева. Видно, спайка у насъ была плоховата, коли расклеилась такъ легко и незамѣтно.

Глава XII-я.

В. И. Ковалевскій. — Н. В. Верещагинъ и его молочная ферма. — Л. Н. Шишковъ.—М. А. Кавосъ.—Французскій посолъ Лабулэ.—Яша Рубинштейнъ и псевдо-цыганскіе концерты. — А. А. Воейкова и ея другъ, графиня А. А. Толстая, бывшая воспитательница в. кн. Маріи Александровны.—Графиня С. А. Толстая, вдова поэта.—Аврора Карловна Карамзина.

ПОЗНАКОМИЛСЯ я тогда еще съ однимъ выдающимся человѣкомъ, но никакъ не могу уже сказать, чтобы съ нимъ сблизился хотя-бы и на короткій срокъ. Это былъ знаменитый въ свое время В. И. Ковалевскій, нынѣ поблекшій, какъ осенній листъ. Не помню, кто насъ свелъ. Сталъ онъ бывать у меня довольно часто, ничуть не скрывая тѣхъ своихъ взглядовъ, которые его нѣкогда привели въ Петропавловскую крѣпость и которымъ онъ оставался будто-бы вѣренъ и по выходѣ изъ нея. Это ему нисколько не помѣшало впослѣдствіи быстро подняться по оффиціальной лѣсенкѣ, съ которой онъ свалился уже на самыхъ высшихъ ступеняхъ. Трудно было предвидѣть въ 80-ыхъ годахъ, что непосредственной причиной его паденія станетъ запоздалая нѣжность къ маститой г-жѣ Шабельской. Въ то время, когда я съ нимъ познакомился, Владиміръ Ивановичъ глядѣлъ очень солиднымъ человѣкомъ.

Нельзя отрицать, что собесѣдникъ онъ былъ интересный. Вся подноготная банковой дѣятельности была ему досконально извѣстна. Любилъ онъ тоже, какъ увѣрялъ, сельское хозяйство, въ которомъ тоже для него тайнъ не было никакихъ. Сельскимъ хазяйствомъ онъ меня и прельстилъ. Самъ я сталъ имъ особенно интересоваться, по странной ироніи судьбы, съ тѣхъ поръ, какъ ослѣпъ. Но какъ не прельщалъ меня Владиміръ Ивановичъ—между прочимъ не скрою, всевозможными любезностями на мой личный счетъ—тайное чувство мнѣ подсказывало, что не ошибаются тѣ изъ моихъ пріятелей, которымъ чуялось притворство въ медовыхъ рѣчахъ Ковалевскаго. Подмѣчали въ немъ двоедушіе самые близкіе ко мнѣ люди, а мнѣ бы и хотѣлось не подмѣчать, но черезчуръ ужъ замѣтна была въ немъ елейность. И какъ то случилось, что едва Владиміръ Ивановичъ пошелъ быстрыми шагами вверхъ, наше знакомство внезапно растаяло, какъ снѣжная глыба на солнцѣ. Карьерѣ его я помочь не могъ, да едва ли и захотѣлъ бы. Странное дѣло, какъ на этомъ ловкомъ и совсѣмъ уже не предразсудочномъ господинѣ подтвердилась извѣстная пословица: «На всякаго мудреца довольно простоты». Кто бы могъ подумать, что такой карьеристъ, чуть-чуть было не вступившій въ состязаніе съ карьеристомъ еще болѣе крупнымъ, съ Сергѣемъ Юльевичемъ, увлечется сѣдинами 60-ти лѣтней прелестницы и отъ нея пострадаетъ, да вдобавокъ появится въ качествѣ свидѣтеля по скандальному процессу. Ничего изъ себя не представлялъ скандальнаго другой хитроумный лѣвый, Н. В. Вереща-

гинъ, съ которымъ я тоже познакомился въ то время. Онъ не менѣе Ковалевскаго умѣлъ снимать пѣнки съ правительства, не переставая его бранить. Доилъ онъ казенную корову гораздо удачнѣе настоящихъ, получая отъ министерства государственныхъ имуществъ жирную мзду, позволявшую ему вести на казенный счетъ молочное хозяйство въ селѣ Едимоновѣ съ изряднымъ убыткомъ. Онъ мнѣ самъ признавался, что каждое лишнее ведро молока обходится ему по 4 копейки чистаго минуса, благодаря черезчуръ уже прихотливому кормленію. Едимоновское хозяйство было однимъ изъ тѣхъ, которыя просятся на выставку въ качествѣ примѣра, недостойнаго подражанія. Была у него, впрочемъ, и другая задача, — воспитывать на счетъ правительства юныхъ революціонеровъ обоего пола, поступавшихъ затѣмъ въ разныя имѣнія въ качествѣ «дѣятелей» по скотскому дѣлу или въ качествѣ интеллигентныхъ молочницъ.

Отъ такихъ общественныхъ явленій, — какъ В. И. Ковалевскій и Н. В. Верещагинъ, хочу отдохнуть, припомнивъ одного, въ самомъ дѣлѣ, высоко достойнаго человѣка, тоже причастнаго къ нашимъ лѣвымъ, но во время опомнившагося,—Леона Николаевича Шишкова. Вся его жизнь шла двумя колеями: онъ былъ одновременно уѣзднымъ предводителемъ и профессоромъ химіи, что совпадаетъ очень рѣдко. Предводитель былъ онъ, какъ говорятъ, очень хорошій; но читая лекціи въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ, придерживался моднаго взгляда на природу, какъ на безусловную лабораторію, въ которой дѣйствуютъ одни физико-химическіе процессы. Органи-

ческаго міра, другими словами, Леонъ Николаевичъ не признавалъ, а міра духовнаго и подавно. Все это я слышалъ не отъ постороннихъ, а изъ его собственныхъ устъ. Когда я съ нимъ познакомился въ концѣ 80-ыхъ годовъ, Шишковъ былъ уже однако совершенно инымъ человѣкомъ,—вѣрующимъ христіаниномъ и консерваторомъ въ политикѣ. Онъ занималъ тогда должность эксперта по химіи въ министерствѣ финансовъ. Но захоти онъ только, Леонъ Николаевичъ могъ подняться гораздо выше. Слышалъ, что когда А. С. Ермоловъ былъ назначенъ первымъ русскимъ министромъ земледѣлія, онъ прежде всего обратился къ Леону Николаевичу, предлагая тому постъ его товарища. Но Леонъ Николаевичъ отказался. Онъ хотѣлъ тогда одного только — мирно закончить жизнь въ родномъ углу, готовясь къ близкой, какъ онъ думалъ, кончинѣ. Своимъ обращеніемъ въ христіанство Шишковъ, какъ онъ самъ мнѣ передавалъ, былъ обязанъ настоящему чуду. Будучи еще не вѣрующимъ, онъ заболѣлъ острымъ воспаленіемъ легкихъ. Разъ, укладываясь спать онъ горячо помолился, но слова его молитвы не были еще словами христіанскими. «Если ты существуешь», говорилъ онъ, «Ты всемогущъ; а коли такъ, приди ко мнѣ на помощь, дабы я могъ увѣровать. Клянусь быть Твоимъ вѣрнымъ рабомъ, если получу исцѣленіе». Исцѣленіе онъ получилъ, — получилъ уже на другое утро. И наканунѣ, еще колебавшійся, онъ сталъ пламеннымъ христіаниномъ. Вѣроятно, онъ былъ уже имъ тогда, когда обращался къ Господу съ своей почти кощунственной съ виду молитвой. Внутри переломъ, должно быть, совершился, но

выражаться по настоящему его свѣтлая вѣра еще не могла.

Совершенно въ иной міръ переноситъ меня другой хорошій человѣкъ, съ которымъ я тоже познакомился въ послѣдніе годы его жизни. Это былъ Михаилъ Альбертовичъ Кавосъ, отпрыскъ извѣстной итальянской семьи, первый представитель, который принималъ видное участіе въ постройкѣ Исаакіевскаго собора. Михаилъ Альбертовичъ, совсѣмъ ужъ обрусѣлый, еще съ молодости былъ друженъ съ двумя моими близкими пріятелями—съ Соломономъ Мартыновымъ и съ Николаемъ Алексѣевичемъ Хвостовымъ. Особыхъ доблестей за нимъ не водилось, даже умъ его, склонный къ забавной шуткѣ, былъ почти заурядным; зато культурой онъ отличался необычайной: онъ не только все прочелъ, что было выдающагося въ любой литературѣ; искусство, поэзія вошли ему въ плоть и кровь, придавъ ему тотъ оттѣнокъ высокой гуманности, безъ которой настоящаго образованія не бываетъ. Считалъ онъ себя добросовѣстно радикаломъ; но думаю, радикализмъ его ничего общаго не имѣлъ съ нашими освободителями. Въ жизни это былъ самый мягкій человѣкъ, всегда готовый услужить и принести пользу. Онъ любилъ говаривать: „J'aime les idées radicales et le savon". Хотѣлось ему отвѣтить, что онъ одновременно любитъ и мыло и тѣхъ, которые мало имъ пользуются. Но возраженіе замирало на губахъ: Кавосъ любилъ мыло, въ томъ числѣ и духовное, практически, а радикализмъ только въ теоріи.

Въ то время представителемъ Франціи въ Пе-

тербургѣ былъ старинный мой знакомый, г-нъ Лабулэ, сынъ извѣстнаго автора „Paris en Amérique“. Его отецъ прославился нѣкогда оппозиціей Наполеону III. Но съ тѣхъ поръ, какъ радикалы стали почти у кормила, оппозиція его перемѣстилась. Всякій гнетъ ему былъ ненавистенъ, и въ сенатѣ онъ даже подалъ голосъ противъ ст. VII законопроекта Жюля Ферри, противъ монашескихъ орденовъ. Бѣдный Лабулэ при всемъ своемъ умѣ не догадывался, что бороться съ фанатизмомъ посредственности можно только, придерживаясь знамени, вокругъ котораго собираются всѣ народные верхи, все создаваемое историческимъ и умственнымъ подборомъ. Сынъ его, посолъ, былъ человѣкомъ совершенно хорошаго общества и самъ въ высшей степени порядочный. Имъ было положено основаніе франко-русскому союзу. Не достовало ему бездѣлицы — положительныхъ идеаловъ въ политикѣ. Когда я у него разъ спросилъ: «Отчего же вы и вамъ подобные не присоединяетесь по просту къ правымъ? Вы и они — люди совершенно одинаковаго склада»,

— Оттого, что правые, отвѣчалъ онъ,—не могутъ отрѣшиться отъ своего культа отцвѣтшей династіи. А согласитесь, что сдѣлать монархію безъ монарха— довольно трудно...

Я вспомнилъ своего лондонскаго знакомаго Флоріана, и невольно согласился съ Лабулэ. Но въ то же время я сказалъ себѣ, что люди такъ называемаго лѣваго центра, безупречные либералы-теоретики, живутъ въ искусственномъ дестилированномъ воздухѣ, откуда изгнаны, правда, всѣ микробы,

но въ которомъ не дышется настоящей дѣйствительностью.

Поль де Лабулэ, такъ звали посла — приводитъ мнѣ невольно на память безпутнаго, но высоко—талантливаго юношу, съ которымъ мы тогда познакомились. Это былъ сынъ Антона Рубинштейна — Яша. Тогда еще почти мальчикъ, только что выпущенный изъ лицея, онъ отличался въ одинаковой мѣрѣ и прирожденной талантливостью и прирожденнымъ вкусомъ къ бездѣльничанью. Еще въ лицеѣ онъ римское право охотно замѣнялъ кутежемъ. Но одного съ него кутежъ не въ состояніи былъ смыть—глубоко артистическаго склада природы. Это сказывалось не только въ наслѣдственной музыкальности — у него былъ очень хорошій, хоть и слегка уже подорванный басъ — но въ открытой веселой обаятельности всей его натуры. Оттого всѣ его и любили, какъ всегда любятъ милыхъ повѣсъ. Къ сожалѣнію, какъ всегда дѣлаютъ повѣсы, онъ свой наслѣдственный талантъ размѣнялъ не только на мелочь, но впрямь на мѣдные гроши. Онъ занимался устройствомъ цыганскихъ хоровъ среди общества. Сперва у г-жи Юрьевичъ, превратившейся, благодаря ему, въ первоклассную цыганку, а потомъ и у насъ. А вспомнился онъ мнѣ по поводу г-на Лабулэ вотъ по какому случаю. Лабулэ, присутствовавшій на маленькомъ концертѣ у насъ, пришелъ отъ цыганскаго пѣнія, котораго не слышалъ никогда, въ необыкновенный восторгъ, восторгъ совсѣмъ не подходившій къ его сдержаннымъ, хотя и очень любезнымъ пріемамъ.

«А надо признаться», сказаль онъ мнѣ, «что въ

этой дикой музыкѣ есть что-то необыкновенно увлекательное». Слышалъ онъ однако лишь поддѣльныхъ цыганъ! Да и поддѣльная была сама дикость пѣнія: большинство цыганскихъ романсовъ — вѣдь ничто иное, какъ штраусовскіе вальсы.

Бѣдный Яша Рубинштейнъ, милѣйшій толстякъ, совсѣмъ не напоминавшій своего знаменитаго отца ни по наружности, ни по нраву, быстро отцвѣлъ, не развернувшись даже по настоящему. Нѣсколько лѣтъ спустя, въ началѣ 90-ыхъ годовъ, я его видѣлъ часто. Онъ заходилъ къ намъ по вечерамъ, участвуя въ спѣвкахъ на устраиваемые моей сестрой благотворительные концерты и всегда готовъ былъ пѣть въ какомъ нибудь квартетѣ даже съ незнакомыми ему людьми, или пѣть вдвоемъ какой нибудь оперный финалъ, требовавшій многихъ голосовъ. Потомъ я на нѣкоторое время потерялъ его изъ вида, а затѣмъ узналъ, что сперва сумасшествіе наложило на него свою тяжелую руку, а вскорѣ и вполнѣ угасла его недолгая жизнь. Не шелъ къ нему этотъ трагическій конецъ; зловѣщая печать не лежала на его всегда открытой натурѣ и смерть его унесла, должно быть, по ошибкѣ.

Быть можетъ, самыми интересными минутами въ своей опустѣлой жизни, съ конца 80-ыхъ годовъ, я былъ обязанъ тремъ выдающимся по уму женщинамъ, часто къ намъ заѣзжавшимъ. Первая была моя старинная знакомая А. А. Воейкова, теперь очень съ нами подружившаяся, другая—графиня С. А. Толстая, вдова поэта, третья—носившая одну съ ней фамилію графиня А. А. Толстая, бывшая воспитательница великой княгини Маріи Алексан-

дровны. Александра Александровна Воейкова была все такъ-же остроумна и еще болѣе начитана чѣмъ 20 лѣтъ назадъ. Года ее сдѣлали только мягче прежняго. Она разумѣется знала очень многое изъ совершенно недоступнаго для публики, благодаря умершей почти 10 лѣтъ назадъ, великой *княгинѣ Маріи Николаевнѣ*. Совсѣмъ не такъ гладко и счастливо сложилась жизнь покойной, особенно за послѣдніе годы, проведенные въ ея великолѣпной виллѣ, «Quarto» около Флоренціи, какъ представляли себѣ это многіе. Въ бытность свою въ столицѣ Тоскани въ 1880 году, я заглянулъ разъ въ «Quarto» откуда не только отлетѣлъ духъ его владѣтельницы, но, гдѣ не было уже и слѣда прежней роскошной обстановки, распроданной съ аукціона.

Необыкновенно грустно было глядѣть на эти голыя стѣны, долгія свидѣтельницы такой полной, такой съ виду блестящей жизни. Позволю себѣ передать на счетъ этой жизни одинъ забавный анекдотъ: забавные анекдоты пересказывать можно. Разъ великая княгиня была за завтракомъ съ своими приближенными, какъ ей доложили о пріѣздѣ лорда Клода Гамельтона, приходившагося ей довольно дальнимъ, впрочемъ, свойственникомъ по его матери, герцогинѣ Гамельтонъ, одной изъ дочерей принцессы Стефаніи Баденской. Принцесса была, какъ извѣстно, близкой родственницей перваго мужа великой княгини, герцога Лейхтенбергскаго. По странному случаю великая княгиня никогда не видала своего дальняго племянника, слывшаго однимъ изъ самыхъ элегантныхъ, но и самыхъ безпутныхъ щеголей Лондона.

— Я увѣрена, произнесла великая княгиня,— что онъ пріѣхалъ сюда, чтобы у меня призанять денегъ, хотя меня никогда не видалъ.

Но занимать что либо лордъ Клодъ и не думалъ. Онъ былъ неистощимо забавенъ, одѣтъ съ иголочки и всѣхъ привелъ въ восторгъ своей любезностью. Каково-же было негодованіе великой княгини, когда на другой день она узнала, что мнимый лордъ былъ попросту камердинеромъ Гамельтона, обокравшимъ своего господина и уѣхавшимъ не только съ его гардеробами, но и съ безчисленными анекдотами объ англійской знати которые ему украдкой довелось слышать!?

Графиня Александра Андреевна Толстая находилась въ самыхъ пріятельскихъ отношеніяхъ съ Александрой Александровной Воейковой. Онѣ очень мало походили другъ на друга, что нисколько не мѣшало ихъ взаимной, искренней дружбы. Насколько придворная атмосфера привилась къ А. А. Воейковой, такъ что она носила ее повсюду съ собой, настолько эта атмосфера не чувствовалась вовсе у графини, хотя вся ея жизнь протекла при дворѣ и связывала ее съ царской семьей самая теплая, самая близкая привязанность. Она и знала очень многое, про что простые смертные и не догадывались; а между тѣмъ мнѣ отъ нея не пришлось услышать ни одного анекдота, ни малѣйшаго забавнаго воспоминанія, связаннаго съ долгими годами, проведенными въ непосредственномъ общеніи съ Зимнимъ Дворцомъ. Анекдотовъ графиня Александра Андреевна не любила вообще разсказывать и ни одного остраго словца, какими сыпала г-жа

Воейкова, я отъ графини не слыхалъ. Это не мѣшало ей быть высокообразованной и очень умной женщиной. Но умъ направленъ былъ у нея совсѣмъ въ другую сторону. Ее занимали религіозные вопросы и вопросы нравственнаго воспитанія. У нее, казалось, была всегдашняя готовность каждому, по мѣрѣ возможности, подарить свое расположеніе. И нельзя было съ нею встрѣтиться, не полюбивъ ее. Свѣтлой добротой отъ нея такъ и вѣяло.

Ничего подобнаго разумѣется, объ остроумной вдовѣ графа Алексѣя Константиновича сказать нельзя. Это была высоко артистическая натура, но совершенно иного склада, чѣмъ привѣтливый нравъ ея знаменитаго мужа. Съ ней всегда надо было оставаться насторожѣ. Она подмѣчала малѣйшую душевную складку, проникала въ самые тайники не высказанныхъ чувствъ и мыслей. На этотъ счетъ дальнозоркость у нея была удивительная. Не мудрено, что разговоръ съ ней доставлялъ совсѣмъ особое, нѣсколько острое удовольствіе. Всѣ ея сужденія были до того мѣтки, что раскрывали сразу въ каждомъ предметѣ, котораго она касалась, совершенно негаданныя черты. До самаго своего отъѣзда въ Лиссабонъ, куда она сопровождала Хитровыхъ, когда Михаилъ Александровичъ былъ назначенъ туда посланникомъ, она дарила меня довольно часто свободнымъ вечеромъ, и невольно ощущалось, разговаривая съ ней, что она будто вѣрнѣе, тоньше настраиваетъ своего собесѣдника, подобно музыканту, въ совершенствѣ настраивающаго свою скрипку.

Но безспорно самый замѣчательной женщиной, съ которой мнѣ приходилось тогда видаться, была, не

смотря на свой 80 слишкомъ лѣтъ, извѣстная Аврора Карловна Карамзина. Она все похоронила въ жизни, и горячо любимаго мужа, и сравнительно недавно скончавшагося сына. И жизнь ея все-таки не казалась опустѣлой, а бодрость ея дѣятельной души нисколько не пострадала отъ лѣтъ. Ея семья расширилась—вотъ и все, не только отъ того, что она становилась матерью для всѣхъ своихъ многочисленныхъ племянницъ, но и потому тоже, что дѣлать добро было для нея потребностью. И добро это не ограничивалось, какъ у многихъ, простою щедростью—такая щедрость была бы ей не по силамъ—такъ какъ все огромное богатство, унаслѣдованное отъ перваго мужа, Демидова, она отдала сыну: роскошный ея домъ по Морской былъ проданъ. Она уединилась въ своей виллѣ близь Гельсингфорса, хозяйничала умѣло въ своемъ маленькомъ имѣніи Трескендѣ, а когда ея вилла въ одну зимнюю ночь сгорѣла со многими хранившимися тамъ дорогими воспоминаніями, избалованная женщина до самой смерти скромно ограничивалась небольшимъ уцѣлѣвшимъ флигелькомъ. Съ годами нравъ ея не измѣнялся ничуть. Сестра видѣлась съ нею въ Гельсингфорсѣ уже въ половинѣ 90-ыхъ годовъ, когда ей тоже, какъ и девятнадцатому вѣку, минуло 90. Она оставалась такою же свѣтлою, тѣмъ духовнымъ, не померкающимъ внутреннимъ свѣтомъ, который всегда сказывается и во внѣшности. Ни одного горькаго чувства, ни одного язвительнаго слова. А между тѣмъ нѣсколько разъ уже тяжелое горе обрушивалось на эту знаменитую прежде красавицу, воспѣтую Пушкинымъ, на этотъ кумиръ Петербургскаго свѣта еще

въ эпоху Николая Павловича. Ея, теперь уже ограниченныя средства, не позволяли Аврорѣ Карловнѣ проживать въ Петербургѣ, куда она наѣзжала лишь мелькомъ, сохранивъ до конца свои близкія отношенія къ царскому семейству. Она была женщина глубоко религіозная—иные называли ее піэтисткой—но это названіе къ ней не шло; до того мягкою примирительною, полною снисхожденія, оставалась всегда ея теплая вѣра.

Глава XIII-я.

Знакомство съ кн. С. С. Абамелекъ-Лазаревымъ; характеръ его ума.—Мои литературныя работы и причины ихъ неуспѣха.—Поѣздка въ Грацъ.—М. П. Іонина.—Боркинская катастрофа.—Еще объ И. А. Вышнеградскомъ.—Введеніе земскихъ начальниковъ.—Характеристика реформы.

Кончина А. Д. Баратынской послужила мнѣ поводомъ познакомиться съ ея племянникомъ, княземъ С. С. Абамелекъ-Лазаревымъ. Мнѣ захотѣлось послать въ «Новое Время» нѣсколько теплыхъ словъ въ память покойной, и свою замѣтку о ней я отправилъ для просмотра къ ея родственникамъ. Абамелекъ сдѣлалъ нѣсколько дополненій къ тому, что я сказалъ о его теткѣ. Мы разговорились, и съ тѣхъ поръ онъ сталъ меня изрѣдка посѣщать, не смотря на разницу въ нашихъ лѣтахъ. Складъ ума былъ у него очень своеобразный съ природнымъ наклономъ въ сторону скептицизма, но спектицизма не антирелигіознаго, какъ водится, а скорѣе антинаучнаго. Готовность поглумиться надъ самодовольной ученостью входила тогда въ моду. Отрицательное направленіе совершило полный циклъ и, какъ обыкновенно бываетъ со всѣми направленіями, стало отрицать свою

первооснову. Сперва готовое у всѣхъ людей черезчуръ высоко цѣнить положительное знаніе, оно мало по малу пришло къ сомнѣнію насчетъ самой этой положительности. Позитивизмъ и вѣра въ результатѣ опыта только раздвинули неразрѣшимый вопросъ, и дали заглянуть въ такую бездну, гдѣ стала кружиться голова. Никакихъ окончательныхъ рѣшеній основной загадки вселенной положительная наука не дала. За то, не смотря на всю свою точность, она принялась выдавать за нѣчто вполнѣ усвоенное разумомъ такія гадательныя данныя, такія недоступныя изслѣдованію величины, что позитивизмъ почти ничѣмъ не отличался отъ стариннаго метафизическаго метода. Эту несостоятельность мнимоточныхъ выводовъ Абамалекъ и любилъ подчеркивать. Не знаю, было ли это съ его стороны твердое убѣжденіе въ мишурности добытыхъ наукой фактовъ, или скорѣе природная наклонность къ насмѣшливой софистикѣ. Во всякомъ случаѣ иронія выходила забавной, а подчасъ и довольно глубокой. Скучною бесѣда съ Абамелекомъ не бывала никогда.

Мое здоровье между тѣмъ шло все подъ гору, оттого можетъ быть, что я заработался, увлекшись вторымъ моимъ большимъ романомъ „Молодежь“. Романъ встрѣченъ былъ читателями почти хорошо, хотя по успѣху онъ уступалъ своему старшему брату, роману „Внѣ колеи“. Не могу сказать, чтобы литературныя мои работы сплели мнѣ особенно замѣтный лавровый вѣнокъ. Скорѣе даже совсѣмъ наоборотъ. Недоброжелателей было у меня непочатый уголъ, и, страннымъ образомъ, было ихъ почти не менѣе въ охранительномъ лагерѣ, чѣмъ въ пе-

редовомъ. Строгимъ націоналистомъ—обрусителемъ я никогда не былъ, и православіе, обращенное въ политическое орудіе, мнѣ претило. Претили мнѣ правда еще больше космополитическое безразличіе и восхваленіе посредственности, — эти двѣ краеугольныя слабости нашихъ такъ называемыхъ либераловъ. Но собственно ни къ тому, ни къ другому лагерю я всецѣло пристать не могъ и ни одна партія меня вполнѣ своимъ не признавала. Не мудрено, что успѣха не оказывалось. Но, помимо успѣха, было нѣчто другое, что мнѣ давали литературныя занятія—утѣшеніе въ моей болѣзни, безъ котораго мнѣ трудно было бы ее перенесть. И за то спасибо.

Осенью 1888 года мнѣ довелось лишній разъ съѣздить въ Австрію. Звала меня туда усиленно М. П. Іонина. Когда Александра Семеновича, назначили посланникомъ въ Буэносъ-Айресъ, онъ провелъ тамъ съ женой одну зиму, а на слѣдующій годъ пріобрѣлъ для нея виллу въ Грацѣ, гдѣ у Іониныхъ были хорошіе знакомые. Нельзя сказать, чтобы красавицѣ Маринѣ Павловнѣ,—такъ звали супругу Александра Семеновича,—было въ Грацѣ особенно весело. Въ 20, съ небольшимъ лѣтъ, обаятельной молодой женщинѣ одного чистаго горнаго воздуха среди живописной природы нѣсколько маловато. Грацкіе хорошіе знакомые были тоже не изъ особенно забавныхъ. На ея всегда открытомъ, веселомъ нравѣ это, однако, не сказывалось нисколько. Пока мужъ, у котораго въ столицѣ Аргентины дѣла было не много, объѣзжалъ Южную Америку, не съ политическими цѣлями, а болѣе изъ любознатель-

ности, его жена въ скромной столицѣ Штиріи тоже была вынуждена удовлетворяться однимъ лицезрѣніемъ альпійской природы. Осенью 1888 года она звала насъ туда пріѣхать, увѣряя, что въ Грацѣ и климатъ необыкновенный и врачъ талантливый, умѣющій этотъ климатъ использовать для своихъ паціентовъ. Какъ водится, похвалы, расточавшіяся Грацкому эскулапу—это былъ извѣстный профессоръ Краффтъ-Эбингъ — оказались преувеличенными. Это былъ кудесникъ собственно по части душевныхъ болѣзней, и мнѣ онъ принесъ скорѣе вредъ, какъ почти всѣ врачи меня пользовавшіе. Но климатъ оказался дѣйствительно чудеснымъ. Засталъ я въ Грацѣ въ концѣ сентября совсѣмъ лѣтнюю погоду. На другой день наскочила туча и на цѣлую недѣлю разверзлись небеса, какъ во дни Ноевы. За то послѣ наступило нѣчто удивительное. Рано утромъ крошечные, залитые солнцемъ заморозки, потомъ теплѣло и къ полудню градусовъ 15, 16. Длилось это до заката солнца. Потомъ, какъ вездѣ на югѣ, термометръ быстро принимался падать. Грацъ, лежащій по ту сторону Замеринга, по настоящему уже первая съ сѣвера чисто итальянская станція въ горной Австріи. Какъ на подлинномъ югѣ, ночной холодъ смѣняется тамъ дневнымъ теплomъ, и контрастъ, однако, почти не ощутителенъ, потому что и рано утромъ, когда едва оттаяло, можно выходить на улицу въ одномъ сюртукѣ,—до того чистъ неподвижный воздухъ, и согрѣваетъ южное солнце. Здѣсь собственно я хорошо познакомился съ г-жей Іониной. Ея родители принадлежали къ одной изъ вѣтвей семьи Нѣгушъ, нахо-

дившейся въ разладѣ съ управляющей черногорской династіей. Вынужденные бѣжать изъ родины, они воспитали дочь въ Далматинскомъ монастырѣ около Рагузы, и юная черногорка вышла оттуда полукатоличкой, съ запасомъ образованія, который доразвили европейскія столицы. О ея наружности я зналъ только по наслышкѣ. Помню, какъ разъ на вечерѣ у матушки, М. Н. Галкинъ-Врасскій, только что разговаривавшій съ Мариной Павловной, пожалъ мнѣ руку и убѣжденно шепнулъ: «Стоитъ Маринѣ Павловнѣ улыбнуться, немного стиснувъ при этомъ зубы, да пристально взглянувъ на собесѣдника—и морозъ пробѣгаетъ по спинѣ». Но про одно я могъ узнать не по наслышкѣ только—про обворожительность гибкаго ума молодой женщины, съ которой я видѣлся почти каждый день, пока мы жили въ Грацѣ.

Наступленіе ноябрьскихъ холодовъ меня вернуло въ Россію, гдѣ, кажется, всего легче переносятся зимніе морозы. Пока я оставался въ Грацѣ, произошла извѣстная Боркинская катастрофа, такъ чудесно-счастливо закончившаяся для царской семьи и для цѣлой Россіи. Не могъ я при этомъ не замѣтить одного: сквозь далеко не всегда сочувственныя намъ статьи иностранной прессы просвѣчивала однако всеобщая симпатія къ личности государя и радость по случаю его избавленія. Александръ III, не смотря на строго націоналистическую окраску своей политики, нашелъ въ Европѣ и довѣріе и уваженіе къ себѣ—я почти бы могъ сказать любовь. Онъ былъ Царемъ Миротворцемъ не на бумагѣ только, и сумѣлъ перевести международный центръ

тяжести въ Петербургѣ, не внушая однако никому опасеній. Въ одномъ смыслѣ только Борки и все путешествіе царской семьи на югъ оказались въ дѣйствительности гибельными: во время этой поѣздки С. Ю. Витте удалось произвести на Государя чрезчуръ выгодное впечатлѣніе и подготовить почву къ будущей своей диктатурѣ. Зловѣщее свѣтило, ошибочно принятое за солнце, всходило такимъ образомъ надъ Россіей. А между тѣмъ, какъ разъ въ зиму 1888—89 года, И. А. Вышнеградскій достигъ своего апогея. Поразительное умѣніе благополучно вести финансовое жонглерство и достигать бюджетнаго богатства, если и не національнаго, все ярче обезпечивали за нимъ популярность. Да и стоитъ сравнить его немного узкую, чисто бухгалтерскую, но все же разумную политику съ головокружительными экспериментами его преемника, чтобы вполнѣ убѣдиться въ несомнѣнномъ его превосходствѣ надъ послѣднимъ.

Лѣто 1889 года увидало, наконецъ, мѣстную реформу осуществленною послѣ семилѣтняго обсужденія. Нельзя сказать, чтобы это обсужденіе пошло ей на пользу. Земскіе начальники появились на свѣтъ съ заранѣе установившейся дурной репутаціей. Предугадывали, что они сдѣлаются низкопоклонниками губернаторскихъ канцелярій, и многіе, вполнѣ годные элементы, отстранились вслѣдствіе того отъ новой должности. Примѣръ Елецкаго уѣзда, гдѣ первый составъ земскихъ начальниковъ былъ по истинѣ блестящъ, нашелъ себѣ мало подражателей. Провинціальная молодежь, которой всего естественнѣе было бы пополнить собою личный со-

ставъ новыхъ судей—администраторовъ, осталась лишь въ меньшинствѣ. Того, что напророчили и пресса и всякаго рода зловѣщіе предсказатели, вовсе однако не случилось. Ни особаго заискиванія передъ администраціей, ни особаго зла отъ соединенія въ одномъ лицѣ контроля надъ крестьянскимъ самоуправленіемъ и мѣстной судебной власти, въ дѣйствительности не оказалось. Нельзя сказать, чтобы особенно часты были и случаи обвиненій земскихъ начальниковъ въ произволѣ. Въ печати очень часто повторялось, что смѣшеніе двухъ разнородныхъ функцій будетъ имѣть непремѣннымъ послѣдствіемъ преобладаніе административной точки зрѣнія надъ судебною, словомъ господство усмотрѣнія и произвола. Но оправдалось это сравнительно въ рѣдкихъ случаяхъ. Великая тѣнь Монтескье правда могла обидѣться несоблюденіемъ одного изъ руководящихъ принциповъ его книги. Но что дѣлать? Въ мелочной лавочкѣ уѣзднаго города поневолѣ должны продаваться товары самые разнообразные, - конфеты и папиросы, сапожная вакса и дамскіе ботинки. Даже въ богоспасаемомъ городѣ Кіевѣ была открыта продажа „хомутовъ и другихъ съѣстныхъ припасовъ“. Но все это необходимыя послѣдствія недостатка въ свободныхъ капиталахъ, не позволяющаго открывать лавки на всякую спеціальность и недостатка въ покупателяхъ, дѣлающаго барыши торговца очень сомнительными. На низшей инстанціи судъ и администрацію приходилось соединять въ одномъ лицѣ, потому главнымъ образомъ, что мѣстный персоналъ былъ слишкомъ малочисленъ для двухъ параллельныхъ должностей.

И то пришлось на практикѣ отказаться отъ условій, поставленныхъ закономъ 10-го іюля 1889 года для занятія должности земскаго начальника. Ни владѣніе земельной собственностью въ данномъ уѣздѣ, ни принадлежность къ дворянству, ни цензъ по образованію не сохранили безусловной обязательности. Въ концѣ концовъ губернаторамъ предоставлено было, въ случаѣ нужды,—а нужда эта повторялась часто—назначать земскихъ начальниковъ изъ такихъ лицъ, которыя всѣмъ этимъ условіямъ не отвѣчали. Вслѣдствіе этого почти четверть общаго состава земскихъ начальниковъ набиралось изъ военныхъ, вынужденныхъ искать отхожаго промысла, гдѣ можно было обходиться безъ образованія, даже средняго. Для этихъ людей новый институтъ сталъ манной небесной, и ради нихъ этотъ институтъ былъ почти съ самого начала искаженъ. Приходилось отступиться отъ основной идеи, согласно которой мѣстную службу должны были отправлять мѣстные люди. По всей вѣроятности подавляющее большинство случаевъ, гдѣ наблюдалось превышеніе власти, и гдѣ прямо былъ нарушенъ законъ, относилось именно къ земскимъ начальникамъ со стороны, не обремененнымъ юридическими познаніями, но зато страждущимъ отъ безденежья. Впрочемъ, когда рѣчь идетъ о личномъ составѣ въ двѣ тысячи человѣкъ, никакія обобщенія не возможны. Никто, конечно, не можетъ похвалиться, что имъ произведенъ вѣрный подсчетъ хорошимъ и плохимъ земскимъ начальникамъ. Даже въ земскомъ отдѣлѣ едва ли такой подсчетъ не ведется лишь формально.

Все это, конечно, очень жаль. Въ подражаніе прусскимъ ландратамъ и англійскимъ мировымъ судьямъ, это подражаніе не было осуществлено. Отчасти, конечно, по винѣ тѣхъ случилось это, которые отъ новой должности уклонялись. Къ такой бѣдѣ присоединились двѣ другія. Чтобы сохранить вѣдомственное единство при двойственной дѣятельности земскихъ начальниковъ, аппелляціонная инстанція и для судебныхъ дѣлъ была не чисто судебнаго свойства и, въ концѣ концовъ, истцы и отвѣтчики принуждены были искать высшей справедливости у чиновниковъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Въ то же время у самого населенія было отнято орудіе, позволявшее ему прежде отдѣлываться отъ непригодныхъ мировыхъ судей: черезъ каждое трехлѣтіе эти судьи подвергались переизбранію. Теперь, наоборотъ, населеніе никакъ не могло избавиться отъ непригоднаго земскаго начальника. Плохой исполнитель новой должности, производящій шемякинъ судъ, могъ неопредѣленное время просидѣть на шеѣ у мѣстныхъ обывателей. Опасались, какъ бы новыя должностныя лица не попали подъ команду чиновниковъ особыхъ порученій и не слетали съ мѣста по ихъ капризу. А въ дѣйствительности, губернаторы охотно уклонялись отъ непріятнаго контроля за ними и давали имъ сидѣть на мѣстѣ до послѣдней крайности. Но въ концѣ концовъ, если бы все лучшее изъ уѣздной молодежи, по крайней мѣрѣ въ чисто земледѣльческой полосѣ, заняло мѣста земскихъ начальниковъ, едва ли пришлось бы на вновь учрежденную должность особенно сѣтовать. Нельзя даже сказать, чтобы новый персоналъ повсюду разнился

отъ прежняго личнаго состава мировыхъ судей. Мнѣ извѣстенъ уѣздъ—nomina sunt odiosa—гдѣ всѣ первые земскіе начальники оказались бывшими мировыми судьями. И какъ разъ въ этомъ уѣздѣ всѣ четверо земскихъ начальниковъ оставляли желать многаго. Совсѣмъ не основателенъ и теоретическій упрекъ, часто дѣлавшійся закону 10-го іюля,—упрекъ, будто надзоръ за сельскими сходами тяжело стѣснялъ крестьянское самоуправленіе. Такъ говорить это можно людямъ, видящимъ въ самоуправленіи какой-то безупречный идеалъ и потому воображающимъ, что ошибаться сельскій сходъ не можетъ, поелику въ немъ содержится кладезь мудрости. На самомъ дѣлѣ, этотъ кладезь,—увы! - очень доступенъ убѣдительному краснорѣчію зелена - вина. Не рѣдки случаи по-истинѣ невѣроятныхъ постановленій схода, гдѣ попирается не только писанный законъ, но здравый смыслъ и, главное, существенныя права частныхъ лицъ. Либералы-доктринеры сплошь и рядомъ воображаютъ, что стоятъ за автономію сходовъ, не подозрѣвая, что отъ этой автономіи солоно приходится зависящимъ отъ нея людямъ. Изъ-за самоуправленія эти господа не видятъ самоуправляемыхъ.

Глава XIV.

Кончина моей матери.—С. П. Хитрово и ея мужъ Михаилъ Александровичъ.- Отставка кн. Бисмарка.—Религіозныя собесѣдованія у насъ.—Отецъ Алексѣй Колоколовъ и Георгіевская община.—Графиня Е. Н. Гейденъ.—Наша Финляндская политика.

Между тѣмъ на меня незамѣтно надвигалось самое тяжкое горе моей жизни. Здоровье матушки становилось плохимъ,—сердце у нея было не въ порядкѣ, и сильныя дозы фенацетина, какія прописывалъ ей Краффтъ-Эбингъ, не способствовали его укрѣпленію. А я все не замѣчалъ учащавшихся грозныхъ симптомовъ. Такъ оно часто, впрочемъ, бываетъ: что должно бы колоть глаза, порою у самыхъ близкихъ не расшевеливаетъ даже подозрѣнія. Вечеромъ 20-го декабря не встревожило меня даже то, что матушка на нѣсколько минутъ какъ бы лишилась языка. Мною самимъ въ этотъ вечеръ завладѣли сильнѣйшія боли въ ногахъ, отнимавшія у меня способность за чѣмъ-либо наблюдать. И когда меня сносили внизъ по лѣстницѣ, я невольно стоналъ отъ страданій и не разслышалъ, какъ матушка сказала мнѣ вслѣдъ, нашему старому буфетчику:

— Не перенесу я этого, не перенесу... И

не перенесла она этого въ самомъ дѣлѣ. Когда на слѣдующее утро я проснулся, радуясь, что боли меня оставили, ее уже не было въ живыхъ. Беззаботно я допилъ свой чай у себя—мы обыкновенно пили его вмѣстѣ,—почти весело отправился прогуляться по Лѣтнему саду, и упорное невѣдѣніе меня не покидало. Не понялъ я даже истины, найдя въ своемъ кабинетѣ двоюроднаго брата, за которымъ послали, и нашего домашняго врача, доктора Шершевскаго. Надо было пройти черезъ весь мучительный процессъ обычной подготовки, подготовки тѣмъ болѣе для меня непонятной, что пользуя мать, Шершевскій не переставалъ твердить, будто настоящей опасности нѣтъ. И вотъ... Она лежала уже на столѣ въ гостинной и никакого „прости", никакого материнскаго благословенія. Да и не одинъ изъ насъ четырехъ, кромѣ сестры, такого благословенія не удостоился: оба брата были въ отсутствіи — одинъ на Орловскихъ выборахъ, другой на Тверскихъ. И пошли, какъ всегда, со стороны близкихъ обычные толки, какъ неожиданна была стрясшаяся надъ семьей бѣда, какъ недавно еще, наканунѣ... Не подозрѣвали даже твердившіе эти мнимыя утѣшенія, какъ больно отъ нихъ приходилось! Близкіе въ такія минуты и не догадываются, какъ далека ихъ скорбь отъ празднаго оффиціальнаго любопытства постороннихъ, которые думаютъ про себя, что сдѣлали очень, очень много, почтивъ усопшаго мимолетнымъ, большей частью равнодушнымъ прощаніемъ.

Въ эту печальную зиму я особенно сблизился съ кузиной Хитрово и, благодаря ей, сблизился

тоже съ человѣкомъ, занявшимъ видное мѣсто въ моей жизни за все слѣдующее десятилѣтіе, съ Владиміромъ Соловьевымъ. Но объ этомъ послѣ. Скажу только пока, что никто изъ моихъ друзей не доставлялъ мнѣ такого умственнаго удовольствія, какъ Софія Петровна Хитрово, съ которой видѣлся я тогда часто, до самаго ея отъѣзда въ Португалію. У ея мужа установилась репутація, что куда бы онъ ни поѣхалъ въ качествѣ представителя Россіи, сейчасъ же заводилась смута: такъ было и въ Болгаріи и въ Румыніи. Такъ повторилось и въ Португаліи. Не знаю только, бывало ли это по его винѣ или совершалось случайно. Не вызвалъ онъ лишь броженія на своемъ послѣднемъ посту—въ Японіи, гдѣ тогда еще о враждѣ къ Россіи не думали. Оттуда онъ вернулся только затѣмъ, чтобы скоропостижно скончаться на родинѣ.

Въ началѣ 1890 года произошла неожиданная катастрофа, подробности которой узнали только сравнительно недавно—шумный разрывъ между императоромъ Вильгельмомъ II и его канцлеромъ. Самъ императоръ намекалъ въ то время въ разговорѣ съ приближенными на какія-то причины размолвки,—причины, отъ которыхъ всѣ придутъ въ ужасъ, когда про нихъ узнаютъ. На самомъ дѣлѣ ничего ужаснаго въ поступкахъ желѣзнаго канцлера не было. Случилось то лишь, что психологически неизбѣжно должно было случиться. Князь Бисмаркъ слишкомъ привыкъ быть настоящимъ самодержцемъ Германіи, чтобы сумѣть преклониться передъ волей своего державнаго ученика, ставшаго его госуда-

ремъ. А молодой императоръ въ свою очередь чувствовалъ въ себѣ достаточно умѣнія и энергіи, чтобы принять на себя иниціативу власти. Эти два настроенія не могли рано или поздно не столкнуться. Парламентаризма въ Германіи не было. Настоящей германской конституціей былъ самъ канцлеръ, и ограниченіе власти императора, на самомъ дѣлѣ, заключалось въ немъ. Вильгельму II захотѣлось стряхнуть съ себя узду чужого генія и стать полновластнымъ руководителемъ Германіи. Недоразумѣнія постепенно накоплялись, и въ сущности безразлично, въ чемъ заключался непосредственный поводъ размолвки. Каждый день могъ принести съ собою такой поводъ. Въ виду образовавшейся противъ Бисмарка коалиціи свободомыслящихъ клерикаловъ и автономистовъ, не удивительно, что канцлеръ захотѣлъ отторгнуть отъ нея ту партію, которая всего легче могла сдѣлаться правительственной—католическій центръ, консервативный по самому своему темпераменту. Для этого надо было сдѣлать только еще одинъ шагъ на пути въ Каноссу. Этотъ путь уже пересталъ казаться страшнымъ для князя Бисмарка. Ему надоѣло безплодно бороться съ римской церковью. Онъ и вступилъ въ переговоры съ тогдашнимъ вождемъ клерикаловъ съ Виндтгорстомъ. Онъ не счелъ только нужнымъ до поры до времени свои виды представить на усмотрѣніе императора. Увѣряли впослѣдствіи,—мемуары кн. Гогенлоэ, это вполнѣ подтвердили—что между императоромъ и княземъ произошелъ обмѣнъ рѣзкихъ словъ, что даже одинъ изъ спорившихъ—не знали навѣрное, который именно,—

невольнымъ движеніемъ руки схватился за чернильницу, какъ бы желая ее швырнуть въ лицо другому. Никто не былъ свидѣтелемъ сцены между государемъ и его великимъ подданнымъ. Но оба они вѣроятно не сохранили въ тайнѣ происшедшаго. Каждый изъ нихъ придалъ столкновенію лишь нѣсколько особую окраску. Что Вильгельмъ II былъ не совсѣмъ правъ, видно изъ происшедшаго въ въ тотъ-же день объясненія между императрицей-матерью и княземъ. Императрица Викторія стала рѣшительно на сторону Бисмарка; если это и объясняется до нѣкоторой степени отсутствіемъ нѣжности къ сыну, за то и любовь императрицы къ Бисмарку была общеизвѣстнымъ фактомъ. Если императрица рѣзко осудила поступокъ Вильгельма II, то по всей вѣроятности его поведеніе этого заслуживало. Упоминаю про всю эту исторію, потому что она непосредственно отразилась на нашихъ отношеніяхъ къ Германіи. Не смотря на ѣдкія рѣчи князя въ рейхстагѣ, при немъ доброе согласіе наше съ сосѣдкой стояло тверже, чѣмъ при его преемникѣ. Графъ Каприви не захотѣлъ возобновлять тайнаго соглашенія съ Россіей и Бисмаркъ былъ вполнѣ правъ, утверждая, что такъ называемый «новый курсъ» привелъ къ опасному охлажденію съ Петербургомъ. Не смотря на неоднократныя свиданія между монархами, отставка Бисмарка совпадаетъ съ моментомъ, когда наша старинная дружба съ Берлинскимъ дворомъ потерпѣла рѣшительное крушеніе, непосредственнымъ послѣдствіемъ чего и былъ франко-русскій союзъ, противоестественный самъ по себѣ, но въ данномъ случаѣ вызванный необходимостью.

Постигшее насъ семейное горе побудило мою сестру въ зимніе мѣсяцы 1890 года устроить у насъ рядъ бесѣдъ на религіозныя темы. Приглашешены были читать нѣчто вродѣ лекцій наиболѣе выдающіяся представители Петербургскаго духовенства. Къ сожалѣнію, попытка сблизить пастырей съ пасомыми удалась лишь на половину. Собирались, правда, охотно высказывая полную готовность устранить картонную перегородку между духовенствомъ и мірянами. Но, какъ масло нельзя смѣшать съ водой, такъ приглашенные священники глядѣли букой на чуждое имъ общество, особенно на дамъ, и поддавались сліянію плохо. Имъ не удавалось попасть въ настоящій тонъ, найти подходившій ключъ къ мало знакомымъ имъ душамъ. Оффиціальная гомилетика не растворялась въ простую сердечную рѣчь. Обычай говорить парадным языкомъ съ церковно-славянскими оборотами, насыщая свою рѣчь цитатами изъ священнаго писанія, — обычай этотъ, усвоенный со школьной скамьи, не давалъ сложиться не только краснорѣчію, но и простому общенію, чуждому кудрявыхъ семинарскихъ приправъ. Особенно отличался по части высокаго стиля и государственнаго православія о. Филосовъ Арнадскій. Отъ его словъ такъ и вѣяло канцеляріей Св. Синода. Одинъ только изъ пріѣзжавшихъ къ намъ священниковъ, о. Соколовъ изъ Казанскаго собора выгодно отличался отъ своихъ собратій. Краснорѣчіемъ онъ, правда, не отличался. За то онъ завязывалъ охотно простую непритязательную бесѣду, вполнѣ освобождаясь

отъ оффиціальнаго тона. Это былъ кажется прекрасный человѣкъ, съ отзывчивымъ сердцемъ, и очень еще молодой. Минуло отцу Соколову едва 30. Къ сожалѣнію, не долго спустя его унесла смерть.

Послѣ 10 или 11-ти чтеній при довольно многочисленной публикѣ, мы предпочли устраивать собесѣдованія въ болѣе тѣсномъ кругу, гдѣ главнымъ лицомъ былъ духовникъ покойной матушки, извѣстный настоятель Георгіевской Общины о. Алексѣй Колоколовъ. Былъ онъ и моимъ духовникомъ, и нельзя мнѣ пройти мимо его крупной личности, не упомянувъ о впечатлѣніи, какое онъ производилъ не на меня только, но и на всѣхъ прочихъ. Краснорѣчивымъ и онъ не былъ. Но вмѣсто краснорѣчія воодушевляла его такая искренная теплота, такая убѣжденность вѣры, и такъ хорошо умѣлъ онъ приноровиться къ любой душѣ, поднося ей какъ разъ то лѣкарство, въ которомъ она нуждалась, что выдѣлялся онъ несомнѣнно среди Петербургскаго духовенства и вліяніемъ пользовался огромнымъ въ самыхъ разнообразныхъ общественныхъ кругахъ. Начало его дѣятельности было очень скромно. Когда мать съ нимъ познакомилась въ 60-хъ годахъ у графини М. В. Адлербергъ, онъ былъ еще сельскимъ священникомъ въ захолустномъ приходѣ Новоладожскаго уѣзда. Никто не подозрѣвалъ въ немъ тогда будущаго вліятельнаго духовнаго врача, исповѣдники котораго насчитывались тысячами. Замѣчательно, что его популярность была одинакова и среди очень скромныхъ общественныхъ слоевъ, и въ такъ называемомъ

высшемъ обществѣ. Необыкновенное умѣніе постилать самые сложные изгибы жизни не давали ему никогда затронуть кого либо неловкой шероховатостью неумѣстнаго совѣта или вопроса. У него было умное сердце, если можно такъ выразиться. Онъ вполнѣ соотвѣтствовалъ тому, что сказалъ Христосъ о необходимости соединять голубиную чистоту съ змѣиной мудростью. Когда была создана первая Георгіевская община сестеръ милосердія, онъ былъ приглашенъ быть ея настоятелемъ. Необыкновенно быстрое развитіе этой общины было его дѣломъ и дѣломъ женщины не менѣе высокаго ума, стоявшей во главѣ общины, графини Елисаветы Николаевны Гейденъ. Она быстро распознала рѣдкія душевныя качества отца Колоколова и сдѣлала его своимъ сотрудникомъ. Нѣсколько позже, отецъ Алексѣй, тогда уже занимавшій въ Петербургѣ видное мѣсто, щедро отблагодарилъ свой прежній деревенскій приходъ. На крошечномъ островкѣ среди Волхова, на самой границѣ Петербургской и Новгородской губерній, ему удалось устроить цѣлый рядъ благотворительныхъ и школьныхъ учрежденій, процвѣтающихъ и теперь послѣ его смерти. Богадѣльня для старушекъ, прекрасная больница, школы для мальчиковъ и для дѣвочекъ—все это было выстроено цѣлесообразно и содержалось въ образцовомъ порядкѣ. Еще позже, при содѣйствіи моей сестры, А. С. Ермоловъ, тогда министръ земледѣлія, уступилъ о. Колоколову другой островъ, большаго размѣра, принадлежавшій казнѣ; и тамъ мелколѣсье, росшее на болотистой почвѣ, было мало по мало

превращено въ образцовую ферму, дѣлавшую такую-же честь сельско-хозяйственнымъ познаніямъ о. Алексѣя, какъ застроенный имъ Успенскій островокъ — его организаторскимъ способностямъ.

Упомянулъ я здѣсь о графинѣ Гейденъ. По энергіи, по силѣ дѣятельнаго ума, это была, можетъ быть, самая замѣчательная женщина, мною когда либо встрѣченная въ жизни. Въ молодые мои годы она меня не долюбливала. За то, когда она стала ѣздить къ намъ, привлеченная духовными бесѣдами, она выказала мнѣ такое живое участіе, какого я у прочихъ знакомыхъ не находилъ. У нея была потребность утѣшать не слезливымъ соболѣзнованіемъ, а живымъ сочувствіемъ своей рѣдкой по твердости души. Чисто женское состраданіе сливалось у нея воедино съ чисто мужской волей. Такъ и чувствовалось, что лживое слово, даже притворная улыбка, никогда не затрогивали ея правдивыхъ устъ, что ея дѣятельная вѣра никогда не опустится до чего нибудь похожаго на мелкую, пугливую, чисто внѣшнюю набожность. Суевѣрій она не знала. Религіозность ея не только не оставалась мертвою, какъ слишкомъ часто это бываетъ у русскихъ женщинъ, — она стремилась всегда вылиться въ живое дѣло. Многіе графиню Елизавету Николаевну не долюбливали, обвиняя ее въ рѣзкости. Но рѣзкость эта была лишь прямымъ послѣдствіемъ ея презрѣнія ко всему условному, къ людямъ дряблымъ и лживымъ, къ пустымъ разговорамъ, словомъ ко всему, что вызываетъ излишнюю трату времени ради требованій не нужнаго, по ея понятіямъ, формальнаго этикета. Тамъ, гдѣ ея энергія могла быть

полезна, графиня Гейденъ ее тратила охотно. За то не любила она дѣлать малѣйшаго усилія, чтобы скрыть или скрасить настоящую свою мысль, чтобы выразить кому либо притворную симпатію. Тѣмъ дороже было для меня, что такая женщина, умѣвшая цѣнить каждое мгновеніе, никогда не пропадавшее у нея даромъ, столько своего времени отдавала мнѣ. За пять лѣтъ нашего близкаго знакомства, она чуть не каждую недѣлю заѣзжала къ намъ мнѣ читать вслухъ что нибудь изъ твореній наиболѣе знаменитыхъ французскихъ проповѣдниковъ, какъ Боссіэ и Лакордэръ. Результатъ этихъ чтеній былъ не совсѣмъ утѣшительный: оба мы—и графиня и я — принуждены были молчаливо признать, что католическое краснорѣчіе, всегда немного слащавое и склонное къ пышной фразеологіи, насъ удовлетворяетъ не вполнѣ. Графиня Гейденъ была православной до мозга костей, оставаясь въ то же время совсѣмъ чуждою православія оффиціальнаго. Ей хотѣлось, — она мнѣ это часто говаривала — чтобы наша восточная церковь оставалась въ самомъ дѣлѣ апостольскою, знающей только евангельское ученіе и дѣланіе добра по примѣру Спасителя, помня твердо, что «царство Его не отъ міра сего». Государственное православіе, какъ политическое орудіе, ей глубоко претило. Даже въ Финляндіи, гдѣ ея мужъ долго былъ генералъ-губернаторомъ, преданность интересамъ Россіи не совсѣмъ мирилась съ пріемами робкой, но все же оффиціальной пропаганды. Прямо она этого чувства не высказывала, не по недостатку прямоты, конечно, а потому что ей самой это было не вполнѣ ясно. Въ

числѣ очень многихъ другихъ графиня думала, что русская политика на сѣверной окраинѣ требуетъ соглашенія съ финноманами, такъ какъ симпатіи къ Россіи легче вызвать у финскаго народа, чѣмъ у шведскаго меньшинства. Доживи она до нашихъ дней, она бы въ этой идеѣ разочаровалась. Правда, особенныхъ симпатій не выказывали намъ никогда и шведы. Стремленіе сдѣлать изъ Финляндіи особое государство ими проводилось даже вполнѣ не двусмысленно, что и не удивительно, такъ какъ политическій сепаратизмъ у правящаго класса всегда выражается особенно ярко. Но стремленіе это было до того неосуществимо, сама идея о независимой Финляндіи до того нелѣпа, что втолковать это шведамъ и придти съ ними къ соглашенію насчетъ степени ихъ особленности, было бы пожалуй не слишкомъ трудно. Тогда еще не существовало теперешняго озлобленія противъ насъ, и терпѣливымъ преслѣдованіемъ этой цѣли можно было ея и достигнуть. Бѣда лишь въ томъ, что даже въ моментъ наибольшаго могущества Россіи, подъ конецъ 80-ыхъ годовъ, мы никогда не рѣшались высказаться прямо и ясно, формулируя свою программу такъ, чтобы внушить къ ней довѣріе. Въ Финляндіи, какъ и въ прочихъ окраинахъ, боялись, какъ-бы за одной реформой не послѣдовала другая до полной ассимиляціи. Забывали ту старую истину, что правдивость и въ общественной жизни, какъ и въ частной, едва ли не вѣрнѣйшій путь къ успѣху. Графиня Елисавета Николаевна при всемъ своемъ раздраженіи противъ такъ называемыхъ свекомановъ, чувст-

вовала, должно быть, несостоятельность нашей казенной руссификаціи. По крайней мѣрѣ она пріѣзжала въ Гельсингфорсъ лишь въ очень рѣдкихъ случаяхъ, когда надо было устраивать оффиціальные пріемы.

Глава XV-я.

Новый журналъ «Русское Обозрѣніе» и его редакторъ кн. Церетелевъ.—Упадокъ русской литературы.—Декадентство, общее всѣмъ искусствамъ.—Двѣ характеристическія черты новаго направленія: крайній реализмъ формы при фантастичности содержанія.—Оперы Вагнера.—Картины Бёклина.—Пьесы Метерлинга и Ибсена.—Гауптманъ и его «Потонувшій колоколъ».—Метерлингъ.—Отраженіе на русской литературѣ.—Земская реформа и ея послѣдствія.—Спектакли у графа А. Д. Шереметева, у кн. М. С. Волконскаго и въ Зимнемъ Дворцѣ.—Кн. И. М. Голицынъ.—Владиміръ Соловьевъ и мое сближеніе съ нимъ.—Его характеристика какъ человѣка и какъ писателя.—Его крупный полемическій талантъ.—Слабыя стороны его философіи.—Значеніе его какъ моралиста.

Съ января 1890 года сталъ выходить въ Москвѣ, подъ редакціей князя Д. Н. Церетелева, и съ помощью денежной поддержки Давида Морозова, новый журналъ „Русское обозрѣніе“. Мнѣ это было очень кстати: „Русскій Вѣстникъ“, послѣ смерти Каткова, быстро и очень некрасиво увядалъ. Попалъ онъ въ руки Ф. Н. Берга, которому вдова Михаила Никифоровича его сдала въ аренду, и несмотря на талантъ и на беззастѣнчивость, Бергъ непоправимо уронилъ нѣкогда славный журналъ. Можно было нападать сколько угодно на „Русскій Вѣстникъ“ съ такъ называемой либеральной стороны, но нельзя было отнять у него прошлаго, когда всѣ русскіе знаменитости, кромѣ одного Гончарова, украшали его своими произведеніями.

Случалось мнѣ, правда, когда впослѣдствіи я обращался въ другія редакціи, получать отъ нихъ укоризненное замѣчаніе: „вы помѣщали свои вещи въ „Русскомъ Вѣстникѣ“... Никакого угрызенія совѣсти я при этомъ не испытывалъ. Помѣщаться тамъ, гдѣ печатались „Анна Каренина“ и „Братья Карамазовы“ въ концѣ 70-тыхъ годовъ, въ этомъ стыда никакого не заключается. При Бергѣ было уже не то. Личные счеты стали выглядывать изъ за общихъ идей. Уже не духъ партіи, а духъ мелочного соперничества, желаніе «отдѣлать» за прежнія недоразумѣнія, проникъ собою всю редакцію, придавая ей какой-то особенный помойный оттѣнокъ. Отъ этого воздуха выгребной ямы бѣжали сотрудники одинъ за другимъ. Новое „Русское Обозрѣніе“ широкаго круга читателей, правда, не обѣщало, но было оно во всякомъ случаѣ чистоплотно. Самъ кн. Дмитрій Николаевичъ былъ человѣкъ нѣсколько капризный, быть можетъ съ черезчуръ опредѣленными взглядами, граничившими съ нетерпимостью. За то неделикатнаго поступка не только отъ него нельзя было ждать, но самая возможность такого поступка Церетелеву и въ голову не приходила. Нѣкоторая безалаберность ему была свойственна, но такая лишь, отъ которой единственно страдали редактируемые имъ журналы. Нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ онъ временно исправлялъ должность редактора «Русскаго Вѣстника». Младшій мой братъ, посланный къ нему по какому-то дѣлу, въ первомъ часу засталъ его еще въ кровати, и притомъ совершенно позабывшимъ, получилъ ли онъ посланную рукопись и когда именно: гдѣ эта рукопись

находится, объ этомъ князь, разумѣется, и понятія не имѣлъ. При такихъ условіяхъ, десятилѣтнее существованіе «Русскаго Обозрѣнія» было рядомъ финансовыхъ кризисовъ, вызванныхъ тѣмъ, что разориться редакціи было какъ нельзя легче. Спеціальный меценатъ его, Давидъ Морозовъ выкладывалъ деньги, да выкладывалъ, и довольно скоро убѣдился, что имѣетъ дѣло съ новою бочкой Данаидъ. Кстати сказать, купеческое меценатство входило все болѣе въ обычай; и слѣва и справа мастера литературнаго дѣла доили усердно тщеславныхъ толстосумовъ, которымъ лестно было имѣть на содержаніи какую-нибудь музу. Эти мѣщане въ дворянствѣ преисправно, а иногда претолково присматривали за своими незаконными дѣтьми, прижитыми въ области одного изъ искусствъ, и, въ эпоху нашего литературнаго упадка, замѣнили и читателей и судей-критиковъ.

Не могъ тоже новый журналъ уйти отъ общаго недуга тогдашней русской литературы: послѣ кончины цѣлаго ряда крупныхъ талантовъ и появленія двухъ крупнѣйшихъ вещей, Толстого — „Война и миръ» и „Анна Каренина“,—настали у насъ голодные годы въ беллетристикѣ, годы, когда Чеховъ и Максимъ Горькій могли казаться свѣтилами, и пигмеи художественнаго вкуса могли вообразить, что виновата во всемъ какая-то «старая» школа и нужно пуститься въ поиски новыхъ путей, замѣняя отсутствіе творчества вычурностью пріемовъ. Повторялось съ нами то же, что всякій разъ служило признакомъ упадка: оригинальничанье, потребность новаго хотя бы и худшаго замѣняло собою, ту силу

простоты, то богатство фантазіи, которыя такъ прекрасно укладываются въ строгую форму, сохраняя индивидуальность содержанія при одинаковости внѣшняго облика.

Девятидесятые годы, чуть не съ самаго начала, были эпохой этой погони за обновленіемъ. Соединялись здѣсь два теченія, съ виду противорѣчивыя,— болѣзненное стараніе изгнать изъ искусства условность, достигнуть полной правды и въ то-же время, за убожествомъ повседневной жизни, наполнять рамки дѣйствительности фантастическими образами. Лучшимъ примѣромъ этой двойственности служатъ Вагнеровскія оперы. Съ одной стороны музыкальная фраза подгоняется къ стиху какъ можно ближе, требуя, напримѣръ, подъема въ тонѣ, какъ разъ на словѣ, произносимомъ съ удареніемъ, а съ другой — всѣ оперы Вагнера, за исключеніемъ «Мейстерзингеровъ», вращаются около героевъ вымышленныхъ, взятыхъ на прокатъ у средне-вѣковыхъ легендъ. Легенда, какъ содержаніе, должна была укладываться въ строгій реализмъ обстановки. Вагнеръ забывалъ, какъ забывалъ это Беклинъ въ живописи и Метерлингъ въ поэзіи, что сколько бы ни реально было пѣніе въ «Лоэнгринѣ», въ „Тангейзерѣ", въ „Парсивалѣ", оно все таки будетъ неизмѣримо далеко отъ дѣйствительности. Не менѣе смѣшно, когда Беклинъ, рисуя лѣсную глушь или несуществующій островъ, куда причаливаютъ тѣни, силится обстановкѣ, гдѣ происходитъ чисто фантастическое явленіе, придать какую то болѣзненную правду. Въ драмахъ Ибсена и Метерлинга происходитъ то-же. Никогда еще

такъ много изъ происходящаго за кулисами не было приближено такъ непосредственно къ нашимъ глазамъ. Въ „Норѣ“ публика видитъ, какъ опускается письмо въ почтовый ящикъ, въ „Боркманѣ“ по сценѣ проносятся сани, увозящія съ собой отъѣзжающихъ въ Италію путешественниковъ, но содержаніе этихъ пьесъ не дѣлается оттого болѣе реальнымъ. Въ нихъ психологическая правда, можетъ быть, подвергается насилію еще большему, чѣмъ допускавшееся въ старинныхъ драмахъ уклоненіе отъ истины. Словомъ, преувеличенному реализму формы соотвѣтствуетъ полное его отсутствіе въ содержаніи. Но Ибсенъ, Беклинъ и Вагнеръ, принадлежатъ еще къ крупнѣйшимъ представителямъ новаго направленія. У талантовъ болѣе слабыхъ творческое недомоганіе гораздо замѣтнѣе. Метерлингъ, напримѣръ, уже прибѣгаетъ не къ одному только фантастическому элементу, почерпнутому изъ средневѣковыхъ легендъ, не къ одному расширенію типичности до предѣловъ символа, какъ дѣлаютъ это Ибсенъ и Беклинъ: у него символизмъ уже чисто произвольный и неудобо-понятный, какъ въ „Семи принцессахъ“. У него полное отсутствіе мѣстнаго колорита, какъ въ „Аглавенѣ“, „Силезеттѣ“, гдѣ дѣйствіе происходитъ когда угодно и гдѣ угодно, если не происходитъ вовсе никакого дѣйствія, какъ въ „Непрошенной гостьѣ“. У Гауптамана въ „Потонувшемъ Колоколѣ“ разгадка символа можетъ совершиться въ двухъ противоположныхъ направленіяхъ. Либо герой наказанъ за то, что онъ не достаточно увѣровалъ въ свое сверхъестественное блаженство—и это судьба всѣхъ романтическихъ ге-

роевъ, погибающихъ отъ недовѣрія къ себѣ, или его постигаетъ кара за то, что онъ изъ за волшебницы Раутэнделейнъ, жертвуетъ привязанностью къ женѣ и дѣтямъ. Неизвѣстно, за что онъ наказанъ —за грѣхъ ли противъ законной семьи, или наоборотъ, за недостаточную рѣшимость стряхнуть съ себя буржуазныя обязанности семьянина. Такимъ образомъ и романтическая и мѣщанская развязка одинаково возможны. Это уже никуда не годится.

Можно себѣ представить, что стало съ новымъ творчествомъ, когда оно переселилось къ намъ, какія невѣроятно-грубыя фигуры создалъ нашъ реализмъ, какіе непонятные и уродливые символы вышли изъ подъ пера нашей литературной богемы, что за романтическіе герои обязаны своимъ происхожденіемъ кабацкой фантазіи Максима Горькаго. Конечно, прежде всего это очень недолговѣчные герои, и черезъ какихъ нибудь 20 лѣтъ гимназисты уже не будутъ помнить о существованіи Максима Горькаго, Леонида Андреева et tutti quanti.

Великій день для русской литературы настанетъ, когда экзаменующійся воспитанникъ гимназіи получитъ единицу за незнакомство съ этими свѣтилами. Этотъ день наступитъ несомнѣнно, но пока навожденіе еще не прошло и мы продолжаемъ тщетно искать соединеніе грубой формы съ нелѣпымъ содержаніемъ. Каковъ поэтическій вѣнокъ, который можно сплести въ этихъ поискахъ, мы видимъ на дѣлѣ. Говоря о девятидесятыхъ годахъ, пожалуй, надо будетъ признать, что самымъ высокимъ проявленіемъ творчества были тогда маленькіе разсказы Чехова. Но именно потому, что эта „высшая точка“

была такъ низменна, и рисунки Чехова такъ сѣры общество было глубоко взволновано потребностью загадочнаго и фантастическаго. Подъ современной оболочкой литература стала подавать намъ лишь произвольные сюжеты.

Ровно черезъ годъ послѣ введенія земскихъ начальниковъ было преобразовано и само земство. Реформа основывалась на мысли чисто теоретической. Избиратели, расположенные по сословнымъ группамъ, легче могутъ осмотрѣться, легче указать на подходящихъ кандидатовъ среди привычной близкой имъ среды, чѣмъ безразличной массѣ всесословныхъ владѣльцевъ. Говорю намѣренно „владѣльцевъ", такъ какъ реформа коснулась преимущественно этой куріи, отдѣливъ отъ нея, во-первыхъ, владѣльцевъ не дворянъ, а во-вторыхъ, содержателей торговыхъ и промышленныхъ заведеній внутри уѣзда. Несомнѣнно, что въ Россіи, несмотря на всю нашу демократичность, отдѣльные общественные слои живутъ болѣе врозь, чѣмъ гдѣ-либо за границей. Это нисколько не влечетъ за собою чваной обособленности дворянства, такъ непріятно поражающей въ восточной Германіи, но все таки между отдѣльными классами создаетъ нѣкоторую рознь, не дозволяющую каждому изъ нихъ вѣрно судить о личномъ составѣ прочихъ. На практикѣ, однако, теорія не оправдалась, прежде всего отъ возраставшей убыли среди дворянства, и притомъ убыли двоякой—и отъ распродажи имѣній, и отъ абсентеизма многихъ владѣльцевъ. Въ Англіи, въ Германіи, или хотя бы у насъ въ Остзейскихъ губерніяхъ, избирательный законъ, въ родѣ положе-

нія 1890 года, побудилъ бы землевладѣльцевъ явиться на выборы въ полномъ числѣ, выставивъ всѣ свои наличныя силы. Но мы не нѣмцы и не англичане. У насъ выборная система, отдававшая въ земствѣ первое мѣсто помѣщикамъ, побудила дворянъ отнестись къ своимъ политическимъ обязанностямъ холодно, а къ правительству, отдавшему имъ въ руки все мѣстное хозяйство и мѣстное управленіе, почти враждебно. Дворянство какъ будто устыдилось своего привелигированнаго положенія. По крайней мѣрѣ, нигдѣ оно не выказало особой ревности стать земскимъ сословіемъ по преимуществу, и вмѣсто охранительныхъ началъ, которыя была призвана утвердить реформа, оно ударилось прямо въ противоположную сторону. Никогда антиправительственныя демонстраціи не происходили такъ часто, какъ за десятилѣтіе отъ 1890—1900 г.г. Никогда земскій бюджетъ не выросталъ такъ быстро, какъ за тотъ же періодъ; а такъ какъ главной причиной этого возрастанія было размноженіе земскихъ служащихъ—эти же служащіе вербовались среди элементовъ большей части политически-сомнительныхъ — быстрый ростъ земскихъ расходовъ въ концѣ концовъ имѣлъ тѣсную причинную связь съ опозиціоннымъ настроеніемъ губернскихъ собраній. Въ губернскихъ городахъ сосредоточилось большинство земскихъ начинаній,— педагогическія семинаріи, откуда выходили народные учителя и учительницы, статистическое бюро, къ которымъ вскорѣ присоединились и сельско-хозяйственные, земскіе техники, всякаго рода больницы, вокругъ которыхъ группировался врачебный пер-

соналъ. Завоевать эти города для революціонныхъ цѣлей стало важнымъ начинаніемъ въ глазахъ такъ называемой провинціальной интеллигенціи. Она переполнила собою земскія должности и превратила вскорѣ подчиненныя губернской управѣ учрежденія въ постоянные активные очаги революціонной пропаганды. Мало по малу весь этотъ персоналъ служащихъ организовался въ нѣчто, напоминающее синдикаты, и сталъ требовать, чтобы изъ его состава никого не увольняли и никого туда не принимали со стороны безъ согласія прежняго состава служащихъ. Гласные изъ дворянъ видѣли прекрасно это постоянное наростаніе чуждыхъ элементовъ и нисколько не мѣшали такому завоеванію земства подчиненными ему наемными людьми. Казалось удобнымъ сложить на этихъ людей работу по всѣмъ техническимъ вопросамъ; а, если ряды земскихъ служащихъ переполнялись административно ссыльными и отъ нихъ доставалось правительству, г-да мѣстные помѣщики были этому даже почти рады, не предвидя, что и противъ нихъ самихъ поднимется рано или поздно третій элементъ. А въ то же время во многихъ уѣздахъ съѣзжалось на дворянскіе избирательные съѣзды все меньшее и меньшее число выборщиковъ. Сплошь и рядомъ оно не достигало даже числа гласныхъ, подлежавшихъ избранію. Такимъ образомъ реформу постигла рѣшительная неудача и провинціальное дворянство орудіемъ, даннымъ ему въ руку, не только не воспользовалось, но еще направило его противъ власти и въ концѣ концовъ само капитулировало передъ третьимъ элементомъ. Эта любезная податливость передового класса,

это усердное глаженье по головкѣ элементовъ мало надежныхъ, въ то же время нисколько не спасло дворянство отъ ненависти тѣхъ, которые въ качествѣ иносословныхъ землевладѣльцевъ были призваны выбирать за одно съ промышленниками своихъ особыхъ гласныхъ, которыхъ новый законъ какъ бы заклеймилъ печатью отверженія. Рѣдѣющее дворянство могло только выиграть отъ союза съ торговцами и промышленниками, а, пожалуй, и съ зажиточными крестьянами. Оставляя тѣхъ и другихъ за дверьми помѣщичьяго избирательнаго съѣзда, новый законъ тѣмъ самымъ отбрасывалъ ихъ въ анти-дворянскій лагерь, который четырнадцать лѣтъ спустя сталъ и лагеремъ революціоннымъ. Все это невольно заставляетъ сожалѣть о прежнемъ земскомъ положеніи, при которомъ сословнаго антагонизма не существовало.

Осенью 1890 г. мы переѣхали на Фурштадтскую: Воейковскій домъ на Шпалерной сталъ для насъ уже слишкомъ просторнымъ, да и гнѣздились въ немъ печальныя воспоминанія минувшей зимы. Вскорѣ мнѣ пришлось въ новомъ мѣстопребываніи возобновить прерванныя было отношенія съ очень стариннымъ знакомымъ, съ княземъ И. М. Голицынымъ. Князь только что пріобрѣлъ новую славу своимъ участіемъ въ нѣсколькихъ спектакляхъ происходившихъ у графа А. Д. Шереметева и у князя М. С. Волхонскаго. Графъ задумалъ поставить у себя на домашней сценѣ, ни болѣе, ни менѣе, какъ Пушкинскаго «Бориса Голунова». И удалось это вполнѣ, даже по части декораціи, что было не легко для сравнительно маленькой сцены. Игра

любителей вышла вполнѣ художественной, несмотря даже на небольшіе промахи кое-кого изъ второстепенныхъ исполнителей. Рукоплесканія, какими закончилось представленіе, были вполнѣ заслужены. Присутствовалъ на спектаклѣ самъ Государь съ Императрицей и удачное исполненіе «Бориса Годунова» дало ему мысль поставить на театрѣ Эрмитажа другого «Царя Бориса», написаннаго А. К. Толстымъ и нигдѣ еще не игранного. За «Борисомъ Годуновымъ» послѣдовалъ «Царь Ѳедоръ Іоанновичъ» того же графа Алексѣя Константиновича: его годъ спустя поставили у Волконскихъ. Старшій сынъ князя, Сергѣй Михайловичъ, сыгралъ, говорятъ, безподобно трудную роль самого героя, котораго нельзя попросту представить слабоумнымъ и слабовольнымъ. Толстой намѣренно въ своей драмѣ осложнилъ характеръ Ѳедора Іоанновича, придавъ ему такія черты, которыя въ простое слабоуміе не укладываются. Волконскій сумѣлъ оттѣнить эти черты и нигдѣ не уронилъ роли до простого комизма, что, навѣрное, сдѣлалъ бы Горбуновъ, которому роль была поручена на Александринской сценѣ. Князь Иванъ Михайловичъ Голицынъ игралъ князя Шуйскаго и невольно сама его дикція, не говоря уже о его фигурѣ, вышла совершеннымъ контрастомъ съ особою царя. Такъ и чувствовалось, что за этотъ контрастъ Шуйскій долженъ будетъ поплатиться, тѣмъ болѣе, что контрастъ вышелъ двойнымъ: князь Иванъ Петровичъ Шуйскій на сценѣ на столько же рѣзко отличался отъ сына Іоанна Грознаго, какъ отъ Бориса Годунова. Оно такъ и должно быть по смыслу пьесы. Не

помню, кто въ тотъ вечеръ игралъ Бориса; знаю одно лишь—успѣхъ былъ полный. Почти такой же успѣхъ вышелъ на долю представленія въ Зимнемъ дворцѣ, не смотря на то, что «Царь Борисъ» наиболѣе слабая часть Толстовской трилогіи. Годунова игралъ тамъ А. А. Стаховичъ, отецъ извѣстнаго оратора. Всего болѣе отличилась его дочь, Софія Александровна, сумѣвшая прельстить всѣхъ присутствующихъ своей необыкновенно умной игрою, придавшей ея сравнительно небольшой роли преобладающее значеніе. Но публику въ Эрмитажѣ нужно, разумѣется, мѣрить нѣсколько инымъ аршиномъ, чѣмъ въ частномъ домѣ: ея впечатлѣнія далеко не исключительно артистическія. Рядъ любительскихъ спектаклей, отдавшихъ достойную дань нашимъ крупнѣйшимъ произведеніямъ, послужилъ примѣромъ, которому, увы! съ тѣхъ поръ не слѣдуютъ болѣе. Правда, крупнаго, собственно для театра, въ нашей литературѣ немного: если прибавить къ Борису Годунову и къ трилогіи «Псковитянку», «Горе отъ ума», да, пожалуй, великолѣпный переводъ «Орлеанской Дѣвы», Жуковскаго, будетъ исчерпано все содержаніе нашей драматической поэзіи. Но во всякомъ случаѣ была бы установлена художественная нота для подобныхъ спектаклей и школа вышла бы столь же полезной для исполнителей, какъ и для будущихъ драматурговъ. Вкусу публики это не дало бы испортиться, а сочинителямъ не позволило бы свернуть отъ столбовой художественной дороги на грязные проселки. Едва ли тогда разные «Дядя Ваня» и «Три сестры» подняли бы такой шумъ во-

сторговъ», хотя бы и при наилучшемъ исполненіи. Князь Иванъ Михайловичъ былъ настолько любезенъ предложить моей сестрѣ у насъ прочесть нѣсколько пьесъ—на это онъ былъ мастеръ настоящій. Никто не оттѣнялъ какъ онъ малѣйшіе изгибы характера, никто какъ онъ не читалъ стиховъ. А главное, никто не доставлялъ слушателямъ высокое художественное наслажденіе съ такою любезностью, какъ дѣлалъ это князь. Онъ какъ будто самъ испытывалъ высокое удовольствіе, и удовольствіе слушающихъ оттого удваивалось.

Не помню уже въ точности, когда Софья Петровна Хитрова меня познакомила съ В. С. Соловьевымъ: прежнія рѣдкія встрѣчи съ нимъ нельзя было въ сущности назвать знакомствомъ. Теперь, напротивъ, онъ сталъ бывать у насъ часто и мы сблизились по настоящему. Спѣшу однако оговориться. Выказывалъ онъ мнѣ теплое сочувствіе, искреннюю дружбу. А между тѣмъ, разговаривая со мной, онъ не охотно выходилъ изъ круга литературныхъ вопросовъ и, пожалуй еще, историческихъ. Очень трудно было съ нимъ завернуть въ область еще болѣе для него близкую—въ область философскихъ и духовныхъ вопросовъ. Здѣсь онъ былъ вполнѣ у себя дома, но пускалъ сюда постороннихъ лишь очень рѣдко. Мнѣ невольно чувствовалась какая то неловкость, когда я касался съ нимъ какъ разъ его любимыхъ темъ. А такъ какъ съ другими людьми бывало, по слухамъ, не такъ, очень можетъ быть, что считалъ онъ меня недостаточно подготовленнымъ, чтобы бесѣдовать съ нимъ объ этихъ предметахъ. Какъ бы то ни

было, я сохранилъ о немъ самое теплое воспоминаніе. Знаю самымъ достовѣрнымъ образомъ, какъ мало у него было потребностей на себя, какъ чисто по спартански онъ жилъ, какъ легко онъ дѣлился своимъ литературнымъ заработкомъ съ любымъ нуждающимся, ради этого отказывая себѣ даже въ необходимомъ. Нагорную проповѣдь никто, сколько я знаю, не исполнялъ какъ онъ: такимъ равнодушіемъ къ земнымъ благамъ мало кто отличался. Архіепископъ Волынскій Антоній Храповицкій напечаталъ разъ въ газетѣ „Колоколъ“ замѣтку о Соловьевѣ, котораго онъ прямо обвиняетъ въ лицемѣріи, увѣряя, что покойный Владиміръ Сергѣевичъ былъ набожнымъ и милосерднымъ только для вида, а на душѣ у него ютилась скрытая чувственность и вѣра очень сомнительная. Не претендую на способность отгадывать сокровенные помыслы людей. Но какъ разъ потому, что Соловьевъ охотно признавался, какъ въ молодые годы его увлекалъ темпераментъ и какъ онъ и послѣ сохранилъ охоту забавляться скоромными разсказами, высокопреосвященный Антоній вѣроятно обвинялъ Соловьева напрасно. Люди, живущіе въ плѣну у своей плоти, не обнаруживаютъ такого полнаго равнодушія къ своей одеждѣ, какъ дѣлалъ это Владиміръ Сергѣевичъ, и не отдаютъ, какъ онъ, послѣдней копѣйки не задумываясь. Если можно обвинить Соловьева въ легкомыслiи, то это было именно легкомысліе милосердія. Никогда мнѣ не пришлось услышать отъ него и слова упрека по адресу тѣхъ, кто злоупотреблялъ его открытымъ кошелькомъ. Что-же касается его религіозныхъ

убѣжденій, то могу сказать одно: они не переставали его занимать до самаго часа смерти. Вѣроятно онъ до самаго конца не завершилъ своей религіозной эволюціи. Послѣдняго слова онъ не успѣлъ сказать и самому себѣ: онъ должно быть его и не додумалъ. Въ то время, когда я съ нимъ познакомился, Соловьевъ былъ еще строгимъ католикомъ. Онъ только что дописалъ первый томъ своей книги: „Прошедшее и будущее теократіи". Идея ея заключалась въ томъ, что Создатель міра взялся лично управлять судьбами евреевъ; и, когда избранный народъ упорно не захотѣлъ держаться Божескихъ завѣтовъ, Господь перенесъ обязанность духовнаго управленія людьми на римскаго первосвященника, въ лицѣ котораго теократія и осуществилась. Невѣрно въ этомъ взглядѣ уже то, что Божество, какъ его представляетъ Соловьевъ, какъ будто разочаровалось въ евреяхъ, что не вяжется съ всевѣдѣніемъ. Другая книга, написанная Соловьевымъ нѣсколько раньше, имъ тоже не была закончена. Она называлась «La Russie et l'Eglise universelle». Здѣсь ученіе Соловьева было изложено по французски. Ученіе это обвиняло православіе въ подчиненности государственнымъ интересамъ, какъ въ Византіи, такъ и у насъ. Въ католицизмѣ ему нравилось именно то, что это вѣроисповѣданіе универсальное, стоящее внѣ и выше рамокъ государства. Но если не совсѣмъ несправедливо его полуотрицательное отношеніе къ православію, онъ едва ли не могъ сказать себѣ, что и католицизмъ не правъ, дѣлая изъ интересовъ церкви самой по себѣ, т. е. строго говоря духовенства, нѣчто самодовлѣющее: по отношенію

къ церкви, и сама вѣра въ католицизмѣ играетъ подчиненную роль. Едва-ли замѣчательный подборъ католическаго духовенства не зависитъ какъ разъ оттого, что прельщаетъ его членовъ идея всемірнаго владычества, унаслѣдованная отъ древняго Рима... Впрочемъ Соловьевъ не дѣлалъ себѣ никогда иллюзій насчетъ мнимой святости католическихъ прелатовъ и самихъ папъ. Онъ находилъ только, что слабости, что даже преступленія людей не умаляютъ величія идеи, носителями которой они являются. Въ его глазахъ слова Христа, обращенныя къ апостолу Петру: «На семъ камени созижду церковь Мою и врата адова не одолѣютъ ю», — слова эти относились именно къ католицизму. Въ этомъ своемъ мнѣніи Соловьевъ былъ можетъ и не совсѣмъ не правъ. Подъ конецъ его жизни, взгляды Соловьева ближе совпадали съ протестантизмомъ, даже съ протестантизмомъ либеральнымъ, чѣмъ съ католичествомъ. Разъ, бесѣдуя со мною о книгѣ Гарнака „Christliche Dogmatik“, на мое рѣшительное заявленіе, что пасторы, подобные Гарнаку, уже перестали быть христіанами и должны бы сложить съ себя духовный санъ, Соловьевъ у меня спросилъ: „Скажите, пожалуйста, кто ближе къ христіанству, тотъ кто исполняетъ заповѣди Спасителя, не вѣря въ Него, какъ въ Сына Божія, или тотъ, кто вѣритъ ортодоксально, нарушая въ то же время христіанскій законъ“? Это почти было повтореніемъ словъ, сказанныхъ мнѣ когда-то П. В. Жуковскимъ. Кромѣ того имѣю основаніе думать, что Соловьевъ не особенно часто бывалъ на богослуженіи. Но все это не даетъ еще права останавливаться на опредѣленномъ заключеніи насчетъ

твердости его вѣры. Какъ многіе католическіе патеры и притомъ очень строгой жизни, Соловьевъ любилъ посмѣяться надъ двусмысленною шуткой, находя удовольствіе даже въ прямой гривуазности. Какъ человѣкъ очень добросовѣстный, онъ предпочиталъ мертвой догматикѣ послѣдованіе Христу въ дѣйствительной жизни. Но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы самъ онъ не былъ глубоко вѣрующимъ христіаниномъ. По всей вѣроятности, онъ не довелъ своего міросозерцанія до конца. Онъ какъ будто вѣрилъ въ существованіе какой-то міровой души, которая ничто иное, какъ активная эманація божества. Это уже прямо позаимствовано у неоплатониковъ и приводитъ ученіе Соловьева въ нѣкоторую связь съ философіей Гегеля, тоже представлявшаго себѣ божество въ сущности бездѣятельнымъ, воплащавшемся въ своемъ твореніи лишь постепенно. Отсюда нѣмецкая идеалистическая школа и получила названіе „трансцедентальной". Вообще Соловьевъ стоялъ ближе къ Гегелю, чѣмъ самъ думалъ. Въ конечномъ выводѣ можно сказать о немъ, что природное остроуміе, даже остроуміе подчасъ злое, не мѣшало его столь же природной добротѣ, и доброта, въ свою очередь, не гасила искръ его остроумія. Отъ природы Владиміръ Сергѣевичъ получалъ огромный талантъ критика-памфлетиста. Все написанное имъ въ боевомъ тонѣ, всѣ его философски-критическія статьи—критикомъ чисто-литературнымъ онъ никогда не былъ—относятся къ лучшему, что онъ когда либо написалъ. Стихотворенія его тоже глубоки по смыслу и звучны по формѣ. Они даютъ ему почетное мѣсто среди вто-

ростепенныхъ поэтовъ. Большой онъ былъ мастеръ описывать природу и подмѣчать въ ней какъ бы психологическія черты. Къ сожалѣнію, поэзіи онъ отдалъ слишкомъ мало времени и въ количественномъ смыслѣ, и порой даже въ качественномъ. Всего менѣе онъ заслуживаетъ громкой славы, какъ философъ. Его мистицизмъ съ одной стороны довольно неопредѣленный, а съ другой,—черезчуръ связанный съ тройственностью, какъ бы составляющей и въ мірѣ идей и въ самой природѣ отраженіе божества, обладаетъ стройностью мысли лишь чисто формальною, не имѣющей въ дѣйствительности никакой подкладки. Вдобавокъ — и въ этомъ его главное сходство съ Гегелемъ — онъ постоянно отправляется отъ отвлеченнаго понятія, отыскивая въ дѣйствительности лишь воплощенныя идеи. А такъ какъ содержаніе понятій съ теченіемъ времени измѣняется, то приходится невольно придавать имъ условный, неподвижный смыслъ, подгоняя подъ такой смыслъ явленія никогда не останавливающейся жизни. Благодаря этому, идеи становятся у Соловьева зачастую не выразительницами фактовъ, а ширмами, за которыми факты прячутся. Предпосылка идеи ея осуществленію въ дѣйствительности—ошибка, свойственная уже величайшему изъ философовъ, Платону. Не мудрено, что Соловьевъ увлекся его примѣромъ. Тѣмъ не менѣе разсматривать міръ, лишь какъ воплощеніе отвлеченныхъ понятій вмѣсто того, чтобы идти обратнымъ путемъ, это вѣрный способъ обречь самый геніальный умъ на безплодіе. Но гдѣ Соловьевъ въ самомъ дѣлѣ великъ, это въ области нравственной философіи. Этическія начала

онъ держалъ постоянно высоко, и здѣсь воспитательное его значеніе несомнѣнно. А въ послѣднемъ своемъ произведеніи, въ „Трехъ разговорахъ“ и въ «Сказаніи объ антихристѣ» онъ выказалъ несомнѣнный беллетристическій талантъ. Выведенные имъ типы безподобны по яркости, особенно типъ либеральнаго сановника. Что же касается трехъ представителей христіанскихъ вѣроисповѣданій въ «Антихристѣ»—Петра II, старца Іоанна и доктора Паоли, то связывать три конфессіи съ тремя первенствующими апостолами мнѣ приходилось часто еще до появленія книги Соловьева. И въ одномъ разговорѣ съ нимъ я выразилъ мое убѣжденіе въ существованіи этой связи. Мнѣ всегда казалось, что три христіанскія религіи уже имѣютъ свой прообразъ въ трехъ названныхъ апостолахъ, т. е. при самомъ основаніи церкви. Тогда Соловьевъ со мной не соглашался, но повидимому эта идея ему со временемъ понравилась.

Глава XVI-я.

Переговоры съ папой о единеніи церквей.—Близость къ осуществленію взаимнаго общенія.—Причины, почему оно не состоялось.—Соловьевъ меня вводитъ въ «Вѣстникъ Европы».—Мой романъ «Андрей Мологинъ».—Кисло-сладкое знакомство съ М. М. Стасюлевичемъ.

Царствованіе Императора Александра III было эпохою сугубаго расцвѣта оффиціальнаго православія. А между тѣмъ—про это едва ли многіе знаютъ—оно было эпохою и возобновившихся близкихъ отношеній къ папскому престолу. Послѣ инцидента съ барономъ Феликсомъ Мейндорфомъ, эти отношенія 20 лѣтъ слишкомъ оставались болѣе, чѣмъ холодными. Предпріимчивый умъ папы Льва XIII не могъ, одного, не попытаться завязать сношенія съ нашимъ отечествомъ, въ надеждѣ и у насъ сдѣлать нѣкоторыя духовныя завоеванія. И всего страннѣе то, что со стороны Россіи вовсе не остались глухими къ этимъ попыткамъ. Несмотря на воинствующее православіе К. П. Побѣдоносцева и на мѣры сугубой строгости въ отшеніи къ католицизму въ Западномъ краѣ, у насъ, повидимому, сказали себѣ, что такой опорой консерватизма, какъ престолъ св. Петра, брезгать не слѣдуетъ. Кто

былъ носителемъ предложеній Льва XIII за отсутствіемъ у насъ папскаго нунція, въ точности не знаю. По всей вѣроятности, это былъ никто иной, какъ отецъ Пирлингъ, офранцуженный іезуитъ изъ русскихъ подданныхъ. Какъ всѣ іезуиты, онъ прекрасно владѣлъ иностранными языками. Какъ образованіе его такъ и внѣшніе пріемы не оставляли желать ничего лучшаго. Наѣзжалъ онъ въ Петербургъ чуть не каждую зиму и принимали его въ высшемъ обществѣ съ распростертыми объятіями: у него всегда былъ остроумный отвѣтъ на любой вопросъ. Самъ Государь принималъ его нѣсколько разъ. Трудно сказать, зародилась ли мысль о возможности сближенія съ Римомъ у самаго Императора Александра III, или у кого нибудь изъ вліятельныхъ людей того времени. Во всякомъ случаѣ, подъ конецъ 80-хъ годовъ, эта мысль носилась въ воздухѣ. Собственно догматическія разногласія большихъ затрудненій не вызывали. Были эти разногласія не особенно многочисленны, да и выказывалъ Римъ только готовность сглаживать всѣ шероховатости и, гдѣ можно, выказывать терпимость. Коренное различіе западнаго христіанства отъ восточнаго, строго говоря, сводится не къ догматамъ. Оно лежитъ въ глубокомъ различіи между отношеніемъ церкви къ государству въ католическомъ мірѣ съ одной стороны, въ православномъ—съ другой. Западная церковь заявляла притязанія стоять внѣ государства и подчинять себѣ свѣтскую власть во первыхъ потому, что на всемъ Западѣ имѣлся одинъ только римскій патріархатъ, потому во вторыхъ, что папа являлся, какъ бы преемникомъ римскихъ императоровъ и,

наконецъ, въ третьихъ потому, что римская церковь, хотя и царство ея было отъ міра сего, не считала себя связанной ни съ какой національностью. Православіе, наоборотъ, какъ въ Византійской имперіи, такъ и въ Россіи, всегда оставалось вѣроисповѣданіемъ строго національнымъ и подчиненнымъ свѣтской власти. Различіе это сказалось уже тотчасъ послѣ Константина Великаго, все усиливаясь съ каждымъ новымъ царствованіемъ. Окончательная размолвка обѣихъ церквей, совершилась лишь въ XI вѣкѣ. Былъ стало быть семисотлѣтній періодъ, во время котораго, при всемъ внутреннемъ несходствѣ, Византія и Римъ взаимно поддерживали сносныя отношенія. Даже споръ по поводу замѣщенія патріарха Игнатія Фотіемъ не привелъ къ полному разрыву. Стало быть имѣлась возможность возстановить тотъ „modus vivendi“, какой существовалъ между обѣими церквами до патріаршества Михаила Керруларія.

Эта точка зрѣнія стала понемногу выясняться изъ тумана религіозныхъ недоразумѣній, и съ обѣихъ сторонъ обнаружилась готовность на нее стать. Соглашеніе, однако, не состоялось и вотъ почему. Признать за римскимъ престоломъ первенство среди равноправныхъ патріарховъ было тѣмъ легче, что такое первенство за нимъ признавалось и въ эпоху соборовъ. Голосъ папскаго легата былъ на этихъ соборахъ до того громкимъ, что ни одно постановленіе не могло пройти безъ его согласія. Извѣстно, какъ на Халкидонскомъ соборѣ, напримѣръ, римская церковь черезъ своего посланнаго отстояла автономію отдѣльныхъ епархій на Востокѣ отъ вмѣ-

шательства мѣстнаго патріарха. Большинство отцовъ собора соглашалось предоставить Константинопольскому патріарху право рукополагать епископовъ и священниковъ на всемъ пространствѣ патріархата. Но благодаря оппозиціи римскаго легата, за патріархомъ были сохранены эти права только въ самой Византійской епархіи, не распространяясь на прочія. Дѣло въ томъ, что въ пятомъ вѣкѣ, и даже много позднѣе, власть папы поставлять на духовныя должности не распространялась далѣе тѣсныхъ предѣловъ собственной римской епархіи. Онъ и здѣсь былъ, какъ среди іерарховъ вселенской церкви, только primus inter pares. Чтобы въ этомъ убѣдиться, стоитъ прочесть творенія Иринея Ліонскаго, относящіяся ко второму вѣку. Но у преемниковъ ап. Петра крѣпко засѣла мысль, что они въ то-же время и преемники западныхъ римскихъ императоровъ. А со времени Толедскаго собора у нихъ утвердилась и мысль, что папа намѣстникъ Христа. Идея о всемірномъ духовномъ владычествѣ росла постепенно, и нашла себѣ полное выраженіе во время борьбы за инвеституру съ германскими императорами и французскими королями. Съ Германіей она кончилась въ 1722 году Вормскимъ конкордатомъ, признавшимъ за папою власть передавать данному лицу такъ называемые дары Духа Святаго, т. е. право рукополагать на священство. За императоромъ была признана такая же власть относительно замѣщенія данной епархіи. Во Франціи, хотя съ нею и не велось никакихъ войнъ, какъ съ нѣмецкими королями изъ Салическаго и Гогенштауфенскаго дома, Галиканская автономія, т. е. право самостоятельнаго рукоположенія,

сохранилось до конкордата 1802 года. За то и здѣсь, какъ въ Германіи, папа не переставалъ высказывать притязанія на право привлекать къ своему суду всѣ дѣйствія не только духовныхъ, но и свѣтскихъ властей, касавшіяся догматическихъ, религіозныхъ или нравственныхъ вопросовъ. Въ области каноническихъ споровъ римскій престолъ становится самодержавнымъ на всемъ Западѣ съ Тридентскаго собора. Это самодержавіе было признано открыто, правда, только со стороны церкви, а не со стороны государства. Духовное могущество папы въ концѣ XIX в. было далеко уже не такимъ, какъ во времена Фотія и Михаила Керулларія. И вотъ, объ это каноническое господство римскаго престола и разбились наши переговоры съ нимъ. Православная церковь въ Россіи никогда не считала себя независимой отъ свѣтской власти, и никогда тоже не признавала надъ собою духовнаго главу за предѣлами государства. А такимъ главой и хотѣлъ сдѣлаться у насъ папа. Ему предлагали установить взаимное духовное общеніе между обѣими церквами, которое давало бы возможность духовнымъ, какъ западнымъ, такъ и восточнымъ, совершать таинства и отправлять богослуженіе другъ у друга на равныхъ правахъ. На это Римъ соглашался, и соглашался тоже на нѣкоторую догматическую терпимость, которую онъ практикуетъ съ давнихъ поръ среди католиковъ Востока, преимущественно Сиріи. Но папа хотѣлъ большаго. Онъ хотѣлъ подчинить своей канонической власти всѣхъ іерарховъ русской церкви, т. е. хотѣлъ стать верховнымъ судьей всѣхъ каноническихъ споровъ, мо-

гущихъ возникнуть въ Россіи. Понятно, что нашему правительству, всегда имѣвшему дѣло съ послушною церковью, и лишь изрѣдка вступавшему въ столкновеніе съ отдѣльными іерархами, тяжело было подчинить начальниковъ русскихъ епархій иноземной власти. Это была бы слишкомъ дорогая плата, даже за ту помощь, какую могъ оказать глава римскаго католичества русскому государству въ смыслѣ борьбы съ революціей. И переговоры не привели ни къ чему.

А между тѣмъ среди русскаго общества, и не только среди одного высшаго, струя католическихъ симпатій несомнѣнно существовала. Даже среди духовенства она слегка появлялась. Я бы могъ назвать православныхъ священниковъ, кромѣ отца Веригина и о. Толстого, явно перешедшихъ въ лоно римской церкви, у которыхъ духъ католицизма сквозилъ, такъ сказать, черезъ оффиціальную принадлежность къ православію. Но зачѣмъ приводить имена? Я разъ навсегда поставилъ себѣ за правило этого избѣгать, какъ скоро оно могло бы показаться не совсѣмъ пріятнымъ для названныхъ мною лицъ. Въ духовномъ мірѣ независимость римской церкви отъ свѣтской власти не могла не казаться заманчивой преимущественно среди высшихъ рядовъ іерархіи. Всѣ невзгоды, переносимыя католическимъ епископатомъ отъ представителей государства, отрекшагося отъ всякой конфессіональной окраски, были ничѣмъ въ сравненіи съ обязательнымъ преклоненіемъ передъ оберъ-прокуроромъ Св. Синода, этимъ русскимъ министромъ исповѣданій. Никакія почести, никакая власть надъ бѣлымъ духовенствомъ

не могли стереть это жалкое подчиненіе. Среди мірянъ дѣйствовалъ иной поводъ предпочитать католицизмъ православію — удачный подборъ личнаго состава духовенства, объяснимый тѣмъ, что на ряду съ полной подчиненностью Риму, этому духовенству издавна предоставлялась полная свобода дѣйствій. Папскій Римъ въ этомъ отношеніи унаслѣдовалъ принципы языческаго. Могущество римскаго народа какъ разъ произошло оттого, что каждому римлянину дана была полная возможность использовать свои способности по личному усмотрѣнію, лишь бы его дѣятельность была направлена къ благу цѣлаго. Католицизмъ усвоилъ себѣ это золотое правило, какъ нельзя лучше, и нашихъ баръ всегда прельщала выправка и умъ католическихъ патеровъ. Да, впрочемъ, не на однихъ баръ это дѣйствовало. У насъ, какъ извѣстно, подборъ духовенства совершается въ обратномъ смыслѣ. Почти все лучшее, наиболѣе способное, уходитъ на государственную службу. Оттого-то у насъ такъ много семинаристовъ, начиная отъ Сперанскаго, выходятъ въ сановники. Духовная карьера считается самой послѣдней и привлекаетъ, большею частью, одну посредственность, къ тому же посредственность мало убѣжденную. Ни въ денежномъ отношеніи, ни въ отношеніи власти, положеніе нашего духовенства незавидно. И все-таки желаніе папскаго престола свою высшую каноническую власть распространить и на Россію едва ли не вѣчно будетъ стоять преградой къ столь желательному единенію церквей.

Не помню теперь уже, въ какомъ именно году Влад. Соловьевъ, одинъ изъ участниковъ пятилич-

ной редакціи «Вѣстника Европы», свелъ меня съ маститыми издателями этого журнала. Сближеніе вышло немного кисло-сладкимъ — въ «Вѣстникѣ Европы» на меня очень косились за то, что въ романѣ «Молодежь» я чуть-чуть коснулся почтеннаго синклита, такъ старательно ведущаго себя по европейски. Въ этомъ прошломъ я готовъ былъ принести искреннее покаяніе, такъ какъ въ сущности никогда не думалъ отказывать редакціи „Вѣстника“ въ полномъ уваженіи. Находилъ я ее только, — какъ бы сказать, — немного засохшей въ довольно неподвижномъ, либеральномъ доктринерствѣ. Отцы церкви никогда такъ строго не осуждали еретиковъ, какъ вожди нашего либерализма открещивались отъ всякаго, кто чуть-чуть отступалъ отъ принятаго разъ навсегда ортодоксально-прогрессивнаго ученія. Согласно этой доктринѣ, большинство никогда не можетъ ошибаться, хотя бы оно состояло изъ одного человѣка и этотъ человѣкъ былъ непроходимо глупъ. Новое ученіе утверждало далѣе, что никакому спору не подлежитъ принципъ всеобщей подачи голосовъ — этотъ кардинальный пунктъ демократической вѣры. Власъ Сидоровъ не могъ побѣдить Сидора Власова на выборахъ въ старшины въ какой-либо нижнебалвановской волости безъ того, чтобы этотъ выборъ не означалъ торжества консервативной, умѣренной или радикальной партіи. Само собою разумѣется — выборный принципъ слѣдуетъ примѣнить ко всѣмъ должностнымъ лицамъ имперіи, и всякое такое лицо, если его гдѣ-нибудь предпочли безграмотные мужики, стоитъ неизмѣримо выше любого администратора, назначеннаго правитель-

ствомъ. Всѣ эти непреложные труизмы, вывезенные съ курьерскимъ поѣздомъ изъ Франціи, выдавались за самое послѣднее слово политики, а даривше намъ это французское старье и не подозрѣвали, какъ оно отзывается затхлостью. Какъ бы то ни было, пятиголовый синклитъ, состоявшій изъ Стасюлевича, К. К. Арсеньева, Спасовича, Слонимскаго и Соловьева, меня принялъ въ свое лоно полуохотно. Одно время у насъ собирались къ обѣду почтенные доки всѣхъ оттѣнковъ прогрессивнаго направленія: самъ Михаилъ Матвѣевичъ, нѣкто Ф. Н. Батюшковъ, впослѣдствіи редакторъ „Міра Божьяго", безукоризненный во всѣхъ отношеніяхъ Радловъ и, объединявшій всѣхъ этихъ господъ—Влад. Соловьевъ. Странное дѣло, однако, соборъ этихъ знаменитостей оживленностью не отличался: почтенные доки набирали воды въ ротъ и смотрѣли другъ на друга буками. Моя кузина Хитрово, присутствовавшая при одномъ изъ этихъ принужденныхъ собраній, напомнила мнѣ даже, что «двухъ академиковъ никогда не слѣдуетъ вмѣстѣ сажать за тотъ же столъ» и мои старанія за одно съ дружбой Соловьева пріобрѣсти гражданство въ этомъ обществѣ не мѣшали тому, что въ церкви „Вѣстника Европы" я оставался всегда оглашеннымъ. Напечатали тамъ, правда, рядъ моихъ повѣстей, начиная съ „Андрея Мологина", но въ область политики меня не пускали и, кажется, ни разу не отозвались на какую-либо изъ моихъ книгъ. А когда Соловьева не стало, не долго мнѣ пришлось дожидать не совсѣмъ любезнаго возгласа:—„оглашенные, изыдите!", не помогло даже мое знаком-

ство съ семьей К. К. Арсеньева, куда въ 90 г.г. я сталъ иногда ѣздить по вечерамъ. Что дѣлать? Масло никакъ не разведешь въ водѣ, и „Вѣстнику Европы" я все-таки приходился не ко двору.

А между тѣмъ нѣкоторыя изъ моихъ произведеній, какъ разъ не беллетристическихъ, завоевали себѣ въ публикѣ успѣхъ. Такъ было съ моей книгой „Соціализмъ, какъ положительное ученіе", появившейся въ 1891 г. и, въ особенности съ политической брошюрой „Мужикъ безъ прогресса, или прогрессъ безъ мужика" 1894 года, одновременно вышучивавшей и народниковъ, и вновь народившихся марксистовъ. Съ книгой о „Соціализмѣ" вышелъ, кстати сказать, презабавный казусъ, показавшій мнѣ лишній разъ, какъ правительственные органы, въ пылу рвенія, зачастую стрѣляютъ по собственнымъ войскамъ. Книга была посвящена разбору только что вышедшаго соціалистическаго романа американца Беллэми и, по поводу развертываемыхъ въ этомъ романѣ картинъ сытаго довольства въ государствѣ будущаго, подвергала критикѣ, одно за другимъ, главныя положенія коллективизма. Во второй половинѣ книги говорилось о разнообразныхъ проявленіяхъ соціализма въ исторіи, причемъ излагались важнѣйшія изъ современныхъ соціалистическихъ теорій. Цензору, разсматривавшему книгу, почудилось какъ-то, что подъ видомъ мнимой благонамѣренности она проводитъ соціалистическія идеи, такъ-какъ въ ней содержатся вкратцѣ ученія главныхъ представителей соціализма. На бѣду мою этотъ цензоръ, только-что давшій свое заключеніе, скоропостижно скончался. Цензурный коми-

тетъ увидѣлъ въ этомъ небесное предостереженіе и немилосердно заклалъ мою книгу въ честь тѣни почившаго цензора, какъ въ древней Индіи сожигали вдовъ скончавшихся браминовъ. Большого труда мнѣ стоило переубѣдить почтенное вѣдомство, обыкновенно съ такою снисходительностью пропускавшее статьи и книжонки, исполненныя духомъ самой подлинной соціалъ-демократіи.

Глава XVII-я.

Маіоратная комиссія Н. С. Абазы.—Члены комиссіи.—Результатъ ея работъ.—Причины ея неуспѣха.—В. К. ф. Плеве.—Н. В. Шидловскій.—Кн. А. Д. Оболенскій и А. Д. Нарышкинъ.—А. С. Ермоловъ.—Голодъ 1891 года. Почему его послѣдствія были такъ гибельны.—Замѣна И. А. Вышнеградскаго С. Ю. Витте.—Книга А. С. Ермолова „Неурожай и народное бѣдствіе».

РАЗЪ въ январѣ 1891 г. ко мнѣ пріѣхалъ Н. С. Абаза, только что назначенный предсѣдателемъ маіоратной комиссіи при Государственномъ Совѣтѣ. Когда-то Маркевичъ, въ послѣднемъ изъ своихъ трехъ политическихъ романовъ, описалъ Николая Савича подъ именемъ Савинова и представилъ его въ нѣсколько комическомъ обликѣ франтоваго и очень передового губернатора. Относилось его губернаторство къ самому концу царствованія Императора Александра II и Маркевичъ возложилъ на молодого помпадура—Абазѣ было тогда всего 35—не совсѣмъ блестящую роль молчаливаго наперстника своего громкаго дяди Александра Агѣевича, тоже представленнаго въ романѣ подъ именемъ Коловрата. Происходилъ между тремя сановниками въ присутствіи молодого губернатора разговоръ политическаго свойства, въ которомъ молодой губернаторъ усердно поддакивалъ довольно таки пошловатымъ рѣчамъ своего дяди. Былъ-ли такимъ Абаза въ

1880 г., не знаю. Знаю только, что, когда мы съ нимъ познакомились, ни тѣни комизма у него не было замѣтно и собирался онъ разыграть свою предсѣдательскую роль, какъ нельзя серьезнѣе. Этимъ онъ меня даже поразилъ, такъ какъ Алексѣй Комаровскій часто упоминалъ мнѣ о немъ, какъ объ одномъ изъ милыхъ шутниковъ, среди которыхъ онъ вращался.

О введеніи единонаслѣдія ходатайствовали многія дворянскія собранія—общимъ числомъ, кажется, семнадцать. Тогда уже убыль помѣщичьяго землевладѣнія давала себя чувствовать, особенно въ промышленномъ краѣ, и нельзя не признать, что законъ этой убыли содѣйствовалъ. Обязательный раздѣлъ на равныя доли любого родового имѣнія, какъ скоро у владѣльца было нѣсколько дѣтей, по необходимости приводилъ зачастую къ отчужденію, когда наслѣдники не приходили къ любовному соглашенію: дѣлежъ вызывалъ потребность въ нѣсколькихъ усадьбахъ и приводилъ къ разрушенію хозяйства, устроеннаго на цѣлое имѣніе; а такого кризиса многія помѣстья не въ состояніи были перенести. Можно было, конечно, устроиться сообща, поручивъ веденіе хозяйства наиболѣе пригодному изъ братьевъ, и этому деревенскому брату предоставить въ распоряженіе старую усадьбу. Но много-ли семей забронированы отъ несогласій и долго-ли можетъ продержаться хозяйничанье одного за всѣхъ? Вдобавокъ, когда приходилось снабдить приданымъ дочь, или расплатиться долгами сына, возникалъ очень часто новый поводъ къ продажѣ. Словомъ дворянское землевладѣніе таяло какъ свѣчка, и

бывшему либеральному Рязанскому губернатору, а теперь очень консервативному члену государственнаго совѣта, было поручено придумать средство, дабы остановить зловѣщій процессъ.

Комиссія оказалась очень внушительной по своему составу. Почти всѣ участвовавшіе въ ней лица много заставили впослѣдствіи говорить о себѣ. Встрѣтилъ я тамъ Вячеслава Константиновича Плеве, тогда еще товарища министра, Алексѣя Сергѣевича Ермолова, тоже бывшаго въ то время товарищемъ, и при томъ у своего будущаго врага, Николая Владиміровича Шидловскаго, князя Александра Дмитріевича Оболенскаго, съ которымъ я возобновилъ знакомство, прерванное лѣтъ 15, Александра Алексѣевича Нарышкина, тогда еще управлявшаго государственными имуществами въ Остзейскомъ краѣ, князя Леонида Дмитріевича Вяземскаго, графа Алексѣя Бобринскаго, Михаила Васильевича Красовскаго, выдающійся умъ котораго я могъ сразу оцѣнить. Остальные члены комиссіи не оставили въ моей памяти особаго слѣда. Одинъ изъ нихъ только, помнится, нѣсколько поразилъ меня заявленіемъ, что, преобразуя кореннымъ образомъ наслѣдственное право, мы должны какъ можно менѣе касаться существующаго закона. Уваженіе къ закону даже несовершенному, положимъ, рекомендовать никогда не мѣшаетъ, но строго держаться его буквы, бояться всякаго редакціоннаго исправленія текста—нѣсколько странное проявленіе бюрократической робости. Цѣлыя учрежденія рушатся и не только они, а живой бытъ цѣлыхъ общественныхъ классовъ, ломается у насъ съ

легкостью чрезвычайной; а въ глазахъ закоснѣлаго чиновника—форма, текстъ до того священны, что ихъ касаться можно развѣ при крайней необходимости. Комиссію я засталъ лишь на третьемъ засѣданіи—нездоровье мнѣ помѣшало пріѣхать туда раньше—и въ ней уже успѣли обнаружиться признаки раскола. Большинство ея проектировало предоставить каждому владѣльцу сдѣлать изъ своего имѣнія срочно заповѣдное. Третье поколѣніе „маіоратсгеровъ" могло остановить заповѣдность и вернуть землевладѣніе къ обычному порядку наслѣдованія. Но и это скромное ограниченіе правъ, нисходящихъ по прямой линіи—съ боковыми наслѣдниками церемонились меньше — встрѣтило въ комиссіи четырехъ оппонентовъ, а именно обоихъ князей, Ермолова и Красовскаго. Эти находили, что удовлетвореніе обдѣленныхъ наслѣдниковъ денежными суммами окажется очень затруднительнымъ, что новый законъ примѣняться будетъ мало—въ этомъ они оказались совершенно правыми—и что гораздо лучше ввести у насъ свободу завѣщанія даже въ родовыхъ имуществахъ, чѣмъ установлять кратковременные маіораты. Дѣйствительно, опредѣленіе способа надѣлить деньгами сыновей наслѣдодателя оказалось не легко. Надъ этимъ вопросомъ мы просидѣли всего больше. Будущіе маіораты проектировались совсѣмъ маленькіе, всего въ размѣрѣ тройного земскаго ценза, а сверху имъ былъ опредѣленъ очень низкій предѣлъ, всего, кажется, въ 2½ т. десятинъ. Боялись тогда содѣйствовать размноженію у насъ латифундіи и предпочитали сохранить въ будущемъ сравни-

тельно мелкія имѣнія, наиболѣе полезныя, какъ думала комиссія, для охраны отъ обезземеленія живущихъ на мѣстѣ земскихъ дѣятелей. Много ломали себѣ голову надъ способомъ обезпечить сонаслѣдниковъ, не слишкомъ обременяя долгами законовѣднаго владѣльца. Ожидавшая его судьба оказывалась не только бѣдственною, но нѣсколько комичной. Нельзя было не предвидѣть появленіе нищихъ маіоратсгеровъ, которые станутъ гулять въ дырявой одеждѣ, чуть не прося у прохожихъ милостыни. Въ самомъ дѣлѣ, владѣлецъ 250 десятинъ, т. е., по тогдашнему, поземельной собственности въ 37 т. р., долженъ былъ половину этой суммы отдать на содержаніе матери-вдовы и братьевъ. Каждому изъ этихъ лицъ обезпечивался такимъ образомъ капиталъ, процентами съ котораго можно было жить развѣ въ ночлежкѣ. Утѣшали себя, правда, мыслью, что родовая усадьба всѣмъ этимъ дворянскимъ пролетаріямъ станетъ давать гостепріимное убѣжище. Не трудно, однако, было предвидѣть, какимъ будетъ это убѣжище при вѣроятныхъ ссорахъ между членами голодающей семьи. Комиссія придумала, правда, отступить отъ обычной формы майората, допустивъ залогъ имѣнія на половину его стоимости, причемъ разсчитывалось, что въ среднемъ каждый владѣлецъ останется господиномъ имѣнія въ теченіе 25 лѣтъ, а за это время ссуда окажется погашенной. Все это, конечно, было нѣсколько похоже на испанскіе замки. Но судьба готовила этимъ замкамъ иное будущее, чѣмъ думали: дарованное право осталось по-просту безъ примѣненія, и до сихъ поръ, кажется, лишь

сорокъ помѣщиковъ—законопроектъ осуществился 25-го мая 1899 г.—нашли возможность свои имѣнія обратить въ заповѣдныя. Виною этому, впрочемъ, отчасти тѣ формальности, которыми обставили осуществленіе заповѣдности. Допускали ее, правда, для имѣній уже заложенныхъ—иначе пришлось бы отъ нея отказаться совсѣмъ; но требовали при этомъ очистки всѣхъ повинностей, всѣхъ недоимокъ и представленіе цѣлаго ряда документовъ, въ томъ числѣ, кажется, и свидѣтельства объ оспопрививаніи. Забыли, что въ Россіи ни у кого нѣтъ свободныхъ денегъ и дѣла большею частью разстроены. Забыли еще обычный всѣмъ безпорядокъ, благодаря которому ни у кого требуемыхъ бумагъ не водится, и свойственную большинству русскихъ лѣнь, не дающую пройти черезъ мелкіе хлопоты, необходимые для собранія разбѣжавшихся документовъ. Но комиссія осталась вѣрной бюрократическимъ традиціямъ. Она хотѣла содѣйствовать сохраненію остатковъ дворянской поземельной собственности—эта собственность опустилась въ то время до 57 мил. дес.—и придумала тогда же сложныя условія, дѣлавшія установленіе заповѣдныхъ имѣній трудно осуществимымъ.

Хочу сказать нѣсколько словъ о нѣкоторыхъ изъ лицъ, участвовавшихъ въ комиссіи. Начну съ самаго крупнаго изъ нихъ—съ Вячеслава Константиновича Плеве. Не могу сказать, чтобы онъ произвелъ на меня особенное впечатлѣніе своимъ государственнымъ умомъ или своей блестящей декціей. Говорилъ онъ довольно вяло и совсѣмъ обыденныя мысли онъ высказывалъ. Плеве обнаруживалъ при томъ, какъ это бываетъ съ людьми исключительно кабинет-

ными, твердую убѣжденность въ силу закона, потому только, что это—законъ, и столь же твердое незнаніе Россіи. Онъ знакомъ былъ съ ней, повидимому, черезъ одни оффиціальныя донесенія. Ему даже было не извѣстно, что цѣлыхъ пять губерній—Нижній, Тамбовъ, Рязань, Тула и Орелъ,—почти пополамъ дѣлятся на черноземную и не черноземную часть, и что послѣдняя, несмотря на малое плодородіе, гораздо зажиточнѣе первой. Вотъ какъ можно ошибаться, вынося сужденіе о комъ-либо, недостаточно съ нимъ познакомившись. Крупный умъ у Вячеслава Константиновича не оспаривается никѣмъ, даже его врагами. Многіе, относившіеся къ нему совсѣмъ отрицательно, когда онъ былъ у власти, признаютъ теперь, что внезапная смерть не дала развернуться его глубокимъ планамъ. Во многомъ ему мѣшало отсутствіе привѣтливости, нѣкоторая сухость въ обращеніи. Но и этотъ недостатокъ доказывалъ попросту, что у Плеве не было ни капли шарлатанства. Любому министру, въ силу его положенія, не трудно обворожить кого угодно любезностью пріемовъ, и на это особенно крупнаго таланта не требуется. Вячеславу Константиновичу этихъ пріемовъ не доставало, и популярности онъ лишалъ себя добровольно. Если это былъ и недостатокъ, едва ли не причиняли его прирожденная холодность нрава и нѣкоторое пренебреженіе къ людямъ.

Съ Николаемъ Владиміровичемъ Шидловскимъ, хоть и онъ меня не очаровывалъ въ комиссіи, я по настоящему подружился. Разъ, совсѣмъ невзначай, онъ пріѣхалъ ко мнѣ и мы разговорились про-

странно о вопросѣ, и до сихъ поръ ведущемъ къ безконечнымъ спорамъ—объ общинѣ. Тогда Николай Владиміровичъ былъ еще въ рядахъ ея заступниковъ. Лѣтъ 10—12 спустя, онъ перешелъ на противоположную сторону, какъ сдѣлали это многіе, и уже меня считалъ не довольно рѣшительнымъ ея противникомъ. Взгляды мѣняются и далеко не всегда къ худшему. Въ Шидловскомъ я не могъ не цѣнить того самого, въ чемъ его многіе упрекали: онъ не получилъ высшаго образованія, и самъ довоспиталъ себя. Въ то время, когда мы познакомились, онъ былъ очень дѣльнымъ статсъ-секретаремъ департамента государственной экономіи, а позже, лѣтъ черезъ 6, дошелъ и до Государственнаго Совѣта. Работа его отличалась всегда большою добросовѣстностью. Легкомысленнаго наскока, поверхностнаго изложенія вопроса въ томъ, что онъ писалъ, не чувствовалось никогда. Съ экономической жизнью Россіи онъ познакомился чисто практическимъ путемъ. Съ его взглядами можно было не соглашаться, но въ недостаточной обоснованности нельзя было ихъ винить. Впослѣдствіи насъ сблизила общая нелюбовь къ финансовой системѣ С. Ю. Витте, хотя критика этой системы у каждаго изъ насъ основывалась на различныхъ причинахъ. Шидловскій прежде всего боялся размноженія денежныхъ знаковъ и бумажныхъ и металлическихъ, что всегда ведетъ къ вздорожанію цѣнъ и къ необдуманному грюндерству, т. е. къ созиданію дутыхъ предпріятій. Меня поражала главнымъ образомъ трудность поддержать размѣнъ при разсчетномъ балансѣ не въ нашу пользу. Но объ этомъ ниже.

Съ двумя изъ членовъ комиссіи, съ Оболенскимъ и Нарышкинымъ, мнѣ пришлось, какъ уже сказано, возобновить прерванное было знакомство. И эта спайка прежнихъ отношеній, заглохшихъ благодаря моей болѣзни, оказалась крѣпкою. Отношенія стали ближе прежняго и сохранились въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ.

Осталось мнѣ сказать два слова объ Алексѣѣ Сергѣевичѣ Ермоловѣ, съ которымъ мы тоже почти были друзьями до моей болѣзни. Съ тѣхъ поръ мы, кажется, не видѣлись. Теперь былъ предо мной уже не прежній Алексѣй Сергѣевичъ, а государственный человѣкъ съ громкой, обширной программой, видный кандидатъ на первыя роли. Случай высказаться во всеуслышаніе далъ Ермолову голодъ 1891 года, размѣры котораго разбудили у нихъ всѣхъ воспоминанія о давно минувшихъ голодовкахъ добраго стараго времени. Если припомнить, что тогда не было у насъ ни одной версты желѣзной дороги, кромѣ Царскосельской, что не только пути сообщенія, но и средства передавать извѣстія на сколько-нибудь крупное разстояніе, были совершенно первобытны, то нельзя не отдать справедливость до реформенной администраціи. Она предвидѣла вѣрнѣе и дѣйствовала рѣшительнѣе администраціи конца XIX в. Голодъ засталъ насъ въ расплохъ между тѣмъ, какъ можно было его предвидѣть годомъ ранѣе; а когда въ іюнѣ 1891 года не могло уже быть сомнѣній насчетъ предстоящаго недорода, власти растерялись какъ на мѣстахъ, такъ и въ центрѣ, и ясно обнаружилось полное отсутствіе какого-бы то ни было плана

борьбы съ бѣдствіемъ. Вмѣсто того, чтобы воспользоваться лѣтомъ для передвиженія хлѣбныхъ грузовъ по рѣкамъ, старались главнымъ образомъ скрыть размѣры неурожая, думая откреститься отъ голоднаго призрака, запретивъ о немъ упоминать. Въ сущности хлѣба, безъ помощи привоза, хватило бы на прокормленіе недородныхъ мѣстностей. Надо было его только передвинуть съ запада и съ востока, а затѣмъ уже идти съ нимъ въ глубь края, охваченнаго голодомъ, и для этого воспользоваться тѣми средствами сообщенія, какія имѣлись на лицо. Не до того было въ то время, чтобы разсуждать о причинахъ бѣдствія и объ иныхъ средствахъ помощи, кромѣ даровой раздачи: всѣ вѣдь понимали отлично, что о хлѣбной «ссудѣ» можно было сколько угодно говорить, но что по этой ссудѣ никогда уплочено не будетъ. А между тѣмъ помимо замедленія и безтолковости перевозки, было яснѣе дня, что опасность грозила населенію не по причинѣ одного недорода, а благодаря отсутствію заработковъ, помимо земледѣльческихъ, у жителей обширной черноземной области. Въ промышленномъ районѣ каждый годъ населеніемъ прикупается хлѣбъ и, стало быть, голодъ тамъ явленіе хроническое; а дѣлается это безъ всякаго труда благодаря наличности заработанныхъ денегъ. Въ чисто земледѣльческой полосѣ—наоборотъ: кромѣ сельскаго хозяйства ни какихъ иныхъ занятій не имѣется. Плодородная земля являлась такимъ образомъ какъ бы источникомъ проклятія. И какъ скоро условія погоды ее лишали урожая, населеніе не имѣло никакихъ средствъ купить хлѣбъ, находившійся совсѣмъ подъ рукою въ

городскихъ амбарахъ или на мельницахъ. Приходилось населеніе кормить и кормить даромъ, такъ какъ общественныя работы не были организованы заранѣе, и устроить ихъ по обдуманной системѣ никому въ голову не приходило. Сознавали, конечно, что учрежденіе столовыхъ и огульная раздача хлѣба всѣмъ и каждому, каковы бы ни были размѣры нужды—лишь средства къ развращенію земледѣльческаго класса, у котораго еще убудетъ энергіи для удовлетворительной обработки своей земли. Но дѣлать было нечего; надо было идти сознательно къ учащенію неуражаевъ въ будущемъ: Сознавали прекрасно, что крестьяне станутъ, пожалуй, и предпочитать казенное кормленіе работѣ. Правительство не поскупилось на помощь: голодъ 1891 года ему обошелся почти въ 170 милл. и сильно затормозилъ финансовые планы И. А. Вышнеградскаго. Авторитетъ счастливаго министра палъ сразу. Ему дали продержаться едва до 1892 года и замѣнили его лицомъ, которое обѣщало, какъ думали, въ управленіи финансами обнаружить крупныя способности и широкій размахъ, недостававшія чисто банкирской политикѣ И. А. Вышнеградскаго.

Несмотря на щедрость правительства, всѣ чувствовали, какъ нельзя лучше, что бѣда не въ одномъ неурожаѣ, а въ коренномъ растройствѣ всей русской экономической жизни. Расходились только при характеристикѣ болѣзни, а стало быть и при указаніи необходимаго лѣкарства. Это не совсѣмъ ясное представленіе о всенародномъ затянувшемся кризисѣ А. С. Ермоловъ взялся формулировать отчетливо. Разъ онъ заявилъ при мнѣ на засѣданіи комиссіи, что сжегъ свои корабли и самъ,

будучи однимъ изъ членовъ правительства, выпустилъ въ свѣтъ книгу, откровенно рисовавшую слабыя стороны народнаго хозяйства съ одной стороны, правительственной системы—съ другой. Нѣсколько дней спустя я получилъ его «Неурожай и народное бѣдствіе». Основная его мысль заключалась въ томъ, что крупный недородъ могъ быть попросту случайнымъ несчастіемъ для Россіи, но что онъ дорось до размѣровъ бѣдствія потому, что поразилъ народъ уже безъ того ослабленный непосильными поборами, пьянствомъ, сельскими пожарами и естественнымъ пониженіемъ урожайности благодаря неразсчетливому и безсмысленному хозяйничанью. Ермоловъ былъ совершенно правъ. Но одно все-таки приходится добавить къ набросанной имъ печальной картинѣ. Какъ ни тяжелы налоги, какъ ни велики потери, вызываемыя пожарами и не устройствами всякаго рода, какъ ни губительно пьянство,—все-таки главная причина нашей бѣдности лежитъ глубже. Эта бѣдность прежде всего зависитъ отъ малой производительности народнаго труда и въ области земледѣлія, гдѣ земля могла бы давать совсѣмъ иные сборы, и въ сферѣ промышленности, которой болѣе половины Россія не знаетъ вовсе. Все остальное—рядъ причинъ второстепенныхъ. Тѣмъ не менѣе, актъ гражданскаго мужества, выказанный товарищемъ министра финансовъ, сильно поднялъ значеніе А. С. Ермолова въ глазахъ публики. Его стали открыто просить на одну изъ высшихъ государственныхъ должностей, гдѣ бы онъ могъ осуществить свою программу. Случай этотъему былъ скоро данъ.

Глава XVIII-я.

Второй годъ занятій комиссіи. — Мелкая собственность и ея отношеніе къ вопросу о крестьянскомъ землевладѣніи.—Горячее заступничество за общину среди консерваторовъ—Двойной вредъ мірского владѣнія — хозяйственный и политическій. — Сенатскія толкованія пытаются вложить содержаніе въ юридическое понятіе объ общинѣ.—Законъ 14 декабря 1893 г.—Агитація въ пользу преобразованія Министерства Государственныхъ Имуществъ въ Министерство Земледѣлія.—Назначеніе Ермолова министромъ.

ЗАНЯТІЯ комиссіи Н. С. Абазы продолжались и слѣдующую зиму 1892 и 93 г.г. Теперь шелъ вопросъ о заповѣдности совсѣмъ мелкихъ имѣній, по поводу которыхъ совершенно естественно пришлось искать образца въ американскихъ home steadt'ахъ и въ учрежденныхъ недавно въ Германіи заповѣдныхъ крестьянскихъ дворахъ, согласно законопроекту Виндгорста. Желающіе могли вносить свои дворы въ такъ называемую Höferolle и тѣмъ самымъ придавать имъ условіе нераздѣльности и неотчуждаемости. Сперва предложенный для провинціи Ганноверъ, законъ обошелъ сначала шесть восточныхъ провинцій Пруссіи, а затѣмъ понемногу привился къ остальной Германіи. Понятно, что для крошечнаго имѣнія удовлетворить сонаслѣдниковъ денежными выдачами еще труднѣе, чѣмъ для сравнительно

крупнаго. Но мы добросовѣстно трудились надъ опредѣленіемъ того, сколько копѣекъ эти сонаслѣдники получатъ. Не скрою—это былъ чисто канцелярскій трудъ, очень логично примѣнявшій къ мелкимъ владѣніямъ идею отягощенія главнаго собственника платежами въ пользу братьевъ. Но едва ли можно было съ увѣренностью сказать, будетъ ли эта идея примѣнена въ дѣйствительности. Что насъ спасало немного отъ сознанія тщетности нашихъ усилій, это — слабое проявленіе въ Россіи мелкой частной собственности. Лицъ, ею владѣющихъ, у насъ, правда, довольно много; но земли въ ихъ рукахъ нѣтъ и двухъ милліоновъ десятинъ. Можно было, стало быть, относиться къ вопросу нѣсколько академически. Мелкой собственности, правда, въ Россіи очень много; но эта собственность—крестьянская, стало быть, не совсѣмъ личная, даже у подворныхъ владѣльцевъ. Такимъ образомъ, комиссія наталкивалась невольно на все тотъ же крестьянскій земельный вопросъ. Но, хотя въ ней кажется преобладали анти-мірскіе взгляды, главная струя общественнаго мнѣнія шла не въ эту сторону. Напротивъ, тогда еще преобладала боязнь, какъ бы крестьяне, если дать волю стремленіямъ къ обособленности въ ихъ средѣ, не распродали своихъ земель и не обратились въ пролетаріевъ. Что этому можно помѣшать, признавъ крестьянскія надѣльныя земли неотчуждаемыми внѣ крестьянскаго сословія и ограничивъ право накопленія душевыхъ надѣловъ въ рукахъ одного и того же домохозяина,—это въ разсчетъ не принималось. Видѣли, что 165 ст. Вык. Пол. даетъ возможность инымъ крестьянамъ отчуж-

дать надѣлъ, погасивъ выкупную ссуду съ помощью чужихъ денегъ. И этого было достаточно, чтобы требовать отмѣны 165 ст., хотя число продавцевъ и не достигло 2% всѣхъ домохозяевъ. Лучшіе мои друзья—Хвостовъ, Бехтѣевъ, Нарышкинъ – единодушно раздѣляли это мнѣніе, ополчившись противъ злополучной статьи. Въ ихъ глазахъ община твердо стояла, какъ помѣха для обезземеленія, какъ палладіумъ спеціально-русскаго крестьянскаго землеустройства. Не стоило имъ доказывать противное: ихъ взгляды были дѣломъ не убѣжденія, а вѣры. Страннымъ образомъ они сходились въ нѣжности къ общинѣ съ такъ называемыми народниками, идеаломъ которыхъ было бы полное отчужденіе всей личной собственности въ пользу деревни. Первые не примѣчали, насколько община сродни коммунѣ, и какія опасности она представляетъ для будущаго, отдѣляя два вида землевладѣнія рѣзко по формѣ другъ отъ друга. Другіе были привязаны къ общинѣ, какъ разъ благодаря ея соціалистической окраскѣ. Это коренное недоразумѣніе, эта двойственность пониманія мірского уклада и сдѣлала невозможнымъ пристегиваніе его къ какой-либо политической партіи, какъ невозможно это и для противниковъ общиннаго строя. Вотъ почему тщетными оказались, во время недавнихъ преній въ думѣ, всѣ усилія ораторовъ, слѣва и справа, найти себѣ въ прошломъ единомышленниковъ опредѣленной окраски. Замѣчательнѣе всего въ преніяхъ объ общинѣ была та ихъ всегдашняя черта, что они никогда не попадали въ цѣль и вращались обыкновенно вокругъ и около существеннаго вопроса. А существенный вопросъ

этотъ былъ двоякаго рода — хозяйственный и соціальный. Съ хозяйственной точки эрѣнія не такъ важны были передѣлы, частные и общіе, какъ опека міра надъ отдѣльными домохозяевами. Ссылались на развитіе у крестьянъ травосѣянія въ половинѣ 80-хъ годовъ и доказывали охотно, что мірское владѣніе, стало быть, земледѣльческимъ успѣхамъ не мѣшаетъ. Это былъ, конечно, успѣхъ и очень крупный. Но, во-первыхъ, въ черноземной области онъ распространялся слабо, а во-вторыхъ, для его раціональнаго осуществленія необходимо было согласіе всѣхъ общинниковъ, такъ какъ полевая пастьба не позволяла ни одному изъ нихъ выдѣляться изъ числа прочихъ. За то благодаря именно этой полевой пастьбѣ, зловредная привычка поздно засѣвать хлѣбъ, и озимый и яровой, держалась упорно и міръ не дозволялъ отъ этой привычки отступать, отчего, конечно, страдали урожаи. Крестьянскіе мозги не могли додуматься до того, что выгоднѣе нанять чужое пастбище или на своемъ надѣлѣ отвести для этого особый участокъ, чѣмъ самихъ себя обрекать на неполный урожай. Причина различія между посѣвами на крестьянскихъ и на частныхъ земляхъ какъ разъ обусловливается этимъ. Замѣчательно, что міръ обыкновенно не позволяетъ и жатву на своей полосѣ начать ранѣе, чѣмъ начнутъ ихъ всѣ односельцы: здѣсь уже прямо дѣйствовала зависть къ хорошему хозяину, т. е. чувство, ведущее неизбѣжно къ уравненію внизъ. Про политическія неудобства общины уже сказано: благодаря отличію мірского владѣнія отъ частнаго, все послѣднее въ глазахъ крестьянъ было какъ бы отмѣчено печатью

зла и ясно выдѣлялось среди мірскихъ полей, какъ добыча для будущихъ захватовъ.

Сенатъ своими толкованіями много содѣйствовалъ укрѣпленію мірского начала. Всего болѣе, конечно, эта наклонность была присуща второму департаменту, гдѣ усерднымъ и зоркимъ стражемъ полной сохранности общины былъ оберъ-прокуроръ Хвостовъ, стараніями Ивана Николаевича Дурново, года четыре продержанный внѣ курса дѣла. Но этимъ невольнымъ оставленіемъ безъ занятій вовсе не излѣченный отъ общинной маніи. Николай Алексѣевичъ былъ твердо убѣжденъ, что мірское владѣніе—одинъ изъ вѣрныхъ устоевъ русскаго государства и прикасаться къ этому устою онъ не позволялъ. Помню, какъ онъ часто мнѣ говорилъ, что одна община намъ, помѣщикамъ, обезпечиваетъ полевыхъ рабочихъ, которыхъ не́ хватило бы при подворномъ заселеніи. Допуская даже, что личная польза помѣщиковъ можетъ приниматься въ разсчетъ при рѣшеніи такого крупнаго государственнаго вопроса, мнѣ думается, что Хвостовъ пользу отъ общины нѣсколько преувеличивалъ. Какъ бы то ни было, Сенатъ сослужилъ Россіи сомнительную службу своими толкованіями, сплошь и рядомъ замѣнявшими простую интерпретацію настоящимъ законодательствованіемъ. Въ положеніяхъ 19-го февраля про общину говорится много: міру предоставляется имѣть надзоръ за хозяйствомъ отдѣльнаго дворовладѣльца, опредѣлять, кто изъ членовъ семьи долженъ быть хозяиномъ на мѣсто умершаго, кому должна принадлежать опека надъ малолѣтними и т. д. и т. д. Міру дозволяется быть наслѣдникомъ

выморочнаго двора. Но когда дворъ признается выморочнымъ и кто вообще долженъ быть наслѣдникомъ умершаго, кому принадлежатъ заработки отдѣльныхъ членовъ семьи,—имъ самимъ, или всему двору,—все это закономъ не рѣшено, для всего этого заинтересованные должны руководствоваться обычаемъ. Это обычное право, къ которому крестьяне „могутъ“ обращаться во всемъ, что касается надѣла, и составляетъ отличительное свойство общиннаго уклада, господствующаго въ губерніяхъ, гдѣ дѣйствуетъ великороссійское положеніе. Но этого мало. Во-первыхъ, обычай далеко не всегда можетъ быть съ точностью опредѣленъ и далеко не вездѣ онъ одинаковъ; и во-вторыхъ, характеръ владѣнія — его продолжительность, порядокъ передѣловъ, и т. д.—все это до крайности различно въ различныхъ мѣстностяхъ Россіи.

Тамъ даже, гдѣ сущность этого обычая можетъ быть легко установлена, — въ нѣкоторыхъ статьяхъ Общаго Положенія, въ 12-ой, 37 и 38, и въ цѣломъ рядѣ статей, преимущественно въ 165 Пол. о Выкупѣ,—община признается самимъ законодателемъ, какъ временный порядокъ, цѣль котораго—обезпеченіе платежей казнѣ, и которому наступитъ конецъ, когда окончится выкупная операція. Словомъ, про общину говорится много, но ей нигдѣ не дано опредѣленіе. Это понятіе безъ точнаго содержанія, т. е. все, что угодно, но не понятіе юридическое. И вотъ это не достающее содержаніе Сенатъ постарался дать общинѣ. Онъ призналъ, что міръ имѣетъ право остановить разорительныя распоряженія хозяина, и призналъ тоже, что одно

изъ такихъ распоряженій можетъ заключаться въ посѣвѣ такого изнуряющаго почву растеніе, какъ „картофель“ (sic!). Помимо существовавшихъ крестьянскихъ учрежденій онъ изобрѣлъ новое, именно „селенный сходъ“, о которомъ въ Положеніяхъ не говорится ни слова. Въ виду нѣкоторой неясности Положеній относительно купленныхъ земель, которыя признаются, однако, личною собственностью, Сенатъ нашелъ, что при наслѣдованіи и купленныхъ земель должно примѣняться обычное право. Институтъ семейной собственности; несуществующій въ Положеніяхъ, Сенатъ ввелъ по собственному почину. Не хочу, однако, надоѣдать читателямъ: изъ сказаннаго достаточно видно, какъ самовластно распоряжался Сенатъ неполнымъ законодательнымъ матеріаломъ, заключающемся въ текстѣ Положеній. И все-таки Сенатъ начатого дѣла не докончилъ. Создать во всеоружіи не существующій институтъ общины, придумывать для нея подходящія права, обязанности и функціи, Сенату не удалось, потому что институтъ этотъ былъ весьма разнообразенъ по мѣстамъ, а полныя, притомъ опредѣленныя его черты, не сложились даже въ головахъ г-дъ сенаторовъ. Домохозяинъ, напримѣръ, былъ, съ одной стороны, какъ бы пожизненнымъ владѣльцемъ двора, съ другой—представителемъ цѣлой семьи, а въ третьихъ—общественнымъ должностнымъ лицомъ; и органически сплотить эти три его характера было не такъ-то легко, тѣмъ болѣе, что его общественное значеніе должно было стушевываться по мѣрѣ очищенія выкупной ссуды. Вопросъ о долгахъ отдѣльхныъ членовъ семьи тоже

не могъ быть разрѣшенъ окончательно, такъ какъ возложить на домохозяина отвѣтственность за всѣ шалости младшихъ членовъ семьи, уходившихъ на заработки, было бы крайне не справедливо, хотя изъ семейнаго права эта отвѣтственность логически и вытекала. Неясность продолжала существовать и относительно купленной собственности Положенія говорили, правда, что эта собственность подчиняется общему гражданскому праву. Но провести это послѣдовательно было почти не возможно, такъ какъ нигдѣ признано не было, что домохозяинъ—личный собственникъ купленной земли. Вообще же чрезвычайно трудно по одному виду собственности признать дѣйствующимъ какое-то крайне смутное обычное право, а по другому—X т. Свода Законовъ. Трудно это въ особенности въ области наслѣдственнаго права. Ощущалось вопіющая надобность въ законодательномъ актѣ, который бы окончательно и принципіально разрѣшилъ всѣ эти спутанныя отношенія.

Законъ 14 декабря 1893 года и попытался это сдѣлать. Онъ въ самомъ дѣлѣ ярко освѣтилъ вопросъ о зависимости отдѣльнаго крестьянскаго хозяйства отъ міра. Онъ призналъ, что ни выйти изъ общества, ни вступитъ въ него отдѣльный крестьянинъ безъ согласія схода не можетъ, и что надѣльный участокъ земли, какъ въ цѣломъ составѣ, такъ и въ размѣрѣ, владѣемомъ домохозяиномъ, не отчуждаемъ даже у подворныхъ владѣльцевъ. Это не разрѣшало, положимъ, всѣхъ вопросовъ о крестьянскихъ правоотношеніяхъ. Но это не двусмысленно ставило грань между надѣльной землею и личной

ФЕВР. 1913

собственностью. Сторонники общины ликовали. Ихъ дорогому институту обѣщалась вѣчность. Будетъ ли при этомъ возможно надѣяться на улучшеніе крестьянскаго хозяйства, и найдутъ ли себѣ разрѣшеніе всѣ имущественные споры въ обиходѣ деревни—объ этомъ сторонники общины думали мало.

Приходилось надъ этимъ поработать и вновь учрежденному министерству земледѣлія. Давно говорилось въ газетахъ о необходимости спеціальнаго органа для нуждъ главнаго нашего промысла. И, какъ разъ въ то время, когда этотъ промыселъ былъ въ загонѣ, какъ истинная золушка правительства, клики эти раздавались настойчиво. Само собой разумѣлось, что министерство государственныхъ имуществъ, преобразованное какъ слѣдуетъ, должно было служить основою для вновь созданнаго учрежденія. Тамъ имѣлся департаментъ земледѣлія и сельской промышленности. Но министерство все-таки вѣдало эту свою главную задачу лишь между дѣломъ. Надо было, напротивъ, вопросы сельскаго хозяйства поставить на первый планъ, выше горнаго и лѣснаго вѣдомствъ, выше и государственныхъ имуществъ въ строгомъ смыслѣ. И все громче раздавалось имя человѣка, котораго общественный говоръ звалъ на постъ будущаго министра. Это былъ Алексѣй Сергѣевичъ Ермоловъ, имя котораго все чаще произносилось на сельско-хозяйственныхъ и экономическихъ обѣдахъ, служившихъ тогда отдушинами для нашего говорильнаго зуда. Эти парламентскія ячейки, явно поддержанныя цѣлымъ обществомъ, проводили Алексѣя Сергѣевича на

министерскій постъ. Это былъ первый у насъ въ Россіи примѣръ государственнаго человѣка, проведеннаго въ высшіе сановники общественнымъ мнѣніемъ. И когда послѣдовало его назначеніе, не только благожеланіе, а полная увѣренность въ его успѣхѣ сопровождали его на постъ министра земледѣлія.

Глава XIX-я.

Финансовое управленіе графа С. Ю. Витте.—Творчество новаго министра на самомъ дѣлѣ—лишь подражаніе системѣ И. А. Вышнеградскаго.—Положительныя качества С. Ю. Витте.—Накопленіе золотого фонда съ помощью продажи за-границу русскихъ цѣнностей.—Возрастаніе %% платимыхъ иностранцамъ.—Ежегодные займы при бюджетныхъ переборахъ.—Куда шли эти займы.—Образованіе «свободной» наличности.—Казенное покровительство тремъ видамъ промышленности—металлургической, бумаго-прядильной и химической.—Забвеніе необходимости усилить платежную способность русской деревни и тщетный разсчетъ на вывозъ нашихъ фабрикатовъ.—Усиленное развитіе крупной промышленности.—Послѣдствія—металлургическій кризисъ и развитіе соціализма.—Заслуги гр. Витте.—Недосмотръ по вопросу о серебряной монетѣ.

Имя С. Ю. Витте рѣдко кѣмъ либо произносится спокойно. И у противниковъ, и у друзей, этому имени свойственно возбуждать страсти. Иные видятъ въ Сергѣѣ Юльевичѣ геніальнаго пересоздателя нашихъ финансовъ, другіе—источникъ всѣхъ золъ, постигшихъ Россію за послѣднее десятилѣтіе. Замѣчу съ своей стороны, что одно это противорѣчіе несомнѣнно доказываетъ наличность у бывшаго министра финансовъ крупнаго, недюжиннаго таланта. Нельзя, однако, не признать, что онъ

едва ли заслуживаетъ проклятія однихъ и превознощенія другихъ. Онъ былъ первымъ у насъ министромъ, доступнымъ для каждаго и открытымъ для любой новой мысли. Работоспособностью онъ отличался необычайной. Энергіей онъ превосходилъ значительно всѣхъ своихъ коллегъ. А такъ какъ государственному человѣку еще важнѣе быть энергичнымъ, чѣмъ обладать творчествомъ, ему съ этой стороны нельзя отказать въ главномъ свойствѣ необходимомъ для преобразователя. Вотъ его активъ,—активъ несомнѣнно большой. Но едва ли тоже желающіе видѣть въ немъ прежде всего преобразователя не ошибаются насчетъ богатства его творчества. Какъ разъ та легкость, съ какою онъ воспринималъ чужую мысль, часто дѣлала его, сознательно или нѣтъ, проводникомъ чужихъ плановъ. Два главныхъ его новшества были золотая реформа и введеніе биржевыхъ оборотовъ въ кругъ дѣятельности нашего финансового управленія. Но эти два новшества онъ нашелъ готовыми у своего предмѣстника: И. А. Вышнеградскій игралъ на биржѣ много и успѣшно. Иванъ Алексѣевичъ первый задумалъ монетную реформу и рѣшился ее произвести, опираясь не на золотой рубль, а на бумажный, посредствомъ фиксаціи курса.

Есть три способа возстановить золотое обращеніе. Можно дождаться момента, когда бумажный рубль самъ собою, благодаря многолѣтнему активному балансу по внѣшней торговлѣ, достигнетъ равноцѣнности съ рублемъ золотымъ. Это самый дешевый, но и самый медленный способъ введенія золотой валюты. Можно отступиться отъ обез-

цѣненнаго бумажнаго рубля и, путемъ займовъ, накопить такой металлическій фондъ, который позволилъ бы открыть размѣнъ, создавъ для этого новыя бумажныя деньги, равноцѣнныя золоту. Эта—простая девальваціа, какъ совершилъ ее графъ Канкринъ и какъ стремился къ ней Н. Х. Бунге. Она опасна въ двоякомъ отношеніи. Пока не совершилась внутренняя переоцѣнка, неизбѣжнымъ результатомъ такой операціи бываетъ вздорожаніе всѣхъ цѣнъ, т. е. крутая пертурбація рынка, причемъ нисколько не обезпечена прочность размѣна, такъ какъ пассивный балансъ всегда снова можетъ его поколебать. Но есть и третій способъ, болѣе этого безопасный. Это—передѣлка не кредитнаго рубля, а золотого, который приравнивался бы къ размѣнной стоимости бумажнаго. Золотой запасъ создается тѣмъ же способомъ, какъ во второй системѣ, но металлическіе знаки перечеканиваются сообразно фиксированной цѣнности кредитной единицы. Тогда первая изъ двухъ опасностей отпадаетъ и не происходитъ на рынкѣ никакого сотрясенія. С. Ю. Витте пошелъ этимъ путемъ и безъ сомнѣнія сдѣлалъ очень хорошо. Только путь этотъ былъ уже подготовленъ И. А. Вышнеградскимъ, и за преемникомъ послѣдняго можно развѣ признать заслугу большей рѣшительности, чѣмъ было ея у Ивана Алексѣевича. Но всѣ необходимыя подготовительныя мѣры—допущенія сдѣлокъ на золото, фиксація бумажнаго рубля на двухъ третяхъ его номинальной цѣнности, т. е. на двухъ франкахъ $66^1/_2$ сантимовъ и постепенное накопленіе золотого запаса были уже приняты, когда С. Ю. Витте всту-

пилъ на должность министра. Новый сановникъ былъ настолько мало сторонникомъ золотой валюты, что хотѣлъ пойти совершенно инымъ путемъ, именно путемъ бумажной инфляціи, дабы имѣть подъ рукой матеріалъ для снабженія кредитомъ любого предпринимателя. Съ этой цѣлью былъ передѣланъ уставъ государственнаго банка, предназначеннаго быть широкимъ учрежденіемъ для развитія дешеваго кредита. Переубѣдило Сергѣя Юльевича то обстоятельство, что при такомъ порядкѣ пришлось бы продать золотой фондъ, чтобы не оставить безъ употребленія заключающуюся въ немъ крупную цѣнность. Въ концѣ концовъ денежная реформа была обусловлена единственно желаніемъ использовать этотъ фондъ. И г-нъ Витте волей-неволей пошелъ по слѣдамъ своего предшественника, пошелъ свойственнымъ ему быстрымъ ходомъ. Для того, чтобы золотой фондъ продолжалъ возрастать, нельзя было ограничиваться полученіемъ ввозныхъ пошлинъ золотомъ, введеннымъ уже у насъ съ половины 70-ыхъ годовъ. Это было бы слишкомъ медленно, и вдобавокъ вмѣсто золота торговцы часто выплачивали бы пошлину бумажными деньгами, только присчитывая курсовую разницу. Покупать золото за-границею—тоже ни къ чему не вело бы, такъ какъ уплоченныя за него бумажныя деньги возвращались бы неминуемо обратно въ Россію. Кромѣ игры на биржѣ и добыванія золота дома оставалось одно—продажа фондовъ и процентныхъ бумагъ за-границу, за что принялось, помимо частныхъ лицъ, само правительство, производившее эту операцію въ широкихъ размѣ-

рахъ. При разсчетѣ нашего иностраннаго долга нельзя поэтому ограничиваться одними займами. Наша задолженность болѣе чѣмъ на половину состоитъ изъ отчужденныхъ иностранцамъ цѣнностей,— дѣлающихъ изъ этихъ иностранцевъ какъ бы вкладчиковъ огромного предпріятія, именуемаго Россіей. Съ виду эти продажи русскихъ цѣнностей— какъ будто не заемъ; но такъ какъ, на самомъ дѣлѣ, приходится купоны оплачивать золотомъ, это завоеваніе иностранныхъ рынковъ для нашихъ процентныхъ бумагъ ведетъ къ усиленію пассивнаго характера нашего разсчетнаго балланса. Утверждать, какъ дѣлалъ это министръ финансовъ, будто наши платежи по заграничнымъ долгамъ почти не возрасли, значитъ, стало быть, лишь намѣренно закрывать глаза передъ дѣйствительностью. Проценты по займамъ, въ самомъ дѣлѣ, возрасли очень мало, благодаря тому главнымъ образомъ, что по рентѣ погашеніе болѣе не производится, а въ ренту превращены цѣлый рядъ займовъ, и благодаря тому еще, что произведена конверсія всѣхъ долговыхъ обязательствъ, какія можно было конвертировать. Но во-первыхъ, это было достигнуто посредствомъ удлиненія срока конвертированныхъ долговъ; а во-вторыхъ, въ сумму платимыхъ %% избѣгаютъ включать то, что приходится вносить ежегодно иностраннымъ банкирамъ за отчужденные правительствомъ фонды и процентныя бумаги. Но этимъ далеко не ограничивается возрастаніе задолженности при С. Ю. Витте. На ряду съ образованіемъ золотого фонда для открытія размѣна, смѣлый министръ предпринялъ другую колоссальную опера-

цію—скупку въ казну большинства частныхъ желѣзныхъ дорогъ. Конечно, за эти дороги платилось не наличными деньгами, а облигаціями, но по этимъ облигаціямъ требовалась уплата процентовъ; а такъ какъ онѣ перекочевывали за-границу, проценты оказывались золотыми. Въ результатѣ платежи казны заграничнымъ комиссіонерамъ, совершавшимъ всѣ эти уплаты, выросли на очень значительную сумму. И такъ какъ вслѣдствіе того нашъ разсчетный баллансъ не переставалъ быть пассивнымъ, приходилось заключать все новые и новые займы, дабы не упустить изъ рукъ накопленнаго золотого фонда. Это дѣлалось при очень, даже при слишкомъ благопріятныхъ итогахъ бюджета, неизмѣнно сводившагося съ превышеніемъ актива на крупную сумму — ежегодно отъ 120 до 200 милл. излишка. Не говоря уже о томъ, какъ не раціонально было намѣренно не предвидѣть аэтихъ излишковъ, дабы имѣть матеріалъ для сбереженій, жирные доходы казны, т. е. въ сущности переплаты обывателя, совпадали съ ежегодными займами, все глубже выкапывавшими финансовую пропасть. Это попросту значило добровольно идти къ разоренію. И не трудно было догадаться, что вовсе не нужны были для внутренняго хозяйства постоянные займы, такъ какъ пріобрѣтенное золото шло либо на постройку новыхъ, очень сомнительныхъ линій, либо на еще болѣе ненужныя ссуды частнымъ ж. д. обществамъ. Ссуды эти были рѣдко и не аккуратно возвращаемы. И такое хозяйничанье называли геніальнымъ!

Посмотримъ теперь, какова была внутренняя

экономическая политика Сергѣя Юльевича. Публика была очарована обильнымъ поступленіемъ косвенныхъ налоговъ, постоянно дававшихъ превышеніе противъ смѣтныхъ ожиданій. Эти превышенія, очень хорошо предвидѣнныя заранѣе, не включались, однако, въ бюджетъ, чтобы соблазнять непосвященныхъ ростомъ нашего финансоваго благополучія и вести тѣмъ временемъ къ образованію крупнаго, такъ называемаго «свободнаго» остатка. Этотъ свободный остатокъ предназначался для покрытія экстраординарныхъ расходовъ. Г-нъ Вышнеградскій сказалъ, что бюджетное равновѣсіе будетъ тогда только достигнуто, когда излишка обыкновенныхъ поступленій хватитъ и на чрезвычайный бюджетъ. Этого бухгалтерскаго эдема мы, положимъ, никогда не достигали. Но ежегодно крупныя суммы предназначались для чрезвычайныхъ издержекъ, щедро расходуемыхъ на желѣзнодорожное строительство и на усиленіе подвижнаго состава существующихъ обществъ. Не стану разсматривать здѣсь, насколько новыя желѣзныя линіи были, въ самомъ дѣлѣ, нужны: про Катласскую дорогу уже, конечно, этого сказать нельзя. Во всякомъ случаѣ, ни на лучшее вооруженіе арміи и флота, ни на школьное дѣло, ни на вопіющія нужды сельскаго хозяйства, эти расходы не шли. За то они создавали миражъ финансоваго благополучія, возвращаясь назадъ въ казну въ формѣ косвенныхъ налоговъ. Поступленіе этихъ налоговъ возрастало, потому что волна казенныхъ платежей ежегодно вливалась въ народный оборотъ, сказываясь ростомъ потребленія водки, сахару, табаку, чаю и т. д. Вы-

годные результаты желѣзнодорожнаго строительства на первыхъ порахъ, сахарная нормировка и начавшаяся винная монополія открывали собою періодъ, когда финансовыя предпріятія казны стали играть въ бюджетѣ очень крупную роль, представляя собою цѣлую треть доходной смѣты. Въ настоящее время эти казенныя предпріятія уже переросли половину государственныхъ доходовъ. Сергѣю Юльевичу мерещилась возможность еще значительно увеличить эти поступленія, превративъ въ регалію и сахарное и табачное производства и хлѣбную торговлю, вслѣдствіе чего ростъ доходовъ казны позволилъ бы значительно сократить налоговое бремя и доставить обывателю, притомъ дешево, продукты казеннаго производства. Эта идея, почерпнутая у Генри Джорджа, упускала изъ виду одно маленькое обстоятельство: предоставляя все болѣе широкіе круги производства государственному почину, эта система вела къ сокращенію производства частнаго и, стало быть, къ постепенному закрытію источниковъ народнаго обогащенія. Она, вдобавокъ, должна была вести къ параличу и безъ того слабаго русскаго предпринимательства. Г-нъ Витте хвастливо говорилъ передъ съѣздомъ промышленниковъ, что въ близкомъ будущемъ наша выросшая обрабатывающая промышленность будетъ въ состояніи покрыть дефицитъ по разсчетному балансу. Онъ не предвидѣлъ, хотя предвидѣть это было не трудно, что продукты нашего крупнаго фабричнаго производства не будутъ въ состояніи конкурировать съ западно-европейскими и что имъ откроются развѣ, и то съ грѣхомъ пополамъ, скромные азіатскіе

рынки. То, къ чему онъ шелъ, въ самомъ дѣлѣ было перепроизводство и какъ его послѣдствіе — внутренній экономическій кризисъ. Три отрасли промышленности пользовались его благосклонностью и, какъ результатомъ ея, казенными субсидіями и правительственными-заказами,—металлургическая, бумаго-прядильная и химическая. Первая была разсчитана на расширеніе желѣзнодорожнаго строительства, и, съ ослабленіемъ послѣдняго, должна была остаться безъ рынка. Вдобавокъ, въ цѣляхъ усиленнаго желѣзнаго производства, утверждались кампаніи, образованныя съ недостаточнымъ акціонернымъ капиталомъ и, въ надеждѣ на казенные заказы, вынужденныя обращаться за денежной помощью къ банкамъ. Въ свою очередь, эти банки не разсчетливо отдавали свои услуги по очень дорогой цѣнѣ, требуя для своихъ ссудъ слишкомъ высокій %, и тѣмъ самымъ губя сперва финансированныя ими предпріятія, а потомъ и самихъ себя. Химическое и бумаго-прядильное производства должны были для сбыта разсчитывать на внутренній рынокъ, а для развитія покупной способности этого рынка не дѣлалось рѣшительно ничего. Въ концѣ концовъ, русская деревня была гвоздемъ всего торговаго оборота, и, какъ потребительница товаровъ, и какъ поставщица предметовъ вывоза. По странному недосмотру министра, все, составлявшее естественное богатство Россіи и предметъ ея вывоза уже при Московскомъ государствѣ — хлѣбъ, ленъ, пенька, шерсть, кожи, сало—все это находилось въ загонѣ, не пользуясь казенными милостями. По размѣрамъ производства льна мы за-

нимаемъ въ цѣломъ мірѣ первое мѣсто, а между тѣмъ, по производству полотенъ мы находимся въ самомъ хвостѣ, и даже большую часть льна мы экспортируемъ за границу въ сыромъ видѣ. Кожи мы вывозимъ тоже не выдѣланными, и за выдѣлку ихъ за границей переплачиваемъ иностранцамъ совершенно ненужно деньги. Тоже происходитъ съ шерстью, съ пенькой, съ саломъ. Достаточно сказать, что наши шерстяныя и суконныя фабрики количественно недостаточны, а по качеству даютъ товаръ, который много ниже западно-европейскаго. Дошло уже до того, что мы ввозимъ шерсть въ грубомъ, неотдѣланномъ видѣ, и сало для своихъ свѣчныхъ заводовъ. Послѣ этого мы удивляемся, что нашъ разсчетный балансъ плохъ. А главный предметъ нашего вывоза — хлѣбъ, которымъ мы могли бы наводнить всѣ европейскіе рынки, производится у насъ такъ недостаточно, что урожай въ 40 пудовъ съ десятины мы признаемъ среднимъ. О производствѣ убойнаго мяса, которымъ мы легко бы могли замѣнить американское, а тѣмъ болѣе ново-зеландское, мы и не принялись думать. За то «Торгово-Промышленная» газета, за все управленіе С. Ю. Витте, хвасталась ростомъ нашего чугуннаго производства, бодро шедшаго впередъ къ неизбѣжному кризису и поведшаго насъ къ закрытію большей половины доменныхъ печей. Вотъ краткій перечень заслугъ гр. Сергѣя Юльевича Витте, не говоря уже о томъ, что онъ въ корнѣ ошибся на счетъ дѣйствительныхъ нуждъ русской промышленности, воображая, что необходимо поддерживать на казенный счетъ крупныя предпріятія, и совершенно

игнорируя не только кустарное производство, но и мелкія фабрики, въ томъ числѣ и тѣ, которыя перерабатывали родное сырье. Эта система наградила насъ двумя бѣдствіями: фабричная переработка роднаго сырья заглохла, а въ крупныхъ заведеніяхъ, металлургическихъ и бумагопрядильныхъ, преждевременно расцвѣла искусственно вызванная къ жизни соціалъ-демократія.

Но будемъ справедливы. Не совсѣмъ безъ заслугъ тоже графъ Витте. Золотую реформу онъ провелъ умѣло и съ большой энергіей. Тамъ, гдѣ ему не удалось устранить преграды на пути, онъ черезъ нихъ перешагнулъ. Металлическій фондъ онъ довелъ очень быстро до высокой цифры, конверсію русскихъ фондовъ онъ совершилъ удачно. Своими заграничными займами онъ несомнѣнно заинтересовалъ въ финансовыхъ судьбахъ Россіи иностранный денежный міръ. Форму и цѣнность новой золотой монеты онъ избралъ съ большой ловкостью, примѣнивъ ее къ существующимъ металлическимъ знакамъ. Наконецъ, въ тѣ счастливыя времена, когда приходилось «каналы внутренняго обращенія» пріучать къ золотой монетѣ, онъ и этого достигъ съ технической ловкостью. Въ сравненіи съ этими успѣхами не зачѣмъ, пожалуй, и припоминать тотъ ребяческій промахъ, который имъ совершенъ по отношенію къ серебру. Оно осталось въ положеніи промежуточномъ между полноцѣнной монетою и размѣннымъ денежнымъ знакомъ. Лучшую иллюстрацію этого положенія составляетъ то, что русскій рубль, при размѣнѣ на германскія деньги, равноцѣненъ 216 пф., между тѣмъ какъ

прусскій талеръ, содержащій серебра менѣе русскаго рубля, стоитъ 300 пф. Происходитъ эта странность оттого, что талеръ открыто-билонная монета, содержащая столько же металла, сколько его было въ талерѣ во время полноцѣнности серебра. А нашъ рубль отсталъ отъ прежняго размѣра, но не понизился, однако, по содержанію серебра настолько, чтобы совсѣмъ приравняться къ размѣрамъ лажа. На этомъ маленькомъ недосмотрѣ мы проиграли, однако, болѣе пятидесяти милліоновъ. Но о такой бездѣлицѣ, конечно, и говорить не стоитъ.

Глава XX-я.

Сельско-хозяйственный совѣтъ.—Н. А. Хомяковъ.—Причина малой плодотворности въ начинаніи министерства земледѣлія.—Сибирская дорога и золотая реформа.—Оппозиція противъ этихъ двухъ мѣръ.—Противники въ Государственномъ Совѣтѣ.—Кончина графини Е. Н. Гейденъ.—Лѣто въ Финляндіи.—Финляндское устройство.—Наша ошибочная политика въ Финляндіи.—Сестры Дитрихсъ.—В. А. Оболенскій.—Раннее возвращеніе въ Петербургъ.—Болѣзнь и кончина Императора Александра III.

Однимъ изъ крупнѣйшихъ нововведеній, связанныхъ съ преобразованіемъ министерства государственныхъ имуществъ, было открытіе сельскохозяйственнаго совѣта, куда созывались нѣсколько сельскихъ хозяевъ по выбору министра, и почти толпа изъ представителей разныхъ вѣдомствъ. Крупнымъ преобразованіе было, собственно говоря, болѣе въ представленіи публики, чѣмъ въ дѣйствительности: совѣтъ не былъ выборнымъ, число его провинціальныхъ членовъ было не велико, да и плоды его совѣщаній оказались довольно сухими. А все-таки, это была лишняя отдушина для провинціальнаго недовольства, новый случай для оффиціальной среды познакомиться съ тѣмъ, что думали на мѣстахъ и какія тамъ предъявлялись требованія къ Петербургу. Полагали конечно, что мѣстная

среда имѣетъ сказать вѣское слово, что она и по знанію жизни и по дѣловитости не чета столичной бюрократіи.

Передъ ожидаемымъ крошечнымъ парламентомъ министерство подтянулось, подчистилось, словно принялось отмаливать старые грѣхи. Въ этомъ подтягиваніи и заключалась главная польза новаго учрежденія. Въ провинціи настроеніе было тогда рѣшительно оппозиціонное. Таковъ былъ результатъ земской реформы 1890 г. Дворянство чувствовало себя какъ будто неловко за дарованныя ему преимущества и старалось извиниться передъ третьимъ элементомъ. Земскія собранія почти вездѣ полѣвѣли. Съ начала 90-хъ годовъ пошло быстрѣе расширеніе земскаго служебнаго персонала изъ мѣстныхъ техниковъ, понемного оперившихся и почувствовавшихъ свою силу передъ самими гласными. Такъ называемый «либерализмъ», т. е. въ сущности расшаркиваніе передъ этими техниками, сдѣлалось главной обязанностью земскихъ дѣятелей. Это тотчасъ сказалось на первыхъ же засѣданіяхъ сельско-хозяйственнаго совѣта. Представителемъ земскаго либерализма явился Смоленскій губернскій предводитель Н. А. Хомяковъ, недавній предсѣдатель государственной думы. Онъ обладалъ въ высокой степени даромъ красно говорить, дикція его была превосходна, съ огонькомъ, и рѣчи его произносились на благодарную тему, что у земства руки связаны правительствомъ, которое само ничего плодотворнаго не предпринимаетъ. Надо отдать справедливость А. С. Ермолову—оппозиціонные взгляды Н. А. Хомякова его не испугали. Онъ

предложилъ блестящему оратору мѣсто директора сельско-хозяйственнаго департамента. Очень скоро я съ нимъ познакомился и даже сблизился, благодаря моему младшему брату, тоже участнику въ совѣтѣ. Хомяковъ оказался самымъ добродушнымъ и не притязательнымъ человѣкомъ, несмотря на свое видное положеніе. Быть можетъ, это добродушіе было не совсѣмъ спроста, но болѣе пріятнаго собесѣдника нельзя было и пожелать. Большой административной энергіей онъ не отличался, но былъ онъ несомнѣнно администраторомъ новаго типа, чуждымъ всякой условности и напыщенности. Свое равнодушіе къ такъ называемой карьерѣ нѣсколько лѣтъ спустя онъ доказалъ на дѣлѣ. Убѣдившись, что министерство ничего широкаго не затѣваетъ и находя, что гомеопатическими улучшеніями ничего не подѣлаешь, Николай Алексѣевичъ вышелъ въ отставку и добровольно промѣнялъ должность директора на скромное положеніе Сычевскаго уѣзднаго предводителя.

А министерство ничего крупнаго сдѣлать и не могло, потому что ему на это не давали денегъ. Въ характерѣ А. С. Ермолова не было, можетъ быть, достаточно настойчивости; но быть настойчивымъ съ С. Ю. Витте не всякому удавалось. Безцеремонная рѣзкость министра финансовъ сметала передъ собой всякое возраженіе. И тамъ, гдѣ онъ чувствовалъ себя хозяиномъ, въ бюджетныхъ вопросахъ, онъ самымъ рѣшительнымъ образомъ отказывалъ товарищамъ, и притомъ совершенно одинаково, были ли ихъ требованія законны или нѣтъ. Въ засѣданіяхъ Государственнаго Совѣта С. Ю.

Витте обходился со своими коллегами почти презрительно. И это обращеніе имѣло несомнѣнный успѣхъ.

Дорого стоющая постройка Сибирской ж. д. и переходъ на золотую валюту далеко не встрѣчали въ Петербургѣ единодушнаго одобренія. Многіе повторяли, что разомъ предпринимать то и другое, значитъ добровольно итти на вѣрный провалъ. Доступность нашего рынка для иностранныхъ капиталовъ, признаваемая Сергѣемъ Юльевичемъ за наиболѣе цѣнное послѣдствіе денежной реформы, его коллегъ скорѣе пугала. Перспектива увидать Россію открытою для всемірной спекуляціи и наши минеральныя богатства въ рукахъ международнаго еврейства—эта перспектива совсѣмъ не улыбалась патріотамъ. Нечего и говорить, что она еще менѣе нравилась сторонникамъ раздутаго бумажнаго обращенія, какъ С. Ф. Шараповъ и биметаллистамъ, какъ г-нъ Бутми. Шараповъ при всемъ своемъ умѣ, былъ убѣжденъ, или по крайней мѣрѣ увѣрялъ, что убѣжденъ въ возможности обезпеченія бумажныхъ денегъ стоимостью земли, разсматривая такимъ образомъ эти деньги, какъ ипотечную, но безпроцентную бумагу. Биметаллисты увѣряли, съ своей стороны, что серебро обезцѣнивается благодаря переходу большинства культурныхъ странъ къ золотой валютѣ, и что возникающій отсюда золотой голодъ ведетъ къ паденію цѣнъ на всѣ товары. Какъ разъ, первая половина 90-хъ годовъ была эпохой наибольшаго пониженія стоимости хлѣба; а потому г-да помѣщики были очень падки на теорію, будто бы хлѣбъ дешевъ не отъ состоянія мірового рынка, а

отъ легко устранимыхъ финансовыхъ причинъ. Они съ торжествомъ доказывали, что при серебряной валютѣ хлѣбныя цѣны держались бы на болѣе высокомъ уровнѣ. Въ этомъ они конечно были правы, но объясняется это явленіе тѣмъ простымъ фактомъ, что серебряный рубль — болѣе низкая единица, чѣмъ золотой. Любопытно, чтобы они сказали теперь, когда, несмотря на золотую валюту, хлѣбныя цѣны держатся высоко. Тѣмъ не менѣе въ одномъ они были правы. Русское обращеніе было серебрянное, и, чѣмъ болѣе понижался бы въ цѣнѣ бѣлый металлъ, тѣмъ выше стали бы цѣны на всѣ продукты, сбываемые нами за границу. Такъ какъ всѣ уплаты и по внутренней торговлѣ и за наемъ услугъ производились серебромъ, то это кажущееся приращеніе къ цѣнѣ русскихъ товаровъ было бы прямымъ барышемъ для людей, которые за все платятъ серебрянными рублями. Всего выгоднѣе было бы открыть размѣнъ на серебро въ ту минуту, когда оно сравнялось въ курсѣ съ бумажками. По всей вѣроятности пріобрѣтеніе такимъ обширнымъ государствомъ, какъ Россія, большого количества серебра въ слиткахъ пріостановило бы дальнѣйшее обезцѣненіе бѣлаго металла. Притомъ серебро, какъ бы на него ни понижался курсъ, все-таки представляетъ реальную цѣнность, болѣе прочную, во всякомъ случаѣ, чѣмъ цѣнность чисто-кредитная. Но это сдѣлано не было и, кстати сказать, не было сдѣлано еще при управленіи И. А. Вышнеградскаго, когда обѣ валюты встрѣтились, чтобы разойтись снова.

Все это, какъ сказано, многіе сознавали. И въ Государственномъ Совѣтѣ образовалась группа про-

тивниковъ монетной реформы. В. В. Вершинскій, Н. В. Шидловскій, Б. П. Мансуровъ, баронъ Менгденъ—были наиболѣе выдающимися членами этой группы, создававшей Сергѣю Юльевичу много хлопотъ. Но и въ Совѣтѣ, какъ въ обществѣ, оппозиція не имѣла за собою большинства. Члены ея много толковали, очень суетились, но трудно было предвидѣть, чтобы ихъ доводы взяли верхъ надъ проектами рѣшительнаго министра. Они верха не взяли, но С. Ю. Витте все-таки счелъ нужнымъ сократить свою борьбу съ оппонентами, испросивъ въ пользу своихъ проектовъ Высочайшее повелѣніе. Только про это здѣсь рано говорить: Александръ III не дожилъ до этого отважнаго шага своего министра.

Лѣто 1894 года мы провели въ Финляндіи, на дачѣ Боткина, близъ Новой Кирки. На самомъ порогѣ этого лѣта, въ началѣ мая, не стало замѣчательной женщины, въ которой умъ, сердечная доброта и сила воли были одинаково достойны удивленія,—не стало графини Елисаветы Николаевны Гейденъ. Среди прочихъ женщинъ ее отличало то, что всего дороже въ человѣкѣ,—активная, практическая доброта, которая не ограничивается сердобольнымъ хныканьемъ и праздным соболѣзнованіемъ безъ всякаго результата. Обычное безплодное мягкосердіе было совершенно чуждо ея дѣятельной натуры. Она умѣла воплощать въ полезное начинаніе задуманное ею добро. Мнѣ пришлось посѣтить Финляндію какъ разъ въ ту минуту, какъ это великодушное сердце перестало биться. Ея свѣтлый умъ уже не могъ мнѣ служить руководителемъ въ моихъ финляндскихъ впечатлѣніяхъ. Долженъ сказать, что впечатлѣнія

эти были самыя благопріятныя: порядокъ образцовый и полное уваженіе къ чужому добру безъ всякаго ощутительнаго вмѣшательства полиціи. А со стороны благосостоянія—мѣстное хозяйство въ высокой степени разумно и усовершенствовано во всемъ, что касается школъ, дорогъ, освѣщенія и т. д. Не знаю, каковы въ Финляндіи больницы и сказать на этотъ счетъ ничего не могу. Но достаточно и того, что я видѣлъ. Организація страны была несомнѣнно превосходна. Правда, что за полнымъ почти отсутствіемъ военнаго бюджета, не такъ ужъ тяжелы издержки на мирное благосостояніе. Но все-таки не понимаю, почему у насъ, русскихъ, завелось полузавистливое, полупрезрительное отношеніе къ финляндскимъ порядкамъ. Намъ слѣдовало бы, напротивъ, цѣнить этотъ яркій и близкій примѣръ здоровой, вполнѣ спокойной общественной жизни при конституціонномъ устройствѣ. Наличность представительства, стало быть, нисколько не обусловливаетъ политическаго броженія и недобросовѣстности партій. Конечно, оборотная сторона медали—это вполнѣ отрицательное отношеніе тамошняго правящаго класса, т. е. шведской интеллигенціи, къ сосѣднему русскому народу. Это прямо враждебное чувство имѣетъ очень много причинъ: боязнь быть поглощенною огромнымъ государствомъ, съ которымъ Финляндія связана трактатомъ 1809 г., привязанность къ стародавнимъ домашнимъ условіямъ, нѣкоторое презрѣніе къ безпомощности русскихъ передъ безпощадной рукою нужды, преимущества мѣстныхъ порядковъ передъ русскими—все это создавало ту смѣсь гордости и страха, которая влекла тамошній

шведскій патриціатъ къ сепаратизму. Мы любимъ объяснять это сплошной неблагодарностью, какъ будто для цѣлыхъ народовъ понятіе о благодарности существуетъ. Совершенно справедливо, что конституція для Финляндіи была добровольно дарована императоромъ Александромъ II въ 1862 г., и столь-же справедливо, что Александръ II далъ финляндцамъ болѣе того, чѣмъ уступать хотѣлъ, потому что его согласіе было выманено ловкими пріемами высокопоставленныхъ финляндцевъ. Но вѣрно это лишь формально. Дѣло, строго говоря, не въ самой конституціи, а въ наличности особаго финляндскаго законодательства и самостоятельнаго управленія, руководящій органъ котораго — сенатъ въ себѣ совмѣщаетъ и совѣтъ министровъ, и верховный судъ, и высшую инстанцію административной юстиціи. Собственно говоря, это учрежденіе, существовавшее и при Александрѣ I и при Николаѣ Павловичѣ, служило основою финляндской автономіи. Само собой разумѣется, что желаніе обрусить близкую окраину, и въ національномъ и въ церковномъ отношеніи, было съ нашей стороны вполнѣ естественно, какъ было естественно, впрочемъ, и нежеланіе финляндцевъ этому подчиняться. Но стремясь провести это обрусѣніе, мы надѣлали цѣлый рядъ неловкостей, какъ надѣлали мы ихъ и на другихъ окраинахъ. Политика Бобрикова, смѣнившаго графа Гейдена, была и придирчива, и крута по формѣ, и прямо нарушала законъ, предоставлявшій сенату предлагать должностныхъ лицъ изъ природныхъ финляндцевъ. Собственно то, чего мы тогда домогались — объединеніе почтовой и монетной системы, общность таможенной охраны, права

для русскихъ, владѣющихъ въ Финляндіи собственностью—ничего общаго съ притѣсненіемъ не имѣло, и при нѣкоторой ловкости всѣ эти шероховатости можно было уладить. Но дѣло въ томъ, что финляндцы боялись уступить намъ и на мелочахъ, чтобы впослѣдствіи эти уступки не служили прецедентомъ. Колея русской государственности, такъ думали они, могла захватить всѣ мѣстныя особенности, если они хоть въ чемъ нибудь подчинятся. Во всѣхъ нашихъ реформаціонныхъ починахъ намъ не доставало, во первыхъ, спокойной послѣдовательности, а во вторыхъ, мы не рѣшались заранѣе объявить, до какой черты дойдутъ реформы, дабы успокоить населеніе, страшившееся русскаго могущества. И пресса наша—не признавать этого нельзя—давала всегда чувствовать, что основное стремленіе Россіи — приравнять всѣ свои автономныя области, дабы „отъ Финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Калхиды“ были все тѣ же исправники и становые, хотя этихъ господъ постоянно осмѣивала сама русская литература. Мы повторили, между прочимъ, въ Финляндіи обычную нашу ошибку, принявшись кокетничать съ лѣвыми, демократическими идеями. Этимъ мы принесли вредъ и себѣ, и Финляндіи. Мы думали, что партія фенномановъ болѣе склонна къ русскимъ начинаніямъ, чѣмъ партія шведская, и взяли на себя починъ введенія въ сосѣдней окраинѣ современнаго демократическаго устройства. Что изъ этого вышло и до какой степени Россія можетъ разсчитывать на дружбу финномановъ, — теперь выяснилось вполнѣ.

Разсказы о великолѣпномъ финляндскомъ воздухѣ и о тамошней чудной осени оказались преу-

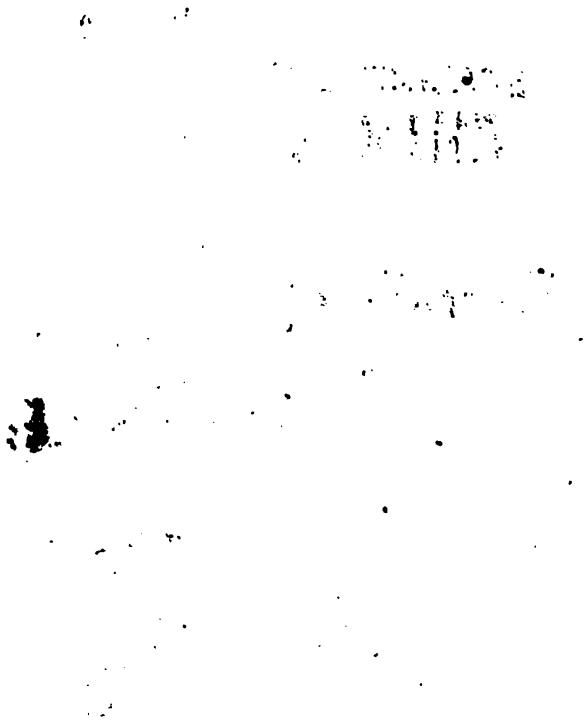
величенными, по крайней мѣрѣ, для 1894 года. Болотъ тамъ очень много, вечеромъ надо избѣгать оставаться на воздухѣ; а съ половины августа наступила такая свѣжая погода, что приходилось уже думать о возвращеніи въ Петербургъ. Тѣмъ не менѣе, лѣто прошло очень весело, преимущественно благодаря жившимъ, въ близкомъ нашемъ сосѣдствѣ, тремъ сестрамъ Дитрихсъ. Старшая Елена недавно развелась съ мужемъ и обладала всей той разбитной прелестью, какая свойственна обыкновенно разведеннымъ молодымъ дамамъ. Годъ спустя она вышла замужъ за моего троюроднаго брата кн. Алексѣя Оболенскаго. Совершенно иною была вторая, Ольга, вышедшая впослѣдствіи за одного изъ сыновей графа Льва Николаевича Толстого. Въ ней копошились нѣсколько туманные запросы высшей, болѣе глубокой правды, и за ними она ходила и къ толстовцамъ и къ пашковцамъ. Это придавало ей вдумчивость и ничуть не мѣшало ея тихому, вкрадчивому обаянію. Про младшую мнѣ сказать ничего не приходится. Она была еще ребенкомъ, правда ребенкомъ очень милымъ. Была еще четвертая Дитрихсъ, вышедшая за Владиміра Черткова, сына Григорія Ивановича. Она жила въ Англіи и, какъ мнѣ говорили, еще болѣе сестры Ольги ударилась въ пашковство.

Сестры Дитрихсъ, жившія на сосѣдней дачѣ у моей кузины княгини Маріи Андреевны Мещерской, были предметомъ того всеобщаго ухаживанія, о которомъ говоритъ Толстой въ „Войнѣ и мирѣ“. Героемъ этого ухаживанія, происходившаго совершенно запросто, по домашнему, былъ родной братъ Маріи Андреевны, Владиміръ Оболенскій, постоянно заѣз-

жавшій въ ея «Красную Мызу». Онъ привозилъ съ собою цѣлую орду молодыхъ людей, именно глядѣвшихъ по ордынски нѣсколько дико въ своей веселой суровости. Одѣты они были большей частью въ косоворотки и высокіе сапоги и, кажется, исповѣдывали эс-декскія вѣрованія. Но все же настоящей суровости они себѣ придать не умѣли. Одинъ изъ нихъ, фамилію котораго я позабылъ, глядѣлъ особенно комично: онъ весь ушелъ въ сапоги, — такъ длинны были у него ноги и такъ коротко туловище. За цѣлый вечеръ, проведенный имъ у насъ, онъ не проронилъ ни слова. Кажется, Владиміръ Оболенскій — онъ позже былъ членомъ первой думы — раздѣлялъ взгляды товарищей, съ которыми пропадалъ по какимъ то закоулкамъ. Онъ былъ, впрочемъ, очень милымъ юношей: такими я видѣлъ на своемъ вѣку многихъ соціалистовъ, у которыхъ это взрывчатое ученіе попадало на уравновѣшенную душу. По крайней мѣрѣ, несмотря на свою крайность, онъ два раза участвовалъ у насъ въ веселыхъ спектакляхъ. Игралъ онъ хорошо, но безъ огонька. Еще лучше играла наша примадонна Елена Константиновна.

Въ половинѣ сентября, гораздо ранѣе обыкновеннаго, мы вернулись въ городъ и въ первый же день до насъ дошли тревожные слухи о здоровьѣ государя. Уже весной шептали, что могучая натура Александра III пошатнулась, и приглашенный къ нему Захарьинъ серьезно посовѣтовалъ государю избѣгать холодной сырости Петергофа, дѣлавшейся еще болѣе опасной, благодаря антигигіеническимъ условіямъ дворца въ Александріи. Осень царское

семейство проводило въ Крыму и туда была выписана другая медицинская знаменитость—профессоръ Лейденъ изъ Берлина. Отзывы Лейдена о здоровьѣ высокаго паціента были до того тревожны, что почти уже сомнѣнія не оставалось въ близости неизбѣжнаго конца. Не могу не припомнить, какъ искренно какъ глубоко встревожились этими вѣстями въ знакомомъ мнѣ обществѣ. Это было не лицемѣрное безпокойство. Чувствовалась настоящая благодарность Александру III за его стойкую работу о поддержаніи русскихъ интересовъ повсюду. Приходившіе отзывы иностранныхъ газетъ вполнѣ подтверждали это впечатлѣніе. Оно было общимъ всей Европѣ, даже итальянской, даже англійской прессѣ. Далеко не дружескія отношенія наши къ Англіи нисколько не мѣшали ей сознавать великія достоинства умиравшаго властителя. Ничего подобнаго не было даже послѣ ужасной кончины Александра II. Не знаю, какъ далеко вглубь населенія проникала печаль, но все слышанное мною сливалось въ одно дружное чувство. Отходившій монархъ былъ такъ великъ спокойной своей твердостью, что одновременно политика его ручалась за миръ и за сохранность достоинства Россіи. Съ этой заслугой не могли сравниться частичныя ошибки, допущенныя, быть можетъ, во внутреннихъ дѣлахъ. И когда роковая вѣсть дошла до Петербурга, среди простого народа слышались возгласы скорби и теплыя молитвы за усопшаго. Едва ли кончина кого либо изъ прежнихъ русскихъ государей вызвала такія сознательныя, такія общія сожалѣнія.



3 2044 012 758 769

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

WIDENER
FEB 19 1992
JAN 29 1992
BOOK DUE

SEP 1993